РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ГЕРЦЕН

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТИ 1—5

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1969

Вступительная статья
Я. Эльсберга

Р 1
Г 41

7-3-1
подп. изд.

РОМАН О РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ И МЫСЛИТЕЛЕ

I

Мемуаров издано на свете так много, что даже имеющиеся специальные библиографические указатели не могут дать в этом отношении полной картины. Автобиографии же, которые в мировой литературе приобрели и сохранили классическое значение, можно сосчитать по пальцам.

Таковы воспоминания Челлини, «Исповедь» Руссо, «Поэзия и правда» Гете, автобиографическая трилогия Горького, «Былое и думы» Герцена. Правда, может возникнуть желание пополнить этот перечень. Но даже такие выдающиеся художественные произведения, как автобиографические повести-хроники С. Т. Аксакова и «История моего современника» В. Г. Короленко не отличаются той полнотой и глубиной раскрытия себя, тем охватом целой эпохи, которые характеризуют классические автобиографии.

Конечно, автобиографии могут ставить себе различные цели. Большую, даже мировую известность завоевали некоторые автобиографии, преследовавшие и выполнившие строго ограниченные задачи: рассказать не столько о себе, сколько о той деятельности, которой автор отдал себя целиком, и о подготовке к ней. Таковы, например, «Записки революционера» П. Кропоткина или «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславского.

Но мы говорим об автобиографии, в которой автор исследует и раскрывает самого себя, свой ум и свое сердце, свою жизнь и деятельность и воплощает свой рассказ о себе и других в художественных образах, обладающих непреходящей эстетической ценностью.

Для создания такой автобиографии требуется сочетание, встречающееся чрезвычайно редко: синтез высших человеческих качеств, в чем-то очень существенном выражающих передовые устремления эпохи, с литературным дарованием, способным выполнить труднейшую задачу безоглядного и отважного рассказа о себе и своем времени.

Такую автобиографию способен создать только большой — если не великий — человек и большой — если не гениальный — писатель.

«Былое и думы» можно назвать романом о русском революционере. Но это роман и о человеке со всеми его личными особенностями, исканиями и заблуждениями, победами и поражениями, со всеми противоречиями его внутреннего мира, это повествование и об его личной жизни, любви, увлечениях и страстях.

Создание «Былого и дум» знаменует собою в жизни их автора тот пункт, в котором встретились, пересеклись и запечатлелись все многообразные и многосторонние искания Герцена — человека, революционера, мыслителя.

Поэтому и необходимо представить себе, хотя бы в самых общих чертах, путь Герцена, приведший его к созданию «Былого и дум».

Герцен рано и целеустремленно стал искать поприще, достойное тех сил и способностей, которые он ощущал в себе. Его, образующая целый том, переписка 30-х годов с другом и невестой Н. А. Захарьиной во многом посвящена страстным раздумьям об их будущем, освещенным поисками осуществления высокого призвания.

Тогда же, в годы вятской ссылки, стало вырисовываться своеобразие герценовского художественного дарования, стремление рассказать о себе, о своем духовном мире, о своем жизненном опыте и связать свою биографию с «биографией человечества». «Записки одного молодого человека», напечатанные в 1840—1841 годах и подведшие итоги вятским автобиографическим опытам, в сущности представляли собою уже ранний вариант некоторых глав первых частей «Былого и дум».

Затем, в 1841—1846 годах, Герцен публикует ряд завоевавших ему имя и известность произведений как в области философии («Письма об изучении природы», «Дилетантизм в науке» и др.), так и художественной литературы («Кто виноват?», «Сорока-воровка» и др.).

Но Герцен не хотел быть *только* писателем, *только* ученым. Этим он не был в состоянии удовлетвориться. Больше того, он чувствовал, что и как философу и тем более как художнику ему совершенно необходима опора в такой собственной деятельности, которая дает право писать о своем идейном и практическом опыте, о своих переживаниях и думах. А для Герцена такой жизнью могла стать только жизнь русского революционера.

Эмиграция (1847 г.), открытое объявление войны царизму, создание в Лондоне в начале 50-х годов вольной русской печати, издание альманаха «Полярная звезда», а с 1857 года газеты «Колокол» определили новый важнейший период деятельности Герцена. И не случайно тогда же, когда он готовился обратиться со свободным словом к России, Герцен приступил к «Былому и думам». Ибо найден был тот жизненный, проверенный делом фундамент, который давал право углубить и расширить давно задуманный роман о русском революционере и мыслителе. Поэтому всякая

попытка отделить в авторе и герое «Былого и дум» революционера от человека была бы насильственной.

«Былое и думы» раскрывают и человека и писателя. Для читателя это открытие и данной замечательной личности, и, неотрывно от нее, тех могучих общественных сил истории, которые отразились и воплотились в человеке.

Недаром Герцен сказал в предисловии к пятой части «Былого и дум», что это произведение представляет собой «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге».

Перед нами предельно откровенная история духовного, нравственного и идейного развития человека, действительно постоянно «встречавшегося» с историей, с важнейшими силами, событиями, идеями и деятелями того ее отрезка, который начинается на склоне 20-х и заканчивается на исходе 60-х годов XIX века.

В самом деле, еще в юности Герцен, ровесник Отечественной войны 1812 года, завязывает отношения с такими видными представителями старшего, пушкинского поколения, поколения декабристов, как М. Ф. Орлов и П. Я. Чаадаев. В 40-х годах он в центре дружеского кружка с Н. П. Огаревым, В. Г. Белинским, М. А. Бакуниным, со знаменитым историком Т. Н. Грановским, с великим актером М. С. Щепкиным. Вместе с тем он находится в сложных взаимоотношениях с такими лидерами славянофильства, как К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, братья Киреевские — всё обострявшиеся идейные конфликты помешали изначальной симпатии к некоторым из них перейти в дружескую близость.

Покинув в 1847 году Россию, Герцен играет крупную роль среди таких деятелей международного демократического движения, как Виктор Гюго, Ворцель, Кошут, Гарибальди, Маццини, Оуэн, Прудон, Луи Блан, Ледрю Роллен, Феликс Пиа, Гервег и многие другие.

В 60-х годах в борьбе с царизмом Герцен находится по одну сторону баррикад с Чернышевским, Добролюбовым, Н. Серно-Соловьевичем и другими русскими революционерами этого периода.

Если еще иметь в виду отношения Герцена с Толстым, Тургеневым, Ф. И. Тютчевым, Н. Н. Ге, В. В. Стасовым, с рядом русских ученых-естествоиспытателей и другими деятелями русской культуры— а мы называем лишь наиболее громкие и то далеко не все имена,— то широту всех этих связей нельзя не признать удивительной.

Правда, некоторая, сравнительно небольшая, часть этих отношений не получила по разным причинам прямого отражения в «Былом и думах». С Чернышевским, например, у Герцена была лишь одна и крайне трудная для автора «Былого и дум» встреча, о которой нельзя было публично рассказать, в частности и по конспиративным соображениям.

Однако такие «лакуны» не влияют на полноту отражения духовной идейной жизни в «Былом и думах». Думается, одна из наиболее примечательных особенностей этого произведения, выражающих его индивидуаль-

пую неповторимость, заключается в художественном отражении в нем *главных идей* и *мировоззрений* эпохи,— тех идей, которые определяли расстановку сил в духовной борьбе этих десятилетий. Это встречи Герцена и с идеями дворянской революционности, и с утопическим социализмом Сен-Симона и Оуэна, и с философией Гегеля, и со взглядами эпигонов, опошлявших последнюю, и с естественно-научным материализмом, и с воззрениями разного рода представителей буржуазной и мелкобуржуазной демократии, и с анархиствующим прожектерством Бакунина, и с мировоззрением молодой русской революционной демократии, и с идеей исторической необходимости, выдвинутой марксизмом.

Каждая из этих идей, каждое из этих мировоззрений выступают в «Былом и думах» или неотрывно от облика их носителей (вспомним портреты Чаадаева, Белинского и многих других), или как образы, складывающиеся из черт и черточек, передающих мысли и впечатления, ими вызываемые (например, о воззрениях Пьера Леру 60-х годов Герцен пишет: «Все мутит ум и давит грудь, все заставляет искать света и воздуха, все носит следы тревоги и недуга, чего-то сбившегося с пути...»).

Встречи Герцена с идеями эпохи одновременно и художественное изображение, и художественное исследование их.

Для Герцена собственная жизнь и идейная борьба эпохи нераздельны. Его путь — от отрочески беззаветного сочувствия декабристам и их делу до трудных раздумий последних лет, в период выступлений I Интернационала и в канун Парижской коммуны — это путь исканий истинной революционной теории и передовой науки.

Горький нашел замечательные слова, сказав, что Герцен «представляет собою целую область, страну изумительно богатую мыслями» [1].

В «Былом и думах» мы как бы видим путника в такой стране идей. С замечательной научной требовательностью, выработавшейся в школе классической немецкой философии, и с глубокой революционной чуткостью проникает этот неутомимый искатель и исследователь в глубь идей своего времени. Но проникает не толкаемый любознательностью только, не интеллектуальной забавы ради, как многие столь иронически очерченные им дилетанты от науки, не школярски, не подражательно.

Это человек, развивающий и творящий мысль, вновь и вновь проверяющий ее и испытывающий себя, постоянно идущий вперед и ускоряющий умственное движение своей родины и своего времени. Мысль Герцена овеяна волнением и страстью, живым человеческим чувством, в ней бьется горячее сердце, ощущается размах революционной мечты и фантазии.

Через все встречи с идеями и их носителями, через духовные коллизии и споры перед нами раскрывается мужающая и растущая мысль самого Герцена. Мы видим, как он, пусть со срывами и колебаниями, про-

[1] «А. И. Герцен в русской критике», М. 1953, стр. 253.

кладывает *свой* выстраданный путь к научному социализму. Он не дошел до него, но опыт Герцена имел огромное значение для русской передовой мысли, для ее будущего. Герцен ясно сознавал свою роль и роль своих друзей и соратников в тех поисках правильной революционной теории, которые, как указывал Ленин, начались в России в 40-х годах.

«Былое и думы» — роман о русском революционном мыслителе, достойно и гордо представлявшем Россию на форуме международных революционных, научных и литературных сил. Не случайно Ленин писал о Герцене: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» [1].

В «Былом и думах» Герцен выступает как художник, для которого борение собственной мысли, ее движение и противоречия, надежды и сомнения, иллюзии и разочарования, страстные мечты и не менее страстный скептицизм стали полным драматизма предметом высокого искусства.

И средствами искусства Герцен воплотил здесь ту высоту, которую русская мысль, его собственное мировоззрение достигли в 40-х годах. Именно этот период наложил свой отпечаток на все творчество писателя, и, в частности, на «Былое и думы».

С этим временем, с его заветами Герцен чувствовал себя связанным всю жизнь, ибо тогда «...сложилась, окрепла та мысль борьбы, которой мы остались верны» [2],— писал он в 1862 году.

Можно сказать, что в «Былом и думах» отразилась весна русской передовой мысли, русской революционной теории, сила ее юности, радость ее первых и уже замечательных открытий и побед. Здесь весь мир как бы проникается и озаряется этой мыслью, которая, овладевая будничнo-повседневным и бытовым, различными путями и средствами побеждает его.

Конечно, чем дальше повествование в «Былом и думах» удаляется от юности и переходит к тем духовным испытаниям, которые выпали на долю Герцена после поражения революции 1848 года и в 60-х годах, после нового наступления самодержавно-помещичьей реакции, тем больше в «Былом и думах» проступают краски осени, ноты грусти и печали. Но хочется сказать словами Тютчева, поэта, при всех коренных мировоззренческих отличиях во многом по глубине и остроте ощущения духовных сдвигов и драм той эпохи близкого Герцену, что и тогда

Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною...

В «Былом и думах» нашла живое воплощение и такая черта русской передовой мысли, как органическое сочетание глубокого патриотизма,

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 256.

[2] А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, М. 1959, стр. 80. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в самом тексте указанием тома и страницы.)

истинной национальной гордости со способностью ценить высокие достоинства национальных характеров других народов, вдумываться в их исторический, политический, духовный опыт.

По рельефности и тонкости воспроизведения черт и красок, присущих другим народам и нациям, Герцен в русской литературе XIX века следует непосредственно за Пушкиным.

Таковы некоторые основные линии художественного исследования, художественного мышления Герцена в «Былом и думах». Но *как* двигается его художественная мысль, каков ее склад, манера и «повадки»; иными словами, каков стиль этого произведения?

Обычно при характеристике стиля «Былого и дум» ссылаются на слова Герцена из письма к Тургеневу, восхищавшемуся этим произведением. По словам Герцена, его призвание, его жанр «...это просто ближайшее писание к разговору — тут и факты, и слезы, и хохот, и теория и я... делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей очень длинных...» (XXVI, 60)

Герцен совершенно прав в таком определении своего стиля. Он действительно писал, как говорил. Поэтому в его рукописях почти не найти стилевых вариантов, а встречаются главным образом смысловые.

Но понятие «ближайшее писание к разговору» требует пояснений. Ссылка на непринужденность герценовского стиля явно недостаточна.

Благодаря тому что в мыслях, устах и под пером Герцена русская революционная теория цвела первым цветом и впервые действенно помогала открывать и понимать целый мир, она с удивительной естественностью сопрягается с непосредственным восприятием жизни в ее самых старых и вечно юных чертах и красках. Оперируя столь разнородными материалами, стиль Герцена как бы передает одному из них качество другого. «Теория» приобретает черты непосредственности,— иначе думать, говорить, писать Герцен и не мог, а вечное, общечеловеческое и каждодневное предстает освещенное, углубленное и обобщаемое этой теорией.

Герцен пишет, например, в начале XXV главы, вспоминая о «той простой, глубокой внутренней жизни», которой характеризовалось пребывание во Владимире после женитьбы:

«Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет, а тут — любовь, найдено — *неизвестное*, все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво, постороннее и тут не бьет: они *даны* друг другу, кругом хоть трава не расти!

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться».

В этих строках даже трудно отделить друг от друга непосредственные впечатления, воссоздающие образ духовного склада юности, с ее пренебрежением к трудностям и самозамыканием в первом чувстве, от обобщающей, как бы философской характеристики этого склада при помощи таких понятий, как алгебра, отыскание неизвестного и т. д. В сущности, то и другое

срослось нерасторжимо, и целое приобрело очарование глубоко своеобразной поэтичности.

Каждый большой писатель по-своему строит и объединяет создаваемый им художественный мир, как новое поэтическое единство. По-своему достигает единства своего мира и Герцен, делая, по его собственным словам, «из беспорядка порядок». Его стиль — особенно выпукло и многогранно эти качества выступают в «Былом и думах» — сплавляет в стройное и грациозное единство резко контрастирующие друг с другом элементы: чувственно-единичное и случайное с теоретическим обобщением; интимно-частное и общее с политическим; зачатки смутных эмоций с резкой мыслью; облик человека с его миросозерцанием; этические проблемы с черточками быта, нередко служащими ироническому снижению того или иного фразерства, той или иной риторики...

«Лики святых» революции и передовой мысли и иронически подсвеченные быстрые диалоги, драматические сцены и веселые анекдоты, лирические и философские отступления — все это и многое другое сменяет друг друга, ни в чем не нарушая органичности незаметных сцеплений.

В языке Герцена философские термины неразъединимо сплетаются с высокой поэтической лексикой, архаизмы — со смелыми неологизмами и просторечием.

Не раз было сказано о том, что одна из существенных черт герценовского стиля заключается в способности сближать при помощи сопоставлений разнородные предметы, поражать блеском и неожиданностью сравнений и метафор. И здесь невольно возникают параллели с лирической прозой Гейне, в чем-то несомненно родственной Герцену.

И все же, думается, суть герценовского стиля не в такой неожиданности и эффектности сравнений (как бы смелы они ни были), а быть может, еще в более удивительном даре достигать поэтической стройности и слитности в стилевом объединении, и, если угодно, «примирении» многих противоречащих друг другу элементов. Даже само строение великого произведения, писавшегося в течение более пятнадцати лет (1852—1868) и становившегося все более отрывочным, поражает своим внутренним единством, определяемым личностью писателя.

Замечательная цельность, открытость и чистота всегда характеризовали Герцена, столь щедрого в своем общении с людьми, в дружбе, в обмене идеями и чувствами. В нем живое воплощение получила красота человеческого достоинства, поэзия чувства и ума, который Белинский назвал «осердеченным».

Для Герцена жить полно и многосторонне, наслаждаться человеческими отношениями, жизнью в ее движении и развитии, в изменчивости ее очертаний и красок, и мыслить, писать, проповедовать свои убеждения — все это было для него неотделимо одно от другого.

Белинский писал по поводу «Записок одного молодого человека», этого раннего автобиографического опыта Герцена: «Давно уже я не читал

ничего, что бы так восхитило меня. Это человек, а не рыба: люди живут, а рыбы созерцают и читают книжки, чтобы жить совершенно напротив тому, как писано в книжках» [1].

В «Былом и думах» доминирует согревающая, симпатическая и умная веселость повествовательного тона, не раз оттеняемая трагическими аккордами и отзвуками драматических событий и тем не менее сохраняющая все свое обаяние. Герцен часто давал волю шутке и даже каламбуру — он умел находить «комический бортик к трагическим событиям», его стиль блестящ и наряден, и все же это скорее «приправы» этого стиля, нежели его глубинная суть.

Главное — это высокий юмор, как его понимал Чернышевский. В юморе Герцена больше ласковой и веселой улыбки и умной иронии, нежели смеха. Полный сознания человеческого достоинства, этот юмор выражает способность автора проницательно оценивать людей, ощутить их своеобразие, их поэтичность и тут же подмечать и комические черты, им присущие, видеть и свои слабости и иллюзии и мужественно встречать лицом к лицу грозные трагические события, заставляющие улыбку отступить перед сарказмом и инвективой.

Не будет преувеличением сказать, что симпатическая веселость тона Герцена без малейшего нажима властно превращает читателя в друга автора «Былого и дум».

Начиная в 50-х годах свое произведение, вскоре завоевавшее всемирную известность, Герцен обращался тогда, в первую очередь, к близким ему людям и верным своим друзьям, проверяя на них действенность столь дорогих ему страниц. Стиль «Былого и дум» — это и стиль беседы с сердечным другом, беседы в дружеском кружке и вместе с тем столь общезначимой, что с ней можно и должно ознакомить всех.

С этим связана и своеобразная дружеская мягкость тона «Былого и дум», отнюдь не затушевывающая, однако, остроту общественных и идейных противоречий.

Объяснение этому своеобразию стиля и повествовательного тона «Былого и дум» следует искать в связях Герцена с первым, еще очень узким, поколением русской революции, с литературной эпохой, возглавленной Пушкиным.

В некоторых отношениях «Былое и думы» перекликаются с художественным миром, воплощенным великим русским поэтом (вспомним, в частности, поэзию революционной дружбы), и не случайно ряд образов пушкинской лирики отозвался в прозе Герцена, а он явился одним из творцов того русского философского языка, к созданию которого призывал родоначальник новой русской литературы.

Пушкин, певец поколения русских дворянских революционеров, впервые поэтически полнокровно утвердил мир русской жизни как мир кра-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1956, стр. 62.

соты, противостоящий уродствам действительности, и эту великую традицию по-своему, в существенно новых и отягченных гораздо более острыми внешними и внутренними конфликтами условиях развивал Герцен.

Герцен всем содержанием и стилем «Былого и дум» утверждал красоту тех новых сторон и черт русской жизни и прежде всего мира передовой мысли, которые столь пристально еще не привлекали и не могли привлечь взгляд Пушкина, глубоко чувствовавшего, однако, всю прелесть «светлых мыслей красоты».

Вера в русскую передовую мысль и в ее замечательных представителей, в великое будущее России, а также постепенно, хотя и очень медленно крепнувшее убеждение в возрастающей роли западноевропейских революционных сил и прежде всего пролетариата,— все это позволяло Герцену и на склоне лет надеяться на неминуемое торжество «исторической эстетики», то есть на победу прогрессивных, исполненных мощи, поэзии и красоты, исторических сил.

Как каждый великий художник, Герцен, найдя и открыв те стороны жизни, чье поэтическое перевоплощение влекло его неудержимо, сумел в сфере действительности увидеть и отразить *целое,* весь склад русской духовной жизни, русского человека в их исторических корнях и их движении к будущему.

II

Мы до сих пор сосредоточили внимание главным образом на *историческом* своеобразии в корнях «Былого и дум». Конечно, та роль, которую это произведение играет в духовной жизни *нашего времени,* не может быть охарактеризована вне этих исторических связей. Тем не менее определение этой роли является самостоятельной и крайне существенной задачей.

Еще в раннем своем произведении — «Записки одного молодого человека» — Герцен дал очень глубокое объяснение того, почему классические произведения обладают непреходящей ценностью и вновь и вновь перечитываются сменяющими друг друга поколениями. Он говорит здесь о себе, что любит перечитывать творения великих мастеров — Гете, Шекспира, Пушкина, Вальтер Скотта и каждый раз находит в них нечто новое: «...в промежутки какой-то дух меняет очень много в вечно живых произведениях маэстров. Как Гамлет, Фауст прежде были шире меня, так и теперь шире, несмотря на то что я убежден в своем расширении. Нет, я не оставляю привычки перечитывать; по этому я наглазно измеряю свое возрастание, улучшение, падение, направление... Человечество своим образом перечитывает целые тысячелетия Гомера, и это для него оселок, на котором оно пробует силу возраста» (I, 279).

Слова эти с полным основанием могут быть отнесены к произведениям самого Герцена. Как настоящий художник, он так полно и чувственно кон-

кретно воссоздавал те явления и стороны действительности, которые им были прочувствованы и пережиты, что это изображение продолжает жить, и мы, подходя к этим образам и мыслям, находим в них глубокое освещение вопросов, которые волнуют нас именно сегодня.

Под этим углом зрения необходимо взглянуть и на «Былое и думы». Это не означает присочинять великому произведению то, чего в нем не содержится, навязывать ему нашу, сегодняшнюю злобу дня.

Речь идет о духовных исканиях, органически присущих самому Герцену, и о том, чтобы учиться у него мудрости, поэтическому пониманию жизни и человека. Это нужно для того, чтобы успешнее искать ответы на вопросы, которые не могли быть решены в то время, а в наше время ставятся в масштабах, неведомых Герцену, и, хотя и с острейшими противоречиями, решаются практически, шаг за шагом в повседневном быту социалистического общества.

«Былое и думы» — одно из тех великих художественных творений, которые стали могучим средством самовоспитания миллионов читателей. Сам Герцен ясно понимал эту функцию художественной литературы. В 1859 году в письме к сыну, упрекая его за самозамыкание в кругу естественно-научных занятий, Герцен писал: «...без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги» (XXVI, 276).

Действительно, читая и перечитывая классические произведения, читатель «переживает века», переживает прошлое, отразившееся в книге как нечто такое, чему он сам стал современником, попутчиком.

Однако в великом художественном произведении читатель не только находит прошедшее, чудесным образом ставшее для него живым, сопереживаемым настоящим, но, оторвавшись от книги, он чувствует, что это прошедшее заставляет в чем-то по-новому взглянуть на то настоящее, которое живет и развивается вокруг.

Художественное произведение не только дает, но и требует «многосторонней шири понимания». Без глубины сопереживания и понимания великое творение себя не раскроет.

Конечно, автобиография Герцена может быть прочитана без проникновения вглубь. Ведь, например, ее первые части, рассказывающие о детстве и отрочестве, доступны и тому совсем юному читателю, которого невольно привлечет рассказ о таком смелом, благородном, блестящем сверстнике своем, но который только глазом скользнет по многим размышлениям и рассуждениям автора. И тем не менее даже такое чтение принесет свою пользу.

Но и взрослый читатель может отнестись к «Былому и думам» лишь как к занимательным, великолепно написанным мемуарам, богатым фак-

тами, портретами, историческими подробностями и анекдотами. Однако герценовское произведение способно раскрыть нечто неизмеримо большее.

Бесспорно, проблемы революции и социализма отозвались в целом ряде классических произведений русской литературы второй половины XIX века. Но «Былое и думы» — единственное из них, в центре которого находится судьба и духовный мир передового человека своего времени, с юношеских лет отдавшего себя делу русской революции, уверовавшего в идеалы социализма. Притом это был человек, всегда стремившийся к полноте жизни и умевший, по собственному выражению, жить «во все стороны» Он прошел трудный и сложный опыт русской и международной революционной борьбы и борьбы за социализм, он узнал многие разочарования, испытал колебания, и ему в последние годы своей жизни пришлось пережить немало тяжелого и мучительного в «общем» и в «частном».

К каким же выводам толкают уроки этой жизни? На примере ее мы невольно задумываемся о соотношениях личности и социализма, личности и революционной борьбы и над рядом других, не менее существенных вопросов общественной духовной жизни современности.

Дана ли человеку свобода выбора жизненного пути, способен ли он сознательно преследовать и достигать поставленные себе цели? Какова роль внешних обстоятельств, среды и исторической необходимости, и в состоянии ли человек ее познать и тем более согласовать с ней свободу выбора своих жизненных целей?

Это именно те пункты, по которым в наше время буржуазная идеология пытается опровергнуть выводы марксистско-ленинской науки, нередко привлекая для этой цели как раз пример Герцена.

Буржуазные ученые утверждают, что социалистические идеалы и тем более социалистический общественный строй противостоят интересам личности, ее расцвету, что человек обезличивается в революционной борьбе, что никакой гармонии здесь не может быть и лишь индивидуализм дает внутреннюю свободу личности.

Для таких концепций характерно и отрицание познаваемости закономерностей общественного развития, а тем самым и исторической необходимости. Социалистическое же будущее объявляется надуманной утопией, и ей противопоставляется такая богатая, ярко и полно живущая настоящим личность, как Герцен, якобы все более разочаровывавшийся в революции и социализме.

О чем же на самом деле свидетельствуют «Былое и думы» и какие выводы на этой основе вправе сделать для себя каждый?

Когда сопоставляешь первые и последнюю части «Былого и дум», то поражаешься коренным отличиям тона и настроения. В первых частях Герцен воссоздал ту светлую поэтическую атмосферу, которая окружала его в пору отрочества и юношества, а затем в 40-е годы.

Одна из самых поэтических глав первой части «Былого и дум» — это рассказ о юной и восторженной дружбе с Огаревым, проникнутой «обще-

человеческим интересом» и вдохновленной, пусть смутными, овеянными шиллеровской романтикой, но становившимися все более стойкими революционными идеалами. Герцен говорит здесь о себе и своем верном Патрокле (с героями «Илиады» Ахиллесом и Патроклом сравнивал Герцена и Огарева Чернышевский): «Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные».

И действительно, жизнь друзей как будто бы полностью оправдала их надежды, их гордую веру в себя. Они нашли то, что искали. Они оказались в авангарде того круга русских передовых людей, которые в 40-е годы сделали огромный шаг вперед в области философии, науки, литературы, искусства.

За границей Герцен сумел полноправно войти в международную демократическую и революционную среду и сыграть своими произведениями немаловажную роль в ее духовной жизни.

В 50-х годах он совершает дело гигантского революционизирующего значения — создает вольную русскую печать, получившую горячий отклик в России, вместе с Огаревым приступает к изданию «Колокола», вокруг которого стали группироваться новые революционные силы.

Казалось бы, Герцену оставалось лишь с глубоким удовлетворением всматриваться в прошедшие годы. И он имел право, по собственному выражению, надеяться на «верховный суд России, потомства, истории» (XIV, 204), который, как мы теперь знаем, увидел в Герцене великого предшественника русской социалистической революции.

Однако к этому чувству удовлетворения примешивались совершенно иные — тяжкие и мучительные — чувства и настроения, во многом проникающие собою последнюю часть «Былого и дум» (1865—1868). В чем же их корни?

Прежде всего Герцен должен был убедиться в том, что «Колокол» своей пропагандой не сумел воспрепятствовать победе реакции в России. В конце 60-х годов издание газеты оказалось бесплодным.

Молодое русское революционное поколение, ряд представителей которого был тесно связан с Герценом, в 60-х годах увидело своего вождя не в нем, а в Чернышевском.

Многие либерально настроенные друзья изменили, перешли в лагерь врагов. Герцен не мог не видеть теперь, что в тех надеждах, которые он в свое время возлагал на себя, на свое, еще очень узкое, поколение передовых людей, было немало преувеличенного, розового, романтического, не выдержавшего новых суровых испытаний.

Народнические надежды на общину оказались иллюзиями — и в России Герцен к концу жизни стал замечать пугавшие его зародыши буржуазного развития.

Во Франции, на которую Герцен раньше возлагал столько надежд, также торжествовала реакция. И хотя Герцен во второй половине 60-х го-

дов все лучше стал уяснять себе историческую роль пролетариата, тем не менее он не мог найти себе место в этом движении.

Наконец, шли годы. Большое напряжение прошедших лет не могло не оставить своих тяжких следов. Счастье в личной жизни было подорвано еще семейной драмой конца 40-х годов и вскоре загублено смертью жены. Далеко не всегда радовали дети.

Поэтому не удивительно, что в последней части «Былого и дум» ощущаются и настроения жизненных сумерек, усталости, одиночества, надвигающейся старости, настроения большого политического деятеля, лишенного в новых условиях возможности действенно вмешаться в события и невольно стремящегося «взойти в себя», подвести некоторые итоги...

Взор писателя не менее зорок, чем раньше, он схватывает красочные эпизоды, глубоко осмысляет ход жизни; Герцен по-прежнему порой шутит, и тем не менее ощущение некой скорбной тяжести не покидает читателя. Очень уж много здесь уделено внимания уходящему и обреченному.

Но Герцен никогда не был отставным сановником от революции. Он жил не своим прошлым, хотя с любовью вспоминал о нем, и не кичился своим «положением» и заслугами, а жил настоящим и будущим русской революции, интересами социализма и человечества. Он был человеком страстно убежденным, последовательно искавшим истину, правильный путь к победе социализма и больно переживавшим поэтому свои идейные поражения, отражавшие поражения революции 1848 года.

Но вот что примечательно: «светлые точки», если использовать выражение самого Герцена, появляются в этом повествовании не потому, что в его личной жизни или политической деятельности возникает что-то новое, радующее,— мало теперь таких счастливых минут у автора «Былого и дум». Такие точки, виднеющиеся еще только вдали и не легко заметные, возникают для Герцена на широком горизонте общественной борьбы.

Поэтому его радует в Италии «работничье население», их «резкий, как альпийский воздух, вид»; в России «цветы Минервы» — девушки-студенты, «эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет»; во Франции и Германии люди, оставшиеся верными идеалам социализма и ищущие новых путей, радует то, что передовая мысль стала ближе к народу, к «человеческим трясинам».

И мы чувствуем, что в такие моменты взор Герцена снова становится твердым и сияющим — это взор человека, примирившегося с собственными жертвами и потерями как с неизбежным, но, несмотря на тяжесть настоящего, находящего радость, удовлетворение и счастье в возможности увидеть великие обещания будущего.

Разочарование в исходе революции 1848 года Герцен разделял с многими буржуазными демократами различных национальностей, с которыми он общался в ту пору. Но его пессимизм не вел к примирению с буржуазной действительностью, характерному для них. Ряд этих представителей буржуазной демократии через одно-два десятилетия нашли свое место в

верхах буржуазного общества кто в роли министра, кто — директора банка, кто — депутата парламента. Их разочарование было мелким и дешевым.

Разочарование же Герцена оказалось настолько глубоким и действенным, что из его скептицизма, несмотря на временно захлестывавшие настроения отчаяния, возникала неискоренимая потребность дальнейших научно обоснованных поисков путей к революции и социализму.

Кровавое подавление в 1848 году восстания парижского пролетариата явилось толчком к тому, чтобы насмешливое презрение к западноевропейскому буржуа и к тому общественному порядку, который обеспечивал его благополучие, превратилось у Герцена в жгучую ненависть к контрреволюционному мещанству; буржуазный строй с его лживыми обещаниями свободы и равенства вызывал у автора «Былого и дум» все более резкое отвращение. Подчинение исторической необходимости Герцен никогда не понимал как покорность перед господством реакции.

В одной из последних главок «Былого и дум» Герцен воспроизводит спор француза, оставшегося на почве прежних буржуазно-демократических и утопически-социалистических верований, и немца, испытывающего, вероятно, влияния идей Маркса. Немец, посмеиваясь над иллюзиями француза, говорит: «мы идем... тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами...»

Герцену жаль француза, но сочувствует-то он идеям немца. Для Герцена диалектика, историческая необходимость — не безысходный тупик, а живой процесс, способный родить новый подъем революции. В 1870 году в Париже Герцен предчувствовал этот подъем, который уже после его смерти разрешился грозой Парижской коммуны. Поэтому-то Герцен в этой же последней части «Былого и дум» ссылался на «историческую эстетику», то есть на объективный прогрессивный характер общественного развития.

В письмах «К старому товарищу», столь высоко оцененных Лениным, Герцен писал: «Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие». Поэтому, по убеждению Герцена, пути общественного развития «...вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией» (XX, 588).

Герцен умел жить настоящим, но менее всего он был похож на беззаботного гедониста. Он воспитывал себя, если использовать его же выражение, событиями и выработал истинное уважение перед исторической необходимостью, которое, однако, никогда не превращалось в безответственное подчинение любым обстоятельствам. Он хотел и умел влиять на последние. Для Герцена именно нравственная и духовная независимость, ясность понимания и взгляда — залог возможности активного влияния личности на действительность и вместе с тем саморазвития ее.

Герцен умел брать все хорошее у настоящего, но ясно сознавал и делом подтверждал свою ответственность перед будущим, перед судьбами народных масс.

Вместе с тем необходимо уяснить себе, какие муки и страдания ума и сердца претерпел Герцен, понимая всю титаническую силу исторической необходимости и не имея еще возможности с полной уверенностью указать на те социальные силы, чья революционная энергия воплотит эту необходимость в действительности, в социализме.

Он был диалектиком, но лишь приближался — и то в последние годы — к пониманию роли экономики в общественном развитии, а тем самым и той почвы, на основе которой коренные противоречия последнего могут быть сняты.

Он искал гармонии между личностью и обществом, но увидел самую возможность ее осуществления лишь в будущем, при социализме, отдавая, однако, себе отчет в том, каким трудным этот процесс будет и тогда.

И тем не менее он упорно смотрел вперед, различая на горизонте «светлые точки» будущего. Но ведь это были только *точки*, и притом такие далекие... И тем не менее Герцен не сдался перед соблазнами индивидуализма и пессимизма.

Итак, «Былое и думы» свидетельствуют о полной несостоятельности концепций буржуазных идеологов, извращающих истинную роль Герцена. Его опыт отвергает их клевету на революцию и социализм, их противопоставление личности и социализма, личности и исторической необходимости.

«Былое и думы» воспитывают уважение к человеческой личности, к возможностям ее богатого развития, бережное отношение к человеку, к его достоинству и вместе с тем внедряют сознание всего непреодолимого значения исторической необходимости. «Былое и думы» дают глубокое представление о том, какую радость и удовлетворение доставляет верное исследование и познание путей истории и способность направить собственные силы, свою духовную энергию в том направлении, которое определяется этими путями.

Герцен еще в юности сделал такой свободный выбор жизненного пути, своих целей, своих революционных и социалистических идеалов и остался верен им.

В летописях русской передовой мысли и мировой литературы «Былое и думы» останутся непреходящим памятником духовного богатства, жизненной и поэтической шири, выстраданной стойкости великого мыслителя и художника-революционера.

Я. ЭЛЬСБЕРГ

Н. П. ОГАРЕВУ

В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет,— ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

Искандер

1 июля 1860.
Eagle's Nest. Bournemouth

Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда,— но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить, d'un jet [1], я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений — мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько *записки*, сколько *исповедь*, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого,* там-сям остановленные мысли из *Дум.* Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть,* по крайней мере мне так кажется.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир — я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности» [2]. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука

[1] сразу *(франц.).— Ред.*
[2] См. «Тюрьма и ссылка».

мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырех* месяцев... Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью), остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лет* [1], «я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время,— торопиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum'е [2], перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ощутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнию и самим счастием, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат

---

[1] Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года.

[2] Британском музее *(англ.).— Ред.*

молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы *жизни* и больше никаких следов не видать.

Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* быль отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удались,— я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного;* может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие: это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко... Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд.* Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах.

Чего юность *еще* не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

...Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет,* стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личною жизнию и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Таков остался наш союз...
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,—
И пусть мечты и люди идут мимо!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТ

(1812—1834)

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

Н. Огарев «Юмор»

ГЛАВА I

Моя нянюшка и La Grande Armée[1].*— Пожар Москвы.— Мой отец у Наполеона.— Генерал Иловайский.— Путешествие с французскими пленниками.— Патриотизм.— К. Кало.— Общее управление именьем.— Раздел.— Сенатор*

...— Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву,— говаривал я, потягиваясь на своей кроватке, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.

— И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встаньте,— отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне — его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну, как же вы узнали, ну, с чего же началось?

— Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой,— все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили: пора ехать, чего ждать? Почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил»,— так у нас у всех сердце и опустилось, сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим — а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у

[1] Великая армия *(франц.).— Ред.*

праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были щедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

— Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; подпесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович [1] говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные»,— пошли мы, и господа и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть — добрались мы наконец до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных. Один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хвать, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив. Лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню, должно

[1] Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца.

быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» — тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас — и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже [1], они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: «*Але, але*» [2], а она их ругать,— экие, мол, окаянные, такие, сякие, солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные домы, так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер...

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы, он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав la sua dolce favella [3], обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами,

[1] есть *(от франц. manger).— Ред.*
[2] Ступай *(от франц. aller).— Ред.*
[3] милую родную речь *(итал.).— Ред.*

назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина,— будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

— Я пропусков не велел никому давать, зачем вы едете? чего вы боитесь? я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади средь неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? на этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

— Я принял бы предложение вашего величества,— заметил ему мой отец,— но мне трудно ручаться.

— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire [1].

— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

---

[1] Ручаюсь честью, государь *(франц.).— Ред.*

— Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал кабалистическим словом: «Москва»; в Москве догадался и он.

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre» [1].

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен *московским* обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

— Что делать с вашими? — спросил казацкий генерал Иловайский.— Здесь оставаться невозможно, они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

— Сочтемся после,— сказал Иловайский,— и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под

[1] Брату моему императору Александру *(франц.).— Ред.*

прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных,— я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал по приказанию государя расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне не было), я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца утром староста и несколько дворовых с поспешностью взошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать, ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить, и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу, они взошли туда. Старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) середи этих *полудиких* людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти. А *дикие*

Вид на Москву с Воробьевых гор.

Литография с рисунка А. Кадоля.
1820-е годы.
Государственный литературный музей.

эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой как лунь и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна — вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и наконец, через год, перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь, дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича, он говорил с чрезвычайною живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк; но исключительное чувство национальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции. Граф Кенсона, худой,

стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи именья. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

— Да, ведь вы, стало, сражались против нас? — спросил я его пренаивно.

— Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe [1].

— Как,— сказал я,— вы француз и были в нашей армии, это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело; он сказал, обращаясь к моему отцу, что «ему нравятся такие *патриотические* чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять, граф из верности *своему* королю служил *нашему* императору». Действительно, я этого не понимал.

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его — еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устроивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо.

За мной ходили две нянюшки — одна русская и одна немка; Вера Артамоновна и m-me Прово были очень добрые женщины, но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой, а потому при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора (бывшего посланника), к моему единственному приятелю, к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей; совершенно одинокий в России, разлученный со всеми своими, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил — он все выносил с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинами —

[1] Нет, голубчик, нет, я был в русской армии *(франц.).— Ред.*

путешествие Гмелина и Палласа и еще толстую книгу «Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вынес; Кало часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз.

Перед днем моего рождения и моих именин Кало запирался в своей комнате, оттуда были слышны разные звуки молотка и других инструментов; часто быстрыми шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая на ключ свою дверь, то с кастрюлькой для клея, то с какими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе представить, как мне хотелось знать, что он готовит, я подсылал дворовых мальчиков выведать, но Кало держал ухо востро. Мы как-то открыли на лестнице небольшое отверстие, падавшее прямо в его комнату, но и оно нам не помогло: видна была верхняя часть окна и портрет Фридриха II с огромным носом, с огромной звездой и с видом исхудалого коршуна. Дни за два шум перестал, комната была отворена — все в ней было по-старому, кой-где валялись только обрезки золотой и цветной бумаги; я краснел, снедаемый любопытством, но Кало, с натянуто серьезным видом, не касался щекотливого предмета.

В мучениях доживал я до торжественного дня, в пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях Кало; часов в восемь являлся он сам в белом галстуке, в белом жилете, в синем фраке и с пустыми руками. «Когда же это кончится? Не испортил ли он?» И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и Сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость.

Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне:

— Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человечек.

«Вот оно»,— думал я и опускался, скользя на руках по поручням лестницы. Двери в залу отворяются с шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчики, одетые турками, подают мне конфекты, потом кукольная комедия или комнатный фейерверк. Кало в поту, суетится, все сам приводит в движение и не меньше меня в восторге.

Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником,— я же никогда не любил *вещей,* бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст,— усталь от неизвестности, множество свечек, фольги и запах пороха! Недоставало,

может, одного — товарища, но я все ребячество провел в одиночестве [1] и, стало, не был избалован с этой стороны.

У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; несмотря на то, они именьем управляли вместе, то есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он — им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту,— меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормошили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустройством капризных требований.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их,— потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения, сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей и убытков *по тридцати тысячи* рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки, именье было разбито на три довольно равные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения, потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме.

Это было одно из тех оригинально-уродливых существ, которые только возможны в оригинально-уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан,— и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти.

---

[1] Кроме меня, у моего отца был другой сын, лет десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с двенадцати и до тридцати он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, в которых я говорю о его уединенном, печальном существовании, выпущены мной, я их не хочу печатать без его согласия.

Он начал свою службу тоже с Измайловского полка, состоял при Потемкине чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры с архиереями он был отставлен, за пощечину, которую хотел дать или дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то господину, ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое тамбовское именье; там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости; он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни.

После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то и другое держал назаперти. Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. *Тридцать* лет длился у него процесс об аматиевской скрыпке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он, по газетам приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминанье: чем и чем он мог бы быть изукрашен!

Братья и сестры его боялись и не имели с ним никаких сношений, наши люди обходили его дом, чтоб не встретиться с ним, и бледнели при его виде; женщины страшились его наглых преследований, дворовые служили молебны, чтоб не достаться ему.

И вот этот-то страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение: я никогда прежде не видал этого мифического «брата-врага», хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев; мне очень хотелось его посмотреть и в то же время я боялся — не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца, двое близких знакомых и один добрый толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании, вдруг взошел официант и каким-то не своим голосом доложил:

— Братец изволили пожаловать.

— Проси,— сказал Сенатор с приметным волнением, мой отец принялся нюхать табак, племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлянул. Мне было велено идти наверх, я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате.

Тихо и важно подвигался «братец», Сенатор и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собою, как носят на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью — образ и протяжным голосом, несколько в нос, обратился к братьям с следующими словами:

— Этим образом благословил меня пред своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его... если б покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата...

— Ну, mon cher frère [1],— заметил мой отец своим изученно бесстрастным голосом,— хорошо и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминовения для вас, да и для нас.

— Как? что? — закричал набожный братец.— Вы меня за этим звали...— и так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и Сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон.

Что было и как было, я не умею сказать; испуганные люди забились в углы, никто ничего не знал о происходившем, ни Сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имения был сделан, тогда или в другой день — не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное именье в Рузском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

С Сенатором удалялся, во-первых, Кало, а во-вторых, все живое начало нашего дома. Он один мешал ипохондрическому нраву моего отца взять верх, теперь ему была воля вольная. Новый дом был печален, он напоминал тюрьму или больницу; нижний этаж был со сводами, толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур; кругом дома со всех сторон был ненужной величины двор.

В сущности, скорее надобно дивиться — как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противуположных, как они.

Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в

---

[1] дорогой брат *(франц.).— Ред.*

мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее,— несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ерёме», как выражался мой отец в минуты досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует.

Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне; Павел, увидя это в списках, велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод.

— Хочешь оставаться в Лондоне? — спросил сиплым голосом Павел.

— Если вашему величеству угодно будет мне позволить,— отвечал капитан при посольстве.

— Ступай назад, не теряя времени,— ответил Павел сиплым голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве.

Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александринского института и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.

Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больницы и института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в неделю в Английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.

Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах — все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или обще-

ства естествоиспытателей... да, сверх того, зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту.

Нельзя ничего себе представить больше противуположного вечно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир — вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей (прескверных), но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч; мой отец их держал отчасти для порядка и отчасти для того, чтоб два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за «Московскими ведомостями» и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором.

Отец мой почти совсем не служил; воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801 он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

После переезда Сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги — все смотрело с неудовольствием, исподлобья; само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальной и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почистить стен.

ГЛАВА II

Разговор пянюшек и беседа генералов.— Ложное положение.— Русские энциклопедисты.— Скука.— Девичья и передняя.— Два немца.— Ученье и чтенье.— Катехизис и Евангелие

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моем положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно,

что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, m-me Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки; все шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров m-me Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери.

Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастию, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством.

— Я, право,— говаривала, например, m-me Прово,— на месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт; какая отрада — все капризы да неприятности, скука смертная.

— Разумеется,— добавляла Вера Артамоновна,— да вот что связало по рукам и ногам,— и она указывала спичками чулка на меня.— Взять с собой — куда? к чему? — покинуть здесь одного, с нашими порядками, это и вчуже жаль!

Дети вообще проницательнее, нежели думают, они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе, у Сенатора, и в мужском платье переехала границу; все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца — за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке; я так привык, что всё в доме, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что он всем делал замечания, что не находил этого странным. Теперь я стал иначе понимать дело, и мысль, что доля всего выносится за меня, заволакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую, детскую фантазию.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась.

Года через два или три, раз вечером сидели у моего отца два товарища по полку: П. К. Эссен, оренбургский генерал-губернатор, и А. Н. Бахметев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородином оторвало ногу. Комната моя была возле залы, в которой они уселись. Между прочим, мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу.

— Время терять нечего,— прибавил он,— вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтоб до чего-нибудь дослужиться.

— Что тебе, братец, за охота,— сказал добродушно Эссен,— делать из него писаря? Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем,— это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все.

Мой отец не соглашался, говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии в теплом крае, куда и он бы поехал оканчивать жизнь.

Бахметев, мало бравший участия в разговоре, сказал, вставая на своих костылях:

— Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург, можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно: штатской службой, университетом вы ни *вашему молодому человеку* не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом *в ложном положении,* одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки? А мы-то с вами, да и весь наш круг? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам.

Разговор этот стоил замечаний m-me Прово и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать. Такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший прежде, как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе и хотя не разом, но мало-помалу искоренил дотла любовь и неж-

ность к эполетам, аксельбантам, лампасам. Еще раз, впрочем, потухающая страсть к мундиру вспыхнула. Родственник наш, учившийся в пансионе в Москве и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнурочками, с саблей и в четвероугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцом мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка... что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны?

Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира.

Внутренний результат дум о «ложном положении» был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что, в сущности, я оставлен на собственные свои силы, и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу с товарищами.

При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учители приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье, я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней.

На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов,— так идет всякий разговор, так идет самая жизнь.

Дети вообще любят слуг, родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как в тысяче

других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен.

Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они действительно не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать — которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севильскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?»

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие — я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах двух-трех близких нам домов в

продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится *с своим* товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение, это — Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой — крестьянской простоты при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограниченны и скорее наивны и человечественны, чем порочны.

Вино и чай, кабак и трактир — две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то что дома дешевле.

Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край — когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил лет пятнадцать тому назад Сенковский в «Библиотеке для чтения». В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом,— человек дико выры-

вается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе Irish или Scotch whisky[1] да молчали бы, а то с их бесчеловечной филантропией они накличутся на страшные ответы.

Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает — его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю.

Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не пускают корней; ум их постоянно занят, или, лучше, рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трусить взрослого мужчину, и та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех из слуг моего отца: вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было больших грехов, а если кой-что случилось, так уже покончено на духу с «батюшкой».

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для них они — дети, а для слуг — лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для *них* из снисхождения, уступают им, дразнят их и оставляют игру как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабых и простых*.

Встарь бывала, как теперь в Турции, патриархальная, династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на страшном суди-

[1] ирландскую или шотландскую водку *(англ.).— Ред.*

лище Христовом, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару божию, не как искус,— а просто оттого, что он беззащитен; сила солому ломит.

Я знавал еще в молодости два-три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение.

В одной из деревень Сенатора проживал на покое, то есть на хлебе, дряхлый старик Андрей Степанов.

Он был камердинером Сенатора и моего отца во время их службы в гвардии, добрый, честный и трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было не легко. Потом он управлял подмосковной. Отрезанный сначала войной 1812 года от всякого сообщения, потом, один, без денег, на пепелище выгорелого села, он продал какие-то бревна, чтоб не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и наконец добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним.

Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа глубоко трогали меня.

— Слышал я, государь мой,— говорил он однажды,— что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдам, а ведь не сподобил меня господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!

Я смотрел на старика: его лицо было так детски откровенно, сгорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос — все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в «кавалерии и регалиях» человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это: святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?

Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе

к концу; они, наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.

Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.

Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, то есть не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.

Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству «частного дома», были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены... являлись два полицейские солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь двугривенный, шейный платок.

Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья.

Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти стольких же женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить *мальчишек и девчонок,* которых приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни в России я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам — рублем меньше, детям лет с десяти — половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной

дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из ста рублей ассигнациями в год, другие получали половину, некоторые тридцать рублей в год. Мальчики лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада, людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получавшим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, то есть на баню и *говенье*. Взяв все в расчет, слуга обходился рублей в триста ассигнациями; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем трехсот пятидесяти рублей. Это составляет *четвертую* часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.

Плантаторы обыкновенно вводят в счет *страховую* премию рабства, то есть содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет; но страховая премия сильно понижается — премией *страха* телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.

Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи или стоя с тарелкой за столом,— нет места сомнению.

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде,— люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.

В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное — наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.

Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно и навытяжке стоял на запятках и всякий раз, когда его подтряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру: «Легче!», несмотря на то что рытвина уже была на пять шагов сзади.

Главное занятие его, сверх езды за каретой,— занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая; он отворял мне дверь в залу и говорил:

— Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу.

Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам нередко прибавлял он и тумак или «ковырял масло», то есть щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцем по голове.

Когда он разгонял наконец мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета,— большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок; тут он заводил с ним разговор.

— Что же ты, дурак, сидишь на дворе, на морозе, когда есть топленная комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза — ну? Ничего не отвечаешь?

За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок.

— Впрямь, корми собаку — все собака останется; зубы скалит и не подумает, на кого... Блохи бы заели без меня!

И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос, что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и, с полным негодованием оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами «мерзавец!» и давал ему ногой толчок. Тут обыкновенно возвращались мальчики, и он принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменился и крупная слеза скатилась по щеке — собака умерла. Вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел; это был суровый нрав, подкрепляемый сивухою и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.

Но рядом с этими дилетантами рабства какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти.

У Сенатора был повар необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый, он шел в гору; сам Сенатор хлопотал, чтоб его приняли в кухню государя, где тогда был знаменитый повар-француз. Получившись там, он определился в Английский клуб, разбогател, женился, жил барином; но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением.

Собравшись с духом и отслуживши молебен Иверской, Алексей явился к Сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч ассигнациями. Сенатор гордился *своим* поваром точно так, как гордился *своим* живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти.

Повар был поражен, как громом; погрустил, переменился в лице, стал седеть и... русский человек — принялся попивать. Дела свои повел он спустя рукава, Английский клуб ему отказал. Он нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выражаться красноречиво, сказал ей с своим важным видом, своим голосом в нос:

— Какая непрозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле!

Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует русской барыне, написала жалобу Сенатору. Сенатор ничего бы не сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения.

Повар к княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил: от капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним, да и пошла в няньки куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея, обтерханного, одичалого; его подняли на улице, квартеры у него не было, он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтоб помещик его прибрал. Больно было Сенатору, а может, и совестно; он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи; он действительно не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, воображая, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломлен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая, особенно в поваре, могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он

меня любил и часто, фамильярно трепля меня по плечу, говорил: «Добрая ветвь испорченного древа».

После смерти Сенатора мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно и значило сбыть его с рук; он так и пропал.

Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У Сенатора был, вроде письмоводителя, дворовый человек лет тридцати пяти. Старший брат моего отца, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчиком какому-то знакомому врачу для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии; молодой человек был с способностями, выучился по-латыни, по-немецки и лечил кой-как. Лет двадцати пяти он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, нисколько их не теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толочанов, должно быть, очень любил ее; он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги; когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочанов взошел при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься и просит его сказать Сенатору, что деньги, которых недостает, истратил он.

— Ты пьян,— сказал ему мой отец,— поди и выспись.

— Я скоро пойду спать надолго,— сказал лекарь,— и прошу только не поминать меня злом.

Спокойный вид Толочанова испугал моего отца, и он, пристальнее посмотрев на него, спросил:

— Что с тобою, ты бредишь?

— Ничего-с, я только принял рюмку мышьяку.

Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молоко... когда его начало тошнить, он удерживался и говорил:

— Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил.

Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдальческий голос, повторявший:

— Жжет, жжет! огонь!

Кто-то посоветовал ему послать за священником, он не хотел и говорил Кало, что жизни за гробом быть не может, что он *настолько знает анатомию.* Часу в двенадцатом вечера он спросил штаб-лекаря по-немецки, который час, потом, сказавши: «Вот и Новый год, поздравляю вас»,— умер.

Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер: во фраке, без галстуха, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет! огонь!».

В заключение этого печального предмета скажу только одно — на меня передняя не сделала никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок,— вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: *таким, как другие,* по крайней мере, я не сделался.

Сверх передней и девичьей, было у меня еще одно рассеяние, и тут, по крайней мере, не было мне помехи. Я любил чтение столько же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьезному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог теоретического изучения языков, но очень скоро выучивался кой-как понимать и болтать с грехом пополам, и на этом останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтения.

У отца моего вместе с Сенатором была довольна большая библиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудами в сырой, нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало, мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, то есть сижу смирно и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе,— иные прятались в шифоньер.

Что же я читал? Само собою разумеется, романы и комедии. Я прочел томов пятьдесят французского «Репертуара» и русского «Феатра», в каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверх французских романов, у моей матери были романы Лафонтена, комедии Коцебу,— я их читал раза по два. Не могу сказать, чтоб романы имели на меня большое влияние; я бросался с жадностью на все двусмысленные или несколько растрепанные сцены, как все мальчики, но они не занимали меня особенно. Гораздо сильнейшее влияние имела на меня пьеса, которую я любил без ума,

перечитывал двадцать раз, и притом в русском переводе «Феатра»,— «Свадьба Фигаро». Я был влюблен в Херубима и в графиню, и, сверх того, я сам был Херубим; у меня замирало сердце при чтении, и, не давая себе никакого отчета, я *чувствовал* какое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где пажа одевают в женское платье, мне страшно хотелось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайком целовать ее. На деле я был далек от всякого женского общества в эти лета.

Помню только, как изредка по воскресеньям к нам приезжали из пансиона две дочери Б. Меньшая, лет шестнадцати, была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила в комнату, не смел никогда обращаться к ней с речью, а украдкой смотрел в ее прекрасные темные глаза, на ее темные кудри. Никогда никому не заикался я об этом, и первое дыхание любви прошло, не сведанное никем, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встречался с нею, сильно билось сердце, и я вспоминал, как я двенадцати лет от роду молился ее красоте.

Я забыл сказать, что «Вертер» меня занимал почти столько же, как «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понимал и пропускал, торопясь скорее до страшной развязки, тут я плакал как сумасшедший. В 1839 году «Вертер» попался мне случайно под руки, это было в Владимире; я рассказал моей жене, как я мальчиком плакал, и стал ей читать последние письма... и когда дошел до того же места, слезы полились из глаз, и я должен был остановиться.

Лет до четырнадцати я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическом здоровье, рядом с полным равнодушием к нравственному, страшно надоедала. Предостережения от простуды, от вредной пищи, хлопоты при малейшем насморке, кашле. Зимой я по неделям сидел дома, а когда позволялось проехаться, то в теплых сапогах, шарфах и прочее. Дома был постоянно нестерпимый жар от печей, все это должно было сделать из меня хилого и изнеженного ребенка, если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья. Она, с своей стороны, вовсе не делила этих предрассудков и на своей половине позволяла мне все то, что запрещалось на половине моего отца.

Ученье шло плохо, без соревнования, без поощрений и одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя рукава и думал памятью и живым соображением заменить труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды

условившись в цене,— лишь бы они приходили в свое время и сидели свой час,— они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета в том, что делали.

Одним из самых странных эпизодов моего тогдашнего учения было приглашение французского актера Далеса давать мне уроки декламации.

— Нынче на это не обращают внимания,— говорил мне мой отец,— а вот брат Александр — он шесть месяцев сряду всякий вечер читал с Офреном le récit de Théramène [1] и все не мог дойти до того совершенства, которого хотел Офрен.

Затем принялся я за декламацию.

— А что, monsieur Dalès [2],— спросил его раз мой отец,— вы можете, я полагаю, давать уроки танцевания?

Далес, толстый старик за шестьдесят лет, с чувством глубокого сознания своих достоинств, но и с не меньше глубоким чувством скромности отвечал, что «он не может судить о своих талантах, но что часто *давал советы* в балетных танцах au Grand Opera».

— Я так и думал,— заметил ему мой отец, поднося ему свою открытую табакерку, чего с русским или немецким учителем он никогда бы не сделал.— Я очень хотел бы, если б вы могли le dégourdir un peu [3], после декламации, немного бы потанцевать.

— Monsiur le comte peut disposer de moi [4].

И мой отец, безмерно любивший Париж, начал вспоминать о фойе Оперы в 1810, о молодости Жорж, о преклонных летах Марс и расспрашивал о кафе и театрах.

Теперь вообразите себе мою небольшую комнатку, печальный зимний вечер, окны замерзли, и с них течет вода по веревочке, две сальные свечи на столе и наш tête-à-tête [5]. Далес на сцене еще говорил довольно естественно, но за уроком считал своей обязанностью наиболее удаляться от натуры в своей декламации. Он читал Расина как-то нараспев и делал тот пробор, который англичане носят на затылке, на цезуре каждого стиха, так что он выходил похожим на надломленную трость.

При этом он делал рукой движение человека, попавшего в воду и не умеющего плавать. Каждый стих он заставлял меня повторять несколько раз и все качал головой.

— Не то, совсем не то! Attention! «Je crains Dieu, cher Abner,— тут пробор,— он закрывал глаза, слегка качал головой и,

---

[1] рассказ Терамена *(франц.).— Ред.*
[2] господин Далес *(франц.).— Ред.*
[3] сделать его немного развязнее *(франц.).— Ред.*
[4] Граф может располагать мною *(франц.).— Ред.*
[5] разговор наедине *(франц.).— Ред.*

нежно отталкивая рукой волны, прибавлял: — et n'ai point d'autre crainte» [1].

Затем старичок, «ничего не боявшийся, кроме бога», смотрел на часы, свертывал роман и брал стул: *это была моя дама.*

После этого нечему дивиться, что я никогда не танцевал.

Уроки эти продолжались недолго и прекратились очень трагически недели через две.

Я был с Сенатором в французском театре: проиграла увертюра и раз, и два — занавесь не подымалась; передние ряды, желая показать, что они знают *свой* Париж, начали шуметь, как там шумят *задние.* На авансцену вышел какой-то режиссер, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказал:

— Мы просим всего снисхождения публики; нас постигло страшное несчастие: наш товарищ Далес,— и у режиссера действительно голос перервался слезами,— найден у себя в комнате мертвым от угара.

Таким-то сильным средством избавил меня русский чад от декламации, монологов и монотанцев с моей дамой о четырех точеных ножках из красного дерева.

Лет двенадцати я был переведен с женских рук на мужские. Около того времени мой отец сделал два неудачных опыта приставить за мной немца.

Немец при детях — и не гувернер и не дядька, это совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печется о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе как по-немецки. Если есть в доме гувернер, немец ему покоряется; если есть дядька, он покоряется немцу. Учители, ходящие по билетам, опаздывающие по непредвидимым причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, строят немцу куры, и он при всей безграмотности начинает себя считать ученым. Гувернанты употребляют немца на покупки, на всевозможные комиссии, но позволяют ухаживать за собой только в случае сильных физических недостатков и при совершенном отсутствии других поклонников. Лет четырнадцати воспитанники ходят тайком от родителей к немцу в комнату курить табак, он это терпит, потому что ему необходимы сильные вспомогательные средства, чтоб оставаться в доме. В самом деле, большей частию в это время немца при детях благодарят, дарят ему часы и отсылают; если он устал бродить с детьми по улицам и получать выговоры за насморк и пятны на платьях, то немец *при детях* становится просто немцем, заводит небольшую лавочку, продает

[1] Внимание! «Я боюсь бога, дорогой Абнер... а ничего другого не боюсь» *(франц.).— Ред.*

прежним питомцам мундштуки из янтаря, одеколонь, сигарки и делает другого рода *тайные* услуги им [1].

Первый немец, приставленный за мною, был родом из Шлезии и назывался Иокиш; по-моему, этой фамилии было за глаза довольно, чтоб его не брать. Высокий плешивый мужчина, он отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своим знанием агрономии; я думаю, что отец мой именно поэтому его и взял. Я с отвращением смотрел на шленского великана и только на том мирился с ним, что он мне рассказывал, гуляя по Девичьему полю и на Пресненских прудах, сальные анекдоты, которые я передавал передней. Он прожил не больше года, напакостил что-то в деревне, садовник хотел его убить косой, отец мой велел ему убираться.

На его место поступил брауншвейг-вольфенбюттельский солдат (вероятно, беглый) Федор Карлович, отличавшийся каллиграфией и непомерным тупоумием. Он уже был прежде в двух домах при детях и имел некоторый навык, то есть придавал себе вид гувернера, к тому же он говорил по-французски на «ши», с обратным ударением [2].

Я не имел к нему никакого уважения и отравлял все минуты его жизни, особенно с тех пор, как я убедился, что, несмотря на все мои усилия, он не может понять двух вещей: десятичных дробей и тройного правила. В душе мальчиков вообще много беспощадного и даже жестокого; я с свирепостию преследовал бедного вольфенбюттельского егеря пропорциями; меня это до того занимало, что я, мало вступавший в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Федора Карловича.

К тому же Федор Карлович мне похвастался, что у него есть новый фрак, синий, с золотыми пуговицами, и действительно я его видел раз отправляющегося на какую-то свадьбу во фраке, который ему был широк, но с золотыми пуговицами. Мальчик, приставленный за ним, донес мне, что фрак этот он брал у своего знакомого сидельца в косметическом магазейне. Без малейшего сожаления пристал я к бедняку — где синий фрак, да и только?

— У вас в доме много моли, я его отдал к знакомому портному на сохранение.

— Где живет этот портной?

— Вам на что?

— Отчего же не сказать?

— Не надобно не в свои дела мешаться.

---

[1] Органист и учитель музыки, о котором говорится в «Записках одного молодого человека», И. И. Экк давал только уроки музыки, не имев никакого влияния.

[2] Англичане говорят хуже немцев по-французски, но они только коверкают язык, немцы *оподляют* его.

— Ну, пусть так, а через неделю мои именины,— утешьте меня, возьмите синий фрак у портного на этот день.

— Нет, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертинент» [1].

И я грозил ему пальцем.

Надобно же было для последнего удара Федору Карловичу, чтоб он раз при Бушо, французском учителе, похвастался тем, что он был рекрутом под Ватерлоо и что немцы дали страшную таску французам. Бушо только посмотрел на него и так страшно понюхал табаку, что победитель Наполеона несколько сконфузился. Бушо ушел, сердито опираясь на свою сучковатую палку, и никогда не называл его иначе, как le soldat de Vilain-ton. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже, и не мог нарадоваться на выдумку Бушо.

Наконец, товарищ Блюхера рассорился с моим отцом и оставил наш дом; после этого отец не теснил меня больше немцами.

При брауншвейг-вольфенбюттельском воине я иногда похаживал к каким-то мальчикам, при которых жил его приятель тоже в должности «немца» и с которыми мы делали дальние прогулки; после него я снова оставался в совершенном одиночестве — скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если б вскоре новая умственная деятельность и две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах.

Изредка отпускал он меня с Сенатором в французский театр, это было для меня высшее наслаждение; я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полпиесы и, вечно куда-нибудь званный, увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина, мы жили в Старой Конюшенной, то есть очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без Сенатора.

Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, *насколько* это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастие. Священнику за уроки закона божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает

[1] дерзкий *(от франц. impertinent).— Ред.*

тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в Священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимою он извинялся тем, что священник и дьякон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных.

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие,— талант, который я сохранил до совершеннолетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная mise en scène [1] поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты

[1] постановка *(франц.).— Ред.*

буквально. «Но господь бог,— говорил он,— раскрыв ум, не раскрыл еще сердца». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского сумею держать ответ.

Вскоре религия другого рода овладела моей душой.

ГЛАВА III

Смерть Александра I и 14 декабря.— Нравственное пробуждение.— Террорист Бушо.— Корчевская кузина

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастию, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора, я бросился к двери.

— Вы не слыхали? — спросил он.

— Чего?

— Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи — останавливать кровь в жилах [1]. Если наружная кротость Александ-

---

[1] Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех *лейб*-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марье Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее; тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг; лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон-Жуане». Николай встал,— он почувствовал, что нашла коса на камень.

ра была личина,— не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья?

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии; [1] но систематического преследования не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии над начальством старого вольтерианца, остряка и болтуна и юмориста, вроде Жуи де Санглена. При Николае де Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся,

---

[1] Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев — «самый близкий человек к государю».— «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова,— заметил секретарь,— он не только близок к государю, но сидит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братий о Христе и о внутреннем человеке». Лабзина сослали в Симбирск.

что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «Ваше величество, у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастию, он не был замешан [1].

Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... и у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о *несчастных*.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна.

В старинном доме Ивашевых жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сын Ивашева хотел на ней жениться.

---

[1] Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно-оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и *патриот* Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня,— сказал ему граф,— но для полного сходства у вас недоставало одного — этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости.

Это свело с ума всю родню его: гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им; ее уговорили уехать из Петербурга, его — отложить до поры до времени свое намерение. Ивашев был одним из энергических заговорщиков; его приговорили к вечной каторжной работе. От этой mésalliance[1] родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашеву. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения; ему не удалось, и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не *изменивших* мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась в Сибирь — он ничем не облегчил ее судьбу.

Царь был строг, но справедлив.

В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство опишется с Петербургом, в каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашеве и дать ему весть о себе.

Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник; он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашева. Через день он предложил ей носить от Ивашева вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера; когда наступала ночь, он брал письмецо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталь, и возвращался к рассвету на свою работу[2].

---

[1] неравного брака *(франц.).— Ред.*

[2] Люди, хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника. И что, говоря о возвращении детей и о участии брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашева. Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому через незнакомого раскольника? Целы ли письма Ивашева? Нам кажется, будто мы имеем право на них.

Наконец, пришло позволение, их обвенчали. Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу. Ивашев не пережил ее, он умер ровно через год после нее, но и *тогда* он уже не был здесь; его письма (поразившие Третье отделение) носили след какого-то безмерно грустного, святого лунатизма, мрачной поэзии; он, собственно, не жил после нее, а тихо, торжественно умирал.

Это «житие» не оканчивается с их смертию. Отец Ивашева, после ссылки сына, передал свое именье незаконному сыну, прося его не забывать бедного брата и помогать ему. У Ивашевых осталось двое детей, двое малюток без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири — без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашева испросил у Николая позволение взять детей к себе; Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу, он ходатайствовал о возвращении им имени отца; удалось и это.

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных,— коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце... Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure[1] не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман предста-

[1] юридически *(лат.).— Ред.*

Н. А. Герцен.

Рисунок неизвестного художника.
1848 г.
Институт русской литературы АН СССР.

вил дело государю. «Все они бабы,— сказал Павел,— они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен»,— и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле[1]. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидела вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоится: с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле. Но есть и другой — это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет — это монахи властолюбия, в их чертах

---

[1] «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, осквернением кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» («Полярная звезда» на 1855).

видна сила и суровая воля. Таковы *гвардейские и армейские* императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?

Несмотря на то что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженого, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал *гатчинским*, если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева; я их переписывал тайком... (*а теперь* печатаю явно!).

Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное — история революции; я ее знал только по рассказам m-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был

в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем,— спросил я его середь урока,— казнили Людовика Шестнадцатого?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître à la patrie [1].

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов; [2] для меня было довольно: ясное дело, что поделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям régicides [3], он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностию, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

— Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко; она приезжала раз в год на святки или об масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, то есть не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

[1] Потому что он изменил отечеству *(франц.).— Ред.*
[2] сослагательных наклонений *(франц. subjonctif).— Ред.*
[3] цареубийственным *(франц.).— Ред.*

Мы переписывались, и очень, с 1824 года, но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях — и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гекзаметре», страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады»,— вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... я вспыхнул в лице, мне было не до рубленого гнева «Ахиллеса, Пелеева сына», я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» Словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек,— пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности — самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть ли не самая важная, она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями *дает* юность человеку, но человека сложившегося *берет* для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и се-

мейных отношений, в три четверти не зависящих от него, он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслажденне — все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови,— десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes[1] своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели: девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали», она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Феодоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «Il a repris son sourire de bienveillance!»[2]

Можно себе представить стройное trio, составленное из отца-игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое

---

[1] Остатки *(франц.).— Ред.*

[2] На его устах вновь появилась благосклонная улыбка! *(франц.) — Ред.*

лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак — вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак — вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретилась с неумолимой логикой жизни — с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца — своей матерью.

С своей стороны и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкнувшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она наконец склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще она любила мне читать морали,— если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастию, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневики и гороховый кисель с постным маслом, а летом — крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу,— и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий «Брут или Фабриций».

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном доломане; это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадроном, какой чистый огонек теплился для него в груди восьмнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе,— вероятно, немножко,— но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы, в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон espieglerie [1], который всегда был моим злым искусителем, наустил меня переменить булавку, то есть воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменилась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, подождав с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помирились, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан,— его-то волан и был отмечен. Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы,— она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневики и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору — так что-то холодно и дурно, взошел в свою комнату — и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал — где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало — в будущем июне вместе в Васильевском!

---

[1] шалости *(франц.).— Ред.*

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...

«Едем мы нынешний год в Васильевское или нет?» Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно,— для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем. Отец мой говорил Сенатору, что очень хотелось бы ему отдохнуть в деревне и что хозяйство требует его присмотра, но опять проходили недели.

Мало-помалу дело становилось вероятнее, запасы начинали отправляться: сахар, чай, разная крупа, вино — тут снова пауза, и, наконец, приказ старосте, чтоб к такому-то дню прислал столько-то крестьянских лошадей, — итак, едем, едем!

Я не думал тогда, как была тягостна для крестьян в самую рабочую пору потеря четырех или пяти дней, радовался от души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я с внутренним удовольствием слушал их жеванье и фырканье на дворе и принимал большое участие в суете кучеров, в спорах людей о том, где кто сядет, где кто положит свои пожитки; в людской огонь горел до самого утра, и все укладывались, таскали с места на место мешки и мешочки и одевались по-дорожному (ехать всего было около восьмидесяти верст!). Всего более раздражен был камердинер моего отца, он чувствовал всю важность укладки, с ожесточением выбрасывал все положенное другими, рвал себе волосы на голове от досады и был неприступен.

Отец мой вовсе не раньше вставал на другой день, казалось, даже позже обыкновенного, так же продолжительно пил кофей и, наконец, часов в одиннадцать приказывал закладывать лошадей. За четвероместной каретой, заложенной шестью господскими лошадями, ехали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или вместо ее две телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками; несмотря на обозы, прежде отправленные, все было битком набито, так что никому нельзя было порядочно сидеть.

На полдороге мы останавливались обедать и кормить лошадей в большом селе Перхушкове, имя которого попалось в наполео-

новские бюльтеня. Село это принадлежало сыну «старшего брата», о котором мы говорили при разделе. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженной плоскими безотрадными полями; но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались, шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры прежнего владельца доживала свой век в этой ссылке; я с любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскоро дорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистр, седой старик с шишкой на голове; повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг, бурмистр слушал его и по временам лаконически отвечал: «И то — пожалуй, что и так»,— и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая: «Когда нелегкое их пронесет».

Обед подавался на особенном английском сервизе из жести или из какой-то композиции, купленном ad hoc [1]. Между тем лошади были заложены; в передней и в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов: лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливыми горничными лет тридцать тому назад,— вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети с светло-палевыми волосами; босые и запачканные, они всё совались вперед, старухи всё их дергали назад; дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов; одни подходили *к ручке*, которую он никогда не давал, другие кланялись,— и мы уезжали.

В нескольких верстах от Вяземы князя Голицына дожидался васильевский староста, верхом, на опушке леса и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стречка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему.

Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или именье Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина

[1] для данного случая *(лат.).— Ред.*

монастыря. На отлогой стороне — село, церковь и старый господский дом. По другую сторону — гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквами видны были тамсям; леса разных цветов делали полукруглую раму, и черезо все — голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал.

При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро — лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево, и все затихнет... А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом... Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.

Каждый год или, по крайней мере, через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята, и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал

философскую статью о Шиллеровом Валленштейне — и из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем... Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой; все подернулось дымчатым испарением,— в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колена и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари[1]. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга... и тихим шагом поехали к остерии, где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?

Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
«Юмор»

...Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, блеянье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курцгалопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе — но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрыпя воротами, выходят дети, девочки — встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается палевый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:

— Что это вас нигде не сыщешь, и чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне

[1] музыканты, играющие на дудке *(от итал. pifferaro).— Ред.*

бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. вот будет завтра насморк, непременно будет.

— Ну, полноте, полноте,— говорил я, смеясь, старушке,— и насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдьте сливок получше, с самого верху.

— В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя... лакомство какое! сливки-то я уж и без вашего спроса приготовила. А вот зарница... хорошо! это к хлебу зарит.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку, этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг,— вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются... ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувши третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле.

Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то; я подошел — это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: «Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала, а я — уж я-то,— о-о-ох — и не говори!»

Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас; он сначала не узнал меня, но, когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся, староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знаково проводила нас из отчуждившегося Васильевского.

ГЛАВА IV

Ник и Воробьевы горы

Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей.

Письмо 1833

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем,— прибавил он,— мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака,— это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был

грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка, бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шепотом творя,
И четки всё перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел...
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, и с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.

«Юмор»

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта,— переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *бушотовским* терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Всё так,— заметил юный князь О.,— но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль — Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина *самого* покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались

погоном или эполетами,— но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и sansgêne [1] филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную, службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии,— сделался последним.

---

[1] бесцеремонности *(франц.).— Ред.*

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. *Сила* сломила в нас многое, *но не она* нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны,— свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно.

Напиши,— заключал он,— как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей».

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем,— но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане *он* с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим,— на беду ли, на счастье ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой, писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827—28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина,— может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов,

что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать *ты* и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру [1].

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у нас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen» [2], но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberté [3], эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем [4], лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение

---

[1] «Philosophische Briefe» <«Философские письма» *(нем.).— Ред.*>

[2] Беттина хочет спать *(нем.).— Ред.*

[3] жаргон возмужалости *(франц.).— Ред.*

[4] Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния, несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых *altkluge* Burschen <молодых старичках *(нем.).— Ред.*>, которые так хорошо знают *недостатки* его в семнадцать лет?..

Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненные, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл — смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена [1].

...А не странно ли подумать, что, умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его — наш «старый дом».

Старый дом, старый друг! посетил я
Наконец в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой.
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили.
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой.
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

[1] Писано в 1853 году.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

ГЛАВА V

Подробности домашнего житья.— Люди XVIII века в России.— День у нас в доме.— Гости и habitués[1].*— Зонненберг.— Камердинер и проч.*

Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб.

Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа, он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек accompli[2], он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех.

Трудно сказать, что́, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух вещей до того противуположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию,— помещичьей праздности.

Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства,

---

[1] завсегдатаи *(франц.).— Ред.*
[2] совершенный *(франц.).— Ред.*

со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада — русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме.

К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский grand seigneur [1] и татарский князь Н. Б. Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и esprits forts [2], всех этих Масальских, Санти и tutti quanti [3]. Все они были люди довольно развитые и образованные — оставленные без дела, они бросились на наслаждения, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения, возвышали до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтоб в этом убедиться, достаточно раз побывать в Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал вразбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и *живой* красотой. В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание, и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр.

Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни и связям принадлежал к этому же кругу; но ему ни его нрав, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь, и он перешел в противуположную крайность. Он хотел себе устроить жизнь одинокую, в ней его ждала смертельная скука, тем более что он только *для себя* хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы, незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым.

---

[1] большой барин *(франц.).— Ред.*
[2] вольнодумцев *(франц.).— Ред.*
[3] всяких других *(итал.).— Ред.*

Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски, он à la lettre[1] не читал ни одной русской книги, ни даже Библии. Впрочем, Библии он и на других языках не читал, он знал понаслышке и по отрывкам, о чем идет речь вообще в Св. писании, и дальше не полюбопытствовал заглянуть. Он уважал, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского, Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Н. Н. Бахметева. Как-то мой отец принялся за Карамзина «Историю государства Российского», узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: «Всё Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?»

Людей он презирал откровенно, открыто — всех. Ни в каком случае он не считал ни на кого, и я не помню, чтоб он к кому-нибудь обращался с значительной просьбой. Он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними он требовал одного — сохранения приличий; les apparences, les convenances[2] составляли его нравственную религию. Он много прощал или, лучше, пропускал сквозь пальцы, но нарушение форм и приличий выводили его из себя, и тут он становился без всякой терпимости, без малейшего снисхождения и сострадания. Я так долго возмущался против этой несправедливости, что наконец понял ее: он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит; в нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества.

«Душа человеческая,— говаривал он,— потемки, и кто знает, что у кого на душе; у меня своих дел слишком много, чтоб заниматься другими да еще судить и пересуживать их намерения; но с человеком дурно воспитанным я в одной комнате не могу быть, он меня оскорбляет, *фруасирует*[3], а там он может быть добрейший в мире человек, за то ему будет место в раю, но мне его не надобно. В жизни всего важнее esprit de conduite[4], важнее превыспреннего ума и всякого ученья. Везде уметь найтиться, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности».

---

[1] буквально *(франц.).— Ред.*
[2] видимость, приличия *(франц.).— Ред.*
[3] задевает, раздражает *(от франц. froisser).— Ред.*
[4] умение вести себя *(франц.).— Ред.*

Отец мой не любил никакого abandon [1], никакой откровенности, он все это называл фамильярностью, так, как всякое чувство — сентиментальностью. Он постоянно представлял из себя человека, стоящего выше всех этих мелочей; для чего, с какой целью? в чем состоял высший интерес, которому жертвовалось сердце? — я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренно презиравший людей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного судьи? — для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то что она иногда ему противуречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность, для дюжины лакеев, которых он не считал людьми!

И сколько сил, терпения было употреблено на это, сколько настойчивости и как удивительно верно была доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни. Действительно, душа человеческая — потемки.

Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность.

Разумеется, он не был счастлив, всегда настороже, всем недовольный, он видел с стесненным сердцем неприязненные чувства, вызванные им у всех домашних; он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил; он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмешка, ирония, холодная, язвительная и полная презрения,— было орудие, которым он владел артистически, он его равно употреблял против нас и против слуг. В первую юность многое можно скорее вынести, нежели *шпынянье,* и я в самом деле до тюрьмы удалялся от моего отца и вел против него маленькую войну, соединяясь с слугами и служанками.

Ко всему остальному он уверил себя, что он опасно болен, и беспрестанно лечился; сверх домового лекаря, к нему ездили два или три доктора, и он делал по крайней мере три консилиума в год. Гости, видя постоянно неприязненный вид его и слушая одни жалобы на здоровье, которое далеко не было так дурно, редели. Он сердился за это, но ни одного человека не упрекнул, не пригласил. Страшная скука царила в доме, особенно в бесконечные зимние вечера — две лампы освещали целую анфиладу комнат; сгорбившись и заложив руки на спину, в суконных или поярковых сапогах (вроде валенок), в бархатной шапочке и в

[1] вольности, несдержанности *(франц.).— Ред.*

тулупе из белых мерлушек ходил старик взад и вперед, не говоря ни слова, в сопровождении двух-трех коричневых собак.

Вместе с меланхолией росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своим именьем он управлял дурно для себя и дурно для крестьян. Старосты и его missi dominici[1] грабили барина и мужиков; зато все находившееся на глазах было подвержено двойному контролю; тут береглись свечи и тощий vin de Graves[2] заменялся кислым крымским вином в то самое время, как в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое лето ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля, он при мне раз на дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок. С тех пор я не мог на него равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько раз говорил моему отцу:

— Откуда же Шкун взял деньги на покупку дома?

— Вот что значит трезвость,— отвечал мне старик,— он капли вина в рот не берет.

Всякий год около масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенска оброк *натурой*. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свиными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали *за воду* в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы — *за тепло* в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги, делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутой старой ливрейной шинели, без жилета и куртки, в сенях кухни. Никита Андреевич видимо худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отвратить этого нельзя.

После приема мерзлой *живности* отец мой,— и тут самая замечательная черта в том, что эта шутка повторялась ежегодно,—

---

[1] господские сподручные *(лат.).— Ред.*

[2] сорт белого вина *(франц.).— Ред.*

призывал повара Спиридона и отправлял его в Охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше чем вполовину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец Слепушкин предлагал взять все гулом: и яйцы, и поросят, и масло, и рожь, «чтоб вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было». Цену он давал, само собою разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался, Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару — двухсотрублевую ассигнацию.

Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги, он и тут был оригинален, именно потому, что глубоко изучил характер старика.

Выпросит, бывало, себе рублей пятьсот месяца на два и за день до срока является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с пятьюстами рублей на куличе. Отец мой брал деньги, Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы, тысячи полторы. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок; отец мой ставил его в пример; а тот через неделю увеличивал куш и имел, таким образом, для своих оборотов тысяч пять в год наличными деньгами, за небольшие проценты, двух-трех куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов да сотню апельсин и крымских яблоков.

В заключение упомяну, как в Новоселье пропало несколько сот десятин строевого леса. В сороковых годах М. Ф. Орлов, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексеевна давала капитал для покупки именья его детям, стал торговать тверское именье, доставшееся моему отцу от Сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал осмотреть и, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет.

— Ведь вот умный человек,— говорил мой отец,— и в конспирации был, книгу писал des finances [1], а как до дела дошло, видно, что пустой человек... Неккеры! а я вот попрошу Григория Ивановича съездить, он не конспиратор, но честный человек и дело знает.

Поехал и Григорий Иванович в Новоселье и привез весть, *что леса нет*, а есть только лесная декорация, так что ни из господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза.

---

[1] о финансах *(франц.).— Ред.*

Сенатор после раздела, на худой конец, был пять раз в Новоселье, и все оставалось шито и крыто.

Чтоб дать полное понятие о нашем житье-бытье, опишу целый день с утра; однообразность была именно одна из самых убийственных вещей, жизнь у нас шла, как английские часы, у которых убавлен ход,— тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

В десятом часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальной, уведомлял Веру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась приготовлять кофей, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид, люди начинали чистить комнаты, по крайней мере показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до тех пор пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь.

За кофеем старик читал «Московские ведомости» и «Journal de St. Pétersbourg»; не мешает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтоб не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой и говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал «Journal de Francfort», а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было лет пятнадцать, Карл Иванович завел было лавку, но, не имея ни товара, ни покупщиков и растратив кой-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом «ревельского негоцианта». Ему было тогда гораздо лет за сорок, и он в этот приятный возраст повел жизнь птички божьей или четырнадцатилетнего мальчика, то есть не знал, где завтра будет спать и на что обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца; мы сейчас увидим, что это значит.

В 1830 году отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом; дом этот принадлежал графине Ростопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно не нужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, внаймы они не отдавались, в предупреждение пожара (домы были застрахованы) и беспокойства от наемщиков; они, сверх того, и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из

них дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу с условием ворот после десяти часов вечера не отпирать,— условие легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать из домашнего запаса (он их действительно покупал у нашего кучера) и состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, то есть приходить поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходить вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями.

Как ни проста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкнувший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябого и немца, не мог постоянно выносить ее. Года в два, в полтора глубоко оскорбленный Карл Иванович объявлял, что «это вовсе несносно», укладывался, покупал и менял разные вещички подозрительной целости и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То клячонка его,— он ездил на своей лошади в Тифлис и в Редут-Кале,— падала неподалеку Земли донских казаков, то у него крали половину груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились, никем не оцененные, у подножия Эльбруса на сломанное колесо; то он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой пасс. Месяцев через десять обыкновенно Карл Иванович, постарше, поизмятее, победнее и еще с меньшим числом зубов и волос, смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линялой тармаламы, ржавых черкесских кинжалов и снова поселялся в пустом доме на тех же условиях: исполнять комиссии и печь топить своими дровами.

Приметив Карла Ивановича, отец мой тотчас начинал небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье, старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например:

— Где вы покупаете помаду?

При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, пребезобразнейший из смертных, был страшный волокита, считал себя Ловласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом.

— У Буйс, на Кузнецкой мост,— отрывисто отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя.

— Как называется этот запах?

— Нахт-фиолен [1],— отвечал Карл Иванович.

— Он вас обманывает, violette[2] — это запах нежный, c'est un parfum [3], а это какой-то крепкий, противный, тела бальзамируют чем-то таким; куда нервы стали у меня слабы, мне даже тошно сделалось, велите-ка мне дать одеколонь.

Карл Иванович сам бросался за склянкой.

— Да нет, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мне сделается дурно, я упаду.

Карл Иванович, рассчитывавший на действие своей помады на девичью, глубоко огорчался.

Опрыскавши комнату одеколонью, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету (он ничего не покупал). Карл Иванович, приятно раскланявшись и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда.

После Карла Ивановича являлся повар; что б он ни купил и что б ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим.

— У-у, какая дороговизна! что это, подвозов, что ли, нет?

— Точно так-с,— отвечал повар,— дороги оченно дурны.

— Ну, так, знаешь, пока их починят, мы с тобой будем поменьше покупать.

После этого он садился за свой письменный стол, писал отписки и приказания в деревни, сводил счеты, между делом журил меня, принимал доктора, а главное — ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он, как нарочно, был создан для того, чтоб дразнить моего отца и вызывать его поучения. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение тридцати пяти лет. Камердинер, с своей стороны, не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения: он по большей части к обеду был несколько навеселе. Отец мой замечал это и ограничивался легкими околичнословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтоб не пахло водкой. Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюды, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посы-

---

[1] Ночная фиалка *(от нем. Nachtviole).— Ред.*

[2] фиалка *(франц.).— Ред.*

[3] это благоухание *(франц.).— Ред.*

лал его, например, спросить у «цирюльника Антона, не переменил ли он квартиры», прибавляя мне по-французски:

— Я знаю, что он не съезжал, но он нетрезв, уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня; пусть он проветрится, le grand air [1] помогает.

Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал; но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин, тем же спокойным голосом, звал его и спрашивал, что он ему сказал?

— Я не докладывал ни слова.

— С кем же ты говоришь? кроме меня и тебя, никого нет ни в этой комнате, ни в той.

— Сам с собой.

— Это очень опасно, с этого начинается сумасшествие.

Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальной; там он читал «Московские ведомости» и тресировал [2] волосы для продажных париков. Вероятно, чтоб отвести сердце, он свирепо нюхал табак; табак ли был у него силен, нервы носа, что ли, были слабы, но он вследствие этого почти всегда раз шесть или семь чихал.

Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил.

— Это ты чихаешь?

— Я-с.

— Желаю здравствовать.— И он давал рукой знак, чтоб камердинер удалился.

В последний день масленицы все люди, по старинному обычаю, приходили вечером просить прощения к барину; в этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает.

— Что это за почтенный старец стоит там в углу? — спрашивал он камердинера.

— Кучер Данило,— отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это — одно драматическое представление.

— Скажи пожалуйста, как он переменился! я, право, думаю, что это все от вина люди так стареют, чем он занимается?

— Дрова *таскает* в печи.

Старик делал вид нестерпимой боли.

— Как это ты в тридцать лет не научился говорить?.. таскает — как это таскать дрова? — дрова носят, а не таскают. Ну, Данило, слава богу, господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь

---

[1] свежий воздух *(франц.).— Ред.*

[2] заплетал *(от франц. fresser).— Ред.*

безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока силенка есть, ну, а теперь настанет пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех.

В этом роде он делал общий смотр.

Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скучен. Спиридон был отличный повар; но, с одной стороны, экономия моего отца, а с другой — его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак; сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, следовательно, меня. Почему? Трудно сказать...

Гости вообще ездили редко, обедать — еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз морщины моего отца,— Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружен с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле оба были под военным судом: Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а мой отец — за то, что был секундантом; потом один уехал в чужие края — туристом, а другой в Уфу — губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев, полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поесть, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время о́но съедал до ста подовых пирожков и мог, лет около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла; этим опытам я бывал не раз свидетель.

Бахметев имел какую-то тень влияния или, по крайней мере, держал моего отца в узде. Когда Бахметев замечал, что мой отец уж через край не в духе, он надевал шляпу и, шаркая по-военному ногами, говорил:

— До свиданья,— ты сегодня болен и глуп; я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц! Гегорсамер динер!..[1]

А отец мой, в виде пояснения, говорил мне:

— Impressario![2] какой живой еще Н. Н.! Слава богу, здоровый человек, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадального; мороз в двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего... с Покровки... а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... ох! недаром пословица говорит: сытый голодного не понимает!

---

[1] Покорный слуга! *(от нем. gehorsamer Diener).— Ред.*

[2] Здесь: предприимчивый *(итал.).— Ред.*

Больше снисходительности нельзя было от него ждать.

Изредка давались семейные обеды, на которых бывал Сенатор, Голохвастовы и прочие, и эти обеды давались не из удовольствия и неспроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, в день Льва Катанского, то есть в именины Сенатора, обед был у нас, а 24 июня, то есть в Иванов день,— у Сенатора, что, сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя.

Затем были разные habitués; тут являлся ex officio[1] Карл Иванович Зонненберг, который, хвативши дома перед самым обедом рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настоянной водки; иногда приезжал последний французский учитель мой, старик скряга, с дерзкой рожей и сплетник. Monsieur Thirié так часто ошибался, наливая вино в стакан, вместо пива, и выпивая его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему:

— С правой стороны вашей стоит vin de Graves, вы опять не ошибитесь,— и Тирье, пихая огромную щепотку табаку в широкий и вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку.

В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький и короткий фрак и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет собственно начинается, с тоненькой тросточкой, он представлял всей своей фигурой двадцать лет назад, в 1830—1810 год, а в 1840—1820 год. Дмитрий Иванович Пименов, статский советник по чину, был один из начальников Шереметевского странноприимного дома, и притом занимался литературой. Скупо наделенный природой и воспитанный на сентиментальных фразах Карамзина, на Мармонтеле и Мариво, Пименов мог стать средним братом между Шаликовым и В. Панаевым. Вольтер этой почтенной фаланги был начальник тайной полиции при Александре — Яков Иванович де Санглен; ее молодой человек, подававший надежды,— Пимен Арапов. Все это примыкало к общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитриеву; у него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименов всякий вторник являлся к «ветхому деньми» Дмитриеву, в его дом на Садовой, рассуждать о красотах стиля и об испорченности нового языка. Дмитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности; сначала он издал «Мысли герцога де Ларошфуко», потом трактат «О женской красоте и прелести». В этом трактате, которого я не брал в руки с шестнадцатилетнего

[1] по обязанности *(лат.).— Ред.*

возраста, я помню только длинные сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев — блондинок с черноволосыми. «Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина зато — то, то и то...» Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться, и смех у него вырастал в припадки коклюша, со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры: вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо и, когда наступал кризис,— вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше, потом, усталый от пароксизма, красный, обтирая пот с плешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало.

Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош, он был тих, добр, неловок, *литератор* и бедный человек,— стало, по всем условиям стоял за цензом; но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил, в силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начинали, под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улыбаясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят.

Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи.

— Инженер-полковник такой-то,— докладывал человек.

— Проси,— говорил мой отец и, обращаясь к Пименову, прибавлял: — Дмитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем; у него несчастный тик, когда он говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка.— При этом он представлял совершенно верно полковника.— Я знаю, вы человек смешливый, пожалуйста, воздержитесь.

Этого было довольно. По второму слову инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из руки и, наконец, вскакивал.

Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне преспокойно:

— Что это с Дмитрием Ивановичем? Il est malade[1], это спазмы; вели поскорее подать стакан холодной воды да принеси одеколонь.

Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь на перекрестках и опираясь на фонарные столбы.

Он в продолжение нескольких лет постоянно через воскресенье обедал у нас, и равно его аккуратность и неаккуратность,

[1] Он болен *(франц.).— Ред.*

Н. П. Огарев.

Портрет маслом неизвестного художника.
1830-е годы.

Государственный исторический музей.

если он пропускал, сердили моего отца, и он теснил его. А добрый Пименов все-таки ходил и ходил пешком от Красных ворот в Старую Конюшенную до тех пор, пока умер, и притом совсем не смешно. Одинокий, холостой старик, после долгой хворости, умирающими глазами видел, как его экономка забирала его вещи, платья, даже белье с постели, оставляя его без всякого ухода.

Но настоящие souffre-douleur'ы[1] обеда были разные старухи, убогие и кочующие приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемены, а долею для того, чтоб осведомиться, как все обстоит в доме у нас, не было ли ссоры между господами, не дрался ли повар с своей женой и не узнал ли барин, что Палашка или Ульяша с прибылью,— прихаживали они иногда в праздники на целый день. Надобно заметить, что эти вдовы еще незамужними, лет сорок, пятьдесят тому назад, были *прибежны* к дому княгини и княжны Мещерской и с тех пор знали моего отца; что в этот промежуток между молодым шатаньем и старым кочевьем они лет двадцать бранились с мужьями, удерживали их от пьянства, ходили за ними в параличе и снесли их на кладбище. Одни таскались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повытий и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство.

С ними бывали сцены удивительные.

— Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли, ничего не кушаешь? — спрашивал мой отец.

Скорчившаяся, с поношенным и вылинялым лицом старушонка, вдова какого-то смотрителя в Кременчуге, постоянно и сильно пахнувшая каким-то пластырем, отвечала, унижаясь глазами и пальцами:

— Простите, батюшка, Иван Алексеевич, право-с, уж мне совестно-с, да так-с, по-старинному-с, ха, ха, ха, теперь спажинки.

— Ах, какая скука! Набожество все! Не то, матушка, сквернит, что в уста входит, а что из-за уст; то ли есть, другое ли — один исход; вот что из уст выходит — надобно наблюдать... пересуды да о ближнем. Ну, лучше ты обедала бы дома в такие дни, а то тут еще турок придет — ему пилав надобно, у меня не гербергъ[2] à la carte[3].

Испуганная старуха, имевшая в виду, сверх того, попросить крупки да мучки, бросалась на квас и салат, делая вид, что страшно ест.

---

[1] козлы отпущения *(франц.).— Ред.*

[2] постоялый двор, трактир *(от нем. Herberge).— Ред.*

[3] Здесь: с подачей по карте *(франц.).— Ред.*

Но замечательно то, что стоило ей или кому-нибудь из них начать есть скоромное в пост, отец мой (никогда не употреблявший постного) говорил, скорбно качая головой:

— Не стоило бы, кажется, Анна Якимовна, на несколько последних лет менять обычай предков. Я грешу, ем скоромное, по множеству болезней; ну, а ты, по твоим летам, слава богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдруг... что за пример для *них*.

Он указывал на прислугу. И бедная старуха снова бросалась на квас да на салат.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной раз я дерзал вступаться и напоминал противуположное мнение. Тогда отец мой привставал, снимал с себя за кисточку бархатную шапочку и, держа ее на воздухе, благодарил меня за уроки и просил извинить забывчивость, а потом говорил старухе:

— Ужасный век! Мудрено ли, что ты *кушаешь* скоромное постом, когда дети учат родителей! Куда мы идем? Подумать страшно! Мы с тобой, по счастью, не увидим.

После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по полпивным и по трактирам. В семь часов приготовляли чай; тут иногда кто-нибудь приезжал, всего чаще Сенатор; это было время отдыха для нас. Сенатор привозил обыкновенно разные новости и рассказывал их с жаром. Отец мой показывал вид совершенного невнимания, слушая его: делал серьезную мину, когда тот был уверен, что морит со смеху, и переспрашивал, как будто не слыхал, в чем дело, если тот рассказывал что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не так, когда он противуречил или был не одного мнения с меньшим братом, что, впрочем, случалось очень редко; а иногда без всяких противуречий, когда мой отец был особенно не в духе. При этих комико-трагических сценах, что всего было смешнее, это естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровие моего отца.

— Ну, ты сегодня болен,— говорил нетерпеливо Сенатор, хватал шляпу и бросался вон.

Раз в досаде он не мог отворить двери и толкнул ее, что есть сил, ногой, говоря: «Что за проклятые двери!»

Мой отец спокойно подошел, отворил дверь в противуположную сторону и совершенно тихим голосом заметил:

— Дверь эта делает свое дело, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь.

При этом не мешает заметить, что Сенатор был двумя годами старше моего отца и говорил ему *ты,* а тот, в качестве меньшего брата,— *вы.*

После Сенатора отец мой отправлялся в свою спальную, всякий раз осведомлялся о том, заперты ли ворота, получал утвердительный ответ, изъявлял некоторое сомнение и ничего не делал, чтобы удостовериться. Тут начиналась длинная история умываний, примочек, лекарств; камердинер приготовлял на столике возле постели целый арсенал разных вещей: скляпок, почников, коробочек. Старик обыкновенно читал с час времени Бурьенна, «Mémorial de S-te Hélène» и вообще разные «Записки»; засим наступала ночь.

Так я оставил в 1834 наш дом, так застал его в 1840, и так все продолжалось до его кончины в 1846 году.

Лет тридцати, возвратившись из ссылки, я понял, что во многом мой отец был прав, что он, по несчастию, оскорбительно хорошо знал людей. Но моя ли была вина, что он и самую истину проповедовал таким возмутительным образом для юного сердца. Его ум, охлажденный длинной жизнию в кругу людей испорченных, поставил его en garde [1] противу всех, а равнодушное сердце не требовало примирения; он так и остался в враждебном отношении со всеми на свете.

Я его застал в 1839, а еще больше в 1842, слабым и уже действительно больным. Сенатор умер,— пустота около него была еще больше, даже и камердинер был другой, но он сам был тот же, одни физические силы изменили, тот же злой ум, та же память, он так же всех теснил мелочами, и неизменный Зонненберг имел свое прежнее кочевье в старом доме и делал комиссии.

Тогда только оценил я все безотрадное этой жизни; с сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком, каменистом пустыре, который он сам создал возле себя, но который изменить было не в его воле; он знал это, видел приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего — он был неприступен.

...Тихо проходил я иногда мимо его кабинета, когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженный своими собачонками, один-одинехонек играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка и он отдыхал от беспрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

---

[1] настороже *(франц.).— Ред.*

ГЛАВА VI

Кремлевская экспедиция.— Московский университет.— Химик.— Мы.— Маловская история.— Холера.— Филарет.— Сунгуровское дело.— В. Пассек.— Генерал Лесовский

О, годы вольных, светлых дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи, пира шум?
Где труд, столь полный ожиданий?

«Юмор»

Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала, отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слыхал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал таким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывал работникам в подвале, известить, что я получил первый офицерский чин. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны: чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавши экзамен на кандидата,— из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь к канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда, чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые «комитетские экзамены». Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, все, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин асессора, держало комитетские экзамены; это было нечто вроде *золотых* приисков, уступленных старым профессорам, дававшим privatissime [1] по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдет другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые натолковали мне этот вздор, но, видя, что все это очень мало меня трогает, решился ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом по-

[1] самым частным образом *(лат.).— Ред.*

полам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец,— сказал ему князь,— что тут затрудняться; ну, в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках — слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории.

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в Лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий *по очереди* должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян*. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо,— вместе с законом о пассах, о религиозной нетерпимости и проч. [1]

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключи-

[1] Кстати, вот еще одна из отеческих мер «незабвенного» Николая. Воспитательные домы и приказы общественного призрения составляют один из лучших памятников екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богаделен и воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна.

Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные домы и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частию оставались там, частию раздавались крестьянкам в деревни; последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт. То же с девочками: одни приготовлялись к рукодельям, другие — к должности нянюшек и, наконец, способнейшие — в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась; та сказала ей, что она из «пансионерок воспитательного дома». Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, это ей подало повод подумать о *неприличии* давать такое воспитание подкинутым детям.

Через несколько месяцев Николай *произвел* высшие классы воспитательных домов в *обер-офицерский* институт, то есть не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной — он не велел в губернских заведениях, в приказах, принимать новорожденных детей. Лучшая комментария на эту умную меру — в отчете министра юстиции в графе «Детоубийство».

тельно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западномещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение [1].

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, то есть ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять, это Франкёров курс; но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет потому, что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия.

После знаменитого раздела именья в 1822 году, о котором я рассказывал, «старший братец» переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за шестьдесят лет тогда, и все знали, что, сверх совершеннолетнего сына, у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына; «молодой» тоже было за пятьдесят. Этим браком он «привенчал», как говорили встарь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была

[1] В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся.

неизвестна; он хотел одного — лишить своих братьев наследства, и этого он достигал вполне «привенчиванием» сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 года умер.

О сыне носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума»:

— Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник,
От женщин бегает и даже от меня.

Дяди, перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как Химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

Отец перед смертию страшно теснил сына, он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, разврата циничеcкого, но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагородной жизни лауданумом; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном.

После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты.

Года через полтора он приехал в Москву, мне хотелось его видеть, я его любил за крестьян и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядей.

Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит.

Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дядям; в последний раз он виделся с моим отцом после смерти Сенатора, он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал; Химик рассердился и, потирая рукою нос, с улыбкой ему заметил: «Какой же тут риск, у меня именье *родовое,* я беру деньги для его усовершенствования, детей у меня нет, и мы друг после друга наследники».

Старик семидесяти пяти лет никогда не прощал племяннику эту выходку.

Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобычно; в большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Старуха мать его жила через коридор в другой комнатке, остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Почерневшие канделабры, необыкновенная мебель, всякие редкости, стенные часы, *будто бы* купленные Петром I в Амстердаме, креслы, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене,— все это, поставленное кой-как, наполняло три большие залы, нетопленные и неосвещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане и курили (в той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться). Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатые и курьезные вещи, отражавшиеся и двигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах; солома, остававшаяся от укладки, спокойно лежала там-сям вместе с стриженой бумагой и бечевками.

Рядом этих комнат достигалась наконец дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем Химик в замаранном халате на беличьем меху сидел безвыходно, обложенный книгами, обстановленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные, вопиющие дела,— в этом кабинете я *родился*. Отец мой, возвратившись из чужих краев, до ссоры с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 году. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева, спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, сени, лестница, передняя — все осталось, также и маленький кабинет остался.

Хозяйство Химика было еще менее сложно, особенно когда мать его уезжала на лето в подмосковную, а с нею и повар. Камердинер его являлся часа в четыре с кофейником, распускал в нем немного крепкого бульону и, пользуясь химическим горном, ставил его к огню вместе с всякими ядами. Потом он приносил из трактира полрябчика и хлеб — в этом состоял весь обед. По окончании его камердинер мыл кофейник, и он входил в свои естественные права. Вечером снова являлся камердинер, снимал с

дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наследству от отца, и груду книг, стлал простыню, приносил подушки и одеяло, и кабинет так же легко превращался в спальню, как в кухню и столовую.

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и де Кандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангутанга его все интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, то есть верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов нисколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. «Кант принимает гипотезу бога»,— сказал ему Бонапарт. «Sire [1],— возразил астроном,— мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химика шел далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Илера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их ни найти, ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой *больше ждут, нежели она в состоянии дать*. Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их;

[1] Государь *(франц.).— Ред.*

он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет с шпицем, позволяя ему себя теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался à la charge [1], не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, то есть лет через двенадцать, я много раз поминал Химика так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины,— мы уже говорили об этом,— которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению.

Перед окончанием моего курса Химик уехал в Петербург, и я не видался с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в подмосковную, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак.

По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались; Химик меня ожидал и даже приготовил обед и две бутылки шампанского. Он через четыре или пять лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно:

— Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите семейную жизнь, брак? Что, хорошо, что ли, или не очень?

Я смеялся.

— Какая смелость с вашей стороны,— продолжал он,— я удивляюсь вам; в нормальном состоянии никогда человек не может

[1] к нападению *(франц.).— Ред.*

решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали две, три партии очень хорошие, но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок, пожалуй, будет мне запрещать курить мой табак (он курил нежинские корешки), поднимет шум, сумбур, тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве.

— Остаться мне у вас ночевать или ехать в Покровское? — спросил я его после обеда.

— Недостатка в месте у меня нет,— ответил он,— но для вас, я думаю, лучше ехать, вы приедете часов в десять к вашему батюшке. Вы ведь знаете, что он еще сердит на вас; ну — вечером, перед сном у старых людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, он вас примет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра; утром вы его найдете совсем готовым для сражения.

— Ха, ха, ха,— как я узнаю моего учителя физиологии и материализма,— сказал я ему, смеясь от души,— ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам, вроде гетевского Вагнера, надоедать моим идеализмом и выслушивать не без негодования ваши охлаждающие сентенции.

— Вы с тех пор довольно жили,— ответил он, тоже смеясь,— чтоб знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава.

После мы как-то разошлись с ним; вероятно, мы оба были неправы... Тем не менее в 1846 он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?». Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился за ваши «Письма об изучении природы»; в них я понял (насколько человеческому уму можно понимать) немецкую философию — зачем же, вместо продолжения серьезного труда, вы пишете сказки?» Я отвечал ему несколькими дружескими строками — тем наши сношения и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель, когда нервы ослаблены, и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более что я храню серьезную и добрую память о нем.

Итак, наконец затворничество родительского дома пало. Я был au large;[1] вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым — шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше окли-

[1] на просторе *(франц.)*. — *Ред.*

матился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения.

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделывался от провожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю: официально — потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по нескольку дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для *своего* спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута; до одиннадцати меня мыла в корыте Вера Артамоновна; стало, очень последовательно — за мной, студентом, посылали слугу и до двадцати одного года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет... до тридцати пяти.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоящей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет,— мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой,

как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся,— но и те молчали [1].

Один пустой мальчик, допрашиваемый своею матерью о маловской истории под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать — *аристократка* и княгиня — бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять,— отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх, ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами,— заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом

---

[1] Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича.

и рысью, и буря поднялась — свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его, Pereat!»[1] Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17—18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis[2] с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

Итак, дело закипело; на другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал à la lettre, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что́ ему говорить.

— Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории,— отвечал я ему.

— А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

— Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую.

— Он не поверит.

— Это уж его дело.

---

[1] Да сгинет! *(лат.)* — *Ред.*

[2] Горе побежденным *(лат.)*.— *Ред.*

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона: пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

— Слушайте,— сказал я,— вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями; вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете,— много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных,* то есть до 1812 года. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à l'instar[1] конноегерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica»[2], неизвестно зачем проживав-

[1] вроде *(франц.).— Ред.*

[2] «Медицинское вещество» *(лат.).— Ред.*

шим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию,— с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню — bâton de coton [1], яд — рыбой (poisson [2]), а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится,— мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову, — времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну *Баваркой* [3], а другую *Пруденкой* [4].

Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке — меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь; видно, меня не первого вели, когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова, князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полупочи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем.

Раз как-то товарищ попечителя Панин, брат министра юстиции, верный своим конногвардейским привычкам, вздумал обойти

---

[1] хлопчатобумажной палкой вместо: «cordon de coton» — хлопчатобумажным фитилем *(франц.).— Ред.*

[2] Яд — poison; рыба — poisson *(франц.).— Ред.*

[3] Болтушкой *(от франц. bavard).— Ред.*

[4] Трусихой *(от франц. prudent).— Ред.*

ночью рундом государственную тюрьму в университетском подвале. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтобы снаружи не было видно, и принялись за наш ночной завтрак, раздался стук в наружную дверь; не тот стук, который своей слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышат, нежели то, что не услышат; нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер, мы спрятали бутылки и студентов в небольшой чулан, задули свечу и бросились на наши койки. Взошел Панин.

— Вы, *кажется,* курите? — сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь, из-за густых облаков дыма.— Откуда это они берут огонь, ты даешь?

Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собою трут. Инспектор обещал его отнять и обобрать сигары, и Панин удалился, не заметив, что количество фуражек было вдвое больше количества голов.

В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой, но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным, и я спросил инспектора, могу ли остаться; он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев, и, сказавши: «Сидите, пожалуй», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю.

Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не восемь дней, а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко.

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à même [1] продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие сво-

[1] дать ему возможность *(франц.).— Ред.*

ими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса — от Федора Ивановича Чумакова, *подгонявшего* формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и x за известное, до Гавриила Мягкова, читавшего самую *жесткую* науку в мире — тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку: застегнутый до горла, в несгибающемся галстуке, он больше командовал свои лекции, чем говорил.

— Господа! — кричал он,— на поле! *Об артиллерии!*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто, что на марже[1] такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет, если б он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, то есть водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось,— он отправил, вместо себя, племянника...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр),— принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы,— вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси.

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей,— с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от

[1] полях книги *(от франц. marge).— Ред.*

высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativité [1] сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын,— сказал как-то лорд Дюрам,— настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» — не понимаю. Будьте уверены: князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом.

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — все явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с трехугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще и именно потому говорящий очень медленно,— каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал — я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах *отдать приказ,* по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густо-сиплым, прочел свое стихотворение, начинавшееся так:

Humboldt — Prométhée de nos jours! [2]

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими — вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I...; насилу

[1] желания понравиться *(франц.).— Ред.*
[2] Гумбольдт — Прометей наших дней! *(франц.) — Ред.*

Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях [1].

У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все Blumenstreuen; [2] у нас — подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все «честь имею явиться к вашему превосходительству». Тут же, по несчастью, прибавилась слава Листа как известного ловласа; дамы толпились около него так, как крестьянские мальчики на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все говорило только с ним одним, отвечало только ему. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:

— Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.

В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям: Кошуту, потом Гарибальди и прочим; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV

---

[1] Как розно было понято в России путешествие Гумбольдта, можно судить из повествования уральского казака, служившего при канцелярии пермского губернатора; он любил рассказывать, как он провожал «сумасшедшего прусского принца Гумплота». «Что же он делал?» — «Так, самое, то есть, пустое: травы наберет, песок смотрит, как-то в солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань, что на дне; ну, я достал, обыкновенно, что на дне бывает, а он спрашивает: что, внизу очень холодна вода? Думаю — нет, брат, меня не проведешь, сделал фрунт и ответил: того, мол, ваша светлость, служба требует — все равно, мы рады стараться».

[2] осыпание цветами *(нем.).— Ред.*

столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда в пору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,— вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии... И он уже умер!

Где наш старец Ланжерон!
Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало!

Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата,— он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: «Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии», потом он садился и продолжал: «о глиноземии...» У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: «Кристаллизация — не кристаллизуется, употребление — никуда не употребляется, польза — вред, приносимый организму...»

Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял: «Господа, это обман». В сельском хозяйстве он находил *моральными* качествами хорошего петуха, если он «охотник петь и до кур», и отличительным свойством аристократического барана — «плешивые коленки». Он умел тоже

трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это — прозопопея» [1].

Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся... Я шепнул ему:

— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

— Не хвались, идучи на рать...— отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

Я чуть не захохотал, но, когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавёре. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну — он сказал что-то одними гласными, так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал.

Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял «Угара», а жена жандармского полковника — «Марфу» при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру и занавесь стала, как-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы с Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль, или до того она боялась, что я испорчу дело,

---

[1] олицетворение *(от франц. prosopopée).— Ред.*

что она мне подала огромный стакан шампанского, но и с ним я был едва жив.

С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне, это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю-Ролленом.

Но не довольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это, останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года.

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая,— раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве!» — разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, не известная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур

с трупами. Бюльтени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнию отпял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что тот-то занемог, что такой-то умер...

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущение грехов; самые священники, привыкшие обращаться с богом запанибрата, были серьезны и тропуты. Доля их шла в Кремль; там на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился — да мимо идет чаша сия. На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад.

Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха, во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности. Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский; все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем А. Н. Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Синод запретил учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма; может, именно по соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем.

Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть; в его проповедях просвечивал тот христианский, неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвятительного амвона говорил о том, что человек никогда не может быть *законно* орудием другого, что между людьми может только быть обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселения — рабы.

Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах: «Гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь». Потом, утешая их, он прибавлял, что «они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими (вероятно, других, *кроме* чиновников, не было налицо) есть еще бóльшие преступники», и он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом.

Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры превзошла все остальные; он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму; Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу.

Так играл в оппозицию московский митрополит.

Молебствие так же мало помогло от заразы, как хлористая известь; болезнь увеличивалась.

Я был все время жесточайшей холеры 1849 в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты[1] были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц,— одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse[2] привели себя в распоряжение холерного

[1] сборы пожертвований *(от франц. collecte).— Ред.*
[2] в полном составе *(франц.).— Ред.*

комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями,— и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента-малороссиянина, кажется Фицхелаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он наконец получил его — в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен — и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обагренную кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения,— и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.

Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя,—

как говорит Пушкин,— а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклифовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!» — как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и форейтор Сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* — Два

листа «Journal des Débats», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы всё принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий языческий Пан умер». Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамена Констана до Дюпон де Лёра и Армана Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уже недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume! [1]

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он

[1] Нет! Это не пустые мечты! *(нем.)* — *Ред.*

был потрясен, *испуган*, он усомнился[1] в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк-студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова, но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день — тоже нет. Мы стали спрашивать, казеннокоштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить. Тем и кончилось, *мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека*[2].

Прошло несколько месяцев; вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов — называли Ко-

---

[1] Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову: «Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе, в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами».

«Записки» партизана не оставляют никакого сомнения, что Николай, как Аракчеев, как все бездушно жестокосердые и мстительные люди, был *трус*. Вот что рассказывал Давыдову генерал Чеченский: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма *бледным, душа была в пятках*».

А вот что рассказывает сам Давыдов: «Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на *второй* день, когда уже все успокоилось. Государь был в Петергофе и как-то сам случайно проговорился: «Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы». Вместо озабоченного прислушивания в саду и беспрерывных отправок курьеров в Петербург,— добавляет Давыдов,— он должен был лично поспешить туда; так поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек. На следующий день (когда все было усмирено) государь, въехав в коляске в толпу, наполнявшую площадь, закричал ей: «На колени!» — и толпа поспешно исполнила его приказание. Государь, увидев несколько лиц, одетых в партикулярных платьях (в числе следовавших за экипажем), *вообразил*, что это были лица подозрительные, приказал взять этих несчастных на гауптвахты и, обратившись к народу, стал кричать: «Это всё подлые полячишки, они вас подбили!» Подобная неуместная выходка совершенно испортила, по моему мнению, результаты».— Каков гусь был этот Николай?

[2] А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили?

стенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других; мы их знали коротко,— все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия,* в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что́ с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение — а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пассеком.

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, то есть ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш, провинциальный; он далеко не так пошл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастия развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел ото всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

— Хочешь познакомиться с Кетчером, о котором ты столько слышал? — говорит мне Вадим.

— Непременно хочу.

— Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай,— он будет у меня.

Я прихожу — Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу,— он берет книгу.

— Да вы,— говорит он, раскрывая ее,— вы — Герцен?

— Да, а вы — Кетчер?

Начинается разговор — живей, живей...

— Позвольте,— грубо перебивает меня Кетчер,— позвольте, сделайте одолжение, говорите мне *ты*.

— Будемте говорить *ты*.

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; с этой минуты гнев и милость, смех и крик Кетчера раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь.

Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское именье. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалека от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки и других... я хотел сказать — яств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было,— итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой, ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью — нашей.

Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского *посещения;* она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастие не на каждого страдальца, а на чело тех, которые *умели* вынести.

Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлюссельбург и потом сослан в Сибирь на поселенье. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но Пассек был *забыт*. Он был племянник того Пассека, который участвовал в убийстве Петра III, потом был генерал-губернатором в польских провинциях и *мог требовать* долю наследства, уже перешедшего в другие руки, эти-то другие руки и задержали его в Сибири.

Содержась в Шлюссельбурге, Пассек женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась, устрашенная ссылкой. Сначала они в Сибири кой-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо и тем скорее, что семья росла числом. В нужде, в работе, лишенные теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков; отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий, он воспитал их примером, мать — самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. Да чего бояться слов,— это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи — невероятно, и всё с поднятой головой, нисколько не сломившись.

В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков; они ее берегли для прогулки, чтоб посторонние не видали крайности.

В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию. Дело было зимой; шутка ли подняться с такой семьей без шуб, без денег из Тобольской губернии, а с другой стороны, сердце рвалось — ссылка всего невыносимее после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кой-как; кормилица-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кой-как сколоченные ею, им на дорогу, прося только, чтоб и ее взяли; ямщики провезли их до русской границы за бесценок или даром; часть семьи шла, другая ехала, молодежь сменялась, так они перешли дальний зимний путь от Уральского хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, их надеждой — там их ждал голод.

Правительство, прощая Пассеков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю именья. Истощенный усилиями и лишениями, старик слег в постель; не знали, чем будут обедать завтра.

В это время Николай праздновал свою коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу, везде огни, щиты, наряды... Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение именья. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут «венчанного и превознесенного» царя. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую.

Николаю тогда было около тридцати лет, и он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат

В. В. Пассек.

Портрет маслом неизвестного художника.
1830-е годы.
Государственный литературный музей.

натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту *непоколебимую* твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть и какая необходимость не опоздать минутой на развод?

Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано.

Не вынес больше отец, с него было довольно, он умер. Остались дети одни с матерью, кой-как перебиваясь с дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья; трое блестящим образом окончили курс в университете и вышли кандидатами. Старшие уехали в Петербург; оба отличные математики, они, сверх службы (один во флоте, другой в инженерах), давали уроки и, отказывая себе во всем, посылали в семью вырученные деньги.

Живо помню я старушку мать в ее темном капоте и белом чепце; худое бледное лицо ее было покрыто морщинами, она казалась с виду гораздо старше, чем была; одни глаза несколько отстали, в них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала нам их письма, она с таким свято-глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез.

Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости, ходила около стола, хлопотала и, вдруг останавливаясь, смотрела на свою молодежь с такою гордостью, с таким счастием и потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая: «Не правда ли, как они хороши?» Как в эти минуты мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку! И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачем она не умерла за одним из этих обедов?

В два года она лишилась трех старших сыновей. Один умер блестяще, окруженный признанием врагов, середь успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердца матери... Другим даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила их, давила — пока продавила грудь.

Бедная мать! И бедная Россия!

Вадим умер в феврале 1843 г.; я был при его кончине и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем не смягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своем à parte [1], но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали в месте. Товарищ попечителя признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать кафедры за известные правительству связи его с *злоумышленными людьми.*

Вадим остался без места, то есть без хлеба,— вот его Вятка.

Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него; в семилетней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности перекликнуться с ними, здоровые мышцы его износились.

— Раз,— сказывала мне его жена потом,— у нас вышли все деньги до последней копейки; накануне я старалась достать где-нибудь рублей десять, нигде не нашла; у кого можно было занять несколько, я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги; мы думали об одном — что же завтра будут есть дети? Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтиться. Я видела, что ему очень тяжело, мне было страшно, но все же я радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потом стала думать, что делать: все сколько-нибудь ценные вещи — кольцы, ложки — давно были заложены; я видела один выход: приходилось идти к *нашим* и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло в голову спросить, не продал ли он хоть один экземпляр его книги; он был дней пять перед тем, но ничего не нашел; со страхом взошел он в его лавку. «Очень рад вас видеть,— сказал ему Ширяев,— от петербургского корреспондента письмо, он продал на триста рублей ваших книг, желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему

[1] Здесь: в семейной жизни *(франц.).— Ред.*

пятнадцать золотых. Вадим потерял голову от радости, бросился в первый трактир за съестными припасами, купил бутылку вина, фрукт и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавила водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивши его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселый и радостный, как бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин не выпускает меча из руки, чувствуя, что сам ранен навылет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году; обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно — это эполеты Полежаева, это прощение Кольрейфа, сделанное не русским царем, а русской жизнью.

Вадим таял, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года,— страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть.

За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют, точно догорающие свечи, в комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, он спрашивал меня, я подошел к нему и тихо взял его за руку, его жена назвала меня, он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей, он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком; тут в ближней церкви ударили в колокол; Вадим прислушался и сказал: «Это заутреня». Больше он не произнес ни одного слова... Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника; добрый, милый молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал сторы... я вышел вон, на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гроб.

Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина, покойник, по русскому обычаю, лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом, сквозь слез, снимал его портрет; возле покойника молча, сложа руки, с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и

глубокую «Скорбь». Женщина эта была немолода, но следы строгой, величавой красоты остались; завернутая в длинную, черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно.

Я остановился в дверях.

Прошли две-три минуты — та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: «Прощай! прощай, друг Вадим», твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал, он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось, я молча сел у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря, Е. Черткова.

Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве.

Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам, прах Веневитинова с надписью: «Как знал он жизнь, как мало жил!» Много знал и Вадим жизнь!

Судьбе и этого было мало. Зачем в самом деле так долго зажилась старушка мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта, чего было жить еще! Кто дорожит счастием, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.

Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя после того, как Диомид был убит, он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд было ли ему сорок лет, а он был старший.

Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени; последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил...

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в *намерении* составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — *Сунгурова.* Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно *пятнадцать лет,* именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16—17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

— А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся,— сказал Киреевский,— и счет.

— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.

— Об этом нечего говорить.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж *нам беречь их имена?* — С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, *это еще хуже.* На первый раз государь *так милосерд, что он вас прощает,* только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, в *вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его *слабость* с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через *десять лет* из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за *смерть*. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры. Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого посельщика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в *предупреждение* побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила *один* удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

— Боже мой,— сказал лекарь,— знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

— Вот больной,— сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полуобритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

— Что, брат, плохо? — сказал я больному и прибавил офицеру: — идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня не узнаете»,— прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

— Извините меня,— сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку,— не могу припомнить.

— Я — Сунгуров,— отвечал он.

— Бедный Сунгуров! — повторил лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? — спросил я.

— Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске*. Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили, впрочем сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила* в Пречистенской части; грудной ребенок там и умер. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

ГЛАВА VII

Конец курса.— Шиллеровский период.— Молодая юность и артистическая жизнь.— Сен-симонизм и Н. Полевой

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспанные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес, все это как всегда. Я писал *астрономическую* диссертацию на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес *серебра*.

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен,— я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься, да и только,— и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорты, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу.

А в самом деле, профессора удивились бы, что я в столько лет так много пошел назад. Раз это со мной уже и случилось [1].

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сеням. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец вышел Гейман.

— Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы — кандидат.

— Кто еще? кто еще?

— Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно-хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия, и отчего же не признаться, и название кандидата, полученное сразу [2].

Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнию, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... и я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

---

[1] В 1844 году встретился я с Перевощиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал:

— Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства-с помешали-с заниматься делом-с — у вас прекрасные-с были-с способности-с.

— Да ведь не всем же,— говорил я ему,— за вами на небо лезть. Мы здесь займемся, на земле, кой-чем.

— Помилуйте-с, как же-с это-с можно-с, какое занятие-с, Гегелева-с философия-с! Ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с. Какое-с это дело-с. Нет-с!

Я долго смеялся над этим приговором, то есть долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был скверный, и если птичий, то, наверно, птицы, состоящей при Минерве.

[2] В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я извещал *кузину,* бывшую тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. «Экзамен кончился, и я кандидат! Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера» (26 июня 1833). Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления. Но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому (Александру Драшусову). Во втором письме, от 6 июля, сказано: «Сегодня акт, но я не был, я не хотел быть *вторым* при получении медали».

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних; но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи; все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от *истинных* падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край; я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек *серьезно* должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто, открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки.

Я считаю большим несчастием положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские *пожилые* люди лет в пятнадцать от роду — просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с реставрацией, «с воскресением старости» — юность вовсе не совместна,— все становится совершеннолетним, деловым, то есть мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаически плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились оттого, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутая из воды на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие — на иезуитскую уду.

Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность *артистическим* периодом, то есть

живет, если нет денег, в маленьких кафе с маленькими гризетками в quartier Latin [1], и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период польдекоковский; в нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое — и человек готов в commis [2] торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть — жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет; практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин (следствие многочисленных побед над *побежденными* по ремеслу). Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увядших знаменитостей, d'un vieux prostitué [3], живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки; ему подражают в произношении, в питье, а главное — в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд.

В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, то есть безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север — по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых baby [4], обороты, «Times», парламент и придавливающий к земле ольдпорт [5].

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела.

И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня — 6 декабря: Николин день. Обилие Николаев страшное: Николай Огарев, Николай Сатин, Николай Кетчер, Николай Сазонов...

— Господа, кто празднует именины?

— Я! Я!

— А я на другой день.

— Это все вздор, что такое на другой день? Общий праздник, складку! Зато каков будет и пир!

— Да, да, у кого же собираться?

---

[1] Латинском квартале *(франц.).— Ред.*
[2] приказчики *(франц.).— Ред.*
[3] старого развратника *(франц.).— Ред.*
[4] детей *(англ.).— Ред.*
[5] старый портвейн *(от англ. old port).— Ред.*

— Сатин болен, ясно, что у него.

И вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к «Яру» заказывать ужин, другой — к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпиграф:

De près ou de loin,
Mais je fournis toujours [1].

Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу Rivesaltes mousseux [2]. В Париже я на карте у ресторана увидел это имя, вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но, увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся.

При этом я не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у Сатина. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись «Хевери», и потому решился дать праздник не только нам, но и pour les gros bonnets [3], то есть позвал Полевого, Максимовича и прочих. Накануне он с утра поехал с Полежасвым, который тогда был с своим полком в Москве, делать покупки, накупил чашек и даже самовар, разных ненужных вещей и, наконец, вина и съестных припасов, то есть пастетов, фаршированных индеек и прочего. Вечером мы пришли к Сатину. Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую; нас было человек пять, к концу вечера, то есть к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов.

Огорчился было Соколовский, но скрепив сердце подумал, подумал и написал ко всем gros bonnets, что он страшно занемог и праздник откладывает.

Для пира *четырех именин* я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена.

— A la lettre,— отвечал я ему. Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре или в великой пятнице.

---

[1] Близко или далеко, но я доставляю всегда *(франц.)*. Игра слов: De près (близко) и Депре — фамилия.— *Ред.*

[2] шипучего вина ривесальт *(франц.).— Ред.*

[3] для важных особ, для «шишек» *(франц.).— Ред.*

После ужина возникал обыкновенно *капитальный* вопрос,— вопрос, возбуждавший прения, а именно: «Как варить жженку?» Остальное обыкновенно елось и пилось, как вотируют по доверию в парламентах, без спору. Но тут каждый участвовал, и притом с высоты ужина.

— Зажигать — не зажигать еще? как зажигать? тушить шампанским или сотерном? [1] класть фрукты и ананас, пока еще горит или после?

— Очевидно, пока горит, тогда-то весь аром перейдет в пунш.

— Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда.

— Все это вздор! — кричит Кетчер всех громче.— А вот что не вздор, свечи надобно потушить.

Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, француз, присланный от «Яра», готов; он приготовляет какой-то антитезис жженки, напиток со льдом из разных вин, à la base de cognac; [2] неподдельный сын «великого народа», он, наливая французское вино, объясняет нам, что оно потому так хорошо, что два раза проехало экватор.

— Oui, oui, messieurs; deux fois l'équateur, messieurs! [3]

Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен и вообще пить больше не надобно, Кетчер кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем.

— Пора тушить! Пора тушить!

Огонь краснеет от шампанского, бегает по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием.

А тут отчаянный голос:

— Да помилуй, братец, ты с ума сходишь: разве не видишь, смола топится прямо в пунш.

— А ты сам подержи бутылку в таком жару, чтоб смола не топилась.

— Ну, так ее прежде обить,— продолжает огорченный голос.

— Чашки, чашки, довольно ли у вас их? сколько нас... девять, десять... четырнадцать,— так, так.

— Где найти четырнадцать чашек?

— Ну, кому чашек недостало — в стакан.

— Стаканы лопнут.

---

[1] сорт белого вина *(франц. sauternes).— Ред.*

[2] на коньяке *(франц.).— Ред.*

[3] Да, да, господа, два раза экватор, господа! *(франц.) — Ред.*

— Никогда, никогда, стоит только ложечку положить.

Свечи поданы, последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт, и нет его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась! — говорят со всех сторон.

На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки — смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отрава.

Входит Петр Федорович.

— А вы-с сегодня пришли не в своей шляпе: наша шляпа будет получше.

— Черт с ней совсем!

— Не прикажете ли сбегать к Николай-Михайловичеву Кузьме?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы?

— Не мешает-с на всякий случай.

Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича.

— Ты к Кузьме ступай, да только прежде попроси у повара мне кислой капусты.

— Знать, Лександ Иваныч, именинники-то не ударили лицом в грязь?

— Какой в грязь! Эдакого пира во весь курс не было.

— В университет-то уже, должно быть, сегодня отложим попечение?

Меня угрызает совесть, и я молчу.

— Папенька-то ваш меня спрашивал: «Как это, говорит, еще не вставал?» Я, знаете, не промах: голова изволит болеть, с утра-с жаловались, так я так и сторы не подымал-с. «Ну, говорит, и хорошо сделал».

— Да дай ты мне, Христа ради, уснуть. Хотел идти к Сатину, ну и ступай.

— Сию минуту-с, только за капустой сбегаю-с.

Тяжелый сон снова смыкает глаза; часа через два просыпаешься гораздо свежее. Что-то они делают там? Кетчер и Огарев остались ночевать. Досадно, что жженка так на голову действует, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканом; я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку.

Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара.

— У тебя голова болит сегодня?

— Очень.

— Может, слишком много занимался? — И при этом вопросе

видно, что прежде ответа он усомнился.— Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаши [1] и у Огарева?

— Как же-с.

— Потчевали, что ли, они тебя... именины? Опять суп с мадерой? Ох, не охотник я до всего до этого. Николаша-то любит, я знаю, не вовремя вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павел Иванович... ну, двадцать девятого июня именины, позовет всех родных, обед, как водится,— все скромно, приличпо. А это, по-нынешнему, шампанского да сардинки в масле,— противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю,— один, брошен! Москва... деньги есть — кучер Еремей, «пошел за вином»! А кучер рад, ему за это в лавке гривенник.

— Да, я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтоб от этого болела голова. Я пройдусь немного, это мне всегда помогает.

— С богом,— обедаешь дома, я надеюсь?

— Без сомнения, я только так.

Для пояснения *супа с мадерой* необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на святой неделе отправлялись с Огаревым гулять, и, чтоб отделаться от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Огарева.

Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом: так Сатина он безошибочно называл Сакеным, а Сазонова — Сназиным. Огарева он еще меньше других любил и за то, что у него волосы были длинны, и за то, что он курил без его спроса. Но, с другой стороны, он его считал внучатным племянником и, следственно, родственной фамилии искажать не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал, и по родству и по богатству, к малому числу признанных моим отцом личпостей, и мое близкое знакомство с его домом ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если б у Платона Богдановича не было сына.

Итак, отказать ему не считалось приличным.

Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, в балаган Прейса (я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве и Лондоне), там была небольшая девочка, которой мы восхищались и которую назвали Миньоной.

Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправились обедать к «Яру». У меня был

[1] Голохвастова.

золотой, и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали ouka au champagne[1], бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином.

— Это, верно, оттого,— сказал я,— что суп был с мадерой.

— Au madère,— это зять Платона Богдановича, верно, так завел; cela sent les casernes de la garde[2].

С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне:

— Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой?

Итак, я скорым шагом к Сатину.

Разумеется, Огарев и Кетчер были на месте. Кетчер с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина:

В роще Марьиной гулянье
В самой тот день семика.

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась так: «Сад — вдали дом — окна освещены — буря — никого нет — калитка не заперта, она хлопает и скрыпит».

— Сверх калитки и сада есть действующие лица? — спросил я у Вадима.

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

— Ты все дурачишься! Это не шутка, а быль моего сердца; если так, я и читать не стану,— и стал читать.

Были и вовсе не платонические шалости,— даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *со-*

---

[1] уху на шампанском *(франц.).— Ред.*

[2] С мадерой... это пахнет гвардейскими казармами *(франц.).— Ред.*

держанок (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть, не *вы* вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени; о тогдашнем грундтоне [1] нашей жизни можно легко по ним судить. В 1833 году, июня 7, Огарев, например, мне пишет:

«Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи — с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того, кажется,— мне врезалась мысль, что мое призвание — быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, alles eins [2], но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду, и порядочно (извини за такое пошлое выражение), писать. Друг, скажи же, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Июня 7, 1833».

«Ты пишешь: *«Да ты поэт, поэт истинный!»* Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, оно не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бред горячки — это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли? Я это действительно чувствую. Нет, эта высокая жизнь — не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана, она действительна, я живу ею, я не могу вообразить себя с иною жизнию. Для чего я не знаю музыки, какая симфония вылетела бы из моей души теперь! Вот слышишь величественные adagio [3], но нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано: presto, presto [4], мне надобно бурное, неукротимое presto. Adagio и presto, две крайности.

[1] основном тоне *(от нем. Grundton).— Ред.*
[2] все одно *(нем.).— Ред.*
[3] очень медленно *(итал.).— Ред.*
[4] очень быстро *(итал.).— Ред.*

Прочь с этой посредственностью, andante [1], allegro moderato; [2] это заики или слабоумные не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833».

Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности, он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло двадцать лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него, не загрязнившись.

Это не неуверенность в себе, это сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это беспокойство зарождающегося творчества, это тревожное озирание души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять,— пишет он в том же письме,— те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми. Я поэт, поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения».

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Берапже,— терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросились на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию была потря-

[1] не спеша *(итал.).— Ред.*
[2] умеренно быстро *(итал.).— Ред.*

сена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.

С одной стороны, *освобождение женщины,* призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с ровным.

С другой — оправдание, *искупление плоти,* réhabilitation de la chair [1].

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми,— мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а

[1] реабилитация плоти *(франц.).— Ред.*

люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят черезо всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая — историю, одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них *правее,* другая — *возможнее.*

О выборе не может быть и речи; обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том — легче или тяжеле будет, тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начала, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса — и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению «Телеграфа».

Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума, не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна

оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него.

Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

— Придет время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы — отсталый человек».

Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом,— он принялся за «Парашу Сибирячку»...

Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на *многих других!*..

ПРИБАВЛЕНИЕ

А. ПОЛЕЖАЕВ

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим, написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu [1].

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева...

И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет

[1] праздника божества *(франц.).— Ред.*

попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет — но на этот раз уж прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то что был шестой час утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты ли,— спросил он,— сочинил эти стихи?

— Я,— отвечал Полежаев.

— Вот, князь,— продолжал государь,— вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу,— сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. «Никогда,— говорил он,— я не видывал «Сашку» так переписанного и на такой славной бумаге».

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения.— Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки;* я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, ваше величество.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться,— отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: «От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне *писать»,— поцеловал его в лоб.*

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе, так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, ваше сиятельство.

— Что же! доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был — видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом.

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.

Прошло года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое — тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

— Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:

Без утешений
Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал...

Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и

петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами: она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и проч. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева,— он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах — он был произведен в больнице.

ГЛАВА VIII

Пророчество.— Арест Огарева.— Пожар.— Московский либерал.— М. Ф. Орлов.— Кладбище

...Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму; ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх в небольшую комнату его и сел писать.

Дверь тихо отворилась, и взошла старушка, мать Вадима; шаги ее были едва слышны, она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них:

— Пишите, пишите,— я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя, дети пошли гулять, внизу такая пустота, мне сделалось грустно и страшно, я посижу здесь, я вам не мешаю, делайте свое дело.

Лицо ее было задумчиво, в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.

— Много, много пришлось мне перестрадать, что-то еще придется увидеть,— прибавила она, качая головой,— хорошего ничего не чует сердце.

Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова.

— Вы,— продолжала она,— и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю, как сына.

Слеза катилась по исхудалой щеке.

Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:

— Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые недостает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать... вот он,— прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал.

Бедная мать! Святая, великая женщина!

Это стоит корнелевского «qu'il mourût» [1].

Пророчество ее скоро сбылось; по счастию, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху.

— *Как взяли?* — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

— Полицмейстер приезжал ночью с квартальным и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Николая Платоновича.

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция,— в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал... и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложа руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастие, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне наконец пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В., это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

---

[1] ему следовало умереть *(франц.).— Ред.*

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими заметками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё — новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком.

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Бальи до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей — набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на *делового* революционера, как на государственного человека in spe [1].

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем, его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и au rez-de-chaussée [2], огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий, из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень... а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы.

— Что такое? — спросил я.

— Да пожалуйте сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу — и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая: «Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится».

---

[1] в будущем *(лат.).— Ред.*

[2] в нижнем этаже *(франц.).— Ред.*

Пожар имеет в себе что-то революционное, он смеется над собственностью, пивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лефортово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил:

— Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол...

— Прежде, нежели посадят нас на кол,— отвечал я,— боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

— Полиция,— что вы говорите?

— Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать, съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо его, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами,— он ахал и беспокоился.

— Что с вами?

— Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет... да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно,— ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят; эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

— Поедете вы к князю?

— Помилуйте, зачем же это? я вам советую дружески: и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны,— мой искренний совет: держите себя в стороне; тормошитесь как хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластье,— какие права, какая защита; есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М. Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же: попытка — не пытка и спрос — не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого «Союза благоденствия», и если он не попал в Сибирь, то

это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде captatio benevolentiae [1], стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил — потом согласился.

Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности — без этих конфортативов [2] они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю-Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор, как отрастил усы.

Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст —

---

[1] заискивания *(лат.).— Ред.*

[2] подкрепляющих средств *(от франц. confortatif).— Ред.*

pendant[1] бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состаревшегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе.

От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «о кредите»,— нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, а тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Все отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на язык, он беспрестанно делал ошибки; увлекаемый первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно, он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и он, заступив за одну постромку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить с натянутой регуловской точки зрения человека,— надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда, под полой да затворивши двери; а сказал слово громко — так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция...

Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря; сын знаменитого Н. Н. Раевского, он мальчиком четырнадцати лет находился с своим братом под Бородином возле отца; впоследствии он умер от ран на Кавказе. Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать.

Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.

— Тут нет места хотеть или не хотеть,— отвечал он,— толь-

[1] под стать *(франц.).— Ред.*

ко я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот,— прибавил он, помолчав,— и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

Расспросивши меня, Орлов написал письмо к князю Голицыну, прося его свиданья.

— Князь,— сказал он мне,— порядочный человек; если он ничего не сделает, то скажет, по крайней мере, правду.

Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что матерьяльным поводом был какой-то пир 24 июня, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца; я весь день был дома, и Огарев был у нас.

С тяжелым сердцем оставил я Орлова; и ему было нехорошо; когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал.

Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго.

Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет. Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение, знал расстройство дел — и не видел выхода. Месяца через два он умер; кровь свернулась в его жилах.

...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. В впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд; все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...

Ехавши от Орлова домой мимо обер-полицмейстерского дома, мне пришло в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым.

Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного полицейского лица. Меня заставили долго ждать, наконец обер-полицмейстер вышел.

Мой вопрос его удивил.

— Какой повод заставляет вас просить дозволение?

— Огарев — мой родственник.

— Родственник? — спросил он, прямо глядя мне в глаза.

Я не отвечал, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства.

— Я не могу вам дать позволения,— сказал он,— ваш родственник au secret [1]. Очень жаль!

...Неизвестность и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе, узнать решительно нельзя было ничего. Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло серыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня.

Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня.

Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни.

Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

— До завтра,— сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра,— ответил я... и долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834.

ГЛАВА IX

Арест.— Добросовестный.— Канцелярия Пречистенского частного дома.— Патриархальный суд

...«До завтра»,— повторял я, засыпая... на душе было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во втором ночи меня разбудил камердинер моего отца; он был раздет и испуган.

— Вас требует какой-то офицер.

— Какой офицер?

— Я не знаю.

— Ну, так я знаю,— сказал я ему и набросил на себя халат.

В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель; к окну виднелся белый султан, сзади были еще какие-то лица,— я разглядел казацкую шапку.

Это был полицмейстер Миллер.

---

[1] под строгим арестом *(франц.).— Ред.*

Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи; квартальный и его поручик стали рыться в книгах, в белье. Полицмейстер занялся бумагами; ему все казалось подозрительным, он все откладывал и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Я вас попрошу покамест одеться: вы поедете со мной.

— Куда? — спросил я.

— В Пречистенскую часть,— ответил полицмейстер успокоивающим голосом.

— А потом?

— Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора.

Я стал одеваться.

Между тем испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась из своей спальни ко мне в комнату, но в дверях между гостиной и залой была остановлена казаком. Она вскрикнула, я вздрогнул и побежал туда. Полицмейстер оставил бумаги и вышел со мной в залу. Он извинился перед моей матерью, пропустил ее, разругал казака, который был не виноват, и воротился к бумагам.

Потом взошел мой отец. Он был бледен, но старался выдержать свою бесстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидела в углу и плакала. Старик говорил безразличные вещи с полицмейстером, но голос его дрожал. Я боялся, что не выдержу этого à la longue[1], и не хотел доставить квартальным удовольствие видеть меня плачущим.

Я дернул полицмейстера за рукав.

— Поедемте!

— Поедемте,— сказал он с радостью.

Отец мой вышел из комнаты и через минуту возвратился; он принес маленький образ, надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я был тронут, этот *религиозный* подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика. Я стал на колени, когда он надевал его; он поднял меня, обнял и благословил.

Образ представлял, на финифти, отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде. Что это было — пример, совет или пророчество? — не знаю, но смысл образа поразил меня.

Мать моя была почти без чувств.

Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки,— я заживо присутствовал при своем выносе; полицмейстер хмурился и торопил.

---

[1] долго *(франц.).— Ред.*

Когда мы вышли за ворота, он собрал свою команду; с ним было четыре казака, двое квартальных и двое полицейских.

— Позвольте мне идти домой? — спросил у полицмейстера человек с бородой, сидевший перед воротами.

— Ступай,— сказал Миллер.

— Это что за человек? — спросил я, садясь на дрожки.

— Добросовестный; вы знаете, что без добросовестного полиция не может входить в дом.

— За тем-то вы и оставили его за воротами?

— Пустая форма! Даром помешали человеку спать,— заметил Миллер.

Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом.

В частном доме не было для меня особой комнаты. Полицмейстер велел до утра посадить меня в канцелярию. Он сам привел меня туда, бросился на кресла и, устало зевая, бормотал: «Проклятая служба; на скачке был с трех часов да вот с вами провозился до утра,— небось уж четвертый час, а завтра в девять с рапортом ехать». Прощайте,— прибавил он через минуту и вышел. Унтер запер меня на ключ, заметив, что если что нужно, то могу постучать в дверь.

Я отворил окно — день уж начался, утренний ветер подымался; я попросил у унтера воды и выпил целую кружку. О сне не было и в помышлении. Впрочем, и лечь было некуда: кроме грязных кожаных стульев и одного кресла, в канцелярии находился только большой стол, заваленный бумагами, и в углу маленький стол, еще более заваленный бумагами. Скудный ночник не мог освещать комнату, а делал колеблющееся пятно света на потолке, бледневшее больше и больше от рассвета.

Я сел на место частного пристава и взял первую бумагу, лежавшую на столе,— билет на похороны дворового человека князя Гагарина и медицинское свидетельство, что он умер по всем правилам науки. Я взял другую — полицейский устав. Я пробежал его и нашел в нем статью, в которой сказано: «Всякий арестованный имеет право через три дня после ареста узнать причину оного или быть выпущен». Эту статью я себе заметил.

Через час времени я видел в окно, как приехал наш дворецкий и привез мне подушку, одеяло и шинель. Он просил о чем-то унтера, вероятно, о позволении взойти ко мне; это был седой старик, у которого я ребенком перекрестил двух или трех детей. Унтер грубо и отрывисто отказывал ему; один из наших кучеров стоял возле. Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. Старик кланялся мне в пояс и плакал; ку-

чер, стегнувши лошадь, снял шляпу и утер глаза,— дрожки застучали, и слезы полились у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние слезы во все время заключения.

К утру канцелярия начала наполняться; явился писарь, который продолжал быть пьяным с вчерашнего дня,— фигура чахоточная, рыжая, в прыщах, с животно-развратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прескверно сшитом, нечистом, лоснящемся. Вслед за ним пришел другой, в унтерофицерской шинели, чрезвычайно развязный. Он тотчас обратился ко мне с вопросом:

— В театре, что ли-с, попались?

— Меня арестовали дома.

— И сам Федор Иванович?

— Кто это Федор Иванович?

— Полковник Миллер-с.

— Да, он.

— Понимаем-с,— он моргнул рыжему, который не показал никакого участия. Кантонист не продолжал разговора; он увидел, что я взят не за буянство, не за пьянство, и потерял ко мне весь интерес, а может, и боялся вступить в разговор с *опасным* арестантом.

Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и непроспавшиеся, наконец просители и тяжущиеся.

Содержательница публичного дома жаловалась на полпивщика, что он в своей лавке обругал ее всенародно и притом такими словами, которые она, будучи женщиной, не может произнести при начальстве. Полпивщик клялся, что он таких слов никогда не произносил. Содержательница клялась, что он их неоднократно произносил и очень громко, причем она прибавляла, что он замахнулся на нее и если б она не наклонилась, то он раскроил бы ей все лицо. Сиделец говорил, что она, во-первых, ему не платит долг, во-вторых, разобидела его в собственной его лавке и, мало того, обещала исколотить его не на живот, а на смерть руками своих приверженцев.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, с отекшими глазами, кричала пронзительно громким, визжащим голосом и была чрезвычайно многоречива. Сиделец больше брал мимикой и движениями, чем словами.

Соломон-квартальный, вместо суда, бранил их обоих на чем свет стоит.

— С жиру, собаки, бесятся! — говорил он.— Сидели б, бестии, покойно у себя, благо мы молчим да мирволим. Видишь, важность какая! поругались — да и тотчас начальство беспоко-

ить. И что вы за фря такая? словно вам в первый раз — да вас назвать нельзя, не выругавши,— таким ремеслом занимаетесь.

Полпивщик тряхнул головой и передернул плечами в знак глубокого удовольствия. Квартальный тотчас напал на него.

— А ты что из-за прилавка лаешься, собака? хочешь в сибирку? Сквернослов эдакий! Да лапу еще подымать — а березовых горячих... хочешь?

Для меня эта сцена имела всю прелесть новости, она у меня осталась в памяти навсегда; это был первый патриархальный русский процесс, который я видел.

Содержательница и квартальный кричали до тех пор, пока взошел частный пристав. Он, не спрашивая, зачем эти люди тут и чего хотят, закричал еще больше диким голосом:

— Вон отсюда, вон, что здесь, торговая баня или кабак?

Прогнавши «сволочь», он обратился к квартальному:

— Как вам это не стыдно допускать такой беспорядок? сколько раз вам говорил? уважение к месту теряется,— шваль всякая станет после этого содом делать. Вы потакаете слишком этим мошенникам. Это что за человек? — спросил он обо мне.

— Арестант,— отвечал квартальный,— которого привезли Федор Иванович, тут есть бумажка-с.

Частный пробежал бумажку, посмотрел на меня, с неудовольствием встретил прямой и неподвижный взгляд, который я на нем остановил, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказал:

— Извините.

Дело содержательницы и полпивщика снова явилось; она требовала присяги — пришел поп; кажется, они оба присягнули,— я конца не видал. Меня увезли к обер-полицмейстеру, не знаю зачем — никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой. Унтер-офицер заметил, что если я хочу поесть, то надобно послать купить что-нибудь, что казенный паек еще не назначен и что он еще дня два не будет назначен; сверх того, как он состоит из трех или четырех копеек серебром, то *хорошие* арестанты предоставляют его в экономию.

Запачканный диван стоял у стены, время было за полдень, я чувствовал страшную усталость, бросился на диван и уснул мертвым сном. Когда я проснулся, на душе все улеглось и успокоилось. Я был измучен в последнее время неизвестностью об Огареве, теперь черед дошел и до меня, опасность не виднелась издали, а обложилась вокруг, туча была над головой. Это первое гонение должно было нам служить рукоположением.

ГЛАВА X

Под каланчой.— Лиссабонский квартальный.— Зажигатели

К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания. К тишине и совершенной воле в клетке привыкаешь быстро,— никакой заботы, никакого рассеяния.

Сначала не давали книг; частный пристав уверял, что из дому книг не дозволяется брать. Я его просил купить. «Разве что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли, пожалуй, можно, а не то надобно спросить генерала». Предложение читать от скуки грамматику было неизмеримо смешно, тем не менее я ухватился за него обеими руками и попросил частного пристава купить итальянскую грамматику и лексикон. Со мной были две красненькие ассигнации, я отдал одну ему; он тут же послал поручика за книгами и отдал ему мое письмо к обер-полицмейстеру, в котором я, основываясь на вычитанной мною статье, просил объявить мне причину ареста или выпустить меня.

Частный пристав, в присутствии которого я писал письмо, уговаривал не посылать его. «Напрасно-с, ей-богу, напрасно-с утруждаете генерала; скажут: беспокойные люди,— вам же вред, а пользы никакой не будет».

Вечером явился квартальный и сказал, что обер-полицмейстер велел мне на словах объявить, что в свое время я узнаю причину ареста. Далее он вытащил из кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавил: «Так хорошо случилось, что тут и словарь есть, лексикончика не нужно». Об сдаче и разговора не было. Я хотел было снова писать к обер-полицмейстеру, но роль миниатюрного Гемпдена в Пречистенской части показалась мне слишком смешной.

Недели через полторы после моего взятия, часу в десятом вечера, пришел маленького роста черненький и рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию.

Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома, слуга отдавал внизу дежурному унтер-офицеру, тот присылал с солдатом ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полубутылки до целой в день. Н. Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного «Иоганнисберга». Солдат и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букет поразил издали. Этим вином я хотел наслаждаться дня три-четыре.

Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем.

Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было, однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков; я во всей Европе не видал людей, которые бы пили *залпом* стакан или умели *хватить* рюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда». Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой.

Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом; он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях.

— Вы, верно,— сказал он мне,— по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых?

Я подтвердил.

— Слышал я,— продолжал он,— мельком. Странное дело, ничего не понимаю.

— Я сижу две недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.

— Это-то и прекрасно,— сказал он, пристально посмотревши на меня,— и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вам дам совет: вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить, это — беда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасения.

Я смотрел на него с удивлением: лицо его не выражало ничего дурного; он догадался и, улыбнувшись, сказал:

— Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад.

Взошел какой-то чиновник; толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вон, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина и не знаю, кто он; но искренность его совета я испытал.

Потом взошел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале си-

дели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал.

Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал:

— Батюшка, не угодно ли?

Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой, думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукою рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня *увещевать;* толковал о грехе утаивать истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо божие; он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от бога» и «кесарю — кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому Евангелию и *честному* кресту в удостоверение обета,— которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал,— искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, он поспешно начал завертывать Евангелие и крест. Цынский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык:

— Я прибавлю к словам священника одно — запираться вам нельзя, если б вы и хотели.— Он указал на кипы бумаг, писем, портретов, с намерением разбросанных по столу.— Одно откровенное сознание может смягчить вашу участь; быть на воле или в Бобруйске, на Кавказе — это зависит от вас.

Вопросы предлагались письменно; наивность некоторых была поразительна. «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу — литературному или *иному?* кто его члены? где они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвечать одним *нет.*

— Вы, я вижу, ничего не знаете,— сказал, перечитывая ответы, Цынский.— Я вас предупредил — вы усложните ваше положение.

Тем и кончился первый допрос.

...Восемь лет спустя, в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью-красавицей, сестра нового обер-полицмейстера.

Я бывал у них и всякий раз проходил той залой, где Цынский с компанией судил и рядил нас; в ней висел, тогда и потом, портрет Павла — напоминовением ли того, до чего может

унизить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтоб поощрять полицейских на всякую свирепость,— не знаю, но он был тут, с тростью в руках, курносый и нахмуренный,— я останавливался всякий раз пред этим портретом, тогда арестантом, теперь гостем. Небольшая гостиная возле, где все дышало женщиной и красотой, была как-то неуместна в доме строгости и следствий; мне было не по себе там и как-то жаль, что прекрасно развернувшийся цветок попал на кирпичную, печальную стену съезжей. Наши речи и речи небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках,— в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчанья жандармских шпор и сабли уральского казака...

Через неделю или две снова пришел рябенький квартальный и снова привез меня к Цынскому. В сенях сидели и лежали несколько человек скованных, окруженные солдатами с ружьями; в передней было тоже несколько человек разных сословий, без цепей, но строго охраняемых. Квартальный сказал мне, что это всё зажигатели. Цынский был на пожаре, следовало ждать его возвращения; мы приехали часу в десятом вечера; в час ночи меня еще никто не спрашивал, и я все еще преспокойно сидел в передней с зажигателями. Из них требовали то одного, то другого — полицейские бегали взад и вперед, цепи гремели, солдаты от скуки брякали ружьями и выкидывали артикул. Около часу приехал Цынский, в саже и копоти, и пробежал в кабинет, не останавливаясь. Прошло с полчаса, позвали моего квартального; он воротился бледный, растерянный и с судорожным подергиванием в лице. Вслед за ним Цынский высунул голову в дверь и сказал:

— А вас, monsieur Герцен, вся комиссия ждала целый вечер; этот *болван* привез вас сюда в то время, как вас требовали к князю Голицыну. Мне очень жаль, что вы здесь прождали так долго, но это не моя вина. Что прикажете делать с такими исполнителями? я думаю, пятьдесят лет служит и все чурбан.— Ну, пошел теперь домой! — прибавил он, изменив голос на гораздо грубейший и обращаясь к квартальному.

Квартальный повторял целую дорогу: «Господи! какая беда! человек не думает, не гадает, что над ним сделается,— ну уж он меня доедет теперь. Он бы еще ничего, если б вас там не ждали, а то ведь ему срам — господи, какое несчастие!»

Я простил ему рейнвейн, особенно когда он мне сообщил, что он менее был испуган, когда раз тонул возле Лиссабона, чем

теперь. Последнее обстоятельство было так нежданно для меня, что мною овладел безумный смех.

— Как же вы это попали в Лиссабон? помилуйте, на что же это похоже? — спросил я его.

Старик был лет за двадцать пять морским офицером. Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкина, что в России, некоторым образом, никакая служба не остается без вознаграждения. Его судьба спасла в Лиссабоне для того, чтоб быть обруганным Цынским, как мальчишка, после сорокалетней службы.

Он же почти не был виноват.

Следственная комиссия, составленная генерал-губернатором, не понравилась государю; он назначил новую под председательством князя Сергея Михайловича Голицына. В этой комиссии членами были: московский комендант Стааль, другой князь Голицын, жандармский полковник Шубинский и прежний аудитор Оранский.

В обер-полицмейстерском приказе не было сказано, что комиссия переведена; весьма естественно, что лиссабонский квартальный свез меня к Цынскому...

В частном доме была тоже большая тревога: три пожара случились в один вечер, и потом из комиссии присылали два раза узнать, что́ со мной сделалось,— не бежал ли я. Чего Цынский не добранил, то добавил частный пристав лиссабонцу, что и следовало ожидать, потому что частный пристав был тоже долею виноват, не справившись, куда именно требуют. В канцелярии, в углу, кто-то лежал на стульях и стонал; я посмотрел — молодой человек красивой наружности и чисто одетый, он харкал кровью и охал; частный лекарь советовал пораньше утром отправить его в больницу.

Когда унтер-офицер привел меня в мою комнату, я выпытал от него историю раненого. Это был отставной гвардейский офицер, он имел интригу с какой-то горничной и был у нее, когда загорелся флигель. Это было время наибольшего страха от зажигательства; действительно, не проходило дня, чтоб я не слышал трех-четырех раз сигнального колокольчика; из окна я видел всякую ночь два-три зарева. Полиция и жители с ожесточением искали зажигателей. Офицер, чтоб не компрометировать девушку, как только началась тревога, перелез забор и спрятался в сарае соседнего дома, выжидая минуты, чтоб выйти. Маленькая девчонка, бывшая на дворе, увидела его и сказала первым прискакавшим полицейским, что зажигатель спрятался в сарае; они ринулись туда с толпой народа и с торжеством вытащили офицера. Они его так основательно избили, что он на другой день к утру умер.

Начался разбор захваченных людей; половину отпустили, других нашли подозрительными. Полицмейстер Брянчанинов ездил всякое утро и допрашивал часа три или четыре. Иногда допрашиваемых секли или били; тогда их вопль, крик, просьбы, визг, женский стон, вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письмоводителя, доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, и я просыпался в исступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе, в цепях, с изодранной, с избитой спиной и наверное без всякой вины.

Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических арестантов, которые большею частию принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбою бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. К кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд?

Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь — его мученичество оканчивается с началом наказания. Теперь вспомним, что три четверти людей, хватаемых полициею по подозрению, судом освобождаются и что они прошли через те же истязания, как и виновные.

Петр III уничтожил застенок и тайную канцелярию.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александр I *еще раз* ее уничтожил.

Ответы, сделанные «под страхом», не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию.

И во всей России — от Берингова пролива до Таурогена — людей пытают; там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей; в Москве полиция ставила какого-то подсудимого босого, градусов в десять мороза, на чугунный пол — он занемог и умер в больнице, бывшей под начальством князя Мещерского, рассказывавшего с негодованием об этом. Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, *правительствующий* сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, помещики и квартальные — все согласны с Селифаном, что «отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!».

Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, то есть секла — месяцев шесть кряду — и ничего не высекла. Государь рассердился и велел дело окончить в три дня. Дело и кончилось в три дня; виновные были найдены и приговорены к нака-

ванию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Из всех домов собрали дворников смотреть страшное наказание «зажигателей». Это было уже зимой, и я содержался тогда в Крутицких казармах. Жандармский ротмистр, бывший при наказании, добрый старик, сообщил мне подробности, которые я передаю. Первый осужденный на кнут громким голосом сказал народу, что он клянется в своей невинности, что он сам не знает, что отвечал под влиянием боли, при этом он снял с себя рубашку и, повернувшись спиной к народу, прибавил: «Посмотрите, православные!»

Стон ужаса пробежал по толпе: его спина была синяя полосатая рана, и по этой-то ране его следовало бить кнутом. Ропот и мрачный вид собранного народа заставили полицию торопиться, палачи отпустили законное число ударов, другие заклеймили, третьи сковали ноги, и дело казалось оконченным. Однако сцена эта поразила жителей; во всех кругах Москвы говорили об ней. Генерал-губернатор донес об этом государю. Государь велел назначить *новый* суд и особенно разобрать дело зажигателя, протестовавшего перед наказанием.

Спустя несколько месяцев прочел я в газетах, что государь, желая вознаградить двух невинно наказанных кнутом, приказал им выдать по двести рублей за удар и снабдить особым паспортом, свидетельствующим их невинность, несмотря на клеймо. Это был зажигатель, говоривший к народу, и один из его товарищей.

История о зажигательствах в Москве в 1834 году, отозвавшаяся лет через десять в разных провинциях, остается загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения; вообще огонь, «красный петух» — очень национальное средство мести у нас. Беспрестанно слышишь о поджоге барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаров именно в 1834 в Москве, этого никто не знает, всего меньше члены комиссии.

Перед 22 августа, днем коронации, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет.

Переполошилось трусливое московское начальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон уланов стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешие беспрестанно объезжали улицы. В экзерциргаузе была приготовлена артиллерия. Полицмейстеры скакали взад и вперед с казаками и жандармами, сам князь Голицын с адъютантами проехал верхом по городу. Этот военный вид скромной Москвы был странен и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор... Спешившиеся уланы сидели кучками около лошадей, другие садились на коней; офицеры расхаживали, с пренебрежением глядя на полицейских; плац-адъютанты приезжали

с озабоченным видом, с желтым воротником и, ничего не сделавши,— уезжали.

Пожаров не было.

Вслед за тем явился сам государь в Москву. Он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен, что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен, что не нашли зажигателей, словом, был недоволен всем и всеми.

Мы вскоре почувствовали высочайшую близость.

ГЛАВА XI

Крутицкие казармы.— Жандармские повествования.— Офицеры

Дня через три после приезда государя, поздно вечером — все эти вещи делаются в темноте, чтоб не беспокоить публику,— пришел ко мне полицейский офицер с приказом собрать вещи и отправляться с ним.

— Куда? — спросил я.

— Вы увидите,— отвечал умно и учтиво полицейский. После этого, разумеется, я не продолжал разговора, собрал вещи и пошел.

Ехали мы, ехали часа полтора, наконец проехали Симонов монастырь и остановились у тяжелых каменных ворот, перед которыми ходили два жандарма с карабинами. Это был Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы.

Меня привели в небольшую канцелярию. Писаря, адъютанты, офицеры — все было голубое. Дежурный офицер, в каске и полной форме, просил меня подождать и даже предложил закурить трубку, которую я держал в руках. После этого он принялся писать расписку в получении арестанта; отдав ее квартальному, он ушел и воротился с другим офицером.

— Комната ваша готова,— сказал мне последний,— пойдемте.

Жандарм светил нам, мы сошли с лестницы, прошли несколько шагов двором, взошли небольшой дверью в длинный коридор, освещенный одним фонарем; по обеим сторонам были небольшие двери, одну из них отворил дежурный офицер; дверь вела в крошечную кордегардию, за которой была небольшая комнатка, сырая, холодная и с запахом подвала. Офицер с аксельбантом, который привел меня, обратился ко мне на французском языке, говоря, что он désolé d'être dans la nécessité [1] шарить в моих карманах, но что военная служба, обязанность, повинозение... После этого красноречивого вступления он очень просто обернул-

[1] огорчен необходимостью *(франц.).— Ред.*

ся к жандарму и указал на меня глазом. Жандарм в ту же минуту запустил невероятно большую и шершавую руку в мой карман. Я заметил учтивому офицеру, что это вовсе не нужно, что я сам, пожалуй, выворочу все карманы, без таких насильственных мер. К тому же, что могло быть у меня после полуторамесячного заключения?

— Знаем мы,— сказал, неподражаемо самодовольно улыбаясь, офицер с аксельбантом,— знаем мы порядки частных домов.

Дежурный офицер тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтоб он только смотрел; я вынул все, что было.

— Высыпьте на стол ваш табак,— сказал офицер désolé [1].

У меня в кисете был перочинный ножик и карандаш, завернутые в бумажке; я с самого начала думал об них и, говоря с офицером, играл с кисетом до тех пор, пока ножик мне попал в руку, я держал его сквозь материю и смело высыпал табак на стол, жандарм снова его всыпал. Ножик и карандаш были спасены — вот жандарму с аксельбантом урок за его гордое пренебрежение к явной полиции.

Это происшествие расположило меня чрезвычайно хорошо, я весело стал рассматривать мои новые владения.

В монашеских кельях, построенных за триста лет и ушедших в землю, устроили несколько светских келий для политических арестантов.

В моей комнате стояла кровать без тюфяка, маленький столик, на нем кружка с водой, возле стул, в большом медном шандале горела тонкая сальная свеча. Сырость и холод проникали до костей; офицер велел затопить печь, потом все ушли. Солдат обещал принесть сена; пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку.

Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали свечи и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкались, суетились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола.

Я не любил тараканов, как вообще всяких незваных гостей; соседи мои показались мне страшно гадки, но делать было нечего,— не начать же было жаловаться на тараканов,— и нервы покорились. Впрочем, дня через три все прусаки перебрались за загородку к солдату, у которого было теплее; иногда только забежит, бывало, один, другой таракан, поводит усами и тотчас назад — греться.

Сколько я ни просил жандарма, он печку все-таки закрыл. Мне становилось не по себе, в голове кружилось, я хотел встать

---

[1] огорченный *(франц.).— Ред.*

и постучать солдату; действительно встал, но этим и оканчивается все, что я помню...

...Когда я пришел в себя, я лежал на полу, голову ломило страшно. Высокий, седой жандарм стоял, сложа руки, и смотрел на меня бессмысленно-внимательно, в том роде, как в известных бронзовых статуэтках собака смотрит на черепаху.

— Славно угорели, ваше благородие,— сказал он, видя, что я очнулся.— Я вам хренку принес с солью и с квасом; я уж вам давал нюхать, теперь выпейте.

Я выпил, он поднял меня и положил на постель; мне было очень дурно, окно было с двойной рамой и без форточки; солдат ходил в канцелярию просить разрешения выйти на двор; дежурный офицер велел сказать, что ни полковника, ни адъютанта нет налицо, а что он на свою ответственность взять не может. Пришлось оставаться в угарной комнате.

Обжился я и в Крутицких казармах, спрягая итальянские глаголы и почитывая кой-какие книжонки. Сначала содержание было довольно строго, в девять часов вечера при последнем звуке вестовой трубы солдат входил в комнату, тушил свечу и запирал дверь на замок. С девяти вечера до восьми следующего дня приходилось сидеть в потемках. Я никогда не спал много, в тюрьме без всякого движения мне за глаза было достаточно четырех часов сна — каково же наказание не иметь свечи? К тому же часовые с двух сторон коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко: «Слу-у-ушай!»

Через несколько недель полковник Семенов (брат знаменитой актрисы, впоследствии княгини Гагариной) позволил оставлять свечу, запретив, чтоб чем-нибудь завешивали окно, которое было ниже двора, так что часовой мог видеть все, что делается у арестанта, и не велел в коридоре кричать «слушай».

Потом комендант разрешил нам иметь чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетом на том условии, чтоб все листы были целы. Гулять было дозволено раз в сутки на дворе, окруженном оградой и цепью часовых, в сопровождении солдата и дежурного офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо, военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность вроде цезуры в стихах. Утром я варил с помощью жандарма в печке кофей; часов в десять являлся дежурный офицер, внося с собой несколько кубических футов мороза, гремя саблей, в перчатках, с огромными обшлагами, в каске и шинели; в час жандарм приносил грязную салфетку и чашку супа, которую он держал всегда за края, так что два большие пальца были приметно чище остальных. Кормили нас сносно, но при этом не следует забывать, что за корм бра-

ли по два рубля ассигнациями в день, что в продолжение девятимесячного заключения составило довольно значительную сумму для неимущих. Отец одного арестанта просто сказал, что у него денег нет; ему хладнокровно ответили, что у него из жалованья вычтут. Если б он не получал жалованья, весьма вероятно, что его посадили бы в тюрьму.

В дополнение должно заметить, что в казармы присылалось для нашего прокормления полковнику Семенову один рубль пятьдесят копеек из ордонансгауза. Из этого было вышел шум, но пользовавшиеся этим плац-адъютанты задарили жандармский дивизион ложами на первые представления и бенефисы, тем дело и кончилось.

После вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустевшими по снегу перед самым окном, ни дальними окликами часовых. Обыкновенно я читал до часу и потом тушил свечу. Сон переносил на волю, иной раз впросоньях казалось: фу, какие тяжелые грезы приснились — тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сон, а тут вдруг прогремит сабля по коридору, или дежурный офицер отворит дверь, сопровождаемый солдатом с фонарем, или часовой прокричит нечеловечески «кто идет?», или труба под самым окном резкой «зарей» раздерет утренний воздух...

В скучные минуты, когда не хотелось читать, я толковал с жандармами, карауливши меня, особенно с стариком, лечившим меня от угара. Полковник в знак милости отряжает старых солдат, избавляя их от строю, на спокойную должность беречь запертого человека, над ними назначается ефрейтор — шпион и плут. Пять-шесть жандармов делали всю службу.

Старик, о котором идет речь, был существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которых, вероятно, ему немного доставалось в жизни. Он делал кампанию 1812 года, грудь его была покрыта медалями, срок свой он выслужил и остался по доброй воле, не зная, куда деться.

— Я два раза,— говорил он,— писал на родину в Могилевскую губернию, да ответа не было, видно, из моих никого больше нет; так оно как-то и жутко на родину прийти, побудешь-побудешь, да, как окаянный какой, и пойдешь куда глаза глядят, Христа ради просить.

Какое варварское и безжалостное устройство военной службы в России, с ее чудовищным сроком! Личность человека у нас везде принесена на жертву без малейшей пощады, без всякого вознаграждения.

Старик Филимонов имел притязания на знание немецкого языка, которому обучался на зимних квартирах после взятия

Парижа. Он очень удачно перекладывал на русские нравы немецкие слова: лошадь он называл *ферт*, яйца — *еры*, рыбу — *пиш*, овес — *обер*, блины — *панкухи* [1].

В его рассказах был характер наивности, наводивший на меня грусть и раздумье. В Молдавии, во время турецкой кампании 1805 года, он был в роте капитана, добрейшего в мире, который о каждом солдате, как о сыне, пекся и в деле был всегда впереди.

— Его приворожила к себе одна молдаванка; мы видим: наш ротный командир в заботе, а он, знаете, того, подметил, что молдаванка к другому офицеру похаживает. Вот раз позвал он меня и одного товарища — славного солдата, ему потом под Малым Ярославцем обе ноги оторвало — и стал нам говорить, как его молдаванка обидела и что хотим ли мы помочь ему и дать ей науку. «Отчего же,— говорим мы ему,— мы вашему высокоблагородию всегда ради стараться». Он поблагодарил, да и указал дом, в котором жил офицер, и говорит: «Вы ночью станьте на мосту, она беспременно пойдет к нему, вы ее без шума возьмите, да и в реку».— «Можно, мол, ваше высокоблагородие»,— говорим мы ему, да и припасли с товарищем мешочек; сидим-с; только едак к полночи бежит молдаванка; мы, знаете, говорим ей: «Что, мол, сударыня, торопитесь?» — да и дали ей раз по голове; она, голубушка, не пикнула, мы ее в мешок — да и в реку. А капитан на другой день к офицеру пришел и говорит: «Вы не гневайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, то есть, теперь в реке, а с вами, дескать, прогуляться можно на сабле или на пистолях, как угодно». Ну, и рубились. Тот нашему капитану грудь сильно прохватил, почах, сердечный, одначе месяца через три богу душу и отдал.

— А молдаванка,— спросил я,— так и утонула?

— Утопула-с,— отвечал солдат.

Я с удивлением смотрел на детскую беспечность, с которой старый жандарм мне рассказывал эту историю. И он, как будто догадавшись или подумав в первый раз о ней, добавил, успокоивая меня и примиряясь с совестью:

— Язычница-с, все равно что некрещеная, такой народ.

Жандармам дают всякий царский день чарку водки. Вахмистр дозволял Филимонову отказываться раз пять-шесть от своей порции и получать разом все пять-шесть; Филимонов метил на деревянную бирку, сколько стаканчиков пропущено, и в самые большие праздники отправлялся за ними. Водку эту он выливал в миску, крошил в нее хлеб и ел ложкой. После такой закуски он

---

[1] Искаженные немецкие слова: pferd — лошадь; Eier — яйца; Fisch — рыба; Hafer — овес; Pfannkuchen — блины.— *Ред.*

закуривал большую трубку на крошечном чубучке, табак у него был крепости невероятной, он его сам крошил и вследствие этого остроумно называл «санкраше». Куря, он укладывался на небольшом окне,— стула в солдатской комнате не было,— согнувшись в три погибели, и пел песню:

Вышли девки на лужок,
Где муравка и цветок.

По мере того как он пьянел, он иначе произносил слово цветок: «тветок», «кветок», «хветок», дойдя до «хветок», он засыпал. Каково здоровье человека, с лишком шестидесяти лет, два раза раненного и который выносил такие завтраки!

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандские картины à la Вуверман — Калло и эти тюремные сплетни, похожие на воспоминания всех в неволе заключенных,— скажу еще несколько слов об офицерах.

Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпионы, а люди, случайно занесенные в жандармский дивизион. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда приклонить главы, они были жандармами потому, что не нашли другого дела. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замечал тени усердия — исключая, впрочем, адъютанта,— но зато он и был адъютантом.

Когда офицеры ознакомились со мной, они делали все маленькие льготы и облегчения, которые от них зависели, жаловаться на них было бы грешно.

Один молодой офицер рассказывал мне, что в 1831 году он был командирован отыскать и захватить одного польского помещика, скрывавшегося в соседстве своего имения. Его обвиняли в сношениях с эмиссарами. Офицер отправился, по собранным сведениям он узнал место, где укрывался помещик, явился туда с командой, оцепил дом и взошел в него с двумя жандармами. Дом был пустой — походили они по комнатам, пошныряли, нигде никого, а между прочим, некоторые безделицы явно показывали, что в доме недавно были жильцы. Оставя жандармов внизу, молодой человек второй раз пошел на чердак; осматривая внимательно, он увидел небольшую дверь, которая вела к чулану или к какой-нибудь каморке; дверь была заперта извнутри, он толкнул ее ногой, она отворилась — и высокая женщина, красивая собой, стояла перед ней; она молча указывала ему на мужчину, державшего в своих руках девочку лет двенадцати, почти без памяти. Это был он и его семья. Офицер смутился. Высокая женщина заметила это и спросила его:

— И вы будете иметь жестокость погубить их?

Офицер извинялся, говоря обычные пошлости о беспрекословном повиновении, о долге — и, наконец, в отчаянии, видя, что его слова нисколько не действуют, кончил свою речь вопросом:

— Что же мне делать?

Женщина гордо посмотрела на него и сказала, указывая рукой на дверь:

— Идти вниз и сказать, что здесь никого нет.

— Ей-богу, не знаю,— говорил офицер,— как это случилось и что со мной было, но я сошел с чердака и велел унтеру собрать команду. Через два часа мы его усердно искали в другом поместье, пока он пробирался за границу. Ну, женщина! Признаюсь!

...Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий — по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названия — страшная вещь. Ж.-П. Рихтер говорит с чрезвычайной верностью: если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он *лгун*. Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна. «Это — убийца»,— говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером,— не утратив всего человеческого достоинства, так, как сплошь да рядом можно найти женственность, нежное сердце и даже благородство в несчастных жертвах «общественной невоздержности».

Я имею отвращение к людям, которые не умеют, не хотят или не дают себе труда идти далее названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это делают обыкновенно отвлеченные, сухие, себялюбивые, противные в своей чистоте натуры или натуры пошлые, низшие, которым еще не удалось или не было нужды заявить себя официально; они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали.

ГЛАВА XII

Следствие.— Голицын sen.— Голицын jun[1].*— Генерал Стааль.— Сентенция.— Соколовский*

...Но при всем этом что же *дело*, что же следствие и процесс?

В новой комиссии дело так же не шло на лад, как в старой. Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в

[1] Senior — старший, junior — младший *(лат.).— Ред.*

своем усердии дождаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера Скарятку, чтоб нас завлечь, обличить; он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большею частью студенты, не были так осторожны, но эти *другие* не имели с нами никакой серьезной связи.

Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года. Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто *не был приглашен.* Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочим, спели хором известную песню Соколовского:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к ним на царство
Константин урод.

Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,—
С.... ... подлец.

Вечером Скарятка *вдруг* вспомнил, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь, и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Середь пения отворилась дверь, и взошел Цынский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно.

Полиция хотела захватить *нас,* она искала внешний повод запутать в дело человек пять-шесть, до которых добиралась,— и захватила двадцать человек невинных.

Но русскую полицию трудно сконфузить. Через две недели арестовали нас, как *соприкосновенных* к делу праздника. У Соколовского нашли письма Сатина, у Сатина — письма Огарева, у Огарева — мои,— тем не менее ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось. Для большего успеха второй комиссии

государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А. Ф. Голицына.

Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник Третьего отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан да несколько служилых остзейцев и падших поляков [1].

Но, на беду инквизиции, первым членом был назначен московский комендант Стааль. Стааль — прямодушный воин, старый, храбрый генерал, разобрал дело и нашел, что оно состоит из двух обстоятельств, не имеющих ничего общего между собой: из дела о празднике, за который следует полицейски наказать, и из ареста людей, захваченных бог знает почему, которых вся видимая вина в каких-то полувысказанных мнениях, за которые судить и трудно и смешно.

Мнение Стааля не понравилось Голицыну-младшему. Спор их принял колкий характер; старый воин вспыхнул от гнева, ударил своей саблей по полу и сказал:

— Вместо того чтоб губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов, это предупредит других несчастных,— а впрочем, вы можете делать что хотите, но делать без меня, нога моя не будет в комиссии.

С этими словами старик поспешно оставил залу.

В тот же день это было донесено государю.

Утром, когда комендант явился с рапортом, государь спросил его, зачем он не хочет ездить в комиссию. Стааль рассказал зачем.

— Что за вздор? — возразил император.— Ссориться с Голицыным, как не стыдно! Я надеюсь, что ты по-прежнему будешь в комиссии.

— Государь,— ответил Стааль,— пощадите мои седые волосы, я дожил до них без малейшего пятна. Мое усердие известно вашему величеству, кровь моя, остаток дней принадлежат вам. Но тут дело идет о моей чести — моя совесть восстает против того, что делается в комиссии.

Государь сморщился, Стааль откланялся и в комиссии не был ни разу с тех пор.

Этот анекдот, которого верность не подлежит ни малейшему сомнению, бросает большой свет на характер Николая. Как же ему не пришло в голову, что если человек, которому он не отказывает в уважении, храбрый воин, заслуженный старец, так упирается и так умоляет пощадить его честь, то, стало быть, дело не совсем чисто? Меньше нельзя было сделать, как потребовать налицо Голицына и велеть Стаалю при нем объяснить дело. Он этого не сделал, а велел нас строже содержать.

[1] К вновь отличившимся талантам принадлежит известный Липранди, подавший проект об учреждении академии шпионства (1858).

После него в комиссии остались одни враги подсудимых под председательством простенького старичка, князя С. М. Голицына, который через девять месяцев так же мало знал дело, как девять месяцев прежде его начала. Он хранил важно молчание, редко вступал в разговор и при окончании допроса всякий раз спрашивал:

— Его *мошно* отпустить?

— Можно,— отвечал Голицын junior, и senior важно говорил арестанту:

— Ступайте!

Первый допрос мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, «не свойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона» — так выражались Голицын junior и аудитор Оранский.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: «Как вы объясняете следующее место вашего письма?»

Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном месте аудитор открыл фразу: «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов». Когда мне пришлось объяснять эту фразу, я заметил, что я не вижу никакой обязанности защищать конституционное правительство и что, если б я его защищал, меня в этом обвинили бы.

— На конституционную форму можно нападать с двух сторон,— заметил своим нервным, шипящим голосом Голицын junior,— вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о *рабах*.

— В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной Второй, которая не велела своим подданным зваться *рабами*.

Голицын junior, задыхаясь от злобы за этот иронический ответ, сказал мне:

— Вы, верно, думаете, что мы здесь собираемся для того, чтоб вести схоластические споры, что вы в университете защищаете диссертацию?

— Зачем же вы требуете объяснений?

— Вы делаете вид, будто не понимаете, чего от вас хотят.

— Не понимаю.

— Какая *у них у всех* упорность,— прибавил председатель Голицын senior, пожал плечами и взглянул на жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся.— Точно Огарев,— довершил добрейший председатель.

Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергия Михайловича, я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим, тут стояло многотомное издание записок герцога Сен-Симона.

— Вот,— сказал я, обращаясь к председателю,— какая несправедливость! я под следствием за сен-симонизм, а у вас, князь, томов двадцать его сочинений!

Так как добряк отродясь ничего не читал, то он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын jun. взглянул на меня глазами ехидны и спросил:

— Что, вы не видите, что ли, что это — записки герцога Сен-Симона, который был при Людовике Четырнадцатом?

Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший: «Что, брат, обмишурился?», и сказал:

— Ступайте.

Когда я был в дверях, председатель спросил:

— Ведь это он писал о Петре Первом вот что вы мне показывали?

— Он,— отвечал Шубинский.

Я приостановился.

— Il a des moyens [1],— заметил председатель.

— Тем хуже. Яд в ловких руках опаснее,— прибавил инквизитор,— превредный и совершенно неисправимый молодой человек...

Приговор мой лежал в этих словах.

A propos к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, он отложил том истории французской революции Тьера, потом нашел другой... третий... восьмой. Наконец, он не вытерпел и сказал: «Господи! какое количество революционных книг... И вот еще»,— прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье «Sur les révolutions du globe terrestre».

Другой порядок вопросов был запутаннее. В них употреблялись разные полицейские уловки и следственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противуречие. Тут делались намеки на показание других и разные нравственные пытки. Рассказывать их не стоит, довольно сказать, что между нами четырьмя, при всех своих уловках, они не могли натянуть *ни одной очной ставки.*

Получив последний вопрос, я сидел один в небольшой комна-

[1] Он не без способностей *(франц.).— Ред.*

те, где мы писали. Вдруг отворилась дверь и взошел Голицын jun. с печальным и озабоченным видом.

— Я,— сказал он,— пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру; для этого вам надобно выпутаться из дела... а это зависит, по счастию, от вас. Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест и живет теперь надеждой, что вас выпустят; мы с князем Сергием Михайловичем сейчас говорили об этом и искренно готовы многое сделать; дайте нам средства помочь.

Я видел, куда шла его речь — кровь у меня бросилась в голову — я с досадой грыз перо.

Он продолжал:

— Вы идете прямо под белый ремень или в казематы, по дороге вы убьете отца, он дня не переживет, увидев вас в серой шинели.

Я хотел что-то сказать, но он перервал мои слова.

— Я знаю, что́ вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того чтоб обратить на вас монаршую милость — нам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы запираетесь во всем, уклоняетесь от ответов и из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, *и которые не были так скромны, как вы;*[1] вы им не поможете, а они вас стащат с собой в пропасть. Напишите письмо в комиссию, просто, откровенно скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лет, *назовите* несчастных заблудших людей, которые вовлекли вас... Хотите ли вы этой легкой ценой искупить вашу будущность? — и жизнь вашего отца?

— Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова,— ответил я.

Голицын встал и сказал сухим голосом:

— А, так вы не хотите,— не наша вина!

Этим заключились допросы.

В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если хочу, и подписать. Один Шубинский был налицо. Окончив чтение, я сказал ему:

— Хотелось бы мне знать, в чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью Свода вы подведете меня?

---

[1] Нужно ли говорить, что это была наглая ложь, пошлая полицейская уловка.

— *Свод законов назначен для преступлений другого рода,*— заметил голубой полковник.

— Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все *дело,* по которому я сижу в тюрьме седьмой месяц.

— Да вы в самом деле воображаете,— возразил Шубинский,— что мы так и поверили вам, что у вас не *составлялось* тайного общества?

— Где же это общество? — спросил я.

— Ваше счастие, что следов не нашли, что вы не успели ничего наделать. Мы вовремя вас остановили, то есть, просто сказать, мы спасли вас.

Опять история слесарши Пошлепкиной и ее мужа в «Ревизоре».

Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взошел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собою разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было (а это опять мой добросовестный за воротами!).

По окончании следствия тюремное заключение несколько ослабили. Близкие родные могли доставать в ордонансгаузе дозволение видеться. Так прошли еще два месяца.

В половине марта приговор наш был утвержден; никто не знал его содержания; одни говорили, что нас посылают на Кавказ, другие — что нас свезут в Бобруйск, третьи надеялись, что всех выпустят (таково было мнение Стааля, посланное им особо государю; он предлагал вменить нам тюремное заключение в наказание).

Наконец нас собрали всех 20 марта к князю Голицыну для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца.

Соколовский был налицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора.

Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери» и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые

минуты, bon vivant[1], любивший покутить — как мы все... может, немного больше.

Попавшись невзначай с оргий в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел, он вырос в остроге. Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший, поседевший в зависти, стяжании и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены,— сказал Соколовский,— что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту *облегчающую* причину.

Аудитор пожал плечами, возвел глаза горé и, долго, молча посмотрев на Соколовского, понюхал табаку.

Соколовского схватили в Петербурге и, не сказавши, куда его повезут, отправили в Москву. Подобные шутки полиция у нас делает часто и совершенно бесполезно. Это ее поэзия. Нет на свете такого прозаического, такого отвратительного занятия, которое бы не имело своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшений. Соколовского привезли прямо в острог и посадили в какой-то темный чулан. Почему его посадили в острог, когда нас содержали по казармам?

У него было с собой две-три рубашки и больше ничего. В Англии всякого колодника, приводимого в тюрьму, тотчас по приходе сажают в ванну, у нас берут предварительные меры против чистоты.

Если б доктор Гааз не прислал Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи.

Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом *юродивом и поврежденном* не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела.

Старый, худощавый, восковой старичок, в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом grand gala[2] похорон и свадьб и в приятном климате 59° северной широты Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств — грецких

[1] любитель хорошо пожить *(франц.).— Ред.*
[2] парадном костюме *(франц.).— Ред.*

орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование *благотворительных* дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтоб спасти от голодной смерти и трескучих морозов.

Но Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за «глупое баловство преступниц», потирал себе руки и говорил: «Извольте видеть, милостивой сударинь, кусок клеба, крош им всякой дает, а конфекту или апфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать [1] из ваших слов; потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится».

Гааз жил в больнице. Приходит к нему перед обедом какой-то больной посоветоваться. Гааз осмотрел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвратившись, он не нашел ни больного, ни серебряных приборов, лежавших на столе. Гааз позвал сторожа и спросил, не входил ли кто, кроме больного? Сторож смекнул дело, бросился вон и через минуту возвратился с ложками и пациентом, которого он остановил с помощию другого больничного солдата. Мошенник бросился в ноги доктору и просил помилования. Гааз сконфузился.

— Сходи за квартальным,— сказал он одному из сторожей.— А ты позови сейчас писаря.

Сторожа, довольные открытием, победой и вообще участием в деле, бросились вон, а Гааз, пользуясь их отсутствием, сказал вору:

— Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, бог тебя рассудит... а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились... Да постой, может, у тебя нет ни гроша,— вот полтинник; но старайся исправить свою душу — от бога не уйдешь, как от будочника!

Тут восстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое:

— Воровство — большой порок; но я знаю полицию, я знаю, как они истязают — будут допрашивать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам гораздо больший порок; да и почем знать — может, мой поступок тронет его душу!

Домочадцы качали головой и говорили: «Er hat einen Raptus»; [2] благотворительные дамы говорили: «C'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle là» [3], и они указывали на лоб. А Гааз потирал руки и делал свое.

---

[1] вывести *(от франц. conséquence).— Ред.*

[2] «Он человек с причудами» *(нем.).— Ред.*

[3] «Этот человек честный, но тут вот у него не все в порядке» *(франц.).— Ред.*

...Едва Соколовский кончил свои анекдоты, как несколько других разом начали свои; точно все мы возвратились после долгого путешествия,— расспросам, шуткам, остротам не было конца.

Физически Сатин пострадал больше других, он был худ и лишился части волос. Узнав в Тамбовской губернии, в деревне у своей матери, что нас схватили, он сам поехал в Москву, чтоб приезд жандармов не испугал мать, простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его застала в постели, вести в часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальной с внутренней стороны полицейского солдата и *братом милосердия* посадили у постели больного квартального надзирателя; так что, приходя в себя после бреда, он встречал *слушающий* взгляд одного или испитую рожу другого.

В начале зимы его перевезли в Лефортовский гошпиталь; оказалось, что в больнице не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой безделицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный угол *без печи,*— положили больного в эту южную веранду и поставили к нему часового. Какова была температура зимой в каменном чулане, можно понять из того, что часовой ночью до того изнемог от стужи, что пошел в коридор погреться к печи, прося Сатина не говорить об этом дежурному.

Тропическое помещение показалось самим властям гошпиталя в такой близости к полюсу, невозможным; Сатина перевели в комнату, возле которой оттирали замерзлых.

Не успели мы пересказать и переслушать половину похождений, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно — и маленький князь Сергий Михайлович Голицын взошел en grande tenue [1], лента через плечо; Цынский в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости. Комендант, разумеется, не приехал.

Шум и смех между тем до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное *неуважение* к высочайшей воле, которую мы должны услышать.

Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела; в первом были: Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем tutti frutti [2].

---

[1] в парадной форме *(франц.).— Ред.*
[2] все прочие *(итал.).— Ред.*

Приговор прочли особо первой категории — он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлюссельбург на *бессрочное время.*

Все трое выслушали геройски этот дикий приговор.

Когда Оранский, мямля для важности, с расстановкой читал, что за оскорбление величества и августейшей фамилии следует то и то... Соколовский ему заметил:

— Ну, фамильи-то я никогда не оскорблял.

У него в бумагах, сверх стихов, нашли шутя несколько раз писанные под руку великого князя Михаила Павловича резолюции с намеренными орфографическими ошибками, например: «утвѣрждаю», «пѣреговорить», «доложить мне» и проч., и эти ошибки способствовали к обвинению его.

Цынский, чтоб показать, что и он может быть развязным и любезным человеком, сказал Соколовскому после сентенции:

— А вы прежде в Шлюссельбурге бывали?

— В прошлом году,— отвечал ему тотчас Соколовский,— точно сердце чувствовало, я там выпил бутылку мадеры.

Через два года Уткин умер в каземате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пятигорске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком.

Уткин, «вольный художник, содержащийся в остроге», как он подписывался под допросами, был человек лет сорока; он никогда не участвовал ни в каком политическом деле, но, благородный и порывистый, он давал волю языку в комиссии, был резок и груб с членами. Его за это *уморили* в сыром каземате, в котором вода текла со стен.

Ибаев был виноватее других только эполетами. Не будь он офицер, его никогда бы так не наказали. Человек этот попал на *какую-то* пирушку, вероятно, пил и пел, как все прочие, но, наверное, не более и не громче других.

Пришел наш черед. Оранский протер очки, откашлянул и принялся благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было *изображено,* что государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые лета преступников, *повелел под суд нас не отдавать,* а объявить нам, что по закону следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества пением возмутительных песен,— лишить живота; а в силу других законов сослать на вечную каторжную работу. Вместо чего государь, в беспредельном милосердии своем, большую часть виновных прощает, оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоя-

щим в отправлении их на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства.

Этих более виновных нашлось шестеро: Огарев, Сатин, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. В числе осужденных был Лахтин, который вовсе не был арестован. Когда его позвали в комиссию слушать сентенцию, он думал, что это для страха, для того чтоб он казнился, глядя, как других наказывают. Рассказывали, что кто-то из близких князя Голицына, сердясь на его жену, удружил ему этим сюрпризом. Слабый здоровьем, он года через три умер в ссылке.

Когда Оранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который председательствовал в комиссии, что государь был так милосерд.

Шубинский ждал, что при этом слове все примутся благодарить князя; но вышло не так.

Несколько из прощенных кивнули головой, да и то украдкой глядя на нас.

Мы стояли, сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью.

Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал:

— Вы едете в Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец, князь просил государя вам назначить этот город для того, чтоб ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?

Делать было нечего, Огарев слегка поклонился. Вот из чего они бились.

Добренькому старику это понравилось, и он, не знаю почему, вслед за тем позвал меня. Я вышел вперед с святейшим намерением, что бы он и Шубинский ни говорили, не благодарить; к тому же меня посылали дальше всех и в самый скверный город.

— А вы едете в Пермь,— сказал князь.

Я молчал. Князь срезался и, чтоб что-нибудь сказать, прибавил:

— У меня там есть имение.

— Вам угодно что-нибудь поручить через меня вашему старосте? — спросил я, улыбаясь.

— Я таким людям, как вы, ничего не поручаю — *карбонариям*,— добавил находчивый князь.

— Что же вы желаете от меня?

— Ничего.

— Мне показалось, что вы меня позвали.

— Вы можете идти,— перервал Шубинский.

— Позвольте,— возразил я,— благо я здесь, вам напомнить, что вы, полковник, мне говорили, когда я был в последний раз в комиссии, что меня никто не обвиняет в деле праздника, а в приговоре сказано, что я один из виновных по этому делу. Тут какая-нибудь ошибка.

— Вы хотите возражать на высочайшее решение? — заметил Шубинский.— Смотрите, как бы Пермь не переменилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать.

— Я об этом хотел просить. В приговоре сказано: по докладу комиссии, я возражаю на ваш доклад, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мне не было даже вопроса ни о празднике, ни о каких песнях.

— Как будто вы не знаете,— сказал Шубинский, начинавший бледнеть от злобы,— что ваша вина вдесятеро больше тех, которые были на празднике. Вот,— он указал пальцем на одного из прощенных,— вот он под пьяную руку спел мерзость, да после на коленках со слезами просил прощения. Ну, вы еще от всякого раскаяния далеки.

Господин, на которого указал полковник, промолчал и понурил голову, побагровев в лице... Урок был хорош. Вот и делай после подлости...

— Позвольте, не о том речь,— продолжал я,— велика ли моя вина или нет; но если я убийца, я не хочу, чтоб меня считали вором. Я не хочу, чтоб обо мне, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то наделал «под пьяную руку», как вы сейчас выразились.

— Если б у меня был сын, родной сын, с такой закоснелостью, я бы сам попросил государя сослать его в Сибирь.

Тут обер-полицмейстер вмешал в разговор какой-то бессвязный вздор. Жаль, что не было меньшого Голицына, вот был бы случай пооратор ствовать.

Все это, разумеется, окончилось ничем.

Лахтин подошел к князю Голицыну и просил отложить отъезд.

— Моя жена беременна,— сказал он.

— В этом я не виноват,— отвечал Голицын.

Зверь, бешеная собака, когда кусается, делает серьезный вид, поджимает хвост, а этот юродивый вельможа, аристократ, да притом с славой доброго человека... не постыдился этой подлой шутки.

...Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещеваниям жандармских и полицейских офицеров,

крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Оболенского, я никого не видел до возвращения из Вятки.

Отъезд был перед нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но с отъездом в глушь она обрывалась.

Юношеское существование в нашем дружеском кружке оканчивалось.

Ссылка продолжится наверное несколько лет. Где и как встретимся мы и встретимся ли?..

Жаль было прежней жизни, и так круто приходилось ее оставить... не простясь. Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало.

Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище... В ее лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим...

Мы увиделись на несколько минут 9 апреля 1835 года, накануне моего отправления в ссылку.

Долго святил я этот день в моей памяти, это одно из счастливейших мгновений в моей жизни.

...Зачем же воспоминание об этом дне и обо всех светлых днях моего былого напоминает так много страшного?.. Могилу, венок из темно-красных роз, двух детей, которых я держал за руки, факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце...

Все прошло!

ГЛАВА XIII

Ссылка.— Городничий.— Волга.— Пермь

Утром 10 апреля жандармский офицер привез меня в дом генерал-губернатора. Там, в секретном отделении канцелярии, позволено было родственникам проститься со мною.

Разумеется, все это было неловко и щемило душу — шныряющие шпионы, писаря, чтение инструкции жандарму, который должен был меня везти, невозможность сказать что-нибудь без свидетелей,— словом, оскорбительнее и печальнее обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнул, когда коляска покатилась наконец по Владимирке.

Per me si va nella citta dolente;
Per me si va nel eterno dolore...[1]

[1] Через меня идут в город скорби;
Через меня идут на вечную муку... *(итал.)* — *Ред.*

На станции где-то я написал эти два стиха, которые равно хорошо идут к преддверию ада и к сибирскому тракту.

В семи верстах от Москвы есть трактир, называемый «Перовым». Там меня обещался ждать один из близких друзей. Я предложил жандарму выпить водки, он согласился; от городу было далеко. Мы взошли, но приятеля там не было. Я мешкал в трактире всеми способами, жандарм не хотел больше ждать, ямщик трогал коней — вдруг несется тройка и прямо к трактиру, я бросился к двери... двое незнакомых гуляющих купеческих сынков шумно слезали с телеги. Я посмотрел вдаль — ни одной движущейся точки, ни одного человека не было видно на дороге к Москве... Горько садиться и ехать. Я дал двугривенный ямщику, и мы понеслись, как из лука стрела.

Мы ехали, не останавливаясь; жандарму велено было делать не менее двухсот верст в сутки. Это было бы сносно, но только не в начале апреля. Дорога местами была покрыта льдом, местами водой и грязью; притом, подвигаясь к Сибири, она становилась хуже и хуже с каждой станцией.

Первый путевой анекдот был в Покрове.

Мы потеряли несколько часов за льдом, который шел по реке, прерывая все сношения с другим берегом. Жандарм торопился; вдруг станционный смотритель в Покрове объявляет, что лошадей нет. Жандарм показывает, что в подорожной сказано: давать из курьерских, если нет почтовых. Смотритель отзывается, что лошади взяты под товарища министра внутренних дел. Как разумеется, жандарм стал спорить, шуметь; смотритель побежал доставать обывательских лошадей. Жандарм отправился с ним.

Надоело мне дожидаться их в нечистой комнате станционного смотрителя. Я вышел за ворота и стал ходить перед домом. Это была первая прогулка без солдата после девятимесячного заключения.

Я ходил с полчаса, как вдруг повстречался мне человек в мундирном сертуке без эполет и с голубым pour le mérite [1] на шее. Он с чрезвычайной настойчивостью посмотрел на меня, прошел, тотчас возвратился и с дерзким видом спросил меня:

— Вас везет жандарм в Пермь?

— Меня,— отвечал я, не останавливаясь.

— Позвольте, позвольте, да как же он смеет...

— С кем я имею честь говорить?

— Я здешний городничий,— ответил незнакомец голосом, в котором звучало глубокое сознание высоты такого общественного положения.— Прошу покорно, я с часу на час жду товарища ми-

[1] орденской лентой *(франц.).— Ред.*

пистра,— а тут политические арестанты по улицам прогуливаются. Да что же это за осел жандарм!

— Не угодно ли вам адресоваться к самому жандарму?

— Не адресоваться,— а я его арестую, я ему велю влепить сто палок, а вас отправлю с полицейским.

Я кивнул ему головой, не дожидаясь окончания речи, и быстрыми шагами пошел в станционный дом. В окно мне было слышно, как он горячился с жандармом, как грозил ему. Жандарм извинялся, но, кажется, мало был испуган. Минуты через три они взошли оба, я сидел, обернувшись к окну, и не смотрел на них.

Из вопросов городничего жандарму я тотчас увидел, что он снедаем желанием узнать, за какое дело, почему и как я сослан. Я упорно молчал. Городничий начал безличную речь между мною и жандармом:

— В наше положение никто не хочет взойти. Что, мне весело, что ли, браниться с солдатом или делать неприятности человеку, которого я отродясь не видал? Ответственность! городничий — хозяин города. Что бы ни было, отвечай; казначейство обокрадут — виноват; церковь сгорела — виноват; пьяных много на улице — виноват; вина мало пьют — тоже виноват (последнее замечание ему очень понравилось, и он продолжал более веселым тоном); хорошо, вы меня встретили, ну, встретили бы министра, да тоже бы эдак мимо, а тот спросил бы: «Как, политический арестант гуляет? — городничего под суд...»

Мне наконец надоело его красноречие, и я, обращаясь к нему, сказал:

— Делайте все, что вам приказывает служба, но я вас прошу избавить меня от поучений. Из ваших слов я вижу, что вы ждали, чтоб я вам поклонился. Я не имею привычки кланяться незнакомым.

Городничий сконфузился.

«У нас всё так,— говаривал А. А.,— кто первый даст острастку, начнет кричать, тот и одержит верх. Если, говоря с начальником, вы ему позволите поднять голос, вы пропали: услышав себя кричащим, он сделается дикий зверь. Если же при первом грубом слове вы закричали, он непременно испугается и уступит, думая, что вы с характером и что таких людей не надобно слишком дразнить».

Городничий услал жандарма спросить, что́ лошади, и, обращаясь ко мне, заметил вроде извинения:

— Я это больше для солдата и сделал, вы не знаете, что такое наш солдат — ни малейшего попущения не следует допускать, но поверьте, я умею различать людей — позвольте вас спросить, какой несчастный случай...

— По окончании дела нам запретили рассказывать.

— В таком случае... конечно... я не смею...— и взгляд городничего выразил муку любопытства. Он помолчал.— У меня был родственник дальний, он сидел с год в Петропавловской крепости; знаете, тоже, сношения — позвольте, у меня это на душе, вы, кажется, все еще сердитесь? Я человек военный, строгий, привык; по семнадцатому году поступил в полк, у меня нрав горячий, но через минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю в покое, черт с ним совсем...

Жандарм взошел с докладом, что ранее часа лошадей нельзя пригнать с выгона.

Городничий объявил ему, что он прощает его по моему ходатайству; потом, обращаясь ко мне, прибавил:

— И вы уж не откажите в моей просьбе и в доказательство, что не сердитесь,— я живу через два дома отсюда,— позвольте вас просить позавтракать чем бог послал.

Это было так смешно после нашей встречи, что я пошел к городничему и ел его балык и его икру и пил его водку и мадеру.

Он до того разлюбезничался, что рассказал мне все свои семейные дела, даже семилетнюю болезнь жены. После завтрака он с гордым удовольствием взял с вазы, стоявшей на столе, письмо и дал мне прочесть «стихотворение» его сына, удостоенное публичного чтения на экзамене в кадетском корпусе. Одолжив меня такими знаками несомненного доверия, он ловко перешел к вопросу, косвенно поставленному, о моем деле. На этот раз я долею удовлетворил городничего.

Городничий этот напомнил мне того секретаря уездного суда, о котором рассказывал наш Щепкин. «Девять исправников переменились, а секретарь остался бессменно и управлял по-прежнему уездом. «Как это вы ладите со всеми?» — спросил его Щепкин. «Ничего-с, с божией помощью обходимся кой-как. Иной, точно, сначала такой сердитый, бьет передними и задними ногами, кричит, ругается, и в отставку, говорит, выгоню, и в губернию, говорит, отпишу — ну, знаете, наше дело подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срок, надорвется еще! так это — еще первая упряжка. И действительно, глядишь — куда потом *в езде хорош*...»

...Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива; целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике, река разливалась верст на пятнадцать или больше. День был ненастный. Перевоз остановился, множество телег и всяких повозок ждали на берегу.

Жандарм пошел к смотрителю и требовал дощаника. Смотритель давал его нехотя, говорил, что, впрочем, лучше обождать, что

не ровен час. Жандарм торопился, потому что был пьян, потому что хотел показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшом дощанике, и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татарин через полчаса поднял парус, как вдруг утихавшая буря снова усилилась. Нас понесло с такой силой, что, нагнав какое-то бревно, мы так в него стукнулись, что дрянной паром проломился и вода разлилась по палубе. Положение было неприятное; впрочем, татарин сумел направить дощаник на мель.

Купеческая барка прошла в виду, мы ей кричали, просили прислать лодку; бурлаки слышали и проплыли, не сделав ничего.

Крестьянин подъехал на небольшой комяге с женой, спросил нас, в чем дело, и, заметив: «Ну, что же? Ну, заткнуть дыру, да, благословясь, и в путь. Что тут киспуть? ты вот для того, что татарин, так ничего и не умеешь сделать»,— взошел на дощаник.

Татарин в самом деле был очень встревожен. Во-первых, когда вода залила спящего жандарма, тот вскочил и тотчас начал бить татарина. Во-вторых, дощаник был казенный, и татарин повторял:

— Ну, вот потонет, что мне будет! что мне будет!

Я его утешал, говоря, что и он тогда с дощаником потонет.

— Харошо, бачка, коли потону, а как нет? — отвечал он.

Мужик и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужик постучал топором, прибил какую-то дощечку; потом, по пояс в воде, помог другим стащить дощаник с мели, и мы скоро вплыли в русло Волги. Река несла свирепо. Ветер и дождь со снегом секли лицо, холод проникал до костей, но вскоре стал вырезываться из-за тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла, как вдруг татарин жалобным голосом закричал: «Тече, тече!» — и действительно, вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стрежне реки, дощаник двигался тише и тише, можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет. Татарин снял шапку и молился. Мой камердинер, растерянный, плакал и говорил: «Прощай, моя матушка, не увижусь я с тобой больше». Жандарм бранился и обещался на берегу всех исколотить.

Сначала и мне было жутко, к тому же ветер с дождем прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтоб я мог погибнуть, *ничего не сделав,* это юношеское quid timeas? Caesarem vehis! [1] взяло верх, и я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью. Жизнь впоследствии отучает от гордой веры, наказывает за нее; оттого-

[1] Чего ты боишься? Ты везешь Цезаря! *(лат.)* — *Ред.*

то юность и отважна и полна героизма, а в летах человек осторожен и редко увлекается.

...Через четверть часа мы были на берегу подле стен казанского кремля, передрогнувшие и вымоченные. Я взошел в первый кабак, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился в почтамт.

В деревнях и маленьких городках у станционных смотрителей есть комната для проезжих. В больших городах все останавливаются в гостиницах, и у смотрителей нет ничего для проезжающих. Меня привели в почтовую канцелярию. Станционный смотритель показал мне свою комнату; в ней были дети и женщины, больной старик не сходил с постели,— мне решительно не было угла переодеться. Я написал письмо к жандармскому генералу и просил его отвести комнату где-нибудь, для того чтоб обогреться и высушить платье.

Через час времени жандарм воротился и сказал, что граф Апраксин велел отвести комнату. Подождал я часа два, никто не приходил, и я опять отправил жандарма. Он пришел с ответом, что полковник Поль, которому генерал приказал отвести мне квартиру, в дворянском клубе играет в карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство, и я написал второе письмо к графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на следующей станции могу найти приют. Граф изволил почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было делать; я снял мокрое платье и лег на столе почтовой конторы, завернувшись в шинель «старшого», вместо подушки я взял толстую книгу и положил на нее немного белья.

Утром я послал принести себе завтрак. Чиновники уж собирались. Экзекутор ставил мне на вид, что, в сущности, завтракать в присутственном месте нехорошо, что ему лично это все равно, но что почтмейстеру это может не понравиться.

Я шутя говорил ему, что выгнать можно только того, кто имеет право выйти, а кто не имеет его, тому поневоле приходится есть и пить там, где он задержан...

На другой день граф Апраксин разрешил мне остаться до трех дней в Казани и остановиться в гостинице.

Три дня эти я бродил с жандармом по городу. Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквами, все это напоминает Азию и Восток. В Владимире, Нижнем — подозревается близость к Москве, здесь — даль от нее.

...В Перми меня привезли прямо к губернатору. У него был большой съезд; в этот день венчали его дочь с каким-то офицером.

Он требовал, чтоб я взошел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти к нему, говоря, что он тогда сыщет мне занятие в канцелярии.

Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние, как крот где-то под землею, незаметно, он прибавлял зерно к зерну и отложил-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятного контроля и порядка он приказывал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в десять часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и с листом, поверял, все ли налицо, а если кого не было, посылал квартального узнавать о причине, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким образом, я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтоб я не был знаком.

На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле.

На воле... в маленьком городе на сибирской границе, без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить.

Из детской я перешел в аудиторию, из аудитории — в дружеский кружок,— теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма, чтоб дать всему осесться. Практическое соприкосновение с жизнию начиналось тут — возле Уральского хребта.

Она тотчас заявила себя; на другой день после приезда я пошел с сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру, он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему ни толковал, что я ищу дом очень маленький и, еще лучше, часть дома, он упорно требовал, чтоб я взошел.

Хозяйка усадила меня на диван, узнав, что я из Москвы, спросила — видел ли я в Москве г. Кабрита? Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слыхал.

— Что ты это,— заметила старушка.— Кабрит-то? — и она назвала его по имени и по отчеству.— Помилуй, батюшка, он у нас вист-то губернатором.

— Да я девять месяцев в тюрьме сидел, может, потому не слыхал,— сказал я, улыбаясь.

— *Пожалуй,* что и так. Так ты, батюшка, домик нанимаешь?

— Велик, больно велик, я служивому-то говорил.

— Лишнее добро за плечами не висит.

— Оно так, но за лишнее добро вы попросите и денег побольше.

— Ах, отец родной, да кто же это тебе о моих ценах говорил, я и не молвила еще.

— Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом.

— Даешь-то ты сколько?

Чтоб отделаться от нее, я сказал, что больше трехсот пятидесяти рублей (ассигнациями) не дам.

— Ну, и на том спасибо, вели-ка, голубчик мой, чемоданчики-то перенести да выпей тенерифу рюмочку.

Цена ее мне показалась баснословно дешевой, я взял дом, и, когда совсем собрался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить, а что, коровку свою станешь держать?

— Нет, помилуйте,— отвечал я, до оскорбления пораженный ее вопросом.

— Ну, так я буду тебе сливочек приносить.

Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что́ я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку.

Но я еще не успел обглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку, потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники. Губернатор хотел, чтоб я ехал на другой же день. Это было невозможно; думая остаться несколько времени в Перми, я накупил всякой всячины, надобно было продать хоть за полцены. После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое суток, взяв слово, что я не буду искать случая увидеться с другим сосланным.

Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, как вдруг явился полицмейстер с приказом выехать в продолжение двадцати четырех часов. Я объяснил ему, что губернатор дал мне отсрочку. Полицмейстер показал бумагу, в которой действительно было ему предписано выпроводить меня в двадцать четыре часа. Бумага была подписана в самый тот день, следовательно, после разговора со мною.

— А,— сказал полицмейстер,— понимаю, понимаю это, наш герой-то хочет оставить дело на моей ответственности.

— Поедемте его уличать.

— Поедемте!

Губернатор сказал, что он забыл разрешение, данное мне. Полицмейстер лукаво спросил, не прикажет ли он переписать бумагу.

— Стоит ли труда,— прибавил простодушно губернатор.

— Поймали,— сказал мне полицмейстер, потирая от удовольствия руки...— Чернильная душа!

Пермский полицмейстер принадлежал к особому типу военно-гражданских чиновников. Это люди, которым посчастливилось

в военной службе как-нибудь наткнуться на штык или подвернуться под пулю, за это им даются преимущественно места городничих, экзекуторов.

В полку они привыкли к некоторым замашкам откровенности, затвердили разные сентенции о неприкосновенности чести, о благородстве, язвительные насмешки над писарями. Младшие из них читали Марлинского и Загоскина, знают на память начало «Кавказского пленника», «Войнаровского» и часто повторяют затверженные стихи. Например, иные говорят всякий раз, заставая человека курящим:

Янтарь в устах его дымился.

Все они без исключения глубоко и громко сознают, что их положение гораздо ниже их достоинства, что одна нужда может их держать в этом «чернильном мире», что если б не бедность и не раны, то они управляли бы корпусами армии или были бы генерал-адъютантами. Каждый прибавляет поразительный пример кого-нибудь из прежних товарищей и говорит:

— Ведь вот — Крейц или Ридигер — в одном приказе в корнеты произведены были. Жили на одной квартире,— Петруша, Алеша — ну, я, видите, не немец, да и поддержки не было никакой — вот и сиди будочником. Вы думаете, легко благородному человеку с нашими понятиями занимать полицейскую должность?

Жены их еще более горюют и с стесненным сердцем возят в ломбард всякий год денежки класть, отправляясь в Москву под предлогом, что мать или тетка больна и хочет в последний раз видеть.

И так они живут себе лет пятнадцать. Муж, жалуясь на судьбу, сечет полицейских, бьет мещан, подличает перед губернатором, покрывает воров, крадет документы и повторяет стихи из «Бахчисарайского фонтана». Жена, жалуясь на судьбу и на провинциальную жизнь, берет все на свете, грабит просителей, лавки и любит месячные ночи, которые называет «лунными».

Я потому остановился на этой характеристике, что сначала я был обманут этими господами, и в самом деле считал их несколько получше других,— что вовсе не так...

Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне.

На одном из губернаторских смотров ссыльным меня пригласил к себе один ксендз. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок, лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который удивляет сначала и привязы-

вает потом; такие черты были у величайшего из поляков — у Фаддея Костюшки. Одежда Цехановича свидетельствовала о страшной бедности.

Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая, молодой лист развертывался, березы цвели (помнится, вся аллея была березовая),— и никем никого. Провинциалы наши не любят *платонических* гуляний. Долго бродя, я увидел наконец по другую сторону бульвара, то есть на поле, какого-то человека, гербаризировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел к нему.

Впоследствии я много видел мучеников польского дела; четьи-минеи польской борьбы чрезвычайно богаты,— Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца,— жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше следствие.

В Вильне был в то время начальником, *со стороны победоносного неприятеля,* тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что «он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, *которые вешают*». Для узкого мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере всего симпатичнее.

Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых их знакомых, обращались с арестантами, как мерзавцы, лишенные всякого воспитания, всякого чувства деликатности и притом очень хорошо знавшие, что все их действия покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучеников, и слезами польских матерей... Еще эта *страстная неделя* целого народа ждет своего Луки или Матфия... Но пусть *они* знают: один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея николаевского времени в pendant галереи полководцев 1812 года.

Муравьев говорил арестантам «ты» и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цехановичу и хотел его взять за грудь, а может, и ударить,— встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном.

Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд; рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цехано-

вича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его.

— Что же бы вы сделали в цепях?

— Я разорвал бы его зубами, я своим черепом, я цепями избил бы его,— сказал он, дрожа.

Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске или Красноярске. Совершенно одинокий, Цеханович занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор, наконец получил дозволение перебраться в Пермь; и это уже для него было улучшение: снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся в Литве, писала к нему, что она отправится к нему *пешком из Виленской губернии*... Он ждал ее.

Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста; небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель,— на меня пахнуло моей крутицкой кельей.

Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне:

— Вот за то-то я и люблю природу: ее никак не отнимешь, где бы человек ни был.

Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее.

— К моей рубашке она не идет,— сказал он мне,— но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах.

Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом, оторвав от нее несколько звеньев, подал мне с словами:

— Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени; все я вам не дам, а возьмите эти кольцы. Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику.

Я обнял его и простился.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Завтра утром, но я вас не зову, у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм.

— Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня.

На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около коляски. Все было готово; я нечаянно взглянул на улицу — идет мимо Цеханович, я бросился к окну.

— Ну, слава богу,— сказал он,— я вот четвертый раз прохожу, чтоб проститься с вами хоть издали, но вы все не видали.

Глазами, полными слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми!

...На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь, сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день; часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было; вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись, две ли печати или одна, кричали «айда, айда!» и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем бы это сделалось при смотрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть что-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я взошел в избу, душную, черную, и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету верст пять, я было раскаялся и хотел спросить лошадей.

Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая.

— С большим удовольствием, где твой офицер?

— Возле, в избе, ваше благородие! — и солдат выделал известное *па* налево кру — ом.

Я пошел вслед за ним.

Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недальних, добродушных служак, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся, без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить.

— Кого и куда вы ведете?

— И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну, да про то знают першие, наше дело исполнять приказания, не мы в ответе; а по-человеческому некрасиво.

— Да в чем дело-то?

— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми- девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала было их *велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань.* Я их принял верст за сто; офицер, что сдавал, говорил: «Беда, да и только, треть осталась на дороге» (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения,— прибавил он.

— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.

— Нет, не то чтоб повальные, а так, мрут, как мухи; жиденок, знаете, эдакой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари — опять чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет, да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?

Я молчал.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь был уже больно силен... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал,— бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет... Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу.

И притом заметьте, что их вел добряк офицер, которому явно было жаль детей. Ну, а если б попался военно-политический эконом?

Я взял офицера за руку и, сказав: «Поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь...

Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая! Мы к ним привыкли, они делались обыденно, делались как ни в чем не бывало, никем не замеченные, потерянные за страшной далью, беззвучно заморенные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой.

Разве мы не видали своими глазами семьи голодных псковских мужиков, переселяемых насильственно в Тобольскую губернию и кочевавших без корма и ночлегов по Тверской площади в Москве до тех пор, пока князь Д. В. Голицын на свои деньги велел их призреть?

ГЛАВА XIV

Вятка.— Канцелярия и столовая его превосходительства.— К. Я. Тюфяев

Вятский губернатор не принял меня, а велел сказать, чтоб я явился к нему на другой день в десять часов.

В зале утром я застал исправника, полицмейстера и двух чиновников; все стояли, говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога, большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались; старое и с тем вместе приапическое выражение лица, небольшие, быстрые, серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление.

Он сначала сильно намылил голову исправнику за дорогу, по которой вчера ехал. Исправник стоял с несколько опущенной, в знак уважения и покорности, головою и ко всему прибавлял, как это встарь делывали слуги: «Слушаю, ваше превосходительство».

После исправника он обратился ко мне. Дерзко посмотрел на меня и спросил:

— Вы ведь кончили курс в Московском университете?

— Я кандидат.

— Потом служили?

— В кремлевской экспедиции.

— Ха, ха, ха — хорошая служба! вам, разумеется, при такой службе был досуг пировать и песни петь. Аленицын! — закричал он.

Взошел молодой золотушный человек.

— Послушай, братец, вот кандидат Московского университета; он, вероятно, все знает, кроме службы; его величеству угодно, чтоб он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Завтра вы явитесь в канцелярию в девять утром, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете?

Я сразу не понял.

— Ну, то есть, почерк.

— У меня ничего нет с собой.

— Дай бумаги и перо,— и Аленицын подал мне перо.

— Что же я буду писать?

— Что вам угодно,— заметил секретарь,— напишите: *А по справке оказалось.*

— Ну, к государю переписывать вы не будете,— заметил, иронически улыбаясь, губернатор.

Я еще в Перми многое слышал о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания.

Что и чего не производит русская жизнь!

Тюфяев родился в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, кувыркаются колесом и проч. Он с ними дошел от Тобольска до польских губерний, потешая православный народ. Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в Тобольск. Его мать овдовела и жила в большой крайности, сын клал сам печку, когда она развалилась; надобно было приискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Развязный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом.

В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор. Ему нужны были деловые писаря, кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решился сделать карьеру.

И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрина, который тогда был генерал-интендантом. Еще год спустя он уже заведует одной экспедицией в канцелярии Аракчеева, заведовавшей всею Россией; он с графом был в Париже во время занятия его союзными войсками.

Тюфяев все время просидел безвыходно в походной канцелярии и à la lettre не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги, с достойным товарищем своим Клейнмихелем.

Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут. Устал наконец и Тюфяев на этой фабрике приказов и указов, распоряжений и учреждений и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не

полюбить такого человека, как Тюфяев: без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повиновение в первую добродетель людскую. Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног.

Власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири. Такой-то край и был нужен Тюфяеву.

Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый. Тюфяев был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году,— каким-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется если он был интересован в деле, говорил ему, что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если б открылось что-нибудь другое.

В Перми все еще было полно славою Тюфяева, у него там была партия приверженцев, враждебная новому губернатору, который, как разумеется, окружил себя своими клевретами.

Но зато были люди, ненавидевшие его. Один из них, довольно оригинальное произведение русского *надлома,* особенно предупреждал меня, что́ такое Тюфяев. Я говорю об докторе на одном из заводов. Человек этот, умный и очень нервный, вскоре после курса как-то несчастно женился, потом был занесен в Екатеринбург и, без всякой опытности, затерт в болото провинциальной жизни. Поставленный довольно независимо в этой среде, он все-таки сломился; вся деятельность его обратилась на преследование чиновников сарказмами. Он хохотал над ними в глаза, он с гримасами и кривлянием говорил им в лицо самые оскорбительные вещи. Так как никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой язык доктора. Он сделал себе общественное положение своими нападками и заставил бесхарактерное общество терпеть розги, которыми он хлестал его без отдыха.

Меня предупредили, что он хороший доктор, но поврежденный, и что он чрезвычайно дерзок.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсем напротив, они были полны юмора и сосредоточенной желчи, это

была его поэзия, его месть, его крик досады, а может, долею и отчаяния. Он изучил чиновнический круг, как артист и как медик, он знал все мелкие и затаенные страсти их и, ободренный ненаходчивостью, трусостью своих знакомых, позволял себе все.

Ко всякому слову прибавлял он: «Ни копейки не стоит». Я раз шутя заметил ему это повторение.

— Чему же вы удивляетесь? — возразил доктор.— Цель всякой речи убедить, я и тороплюсь прибавить сильнейшее доказательство, какое существует на свете. Уверьте человека, что убить родного отца ни копейки не будет стоить,— он убьет его.

Чеботарев никогда не отказывал давать взаймы небольшие суммы в сто, двести рублей ассигнациями. Когда кто у него просил, он вынимал свою записную книжку и подробно спрашивал, когда тот ему отдаст.

— Теперь,— говорил он,— позвольте держать пари на целковый, что вы не отдадите в срок.

— Да помилуйте,— возражал тот,— за кого же вы меня принимаете?

— Вам это ни копейки не стоит,— отвечал доктор,— за кого я вас принимаю, а дело в том, что я шестой год веду книжку, и ни один человек еще не заплатил в срок, да никто почти и после срока не платил.

Срок проходил, и доктор пресерьезно требовал выигранный целковый.

Пермский откупщик продавал дорожную коляску; доктор явился к нему и, не прерываясь, произнес следующую речь:

— Вы продаете коляску, мне нужно ее, вы богатый человек, вы миллионер, за это вас все уважают, и я потому пришел свидетельствовать вам мое почтение; как богатый человек, вам ни копейки не стоит, продадите ли вы коляску или нет, мне же ее очень нужно, а денег у меня мало. Вы захотите меня притеснить, воспользоваться моей необходимостью и спросите за коляску тысячу пятьсот; я предложу вам рублей семьсот, буду ходить всякий день торговаться; через неделю вы уступите за семьсот пятьдесят или восемьсот,— не лучше ли с этого начать? Я готов их дать.

— Гораздо лучше,— отвечал удивленный откупщик и отдал коляску.

Анекдотам и шалостям Чеботарева не было конца; прибавлю еще два [1].

— Верите ли вы в магнетизм? — спросила его при мне одна дама, довольно умная и образованная.

---

[1] Эти два анекдота не были в первом издании, я их вспомнил, перечитывая листы для поправки (1858).

— Да что́ вы разумеете под магнетизмом?

Дама ему сказала какой-то общий вздор.

— Вам ни копейки не стоит знать,— отвечал он,— верю я магнетизму или нет, а хотите, я вам расскажу, что́ я видел по этой части.

— Пожалуйста.

— Только слушайте внимательно.

После этого он передал очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковского доктора, его знакомого.

Середь разговора человек принес на подносе закуску. Дама сказала ему, когда он выходил:

— Ты забыл подать горчицы.

Чеботарев остановился.

— Продолжайте, продолжайте,— сказала дама, несколько уже испуганная,— я слушаю.

— Соль-то принес ли он?

— Это вы уже и рассердились,— прибавила дама, краснея.

— Нисколько, будьте уверены; я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, как бы ни была умна и о чем бы ни шла речь, не может никогда стать выше кухни — за что же я лично на вас смел бы сердиться?

На заводах графини Полье, где он тоже лечил, понравился ему дворовый мальчик, он его пригласил к себе в услужение. Мальчик был согласен, но управляющий сказал, что без разрешения графини он его не может уволить. Чеботарев написал к графине. Она велела управляющему выдать паспорт, но на том условии, чтобы Чеботарев заплатил за *пять лет* вперед оброк. Получив этот ответ, он немедленно написал к графине, что согласен, но что просит ее предварительно разрешить ему следующее сомнение, с кого ему получить заплаченные деньги в том случае, если Энкиева комета, пересекая орбиту земного шара, собьет его с пути — что может случиться за полтора года до окончания срока.

В день моего отъезда в Вятку утром рано явился доктор и начал с следующей глупости:

— Вы — как Гораций: раз *пели*, и до сих пор вас всё *переводят*.

Потом он вынул бумажник и спросил, не нужно ли мне денег на дорогу. Я поблагодарил его и отказался.

— Отчего же вы не берете? Вам это ни копейки не стоит.

— У меня есть деньги.

— Плохо,— сказал он,— мир кончается,— раскрыл свою записную книжку и вписал: «После пятнадцатилетней практики в первый раз встретил человека, который не взял денег, да еще будучи на отъезде».

Отдурачившись, он сел ко мне на постель и серьезно сказал:

— Вы едете к страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь как можно более. Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация; если же возненавидит, так уж он вас доедет, клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет, ему это ни копейки не стоит.

При этом он мне рассказал происшествие, истинность которого я имел случай после поверить по документам в канцелярии министра внутренних дел.

Тюфяев был в открытой связи с сестрой одного бедного чиновника. Над братом смеялись; брат хотел разорвать эту связь, грозился доносом, хотел писать в Петербург, словом, шумел и беспокоился до того, что его однажды полиция схватила и представила как сумасшедшего для освидетельствования в губернское правление.

Губернское правление, председатели палат и инспектор врачебной управы, старик-немец, пользовавшийся большой любовью народа и которого я лично знал,— все нашли, что Петровский — сумасшедший.

Наш доктор знал Петровского и был его врачом. Спросили и его для формы. Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он предлагает переосвидетельствовать, иначе должен будет дело это вести дальше. Губернское правление было вовсе не прочь, но, по несчастию, Петровский умер в сумасшедшем доме, не дождавшись дня, назначенного для вторичного свидетельства, и несмотря на то, что он был молодой, здоровый малый.

Дело дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфяева?), началось секретное следствие. Ответы диктовал Тюфяев, он превзошел себя в этом деле. Чтоб разом остановить его и отклонить от себя опасность вторичного непроизвольного путешествия в Сибирь, Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат ее с тех пор с нею в ссоре, как она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проезде императора Александра в Пермь, за что и получила через генерала Соломку пять тысяч рублей.

Привычки Александра были таковы, что невероятного ничего тут не было. Узнать, правда ли, было нелегко и, во всяком случае, наделало бы много скандалу. На вопрос г. Бенкендорфа генерал Соломка отвечал, что через его руки проходило столько денег, что он не припомнит об этих пяти тысячах.

«La regina en aveva molto!» [1] — говорит импровизатор в «Египетских ночах» Пушкина...

---

[1] «У царицы их было много!» *(итал.)* — *Ред.*

И вот этот-то почтенный ученик Аракчеева и достойный товарищ Клейнмихеля, акробат, бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там, человек, оклеветавший императора Александра для того, чтоб отвести глаза императора Николая, брался теперь приучать меня к службе.

Зависимость моя от него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздор министру, меня отослали бы куда-нибудь в Иркутск. Да и зачем писать? он имел право перевести в какой-нибудь дикий город Кай или Царево-Санчурск без всяких сообщений, без всяких ресурсов. Тюфяев отправил в Глазов одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать с ним мазурку, а не с его превосходительством.

Так князь Долгорукий был отправлен из Перми в Верхотурье. Верхотурье, потерянное в горах и снегах, принадлежит еще к Пермской губернии, но это место стоит Березова по климату,— оно хуже Березова — по пустоте.

Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже.

На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере, князь Е. Грузинский без притона беглых в Лыскове, то есть избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на житье в Пермь.

Он приехал в двух каретах: в одной он сам с собакой, в другой — его повар-француз с попугаями. В Перми обрадовались богатому гостю, и вскоре весь город толокся в его столовой. Долгорукий завел шашни с пермской барыней; барыня, заподозрив какие-то неверности, явилась невзначай утром к князю и застала его с горничной. Из этого вышла сцена, кончившаяся тем, что неверный любовник снял со стены арапник; советница, видя его намерение, пустилась бежать; он — за ней, небрежно одетый в один халат; нагнав ее на небольшой площади, где учили обыкновенно батальон, он вытянул раза три ревнивую советницу арапником и спокойно отправился домой, как будто сделал дело.

Подобные милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось сорокалетнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки поехали: Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом.

Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога.

Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку: ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бренные остатки Гарди, его шкуру; внутренность была в пермских желудках. Полгорода занемогло от ужаса.

Между тем Долгорукий, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье. Третья повозка везла целый курятник,— курятник, едущий на почтовых! По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами.

Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства.

В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Американца я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое.

Я лично знал Толстого, и именно в ту эпоху, когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки, с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге... Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейства лет двадцать сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Грибоедов, то есть пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил дозволения возвратиться в Россию. Александр его простил — и он, на другой день после приезда, продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известной своим голосом и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все почи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака.

Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В это время один известный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению, но русский бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого *прямого торжества низшему сословию над высшим.* Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места... Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника. Но возвратимся в Вятку.

Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой. Аленицын меня не теснил, он был даже вежливее, чем я ожидал, он учился в казанской гимназии и в силу этого имел уважение к кандидату Московского университета.

В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частию люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян — почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал ходить в «бильярдную», говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они *офицеры.*

Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от девяти до двух утра и от пяти до восьми часов вечера.

Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили, существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мною сидели четыре писца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мне ловушку, просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, осо-

бенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной.

Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал что хотел, никто мне не мешал; вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств там были мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения.

А тут еще придет «по дороге» кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погуторить, пока до узаконенного часа идти на службу...

Через несколько месяцев, впрочем, канцелярия сделалась несколько полегче.

Долгое, равномерное преследование не в русском характере, если не примешивается личностей или денежных видов; и это совсем не оттого, чтоб правительство не хотело душить и добивать, а от русской беспечности, от нашего laisser-aller [1]. Русские власти все вообще неотесанны, наглы, дерзки, на грубость с ними накупиться очень легко, но постоянное доколачивание людей не в их нравах, у них на это недостает терпения, может, оттого, что оно не приносит никакого барыша.

Сначала, сгоряча, чтоб показать в одну сторону усердие, в другую — власть, делаются всякие глупости и ненужности, потом мало-помалу человека оставляют в покое.

Так случилось и с канцелярией. Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики; оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые вряд возможно ли было бы исполнить где-нибудь в Бельгии или Швейцарии; при этом всякие вычурные таблицы с maximum и minimum, с средними числами и разными выводами из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые *за год перед тем* не собирались!), с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собрание сведений денег не назначалось ни копейки; все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию, и приводить в порядок в губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция, ненавидящая все *мирные* и теоретические занятия, смотрели на

[1] небрежности *(франц.).— Ред.*

статистический комитет как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость; однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами.

Это дело казалось безмерно трудным всей канцелярии; оно было просто невозможно; но на это никто не обратил внимания, хлопотали о том, чтоб не было выговора. Я обещал Аленицыну приготовить введение и начало, очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами — если он разрешит мне этим тяжелым трудом заниматься дома, а не в канцелярии. Аленицын переговорил с Тюфяевым и согласился.

Начало отчета о занятиях комитета, в котором я говорил о надеждах и проектах, потому что в настоящем ничего не было, тронули Аленицына до глубины душевной. Сам Тюфяев нашел, что оно мастерски написано. Тем и окончились труды по части статистики, но комитет дали в мое заведование. На барщину переписки бумаг меня больше не гоняли, и мой пьяненький столоначальник сделался почти подчиненное мне лицо. Аленицын требовал только из каких-то соображений высшего приличия, чтоб я на короткое время заходил всякий день в канцелярию.

Для того чтоб показать всю меру невозможности серьезных таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепостями было: *«Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2»,* и в графе сумм выставлено *«четыре»*. Под рубрикой чрезвычайных происшествий значился следующий трагический анекдот: «Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум,— повесился». Под рубрикой о нравственности городских жителей было написано: «Жидов в городе Кае не находилось». На вопрос, не было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: «На постройку биржи ассигновано было — не было»...

Статистика, спасая меня от канцелярской работы, имела несчастным последствием личные сношения с Тюфяевым.

Было время, когда я этого человека ненавидел, это время давно прошло, да и человек этот прошел, он умер в своих казанских поместьях около 1845 года. Теперь я вспоминаю о нем без злобы, как об особенном звере, попавшемся в лесу, и дичи, которого надобно было изучать, но на которого нельзя было сердиться за то, что он зверь; тогда я не мог не вступить с ним в борьбу: это была необходимость для всякого порядочного человека. Случай мне помог, иначе он сильно повредил бы мне: иметь зуб за зло, которое он мне не сделал, было бы смешно и жалко.

Тюфяев жил один. Жена его была с ним в разводе. На задней половине губернаторского дома, как-то намеренно неловко, пря-

талась его фаворитка, жена повара, удаленного именно за вину своего брака в деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, то есть особенно боявшиеся следствий, составляли придворный штат супруги повара «в случае». Их жены и дочери, не хвастаясь этим, потихоньку, вечером делали ей визиты. Госпожа эта отличалась тем тактом, который имел один из блестящих ее предшественников — Потемкин: зная нрав старика и боясь быть смененной, она сама приискивала ему неопасных соперниц. Благодарный старик платил привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно.

Тюфяев все утро работал и был в губернском правлении. Поэзия жизни начиналась с трех часов. Обед для него был вещь не шуточная. Он любил поесть, и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на двенадцать человек; если гостей было меньше половины, он огорчался; если не больше двух человек, он был несчастен; если же никого не было, он уходил обедать, близкий к отчаянию, в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтоб их накормить до тошноты,— не трудная задача, но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать трактир из своего дома. Надобно было ограничиться советниками, председателями (но с половиной он был в ссоре, то есть не благоволил к ним), редкими проезжими, богатыми купцами, откупщиками и *странностями,* нечто вроде capacités [1], которые хотели ввести при Людовике-Филиппе в выборы. Разумеется, я был странность первой величины в Вятке.

Людей, сосланных на житье «за мнения» в дальние города, несколько боятся, но никак не смешивают с обыкновенными смертными. «Опасные люди» имеют тот интерес для провинции, который имеют известные Ловласы для женщин и куртизаны для мужчин. Опасных людей гораздо больше избегают петербургские чиновники и московские тузы, чем провинциальные жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому декабря пользовались огромным уважением. К вдове Юшневского делали чиновники первый визит в Новый год. Сенатор Толстой, ревизовавши Сибирь, руководствовался сведениями, получаемыми от сосланных декабристов, для поверки тех, которые доставляли чиновники.

Мюних заведовал из своей башни в Пелыме делами Тобольской губернии. Губернаторы ходили к нему совещаться о важных делах.

---

[1] правомочий *(франц.).— Ред.*

Простой народ еще менее враждебен к сосланным, он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово «ссыльный» исчезает и заменяется словом «несчастный». В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии, по дороге в Тобольск, крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке на случай, если «несчастный» будет тайком пробираться из Сибири.

Кстати, говоря о сосланных,— за Нижним начинают встречаться сосланные поляки, с Казани число их быстро возрастает. В Перми было человек сорок, в Вятке не меньше; сверх того, в каждом уездном городе было несколько человек.

Они жили совершенно отдельно от русских и удалялись от всякого сообщения с жителями; между собою у них было большое единодушие, и богатые делились братски с бедными.

Со стороны жителей я не видал ни ненависти, ни особенного расположения к ним. Они смотрели на них как на посторонних — к тому же почти ни один поляк не знал по-русски.

Один закоснелый сармат, старик, уланский офицер при Понятовском, делавший часть наполеоновских походов, получил в 1837 году дозволение возвратиться в свои литовские поместья. Накануне отъезда старик позвал меня и несколько поляков отобедать. После обеда мой кавалерист подошел ко мне с бокалом, обнял меня и с военным простодушием сказал мне на ухо: *«Да зачем же вы русский?!»* Я не отвечал ни слова, но замечание это сильно запало мне в грудь. Я понял, что *этому* поколению нельзя было освободить Польшу.

С Конарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских.

Вообще поляков, сосланных на житье, не теснят, но материальное положение ужасно для тех, которые не имеют состояния. Правительство дает неимущим *по 15 рублей ассигнациями в месяц;* из этих денег следует платить за квартиру, одеваться, есть и отапливаться. В довольно больших городах, в Казани, Тобольске, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балах, рисуя портреты, заводя танцклассы. В Перми и Вятке не было и этих средств. И несмотря на то, у русских они не просили ничего.

...Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия.

Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками: то с излишней фамильяр-

ностию, то с грубостию, выходящей из всех пределов,— и все-таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за них краснел и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в «высшее» вятское общество.

Через несколько месяцев он был мною недоволен, через несколько других он меня ненавидел, и я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.

Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтоб заслужить сначала его внимание и приглашения, потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко; я был с ним всегда en règle [1], он требовал подобострастия.

Он ревниво любил свою власть, она ему досталась трудовой копейкой, и он искал не только повиновения, но *вида* беспрекословной подчиненности. По несчастию, в этом он был национален.

Помещик говорит слуге: «Молчать! Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!»

Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: «Вы забываетесь, знаете ли вы, с *кем* вы говорите?»

Государь *«за мнения»* посылает в Сибирь, за *стихи* морит в казематах — и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи.

Тюфяев был настоящий царский слуга, его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединялось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он бы мог быть статский Клейнмихель, его «усердие» точно так же превозмогло бы все, и он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сек бы еще больнее за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее он сохранил от горьких испытаний. Для Тюфяева каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым освобождением. Прежде начальники не предлагали ему

[1] строго корректен *(франц.).— Ред.*

стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне хлыстом... Все это взошло и назрело в душе писаря; теперь, губернатором, его черед теснить, не давать стула, говорить *ты,* поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян.

Из Перми Тюфяев был переведен в Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всем раболепии, не могло вынести Тюфяева. Они упросили министра Блудова удалить его. Блудов назначил его в Вятку.

Тут он снова очутился в своей среде. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники — раздолье, да и только. Все трепетало его, все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза; на свадьбах и именинах первый тост предлагали «за здравие его превосходительства!».

ГЛАВА XV

Чиновники.— Сибирские генерал-губернаторы.— Хищный полицмейстер.— Ручный судья.— Жареный исправник.— Равноапостольный татарин.— Мальчик женского пола.— Картофельный террор и проч.

Один из самых печальных результатов петровского переворота — это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме «служения», ничего не знающий, кроме канцелярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых.

Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берет верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа.

Там, где-то в закоптелых канцеляриях, через которые мы спешим пройти, обтерханные люди пишут — пишут на серой бумаге, переписывают на гербовую, и лица, семьи, целые деревни обижены, испуганы, разорены. Отец идет на поселенье, мать в тюрьму, сын в солдаты — и все это разразилось, как гром, нежданно, большей частью неповинно. А из-за чего? Из-за денег. Склад-

чину... или начнется следствие о мертвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник — примерный отец...

Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится res publica [1]. Самая власть царская, которая бьет как картечь, не может пробить эти подснежные болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства — ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано — и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм.

Сперанский пробовал облегчить участь сибирского народа. Он ввел всюду коллегиальное начало; как будто дело зависело от того, как кто крадет — поодиночке или шайками. Он сотнями отрешал старых плутов и сотнями принял новых. Сначала он нагнал такой ужас на земскую полицию, что мужики *брали* деньги с чиновников, чтоб не ходить с челобитьем. Года через три чиновники наживались по новым формам не хуже, как по старым.

Нашелся другой чудак, генерал Вельяминов. Года два он побился в Тобольске, желая уничтожить злоупотребления, но, видя безуспешность, бросил все и совсем перестал заниматься делами.

Другие, благоразумнее его, не делали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки,— сказал московский губернатор Сенявин седому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старик улыбнулся.

— Что же ты смеешься? — спросил Сенявин.

— Да, батюшка,— отвечал мужик,— ты прости; на ум пришел мне один молодец наш, похвалялся Царь-пушку поднять и, точно, пробовал — да только пушку-то не поднял!

Сенявин, который сам рассказывал этот анекдот, принадлежал к тому числу непрактических людей в русской службе, которые думают, что риторическими выходками о честности и деспотическим преследованием двух-трех плутов, которые подвернутся, можно помочь такой всеобщей болезни, как русское взяточничество, свободно растущее под тенью цензурного древа.

Против него два средства: гласность и совершенно другая организация всей машины, введение снова народных начал тре-

[1] общим делом *(лат.).— Ред.*

тейского суда, изустного процесса, целовальников и всего того, что так ненавидит петербургское правительство.

Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец знаменитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий римский проконсул, да еще из самых яростных. Он завел открытый, систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы нераспечатанное, и горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о его управлении. Он купцов первой гильдии держал по году в тюрьме, в цепях, он их пытал. Чиновников посылал на границу Восточной Сибири и оставлял там года на два, на три.

Долго терпел народ; наконец какой-то тобольский мещанин решился довести до сведения государя о положении дел. Боясь обыкновенного пути, он отправился на Кяхту и оттуда пробрался с караваном чаев через сибирскую границу. Он нашел случай в Царском Селе подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александр был удивлен, поражен страшными вещами, прочтенными им. Он позвал мещанина и, долго говоря с ним, убедился в печальной истине его доноса. Огорченный и несколько смущенный, он сказал ему:

— Ступай, братец, теперь домой, дело это будет разобрано.

— Ваше величество,— отвечал мещанин,— я к себе теперь не пойду. Прикажите лучше меня запереть в острог. Разговор мой с вашим величеством не останется в тайне — меня убьют.

Александр содрогнулся и сказал, обращаясь к Милорадовичу, который тогда был генерал-губернатором в Петербурге:

— Ты мне отвечаешь за него.

— В таком случае,— заметил Милорадович,— позвольте мне его взять к себе в дом.

Там мещанин действительно и оставался до окончания дела.

Пестель почти всегда жил в Петербурге. Вспомните, что и проконсулы живали обыкновенно в Риме. Он своим присутствием и связями, а всего более дележом добычи предупреждал всякие неприятные слухи и дрязги [1]. Государственный совет, пользуясь отсутствием Александра, бывшего в Вероне или Аахене, умно и справедливо решил, что так как речь в доносе идет о Сибири, то дело и передать на разбор Пестелю, благо он налицо. Милорадович, Мордвинов и еще человека два восстали против этого предложения, и дело пошло в сенат.

---

[1] Это дало повод графу Ростопчину отпустить колкое слово насчет Пестеля. Они оба обедали у государя. Государь спросил, стоя у окна: «Что это там на церкви... на кресте, черное?» — «Я не могу разглядеть,— заметил Ростопчин,— это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудесные глаза, он видит отсюда, что делается в Сибири».

Сенат, с тою возмутительной несправедливостью, с которой постоянно судит дела высших чиновников, выгородил Пестеля, а Трескина, тобольского гражданского губернатора, лишив чинов и дворянства, сослал куда-то на житье. Пестель был только отрешен от службы.

После Пестеля явился в Тобольск Капцевич, из школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиран по натуре, тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель — он приводил все во фрунт и строй, объявлял maximum на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 1824 году государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии идет превосходная широкая дорога, давно наезженная и которой, вероятно, способствовала почва. Капцевич сделал такую же до Тобольска в несколько месяцев. Весной, в распутицу и стужу, он заставил тысячи работников делать дорогу; их сгоняли по раскладке из ближних и дальних поселений; открылись болезни, половина рабочих перемерла, но «усердие все превозмогает» — дорога была сделана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это уж так далеко, что и вести едва доходят до Петербурга. В Иркутске генерал-губернатор Броневский любил палить в городе из пушек, когда «гулял». А другой служил пьяный у себя в доме обедню в полном облачении и в присутствии архиерея. По крайней мере, шум одного и набожность другого не были так вредны, как осадное положение Пестеля и неусыпная деятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь так скверно управляется. Выбор генерал-губернаторов особенно несчастен. Не знаю, каков Муравьев; он известен умом и способностями; остальные были никуда не годны. Сибирь имеет большую будущность — на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилием, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встретится с Сибирью возле Китая.

Я давно говорил, что *Тихий океан — Средиземное море будущего* [1]. В этом будущем роль Сибири, страны между океаном, южной Азией и Россией, чрезвычайно важна. Разумеется, Сибирь

[1] С большой радостью видел я, что нью-йоркские журналы несколько раз повторили это.

должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерзнуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск и проч.

Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начала, намекающие на иное развитие. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети посельщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе нет и аристократии в городах; чиновник и офицер, представители власти, скорее похожи на неприятельский гарнизон, поставленный победителем, чем на аристократию. Огромные расстояния спасают крестьян от частого сношения с ними; деньги спасают купцов, которые в Сибири презирают чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что они есть — за своих приказчиков по гражданским делам.

Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям, к расторопности сделали сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церквей оставила его ум свободнее от изуверства, чем в России, он холоден к религии, большей частью раскольник. Есть дальние деревеньки, куда поп ездит раза три в год и гуртом накрещивает, хоронит, женит и исповедует за все время.

По сю сторону Уральского хребта дела делаются скромнее, и, несмотря на то, я томы мог бы наполнить анекдотами о злоупотреблениях и плутовстве чиновников, слышанными мною в продолжение моей службы в канцелярии и столовой губернатора.

— Вот был профессор-с — мой предшественник,— говорил мне в минуту задушевного разговора вятский полицмейстер.— Ну, конечно, эдак жить можно, только на это надобно родиться-с; это в своем роде, могу сказать, Сеславин, Фигнер,— и глаза хромого майора, за рану произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника.

— Показалась шайка воров, недалеко от города, раз, другой доходит до начальства — то у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах, пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция — трус; так какого-нибудь воришку связать да представить она умеет — а там шайка, да и, пожалуй, с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и говорит: «Я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам». Полицмейстер прежде уж о деле был наслышан. «Генерал,— отвечает он,— я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то; я беру с собой команду, найду их там-то и там-то и через два-три дня приведу их в цепях в

губернский острог». Ведь это Суворов-с у австрийского императора! Действительно: сказано — сделано; он их так и накрыл с командой, денег не успели спрятать, полицмейстер все взял и представил воров в город.

Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает:

— Где деньги?

— Да мы их тебе, батюшка, сами в руки отдали,— отвечают двое воров.

— Мне? — говорит полицмейстер, пораженный удивлением.

— Тебе! — кричат воры.— Тебе.

— Вот дерзость-то,— говорит полицмейстер частному приставу, бледнея от негодования,— да вы, мошенники, пожалуй, уверите, что я вместе с вами грабил. Так вот я вам покажу, каково марать мой мундир; я уланский корнет и честь свою не дам в обиду!

Он их сечь — признавайся, да и только, куда деньги дели? Те сначала свое. Только как он велел им закатить *на две трубки,* так главный-то из воров закричал:

— Виноваты, деньги прогуляли.

— Давно бы так,— говорит полицмейстер,— а то несешь вздор такой; меня, брат, не скоро надуешь.

— Ну, уж точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас. Где нам! — пробормотал старый плут, с удивлением поглядывая на полицмейстера.

— А ведь он за это дело получил Владимира в петлицу.

— Позвольте,— спросил я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру,— что же это значит: *на две трубки?*

— Это так у нас, *домашнее* выражение. Скучно, знаете, при наказании, ну, так велишь сечь да и куришь трубку; обыкновенно к концу трубки и наказанию конец — ну а в экстренных случаях велишь иной раз и на две трубки угостить приятеля. Полицейские привычны, знают примерно сколько.

Об этом Фигнере и Сеславине ходили целые легенды в Вятке. Он чудеса делал. Раз, не помню по какому поводу, приезжал ли генерал-адъютант какой или министр, полицмейстеру хотелось показать, что он недаром носил уланский мундир и что кольнет шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого он адресовался с просьбой к одному из Машковцевых, богатых купцов того края, чтоб он ему дал свою серую дорогую верховую лошадь. Машковцев не дал.

— Хорошо,— говорит Фигнер,— вы этакой безделицы не хотите сделать по доброй воле, я и без вашего позволения возьму лошадь.

— Ну, это еще посмотрим! — сказало *злато.*

— Ну, и увидите,— сказал *булат.*

Машковцев запер лошадь, приставил двух караульных. На этот раз полицмейстер ошибется.

Но в эту ночь, как нарочно, загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам и находившиеся за самым Машковцевым домом. Полицмейстер и полицейские действовали отлично; чтоб спасти дом Машковцева, они даже разобрали стену конюшни и вывели, не опалив ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Через два часа полицмейстер, парадируя на белом жеребце, ехал получать благодарность особы за примерное потушение пожара. После этого никто не сомневался в том, что полицмейстер все может сделать.

Губернатор Рыхлевский ехал из собрания; в то время как его карета двинулась, какой-то кучер с небольшими санками, зазевавшись, попал между постромок двух коренных и двух передних лошадей. Из этого вышла минутная конфузия, не помешавшая Рыхлевскому преспокойно приехать домой. На другой день губернатор спросил полицмейстера, знает ли он, чей кучер въехал ему в постромки и что его следует пострашать.

— Этот кучер, ваше превосходительство, не будет более в постромки заезжать, я ему влепил порядочный урок,— отвечал, улыбаясь, полицмейстер.

— Да чей он?

— Советника Кулакова-с, ваше превосходительство.

В это время старик советник, которого я застал и оставил тем же советником губернского правления, взошел к губернатору.

— Вы нас простите,— сказал губернатор ему,— что мы вашего кучера поучили.

Удивленный советник, не понимая ничего, смотрел вопросительно.

— Вчера он заехал мне в постромки. Вы понимаете, если он мне заехал, то...

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя сидели дома, и кучер был дома.

— Что это значит? — спросил губернатор.

— Я, ваше превосходительство, вчера был так занят, голова кругом шла, виноват, совсем забыл о кучере и, признаюсь, не посмел доложить это вашему превосходительству. Я хотел сейчас распорядиться.

— Ну, вы настоящий полицмейстер, нечего сказать! — заметил Рыхлевский.

Рядом с этим хищным чиновником я покажу вам и другую, противуположную породу — чиновника мягкого, сострадательного, ручного.

А. И. Герцен.

Рисунок А. Л. Витберга.
1836 г.
Государственный литературный музей.

Между моими знакомыми был один почтенный старец, исправник, отрешенный по сенаторской ревизии от дел. Он занимался составлением просьб и хождением по делам, что именно было ему запрещено. Человек этот, начавший службу с незапамятных времен, воровал, подскабливал, наводил ложные справки в трех губерниях, два раза был под судом и проч. Этот ветеран земской полиции любил рассказывать удивительные анекдоты о самом себе и своих сослуживцах, не скрывая своего презрения к выродившимся чиновникам нового поколения.

— Это так, вертопрахи,— говорил он,— конечно, они берут, без этого жить нельзя, но, то есть, эдак ловкости или знания закона и не спрашивайте. Я расскажу вам, для примера, об одном приятеле. Судьей был лет двадцать, в прошедшем году помре,— вот был голова! и мужики его лихом не поминают, и своим хлеба кусок оставил. Совсем особенную манеру имел. Придет, бывало, мужик с просьбицей, судья сейчас пускает к себе, такой ласковый, веселый.

— Как, дескать, дядюшка, твое имя и батюшку твоего как звали?

Крестьянин кланяется.

— Ермолаем, мол, батюшка, а отца Григорьем прозывали.

— Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевич, из каких мест господь несет?

— А мы дубиловские.

— Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо от дороги — от трахта?

— Точно, батюшка, мельницы общинные наши.

— Село зажиточное, землица хорошая, чернозем.

— На бога не жалобимся, ништо, кормилец.

— Да ведь оно и нужно. Небось у тебя, Ермолай Григорьевич, семейка не малая?

— Три сыночка, да девки две, да во двор к старшей принял молодца, пятый годок пошел.

— Чай, уж и внучата завелись?

— Есть, точно, небольшое дело, ваша милость.

— И слава богу! плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевич, дорога дальняя, выпьем-ка рюмочку березовой.

Мужик ломается. Судья наливает ему, приговаривая:

— Полно, полно, брат, сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей.

— Оно точно, что запрету нет, но вино-то и доводит человека до всех бед.— Тут он крестится, кланяется и пьет березовку.

— При такой семейке, Григорьич, небось накладно жить? каждого накормить, одеть — одной клячонкой или коровенкой не оборотишь дела, молока недостанет.

— Помилуй, батюшка, куда толкнешься с одной лошаденкой; есть-таки троечка, была четвертая, саврасая, да пала с глазу о петровки,— плотник у нас, Дорофей, не приведи бог, ненавидит чужое добро, и глаз у него больно дурен.

— Бывает-с, бывает-с. А у вас ведь выгоны большие, небось барашков держите?

— Ништо, есть и барашки.

— Ох, затолковался я с тобой. Служба, Ермолай Григорьич, царская, пора в суд. Что у тебя дельцо, что ли?

— Точно, ваша милость,— есть.

— Ну, что такое? повздорили что-нибудь? поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать.

— Да что, отец родной, беда под старость лет пришла... Вот в самое-то успленье были мы в питейном, ну, и крупно поговорили с суседским крестьянином — такой безобразный человек, наш лес крадет. Только, поговоримши, он размахнулся да меня кулаком в грудь. «Ты, мол, в чужой деревне не дерись»,— говорю я ему, да хотел так, то есть, пример сделать, тычка ему дать, да спьяну, что ли, или нечистая сила,— прямо ему в глаз — ну, и попортил, то есть, глаз, а он со старостой церковным сейчас к становому,— хочу, дескать, суд по форме.

Во время рассказа судья — что ваши петербургские актеры! — все становится серьезнее, глаза эдакие сделает страшные и ни слова.

Мужик видит и бледнеет, ставит шляпу у ног и вынимает полотенце, чтоб обтереть пот. Судья все молчит и в книжке листочки перевертывает.

— Так вот я, батюшка, к тебе и пришел,— говорит мужик не своим голосом.

— Чего ж я могу сделать тут? Экая причина! И зачем же это прямо в глаз?

— Точно, батюшка, зачем... враг попутал.

— Жаль, очень жаль! из чего дом должен погибнуть! ну, что семья без тебя останется? все молодежь, а внучата — мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинают ноги дрожать.

— Да что же, отец родной, к чему же это я себя угодил?

— Вот, Ермолай Григорьич, читай сам... или того, грамота-то не далась? Ну, вот видишь «о членовредителях» статья... «Наказавши плетьми, сослать в Сибирь на поселенье».

— Не дай разориться человеку! не погуби христианина! разве нельзя как?..

— Экой ты какой! Разве супротив закона можно идти? Конечно, все дело рук человеческих. Ну, вместо тридцати ударов мы назначим эдак пяточек.

— Да, то есть, в Сибирь-то?..

— Не в нашей, братец ты мой, воле.

Тащит мужик из-за пазухи кошелек, вынимает из кошелька бумажку, из бумажки — два-три золотых и с низким поклоном кладет их на стол.

— Это что, Ермолай Григорьевич?

— Спаси, батюшка.

— И полно, полно! что ты это? Я, грешный человек, иной раз беру благодарность. Жалованье у меня малое, поневоле возьмешь; но принять, так было бы за что. Как я тебе помогу? Добро бы ребро или зуб, а то прямо в глаз! Возьмите денежки ваши назад.

Мужичок уничтожен.

— Разве вот что; поговорить мне с товарищами, да и в губернию отписать? неравно дело пойдет в палату, там у меня есть приятели, все сделают; ну, только это люди другого сорта, тут тремя лобанчиками не отделаешься.

Мужик начинает приходить в себя.

— Мне, пожалуй, ничего не давай, мне семью жаль; ну, а тем меньше двух серебких и предлагать нечего.

— То есть, как пред богом, ума не приложу, где это достать такую палестину денег — четыреста рублев — время же какое?

— Я таки и сам думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшим — за раскаянье, мол, и приняв в соображенье нетрезвый вид... ведь и в Сибири люди живут. Тебе же не бог весть, как далеко идти... Конечно, если продать парочку лошадок, да одну из коров, да барашков, оно, может, и хватит. Да скоро ли потом в крестьянском деле сколотишь столько денег! А с другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себе куда Макар телят не гонял. Подумай, Григорьич, время терпит, пообождем до завтра, а мне пора,— прибавляет судья и кладет в карман лобанчики, от которых отказался, говоря: «Это вовсе лишнее, я беру, только чтоб вас не обидеть».

На другое утро, глядь, старый жид тащит разными крестовиками да старинными рублями рублев триста пятьдесят ассигнациями к судье.

Судья обещает печься об деле; мужика судят, судят, стращают, а потом и выпустят с каким-нибудь легким наказанием, или с советом впредь в подобных случаях быть осторожным, или с отметкой: «оставить в подозрении», и мужик всю жизнь молит бога за судью.

— Вот как делали встарь,— приговаривал отрешенный от дел исправник,— начистоту.

...Вятские мужики вообще не очень выносливы. Зато их и считают чиновники ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для земской полиции это вотяки, мордва, чуваши; народ жалкий, робкий, бездарный. Исправники дают двойной окуп губернаторам за назначение их в уезды, населенные финнами.

Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками.

Землемер ли едет с поручением через вотскую деревню, он непременно в ней останавливается, берет с телеги астролябию, вбивает шест, протягивает цепь. Через час вся деревня в смятении. «Межемерня, межемерня!» — говорят мужики с тем видом, с которым в 12 году говорили: «Француз, француз!» Является староста поклониться с миром. А тот все меряет и записывает. Он его просит не обмерить, не обидеть. Землемер требует двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собирают деньги — и землемер едет до следующей вотской деревни.

Попадется ли мертвое тело исправнику со становым, они его возят две недели, пользуясь морозом, по вотским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли и что следствие и суд назначены в их деревне. Вотяки откупаются.

За несколько лет до моего приезда исправник, разохотившийся брать выкупы, привез мертвое тело в большую русскую деревню и требовал, помнится, двести рублей. Староста собрал мир; мир больше ста не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с двумя писарями в волостном правлении и, в свою очередь, грозили их сжечь. Исправник не поверил угрозе. Мужики обложили избу соломой и как ультиматум подали исправнику на шесте в окно сторублевую ассигнацию. Героический исправник требовал еще сто. Тогда мужики зажгли с четырех сторон солому, и все три Муция Сцеволы земской полиции сгорели. Дело это было потом в сенате.

Вотские деревни вообще гораздо беднее русских.

— Плохо, брат, ты живешь,— говорил я хозяину-вотяку, дожидаясь лошадей в душной, черной и покосившейся избушке, поставленной окнами назад, то есть на двор.

— Что, бачка, делать? мы бедна, деньга бережем на черная дня.

— Ну, чернее мудрено быть дню, старинушка,— сказал я ему, наливая рюмку рому,— выпей-ка с горя.

— Мы не пьем,— отвечал вотяк, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, ну-тка бери.

— Выпей сама прежде.

Я выпил, и вотяк выпил.

— А ты что? — спросил он,— с губерния, по делу?

— Нет,— отвечал я,— проездом, еду в Вятку.

Это его значительно успокоило, и он, осмотревшись на все стороны, прибавил в виде пояснения:

— Черной дня, когда исправник да *поп* приедут.

Вот о последнем-то я и хочу рассказать вам кое-что. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать от византийского смирения нашей церкви и от императорского первосвятительства.

Финское население долею приняло крещение в допетровские времена, долею было окрещено в царствование Елизаветы и долею осталось в язычестве. Большая часть крещеных при Елизавете тайно придерживается своей печальной, дикой религии [1].

Года через два-три исправник или становой отправляются с попом по деревням ревизовать, кто из вотяков говел, кто нет и почему нет. Их теснят, сажают в тюрьму, секут, заставляют платить требы; а главное, поп и исправник ищут какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своих прежних обрядов. Тут духовный сыщик и земский миссионер подымают бурю, берут огромный окуп, делают «черная дня», потом уезжают, оставляя все по-старому, чтоб иметь случай через год-другой снова поехать с розгами и крестом.

В 1835 году святейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие.

Это обращение — тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством, фасад, декорация, blague [2], ложь, пышный отчет: кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут.

Митрополит Филарет отрядил миссионером бойкого священника. Его звали Курбановским. Снедаемый русской болезнью —

---

[1] Все молитвы их сводятся на материальную просьбу о продолжении их рода, об урожае, о сохранении стада, и больше ничего. «Дай, Юмала, чтоб от одного барана родилось два, от одного зерна родилось пять, чтоб у моих детей были дети». В этой неуверенности в *земной* жизни и хлебе насущном есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Диавол (шайтан) почитается наравне с богом. Я видел сильный пожар в одном селе, в котором жители были перемешаны — русские и вотяки. Русские таскали вещи, кричали, хлопотали,— особенно между ними отличался целовальник. Пожар остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмик и плакали навзрыд, ничего не делая.

[2] бахвальство *(франц.).— Ред.*

честолюбием, Курбановский горячо принялся за дело. Во что б то ни стало он решился втеснить благодать божию черемисам. Сначала он попробовал проповедовать, но это ему скоро надоело. И в самом деле, много ли возьмешь этим старым средством?

Черемисы, смекнувши, в чем дело, прислали своих священников, диких, фанатических и ловких. Они, после долгих разговоров, сказали Курбановскому:

— В лесу есть белые березы, высокие сосны и ели, есть тоже и малая мозжуха. Бог всех их терпит и не велит мозжухе быть сосной. Так вот и мы меж собой, как лес. Будьте вы белыми березами, мы останемся мозжухой, мы вам не мешаем, *за царя молимся,* подать платим и рекрутов ставим, а святыне своей изменить не хотим [1].

Курбановский увидел, что с ними не столкуешь и что доля Кирилла и Мефодия ему не удается. Он обратился к исправнику. Исправник обрадовался донельзя; ему давно хотелось показать свое усердие к церкви — он был некрещеный татарин, то есть правоверный магометанин, по названию Девлет-Килдеев.

Исправник взял с собой команду и поехал осаждать черемисов словом божиим. Несколько деревень были окрещены. Апостол Курбановский отслужил молебствие и отправился смиренно получать камилавку. Апостолу-татарину правительство прислало Владимирский крест за распространение христианства!

По несчастию, татарин-миссионер был не в ладах с муллою в Малмыже. Мулле совсем не нравилось, что правоверный сын Корана так успешно проповедует Евангелие. В рамазан исправник, отчаянно привязавши крест в петлицу, явился в мечети и, разумеется, стал вперед всех. Мулла только было начал читать в нос Коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет продолжать в присутствии *правоверного,* пришедшего в мечеть с христианским знамением.

Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест.

Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Килдеева. По несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм.

Перед окончанием моей вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой наглости, что над ним назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров

---

[1] Подобный ответ (если Курбановский его не выдумал) был некогда сказан крестьянами в Германии, которых хотели обращать в католицизм.

по губерниям. С этого началось введение нового управления государственными крестьянами.

Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть! — и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением.

«Дело о потери *неизвестно* куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами».

«Дело о потери *двадцати двух* казенных оброчных статей», то есть верст пятнадцати земли.

«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».

Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски.

Отец этого предполагаемого Василья пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв «под хмельком», окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой... Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола.

Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия.

При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел на-

писал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать».

Это еще лучше моей Василисы-Василья. Что значит грубый факт жизни перед высочайшим приказом? Павел был поэт и диалектик самовластья!

Как ни грязно и ни топко в этом болоте приказных дел, но прибавлю еще несколько слов. Эта гласность — последнее, слабое вознаграждение страдавшим, погибнувшим без вести, без утешения.

Правительство дает охотно в награду высшим чиновникам пустопорожние земли. Вреда в этом большого нет, хотя умнее было бы сохранить эти запасы для умножающегося населения. Правила, по которым велено отмежевывать земли, довольно подробны: нельзя давать берегов судоходной реки, строевого леса, обоих берегов реки; наконец, ни в каком случае не велено выделять земель, обработанных крестьянами, хотя бы крестьяне не имели никаких прав на эти земли, кроме давности...[1]

Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение — страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян.

Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь особенным. Сам граф Орлов *случайно* получил в надел дорогу и пастбища, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии.

Дивиться, стало быть, нечему, что одним добрым утром у крестьян Даровской волости Котельничского уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво, они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в сенат. Межевой департамент догадался, что мужики правы, но не знал, что делать, и спросил Канкрина. Канкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор *могла* быть перепродаваема и что владельцы оной *могли сделать* разные улучшения. А потому его сиятельство положило,

---

[1] В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открываются вдруг три-четыре *починка*. Огромные земли и леса (до половины уже сведенные) увлекают крестьян брать эту res nullius <ничью вещь *(лат.).— Ред.*>, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз вынуждено было утверждать землю за захватившими.

пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разработывать поля? во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Так как крестьяне Даровской волости больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансов отделили новое дело от прежнего и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать даровским крестьянам к болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали в сенат, но пока их дело дошло до разбора, межевой департамент прислал им планы на новую землю, как водится, переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями ромба RRZ и ромба ZZR, а главное, с требованием такой-то подесятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают земли, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством вятского полицмейстера. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал *виновных* уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетьми и сосланы на поселенье.

Через два года наследник проезжал Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра — я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю — не слыхал.

В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации — кочующих цыган.

Русские крестьяне неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы: как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях «земляные яблоки» саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому правительству то-то и противно, что делается само собою. Все надобно, чтоб делалось из-под палки, по флигельману, по темпам.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии засеяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по волостям центральные ямы. Ямы ут-

верждены, ямы предписаны, ямы копаются, и в начале зимы мужики скрепя сердце повезли картофель в центральные ямы. Но когда следующей весной их хотели заставить сажать *мерзлый* картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труду, как приказ делать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Киселев прислал из Петербурга чиновника; он, человек умный и практический, взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморозки.

Чиновник повторил это во второй и в третьей. Но в четвертой голова ему сказал наотрез, что он картофель сажать не будет, ни денег ему не даст. «Ты,— говорил он ему,— освободил таких-то и таких-то; ясное дело, что и нас должен освободить». Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих.

Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечи и ружейных выстрелов. Мужики оставили домы, рассыпались по лесам; казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей; тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Козьмодемьянск.

По странной случайности старый майор внутренней стражи был честный, простой человек; он добродушно сказал, что всему виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись, его голос подавили, заглушили, его запугали и даже застыдили тем, что он хочет «погубить невинного человека».

Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег и целую толпу сослали в Сибирь.

Замечательно, что Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора.

Он этого не сделал!

...Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к картофелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим подвластным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайно, чтоб они не препятствовали крестьянам красть на посев картофель. В несколько лет часть Франции обсеялась картофелем.

Tout bien pris [1], ведь это лучше картечи, Павел Дмитриевич?

К Вятке прикочевал в 1836 году табор цыган и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая

[1] Приняв все во внимание *(франц.).— Ред.*

с незапамятных времен свою вольную бродячую жизнь, с вечным ученым медведем и ничему не ученными детьми, с коновалами, гаданьем и мелким воровством. Они спокойно пели песни и крали кур, но вдруг губернатор получил высочайшее повеление, буде найдутся цыгане *беспаспортные* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали и Николай, и его люди), то дать им такой-то срок, чтоб они приписались там, где их застанет указ, к сельским, городским обществам.

По прошествии же данного срока предписывалось *всех* годных к военной службе отдать в солдаты, *остальных* отправить на поселение, *отобрав детей* мужеского пола.

Этот безумный указ, напоминающий библейские рассказы о избиениях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ, написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того чтоб приписываться, надобны деньги, надобно согласие обществ, которые тоже даром не захотят принять цыган, и притом следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться. Взяв все это во внимание, Тюфяев, и тут нельзя ему не отдать справедливости, представлял министерству о том, чтоб им дать льготы и отсрочки.

Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение навуходоносоровское распоряжение. Скрепя сердце послал Тюфяев команду, которой велел окружить табор; когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном, и что тут, говорят, было — это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в ногах у полиции, седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицмейстер забрал детей, забрал рекрут, остальных отправили по этапам куда-то на поселение.

Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть? и на какие деньги содержать?

Прежде при приказах общественного призрения были воспитательные домы, ничего не стоившие казне. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило, как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда и ни за чем не останавливаются — велели отдать малюток, впредь до распоряжения, на попечение стариков и старух, призираемых в богадельне.

Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами, и заставить их дышать воздухом смерти, и поручить ищущим покоя старикам — уход за детьми даром...

Поэты!

Чтоб не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся года полтора спустя с владимирским старостою моего отца. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет двадцать сидел старостой небольшой оброчной деревеньки.

В тот год, в который я жил в Владимире, соседние крестьяне просили его сдать за них рекрута; он явился в город с будущим защитником отечества на веревке и с большой самоуверенностью, как мастер своего дела.

— Это, батюшка,— говорил он, расчесывая пальцами свою обкладистую белокурую бороду с проседью,— все дело рук человеческих. В запрошлом году нашего малого ставили, был такой плохенький, ледащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю: «А что примерно, православные, прикладу положите — немазано колесо не вертится». Мы так потолковали промеж себя, мир-то и определил двадцать пять золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривши в казенной палате, иду прямо к председателю — человек, батюшка, был он умный, и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет, а у самого ножка болит, так изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом: «Ладно, ладно, ты толкуй,— сколько *оных*-то привез — ты ведь жидомор, знаю я тебя». Я положил на стол десять лобанчиков и поклонился в пояс — они их так в ручку взяли и поигрывают. «А что, говорит, не мне ведь одному платить-то надо, что же ты еще привез?» Я докладываю: с десяток, мол, еще наберется. «Ну, говорит, куда же ты их денешь, сам считай — лекарю два, военному приемщику два, письмоводителю, ну, там на всякое угощение все же больше трех не выйдет,— так ты уж остальные мне додай, а я постараюсь уладить дельце».

— Ну, что же, ты дал?

— Вестимо, что дал — ну, и забрили лоб оченно хорошо.

Обученный такому округлению счетов, привыкнувший к такого рода сметам, а вероятно, и к пяти золотым, о судьбе которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору в Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему с своими лобанчиками и арапчиками. По несчастию, наш граф, как героиня в «Нулине», был воспитан «не в отеческом законе», а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил, вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы не брали взяток, до того растерялся, что не заперся, не начал

клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так чтоб лопнули его глаза и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел.

Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина и желая, вероятно, искоренить in Russland[1] взятки, наказать порок и поставить целебный пример,— написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили в острог и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку,— дело было скверное, и старосту надобно было спасти во чтоб ни стало.

Я бросился к губернатору — он отказался вступать в это дело; председатель и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигель-адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант первый, сменив гнев на милость, говорил, что он «никакого зла сделать старосте не хочет, что он хотел его проучить, что *пусть его посудят, да и отпустят*». Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела; прислал бы его просто ко мне, я бы ему, дураку, вздул бы спину,— не суйся, мол, в воду, не спросясь броду,— да и отпустил бы его восвояси,— все бы и были довольны; а теперь поди расчихивайся с палатой».

Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве, что я не мог их позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, то есть в уголовную палату. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавши плетьми, отправляли в Сибирь, на поселение. Явился ко мне его сын, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнувшего. Поехал я снова к председателю и советникам, снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред, наказывая так строго старосту; что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь, что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что всяк дар совершен и всякое даяние благо. Прося, кланяясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к на-

[1] в России *(нем.).— Ред.*

казанию несколькими ударами плетью в стенах острога, с оставлением на месте жительства и с воспрещением ходатайствовать по делам за других крестьян.

Я веселее вздохнул, увидя, что губернатор и прокурор согласились, и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания; полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу.

Через несколько дней явился как-то утром староста, похудевший и еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли.

— О чем ты кручинишься? — спросил я его.

— Да что, уж разом бы все порешили.

— Ничего не понимаю.

— Да, то есть, когда же наказывать-то будут?

— А тебя не наказывали?

— Нет.

— Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?

— Домой-то домой — да вот о наказании-то думается, секретарь именно читал.

Я ничего в самом деле не понимал и наконец спросил его: дали ли ему какой-нибудь вид. Он подал мне его. В нем было написано все решение и в конце сказано, что, учинив, по указу уголовной палаты, наказание плетьми в стенах тюремного замка, «выдать ему оное свидетельство и из замка освободить».

Я расхохотался.

— Да ведь уже ты наказан!

— Нет, батюшка, нет.

— Ну, если недоволен, ступай назад, проси, чтоб наказали, может, полиция взойдет в твое положение.

Видя, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сумнительно качая головой и приговаривая:

— Поди ты, вон эки чудеса!

«Экой беспорядок»,— скажут многие; но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможною жизнь в России.

ГЛАВА XVI

Александр Лаврентьевич Витберг

Середь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные

черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью.

Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада.

Разорив, опозорив А. Л. Витберга, Николай его сослал на Вятку. Там мы встретились с ним.

Два года с половиной я прожил с великим художником и видел, как под бременем гонений и несчастий разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо меряющего все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой.

Нельзя сказать, чтоб он легко сдался, он отчаянно боролся целых десять лет, он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться, он приехал, словом, еще готовый на борьбу, с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено.

Может быть, он сладил бы и с этим открытием, но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишений, и Витберг седел, седел, старел, старел не по дням, а по часам. Когда я его оставил в Вятке через два года, он был десятью годами старше.

Вот повесть этого длинного мученичества.

Император Александр не верил своей победе над Наполеоном, ему было тяжело от славы, и он откровенно относил ее к богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызения совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном.

Когда «последний неприятельский солдат переступил границу», Александр издал манифест, в котором давал обет воздвигнуть в Москве огромный храм во имя Спасителя.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс.

Витберг был тогда молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист; артист читает манифест, читает вызовы — и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнее его, он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает.

Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окре-

стности и снова работает, месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект.

Пришло время конкурса. Проектов было много, были проекты из Италии и из Германии, наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса, сомнений и мучительного ожидания.

Колоссальный, исполненный религиозной поэзии проект Витберга поразил Александра. Он остановился перед ним и об нем первом спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика академии.

Александр захотел видеть Витберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное вдохновение, которым он был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите»,— заметил он, снова рассматривая проект.

В тот же день проект был утвержден и Витберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста.

Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это — очерченное, расчищенное место, это — обстановка, броня черепахи, раковина моллюска,— именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахе. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе.

Египетские храмы были их священные книги. Обелиски — проповеди на большой дороге.

Соломонов храм — построенная Библия, так, как храм святого Петра — построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого.

Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов, иносказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли

между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство.

Собственно мистический характер зодчество теряет с веками Восстановления. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка — с греческим фронтоном, духовная святыня — с светской красотой. Поэтому-то храм св. Петра и имеет такое высокое значение: в его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится языческая, и Бонарроти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом в цвете лет и силы.

После храма св. Петра зодчество церквей совсем пало и свелось наконец на простое повторение в разных размерах то древних греческих *периптеров,* то церкви св. Петра.

Один Парфенон назвали церковью св. Магдалины в Париже. Другой — биржей в Нью-Йорке.

Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые *судки* с луковками вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города.

Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра выходили из ряда вон.

Война 1812 года сильно потрясла умы в России, долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервное раздражение. События вне России, взятие Парижа, история Ста дней, ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой,— все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой, и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения.

Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга.

Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление.

Можно ли было найти лучше место для храма в память 1812 года как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство.

Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен.

Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделабрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых.

На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма — храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний.

Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелких подробностей и везде совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу.

Удивительный человек, он всю жизнь работал над своим проектом. Десять лет подсудимости он занимался только им; гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем, он не верил, что его не будут строить: воспоминания, утешения, слава — все было в этом портфеле артиста.

Быть может, когда-нибудь другой художник, после смерти страдальца, стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст

этот архитектурный мартиролог, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем-фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами-писцами.

Проект был гениален, страшен, безумен — оттого-то Александр его выбрал, оттого-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии, эти туннели в восемь минут езды, цепные мосты и проч.

Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить.

— Именно поэтому-то и надобно их выписать,— отвечал он.— Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить.

Милорадович был воин-поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.

Одна природа делает великое даром.

Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте: зачем он принял место директора,— он, неопытный артист, молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах? Ему следовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен, артист; он принял потому, что после принятия его проекта ему казалось все легко; он принял потому, что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова?.. Где эти трезвые люди, умеренные, воздержные? Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют «говорить каменья»!

Само собою разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию — за аферу, службу — за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того чтоб он, упавши в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтоб к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других.

Товарищами Витберга в комиссии были: митрополит Филарет, московский генерал-губернатор, сенатор Кушников; все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще притом смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом.

Этому способствовало сначала падение мистического министерства князя А. Н. Голицына, потом смерть Александра.

Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые в лице Магницкого в Казани и Рунича в Петербурге дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес.

С своей стороны, дикое, грубое, невежественное православие взяло верх. Его проповедовал новогородский архимандрит Фотий, живший в какой-то — разумеется, не телесной — близости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного именья, насильственно отнятого у монастырей Екатериной, и предаваясь неистовому изуверству.

Но в чем петербургское правительство постоянно, чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала, его религия,— это несправедливое гонение и преследования. Неистовство Руничей и Магницких обратилось на Руничей и Магницких. Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии,— сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками; «Сионский вестник», вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзин сослан в Вологду.

Падение князя А. Н. Голицына увлекло Витберга; все опрокидывается на него, комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы «дерзки» (в его деле *дерзость* поставлена в одно из главных обвинений); его подчиненные *воруют,*— как будто кто-нибудь находящийся на службе в России не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других: он не имел никакой привычки заведовать смирительными домами и классными ворами.

Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга, он передал ему через одного из своих приближенных, что он уверен в его правоте.

Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось *десять* лет с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставятся в вину сенатом. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь «лучшей привиле-

гией царей — миловать и уменьшать наказания», прибавляет к приговору — ссылку на Вятку.

Итак, Витберг отправился в ссылку, отрешенный от службы «за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне», на него насчитывают миллион, кажется, рублей, берут все именье, продают все с публичного торга и распускают слух, что он перевел видимо-невидимо денег в Америку.

Я жил с Витбергом в одном доме два года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба; семья его жила в самой страшной бедности.

Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу две небольшие подробности, которые у меня особенно остались в памяти.

Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова; прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен в острог за это дело и умер там.

Второе дело было перед моими глазами. Витберг скупал именья для храма. Его мысль состояла в том, чтоб помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выставлять известное число работников,— этим способом они приобретали полную волю себе и деревне. Забавно, что наши сенаторы-помещики находили в этой мере какое-то невольничество!

Между прочим, Витберг хотел купить именье моего отца в Рузском уезде, на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволения сделать геологическое исследование, чтоб определить количество его. Отец мой позволил. Витберг уехал в Петербург.

Месяца через три отец мой узнает, что ломка камня производится в огромном размере, что озимые поля крестьян завалены мрамором; он протестует, его не слушают. Начинается упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но, по несчастию, оказалось, что он не давал никакого приказа и что все это было сделано комиссией во время его отсутствия.

Дело пошло в сенат. Сенат решил, к *общему удивлению*, довольно близко к *здравому смыслу*. Наломанный камень оставить помещику, считая ему его в вознаграждение за помятые поля. Деньги, истраченные казной на ломку и работу, до ста тысяч ас-

сигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах. Подписавшиеся были: князь Голицын, Филарет и Кушников. Разумеется — крик, шум. Дело довели до государя.

У него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных от платежа, потому, написал он собственноручно, как и напечатано в сенатской записке, «что члены комиссии не знали, что подписывали». Положим, что митрополит по ремеслу должен оказывать смирение, а каковы другие-то вельможи, которые приняли подарок, так учтиво и милостиво мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысяч? казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет,— оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тут задумываться — сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело.

Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней: камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку; впрочем, если помещик хочет оставить, взыскать с него сто тысяч. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства (ведь это chef-d'œuvre! [1]), а впрочем, за помятые крестьянские поля *выдать* по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром I, столько-то копеек с десятины.

Собственно наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня в процессе все-таки поставлена на счет Витберга.

...Года через два после ссылки Витберга вятское купечество вознамерилось построить новую церковь.

Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасад, *высочайше* утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в III Отделении собственной канцелярии флигель-адъютантом Львовым никуда не годятся. Но это еще мало — ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов.

Вятское купечество, перебирая «апробованные» планы, имело смелость не быть согласным со вкусом государя. Проект вятского купечества удивил Николая, он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтоб при исполнении не исказили мысли архитектора.

— Кто делал этот проект? — спросил он статс-секретаря.

— Витберг, ваше величество.

---

[1] шедевр *(франц.).— Ред.*

— Как, тот Витберг?

— Тот самый, ваше величество.

И вот Витбергу, как снег на голову,— разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволение оправдаться — ему отказали; он сделал удачный проект — государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности...

В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя А. Н. Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался с Жуковским похлопотать и сулил рублей тысячу серебром.

Витберг отказался.

В 1846, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов, который я так любил, стал потухать; надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтоб выйти из своего положения, ровное отчаяние докончило его, существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти.

Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен.

Жив ли страдалец — не знаю, но сомневаюсь.

— Если б не семья, не дети,— говорил он мне, прощаясь,— я вырвался бы из России и пошел бы по миру; с моим Владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр,— рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!

Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю.*

Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям; но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах, жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии.

Мистицизм Витберга лежал долею в его скандинавской крови; это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенборге, похожая, в свою очередь, на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии.

Влияние Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии.

Но именно в ту эпоху, когда я жил с Витбергом, я более, чем когда-нибудь, был расположен к мистицизму.

Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния,— все это помогало Витбергу.

И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру.

Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 он начинал писать текст для Гебелевой [1] оратории «Потерянный рай». «В идее потерянного рая,— писал мне Огарев,— заключается вся история человечества!» Стало быть, в то время и он *отыскиваемый рай* идеала принимал за утраченный.

Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством, тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других — борьбу официальной церкви с квекерами и отъезд Уильяма Пена в Америку, в Новый Свет [2].

Мистицизм науки вскоре заменил во мне — евангельский мистицизм; по счастью, отделался я и от второго.

Но возвратимся в наш скромный Хлынов-городок, переименованный, не знаю зачем, разве из финского патриотизма, Екатериной II в Вятку.

---

[1] Гебель — известный композитор того времени.

[2] Я эти сцены, не понимая почему, вздумал написать *стихами*. Вероятно, я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погодин писал им. В 1839 или 40 году я дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день прислал мне их с запиской, в которой писал: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов, я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи».

Убил Белинский обе попытки драматических сцен. Долг красен платежами. В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе. «Как тебе нравится моя последняя статья?» — спросил он меня, обедая, en petit comité <в тесной компании *(франц.).— Ред.*> у Дюссо. «Очень,— отвечал я,— все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — «И в самом деле так,— сказал, помирая со смеху, Белинский,— ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!»

В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный со всем дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук.

Где вы? что с вами, подснежные друзья мои? Двадцать лет мы не видались. Чай, состарились и вы, как я, дочерей выдаете замуж, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчиком на ножке наливку. Кто из вас разбогател, кто разорился, кто в чинах, кто в параличе? А главное, жива ли у вас память об наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и *негодованием.*

Я остался тот же, вы это знаете; чай, долетают до вас вести с берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас, всегда с любовью; у меня есть несколько писем того времени, некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать.

«Я не стыжусь тебе признаться,— писал мне 26 января 1838 один юноша,— что мне очень горько теперь. Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня, помоги мне своим советом. *Я хочу учиться,* назначь мне книги, назначь что хочешь, я употреблю все силы, дай мне ход,— на тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня».

«Я тебя благословляю,— пишет мне другой, вслед за моим отъездом,— как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву».

Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому, что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них *тоску* можно было примириться с девятимесячной тюрьмой и трехлетней жизнию в Вятке.

А тут два раза в неделю приходила в Вятку московская почта; с каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома, нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным шрифтом.

И я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдаляя минуту чтения, наслаждаясь одной мыслию, что письмо *есть.*

Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их и страшно коснуться...

Письма — больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это самое прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.

...Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора?..

ГЛАВА XVII

Наследник в Вятке.— Падение Тюфяева.— Перевод во Владимир.— Исправник на следствии

Наследник будет в Вятке! Наследник едет по России, чтоб себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных глупостей, велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны, велел в городах перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого дома, объявила городничему, что у нее нет денег на поправку тротуара, городничий донес губернатору. Губернатор велел у нее разобрать полы (тротуары там деревянные), а буде недостанет, сделать поправку на казенный счет и взыскать потом с нее деньги, хотя бы для этого следовало продать дом с публичного торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новогородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новогородцы поселились в Хлынове (Вятке), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки; новогородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку, кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощанике по реке, с нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощаников, комяг, наполненных крестьянами и крестьянками, вотяками, мещанами, пестро двигаются за плывущим образом. И впереди всех — губернаторская расшива, покрытая красным сукном. Дикое зрелище это очень недурно. Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на Великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, толпы некрещеных вотяков и черемис, даже татар, приходят молиться иконе. Зато и праздник имеет чисто языческий вид. За монастырской стеной вотяки, русские приносят на жертву баранов и телят, их тут же бьют, иеромонах читает молитвы, благословляет и святит мясо, которое подают в особое окно с внутренней стороны ограды. Мясо это раздают по кускам народу. Встарь давали его даром, теперь монахи берут несколько копеек за каждый кусок. Так что мужик, подаривший целого теленка, должен истратить грош-другой, чтоб получить кусок себе на снедь. На монастырском дворе сидят целые толпы нищих, калек, слепых, всяких уродов, которые хором поют «Лазаря». Молодые поповичи и мещанские мальчики сидят на надгробных памятниках около

церкви с чернильницей и кричат: «Кому памятцы писать? Кому памятцы?» Бабы и девки окружают их, сказывая имена, мальчишки, ухарски скрыпя пером, повторяют: «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, отца Иоанна, Матрену,— ну-тка, тетушка, твоих, твоих-то — вишь, отколола грош, меньше пятака взять нельзя: родни-то, родни-то — Иоанна, Василису, Иону, Марью, Евпраксею, младенца Катерину...»

В церкви толкотня и странные предпочтения, одна баба передает соседу свечку с точным поручением поставить «гостю», другая «хозяину». Вятские монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессии. Они по дороге останавливаются в больших деревнях, и мужики их потчуют на убой.

Вот этот-то народный праздник, к которому крестьяне привыкли веками, переставил было губернатор, желая им потешить наследника, который должен был приехать 19 мая; что за беда, кажется, если Николай-*гость* тремя днями раньше придет к *хозяину?* На это надобно было согласие архиерея; по счастию, архиерей был человек сговорчивый и не нашел ничего возразить против губернаторского намерения отпраздновать 23 мая 19-го.

Ряд ловких мер своих для приема наследника губернатор послал к государю,— посмотрите, мол, как сынка угощаем. Государь, прочитавши, взбесился и сказал министру внутренних дел: «Губернатор и архиерей дураки, оставить праздник, как был». Министр намылил голову губернатору, синод —архиерею, и Николай-гость остался при своих привычках.

Между разными распоряжениями из Петербурга велено было в каждом губернском городе приготовить выставку всякого рода произведений и изделий края и расположить ее по трем царствам природы. Это разделение по царствам очень затруднило канцелярию и даже отчасти Тюфяева. Чтоб не ошибиться, он решился, несмотря на свое неблагорасположение, позвать меня на совет.

— Ну, например, мед,— говорил он,— куда принадлежит мед? Или золоченая рама, как определить, куда она относится?

Увидя из моих ответов, что я имею удивительно точные сведения о трех царствах природы, он предложил мне заняться расположением выставки.

Пока я занимался размещением деревянной посуды и вотских нарядов, меда и чугунных решеток, а Тюфяев продолжал брать свирепые меры для вящего удовольствия «его высочества», оно изволило прибыть в Орлов, и громовая весть об аресте орловского городничего разнеслась по городу. Тюфяев пожелтел и как-то неверно начал ступать ногами.

Дней за пять до приезда наследника в Орлов городничий писал Тюфяеву, что вдова, у которой пол сломали, шумит и что

купец такой-то, богатый и знаемый в городе человек, похваляется, что все наследнику скажет. Тюфяев насчет его распорядился очень умно: он велел городничему заподозрить его сумасшедшим (пример Петровского ему понравился) и представить для свидетельства в Вятку; пока бы дело длилось, наследник уехал бы из Вятской губернии, тем дело и кончилось бы. Городничий все исполнил; купец был в вятской больнице.

Наконец наследник приехал. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласил его и тотчас послал доктора Енохина свидетельствовать арестованного купца. Все ему было известно. Орловская вдова свою просьбу подала, другие купцы и мещане рассказали все, что делалось. Тюфяев еще на два градуса перекосился. Дело было нехорошо. Городничий прямо сказал, что он на все имел письменные приказания от губернатора.

Доктор Енохин уверял, что купец совершенно здоров. Тюфяев был потерян.

В восьмом часу вечера наследник с свитой явился на выставку, Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то *царе* Тохтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их.

Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, но он уже начинал толстеть.

Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока.

Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку, их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику об моем положении, и действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Государь отвечал, что это было бы несправедливо относительно других сосланных, но, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир; это было географическое улучшение: семьсот верст меньше. Но об этом после.

Вечером был бал в Благородном собрании. Музыканты, нарочно выписанные с одного из заводов, приехали мертвецки пьяные; губернатор распорядился, чтоб их заперли за сутки до бала и прямо из полиции конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончания бала.

Бал был глуп, неловок, слишком беден и слишком пестр, как всегда бывает в маленьких городках при чрезвычайных случаях.

Полицейские суетились, чиновники в мундирах жались к стене, дамы толпились около наследника в том роде, как дикие окружают путешественников... Кстати, об дамах, в одном городке был приготовлен после выставки «гуте» [1]. Наследник ничего не брал, кроме одного персика, которого кость он бросил на окно. Вдруг из толпы чиновников отделяется высокая фигура, налитая спиртом, земского заседателя, известного забулдыги, который мерными шагами отправляется к окну, берет кость и кладет ее в карман.

После бала или *гуте* заседатель подходит к одной из значительных дам и предлагает высочайше обглоданную косточку, дама в восхищенье. Потом он отправляется к другой, потом к третьей — все в восторге.

Заседатель купил пять персиков, вырезал косточки и осчастливил шесть дам. У кого настоящая? Все подозревают истинность своей косточки...

Тюфяев, после отъезда наследника, приготовлялся с стесненным сердцем променять пашалык [2] на сенаторские кресла — но вышло хуже.

Недели через три почта привезла из Петербурга бумаги на имя «управляющего губернией». В канцелярии все переполошилось. Регистратор губернского правления прибежал сказать, что у них получен указ. Правитель дел бросился к Тюфяеву, Тюфяев сказался больным и не поехал в присутствие.

Через час мы узнали, он был отставлен — sans phrase [3].

Весь город был рад падению губернатора, управление его имело в себе что-то удушливое, нечистое, затхлоприказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотреть на ликование чиновников.

Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря. Людская подлость и тут показалась не меньше, как при падении Наполеона, несмотря на разницу диаметров. Все последнее время я был с ним в открытой ссоре, и он непременно услал бы меня в какой-нибудь заштатный город Кай, если б его не прогнали самого. Я удалялся от него, и мне нечего было менять в моем поведении относительно его. Но другие, вчера снимавшие шляпу, завидя его карету, глядевшие ему в глаза, улыбавшиеся его шпицу, потчевавшие табаком его камердинера,— теперь едва кланялись с ним и кричали во весь голос против беспорядков, которые он делал *вместе с ними*. Все это старо и до того постоянно повторяется из века в век и везде, что нам следует эту низость принять за общечеловеческую черту и, по крайней мере, не удивляться ей.

---

[1] угощение *(от франц. goûter).— Ред.*

[2] административный округ, управляемый пашой *(от турецк. paşalik).— Ред.*

[3] без всяких разговоров *(франц.).— Ред.*

Явился новый губернатор. Это был человек совершенно в другом роде. Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет около пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычайной грамматической правильностью, пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своей излишностью затемнить простейший предмет. Он был ученик Лицея, товарищ Пушкина, служил в гвардии, покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда.

Перемена была очень резка. Те же комнаты, та же мебель, а на месте татарского баскака с тунгусской наружностью и сибирскими привычками — доктринер, несколько педант, но все же порядочный человек. Новый губернатор был умен, но ум его как-то светил, а не грел, вроде ясного зимнего дня — приятного, но от которого плодов не дождешься. К тому же он был страшный формалист — формалист не приказный — а как бы это выразить?.. его формализм был второй степени, но столько же скучный, как и все прочие.

Так как новый губернатор был в самом деле женат, губернаторский дом утратил свой ультрахолостой и полигамический характер. Разумеется, это обратило всех советников к советницам; плешивые старики не хвастались победами «пасчет клубники», а, напротив, нежно отзывались о завялых, жестко и угловато костлявых или заплывших жиром до невозможности пускать кровь — супругах своих.

Корнилов был назначен за несколько лет перед приездом в Вятку, прямо из семеновских или измайловских полковников, куда-то гражданским губернатором. Он приехал на воеводство, вовсе не зная дел. Сначала, как все новички, он принялся все читать, вдруг ему попалась бумага из другой губернии, которую он, прочитавши два раза, три раза — не понял.

Он позвал секретаря и дал ему прочесть. Секретарь тоже не мог ясно изложить дела.

— Что же вы сделаете с этой бумагой,— спросил его Корнилов,— если я ее передам в канцелярию?

— Отправлю в третий стол, это по третьему столу.

— Стало быть, столоначальник третьего стола знает, что делать?

— Как же, ваше превосходительство, ему не знать? он седьмой год правит столом.

— Позовите его ко мне.

Пришел столоначальник. Корнилов, отдавая ему бумагу, спросил, что надобно сделать. Столоначальник пробежал наскоро дело

и доложил, что-де в казенную палату следует сделать запрос и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальник затруднился и наконец признался, что это трудно так рассказать, а что написать легко.

— Вот стул, прошу вас написать ответ.

Столоначальник принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги.

Губернатор взял их, прочел, прочел раз и два,— ничего понять нельзя.

— Я увидел,— рассказывал он, улыбаясь,— что это действительно был ответ на ту бумагу,— и, благословясь, подписал. Никогда более не было помину об этом деле — бумага была вполне удовлетворительна.

Весть о моем переводе во Владимир пришла перед рождеством — я скоро собрался и пустился в путь.

С вятским обществом я расстался тепло. В этом дальнем городе я нашел двух-трех искренних приятелей между молодыми купцами.

Все хотели наперерыв показать изгнаннику участие и дружбу. Несколько саней провожали меня до первой станции и, сколько я ни защищался, в мою повозку наставили целый груз всяких припасов и вин.— На другой день я приехал в Яранск.

От Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал, они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частию строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина,— и заснешь и опять проснешься, а полки сосен все идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позванивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотяк каким-то сиплым альтом поругается с товарищем, покричит «айда», запоет песню в две ноты... и опять сосны, снег — снег, сосны...

При самом выезде из Вятской губернии мне еще пришлось проститься с чиновническим миром, и он pour la clôture [1] явился во всем блеске.

---

[1] на прощание *(франц.).— Ред.*

Мы остановились у станции, ямщик стал откладывать, высокий мужик показался в сенях и спросил:

— Кто проезжает?

— А тебе что за дело?

— А то дело, что исправник велел узнать, а я рассыльный при земском суде.

— Ну, так ступай же в станционную избу, там моя подорожная.

Мужик ушел и через минуту воротился, говоря ямщику:

— Не давать ему лошадей.

Это было через край. Я соскочил с саней и пошел в избу. Полупьяный исправник сидел на лавке и диктовал полупьяному писарю. На другой лавке в углу сидел или, лучше, лежал человек с скованными ногами и руками. Несколько бутылок, стаканы, табачная зола и кипы бумаг были разбросаны.

— Где исправник? — сказал я громко, входя.

— Исправник здесь,— отвечал мне полупьяный Лазарев, которого я видел в Вятке. При этом он дерзко и грубо уставил на меня глаза — и вдруг бросился ко мне с распростертыми объятиями.

Надобно при этом вспомнить, что после смены Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошие отношения с новым губернатором, начинали меня побаиваться.

Я остановил его рукою и спросил очень серьезно:

— Как вы могли велеть, чтоб мне не давали лошадей? что это за вздор — на большой дороге останавливать проезжих?

— Да я пошутил, помилуйте — как вам не стыдно сердиться! лошадей, вели лошадей, что ты тут стоишь, разбойник? — закричал он рассыльному.— Сделайте одолжение, выкушайте чашку чаю с ромом.

— Покорно благодарю.

— Да нет ли у нас шампанского?..— Он бросился к бутылкам — все были пусты.

— Что вы тут делаете?

— Следствие-с — вот молодчик-то топором убил отца и сестру родную из-за ссоры да по ревности.

— Так это вы вместе и пируете?

Исправник замялся. Я взглянул на черемиса, он был лет двадцати, ничего свирепого не было в его лице, совершенно восточном, с узенькими сверкающими глазами, с черными волосами.

Все это вместе так было гадко, что я вышел опять на двор. Исправник выбежал вслед за мной, он держал в одной руке рюмку, в другой бутылку рома и приставал ко мне, чтоб я выпил.

Владимир.

Акварель С. Рыбинского.
1850 г.
Государственный исторический музей.

Чтоб отвязаться от него, я выпил. Он схватил меня за руку и сказал:

— Виноват, ну, виноват, что делать! но я надеюсь, вы не скажете об этом его превосходительству, не погубите благородного человека.

При этом исправник *схватил мою руку и поцеловал ее*, повторяя десять раз:

— Ей-богу, не погубите благородного человека.

Я с отвращением отдернул руку и сказал ему:

— Да ступайте вы к себе, нужно мне очень рассказывать.

— Да чем же бы мне услужить вам?

— Посмотрите, чтоб поскорее закладывали лошадей.

— Живей,— закричал он,— айда, айда! — и сам стал подергивать какие-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этот сильно врезался в мою память. В 1846 году, когда я был в последний раз в Петербурге, нужно мне было сходить в канцелярию министра внутренних дел, где я хлопотал о пассе. Пока я толковал с столоначальником, прошел какой-то господин... дружески пожимая руку магнатам канцелярии, снисходительно кланяясь столоначальникам. «Фу, черт возьми,— подумал я,— да неужели это он?»

— Кто это?

— Лазарев — чиновник особых поручений при министре и в большой силе.

— Был он в Вятской губернии исправником?

— Был.

— Поздравляю вас, господа, девять лет тому назад он целовал мне руку.

Перовский мастер выбирать людей!

ГЛАВА XVIII

Начало владимирской жизни

...Когда я вышел садиться в повозку в Козьмодемьянске, сани были заложены по-русски: тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, коренная в дуге весело звонила колокольчиком.

В Перми и Вятке закладывают лошадей гуськом, одну перед другой или две в ряд, а третью впереди.

Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь.

— Ну-тка, ну-тка, покажи нам свою прыть! — сказал я молодому парню, лихо сидевшему на облучке в нагольном тулупе и

несгибаемых рукавицах, которые едва ему дозволяли настолько сблизить пальцы, чтоб взять пятиалтынный из моих рук.

— Уважим-с, уважим-с. Эй вы, голубчики! ну, барин,— сказал он, обращаясь вдруг ко мне,— ты только держись: туда гора, так я коней-то пущу.

Это был крутой съезд к Волге, по которой шел зимний тракт.

Действительно, коней он пустил. Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево и слева направо, лошади мчали под гору, ямщик был смертельно доволен, да, грешный человек, и я сам — русская натура.

Так въезжал я на почтовых в 1838 год — в лучший, в самый светлый год моей жизни. Расскажу вам нашу первую встречу с ним.

Верстах в восьмидесяти от Нижнего взошли мы, то есть я и мой камердинер Матвей, обогреться к станционному смотрителю. На дворе было очень морозно и к тому же ветрено. Смотритель, худой, болезненный и жалкой наружности человек, записывал подорожную, сам себе диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снял шубу и ходил по комнате в огромных меховых сапогах, Матвей грелся у каленой печи, смотритель бормотал, деревянные часы постукивали разбитым и слабым звуком...

— Посмотрите,— сказал мне Матвей,— скоро двенадцать часов, ведь Новый год-с. Я принесу,— прибавил он, полувопросительно глядя на меня,— что-нибудь из запаса, который нам в Вятке поставили.— И, не дожидаясь ответа, бросился доставать бутылки и какой-то кулечек.

Матвей, о котором я еще буду говорить впоследствии, был больше, нежели слуга: он был моим приятелем, меньшим братом. Московский мещанин, отданный Зонненбергу, с которым мы тоже познакомимся, на изучение переплетного искусства, в котором, впрочем, Зонненберг не был особенно сведущ, он перешел ко мне.

Я знал, что мой отказ огорчил бы Матвея, да и сам, в сущности, ничего не имел против почтового празднества... Новый год своего рода станция.

Матвей принес ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшим вгустую; ветчину можно было рубить топором, она вся блистала от льдинок: но à la guerre comme à la guerre [1].

«С Новым годом! С новым счастьем!..» — в самом деле, с новым счастьем. Разве я не был на возвратном пути? всякий час приближал меня к Москве,— сердце было полно надежд.

---

[1] на войне как на войне *(франц.).— Ред.*

Мороженое шампанское не то чтоб слишком нравилось смотрителю, я прибавил ему в вино полстакана рома. Это новое half-and-half [1] имело большой успех.

Ямщик, которого я тоже пригласил, был еще радикальнее: он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: «Славно огорчило!»

Смотритель сам усадил меня в сани и так усердно хлопотал, что уронил в сено зажженную свечу и не мог ее потом найти. Он был очень в духе и повторял:

— Вот и меня вы сделали с Новым годом... вот и с Новым годом!

Огорченный ямщик тронул лошадей...

На другой день, часов в восемь вечера, приехал я во Владимир и остановился в гостинице, чрезвычайно верно описанной в «Тарантасе», с своей курицей, «с рысью», хлебенным — патише [2] и с уксусом вместо бордо.

— Вас спрашивал какой-то человек сегодня утром; он, никак, дожидается в полпивной,— сказал мне, прочитав в подорожной мое имя, половой с тем ухарским пробором и отчаянным виском, которым отличались прежде одни русские половые, а теперь — половые и Людовик-Наполеон.

Я не мог понять, кто бы это мог быть.

— Да вот и они-с,— прибавил половой, сторонясь. Но явился сначала не человек, а страшной величины поднос, на котором было много всякого добра: кулич и баранки, апельсины и яблоки, яйца, миндаль, изюм... а за подносом виднелась седая борода и голубые глаза старосты из владимирской деревни моего отца.

— Гаврило Семеныч! — вскрикнул я и бросился его обнимать. Это был *первый* человек из *наших*, из прежней жизни, которого я встретил после *тюрьмы и ссылки*. Я не мог насмотреться на умного старика и наговориться с ним. Он был для меня представителем близости к Москве, к дому, к друзьям, он три дня тому назад всех видел, ото всех привез поклоны... Стало, не так-то далеко!

Губернатор Курута, умный грек, хорошо знал людей и давно успел охладеть к добру и злу. Мое положение он понял тотчас и не делал ни малейшего опыта меня притеснять. О канцелярии не было и помину, он поручил мне с одним учителем гимназии заведовать «Губернскими ведомостями» — в этом состояла вся служба.

---

[1] смесь двух напитков в равных количествах *(англ.).— Ред.*

[2] пирожным *(от франц. pâtisserie).— Ред.*

Дело это было мне знакомое: я уже в Вятке поставил на ноги неофициальную часть «Ведомостей» и поместил в нее раз статейку, за которую чуть не попал в беду мой преемник. Описывая празднество на Великой реке, я сказал, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, в стары годы раздавали бедным, а нынче продают. Архиерей разгневался, и губернатор насилу уговорил его оставить дело.

«Губернские ведомости» были введены в 1837 году. Оригинальная мысль приучать к гласности в стране молчания и немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову. Блудов, известный как продолжатель истории Карамзина, не написавший ни строки далее, и как сочинитель «Доклада следственной комиссии» после 14 декабря, которого было бы лучше совсем не писать, принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце александровского царствования. Это были люди умные, образованные, честные, состарившиеся и выслужившиеся «арзамасские гуси»; они умели писать по-русски, были патриоты и так усердно занимались отечественной историей, что не имели досуга заняться серьезно современностью. Все они чтили незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова и ездили в Москве беседовать к И. И. Дмитриеву, в его дом на Садовой, куда и я езживал к нему студентом, вооруженный романтическими предрассудками, личным знакомством с Н. Полевым и затаенным чувством неудовольствия, что Дмитриев, будучи поэтом,— был министром юстиции. От них много надеялись, они ничего не сделали, как вообще доктринеры всех стран. Может быть, им и удалось бы оставить след более прочный при Александре, но Александр умер, и они остались при своем *желании* делать что-нибудь путное.

В Монако на надгробном памятнике одного из владетельных князей написано: «Здесь покоится Флорестан такой-то — он *хотел* делать добро своим подданным!» [1] Наши доктринеры тоже желали делать добро если не своим, то подданным Николая Павловича, но счет был составлен без хозяина. Не знаю, кто помешал Флорестану, но им помешал наш Флорестан. Им пришлось быть соприкосновенными во всех ухудшениях России и ограничиваться ненужными нововведениями — переменами форм, названий. Всякий начальник у нас считает высшей обязанностию нет-нет да и представить какой-нибудь проект, изменение, обыкновенно к худшему, но иногда просто безразличное. Секретаря в канцелярии губернатора, например, сочли нужным назвать правителем дел, а секретаря губернского правления оставили без перевода на рус-

[1] Il a voulu le bien de ses sujets.

ский язык. Я помню, что министр юстиции подавал проект о необходимых изменениях мундиров гражданских чиновников. Проект этот начинался как-то величаво и торжественно: «Обратив в особенности внимание на недостаток единства в шитье и покрое некоторых мундиров гражданского ведомства и взяв в основание» и т. д.

Одержимый тою же болезнию проектов, министр внутренних дел *заменил* земских заседателей становыми приставами. Заседатели жили по городам и наезжали в деревни. Становые иногда съезжаются в город, но постоянно живут в деревне. Все крестьяне, таким образом, были отданы под надзор полиции, и это при полном знании, какое хищное, плотоядное, развратное существо — наш полицейский чиновник. Блудов ввел полицейского в тайны крестьянского промысла и богатства, в семейную жизнь, в мирские дела и через это коснулся последнего убежища народной жизни. По счастию, деревень у нас очень много, а становых бывает два на уезд.

Почти в то же время тот же Блудов выдумал «Губернские ведомости». У нас правительство, презирая всякую грамотность, имеет большие притязания на литературу, и в то время как в Англии, например, совсем нет казенных журналов, у нас каждое министерство издает свой, академия и университеты — свои. У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный счет, подряды статей делаются в министерствах так, как подряды на дрова и свечи, только без переторжки; недостатка в общих отчетах, выдуманных цифрах и фантастических выводах не бывает. Взявши все монополи, правительство взяло и монополь болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов велел, чтоб каждое губернское правление издавало свои «Ведомости» и чтоб каждая «Ведомость» имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и проч.

Сказано — сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над неофициальной частью. Священники из семинаристов, доктора медицины, учители гимназии, все люди, состоящие в подозрении образования и уместного употребления буквы «Ѣ» берутся в реквизицию. Они думают, перечитывают «Библиотеку для чтения» и «Отечественные записки», боятся, посягают и, наконец, пишут статейки.

Видеть себя в печати — одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком. Но тем не меньше решаться на публичную выставку своих произведений — нелегко без особого случая. Люди, которые не смели бы думать о печатании своих статей в «Московских ведомостях», в петер-

бургских журналах, стали печататься у себя дома. А между тем *пагубная* привычка иметь орган, привычка к гласности, укоренилась. Да и совсем готовое орудие иметь недурно. Типографский станок *тоже* без костей!

Товарищ мой по редакции был кандидат нашего университета и одного со мною отделения. Я не имею духу говорить о нем с улыбкой — так горестно он кончил свою жизнь, а все-таки до самой смерти он был очень смешон. Далеко не глупый, он был необыкновенно неуклюж и неловок. Не только полнейшего безобразия трудно было встретить, но и такого большого, то есть такого растянутого. Лицо его было вполтора больше обыкновенного и как-то шероховато, огромный рыбий рот раскрывался до ушей, светло-серые глаза были не оттенены, а скорее освещены белокурыми ресницами, жесткие волосы скудно покрывали его череп, и притом он был головою выше меня, сутуловат и очень неопрятен.

Он даже назывался так, что часовой во Владимире посадил его в караульню за его фамилию. Поздно вечером шел он, завернутый в шинель, мимо губернаторского дома; в руке у него был ручной телескоп, он остановился и прицелился в какую-то планету; это озадачило солдата, вероятно считавшего звезды казенной собственностью.

— Кто идет? — закричал он неподвижно стоявшему наблюдателю.

— Небаба,— отвечал мой приятель густым голосом, не двигаясь с места.

— Вы не дурачьтесь,— ответил оскорбленный часовой,— я в должности.

— Да говорю же, что я Небаба!

Солдат не вытерпел и дернул звонок; явился унтер-офицер, часовой отдал ему астронома, чтоб свести на гауптвахту: там, мол, тебя разберут, баба ты или нет. Он непременно просидел бы до утра, если б дежурный офицер не узнал его.

Раз Небаба зашел ко мне поутру, чтоб сказать, что едет на несколько дней в Москву, при этом он как-то умильно-лукаво улыбался.

— Я,— сказал он, заминаясь,— я возвращусь не один!

— Как, вы — то есть?

— Да-с, вступаю в законный брак,— ответил он застенчиво.

Я удивлялся героической отваге женщины, решающейся идти за этого доброго, но уж чересчур некрасивого человека. Но когда, через две-три недели, я увидел у него в доме девочку лет восьмнадцати, не то чтоб красивую, но смазливенькую и с живыми глазками, тогда я стал смотреть на него как на героя.

Месяца через полтора я заметил, что жизнь моего Квазимодо шла плохо, он был подавлен горем, дурно правил корректуру, не оканчивал своей статьи «о перелетных птицах» и был мрачно рассеян; иногда мне казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Раз, возвращаясь домой через Золотые ворота, я увидел мальчиков и лавочников, бегущих на погост церкви; полицейские суетились. Пошел и я.

Труп Небабы лежал у церковной стены, а возле ружье. Он застрелился супротив окон своего дома, на ноге оставалась веревочка, которой он спустил курок. Инспектор врачебной управы плавно повествовал окружающим, что покойник нисколько не мучился; полицейские приготовлялись нести его в часть.

...Куда природа свирепа к лицам. Что и что прочувствовалось в этой груди страдальца, прежде чем он решился своей веревочкой остановить маятник, меривший ему одни оскорбления, одни несчастия. И за что? За то, что отец был золотушен или мать лимфатична? Все это так. Но по какому праву мы требуем справедливости, отчета, причин? — у кого? — у крутящегося урагана жизни?..

В то же время для меня начался новый отдел жизни... отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.

Он принадлежит к другой части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ

(1838—1839)

Не ждите от меня длинных повествований о внутренней жизни того времени... Страшные события, всякое горе все же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совершенно светлые и безоблачные... Будто можно рассказывать счастье?

Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем — а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих.

«Былое и думы»

ГЛАВА XIX

Княгиня и княжна

Когда мне было лет пять-шесть и я очень шалил, Вера Артамоновна говаривала: «Хорошо, хорошо, дайте срок, погодите, я все расскажу княгине, как только она приедет». Я тотчас усмирялся после этой угрозы и умолял ее не жаловаться.

Княгиня Марья Алексеевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, с пятном на щеке, с поддельными пуклями под чепцом; она говорила прищуривая глаза и до конца жизни, то есть до восьмидесяти лет, употребляла немного румян и немного белил. Всякий раз, когда я ей попадался на глаза, она притесняла меня; ее проповедям, ворчанью не было конца, она меня журила за все: за измятый воротничок, за пятно на курточке, за то, что я не так подошел к руке, заставляла подойти другой раз. Окончивши проповедь, она иногда говаривала моему отцу, бравши кончиками пальцев табак из крошечной золотой табакерки: «Ты бы мне, голубчик, отдал баловня-то твоего на выправку, он у меня в месяц сделался бы шелковый». Я знал, что меня не отдадут, а все-таки у меня делался зноб от этих слов.

С летами страх прошел, но дома княгини я не любил — я в нем не мог дышать вольно, мне было у нее не по себе, и я, как пойманный заяц, беспокойно смотрел то в ту, то в другую сторону, чтоб дать стречка.

Княгинин дом вовсе не походил на дом моего отца или Сенатора. Это был старинный, православный русский дом. Дом, в котором соблюдались посты, ходили к заутрени, ставили нака-

пуне крещенья крест на дверях, делали удивительные блины на масленице, ели буженину с хреном, обедали ровно в два и ужинали в девятом часу. Западная зараза, коснувшаяся братьев и сбившая их несколько с родной колеи, не коснулась житья княгини; она, напротив, с неудовольствием посматривала, как «Ванюша» и «Левушка» испортились в *этой* Франции.

Княгиня жила во флигеле дома, занимаемого ее теткой, княжной Мещерской, девицей лет восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не единственною связью множества родственников во всех семи восходящих и нисходящих коленах. Около нее собирались в большие праздники все ближние; она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее все уважали, и она заслуживала это. С ее смертью родственные семьи распались, потеряли свое средоточие, забыли друг друга.

Она окончила воспитание моего отца и его братьев; после смерти их родителей она заведовала их имением до совершеннолетия, она отправила их в гвардию на службу, она выдала замуж их сестер. Не знаю, насколько она была довольна плодом своего воспитания, образовавши, с помощью французского инженера, Вольтерова родственника, помещиков esprits forts [1], но уважение к себе вселить она умела, и племянники, не очень расположенные к чувствам покорности и уважения, почитали старушку и часто слушались ее до конца ее жизни.

Дом княжны Анны Борисовны, уцелевший каким-то чудом во время пожара 1812, не был поправлен лет пятьдесят; штофные обои, вылинялые и почерневшие, покрывали стены; хрустальные люстры, как-то загорелые и сделавшиеся дымчатыми топазами от времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шел по комнате; тяжелая, из цельного красного дерева, мебель, с вычурными украшениями, потерявшими позолоту, печально стояла около стен; комоды с китайскими инкрустациями, столы с медными решеточками, фарфоровые куклы рококо — все напоминало о другом веке, об иных нравах.

В передней сидели седые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами, а иногда читая вполслуха молитвенник или псалтырь, которого листы были темнее переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорее похожи на старых карликов, нежели на детей, никогда не смеялись и не подымали голоса.

Во внутренних комнатах царила мертвая тишина; только по временам раздавался печальный крик какаду, несчастный опыт его, картавя, повторить человеческое слово, костяной звук его клюва об жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье

---

[1] вольнодумцев *(франц.).— Ред.*

небольшой обезьяны, старой, осунувшейся, чахоточной, жившей в зале на небольшом выступе изразцовой печи. Обезьяна эта, одетая дебардером[1], в широких красных шароварах, сообщала всей комнате особый запах, чрезвычайно неприятный. В другой зале висело множество фамильных портретов всех величин, форм, времен, возрастов и костюмов. Портреты эти имели для меня особый интерес именно по противуположности оригиналов с изображениями. Молодой человек лет двадцати, в светло-зеленом шитом кафтане, с пудреной головой, вежливо улыбавшийся с холста,— это был мой отец. Девочка с растрепанными кудрями, с букетом роз, украшенная мушкой, неумолимо затянутая в какой-то граненый бокал, воткнутый в непомерные фижмы, была грозная княгиня...

Чинность и тишина росли по мере приближения к кабинету. Старые горничные, в белых чепцах с широкой оборкой, ходили взад и вперед с какими-то чайничками так тихо, что их шагов не было слышно; иногда появлялся в дверях какой-нибудь седой слуга в длинном сертуке из толстого синего сукна, но и его шагов также не было слышно, даже свой доклад старшей горничной он делал, шевеля губами без всякого звука.

Небольшая ростом, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка обыкновенно сидела или, лучше, лежала на большом неуклюжем диване, обкладенная подушками. Ее едва можно было разглядеть; все было белое: капот, чепец, подушки, чехлы на диване. Бледно-восковое и кружевно-нежное лицо ее вместе с слабым голосом и белой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее.

Большие английские столовые часы своим мерным, громким спондеем — тик-так — тик-так — тик-так... казалось, отмеривали ей последние четверть часа жизни.

Часу в первом являлась княгиня и важно усаживалась в глубокие кресла, ей было скучно в пустом флигеле своем. Она была вдова, и я еще помню ее мужа; он был небольшого роста, седенький старичок, пивший тайком от княгини настойки и наливки, ничем не занимавшийся путным в доме и привыкнувший к безусловной покорности жене, против которой иногда возмущался на словах, особенно после наливок, но никогда на деле. Княгиня удивлялась потом, как сильно действует на князя Федора Сергеевича крошечная рюмка водки, которую он пил официально перед обедом, и оставляла его покойно играть целое утро с дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими наперерыв во все птичье горло; он обучал одних органчиком, других собственным свистом; он сам ездил ранехонько в Охотный ряд менять птиц, продавать,

[1] грузчиком *(от франц. débardeur).— Ред.*

прикупать; он был артистически доволен, когда случалось (да и то по его мнению), что он надул купца... и так продолжал свою полезную жизнь до тех пор, пока раз поутру, посвиставши своим канарейкам, он упал навзничь и через два часа умер.

Княгиня осталась одна. У нее были две дочери; она обеих выдала замуж, обе вышли не по любви, а только чтоб освободиться от родительского гнета матери. Обе умерли после первых родов. Княгиня была действительно несчастная женщина, но несчастия скорее исказили ее нрав, нежели смягчили его. Она от ударов судьбы стала не кротче, не добрее, а жестче и угрюмее.

Теперь у нее оставались только братья и, главное — княжна. Княжна, с которой она почти не расставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее к себе после смерти мужа. Она не распоряжалась ничем в доме. Княгиня самодержавно управляла всем и притесняла старушку под предлогом забот и внимания.

Около стен, по разным углам постоянно сиживали всякие старухи, приживавшие у княжны или временно кочевавшие в ее доме. Полусвятые и полубродяги, несколько поврежденные и очень набожные, больные и чрезвычайно нечистые, эти старухи таскались из одного старинного дома в другой; в одном доме покормят, в другом подарят старую шаль, отсюда пришлют крупок и дровец, отсюда холста и капусты — концы-то кой-как и сойдутся. Ими везде тяготились, везде их обходили, везде сажали на последнее место и везде принимали от скуки, пустоты, а пуще всего от любви к сплетням. При посторонних печальные фигуры эти обыкновенно молчали, с завистливой ненавистью поглядывали друг на друга... вздыхая, качали головой, крестились и бормотали себе под нос счет петель, молитвы, а может, и брань. Зато, оставшись наедине с *благодетельницей* и *покровительницей*, они вознаграждали себя за молчание самой предательской болтовней обо всех других благодетельницах, к которым их пускали, где их кормили и дарили.

Они беспрестанно просили что-нибудь у княжны и за ее подарки, делаемые часто тайком от княгини, которая не любила их баловать, приносили ей окаменелые просвиры и собственного изделия шерстяные и вязаные ненужности, которые княжна потом продавала в их же пользу, причем воля покупщика вовсе не бралась в соображение.

Сверх дня рождения, именин и других праздников, самый торжественный сбор родственников и близких в доме княжны был накануне Нового года. Княжна в этот день *поднимала* Иверскую божию матерь. С пением носили монахи и священники образ по всем комнатам. Княжна первая, крестясь, проходила под него, за ней все гости, слуги, служанки, старики, дети. После этого все поздравляли ее с наступающим Новым годом и дарили ей всякие

безделицы, как дарят детям. Она ими играла несколько дней, потом сама раздаривала.

Отец мой возил меня всякий год на эту языческую церемонию; все повторялось в том же порядке, только иных стариков и иных старушек недоставало, об них намеренно умалчивали, одна княжна говаривала: «А нашего-то Ильи Васильевича и нет, дай ему бог царство небесное!.. Кого-то в будущий год господь еще позовет?» — И сомнительно качала головой.

А спондей английских часов продолжал отмеривать дни, часы, минуты... и наконец домерил до роковой секунды; старушка раз, вставши, как-то дурно себя чувствовала; прошлась по комнатам — все нехорошо; кровь пошла у нее носом и очень обильно, она была слаба, устала, прилегла, совсем одетая, на своем диване, спокойно заснула... и не просыпалась. Ей было тогда за девяносто лет.

Дом и большую часть именья оставила она княгине, но внутренний смысл своей жизни не передала ей. Княгиня не умела продолжать изящную в своем роде роль прародительницы, патриархальной связи многих нитей. С кончиной княжны все приняло разом, как в гористых местах при захождении солнца, мрачный вид; длинные черные тени легли на все. Она заперла наглухо дом тетки и осталась жить во флигеле, двор порос травой, стены и рамы все больше и больше чернели; сени, на которых вечно спали какие-то желтоватые неуклюжие собаки, покривились.

Знакомые и родные редели, дом ее пустел, она огорчалась этим, но поправить не умела.

Уцелев одна из всей семьи, она стала бояться за свою ненужную жизнь и безжалостно отталкивала все, что могло физически или морально расстроить равновесие, обеспокоить, огорчить. Боясь прошедшего и воспоминаний, она *удаляла* все вещи, принадлежавшие дочерям, даже их портреты. То же было после княжны — какаду и обезьяна были сосланы в людскую, потом высланы из дома. Обезьяна доживала свой век в кучерской у Сенатора, задыхаясь от нежинских корешков и потешая форейторов.

Эгоизм самохранения страшно черствит старое сердце. Когда болезнь последней дочери ее приняла совершенно отчаянный характер, мать уговорили ехать домой, *и она поехала*. Дома она тотчас велела приготовить разные спирты и капустные листы (она их привязывала к голове) для того, чтоб иметь под рукой все, что надобно, когда придет *страшная весть*. Она не простилась ни с телом мужа, ни с телом дочери, она их не видала после смерти и не была на похоронах. Когда впоследствии умер Сенатор, ее любимый брат, она догадалась по нескольким словам племянника о том, что случилось, *и просила его* не объявлять ей печальной новости, ни подробностей кончины. Как же не жить с этими мерами против

собственного сердца — и такого сговорчивого сердца — до восьмого, девятого десятка в полном здоровье и с несокрушимым пищеварением.

Впрочем, напомним в защиту княгини, что это уродливое отдаление всего печального было гораздо больше в ходу у аристократических баловней прошлого века, чем теперь. Знаменитый Кауниц строго запретил под старость, чтоб при нем говорили о чьей-нибудь смерти и об оспе, которой он очень боялся. Когда умер Иосиф II, секретарь, не зная, как доложить Кауницу, решился сказать: «Ныне царствующий император Леопольд». Кауниц понял и, бледный, опустился на кресла, не спросив ничего. Садовник его в разговорах миновал слово «прививка», чтоб не напомнить оспы. Наконец о смерти собственного сына он узнал случайно от испанского посланника. А над страусами, которые прячут голову под крыло от опасности, люди смеются!

Для хранения полного покоя своего княгиня учредила особую полицию и начальство над нею вверила искусным рукам.

Сверх кочующих старух, унаследованных от княжны, у княгини жила постоянная «компаньонка». Эту почетную должность занимала здоровая, краснощекая вдова какого-то звенигородского чиновника, надменная своим «благородством» и асессорским чином покойника, сварливая и неугомонная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ее звенигородской коровы, погибшей в Отечественную войну 1812 года. Я помню, как она серьезно заботилась после смерти Александра I,— какой ширины плерезы ей следует носить *по рангу*.

Женщина эта играла очень не важную роль, пока княжна была жива, но потом так ловко умела приладиться к капризам княгини и к ее тревожному беспокойству о себе, что вскоре заняла при ней точно то место, которое сама княгиня имела при тетке.

Обшитая своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась, как шар, по дому с утра до ночи, кричала, шумела, не давала покоя людям, жаловалась на них, делала следствия над горничными, давала тузы и драла за уши мальчишек, сводила счеты, бегала на кухню, бегала на конюшню, обмахивала мух, терла ноги, заставляла принимать лекарство. Домашние не имели больше доступу к барыне — это был Аракчеев, Бирон, словом, первый министр. Княгиня — чопорная и хотя по-старинному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ее крикливым голосом, ее рыночными манерами, но вверялась ей больше и больше и с восхищением видела, что Марья Степановна значительно уменьшила и без того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги — трудно

сказать, у нее не было никого близкого, кроме братьев, которые были вдвое богаче ее.

Со всем тем княгиня, в сущности, после смерти мужа и дочерей скучала и бывала рада, когда старая француженка, бывшая гувернанткой при ее дочерях, приезжала к ней погостить недели на две или когда ее племянница из Корчевы навещала ее. Но все это было мимоходом, изредка, а скучное с глазу на глаз с компаньонкой не наполняло промежутков.

Занятие, игрушка и рассеяние нашлись очень естественно незадолго перед смертью княжны.

ГЛАВА XX

Сирота

В половине 1825 года Химик, принявший дела отца в большом беспорядке, отправил из Петербурга в Шацкое именье своих братьев и сестер; он давал им господский дом и содержание, предоставляя впоследствии заняться их воспитанием и устроить их судьбу. Княгиня поехала на них взглянуть. Ребенок восьми лет поразил ее своим грустно-задумчивым видом; княгиня посадила его в карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась с другими детьми в Тамбов.

Химик согласился — ему было все равно.

— Помни всю жизнь,— говорила маленькой девочке, когда они приехали домой, компаньонка,— помни, что княгиня — *твоя благодетельница,* и молись о продолжении ее дней. Что была бы ты без нее?

И вот в этом отжившем доме, над которым угрюмо тяготели две неугомонные старухи: одна, полная причуд и капризов, другая — ее беспокойная лазутчица, лишенная всякой деликатности, всякого такта,— явилось дитя, оторванное от всего близкого ему, чужое всему окружающему и взятое от скуки, как берут собачонок или как князь Федор Сергеевич держал канареек.

В длинном траурном шерстяном платье, бледная до синеватого отлива, девочка сидела у окна, когда меня привез через несколько дней отец мой к княгине. Она сидела молча, удивленная, испуганная, и глядела в окно, боясь смотреть на что-нибудь другое.

Княгиня подозвала ее и представила моему отцу. Всегда холодный и неприветливый, он равнодушно потрепал ее по плечу, заметил, что покойный брат сам не знал, что́ делал, побранил Химика и стал говорить о другом.

У девочки были слезы на глазах; она опять села к окну и опять стала смотреть в него.

Тяжелая жизнь начиналась для нее. Ни одного теплого слова, ни одного нежного взгляда, ни одной ласки; возле, около — посторонние, морщины, пожелтелые щеки, существа потухающие, хилые. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпелива и держала себя слишком далеко от сироты, чтоб ей в голову пришло приютиться к ней, отогреться, утешиться в ее близости или поплакать. Гости не обращали на нее никакого внимания. Компаньонка сносила ее как каприз княгини, как вещь лишнюю, но которая ей вредить не может; она, особенно при посторонних, даже показывала, что покровительствует ребенку и ходатайствует перед княгиней о ней.

Ребенок не привыкал и через год был столько же чужд, как в первый день, и еще печальнее. Сама княгиня удивлялась его «сериозности» и иной раз, видя, как она часы целые уныло сидит за маленькими пяльцами, говорила ей: «Что ты не порезвишься, не пробежишь»,— девочка улыбалась, краснела, благодарила, но оставалась на своем месте.

И княгиня оставляла ее в покое, нисколько не заботясь, в сущности, о грусти ребенка и не делая ничего для его развлечения. Приходили праздники, другим детям дарили игрушки, другие дети рассказывали о гуляньях, об обновах. Сироте ничего не дарили. Княгиня думала, что довольно делает для нее, давая ей кров; благо есть башмаки, на что еще куклы! Их в самом деле было не нужно — она не умела играть, да и не с кем было.

Одно существо поняло положение сироты; за ней была приставлена старушка няня, она одна просто и наивно любила ребенка. Часто вечером, раздевая ее, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такие печальные?» Девочка бросалась к ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила с подсвечником в руке.

Так шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лет двенадцати хотела умереть. «Мне все казалось,— писала она,— что я попала ошибкой в эту жизнь и что скоро ворочусь домой — но где же был мой дом?.. уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб снега на могиле моего отца; моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге... я горячо плакала и молила бога взять меня скорей домой».

«...Мое ребячество было самое печальное, горькое, сколько слез пролито, не видимых никем, сколько раз, бывало, ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смея и молиться не в назначенное время) и просила бога, чтоб меня кто-нибудь любил, ласкал. У меня не было той забавы или игрушки,

которая бы заняла меня и утешила, потому что ежели и давали что-нибудь, то с упреком и с непременным прибавлением: «Ты этого не стоишь». Каждый лоскут, получаемый от них, был мною оплакан; потом я становилась выше этого; стремленье к науке душило меня, я ничему больше не завидовала в других детях, как ученью. Многие меня хвалили, находили во мне способности и с состраданием говорили: «Если б приложить руки к этому ребенку!» — «Он дивил бы свет»,— договаривала я мысленно, и щеки мои горели, я спешила идти куда-то, мне виднелись мои картины, мои ученики — а мне не давали клочка бумаги, карандаша... Стремленье выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее, и с тем вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым, я повторяла беспрерывно стихи Чернеца:

Вот тайна: дней моих весною
Уж я все горе жизни знал.

Помнишь ли ты, мы как-то были у вас, давно, еще в том доме, ты меня спросил, читала ли я Козлова, и сказал из него именно то же самое место. Трепет пробежал по мне, я улыбнулась, насилу удерживая слезы».

Глубоко грустная нота постоянно звучала в ее груди; вполне она никогда не исключалась, а только иногда умолкала, поглощенная светлой минутой жизни.

Месяца за два до своей кончины, возвращаясь еще раз к своему детству, она писала:

«Кругом было старое, дурное, холодное, мертвое, ложное, мое воспитание началось с упреков и оскорблений, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя...»

Но для такого углубления в самого себя надобно было иметь не только страшную глубь души, в которой привольно нырять, но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнию в среде неприязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной могут очень немногие. Иной раз дух не вынесет, иной раз тело сломится.

Сиротство и грубые прикосновения в самый нежный возраст оставили черную полосу на душе, рану, которая никогда не срасталась вполне.

«Я не помню,— пишет она в 1837,— когда бы я свободно и от души произнесла слово «маменька», к кому бы, беспечно забывая все, склонилась на грудь. С восьми лет *чужая* всем, я люблю мою мать... но мы не знаем друг друга».

Глядя на бледный цвет лица, на большие глаза, окаймленные темной полоской, двенадцатилетней девочки, на ее томную усталь

и вечную грусть, многим казалось, что это одна из предназначенных, ранних жертв чахотки,— жертв, с детства отмеченных перстом смерти, особым знамением красоты и преждевременной думы. «Может,— говорит она,— я и не вынесла бы этой борьбы, если б я не была спасена нашей встречей».

И я так поздно ее понял и разгадал!

До 1834 я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то что девять лет прошло с тех пор, как княгиня представляла ее моему отцу в длинном шерстяном платье. Объяснить это нетрудно. Она была дика — я рассеян; мне было жаль дитя, которое все так печально и одиноко сидело у окна, но мы видались очень не часто. Редко, и всякий раз поневоле, ездил я к княгине; еще реже привозила ее княгиня к нам. Визиты княгини производили к тому же почти всегда неприятные впечатления, она обыкновенно ссорилась из-за пустяков с моим отцом, и, не видавшись месяца два, они говорили друг другу колкости, прикрывая их нежными оборотами, в том роде, как леденцом покрывают противные лекарства. «Голубчик мой»,— говорила княгиня.— «Голубушка моя»,— отвечал мой отец, и ссора шла своим порядком. Мы всегда радовались, когда княгиня уезжала. Сверх того, не надобно забывать, что я тогда был совершенно увлечен политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом.

Но *чем жила она,* сверх своей грусти, в продолжение этих темных, длинных *девяти годов,* окруженная глупыми ханжами, кадменными родственниками, скучными иеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая из дома далее печального двора, поросшего травою, и маленького палисадника за домом?

Из приведенных строк уже видно, что княгиня не особенно изубытчивалась на воспитание ребенка, взятого ею. Нравственностью занималась она сама; это преподавание состояло из наружной выправки и из привития целой системы лицемерия. Ребенок должен был быть с утра зашнурован, причесан, навытяжке; это можно бы было допустить в ту меру, в которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вместе с талией и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство, она требовала улыбку и веселый вид, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотелось плакать, вид участия к предметам безразличным, словом — постоянной лжи.

Сначала бедную девочку ничему не учили под предлогом, что раннее учение бесполезно; потом, то есть года через *три* или *четыре,* наскучив замечаниями Сенатора и даже посторонних, кня-

гиня решилась устроить учение, имея в виду наименьшую трату денег.

Для этого она воспользовалась старушкой гувернанткой, которая считала себя обязанной княгине и иногда нуждалась в ней; таким образом французский язык доведен был до последней дешевизны — зато и преподавался à bâtons rompus [1].

Но и русский язык был доведен до того же; для него и для *всего прочего* был приглашен сын какой-то вдовы-попадьи, облагодетельствованной княгиней, разумеется, без особых трат: через ее ходатайство у митрополита двое сыновей попадьи были сделаны соборными священниками. Учитель был их старший брат, диакон бедного прихода, обремененный большой семьей; он гибнул от нищеты, был доволен всякой платой и не смел делать условий с благодетельницей братьев.

Что может быть жальче, недостаточнее такого воспитания, а между тем все пошло на дело, все принесло удивительные плоды: так мало нужно для развития, если только есть чему развиться.

Бедный, худой, высокий и плешивый диакон был один из тех восторженных мечтателей, которых не лечат ни лета, ни бедствия, напротив, бедствия их поддерживают в мистическом созерцании. Его вера, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтического оттенка. Между им — отцом голодной семьи — и сиротой, кормимой чужим хлебом, тотчас образовалось взаимное пониманье.

В доме княгини диакона принимали так, как следует принимать беззащитного и к тому же кроткого бедняка,— едва кивая ему головой, едва удостоивая его словом. Даже компаньонка считала необходимым обращаться с ним свысока; а он едва замечал и их самих, и их прием, с любовью давал свои уроки, был тронут понятливостью ученицы и умел трогать ее самое до слез. Этого княгиня не могла понять, журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что диакон расстроивает нервы: «Уж это слишком как-то эдак, совсем не по-детски!»

А между тем слова старика открывали перед молодым существом иной мир, иначе симпатичный, нежели тот, в котором сама религия делалась чем-то кухонным, сводилась на соблюдение постов да на хождение ночью в церковь, где изуверство, развитое страхом, шло рядом с обманом, где все было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узкостью. Диакон дал ученице в руки Евангелие — и она долго не выпускала его из рук. Евангелие была *первая книга,* которую она читала и перечитывала с

[1] кое-как *(франц.).— Ред.*

своей единственной подругой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини.

Я Сашу потом знал очень хорошо. Где и как умела она развиться, родившись между кучерской и кухней, не выходя из девичьей, я никогда не мог понять, но развита была она необыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня, без радостного воспоминания, но не зная, не подозревая сами, что́ в них гибнет и сколько в них умирает.

Барыня с досадой скажет: «Только начала было девчонка приучаться к службе, как вдруг слегла и умерла...» Ключница семидесяти лет проворчит: «Какие нынче слуги — хуже всякой барышни»,— и отправится на кутью и поминки. Мать поплачет, поплачет и начнет попивать: тем дело и кончено.

И мы идем возле, торопясь и не видя этих страшных повестей, совершающихся под нашими ногами, отделываясь важным недосугом, несколькими рублями и ласковым словом. А тут вдруг, изумленные, слышим страшный стон, которым дает о себе весть на веки веков сломившаяся душа, и, как спросонья, спрашиваем, откуда взялась эта душа, эта сила?

Княгиня убила свою горничную — разумеется, нехотя и бессознательно,— она ее замучила по мелочи, сломила ее, гнувши целую жизнь, она истомила ее унижениями, шероховатым, грубым прикосновением. Она несколько лет не позволяла ей идти замуж и разрешила только тогда, когда разглядела чахотку на ее страдальческом лице.

Бедная Саша, бедная жертва гнусной, проклятой русской жизни, запятнанной крепостным состоянием,— смертью ты вышла на волю! И ты еще была несравненно счастливее других: в суровом плену княгининого дома ты встретила друга, и дружба той, которую ты так безмерно любила, проводила тебя заочно до могилы. Много слез стоила ты ей; незадолго до своей кончины она еще поминала тебя и благословляла память твою как единственный светлый образ, явившийся в ее детстве!

...Две молодые девушки (Саша была постарше) вставали рано по утрам, когда все в доме еще спало, читали Евангелие и молились, выходя на двор, под чистым небом. Они молились о княгине, о компаньонке, просили бога раскрыть их души; выдумывали себе испытания, не ели целые недели мяса, мечтали о монастыре и о жизни за гробом.

Такой мистицизм идет к отроческим чертам, к тому возрасту, где все — еще тайна, все — религиозная мистерия, пробуждаю-

щаяся мысль еще неясно светит из-за утреннего тумана, а туман еще не рассеян ни опытом, ни страстью.

В тихие и кроткие минуты я любил слушать потом рассказы об этой детской молитве, которою начиналась одна широкая жизнь и оканчивалось одно несчастное существование. Образ *сироты,* оскорбленной грубым благодеянием, и *рабы,* оскорбленной безвыходностью своего положения, молящихся на одичалом дворе о своих притеснителях, наполнял сердце каким-то умилением, и редкий покой сходил на душу.

Это чистое и грациозное явление, никем не оцененное из близких в бессмысленном доме княгини, нашло, сверх диакона и Саши, отзыв и горячее поклонение всей дворни. Простые люди эти видели в ней больше, чем добрую, ласковую барышню, они в ней угадали что-то высшее, перед чем они склонялись, они веровали в нее. Невесты из княгининого дома просили ее приколоть своими руками какую-нибудь ленту, когда шли к венцу. Одна молодая горничная,— помнится, ее звали Еленой,— вдруг занемогла колотьем; открылась сильная плёрези [1], надежды спасти ее не было, послали за попом. Девушка, испуганная, спрашивала мать, все ли кончено; мать, рыдая, сказала ей, что бог ее скоро позовет. Тогда больная, припав к матери, с горькими слезами просила сходить за барышней, чтоб она пришла сама благословить ее образом на тот свет. Когда она пришла к ней, больная взяла ее руку, приложила к своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мне, молитесь!» Молодая девушка, сама вся в слезах, начала вполслуха молитву — больная отошла в продолжение этого времени. Все в комнате стояли кругом на коленях и крестились; она закрыла ей глаза, поцеловала холодеющий лоб и вышла [2].

Одни сухие и недаровитые натуры не знают этого романтического периода; их столько же жаль, как те слабые и хилые существа, у которых мистицизм переживает молодость и остается на-

---

[1] плеврит *(от франц. pleurésie).— Ред.*

[2] В бумагах моих сохранились несколько писем Саши, писанных между 35 и 36 годами. Саша оставалась в Москве, а подруга ее была в деревне с княгиней; я не могу читать этого простого и восторженного лепета сердца без глубокого чувства. «Неужели это правда,— пишет она,— что вы приедете? Ах, если б вы в самом деле приехали, я не знаю, что со мной бы было. Ведь вы не поверите, чтоб я так часто об вас думала, почти все мои желания, все мои мысли, *все, все, все, в вас...* Ах, Наталья Александровна, ведь как вы прекрасны, как милы, как высоки, как — но не могу уж выразить. Право, это не выученные слова, прямо из сердца...»

В другом письме она благодарит за то, что «барышня» часто пишет ей. «Это уж слишком,— говорит она,— впрочем, ведь это *вы, вы»,* и заключает письмо словами: «Все мешают, обнимаю вас, мой ангел, со всею истинной, безмерной любовью. Благословите меня!»

всегда. В *наш* век с реальными натурами этого и не бывает; но откуда могло проникнуть в дом княгини *светское* влияние девятнадцатого столетия? — он был так хорошо законопачен.

Щель нашлась-таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини, она любила «маленькую кузину», как любят детей, особенно несчастных, но не знала ее. С изумлением, почти с испугом разглядела она впоследствии эту необыкновенную натуру и, порывистая во всем, тотчас решилась поправить свое невнимание. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Маленькая кузина,— говорила она мне,— гениальное существо, нам следует ее вести вперед!»

«Большая кузина»,— и при этом названии я не могу без улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом,— сообщила разом своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе: шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюбленной девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала французских романов, стихов, поэм. Это были большей частию книги, вышедшие после 1830 года. Они, при всех недостатках, сильно будили мысль и крестили огнем и духом юные сердца. В романах и повестях, в поэмах и песнях того времени, с ведома писателя или нет, везде сильно билась социальная артерия, везде обличались общественные раны, везде слышался стон сгнетенных голодом невинных каторжников работы; тогда еще этого ропота и этого стона не боялись, как преступления.

Само собою разумеется, что «кузина» надавала книг без всякого разбора, без всяких объяснений, и я думаю, что в этом не было вреда; есть организации, которым никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которые всего лучше идут там, где нет решетки.

Вскоре прибавилось другое лицо, продолжавшее светское влияние корчевской кузины. Княгиня наконец решилась взять гувернантку и, чтоб недорого платить, пригласила молодую *русскую* девушку, только что выпущенную из института.

Русские гувернанты у нас нипочем, по крайней мере, так еще было в тридцатых годах, а между тем при всех недостатках они все же лучше большинства француженок из Швейцарии, бессрочноотпускных лореток и отставных актрис, которые с отчаянья бросаются на воспитание как на последнее средство доставать насущный хлеб,— средство, для которого не нужно ни таланта, ни молодости, ничего — кроме произношения «грррра» и манер d'une dame de comptoir [1], которые часто у нас по провинциям принимаются

[1] приказчицы *(франц.).— Ред.*

за «хорошие» манеры. Русские гувернанты выпускаются из институтов или из воспитательных домов, стало быть, все же имеют какое-нибудь правильное воспитание и не имеют того мещанского pli [1], которое вывозят иностранки.

Нынешних французских воспитательниц не надобно смешивать с теми, которые приезжали в Россию до 1812 года. Тогда и Франция была меньше мещанской и приезжавшие женщины принадлежали совсем другому слою. Долею это были дочери эмигрантов, разорившихся дворян, вдовы офицеров, часто их покинутые жены. Наполеон женил своих воинов в том роде, как наши помещики женят дворовых людей,— не очень заботясь о любви и наклонностях. Он хотел браками сблизить дворянство пороха с старым дворянством; он хотел оболванить своих Скалозубов женами. Привычные к слепому повиновению, они венчались беспрекословно, но вскоре бросали своих жен, находя их слишком чопорными для казарменных и бивачных вечеринок. Бедные женщины плелись в Англию, в Австрию, в Россию. К числу прежних гувернант принадлежала француженка, гащивавшая у княгини. Она говорила с улыбкой, отборным слогом и никогда не употребляла ни одного сильного выражения. Она вся состояла из хороших манер и никогда ни на минуту не забывалась. Я уверен, что она ночью в постеле больше преподавала, как следует спать, нежели спала.

Молодая институтка была девушка умная, бойкая, энергическая, с прибавкой пансионской восторженности и врожденного чувства благородства. Деятельная и пылкая, она внесла в существование ученицы-подруги больше жизни и движения.

Унылая, грустная дружба к увядающей Саше имела печальный, траурный отблеск. Она вместе с словами диакона и с отсутствием всякого развлечения удаляла молодую девушку от мира, от людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и с тем вместе сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на месте; оно стягивало на землю, на действительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла несколько наружных форм Эмилии; улыбка чаще стала показываться, разговор становился живее, но через год времени натуры двух девушек заняли места по удельному весу. Рассеянная, милая Эмилия склонилась перед сильным существом и совершенно подчинилась ученице, видела ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой, ее дружбой.

Перед окончанием курса я стал чаще ходить в дом княгини. Молодая девушка, казалось, радовалась, когда я приходил, ино-

[1] налета *(франц.).— Ред.*

гда вспыхивал огонь на щеках, речь оживлялась, но тотчас потом она входила в свой обыкновенный, задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваянья или «деву чужбины» Шиллера, останавливавшую всякую близость.

Это не было ни отчуждение, ни холодность, а внутренняя работа — чужая другим, она еще себе была *чужою* и больше предчувствовала, нежели знала, что в ней. В ее прекрасных чертах было что-то недоконченное, невысказавшееся, им недоставало одной искры, одного удара резцом, который должен был решить, назначено ли ей истомиться, завянуть на песчаной почве, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить,— может, страдать, даже наверное страдать, *но много жить.*

Печать жизни, выступившей на полудетском лице ее, я первый увидел накануне долгой разлуки.

Памятен мне этот взгляд, иначе освещенный, и все черты, вдруг изменившие значенье, будто проникнутые иною мыслию, иным огнем... будто тайна разгадана и внутренний туман рассеян. Это было в тюрьме. Десять раз прощались мы, и все еще не хотелось расстаться; наконец моя мать, приезжавшая с Natalie [1] в Крутицы, решительно встала, чтоб ехать. Молодая девушка вздрогнула, побледнела, крепко, не по своим силам, сжала мне руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александр, не забывай же сестры».

Жандарм проводил их и принялся ходить взад и вперед. Я бросился на постель и долго смотрел на дверь, за которой исчезло это светлое явление. «Нет, брат твой не забудет тебя»,— думал я.

На другой день меня везли в Пермь, но прежде, нежели я буду говорить о разлуке, расскажу, что еще мне мешало перед тюрьмой лучше понять Natalie, больше сблизиться с нею. Я был влюблен!

Да, я был влюблен, и память об этой юношеской, чистой

---

[1] Я очень хорошо знаю, сколько аффектации в французском переводе имен, но как быть — имя дело традиционное, как же его менять? К тому же все неславянские имена у нас как-то усечены и менее звучны,— мы, воспитанные отчасти «не в отеческом законе», в нашу молодость «романизировали» имена, предержащие власти «славянизируют» их. С производством в чины и с приобретением силы при дворе меняются буквы в имени; так, например, граф Строганов остался до конца дней *Сергей Григорьевичем,* но князь Голицын всегда назывался *Сергий Михайлович.* Последний пример производства по этой части мы заметили *в известном* по 14 декабрю генерале Ростовцеве: во все царствование Николая Павловича он был Яков, так, как Яков Долгорукий, но с воцарения Александра II он сделался Иаков, так, как брат божий!

любви мне мила, как память весенней прогулки на берегу моря, середь цветов и песен. Это было сновидение, навеявшее много прекрасного и исчезнувшее, как обыкновенно сновидения исчезают!

Я говорил уже прежде, что мало женщин было во всем нашем кругу, особенно таких, с которыми бы я был близок; моя дружба, сначала пламенная, к корчевской кузине приняла мало-помалу ровный характер, после ее замужества мы видались реже, потом она уехала. Потребность чувства больше теплого, больше нежного, чем наша мужская дружба, неопределенно бродила в сердце. Все было готово, недоставало только «ее». В одном из знакомых нам домов была молодая девушка, с которой я скоро подружился; странный случай сблизил нас. Она была помолвлена, вдруг вышла какая-то ссора, жених оставил ее и уехал куда-то на другой край России. Она была в отчаянии, огорчена, оскорблена; с искренним и глубоким участием смотрел я, как горе разъедало ее; не смея заикнуться о причине, я старался рассеять ее, утешить, носил романы, сам их читал вслух, рассказывал целые повести и иногда не приготовлялся вовсе к университетским лекциям, чтоб подольше посидеть с огорченной девушкой.

Мало-помалу слезы ее становились реже, улыбка светилась по временам из-за них; отчаянье ее превращалось в томную грусть; скоро ей сделалось страшно за прошедшее, она боролась с собой и отстаивала его против настоящего из сердечного point d'honneur'a [1], как воин отстаивает знамя, понимая, что сражение потеряно. Я видел эти последние облака, едва задержанные у небосклона, и, сам увлеченный и с бьющимся сердцем, тихо-тихо вынимал из ее рук знамя, а когда она перестала его удерживать — я был влюблен. Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи, я писал ей в прозе целые диссертации, а потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах, она была на все готова. Внешняя сторона жизни никогда не рисовалась светлой в наших фантазиях, обреченные на бой с чудовищною силою, успех нам казался почти невозможным. «Будь моей Гаетаной»,— говорил я ей, читая «Изувеченного» Сантина, и воображал, как она проводит меня в сибирские рудники.

«Изувеченный» — это тот поэт, который написал пасквиль на Сикста V и выдал себя, когда папа дал слово не казнить виновного смертью. Сикст V велел ему отрубить руки и язык. Образ несчастного страдальца, задыхающегося от собственной полноты мыслей, которые теснятся в его голове, не находя выхода, не мог

---

[1] собственного понятия о чести *(франц.)*.— *Ред.*

не нравиться нам тогда. Грустный и истомленный взгляд страдальца успокоивался только и останавливался с благодарностью и остатком веселья на девушке, которая любила его прежде и не изменила ему в несчастии; ее-то звали Гаетаной.

Этот первый опыт любви прошел скоро, но он был совершенно искренен. Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего девятнадцатилетнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют?

И неужели ты, моя Гаетана, не с той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрече, неужели что-нибудь горькое примешивается к памяти обо мне через двадцать два года? Мне было бы это очень больно. И где ты? И как прожила жизнь?

Я свою дожил и плетусь теперь под гору, сломленный и нравственно «изувеченный», не ищу никакой Гаетаны, перебираю старое и память о тебе встретил радостно... Помнишь угольное окно против небольшого переулка, в который мне надобно было заворачивать, ты всегда подходила к нему, провожая меня, и как бы я огорчился, если б ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мне приходилось повернуть.

А встретить тебя в самом деле я не хотел бы. Ты в моем воображении осталась с твоим юным лицом, с твоими кудрями blond cendré;[1] останься такою; ведь и ты, если вспоминаешь обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взглядом, с огненной речью; так и помни и не знай, что взгляд потух, что я отяжелел, что морщины прошли по лбу, что давно нет прежнего светлого и оживленного выражения в лице, которое Огарев называл «выражением надежды», да нет и надежд.

Друг для друга мы должны быть такими, какими были тогда... ни Ахилл, ни Диана не стареются... Не хочу встретиться с тобою, как Ларина с княжной Алиной:

Кузина, помнишь Грандисона? —
«Как? Грандисон?.. А, Грандисон!»
В Москве живет у Симеона,
Меня в сочельник навестил,
Недавно сына он женил.

...Последнее пламя потухавшей любви осветило на минуту тюремный свод, согрело грудь прежними мечтами, и каждый пошел своим путем. Она уехала в Украйну, я собирался в ссылку. С тех пор не было вести об ней.

---

[1] пепельного цвета *(франц.).— Ред.*

ГЛАВА XXI

Разлука

Ах, люди, люди злые,
Вы их разрознили...

Так оканчивалось мое первое письмо к Natalie, и замечательно, что, испуганный словом «сердца», я его не написал, а написал в конце письма «Твой брат».

Как дорога мне была уже тогда моя *сестра* и как беспрерывно в моем уме, видно из того, что я писал к ней из Нижнего, из Казани и на другой день после приезда в Пермь. Слово *сестра* выражало все сознанное в нашей симпатии; оно мне бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не как *предел,* а, напротив, как смешение их, в нем соединены дружба, любовь, кровная связь, общее предание, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называл прежде этим именем, и оно было мне так дорого, что я и впоследствии часто называл Natalie так.

Прежде нежели я вполне понял наше отношение и, может, именно оттого, что не понимал его вполне, меня ожидал иной искус, который мне не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаетаной,— искус, смиривший меня и стоивший мне много печали и внутренней тревоги.

Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно мне чуждый, после девятимесячной тюрьмы, я жил сначала рассеянно, без оглядки, новый край, новая обстановка рябили перед глазами. Мое общественное положение изменилось. В Перми, в Вятке на меня смотрели совсем иначе, чем в Москве; там я был молодым человеком, жившим в родительском доме, здесь, в этом болоте, я стал на свои ноги, был принимаем за чиновника, хотя и не был вовсе им. Не трудно было мне догадаться, что без большого труда я мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе.

В Перми я не успел оглядеться, там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли я корову! Вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студентской жизни. Но в Вятке я перезнакомился со всем светом, особенно с молодым купечеством, которое там гораздо образованнее купечества внутренних губерний, хотя кутить любит не меньше. Сбитый канцелярией с моих занятий, я вел беспокойно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости или, лучше сказать,

удободвижимости характера и отсутствии опытности можно было ждать ряд всякого рода столкновений.

В силу кокетливой страсти de l'approbativité[1] я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружился по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась нелепой ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, в непостоянстве.

Я сначала жил в Вятке не один. Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни, при всех важных событиях ее,— лицо, которое тонет для того, чтоб меня познакомить с Огаревым, и машет фуляром с русской земли, когда я переезжаю таурогенскую границу,— словом, К. И. Зонненберг жил со мною в Вятке; я забыл об этом, рассказывая мою ссылку.

Случилось это так: в то время как меня отправляли в Пермь, Зонненберг собирался на Ирбитскую ярмарку. Отец мой, любивший всегда усложнять простые дела, предложил Зонненбергу заехать в Пермь и там *монтировать мой дом,* за это он брал на себя путевые издержки.

В Перми Зонненберг ревностно принялся за дело, то есть за покупку ненужных вещей, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталю, запасов; он сам ездил на Обву, чтоб приобрести ex ipso fonte[2] вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели в Вятку. Мы распродали за полцены купленное добро и оставили Пермь. Зонненберг, добросовестно исполняя волю моего отца, счел необходимым ехать также и в Вятку «монтировать» мой дом. Отец мой так был доволен его преданностью и самоотвержением, что положил ему сто рублей жалованья в месяц, пока он будет у меня. Это было выгоднее и вернее Ирбита — и он не торопился меня оставить.

В Вятке он уже купил не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества. Карл Иванович,— мы уже говорили это,— несмотря на свой пятидесятилетний возраст и на значительные недостатки в лице, был большой волокита и был приятно уверен, что всякая женщина и девушка, подходящая к нему, подвергается опасности мотылька, летающего возле зажженной свечи.

---

[1] желания нравиться *(франц.).— Ред.*
[2] из самого источника *(лат.).— Ред.*

Действие, произведенное лошадьми, Карл Иванович утратить не хотел и старался вывести из него пользу по эротической части. К тому же все обстоятельства ему способствовали, у нас был балкон, выходящий на двор, за которым начинался сад. С десяти часов утра Зонненберг в казанских *ичигах*, в шитой золотом *тибитейке* и в кавказском бешмете, с огромным янтарным мундштуком во рту, сидел на вахте, делая вид, будто читает. Тибитейка и янтарь — все это было направлено на трех барышень, живших в соседнем доме. Барышни, с своей стороны, занимались приезжими и с любопытством рассматривали восточную куклу, курившую на балконе. Карл Иванович знал, когда и как тайком они подымали стору, находил, что дела его идут успешно, и нежно выпускал дым легкой струйкой по заветному направлению.

Вскоре сад представил нам возможность познакомиться с соседками. У нашего хозяина было три дома, сад был общий. Два дома были заняты: в одном жили мы и сам хозяин с своей мачехой — толсто-мягкой вдовой, которая так матерински и с такой ревностью за ним присматривала, что он только украдкой от нее разговаривал с садовыми дамами; в другом жили барышни с своими родителями; третий стоял пустой. Карл Иванович через неделю был свой человек в дамском обществе нашего сада, он постоянно по нескольку часов в день качал барышень на качелях, бегал за мантильями и зонтиками, словом, был aux petit soins [1]. Барышни с ним дурачились больше, чем с другими, именно потому, что его еще меньше можно было подозревать, чем жену Цезаря; при взгляде на него останавливалось всякое, самое отважное злоречие.

По вечерам ходил и я в сад по тому табунному чувству, по которому люди без всякого желания делают то же, что другие. Туда, сверх жильцов, приходили их знакомые, главный предмет занятий и разговоров было волокитство и подсматривание друг за другом. Карл Иванович с неусыпностью Видока предался сентиментальному шпионству, знал, кто с кем чаще гуляет, кто на кого непросто смотрит. Я был страшным камнем преткновения для всей тайной полиции нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всех стараниях не могли открыть, за кем я ухаживаю, кто мне особенно нравится, что действительно было нелегко: я решительно ни за кем не ухаживал, и все барышни мне не особенно нравились. Это наконец им надоело и оскорбило их, меня стали считать гордым, насмешником, и дружба барышень заметно стыла, хотя в одиночку каждая пробовала на мне самые опасные взгляды свои.

---

[1] старался всячески угодить *(франц.).— Ред.*

Середи всех этих обстоятельств одним утром Карл Иванович сообщил мне, что хозяйская кухарка с утра открыла ставни третьего дома и моет окна. Дом был занят каким-то приезжим семейством.

Сад занялся исключительно подробностями о новоприезжих. Незнакомая дама, усталая с дороги или еще не успевшая разобраться, как назло, не являлась к нам в воксал. Ее старались увидеть в окно или в сенях, иным удавалось, другие тщетно караулили целые дни, видевшие находили ее бледной, томной, словом, интересной и недурной. Барышни говорили, что она печальна и болезненна, молодой губернаторский чиновник, шалун и очень неглупый малый, один знал приезжих. Он служил прежде в одной губернии с ними, все пристали к нему с расспросами.

Разбитной чиновник, довольный, что знает, чего другие не знают, толковал без конца о достоинствах новоприезжей; он ее превозносил, называл ее столичной дамой.

— Она умна,— повторял он,— мила, образованна, на нашего брата и не посмотрит. Ах, боже мой,— прибавил он, вдруг обращаясь ко мне,— вот чудесная мысль, поддержите честь вятского общества, поволочитесь за ней... ну, знаете, вы из Москвы, в ссылке, верно, пишете стихи — это вам с неба подарок.

— Какой вы вздор порете,— сказал я ему, смеясь, однако вспыхнул в лице — мне захотелось ее видеть.

Через несколько дней я встретился с ней в саду, она в самом деле была очень интересная блондина; тот же господин, который говорил об ней, представил меня ей, я был взволнован и так же мало умел это скрыть, как мой патрон — улыбку.

Самолюбивая застенчивость прошла, я познакомился с ней,— она была очень несчастна и, обманывая себя мнимым спокойствием, томилась и исходила в какой-то праздности сердца.

Р. была одна из тех скрытно-страстных женских натур, которые встречаются только между блондинами, у них пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами; они бледнеют от волнения, и глаза их не искрятся, а скорее тухнут, когда чувства выступают из берегов. Утомленный взор ее выбивался из сил, стремясь к чему-то, несытая грудь неровно подымалась. Во всем существе ее было что-то неспокойное, электрическое. Часто, гуляя по саду, она вдруг бледнела и, смущенная или встревоженная изнутри, отвечала рассеянно и торопилась домой; я именно в эти минуты любил смотреть на нее.

Внутреннюю жизнь ее я вскоре разглядел. Она не любила мужа и не могла его любить; ей было лет двадцать пять, ему за пятьдесят — с этим, может, она бы сладила, но различие образования, интересов, характеров было слишком резко.

Муж почти не выходил из комнаты; это был сухой, черствый старик, чиновник с притязанием на помещичество, раздражительный, как все больные и как почти все люди, потерявшие состояние. Ей было шестнадцать лет, когда ее отдали замуж, он имел достаток; но впоследствии все проиграл в карты и принужден был жить службой. Года за два до перевода в Вятку он начал хиреть, какая-то рана на ноге развилась в костоеду, старик сделался угрюм и тяжел, боялся своей болезни и смотрел взглядом тревожной и беспомощной подозрительности на свою жену. Она грустно и самоотверженно ходила за ним, но это было исполнение долга. Дети не могли удовлетворить всему — чего-то просило незанятое сердце.

Раз вечером, говоря о том, о сем, я сказал, что мне бы очень хотелось послать моей кузине портрет, но что я не мог найти в Вятке человека, который бы умел взять карандаш в руки.

— Дайте я попробую,— сказала соседка,— я когда-то довольно удачно делала портреты черным карандашом.

— Очень рад. Когда же?

— Завтра перед обедом, если хотите.

— Разумеется. Я приду в час.

Все это было при муже; он не сказал ни слова.

На другой день утром я получил от соседки записку; это была первая записка от нее. Она очень вежливо и осторожно уведомляла меня, что муж ее недоволен тем, что она мне предложила сделать портрет, просила снисхождения к капризам больного, говорила, что его надобно щадить, и в заключение предлагала сделать портрет в другой день, не говоря об этом мужу, чтоб его не беспокоить.

Я горячо, может, через край горячо, благодарил ее, тайное делание портрета не принял, но тем не меньше эти две записки сблизили нас много. Отношения ее к мужу, до которых я никогда бы не коснулся, были высказаны. Между мною и ею невольно составлялось тайное соглашение, лига против него.

Вечером я пришел к ним,— ни слова о портрете. Если б муж был умнее, он должен бы был догадаться о том, что было; но он не был умнее. Я взглядом поблагодарил ее, она улыбкой отвечала мне.

Вскоре они переехали в другую часть города. Первый раз, когда я пришел к ним, я застал соседку одну в едва меблированной зале; она сидела за фортепьяно, глаза у нее были сильно заплаканы. Я просил ее продолжать; но музыка не шла, она ошибалась, руки дрожали, цвет лица менялся.

— Как здесь душно! — сказала она, быстро вставая из-за фортепьяно.

Я молча взял ее руку, слабую, горячую руку; голова ее, как отяжелевший венчик, страдательно повинуясь какой-то силе, склонилась на мою грудь, она прижала свой лоб и мгновенно исчезла.

На другой день я получил от нее записку, несколько испуганную, старавшуюся бросить какую-то дымку на вчерашнее; она писала о страшном нервном состоянии, в котором она была, когда я взошел, о том, что она едва помнит, что было, извинялась — но легкий вуаль этих слов не мог уж скрыть страсть, ярко просвечивавшуюся между строк.

Я отправился к ним. В этот день мужу было легче, хотя на новой квартире он уже не вставал с постели; я был монтирован [1], дурачился, сыпал остротами, рассказывал всякий вздор, морил больного со смеху и, разумеется, все это для того, чтоб заглушить ее и мое смущение. Сверх того, я чувствовал, что смех этот увлекает и пьянит ее.

...Прошли недели две. Мужу было все хуже и хуже, в половину десятого он просил гостей удаляться, слабость, худоба и боль возрастали. Одним вечером, часов в девять, я простился с больным. Р. пошла меня проводить. В гостиной полный месяц стлал по полу три косые бледно-фиолетовые полосы. Я открыл окно, воздух был чист и свеж, меня так им и обдало.

— Какой вечер! — сказал я.— И как мне не хочется идти.

Она подошла к окну.

— Побудьте немного здесь.

— Невозможно, я в это время переменяю повязку.

— Приходите после, я вас подожду.

Она молчала, я взял ее руку.

— Ну приходите же. Я вас прошу... Придете?

— Право, нельзя, я сначала надеваю блузу.

— Приходите в блузе, я вас утром заставал несколько раз в блузе.

— А если вас кто-нибудь увидит?

— Кто? Человек ваш пьян, отпустите его спать, а ваша Дарья... верно, любит вас больше, чем вашего мужа — да она и со мной приятельница. Да и что же за беда? Помилуйте, ведь теперь десятый час,— вы хотели мне что-нибудь поручить, просили подождать...

— Без свечей...

— Велите принести. А впрочем, эта ночь стоит дня.

Она еще сомневалась.

— Приди же — приди! — шептал я ей на ухо, первый раз так обращаясь к ней.

---

[1] возбужден, взвинчен *(от франц. être monté).— Ред.*

Она вздрогнула.

— Приду — но только на минуту.

...Я ждал ее больше получаса... Все было тихо в доме, я мог слышать оханье и кашель старика, его медленный говор, передвиганье какого-то стола... Хмельной слуга приготовлял, посвистывая, на залавке в передней свою постель, выругался и через минуту захрапел... Тяжелая ступня горничной, выходившей из спальной, была последним звуком... Потом тишина, стон больного и опять тишина... вдруг шелест, скрыпнул пол, легкие шаги — и белая блуза мелькнула в дверях...

Ее волнение было так сильно, что она сначала не могла произнести ни одного слова, ее губы были холодны, ее руки — как лед. Я чувствовал, как страшно билось ее сердце.

— Я исполнила *твое* желание,— сказала она наконец.— Теперь пусти меня... Прощай... ради бога, прощай, поди и ты домой,— прибавила она печально умоляющим голосом.

Я обнял ее и крепко, крепко прижал ее к груди.

— Друг мой... иди же!

Это было невозможно... Troppo tardi...[1] Оставить ее в минуту, когда у нее, у меня так билось сердце,— это было бы сверх человеческих сил и очень глупо... Я не пошел — она осталась... Месяц прокладывал свои полосы в другую сторону. Она сидела у окна и горько плакала... Я целовал ее влажные глаза, утирал их прядями косы, упавшей на бледно-матовое плечо, которое вбирало в себя месячный свет, терявшийся без отражения в нежно-тусклом отливе.

Мне было жаль оставить ее в слезах, я ей болтал полушепотом какой-то бред... Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнуло из-за слез столько счастья, что я улыбнулся. Она как будто поняла мою мысль, закрыла лицо обеими руками и встала... Теперь было в самом деле пора, я отнял ее руки, расцеловал их, ее — и вышел.

Тихо выпустила меня горничная, мимо которой я прошел, не смея взглянуть ей в лицо. Отяжелевший месяц садился огромным красным ядром — заря занималась. Было очень свежо, ветер дул мне прямо в лицо — я вдыхал его больше и больше, мне надобно было освежиться. Когда я подходил к дому — взошло солнце, и добрые люди, встречавшиеся со мной, удивлялись, что я так рано встал «воспользоваться хорошей погодой».

С месяц продолжался этот запой любви; потом будто сердце устало, истощилось — на меня стали находить минуты тоски; я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне,— а любовь стыла себе да стыла.

---

[1] Слишком поздно *(итал.).— Ред.*

Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед гражданским-церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унизительной: лицемерие и двоедушие — два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем; но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье.

Одним утром Матвей взошел ко мне в спальню с вестью, что старик Р. «приказал долго жить». Мной овладело какое-то странное чувство при этой вести, я повернулся на другой бок и не торопился одеваться: мне не хотелось видеть мертвеца. Взошел Витберг, совсем готовый. «Как? — говорил он,— вы еще в постеле! разве вы не слыхали, что случилось? чай, бедная Р. одна, пойдемте проведать, одевайтесь скорее». Я оделся — мы пошли.

Мы застали Р. в обмороке или в каком-то нервном летаргическом сне. Это не было притворством; смерть мужа напомнила ей ее беспомощное положение; она оставалась одна с детьми в чужом городе, без денег, без близких людей. Сверх того, у ней бывали и прежде при сильных потрясениях эти нервные ошеломления, продолжавшиеся по нескольку часов. Бледная как смерть, с холодным лицом и с закрытыми глазами, лежала она в этих случаях, изредка захлебываясь воздухом и без дыханья в промежутках.

Ни одна женщина не приехала помочь ей, показать участие, посмотреть за детьми, за домом. Витберг остался с нею; пророк-чиновник и я — взялись за хлопоты.

Старик, исхудалый и почерневший, лежал в мундире на столе, насупив брови, будто сердился на меня; мы положили его в гроб, а через два дня опустили в могилу. С похорон мы воротились в дом покойника; дети в черных платьицах, обшитых плерезами, жались в углу, больше удивленные и испуганные, чем огорченные; они шептались между собой и ходили на цыпочках. Не говоря ни одного слова, сидела Р., положив голову на руку, как будто что-то обдумывая.

В этой гостиной, на этом диване я ждал ее, прислушиваясь к стону больного и к брани пьяного слуги. Теперь все было так черно... Мрачно и смутно вспоминались мне, в похоронной обстановке, в запахе ладана — слова, минуты, на которых я все же *не мог* не останавливаться без нежности.

Печаль ее улеглась мало-помалу, она тверже смотрела на свое положение; потом мало-помалу и другие мысли прояснили ее озабоченное и унылое лицо. Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то — вопроса... ответа...

Я молчал — и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться.

Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах,— любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь иной порядок мыслей, и этот страстный порыв словно для того обнял меня, чтоб уяснить мне самому иное чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание — я был искренен в моем увлечении.

В то время как я терял голову и не знал, что делать, пока я ждал с малодушной слабостью случайной перемены от времени, от обстоятельств,— время и обстоятельства еще больше усложнили положение.

Тюфяев, видя беспомощное состояние вдовы, молодой, красивой собой и брошенной без всякой опоры в дальнем, ей чуждом городе, как настоящий «отец губернии», обратил на нее самую нежную заботливость. Сначала мы все думали, что действительно он принимает в ней участие. Но вскоре Р. с ужасом заметила, что его внимание совсем не просто. Два-три развратных губернатора воспитали вятских дам, и Тюфяев, привыкнувший к ним, не откладывая в долгий ящик, прямо стал говорить ей о своей любви. Р., разумеется, отвечала ему холодным презрением и насмешкой на его старческие любезности. Тюфяев не считал себя побитым и продолжал наглое ухаживанье. Видя, впрочем, что дело мало подвигается, он дал ей почувствовать, что судьба ее детей в его руках и что без него она их не поместит на казенный счет, а что он, с своей стороны, хлопотать не будет, если она не переменит с ним своего холодного обращения. Оскорбленная женщина вскочила уязвленным зверем.

— Извольте вон идти! И чтоб нога ваша не смела переступить моего порога! — сказала она ему, указывая дверь.

— Фу, какие вы сердитые! — сказал Тюфяев, обращая дело в шутку.

— Петр, Петр! — закричала она в переднюю, и испуганный Тюфяев, боясь огласки, задыхаясь от бешенства, пристыженный и униженный, бросился в свою карету.

Вечером Р. рассказала все случившееся Витбергу и мне. Витберг тотчас понял, что обратившийся в бегство и оскорбленный волокита не оставит в покое бедную женщину,— характер Тюфяева был довольно известен всем нам. Витберг решился во что б то ни стало спасти ее.

Гонения начались скоро. Представление о детях было написано так, что отказ был неминуем. Хозяин дома, лавочники требовали с *особенной* настойчивостью уплаты. Бог знает что можно

было еще ожидать; шутить с человеком, уморившим Петровского в сумасшедшем доме, не следовало.

Витберг, обремененный огромной семьей, задавленный бедностью, не задумался ни на минуту и предложил Р. переехать с детьми к нему, на другой или третий день после приезда в Вятку его жены. У него Р. была спасена, такова была нравственная сила этого сосланного. Его непреклонной воли, его благородного вида, его смелой речи, его презрительной улыбки боялся сам вятский Шемяка.

Я жил в особом отделении того же дома и имел общий стол с Витбергом; и вот *мы* очутились под одной крышей — именно тогда, когда должны были бы быть разделены морями.

В этой близости она поняла, что былого не воротишь.

Зачем она встретилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармонии была так возможна для нее! Бедная, бедная Р.! Виноват ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?

...Сбитый с толку, предчувствуя несчастия, недовольный собою, я жил в каком-то тревожном состоянии; снова кутил, искал рассеяния в шуме, досадовал за то, что находил его, досадовал за то, что не находил, и ждал, как чистую струю воздуха середь пыльного жара, несколько строк из Москвы от Natalie. Надо всем этим брожением страстей всходил светлее и светлее кроткий образ ребенка-женщины. Порыв любви к Р. уяснил мне мое собственное сердце, раскрыл его тайну.

Увлекаясь больше и больше моей симпатией к отсутствующей кузине, я не давал себе именно отчета в чувстве, связывавшем меня с ней. Я к нему привык и не следил за тем, изменилось оно или нет.

Мои письма становились все тревожнее; с одной стороны, я глубоко чувствовал не только свою вину перед Р., но новую вину лжи, которую брал на себя молчанием. Мне казалось, что я пал, недостоин иной любви... а любовь росла и росла.

Имя сестры начинало теснить меня, теперь мне недостаточно было дружбы, это тихое чувство казалось холодным. Любовь ее видна из каждой строки ее писем, но мне уж и этого мало, мне нужно не только любовь, но и самое слово, и вот я пишу: «Я сделаю тебе странный вопрос: веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне,— одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе,— одна дружба? — *Я не верю*».

«Ты что-то смущен,— отвечает она,— я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чем меня. Успокойся, друг мой, оно не

переменило во мне решительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Но слово было произнесено; «туман исчез,— пишет она,— опять светло и ясно».

Она радостно, безоблачно отдавалась названному чувству, письма ее — одна отроческая песнь любви, подымающаяся от детского лепета до могучего лиризма.

«Может, ты сидишь теперь,— пишет она,— в кабинете, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взор углублен в неопределенную даль, и нет ответа на приветствие взошедшего. Где же твои думы? Куда стремится взор? Не давай ответа — пусть придут ко мне».

«...Будем детьми, назначим час, в который нам обоим непременно быть на воздухе, час, в который мы будем уверены, что нас ничего не делит, кроме одной дали. В восемь часов вечера и тебе, верно, свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо — да тотчас возвратилась, думая, что ты был в комнате».

«...Глядя на твои письма, на портрет, думая о моих письмах, о браслете, мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь. Вещи, которые были для нас святыней, которые лечили наше тело и душу, с которыми мы беседовали и которые нам заменяли несколько друг друга в разлуке; все эти орудия, которыми мы оборонялись от людей, от ударов рока, от самих себя, что будут они после нас? Останется ли в них сила их, их душа? разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страдания, нашу любовь, будет ли им в награду хоть одна слеза? Как грустно становится, когда воображу, что портрет твой наконец будет висеть безвестным в чьем-нибудь кабинете или, может, какой-нибудь ребенок, играя им, разобьет стекло и сотрет черты».

Не таковы мои письма:[1] середь полной, восторженной любви пробиваются горькие звуки досады на себя, раскаяния, немой укор Р. гложет сердце, мутит светлое чувство, я казался себе лгуном, а ведь я не лгал.

---

[1] Разница между слогом писем Natalie и моим очень велика, особенно в начале переписки; потом он уравнивается и впоследствии делается сходен. В моих письмах рядом с истинным чувством — ломаные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и новых французских романистов. Ничего подобного в ее письмах, язык ее прост, поэтичен, истинен, на нем заметно одно влияние, влияние Евангелия. Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, потому что это не был мой язык. Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное совершеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог устанавливается и принимает свой последний склад.

Как же мне было признаться, как сказать Р. в январе, что я ошибся в августе, говоря ей о своей любви. Как она могла поверить в истину моего рассказа — новая любовь была бы понятнее, измена — проще. Как мог дальний образ отсутствующей вступить в борьбу с настоящим, как могла струя другой любви пройти через этот горн и выйти больше сознанной и сильной — все это я сам не понимал, а чувствовал, что все это правда.

Наконец сама Р., с неуловимой ловкостью ящерицы, ускользала от серьезных объяснений, она чуяла опасность, искала отгадки и в то же время отдаляла правду. Точно она предвидела, что мои слова раскроют страшные истины, после которых все будет кончено, и она обрывала речь там, где она становилась опасною.

Сначала она осмотрелась кругом, несколько дней она находила себе соперницу в молодой, милой, живой немке, которую я любил, как дитя, с которой мне было легко именно потому, что ни ей не приходило в голову кокетничать со мной, ни мне с ней. Через неделю она увидела, что Паулина вовсе не опасна. Но я не могу идти дальше, не сказав несколько слов о ней.

В вятской аптеке приказа общественного призрения был аптекарь-немец, и в этом нет ничего удивительного, но удивительно было то, что его гезель был русский, а назывался Болман. Вот с ним-то я и познакомился; он был женат на дочери какого-то вятского чиновника, у которой была самая длинная, густая и красивая коса из всех виденных мною. Самого аптекаря, Фердинанда Рулковиуса, не было налицо, и мы с Болманом пили разные «шипучки» и художественные «желудочные» настойки фармацевта. Аптекарь был в Ревеле; там он познакомился с какой-то молодой девушкой и предложил ей руку, девушка, едва знавшая его, шла за него очертя голову, как следует девушке вообще и немке в особенности, она даже не имела понятия, в какую дичь он ее везет. Но когда после свадьбы пришлось собираться, страх и отчаяние овладели ею. Чтоб утешить новобрачную, аптекарь пригласил ехать с ними в Вятку молодую девушку лет семнадцати, дальнюю родственницу его жены, она, еще более очертя голову и уже совсем не зная, что такое «Вьатка», согласилась. Обе немки не говорили ни слова по-русски, в Вятке не было четырех человек, говоривших по-немецки. Даже учитель немецкого языка в гимназии не знал его; это меня до того удивило, что я решился его спросить, как же он преподает. «По грамматике,— отвечал он,— и по диалогам». Он объяснял при этом, что он собственно учитель математики, но покамест, за недостатком вакансии, преподает немецкий язык, и что, впрочем, он получает

половинный оклад [1]. Немки пропадали со скуки и, увидевши человека, который если не хорошо, то понятно мог объясняться по-немецки, пришли в совершенный восторг, запоили меня кофеем и еще какой-то «калтешале» [2], рассказали мне все свои тайны, желания и надежды и через два дня называли меня другом и еще больше потчевали сладкими мучнистыми яствами с корицей. Обе были довольно образованны, то есть знали на память Шиллера, поигрывали на фортепьяно и пели немецкие романсы. Этим сходство, впрочем, между ними и оканчивается. Аптекарша была белокурая, лимфатическая, высокая, очень недурная собой, но вялая и сонная женщина, она была чрезвычайно добра, да и трудно было при такой комплекции быть злою. Убедившись однажды, что ее муж — муж ее, она тихонько и ровненько любила его, занималась кухней и бельем, читала в свободные минуты романы и в свое время благополучно родила аптекарю дочь, белобрысую и золотушную.

Подруга ее, небольшого роста, смуглая брюнетка, крепкая здоровьем, с большими черными глазами и с самобытным видом, была коренастая, народная красота; в ее движениях и словах видна была большая энергия, и когда, бывало, аптекарь, существо скучное и скупое, делал не очень вежливые замечания своей жене и та их слушала с улыбкой на губах и слезой на реснице, Паулина краснела в лице и так взглядывала на расходившегося фармацевта, что тот мгновенно усмирялся, делал вид, что очень занят, и уходил в лабораторию мешать и толочь всякую дрянь для восстановления здоровья вятских чиновников.

Мне нравилась наивная девушка, которая за себя постоять умела, и не знаю, как это случилось, но ей первой рассказал я о моей любви, ей переводил письма. Тот только знает цену этой сердечной болтовни, кто живал долго, годы целые с людьми совершенно посторонними. Я редко говорю о чувствах, но бывают минуты, в которые потребность высказаться становится невыносимою, даже *теперь*. А тогда мне было двадцать четыре года, и я только что понял мою любовь. Я мог переносить разлуку, перенес бы и молчание, но, встретившись с другим ребенком-женщиной, в котором все было так непритворно просто, я не мог удержаться, чтоб не разболтать ей мою тайну. Да и как же она была мне благодарна за то, и сколько добра сделала она мне!

---

[1] Зато «просвещенное» начальство определило в той же вятской гимназии известного ориенталиста, товарища Ковалевского и Мицкевича,— Верниковского, сосланного по делу филаретов, учителем французского языка.

[2] прохладительным напитком *(от нем. kalte Schale).— Ред.*

Всегда серьезная беседа Витберга иной раз утомляла меня, мучимый моим тяжелым отношением к Р., я не мог быть при ней свободен. Часто вечером уходил я к Паулине, читал ей пустые повести, слушал ее звонкий смех, слушал, как она нарочно для меня пела «Das Mädchen aus der Fremde», под которой я и она понимали другую *деву чужбины*, и облака рассеивались, на душе мне становилось искренно весело, безмятежно спокойно, и я с миром уходил домой, когда аптекарь, окончив последнюю микстуру и намазав последний пластырь, приходил надоедать мне вздорными политическими расспросами,— не прежде, впрочем, как выпивши его «лекарственной» и закусивши герингсалатом [1], приготовленным беленькими ручками der Frau Apothekerin [2].

...Р. страдала, я с жалкой слабостью ждал от времени случайных разрешений и длил полуложь. Тысячу раз хотел я идти к Р., броситься к ее ногам, рассказать все, вынести ее гнев, ее презрение... но я боялся не негодования — я бы ему был рад,— боялся слез. Много дурного надобно испытать, чтоб уметь вынести женские слезы, чтоб уметь сомневаться, пока они, еще теплые, текут по воспаленной щеке. К тому же ее слезы были бы искренние.

Так прошло много времени. Начали носиться слухи о близком окончании ссылки, не так уже казался далеким день, в который я брошусь в повозку и полечу в Москву, знакомые лица мерещились, и между ними, перед ними заветные черты; но едва я отдавался этим мечтам, как мне представлялась с другой стороны повозки бледная, печальная фигура Р., с заплаканными глазами, с взглядом, выражающим боль и упрек, и радость моя мутилась, мне становилось жаль, смертельно жаль ее.

Долее оставаться в ложном положении я не мог и решился, собрав все силы, вынырнуть из него. Я написал ей полную исповедь. Горячо, откровенно рассказал ей всю правду. На другой день она не выходила и сказалась больной. Все, что может вынесть преступник, боящийся, что его уличат, все вынес я в этот день; ее нервное оцепенение возвратилось — я не смел ее навестить.

Мне надобно было большее покаянье; я заперся с Витбергом в кабинет и рассказал ему весь роман мой. Сначала он удивился, потом выслушал меня не как судья, а как друг, не мучил расспросами, не читал задним числом морали, и принялся со мной искать средств смягчить удар — он один и мог это сделать. Он

---

[1] салатом с селедкой *(от нем. Hering-Salat).— Ред.*
[2] госпожи аптекарши *(нем.).— Ред.*

горячо любил тех, кого любил. Я боялся его ригоризма, но дружба ко мне и к Р. решительно взяла верх. Да, на его руки я мог оставить несчастную женщину, которой безотрадное существование я доломал; в нем она находила сильную нравственную опору и авторитет. Р. уважала его, как отца.

Утром Матвей подал мне записку. Я почти не спал всю ночь, с волнением распечатал я ее дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально; цветы моего красноречия не скрыли аспика [1], в ее примирительных словах слышался затаенный стон слабой груди, крик боли, подавленный чрезвычайным усилием. Она благословляла меня на новую жизнь, желала нам счастия, называла Natalie сестрой и протягивала нам руку на забвение прошедшего и на будущую дружбу — как будто она была виновата!

Рыдая, перечитывал я ее письмо. Qual cuor tradisti! [2]

Я встретился впоследствии с нею; дружески подала она мне руку, но нам было неловко, каждый чего-то не договаривал, каждый старался кой-чего не касаться.

Год тому назад я услышал о ее кончине.

Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р. Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой. Она чахнет и умирает. Весть о ее смерти тяжко падает на него, он сделался мрачен, задумчив и, наконец, сошел с ума. Его жена, идеал кротости и самоотвержения, испытав все, везет его, в одну из тихих минут, в *Девичий монастырь* и бросается с ним на колени перед могилой несчастной женщины, прося прощения и заступничества. Из окон монастыря достигают слова молитвы, тихие женские голоса поют об отпущении — барич выздоравливает. Повесть вышла плоха. Когда я писал ее, Р. не собиралась в Москву, и один человек, догадывавшийся о том, что что-то было между мной и Р., был «вечный немец» К. И. Зонненберг. После кончины моей матери в 1851 от него не было ни одной вести. В 1860 один турист, рассказывая мне о своем знакомстве с восьмидесятилетним Карлом Ивановичем, показал его письмо. В P. S. он извещал его о кончине Р. и о том, что *мой брат* ее похоронил *в Новодевичьем монастыре!*

Само собой разумеется, что повесть им обоим была неизвестна.

---

[1] аспида *(от франц. aspic).— Ред.*

[2] Какое сердце ты предал! *(итал.) — Ред.*

ГЛАВА XXII

В Москве без меня

Мирная жизнь моя во Владимире скоро была возмущена вестями из Москвы, которые теперь приходили со всех сторон. Они сильно огорчали меня. Для того чтоб сделать их понятными, надобно воротиться к 1834 году.

На другой день после моего взятия в 1834 году были именины княгини, потому-то Natalie, расставаясь со мной на кладбище, сказала мне: «До завтра». Она ждала меня; съехалось несколько человек родных, вдруг является мой двоюродный брат и рассказывает со всеми подробностями историю моего ареста. Новость эта, совершенно неожиданная, поразила ее, она встала, чтоб выйти в другую комнату, и, сделав два шага, упала без чувств на пол. Княгиня все видела и все поняла; она решилась противудействовать всеми средствами возникающей любви.

Для чего?

Не знаю. В последнее время, то есть после окончания моего курса, она была очень хорошо расположена ко мне; по мой арест, слухи о нашем *вольном* образе мыслей, об измене православной церкви при вступлении в сен-симонскую «секту» разгневали ее; она с тех пор меня иначе не называла, как «государственным преступником» или «несчастным сыном брата Ивана». Весь авторитет Сенатора был нужен, чтоб она решилась отпустить Natalie в Крутицы проститься со мной.

По счастию, меня ссылали. времени перед княгиней было много. «Да и где это Пермь, Вятка — верно, он там себе сверпет шею или ему сверпут ее, а главное — там он ее забудет».

Но, как назло княгине, у меня память была хороша. Переписка со мной, долго скрываемая от княгини, была наконец открыта, и она строжайше запретила людям и горничным доставлять письма молодой девушке или отправлять ее письма на почту. Года через два стали поговаривать о моем возвращении. «Эдак, пожалуй, каким-нибудь добрым утром несчастный сын брата отворит дверь и взойдет, чего тут долго думать да откладывать,— мы ее выдадим замуж и спасем от государственного преступника, человека без религии и правил».

Прежде княгиня, вздыхая, говорила о бедной сироте, о том, что у нее почти ничего нет, что ей нельзя долго разбирать, что ей бы хотелось *как-нибудь* пристроить ее при себе. Она действительно с своими приживалками устроила *кой-как* судьбу одной дальней родственницы без состояния, отдав ее замуж за какого-то

подьячего. Добрая, милая девушка, очень развитая, пошла замуж, желая успокоить свою мать; года через два она умерла, но подьячий остался жив и из благодарности продолжал заниматься хождением по делам ее сиятельства. Теперь, совсем напротив, сирота — вовсе не бедная невеста, княгиня собирается ее выдать, как родную дочь, дает одними деньгами сто тысяч рублей и оставляет, сверх того, какое-то наследство. На таких условиях можно всегда найти женихов не только в Москве, но где угодно, особенно имея компаньонку, княжеский титул и кочующих старух.

Шепот, переговоры, слухи — и горничные довели до несчастной жертвы такой попечительности намерения княгини. Она сказала компаньонке, что решительно не примет ничьего предложения. Тогда началось беспрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гонение,— гонение ежеминутное, мелкое, цепляющееся за каждый шаг, за каждое слово.

«...Представь себе дурную погоду, страшную стужу, ветер, дождь, пасмурное, какое-то без выражения небо, прегадкую маленькую комнату, из которой, кажется, сейчас вынесли покойника, а тут эти *дети* без цели, даже без удовольствия, шумят, кричат, ломают и марают все близкое; да хорошо бы еще, если б только можно было глядеть на этих детей, а когда заставляют быть в их среде»,— пишет она в одном письме из деревни, куда княгиня уезжала летом, и продолжает: «У нас сидят три старухи, и все три рассказывают, как их покойники были в параличе, как они за ними ходили,— а и без того холодно».

Теперь к этой среде прибавилось систематическое преследование и уже не от одной княгини, но и от жалких старух, мучивших беспрерывно Natalie, уговаривая ее идти замуж и браня меня; большей частию она умалчивала в письмах о ряде неприятностей, выносимых ею, но иной раз горечь, унижение и скука брали верх. «Не знаю,— пишет она,— можно ли выдумать еще что-нибудь к моему угнетению, неужели у них станет настолько ума? Знаешь ли ты, что даже выход в другую комнату мне запрещен, даже перемена места в той же комнате. Я давно не играла на фортепьяно; подали огонь, иду в залу, авось-либо смилосердятся; нет, воротили, заставили вязать; пожалуй — только сяду у другого стола, подле них мне невыносимо,— можно ли хоть это? Нет, непременно сядь тут, рядом с попадьей, слушай, смотри, говори — а они только и говорят о Филарете да пересуживают тебя. На минуту мне стало досадно, я покраснела, и вдруг тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть их рабою, нет... мне смертельно стало жаль их».

Начинается формальное сватовство.

«У нас была одна дама, которая любит меня и которую я за это не люблю... хлопочет что есть мочи пристроить меня и до того рассердила меня, что я пропела ей вслед:

Гробовой скорей покроюсь пеленой,
Чем без милого узорчатой фатой».

Через несколько дней, 26 октября 1837 года, она пишет: «Что я вытерпела сегодня, друг мой, ты не можешь себе представить. Меня нарядили и повезли к С., которая с детства была ко мне *милостива* через меру, к ним каждый вторник ездит полковник З. играть в карты. Вообрази мое положение: с одной стороны, старухи за карточным столом, с другой — разные безобразные фигуры и он. Разговор, лица — все это так чуждо, странно, противно, так безжизненно, пошло, я сама была больше похожа на изваяние, чем на живое существо; все происходящее казалось мне тяжким, удушливым сном, я, как ребенок, беспрерывно просила ехать домой, меня не слушали. Внимание хозяина и *гостя* задавили меня, он даже написал мелом до половины мой вензель; боже мой, моих сил недостает, ни на кого не могу опереться из тех, которые могли быть опорой; одна — на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия, чтоб столкнуть меня, иногда я устаю, силы слабеют — и нет тебя вблизи, и вдали тебя не видно; но одно воспоминание — и душа встрепенулась, готова снова на бой в доспехах любви».

Между тем полковник понравился всем, Сенатор его ласкал, отец мой находил, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». «Даже,— пишет Natalie,— его превосходительство Д. П. (Голохвастов) доволен им». Княгиня не говорила прямо Natalie, но прибавляла притеснения и торопила дело. Natalie пробовала прикидываться при нем совершенной «дурочкой», думая, что отстращает его. Нисколько — он продолжает ездить чаще и чаще.

«Вчера,— пишет она,— была у меня Эмилия, вот что она сказала: «Если б я услышала, что ты умерла, я бы с радостью перекрестилась и поблагодарила бы бога». Она права во многом, но не совсем, душа ее, живущая одним горем, поняла вполне страдания моей души, но блаженство, которым наполняет ее любовь, едва ли ей доступно».

Но и княгиня не унывала. «Желая очистить свою совесть, княгиня призвала какого-то священника, знакомого с З., и спрашивала его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что это будет даже богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своим духовником,— прибавляет Natalie,— и открою ему все».

30 октября. «Вот платье, вот наряд к завтраму, а там образ, кольцы, хлопоты, приготовления — и ни слова мне. Приглашены Пасакины и другие. Они готовят мне сюрприз,— и я готовлю им сюрприз».

Вечер. «Теперь происходит совещание. Лев Алексеевич (Сенатор) здесь. Ты уговариваешь меня,— не нужно, друг мой, я умею отворачиваться от этих ужасных, гнусных сцен, куда меня тянут на цепи. Твой образ сияет надо мной, за меня нечего бояться, и самая грусть, и самое горе так святы и так сильно и крепко обняли душу, что, отрывая их, сделаешь еще больнее, раны откроются».

Однако как ни скрывали и ни маскировали дела, полковник не мог не увидеть решительного отвращения невесты; он стал реже ездить, сказался больным, заикнулся даже о прибавке приданого, это очень рассердило, но княгиня прошла и через это униженье, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и он не ждал, потому что после нее он совсем скрылся.

Месяца два прошло тихо. Вдруг разнеслась весть о моем переводе во Владимир. Тогда княгиня сделала последний отчаянный опыт сватовства. У одной из ее знакомых был сын, офицер, только что возвратившийся с Кавказа; он был молод, образован и весьма порядочный человек. Княгиня, откинув спесь, сама предложила его сестре «посондировать» брата, не хочет ли он посвататься. Он поддался на внушения сестры. Молодой девушке не хотелось еще раз играть ту же отвратительную и скучную роль, она, видя, что дело принимает серьезный оборот, написала ему письмо, прямо, открыто и просто говорила ему, что любит другого, доверялась его чести и просила не прибавлять ей новых страданий.

Офицер очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и решилась узнать, в чем дело. Сестра офицера, с которой говорила сама Natalie и которая дала слово брату ничего не передавать княгине, рассказала все компаньонке. Разумеется, та тотчас же донесла.

Княгиня чуть не задохнулась от негодованья. Не зная, что делать, она приказала молодой девушке идти к себе наверх и не казаться ей на глаза; недовольная этим, она велела запереть ее дверь и посадила двух горничных для караула. Потом она написала к своим братьям и одному из племянников записки и просила их собраться для совета, говоря, что она так расстроена и огорчена, что не может ума приложить к несчастному делу, ее постигшему. Отец мой отказался, говоря, что у него своих забот много, что вовсе не нужно придавать случившемуся такой

важности и что он плохой судья в делах сердечных. Сенатор и Д. П. Голохвастов явились на другой день вечером, по зову.

Долго толковали они, ни в чем не согласились и наконец потребовали арестанта. Молодая девушка взошла; но это была не та молчаливая, застенчивая сирота, которую они знали. Непоколебимая твердость и безвозвратное решение были видны в спокойном и гордом выражении лица; это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь — мою любовь.

Вид «подсудимой» смешал ареопаг. Им было неловко; наконец Дмитрий Павлович, l'orateur de la famille [1], изложил пространно причину их съезда, горесть княгини, ее сердечное желание устроить судьбу своей воспитанницы и странное противудействие со стороны той, в пользу которой все делается. Сенатор подтверждал головой и указательным пальцем слова племянника. Княгиня молчала, сидела отвернувшись и нюхала соль.

«Подсудимая» все выслушала и простодушно спросила, чего от нее требуют.

— Мы весьма далеки от того, чтоб что-нибудь требовать,— заметил племянник,— мы здесь по воле тетушки, для того, чтоб дать вам искренний совет. Вам представляется партия, превосходная во всех отношениях.

— Я не могу ее принять.

— Какая же причина на это?

— Вы ее знаете.

Оратор семейства немного покраснел, понюхал табаку и, щуря глаза, продолжал:

— Тут есть очень многое, против чего можно бы возражать,— я обращаю ваше внимание на шаткость ваших надежд. Вы так давно не видались с нашим несчастным Alexandr'ом, он так молод, горяч — уверены ли вы?..

— Уверена. Да и какие бы намерения его ни были, я не могу переменить своих.

Племянник исчерпал свою латынь; он встал, говоря:

— Дай бог, дай бог, чтоб вы не раскаялись! Я очень боюсь за ваше будущее.

Сенатор морщился; к нему-то и обратилась теперь несчастная девушка.

— Вы,— сказала она ему,— показывали мне всегда участие, вас я умоляю, спасите меня, сделайте что хотите, но избавьте меня от этой жизни. Я ничего никому не сделала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю, я только отказываюсь обмануть человека и погубить себя, выходя за него замуж. Что я за

[1] семейный оратор *(франц.).— Ред.*

это терплю, нельзя себе представить, мне больно, что я должна это высказать в присутствии княгини, но выносить оскорбления, обидные слова, намеки ее приятельницы выше моих сил. Я не могу, я не должна позволить, чтоб во мне был оскорблен...

Нервы взяли свое, и слезы градом полились из ее глаз; Сенатор вскочил и, взволнованный, ходил по комнате.

В это время компаньонка, кипевшая от злобы, не выдержала и сказала, обращаясь к княгине:

— Какова наша скромница-то — вот вам и благодарность!

— О ком она говорит? — закричал Сенатор.— А? Как это вы, сестрица, позволяете, чтоб эта, черт знает кто такая, при вас так говорила о дочери вашего брата? Да и вообще, зачем эта шваль здесь? Вы ее тоже позвали на совет? Что она вам — родственница, что ли?

— Голубчик мой,— отвечала испуганная княгиня,— ты знаешь, что́ она мне и как она за мной ходит.

— Да, да, это прекрасно, ну и пусть подает лекарство и что нужно: не о том речь,— я вас, ma sœur [1], спрашиваю, зачем она здесь, когда говорят о семейном деле, да еще голос подымает? Можно думать после этого, что она делает одна, а потом жалуетесь.— Эй, карету!

Компаньонка, расплаканная и раскрасневшаяся, выбежала вон.

— Зачем вы так балуете ее? — продолжал расходившийся Сенатор.— Она все воображает, что в шинке в Звенигороде сидит; как вам это не гадко?

— Перестань, мой друг, пожалуйста, у меня нервы так расстроены... ох!.. Ты можешь идти наверх и там остаться,— прибавила она, обращаясь к племяннице.

— Пора и Бастильи все эти уничтожить. Все это вздор и ни к чему не ведет,— заметил Сенатор и схватил шляпу.

Уезжая, он взошел наверх; взволнованная всем происшедшим, Natalie сидела на креслах, закрывши лицо, и горько плакала. Старик потрепал ее по плечу и сказал:

— Успокойся, успокойся, все перемелется. Ты постарайся, чтоб сестра перестала сердиться на тебя, она женщина больная, надобно ей уступить; она ведь все ж добра тебе желает; ну, а насильно тебя замуж не отдадут, за это я тебе отвечаю.

— Лучше в монастырь, в пансион, в Тамбов, к брату в Петербург, чем дольше выносить эту жизнь! — отвечала она.

— Ну, полно, полно! старайся успокоить сестру, а дуру эту я отучу от грубостей.

---

[1] сестра *(франц.).— Ред.*

Сенатор, проходя по зале, встретил компаньонку. «Прошу не забываться!» — закричал он на нее, грозя пальцем. Она, рыдая, пошла в спальню, где княгиня уже лежала в постели и четыре горничные терли ей руки и ноги, мочили виски уксусом и капали гофманские капли на сахар.

Тем семейный совет и кончился.

Ясное дело, что положение молодой девушки не могло перемениться к лучшему. Компаньонка стала осторожнее, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней выместить обиду и унижение, она отравляла ей жизнь мелкими, косвенными средствами; само собою разумеется, что княгиня участвовала в этом неблагородном преследовании беззащитной девушки.

Надобно было положить этому конец. Я решился выступить прямо на сцену и написал моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорил ему о моей любви и, предвидя его ответ, прибавлял, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время вглядеться, мимолетное это чувство или нет, и прошу его об одном: чтоб он и Сенатор взошли в положение несчастной девушки, чтоб они вспомнили, что они имеют на нее столько же права, сколько и сама княгиня.

Отец мой на это отвечал, что он в *чужие дела* терпеть не может мешаться, что до него не касается, что княгиня делает у себя в доме; он мне советовал оставить пустые мысли, «порожденные праздностью и скукой ссылки», и лучше приготовляться к путешествию в чужие края. Мы часто говаривали с ним в былые годы о поездке за границу, он знал, как страстно я желал, но находил бездну препятствий и всегда оканчивал одним: «Ты прежде закрой мне глаза, потом дорога открыта на все четыре стороны». В ссылке я потерял всякую надежду на скорое путешествие, знал, как трудно будет получить дозволение, и, сверх того, мне казалось неделикатно, после насильственной разлуки, настаивать на добровольную. Я помнил слезу, дрожавшую на старых веках, когда я отправлялся в Пермь... и вдруг мой отец берет инициативу и предлагает мне ехать!

Я был откровенен, писал, щадя старика, просил так мало,— он мне отвечал иронией и уловкой. «Он ничего не хочет сделать для меня,— говорил я сам себе,— он, как Гизо, проповедует la non-intervention;[1] хорошо, так я сделаю сам, и теперь — аминь уступкам». Я ни разу прежде не думал об устройстве будущего; я верил, знал, что оно мое, что оно наше, и предоставлял подробности случаю; нам было довольно сознания любви, желания не шли дальше минутного свидания. Письмо моего отца застави-

[1] невмешательство *(франц.).— Ред.*

ло меня схватить будущее в мои руки. Ждать было нечего — cosa fatta capo ha! [1] Отец мой не очень сентиментален, а княгиня —

Пускай себе поплачет...
Ей ничего не значит!

В это время гостили во Владимире мой брат и Кетчер. Мы с Кетчером проводили целые ночи напролет, говоря, вспоминая, смеясь сквозь слезы и до слез. Он был первый из наших, которого я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хронику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают, какие лица прибыли, где те, которые оставили Москву, и проч. Переговоривши все, я рассказал о моих намерениях. Рассуждая, что и как следует сделать, Кетчер заключил предложением, нелепость которого я оценил потом. Желая исчерпать все мирные пути, он хотел съездить к моему отцу, которого едва знал, и *серьезно* с ним поговорить. Я согласился.

Кетчер, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом. Он имел в высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дело. Он одним появлением своим наводил уныние и тревогу на всякого консерватора. Высокий ростом, с волосами странно разбросанными, без всякого единства прически, с резким лицом, напоминающим ряд членов Конвента 93 года, а всего более Мара, с тем же большим ртом, с тою же резкой чертой пренебрежения на губах и с тем же грустно и озлобленно печальным выражением; к этому следует прибавить очки, шляпу с широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать и способность, по мере негодования, поднимать брови все выше и выше. Кетчер был похож на Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд «Орас», с примесью чего-то патфайндерского, робинзоновского и еще чего-то чисто московского. Открытая, благородная натура с детства поставила его в прямую ссору с окружающим миром; он не скрывал это враждебное отношение и привык к нему. Несколькими годами старше нас, он беспрерывно бранился с нами и был всем недоволен, делал выговоры, ссорился и покрывал все это добродушием ребенка. Слова его были грубы, но чувства нежны, и мы бездну прощали ему.

Представьте же именно его, этого последнего могикана, с лицом Мара, «друга народа», отправляющегося увещевать моего отца. Много раз потом я заставлял Кетчера пересказывать их свидание, моего воображения недоставало, чтоб представить все

[1] сделанного не воротишь! *(итал.)* — *Ред.*

оригинальное этого дипломатического вмешательства. Оно пришлось так невзначай, что старик не нашелся сначала, стал объяснять все глубокие соображения, почему он против моего брака, и потом уже, спохватившись, переменил тон и спросил Кетчера, с какой он стати пришел к нему говорить о деле, до него вовсе не касающемся. Разговор принял характер желчевой. Дипломат, видя, что дело становится хуже, попробовал пугнуть старика моим здоровьем; но это уже было поздно, и свидание окончилось, как следовало ожидать, рядом язвительных колкостей со стороны моего отца и грубых выражений со стороны Кетчера.

Кетчер писал мне: «От старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было делать, как начать? Пока я обдумывал по десяти разных проектов в день и не решался, который предпочесть, брат мой собрался ехать в Москву.

Это было 1 марта 1838 года.

ГЛАВА XXIII

Третье марта и девятое мая 1838 года

Утром я писал письма; когда я кончил, мы сели обедать. Я не ел, мы молчали, мне было невыносимо тяжело,— это было часу в пятом, в семь должны были прийти лошади.— Завтра после обеда он будет в Москве, а я...— и с каждой минутой пульс у меня бился сильнее.

— Послушайте,— сказал я наконец брату, глядя в тарелку,— довезите меня до Москвы?

Брат мой опустил вилку и смотрел на меня неуверенный, послышалось ему или нет.

— Провезите меня через заставу как вашего слугу, больше мне ничего не нужно, согласны?

— Да я,— пожалуй; только знаешь, чтоб тебе потом...

Это уж было поздно, его «пожалуй» было у меня в крови, в мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема.

— Что тут толковать, мало ли что может случиться — итак, вы берете меня?

— Отчего же — я, право, готов — только...

Я вскочил из-за стола.

— Вы едете? — спросил Матвей, желая что-то сказать.

— Еду! — отвечал я так, что он ничего не прибавил.— Я послезавтра возвращусь, коли кто придет, скажи, что у меня бо-

лит голова и что я сплю, вечером зажги свечи и засим дай мне белья и сак.

Бубенчики позванивали на дворе.

— Вы готовы?

— Готов. Итак, в добрый час.

На другой день, в обеденную пору бубенчики перестали позванивать, мы были у подъезда Кетчера. Я велел его вызвать. Неделю тому назад, когда он меня оставил во Владимире, о моем приезде не было даже предположения, а потому он так удивился, увидя меня, что сначала не сказал ни слова, а потом покатился со смеху, но вскоре принял озабоченный вид и повел меня к себе. Когда мы были в его комнате, он, тщательно запирая дверь на ключ, спросил меня:

— Что случилось?

— Ничего.

— Да ты зачем?

— Я не мог остаться во Владимире, я хочу видеть Natalie — вот и все, а ты должен это устроить, и сию же минуту, потому что завтра я должен быть дома.

Кетчер смотрел мне в глаза и сильно поднял брови.

— Какая глупость, это черт знает что такое, без нужды, ничего не приготовивши, ехать. Что ты, писал, назначил время?

— Ничего не писал.

— Помилуй, братец, да что же мы с тобой сделаем? Это из рук вон, это белая горячка!

— В тот-то все дело, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, как и что.

— Ты глуп,— сказал положительно Кетчер, забирая еще выше бровями.— Я был бы очень рад, чрезвычайно рад, если б ничего не удалось, был бы урок тебе.

— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будет темно, мы поедем к дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу из людей, я тебе скажу кого,— ну, потом увидим, что делать. Ладно, что ли?

— Ну, делать нечего, пойдем, а уж как бы мне хотелось, чтоб не удалось! Что же вчера не написал? — и Кетчер, важно нахлобучив на себя свою шляпу с длинными полями, набросил черный плащ на красной подкладке.

— Ах ты, проклятый ворчун! — сказал я ему, выходя, и Кетчер, от души смеясь, повторял: «Да разве это не курам на смех! Не написал и приехал,— это из рук вон».

У Кетчера нельзя было оставаться: он жил ужасно далеко, и в этот день у его матери были гости. Он отправился со мной

к одному гусарскому офицеру. Кетчер его знал за благородного человека, он не был замешан в политические дела и, следственно, вне полицейского надзора. Офицер с длинными усами сидел за обедом, когда мы пришли; Кетчер рассказал ему, в чем дело, офицер в ответ налил мне стакан красного вина и поблагодарил за доверие, потом отправился со мной в свою спальню, украшенную седлами и чепраками, так что можно было думать, что он спит верхом.

— Вот вам комната,— сказал он,— вас никто здесь не обеспокоит.

Потом он позвал денщика, гусара же, и велел ему ни под каким предлогом никого не пускать в эту комнату. Я снова очутился под охраной солдата, с той разницей, что в Крутицах жандарм меня караулил от всего мира, а тут гусар караулил весь мир от меня.

Когда совсем смерклось, мы отправились с Кетчером. Сильно билось сердце, когда я снова увидел знакомые, родные улицы, места, домы, которых я не видал около четырех лет... Кузнецкий мост, Тверской бульвар... вот и дом Огарева,— ему нахлобучили какой-то огромный герб, он чужой уж; в нижнем этаже, где мы так юно жили, жил портной... вот Поварская — дух занимается: в мезонине, в угловом окне, горит свечка, это ее комната, она пишет ко мне, она думает обо мне, свеча так весело горит, так *мне* горит.

Пока мы придумывали, как лучше вызвать кого-нибудь, нам навстречу бежит один из молодых официантов княгини.

— Аркадий,— сказал я, поравнявшись. Он меня не узнал.— Что с тобой? — сказал я.— Своих не узнаешь?

— Да это вы-с? — вскрикнул он.

Я приложил палец к губам и сказал:

— Хочешь ли ты мне сослужить дружескую службу? Доставь немедленно, через Сашу или Костеньку, как можно скорей, вот эту записочку, понимаешь? Мы будем ждать ответ в переулке за углом, и ни полслова никому о том, что ты меня видел в Москве.

— Будьте покойны, все обделаем вмиг,— отвечал Аркадий и пустился рысью домой.

Около получаса ходили мы взад и вперед по переулку, прежде чем вышла, торопясь и оглядываясь, небольшая худенькая старушка, та самая бойкая горничная, которая в 1812 году у французских солдат просила для меня «манже»; с детства мы звали ее Костенькой. Старушка взяла меня обеими руками за лицо и расцеловала.

— Так-то ты и прилетел,— говорила она.— Ах ты, буйная голова, и когда ты это уймешься, беспутный ты мой, и барышню так испугал, что чуть в обморок не упала.

— Что же записочка, есть у вас?

— Есть, есть, ишь какой нетерпеливый! — и она мне подала лоскуток бумаги.

Дрожащей рукой, карандашом были написаны несколько слов: «Боже мой, неужели это правда — ты здесь, завтра в шестом часу утра я буду тебя ждать, не верю, не верю! Неужели это не сон?»

Гусар снова меня отдал на сохранение денщику. В пять часов с половиной я стоял, прислонившись к фонарному столбу, и ждал Кетчера, взошедшего в калитку княгининого дома. Я и не попробую передать того, что происходило во мне, пока я ждал у столба; такие мгновения остаются потому личной тайной, что они немы.

Кетчер махал мне рукой. Я взошел в калитку; мальчик, который успел вырасти, провожал меня, знакомо улыбаясь. И вот я в передней, в которую некогда входил зевая, а теперь готов был пасть на колена и целовать каждую доску пола. Аркадий привел меня в гостиную и вышел. Я, утомленный, бросился на диван; сердце билось так сильно, что мне было больно, и, сверх того, мне было страшно. Я растягиваю рассказ, чтоб дольше остаться с этими воспоминаниями, хотя и вижу, что слово их плохо берет.

Она взошла, вся в белом, ослепительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выражение.

— Это ты,— сказала она своим тихим, кротким голосом.

Мы сели на диван и молчали.

Выражение счастия в ее глазах доходило до страдания. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смешивается с выражением боли, потому что и она мне сказала: «Какой у тебя измученный вид».

Я держал ее руку, на другую она облокотилась, и нам нечего было друг другу сказать... короткие фразы, два-три воспоминания, слова из писем, пустые замечания об Аркадии, о гусаре, о Костеньке.

Потом взошла нянюшка, говоря, что пора, и я встал, не возражая, и она меня не останавливала... такая полнота была в душе. Больше, меньше, короче, дольше, еще — все это исчезало перед полнотой настоящего...

Когда мы были за заставой, Кетчер спросил:

— Что же у вас, решено что-нибудь?

— Ничего.

— Да ты говорил с ней?

— Об этом ни слова.

— Она согласна?

— Я не спрашивал,— разумеется, согласна.

— Ты, ей-богу, поступаешь как дитя или как сумасшедший,— заметил Кетчер, повышая брови и пожимая с негодованием плечами.

— Я ей напишу, потом тебе, а теперь прощай! Ну-тка по всем по трем!

На дворе была оттепель, рыхлый снег местами чернел, бесконечная белая поляна лежала с обеих сторон, деревеньки мелькали с своим дымом, потом взошел месяц и иначе осветил все; я был один с ямщиком и все смотрел и все был там с нею, и дорога, и месяц, и поляны как-то смешивались с княгининой гостиной. И странно, я помнил каждое слово нянюшки, Аркадия, даже горничной, проводившей меня до ворот, но что я говорил с нею, что она мне говорила, не помнил!

Два месяца прошли в беспрерывных хлопотах, надобно было занять денег, достать метрическое свидетельство; оказалось, что княгиня его взяла. Один из друзей достал всеми неправдами другое из консистории — платя, кланяясь, потчуя квартальных и писарей.

Когда все было готово, мы поехали, то есть я и Матвей.

На рассвете 8 мая мы были на последней ямской станции перед Москвой. Ямщики пошли за лошадями. Погода была душная, дождь капал, казалось, будет гроза, я не вышел из кибитки и торопил ямщика. Кто-то странным голосом, тонким, плаксивым, протяжным, говорил возле. Я обернулся и увидел девочку лет шестнадцати, бледную, худую, в лохмотьях и с распущенными волосами, она просила милостыню. Я дал ей мелкую серебряную монету; она захохотала, увидя ее, но, вместо того чтоб идти прочь, влезла на облучок кибитки, повернулась ко мне и стала бормотать полусвязные речи, глядя мне прямо в лицо; ее взгляд был мутен, жалок, пряди волос падали на лицо. Болезненное лицо ее, непонятная болтовня вместе с утренним освещением наводили на меня какую-то нервную робость.

— Это у нас так, юродивая, то есть дурочка,— заметил ямщик.— И куда ты лезешь, вот стягну, так узнаешь! Ей-богу, стягну, озорница эдакая!

— Что ты бро́нишься, что я те сделла — вот барин-то серебряной пятачок дал, а что я тебе сделла?

— Ну дал, так и убирайся к своим чертям в лес.

— Возьми меня с собой,— прибавила девочка, жалобно глядя на меня,— ну право, возьми...

— В Москве показывать за деньги: чудо, мол, юдо, рак морской,— заметил ямщик,— ну, слезай, что ли, трогаем.

Девочка не думала идти, а все жалобно смотрела; я просил ямщика не обижать ее, он взял ее тихо в охапку и поставил на землю. Она расплакалась, и я готов был плакать с нею.

Зачем это существо попалось мне именно в этот день, именно при въезде в Москву? Я вспомнил «Безумную» Козлова: и ее он встретил под Москвой.

Мы поехали, воздух был полон электричества, неприятно тяжел и тепел. Синяя туча, опускавшаяся серыми клочьями до земли, медленно тащилась ими по полям,— и вдруг зигзаг молнии прорезал ее своими уступами вкось — ударил гром, и дождь полился ливнем. Мы были верстах в десяти от Рогожской заставы, да еще Москвой приходилось с час ехать до Девичьего поля. Мы приехали к Астраковым, где меня должен был ожидать Кетчер, решительно без сухой нитки на теле.

Кетчера не было налицо. Он был у изголовья умирающей женщины, Е. Г. Левашовой. Женщина эта принадлежала к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование — подвиг, никому не ведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддержала она и сколько сама страдала. «Она изошла любовью»,— сказал мне Чаадаев, один из ближайших друзей ее, посвятивший ей свое знаменитое письмо о России.

Кетчер не мог ее оставить и писал, что около девяти часов приедет. Меня встревожила эта весть. Человек, объятый сильной страстью,— страшный эгоист; я в отсутствии Кетчера видел одну задержку... Когда же пробило девять часов, раздался благовест к поздней обедне и прошло еще четверть часа, мною овладело лихорадочное беспокойство и малодушное отчаяние... Половина десятого — нет, он не будет; больной, верно, хуже, что мне делать? Оставаться в Москве не могу: одно неосторожное слово горничной, нянюшки в доме княгини откроет все. Ехать назад было возможно, но я чувствовал, что у меня не было силы ехать назад.

В три четверти десятого явился Кетчер в соломенной шляпе, с измятым лицом человека, не спавшего всю ночь. Я бросился к нему и, обнимая его, осыпал упреками. Кетчер, нахмурившись, посмотрел на меня и спросил:

— Разве получаса не достаточно, чтобы дойти от Астраковых до Поварской? Мы бы тут болтали с тобой целый час, ну,

оно как ни приятно, а я из-за этого не решился прежде, чем было нужно, оставить умирающую женщину. Левашова,— прибавил он,— посылает вам свое приветствие, она благословила меня на успех своей умирающей рукой и дала мне на случай нужды теплую шаль.

Привет умирающей был для меня необыкновенно дорог. Теплая шаль была очень нужна ночью, и я не успел ее поблагодарить, ни пожать ее руки... она вскоре скончалась.

Кетчер и Астраков отправились. Кетчер должен был ехать за заставу с Natalie, Астраков — воротиться, чтобы сказать мне, все ли успешно и что делать. Я остался ждать с его милой, прекрасной женой; она сама недавно вышла замуж; страстная, огненная натура, она принимала самое горячее участие в нашем деле; она старалась с притворной веселостью уверить меня, что все пойдет превосходно, а сама была до того снедаема беспокойством, что беспрестанно менялась в лице. Мы с ней сели у окна, разговор не шел; мы были похожи на детей, посаженных за вину в пустую комнату. Так прошли часа два.

В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание в такие минуты. Друзья делают большую ошибку, снимая с плеч главного *пациента* всю ношу. Выдумать надобно занятия для него, если их нет, задавить физической работой, рассеять недосугом, хлопотами.

Наконец взошел Астраков. Мы бросились к нему.

— Все идет чудесно, они при мне ускакали! — кричал он нам со двора.— Ступай сейчас за Рогожскую заставу, там у мостика увидишь лошадей недалеко Перова трахтира. С богом! Да перемени на полдороге извозчика, чтоб последний не знал, откуда ты.

Я пустился, как из лука стрела... Вот и мостик недалеко от Перова; никого нет, да и по другую сторону мостик, и тоже никого нет. Я доехал до Измайловского зверинца,— никого; я отпустил извозчика и пошел пешком. Ходя взад и вперед, я наконец увидел на другой дороге какой-то экипаж; молодой красивый кучер стоял возле.

— Не проезжал ли здесь,— спросил я его,— барин высокий, в соломенной шляпе и не один — с барышней?

— Я никого не видал,— отвечал нехотя кучер.

— Да ты с кем здесь?

— С господами.

— Как их зовут?

— А вам на что?

— Экой ты, братец, какой, не было бы дела, так и не спрашивал бы.

Кучер посмотрел на меня испытующим взглядом и улыбнулся, вид мой, казалось, его лучше расположил в мою пользу.

— Коли дело есть, так имя сами должны знать, кого вам надо?

— Экой ты кремень какой, ну, надобно мне барина, которого Кетчером зовут.

Кучер еще улыбнулся и, указывая пальцем на кладбище, сказал:

— Вот вдали-то, видите, чернеет, это самый он и есть, и барышня с ним, шляпки-то не взяли, так уже господин Кетчер свою дали, благо соломенная.

И в этот раз мы встречались на *кладбище!*

...Она с легким криком бросилась мне на шею.

— И навсегда! — сказала она.

— Навсегда! — повторил я.

Кетчер был тронут, слезы дрожали на его глазах, он взял наши руки и дрожащим голосом сказал:

— Друзья, будьте счастливы!

Мы обняли его. Это было наше *действительное* бракосочетание!

Мы были больше часу в особой комнате Перова трактира, а коляска с Матвеем еще не приезжала! Кетчер хмурился. Нам и в голову не шла возможность несчастия, нам так хорошо было тут втроем и так дома, как будто мы и всё вместе были. Перед окнами была роща, снизу слышалась музыка и раздавался цыганский хор; день после грозы был прекрасный.

Полицейской погони со стороны княгини я не боялся, как Кетчер; я знал, что она из спеси не замешает квартального в семейное дело. Сверх того, она ничего не предпринимала без Сенатора, ни Сенатор — без моего отца; отец мой никогда не согласился бы на то, чтоб полиция остановила меня в Москве или под Москвой, то есть чтоб меня отправили в Бобруйск или в Сибирь за нарушение высочайшей воли. Опасность могла только быть со стороны тайной полиции, но все было сделано так быстро, что ей трудно было знать; да если она что-нибудь и проведала, то кому же придет в голову, чтоб человек, тайно возвратившийся из ссылки, который увозит свою невесту, спокойно сидел в Перовом трактире, где народ толчется с утра до ночи?

Явился наконец и Матвей с коляской.

— Еще бокал,— командовал Кетчер,— и в путь!

И вот мы одни, то есть вдвоем, несемся по Владимирской дороге.

В Бунькове, пока меняли лошадей, мы взошли на постоялый двор. Старушка хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на нас, сказала:

— Какая хозяюшка-то у тебя молоденькая да пригожая,— и оба-то вы, господь с вами,— парочка.

Мы покраснели до ушей, не смели взглянуть друг на друга и спросили чаю, чтоб скрыть смущение. На другой день часу в шестом мы приехали во Владимир. Время терять было нечего; я бросился, оставив у одного старого семейного чиновника невесту, узнать все ли готово. Но кому же было готовить во Владимире?

Везде не без добрых людей. Во Владимире стоял тогда Сибирский уланский полк; я мало был знаком с офицерами, но, встречаясь довольно часто с одним из них в публичной библиотеке, я стал с ним кланяться; он был очень учтив и мил. С месяц спустя он признался мне, что знал меня и мою историю 1834 года, рассказал, что он сам из студентов Московского университета. Уезжая из Владимира и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумал об офицере, поехал к нему и прямо рассказал, в чем дело. Он, искренно тронутый моей доверенностью, пожал мне руку, все обещал и все исполнил.

Офицер ожидал меня во всей форме: с белыми отворотами, с кивером без чехла, с лядункой через плечо, со всякими шнурками. Он сообщил мне, что архиерей разрешил священнику венчать, но велел предварительно показать метрическое свидетельство. Я отдал офицеру свидетельство, а сам отправился к другому молодому человеку, тоже из Московского университета. Он служил свои *два губернских года,* по новому положению, в канцелярии губернатора и пропадал от скуки.

— Хотите быть шафером?

— У кого?

— У меня.

— Как, у вас?

— Да, да, у меня!

— Очень рад! Когда?

— Сейчас.

Он думал, что я шучу, но когда я ему наскоро сказал, в чем дело, он вспрыгнул от радости.— Быть шафером на тайной свадьбе, хлопотать, может, попасть под следствие, и все это в маленьком городе без всяких рассеяний. Он тотчас обещал достать для меня карету, четверку лошадей и бросился к комоду смотреть, есть ли чистый белый жилет.

Ехавши от него, я встретил моего улана, он вез на коленах священника. Представьте себе пестрого, разнаряженного офицера на маленьких дрожках с дородным попом, украшенным большой,

расчесанной бородой, в шелковой рясе, которая цеплялась за все ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя внимание не только улицы, идущей от владимирских Золотых ворот, но и парижских бульваров или самой Реженг-стрит. А улан и не подумал об этом, да и я подумал уже после. Священник ходил по домам с молебном,— это был Николин день, и мой кавалерист насилу где-то его поймал и взял в реквизицию. Мы поехали к архиерею.

Для того чтоб понять, в чем дело, надобно рассказать, как вообще архиерей мог быть замешан в него. За день до моего отъезда священник, согласившийся венчать, вдруг объявил, что без разрешения архиерея он венчать не станет, что он что-то слышал, что он боится. Сколько мы ни ораторствовали с уланом — священник уперся и стоял на своем. Улан предложил попробовать их полкового попа. Священник этот, бритый, стриженый, в длинном, долгополом сертуке, в сапогах сверх штанов, смиренно куривший из солдатской трубчонки, хотя и был тронут некоторыми подробностями нашего предложения, но венчать отказался, говоря, и притом на каком-то польско-белорусском наречии, что им строго-настрого заказано венчать «цивильных».

— А нам еще строже запрещено быть свидетелями и шаферами без позволения,— заметил ему офицер,— а ведь вот я иду же.

— Инное дело, пред Иезусом инное дело.

— Смелым владеет бог,— сказал я улану,— я еду сейчас к архиерею. Да кстати, зачем же вы не спросите позволения?

— Не нужно. Полковник скажет жене, а та разболтает. Да еще, пожалуй, он не позволит.

Владимирский архиерей Парфений был умный, суровый и грубый старик; распорядительный и своеобычный, он равно мог быть губернатором или генералом, да еще, я думаю, генералом он был бы больше на месте, чем монахом; но случилось иначе, и он управлял своей епархией, как управлял бы дивизией на Кавказе. Я в нем вообще замечал гораздо больше свойств администратора, чем живого мертвеца. Он, впрочем, был больше человек крутой, чем злой; как все деловые люди, он понимал вопросы быстро, резко и бесился, когда ему толковали вздор или не понимали его. С такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чем с людьми мягкими, но слабыми и нерешительными. По обыкновению всех губернских городов, я после приезда во Владимир зашел раз после обедни к архиерею. Он радушно меня принял, благословил и потчевал семгой; потом пригласил когда-нибудь приехать посидеть вечером, потолковать, говоря, что у него слабеют глаза и он читать по вечерам не может. Я был раза два-три;

он говорил о литературе, знал все новые русские книги, читал журналы, итак, мы с ним были как нельзя лучше. Тем не менее не без страха постучался я в его архипастырскую дверь.

День был жаркий. Преосвященный Парфений принял меня в саду. Он сидел под большой тенистой липой, сняв клобук и распустив свои седые волосы. Перед ним стоял без шляпы, на самом солнце, статный плешивый протопоп и читал вслух какую-то бумагу; лицо его было багрово, и крупные капли пота выступали на лбу, он щурился от ослепительной белизны бумаги, освещенной солнцем,— и ни он не смел подвинуться, ни архиерей ему не говорил, чтоб он отошел.

— Садитесь,— сказал он мне, благословляя,— мы сейчас кончим, это наши консисторские делишки. Читай,— прибавил он протопопу, и тот, обтершись синим платком и откашлянув в сторону, снова принялся за чтение.

— Что скажете нового? — спросил меня Парфений, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей верной оказией, чтоб поцеловать руку.

Я рассказал ему об отказе священника.

— У вас есть свидетельства?

Я показал губернаторское разрешение.

— Только-то?

— Только.

Парфений улыбнулся.

— А со стороны невесты?

— Есть метрическое свидетельство, его привезут в день свадьбы.

— Когда свадьба?

— Через два дня.

— Что же, вы нашли дом?

— Нет еще.

— Ну, вот видите,— сказал мне Парфений, кладя палец за губу и растягивая себе рот, зацепивши им за щеку,— одна из его любимых игрушек.— Вы человек умный и начитанный, ну — а старого воробья на мякине вам не провести. У вас тут что-то неладно; так вы, коли уже пожаловали ко мне, лучше расскажите мне ваше дело по совести, как на духу. Ну я тогда прямо вам и скажу, что́ можно и чего нельзя, во всяком случае совет дам не к худу.

Мне казалось мое дело так чисто и право, что я рассказал ему все, разумеется, не вступая в ненужные подробности. Старик слушал внимательно и часто смотрел мне в глаза. Оказалось, что он давнишний знакомый с княгиней и долею мог, стало быть, сам поверить истину моего рассказа.

— Понимаю, понимаю,— сказал он, когда я кончил.— Ну, дайте-ка я напишу от себя письмо к княгине.

— Будьте уверены, что все мирные средства ни к чему не поведут, капризы, ожесточение — все это зашло слишком далеко. Я вашему преосвященству все рассказал, так, как вы желали, теперь я прибавлю: если вы мне откажете в помощи, я буду принужден тайком, воровски, за деньги сделать то, что делаю теперь без шума, но прямо и открыто. Могу уверить вас в одном: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановят.

— Видишь,— сказал Парфений, вставая и потягиваясь,— прыткий какой, тебе все еще мало Перми-то, не укатали крутые горы. Что, я разве говорю, что запрещаю? Венчайся себе, пожалуй, противузаконного ничего нет; но лучше бы было семейно да кротко. Пришлите-ка ко мне вашего попа, уломаю его как-нибудь; ну только одно помните: без документов со стороны невесты и не пробуйте. Так «ни тюрьма, ни ссылка» — ишь какие нынче, подумаешь, люди стали! Ну, господь с вами, в добрый час, а с княгиней-то вы меня поссорите.

Итак, в наш заговор, сверх улана, вступил высокопреосвященный Парфений, архиепископ владимирский и суздальский.

Когда я предварительно просил у губернатора дозволение, я вовсе не представлял моего брака тайным; это было вернейшее средство, чтоб никто не говорил, и чего же было естественнее приезда моей невесты во Владимир, когда я был лишен права из него выехать? Тоже естественно было и то, что в таком случае мы желали венчаться как можно скромнее.

Когда мы с священником приехали 9 мая к архиерею, нам послушник его объявил, что он с утра уехал в свой загородный дом и до ночи не будет. Был уже восьмой час вечера, после десяти венчать нельзя, следующий день была суббота. Что делать? Священник трусил. Мы взошли к иеромонаху, духовнику архиерея; монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении. Я рассказал ему дело, он мне налил чашку чая и настоятельно требовал, чтоб я прибавил рому; потом он вынул огромные серебряные очки, прочитал свидетельство, повернул его, посмотрел с той стороны, где ничего не было написано, сложил и, отдавая священнику, сказал: «В наисовершеннейшем порядке». Священник все еще мялся. Я говорил отцу иеромонаху, что, если я сегодня не обвенчаюсь, мне будет страшное расстройство.

— Что откладывать,— сказал иеромонах,— я доложу преосвященнейшему; повенчайте, отец Иоанн, повенчайте — во имя отца и сына и святого духа — аминь!

Попу нечего было говорить, он поехал писать обыск, я поскакал за Natalie.

...Когда мы выезжали из Золотых ворот вдвоем, без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними ярко-красными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот наши провожатые!» Я помню ее улыбку при этих словах и пожатье руки.

Маленькая ямская церковь, верстах в трех от города, была пуста, не было ни певчих, ни зажженных паникадил. Человек пять простых уланов взошли мимоходом и вышли. Старый дьячок пел тихим и слабым голосом, Матвей со слезами радости смотрел на нас, молодые шаферы стояли за нами с тяжелыми венцами, которыми перевенчали всех владимирских ямщиков. Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения... В церкви становилось темно, только несколько местных свеч горело. Все это было или казалось нам необыкновенно изящно именно своей простотой. Архиерей проехал мимо и, увидя отворенные двери в церкви, остановился и послал спросить, что делается; священник, несколько побледневший, сам вышел к нему и через минуту возвратился с веселым видом и сказал нам:

— Высокопреосвященнейший посылает вам свое архипастырское благословение и велел сказать, что он молится о вас.

Когда мы ехали домой, весть о таинственном браке разнеслась по городу, дамы ждали на балконах, окна были открыты, я опустил стекла в карете и несколько досадовал, что сумерки мешали мне показать «молодую».

Дома мы выпили с шаферами и Матвеем две бутылки вина, шаферы посидели минут двадцать, и мы остались одни, и нам опять, как в Перове, это казалось так естественно, так просто, само собою понятно, что мы совсем не удивлялись, а потом месяцы целые не могли надивиться тому же.

У нас было три комнаты, мы сели в гостиной за небольшим столиком и, забывая усталь последних дней, проговорили часть ночи...

Толпа чужих на брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым, неприличным, почти циническим; к чему это преждевременное снятие покрывала с любви, это посвящение людей посторонних, хладнокровных — в семейную тайну. Как должны оскорблять бедную девушку, выставленную всенародно в качестве *невесты,* все эти битые приветствия, тертые пошлости, тупые намеки... ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачного ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивление гостям, но всем праздношатающимся. А потом, первые дни начинающейся новой жизни, в которых дорога каждая минута, в которые следовало бы бежать куда-нибудь вдаль, в уединение,

проводятся за бесконечными обедами, за утомительными балами, в толпе, точно на смех.

На другой день утром мы нашли в зале два куста роз и огромный букет. Милая, добрая Юлия Федоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участие в нашем романе, прислала их. Я обнял и расцеловал губернаторского лакея, и потом мы поехали к ней самой. Так как приданое «молодой» состояло из двух платьев,— одного дорожного и другого венчального,— то она и отправилась в венчальном.

От Юлии Федоровны мы заехали к архиерею; старик сам повел нас в сад, сам нарезал букет цветов, рассказал Natalie, как я его стращал своей собственной гибелью, и в заключение советовал заниматься хозяйством.

— Умеете ли вы солить огурцы? — спросил он Natalie.

— Умею,— отвечала она, смеясь.

— Ох, плохо верится. А ведь это необходимо.

Вечером я написал письмо к моему отцу. Я просил его не сердиться на конченное дело и, «так как бог соединил нас», простить меня и присовокупить свое благословение. Отец мой обыкновенно писал мне несколько строк раз в неделю, он не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его, даже начало письма было как всегда. «Письмо твое от 10 мая я третьего дня в пять часов с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что бог тебя соединил с Наташей. Я воле божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки».

Как мы смеялись от чистого сердца этому разделу духовной и светской власти!

А куда как надобно было прибавить! Деньги, которые я занял, выходили. У нас не было ничего, да ведь решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей, из экономических видов, сделал отчаянный опыт превратиться в повара, но, кроме бифстека и котлет, он не умел ничего делать и потому держался больше вещей по натуре готовых: ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой, необычайно твердых и не первой молодости. Обед был для нас бесконечным источником смеха: иногда молоко подавалось сначала, это значило суп; иногда после всего, вместо десерта. За этими спартанскими трапезами мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессию священнодействия обеденного стола у княгини и у моего отца, где полдюжина официантов бегала из угла в угол

с чашками и блюдами, прикрывая торжественной mise en scène [1], в сущности, очень незатейливый обед.

Так бедствовали мы и пробивались с год времени. Химик прислал десять тысяч ассигнациями, из них больше шести надобно было отдать долгу, остальные сделали большую помощь. Наконец и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом: он, не прибавляя к окладу, стал присылать денежные подарки, несмотря на то что я ни разу не заикнулся о деньгах после его знаменитого distinguo! [2]

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался внаймы запущенный большой барский дом с садом. Он принадлежал вдове какого-то князя, проигравшегося в карты, и отдавался особенно дешево оттого, что был далек, неудобен, а главное, оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничем не отделенную, для своего сына, баловня лет тринадцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это чересполосное владение; я тотчас согласился, меня прельстила вышина комнат, размер окон и большой тенистый сад. Но именно эта вышина и эти размеры пресмешно противуречили совершенному отсутствию всякой движимой собственности, всех вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень неравнодушная к Матвею, снабжала нас на свой страх то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какие светлые, безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в три комнаты у Золотых ворот и в огромном доме княгини!.. В нем была большая зала, едва меблированная; иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделабрах, прибитых к стене, и, осветив залу a giorno [3], читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок «не торжествовал» в нашем доме.

И со всем этим ребячеством жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и мирном, мы вполне были отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей — несколько слов горячей симпатии — и потом опять одни, совершенно одни. Но в этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастием, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как

[1] постановкой *(франц.).— Ред.*
[2] различаю, провожу различие *(лат.).— Ред.*
[3] ярко, как днем *(итал.).— Ред.*

во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я — живую деятельность, мое semper in motu [1], беспредельную любовь да, сверх того, путаницу серьезных идей, смеха, *опасных* мыслей и кучу несбыточных проектов.

«...Мои желания остановились. Мне было довольно,— я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что он и не возьмет ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел; всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его.

Весною приехал Огарев из своей ссылки на несколько дней. Он был тогда во всей силе своего развития; вскоре приходилось и ему пройти скорбным испытанием; минутами он будто чувствовал, что беда возле, но еще мог отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и сам думал тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному сил, в ней выражается доверие к жизни, к себе. Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас... а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти.

И хорошо, что человек или не подозревает, или умеет не видать, забыть. Полного счастия нет с тревогой; полное счастие покойно, как море во время летней тишины. Тревога дает свое болезненное, лихорадочное упоение, которое нравится, как ожидание карты, но это далеко от чувства гармонического, бесконечного мира. А потому сон или нет, но я ужасно высоко ценю это доверие к жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила... мрут же китайцы из-за грубого упоения опиумом...»

Так оканчивал я эту главу в 1853 году, так окончу ее и теперь.

ГЛАВА XXIV

13 июня 1839 года

Раз, длинным зимним вечером в конце 1838, сидели мы, как всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворе сильно морозило, и в комнате было совсем не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диване, покрывшись мантильей, я сидел возле на полу;

[1] всегда в движении *(лат.)*. — *Ред.*

чтение не налаживалось, она была рассеянна, думала о другом, ее что-то занимало, она менялась в лице.

— Александр,— сказала она,— у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебе скажу на ухо, или нет — отгадай.

Я отгадал, но потребовал, чтоб она сказала ее, мне хотелось слышать от нее эту новость; она *сказала мне*, и мы взглянули друг на друга в каком-то волнении и с слезами на глазах.

...Как человеческая грудь богата на ощущение счастия, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, не прошенная, с обычной щедростью своей,— и пить и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит.

Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью, а между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем неведанные нами области сердца, упоений, тревог и надежд.

Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей. Новый элемент вступает в жизнь, какое-то таинственное лицо стучится в нее — гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни был, он — счастливый незнакомец, с какой любовью его встречают у порога жизни!

А тут мучительное беспокойство — родится ли он живым или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы — «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних все еще скрыто; не у кого спросить — да и совестно.

Но вот младенец подает знаки жизни,— я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы, это — первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.

— Моя жена,— сказал мне раз один французский буржуа,— моя жена,— он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил вполслуха: — беременна.

Действительно, путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается чем-то неприличным; требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности, а из приличия. Все это — идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; все это — несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, в две разные стороны. Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «Almanach des femmes» [1], что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы родятся.— Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гете: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоенья весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своей грудью,— один из самых изящных и трогательных образов.

В римских элегиях, в «Ткачихе», в Гретхен и ее отчаянной молитве Гете выразил все торжественное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.

Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви,— как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком счастия...

...С ужасом открывается мало-помалу тайна, несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно, отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца, она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести ее назад, она ждет несчастья, как милосердия, как прощения,— а неотвратимая природа идет своим путем: она здорова, молода!

Заставить, чтоб мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше — сделать из нее его палача, а потом ее казнить нашим палачом или покрыть ее позором, если сердце женщины возьмет верх,— какое умное и нравственное устройство!

И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную тропу от любви до страха, от

[1] «Альманах для женщин» *(франц.).— Ред.*

страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у нее минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нем сходство с кем-то, который был ей так дорог...

«Да чувствуют ли они это? Конечно, есть несчастные жертвы... но... но другие, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время середь тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников... Конечно, в них всего труднее предположить след материнских чувств. Не правда ли?

Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала к почетному гражданству разврата, то есть не «делала» демократически «тротуар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца. Это было на публичном бале; приятель, бывший со мною, знал ее и пригласил выпить с нами на хорах бутылку вина; она, разумеется, приняла приглашение. Это было существо веселое, беззаботное и, наверное, как Лаура в «Каменном госте» Пушкина, никогда не заботившаяся о том, что там, где-то далеко в Париже, холодно, слушая, как сторож в Мадриде кричит «ясно»... Допивши последний бокал, она снова бросилась в тяжелый вихрь английских танцев, и я потерял ее из виду.

Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду в Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарем за аркой стояла, вероятно ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты ее показались мне знакомыми, она взглянула на меня, отвернулась и хотела спрятаться, но я успел узнать ее.

— Что с вами сделалось? — спросил я ее с участием.

Яркий пурпур покрывал ее исхудалые щеки; стыд ли это был или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной состарелась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна,— она с видом сильной горести указала мне взглядом на свое изношенное платье.

— Да где же ваш друг?

— Убит в Крыму.

— Да ведь он был какой-то купец?

Она смешалась и вместо ответа сказала:

— Я и теперь еще очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменилась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.

— Очень, тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети.

Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:

— Отчего же вы это узнали?

— Да, видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было?

— Ничего, ну только вы правы,— у меня есть маленький... если б вы знали,— и при этих словах лицо ее оживилось,— какой славный, как он хорош, даже соседи, все, удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положению. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазейнах, а тут пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше — да не могу; я посмотрю на него, посмотрю — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать, с ребенком не берут. Я воротилась к матери, она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его; да вот пятый месяц, как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, нынешний год уголь, хлеб — все дорого: приходится умирать с голоду. Вот я,— она приостановилась,— ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем... да малютку-то жаль, на кого же я его оставлю, ведь уж он очень, очень мил!

Я дал ей что-то и, сверх того, вынул шиллинг и сказал:

— А на это купите что-нибудь вашему малютке.

Она с радостью взяла монету, подержала ее в руке и, вдруг отдавая мне ее назад, прибавила с печальной улыбкой:

— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь — ведь этому бедному малютке, с тех пор как он родился, никто еще не подарил ничего.

Я с умилением взглянул на эту *потерянную* женщину и дружески пожал ей руку.

Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнущий, голодный разврат,— разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестки мишурного платья.

Это мне напомнило бедного умного переводчика «Фауста», Жерар де Нерваля, который застрелился в прошлом году. Он в последнее время дней по пяти, по шести не бывал дома. Открыли наконец, что он проводит время в самых черных харчевнях возле застав, вроде Поль Нике, что он там перезнакомился с ворами и со всякой сволочью, поит их, играет с ними в карты и иногда спит под их защитой. Его прежние приятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль, добродушно защищаясь, раз сказал им: «Послушайте, друзья мои, у вас страшные предрассудки; уверяю вас, что общество этих людей вовсе не хуже всех остальных, в которых я бывал». Его подозревали в сумасшествии; после этого, я думаю, подозрение перешло в достоверность!

Роковой день приближался, все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо «бабушки» с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастию, к нам из Москвы приехала, по просьбе моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления; я повиновался, как негр.

Раз ночью слышу, чья-то рука коснулась меня. Открываю глаза: Прасковья Андреевна стоит передо мной в ночном чепце и кофте, со свечой в руках; она велит послать за доктором и за «бабушкой». Я обмер, точно будто эта новость была для меня совсем неожиданна. Так бы, кажется, выпил опиума, повернулся бы на другой бок и проспал бы опасность... но делать было нечего, я оделся дрожащими руками и бросился будить Матвея.

Десять раз выбегал я в сени из спальни, чтоб прислушаться, не едет ли издали экипаж: все было тихо, едва-едва утренний ветер шелестил в саду, в теплом июньском воздухе; птицы начинали петь, алая заря слегка подкрашивала лист, и я снова торопился в спальню, теребил добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жал руки Наташе, не знал, что делать, дрожал и был в жару... но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь,— слава богу, вовремя!

В одиннадцать часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара: громкий крик новорожденного коснулся моего уха. «Мальчик!» — кричала мне Прасковья Андреевна, идучи к корыту; я хотел было взять младенца с подушки, но не мог: так дрожали у меня руки. Мысль об опасности (которая часто тут только начинается), сжимавшая грудь, разом исчезла, буйная радость овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола, празд-

ников праздник! Наташа улыбалась мне, улыбалась малютке, плакала, смеялась, и только прерывающееся, спазматическое дыханье, слабые глаза и смертная бледность напоминали о недавнем мученьи, о вынесенной борьбе.

Потом я оставил комнату, я не мог больше вынести, взошел к себе и бросился на диван, совершенно обессиленный, и с полчаса пролежал без определенной мысли, без определенного чувства, в какой-то боли счастья.

Это измученно-восторженное лицо, эту радость, летающую вместе с началом смерти около юного чела родильницы, я узнал потом в Фан-Дейковой мадонне в римской галерее Корсини. Младенец только что родился, его подносят к матери; изнеможенная, без кровинки в лице, слабая и томная, она улыбнулась и остановила на малютке взгляд усталый и исполненный бесконечной любви.

Надобно признаться, дева-родильница совсем не идет в холостую религию христианства. С нею невольно врывается жизнь, любовь, кротость — в вечные похороны, в Страшный суд и в другие ужасы церковной теодицеи.

Оттого-то протестантизм и вытолкнул *одну* богородицу из своих сараев богослужения, из своих фабрик слова божия. Она действительно мешает христианскому чину, она не может отделаться от своей земной природы, она греет холодную церковь и, несмотря ни на что, остается женщиной, матерью. Естественными родами мстит она за неестественное зачатие и вырывает благословение своему *чреву* из уст монашеских, проклинающих все телесное.

Бонарроти и Рафаил поняли все это кистью.

В «Страшном суде» Сикстинской капеллы, в этой Варфоломеевской ночи на том свете, мы видим сына божия, идущего предводительствовать казнями; он уже поднял руку... он даст знак — и пойдут пытки, мученья, раздастся страшная труба, затрещит всемирное аутодафе; но — женщина-мать, трепещущая и всех скорбящая, прижалась в ужасе к нему и умоляет его о грешниках; глядя на нее, может, он смягчится, забудет свое жестокое «женщина, что тебе до меня?» и не подаст знака.

Сикстинская мадонна — это Миньона после родов; она испугана небывалой судьбой, потеряна...

Was hat man dir, du armes Kind, getan? [1]

Внутренний мир ее разрушен; ее уверили, что ее сын — сын божий, что она — богородица; она смотрит с какой-то нервной вос-

[1] Что с тобою сделали, бедное дитя? *(нем.)* — *Ред.*

торженностью, с магнетическим ясновидением, она будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И все это оттого, что она женщина-мать и вовсе не сестра всем Изидам, Реям и прочим богам женского пола.

Оттого-то ей и было так легко победить холодную Афродиту, эту Нинону Ленкло Олимпа, о детях которой никто не заботится; Мария с ребенком на руках, с кротко потупленными на него глазами, окруженная нимбом женственности и святостью звания матери, ближе нашему сердцу, чем ее златовласая соперница.

Мне кажется, что Пий IX и конклав очень последовательно объявили неестественное или, по их, *незапятнанное* зачатие богородицы. Мария, рожденная, как мы с вами, *естественно* заступается за людей, сочувствует нам; в ней прокралось живое примирение плоти и духа в религию. Если и она не по-людски родилась, между ней и нами нет ничего общего, ей не будет нас жаль, плоть еще раз проклята, церковь еще нужнее для спасения.

Жаль, что папа опоздал лет тысячу,— это уж такая судьба Пия IX. Troppo tardi, Santo Padre, siete sempre e sempre — troppo tardi! [1]

---

[1] Слишком поздно, святой отец, вы всегда, всегда опаздываете! *(итал.) — Ред.*

Когда я писал эту часть «Былого и дум», у меня не было нашей прежней переписки. Я ее получил в 1856 году. Мне пришлось, перечитывая ее, поправить два-три места — не больше. Память тут мне не изменила. Хотелось бы мне приложить несколько писем Natalie — и с тем вместе какой-то страх останавливает меня, и я не решил вопрос, следует ли еще дальше разоблачать жизнь и не встретят ли строки, дорогие мне, холодную улыбку?

В бумагах Natalie я нашел свои записки, писанные долею до тюрьмы, долею из Крутиц. Несколько из них я прилагаю к этой части. Может, они не покажутся лишними для людей, любящих следить за всходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытством, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма.

1[1]

15 августа 1832.

Любезнейшая Наталья Александровна!

Сегодня день вашего рождения; с величайшим желанием хотелось бы мне поздравить вас лично, но, ей-богу, нет никакой возможности. Я виноват, что давно не был, но обстоятельства совершенно не позволили мне по желанию расположить временем. Надеюсь, что вы простите мне, и желаю вам полного развития всех ваших талантов и всего запаса счастья, которым наделяет судьба души чистые.

Преданный вам *А. Г.*

[1] Записочки эти сохранились у Natalie; на многих написано ею несколько слов карандашом. Ни одного письма из писанных ею в тюрьму не могло у меня уцелеть. Я их должен был тотчас уничтожать.

2

5 или 6 июля 1833.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь одним письмом,— вот вам и другое. Чрезвычайно приятно писать к особам, с которыми есть сочувствие; их так мало, так мало, что и дести бумаги не изведешь в год.

Я — кандидат, это правда, но золотую медаль дали не мне. Мне серебряная медаль — *одна из трех!*

А. Г.

P. S. Сегодня акт, но я не был, ибо не хочу быть вторым при получении награды.

3

(В начале 1834.)

Natalie! Мы ждем вас с нетерпением к нам. Маменька надеется, что, несмотря на вчерашние угрозы Егора Ивановича, и Эмилия Михайловна наверное будет к нам. Итак, до свиданья.

Весь ваш *А. Г.*

4

10 декабря 1834, Крутицкие казармы.

Сейчас написал я к полковнику письмо, в котором просил о пропуске *тебе,* ответа еще нет. У вас это труднее будет обделать, я полагаюсь на маменьку. Тебе счастье насчет меня: ты была последней из моих друзей, которого я видел перед взятием (мы расстались с твердой надеждой увидеться скоро, в десятом часу, а в два я уже сидел в части), и ты первая опять меня увидишь. Зная тебя, я знаю, что это доставит тебе удовольствие; будь уверена, что и мне также. Ты для меня родная сестра.

О себе много мне нечего говорить, я обжился, привык быть колодником; самое грозное для меня — это разлука с Огаревым: он мне необходим. Я его ни разу не видал — то есть порядочно; но однажды я сидел один в горнице (в комиссии), допрос кончился; из моего окна видны были освещенные сени; подали дрожки; я бросился инстинктивно к окну, отворил форточку и видел, как сели плац-адъютант и с ним Огарев; дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить. Неужели нам суждена гибель, немая, глу-

хая, о которой никто не узнает? Зачем же природа дала нам души, стремящиеся к деятельности, к славе? Неужели это насмешка? Но нет, здесь в душе горит вера — сильная, живая. Есть провидение! Я читаю с восторгом Четьи-Минеи,— вот примеры самоотвержения, вот были люди!

Ответ получил, он не весел — позволение пропустить не дают.

Прощай, помни и люби твоего брата.

5

31 декабря 1834.

Никогда не возьму я на себя той ответственности, которую ты мне даешь, никогда! У тебя есть много *своего,* зачем же ты так отдаешься в волю мою? Я хочу, чтоб ты сделала *из себя то, что можешь из себя сделать*, с своей стороны, я берусь способствовать этому развитию, отнимать преграды.

Что касается до твоего положения, оно не так дурно для твоего развития, как ты воображаешь. Ты имеешь большой шаг над многими; ты, когда начала понимать себя, очутилась одна, одна во всем свете. Другие знали любовь отца и нежность матери,— у тебя их не было. Никто не хотел тобою заняться, ты была оставлена себе. Что же может быть лучше для развития? Благодари судьбу, что тобою никто не занимался: они тебе навеяли бы чужого, они согнули бы ребяческую душу,— теперь это поздно.

6

8 февраля 1835, Крутицкие казармы.

У тебя, говорят, мысль идти в монастырь; не жди от меня улыбки при этой мысли,— я понимаю ее, но ее надобно взвесить очень и очень. Неужели мысль любви не волновала твою грудь? Монастырь — отчаяние, теперь нет монастырей для молитвы. Разве ты сомневаешься, что встретишь человека, который тебя будет любить, которого ты будешь любить? Я с радостью сожму его руку и твою. Он будет счастлив. Ежели же этот *он* не явится — иди в монастырь, это в миллион раз лучше пошлого замужества.

Я понимаю le ton d'exaltation [1] твоих записок — *ты влюблена!* Если ты мне напишешь, что любишь серьезно, я умолкну,— тут

[1] восторженный тон *(франц.).— Ред.*

оканчивается власть брата. Но слова эти мне надобно, чтоб ты сказала. Знаешь ли ты, что такое обыкновенные люди? они, правда, могут составить счастье,— но твое ли счастье, Наташа? ты слишком мало ценишь себя! Лучше в монастырь, чем в толпу. Помни одно, что я говорю это, потому что я твой брат, *потому что я горд за тебя и тобою!*

От Огарева получил еще письмо, вот выписка:

«L'autre jour donc je repassais dans ma mémoire toute ma vie. Un bonheur qui ne m'a jamais trahi c'est ton amitié. De toutes mes passions une seule, qui est restée intacte, c'est mon amitié pour toi, car mon amitié est une passion» [1].

...В заключение еще слово. Если он тебя любит, что же тут мудреного? что же бы он был, если б не любил, видя тень внимания? Но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви — долго, долго.

Прощай, твой брат *Александр.*

7

<10 или 17 февраля> 1835 г., Крутицкие казармы.

Каких чудес на свете не видится, Natalie! Я, прежде чем получил последнюю твою записку, отвечал тебе на все вопросы. Я слышал, ты больна, грустна. Береги себя, пей с твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняют тебе *благодетельные* люди.

И вслед за тем на другом листочке:

<Март 1835 г.>

Наташа, друг мой, сестра, ради бога, не унывай, презирай этих гнусных эгоистов, ты слишком снисходительна к ним, презирай их всех — они мерзавцы! ужасная была для меня минута, когда я читал твою записку к Emilie. Боже, в каком я положении,— ну что я могу сделать для тебя? Клянусь, что ни один брат не любит более сестру, как я тебя,— но что я могу сделать?

Я получил твою записку и доволен тобою. Забудь его, коли так; это был опыт, а ежели б любовь в самом деле, то она не так бы выразилась.

---

[1] На днях я пробежал в памяти всю свою жизнь. Счастье, которое меня никогда не обманывало,— это твоя дружба. Из всех моих страстей единственная, которая осталась неизменной,— это моя дружба к тебе, ибо моя дружба — страсть *(франц.).— Ред.*

8

2 апреля <1835 г.>, Крутицкие казармы.

По клочкам изодрано мое сердце, во все время тюрьмы я не был до того задавлен, стеснен, как теперь. Не ссылка этому причиной. Что мне Пермь или Москва, и Москва — Пермь! Слушай все до конца.

31 марта потребовали нас слушать сентенцию. Торжественный, *дивный* день. Там соединили двадцать человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны одни по казематам крепостей, другие — по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно, весело сидели эти люди в большой зале. Когда я пришел, Соколовский, с усами и бородою, бросился мне на шею, а тут Сатин; уже долго после меня привезли Огарева, все высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе, я жил, я *был юноша*, я жал всем руку,— словом, это одна из счастливейших минут жизни, ни одной мрачной мысли. Наконец нам прочли приговор [1].

...Все было хорошо, но вчерашний день,— да будет он проклят! — сломил меня до последней жилы. Со мной содержится Оболенский. Когда нам прочли сентенцию, я спросил дозволения у Цынского нам видеться,— мне позволили. Возвратившись, я отправился к нему; между тем, об этом дозволении забыли сказать полковнику. На другой день мерзавец офицер С. донес полковнику, и я, таким образом, замешал трех лучших офицеров, которые мне делали бог знает сколько одолжений; все они имели выговор, и все наказаны и теперь должны, не сменяясь, дежурить три недели (а тут Святая). Васильева (жандарма) высекли розгами — и все через меня. Я грыз себе пальцы, плакал, бесился, и первая мысль, пришедшая мне в голову, было мщение. Я рассказал про офицера вещи, которые могут погубить его (он заезжал куда-то с арестантом), и вспомнил, что он бедный человек и отец семи детей; но должно ль щадить фискала, разве он щадил других?

9

10 апреля 1835, 9 часов.

За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе — к тебе будет последний звук отъезжающего. Тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался; она влечет меня, и я покоряюсь. Когда ж мы увидимся? Где? все

[1] Пропускаю его.

это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы, изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру.

Может быть... но окончить нельзя, за мной пришли — итак, прощай надолго, но, ей-богу, не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармах.

На этой записке видны следы слез, и слово «может быть» подчеркнуто два раза ею. Natalie эту записку носила с собой несколько месяцев.

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ И НОВГОРОД

(1840—1847)

ГЛАВА XXV

Диссонанс.— Новый круг.— Отчаянный гегелизм.— В. Белинский, М. Бакунин и пр.— Ссора с Белинским и мир.— Новгородские споры с дамой.— Круг Станкевича

В начале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов.

Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну...

Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрып пошевней и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838, то нашу поездку 9 мая...

Не повторятся!

...На сколько ладов и как давно люди знают и твердят, что «жизни май цветет один раз и не больше», а все же июнь совершеннолетия, с своей страдной работой, с своим щебнем на дороге, берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет, а тут — любовь, найдено — *неизвестное,* все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво; постороннее и тут не бьет: они *даны* друг другу — кругом хоть трава не расти!

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться.

Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в

Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель,— вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца,— да вот и он сам, мой отец, состаревшийся и сгорбившийся, но так же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. «Кто-то завтра читает лекции? когда репетиция? из университета зайду к Огареву»... Это *1833 год!*

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И, несмотря на то что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокоивают их, они — *открытый стол,* за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирал, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость; да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для *бессмертия.* Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или *в знак памяти* роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, business [1]... Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до

[1] бизнес, занятие *(англ.).— Ред.*

головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем сделанном мною отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более *праздно* проводили за бокалом вина?

...Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино — но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и Кетчер зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева недоставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился. Весть о его женитьбе испугала меня — все это случилось както скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу; он писал с восторгом и был счастлив,— ему я больше верил, но все же боялся.

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора — помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу, но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия — молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

— На колени! — сказал Огарев,— и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее; я думал тогда, что это — retenue [1], но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны; но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетня в этой молодости?

Огарев возвратился в свое именье, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром — одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. «Как-то сладит она с этим?» — думал я. Много бед могло развиться из такой противуположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлеченье — она была умна, она любила Огарева — и я надеялся.

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и литературный круг довольно льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых — и насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и Кетчер, давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto [2]. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с Кетчером, который, будучи прав в фонде [3], был постоянно неправ в форме, и, восстановив против себя несколько человек, может, слишком обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась. Во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх — *дружба или любовь,* как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре; тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С Кетчером она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела бледнея и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолю-

[1] сдержанность *(франц.).— Ред.*
[2] запрет *(лат.).— Ред.*
[3] в сущности *(от франц. au fond).— Ред.*

бивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жесток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить,— вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил: ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости — и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая,— но не мог ее разлюбить. Мы были свои — но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы Naturgewalt'а [1], связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие с нами; он во всяком случае должен был изойти кровью, и, чувствуя это, он старался сохранить ее и нас,— судорожно не выпуская ни ее, ни наших рук,— а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!

Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток в своем неведении ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой,— все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями, вслед за испугом, который обдает человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться — какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирая пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет *себе* оправданий — и находит их *другому*. Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение.

Тогда я был далек от этого!

Перемежаясь, продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше в какие-то путы, не могла в них идти, рвалась, падала — и не менялась. Чувствуя свое бессилие победить, она сгорала от досады и dépit [2], от ревности без любви. Ее растрепанные мысли, бессвяз-

---

[1] власти природы *(нем.).— Ред.*
[2] обиды *(франц.).— Ред.*

но взятые из романов Ж. Санда, из наших разговоров, никогда ни в чем не дошедшие до ясности, вели ее от одной нелепости к другой, к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность, к тому женскому освобождению, в силу которого они отрицают из существующего и принятого, *ни выбор,* что им не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрыв становился неминуем, но Огарев еще долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда на минуту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка,— и они расстались навсегда.

Во всем этом является один вопрос не совсем понятный. Каким образом то сильное симпатическое влияние, которое Огарев имел на все окружающее, которое увлекало посторонних в высшие сферы, в общие интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа? А между тем он любил ее страстно и положил больше силы и души, чтоб ее спасти, чем на все остальное; и она сама сначала любила его, в этом нет сомнения.

Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на *одну* женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать *одного* ребенка. В аудитории, в церкви, в клубе одинаковость стремлений, интересов идет вперед, во имя их люди встречаются там, стоит продолжать развитие. Огарева кружок состоял из прежних университетских товарищей, молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше — общая ненависть. Те, для которых эта религия не составляла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись *другие,* а мысль и круг крепли при этой свободной игре избирательного сродства и общего, связующего убеждения.

Сближение с женщиной — дело чисто личное, основанное на каком-то, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко; у них все случайно, вполовину уступает он, вполовину она; да если и не уступают — беды нет. С ужасом открывает, напротив, человек, преданный своей идее, что она чужда суще-

ству, так близко поставленному. Он принимается наскоро будить женщину, но большей частью только пугает или путает ее. Оторванная от преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение — заносчиво, самолюбиво, через пень колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце — беспорядок, хаос... вожжи брошены, эгоизм разнуздан... А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории!

Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика.

Уж не оттого ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать — а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность?

Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости.

...Круг молодых людей — составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка

при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье,— совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.

Станкевич, тоже один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непонимания, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений — за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки: с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они — *сегодня, а мы — уже вчера,* и требуя

безусловного принятия «Феноменологии» и «Логики» Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее *по себе бытии*». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он,— так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии»,— если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их *покупали*.

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения,— ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления, молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык, они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легкости, оставляя все латинские слова in crudo [1], давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.

Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для *верных,* и никто из оглашен-

[1] в нетронутом виде *(лат.).— Ред.*

ных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна, поняв(ши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее.

Механическая слепка немецкого *церковно*-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту» [1] или к «трагическому в сердце»...

То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество божие» — «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гете объективен, но что его объективность субъективна, тогда как

[1] душевному состоянию *(от нем. Gemüt).— Ред.*

Шиллер — поэт субъективный, но его субъективность объективна, и vice versa [1], все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи «о палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии.

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль — становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике,— тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «Все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирон-

[1] наоборот *(лат.).— Ред.*

диста Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая тautология, но, тautология или нет,— она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противуположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные, в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом,— вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения,— отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить,* но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipso fonte bibere [1] и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противуречий общественной экономии» Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал — не полон, не современен.

---

[1] испить из самого источника *(лат.).— Ред.*

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей, таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована.

Так, как в математике — только там с бо́льшим правом — не возвращаются к определению пространства, движения, сил, а продолжают диалектическое развитие их свойств и законов, так и в формальном понимании философии, привыкнув однажды к началам, продолжают одни выводы. Новый человек, не забивший себя методой, обращающейся в привычку, именно за эти-то предания, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цепляется. Людям, давно занимающимся и, следственно, не беспристрастным, кажется удивительным, как другие не понимают вещей «совершенно ясных».

Как не понять *такую* простую мысль, как, например, что «душа бессмертна, а что умирает одна личность»,— мысль, так успешно развитая берлинским Михелетом в его книге. Или еще более простую истину, что безусловный дух есть личность, сознающая себя через мир, а между тем имеющая и свое собственное самопознание.

Все эти вещи казались до того легки нашим друзьям, они так улыбались «французским» возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал, и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского jargon [1].

По счастию, схоластика так же мало свойственна мне, как мистицизм, я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дело, спор с дамой привел меня к этому.

В Новгороде, год спустя, познакомился я с одним генералом. Познакомился я с ним потому, что он всего меньше был похож на генерала.

В его доме было тяжело, в воздухе были слезы, тут, очевидно, прошла смерть. Седые волосы рано покрыли его голову, и добродушно-грустная улыбка больше выражала страданий, нежели морщины. Ему было лет пятьдесят. След судьбы, обрубившей живые ветви, еще яснее виднелся на бледном, худом лице его жены. У них было слишком тихо. Генерал занимался механикой, его жена по утрам давала французские уроки каким-то бедным девочкам; когда они уходили, она принималась читать, и одни цветы,

[1] жаргона *(франц.).— Ред.*

которых было много, напоминали иную, благоуханную, светлую жизнь, да еще игрушки в шкапе,— только ими никто не играл.

У них было трое детей; два года перед тем умер девятилетний мальчик, необыкновенно даровитый; через несколько месяцев умер другой ребенок от скарлатины; мать бросилась в деревню спасать последнее дитя переменой воздуха и через несколько дней воротилась; с ней в карете был гробик.

Жизнь их потеряла смысл, кончилась и продолжалась без нужды, без цели. Их существование удержалось сожалением друг о друге; одно утешение, доступное им, состояло в глубоком убеждении необходимости одного для другого, для того, чтоб как-нибудь нести крест. Я мало видел больше гармонических браков, но уже это и не был брак — их связывала не любовь, а какое-то глубокое братство в несчастии, их судьба тесно затягивалась и держалась вместе тремя маленькими холодными ручонками и безнадежной пустотою около и впереди.

Осиротевшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений, она была обманута лестью религии — человеческому сердцу. Для нее мистицизм был не шутка, не мечтательность, а опять-таки дети, и она защищала их, защищая свою религию. Но, как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу. Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь «Мапа», который сам мне рассказывал свое свидание с богом, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижем. Все они, большею частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.

На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Лариса Дмитриевна. Где и как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики — я не знаю. Вообще женское развитие — тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла,— и перед вами Теруань де Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках, среди крамольной толпы солдат.

У Ларисы Дмитриевны все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд были ли иезуиты или кальвинисты так стройно последовательны своему ученью, как она.

Вместо того чтоб ненавидеть смерть, она, лишившись своих малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой полной апотеозы смерти — пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое: на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Лариса Дмитриевна дошла до того, что не любила ни Гете, ни Пушкина.

Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости — барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.

— Вы никогда не дойдете,— говорила она,— ни до личного бога, ни до бессмертия души никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их,— вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтоб отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией.

Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей.

Надобно было, чтоб для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал; отчаянный поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной.

Доктор выходил из себя, бесился, тем больше, что другими средствами не мог взять, находил воззрения Ларисы Дмитриевны женскими капризами, ссылался на Шеллинговы чтения об академическом учении и читал отрывки из Бурдаховой физиологии для доказательства, что в человеке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный Geist [1].

Лариса Дмитриевна, давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его, и я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.

---

[1] дух *(нем.).— Ред.*

— Вы совершенно правы,— сказал я ей,— и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих вперед идущих предположений.

Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

— Жаль мне вас, а может, оно и к лучшему: вы в этом направлении долго не останетесь, в нем слишком пусто и тяжело. А вот,— прибавила она, улыбаясь,— наш доктор, тот неизлечим, ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед.

Однако лицо ее было бледнее обыкновенного.

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев; он привез мне «Wesen des Christentums» [1] Фейербаха, прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!

В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о «дилетантизме в науке», в которых, между прочим, отомстил и доктору.

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «Бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер.— «Да».— «Нет, покорно благодарю»,— сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть,— я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

---

[1] «Сущность христианства» *(нем.).— Ред.*

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que le roi [1] — они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести. Другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие — точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин» в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам — часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих: «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем — так катаньем, не антикритикой — так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяния их дорогие, *задушевные* мысли,

[1] более роялисты, чем сам король *(франц.).— Ред.*

их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в *«Отечественных* записках», а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием *«Европеец»;* эти названия всего лучше доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый номер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть»,— и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало.

Не даром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: «Когда же к нам, у меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».

Я в другой книге говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф, статские советники из образованных, Иакинф Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствова-

пия, списходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери целые rez-de-chaussée [1] подтяжечных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité [2], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

---

[1] нижние этажи *(франц.).— Ред.*
[2] в тесной компании *(франц.).— Ред.*

В. Г. Белинский.

Рисунок К. А. Горбунова.
1843 г.
Государственная Третьяковская галерея.

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам...

Раз приходит он обедать к одному литератору на страстной неделе, подают постные блюда.

— Давно ли,— спрашивает он,— вы сделались так богомольны?

— Мы едим,— отвечает литератор,— постное просто-напросто для людей.

— *Для людей?* — спросил Белинский и побледнел.— Для людей? — повторил он и бросил свое место.— Где ваши люди? я им скажу, что они обмануты, всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет *людей!*

В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь honnête et modérée[1]. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

---

[1] благопристойную и умеренную *(франц.).— Ред.*

— Слышал ли ты, что этот изверг врет? у меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много, будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь — ну, утешь.

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что́ он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

— Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

— Совсем нет,— отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты «гнусный», «презрительный» — *гнусны и презрительны,* относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский, он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный как полотно и, ударив меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль водить...— и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге,— не обижаются словами?

— В образованных странах,— сказал с неподражаемым самодовольством магистр,— есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому сделается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость,— сказал он наконец,— я уверен, что вы согласитесь с одним...

— Нет! — отвечал Белинский.— Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал.

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года, он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

Так оканчивалась эта глава в 1854 году; с тех пор многое переменилось. Я стал гораздно *ближе* к тому времени, ближе увеличивающейся далью от здешних людей, приездом Огарева и двумя книгами: анненковской биографией Станкевича и первыми частями сочинений Белинского. Из вдруг раскрывшегося окна в больничной палате дунуло свежим воздухом полей, молодым воздухом весны...

Переписка Станкевича прошла незаметно. Она появилась некстати. В конце 1857 Россия еще не приходила в себя после похорон Николая, ждала и надеялась; это худшее настроение для воспоминаний... но книга эта не пропадет. Она останется на убогом кладбище одним из редких памятников своего времени, по которым *грамотный* может прочесть, что́ *тогда* хоронилось без-

гласно. Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие следы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которая *в сущности* не перерывалась. По-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича.

Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются,* и если умирают на полдороге, то не всё умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, не заметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое,— нам кажется очень неосновательным.

Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью; но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они

вымерли бесплодно. Жертвы петровского разрыва с народом, они остались чудаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкие. Война 1812 года положила им предел,— старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении. Ставить в их число людей вроде П. Я. Чаадаева было бы страшнейшей ошибкой.

Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гнусное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против юдаизма — христианство — исполнено юдаического характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не-англичан.

Люди вообще отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будят их; но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя.

Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, *чьих он.* Гете — немец и в греческой «Ифигении», и в восточном «Диване». Поэты в самом деле, по римскому выражению,— «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем.

Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью,— и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколенья в поколенье, не отдавая себе *отчета,* получило форму и язык.

Вероятно, никто не думает, чтобы Англия времен Елизаветы, особенно большинство народа понимало отчетливо Шекспира; оно

и теперь не понимает отчетливо — да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает, становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой способный на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира. Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить, чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой для француза.

Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм.

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло.

Под этим большим *светом* безучастно молчал большой *мир* народа; для него ничего не переменилось,— ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.

Их остановило совершеннейшее противуречие *слов* учения с *былями* жизни вокруг. Учители, книги, университет говорили одно — и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны — но с чем согласны предержащие власти и денежные выгоды. Противуречие это между воспитанием и нравами нигде

не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шписбюргеру [1], а исхудалый от соревнования и честолюбия collégien французский уже en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position [2].

Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали — не то чтоб объемистое воспитание — но довольно общее и гуманное; оно *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось. Но *человека*-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспеяния помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться — так толпа и делала,— или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других — время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распаденье на разные круги.

Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозврат-

---

[1] мещанину *(от нем. Spiessbürger).— Ред.*

[2] школьник... будущий рассудительный мужчина, умеющий воспользоваться положением *(франц.).— Ред.*

ным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я уж не застал,— он был в Германии; но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык — все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал — и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно,— стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм,— живые люди из русских к нему не способны.

Возле Станкевичева круга, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии назвали славянофилами. *Славяне,* приближаясь с противуположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским, Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии.

Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам.

В 1842 сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами. Об этой борьбе мы будем говорить в другом месте.

В заключение прибавлю несколько слов об элементах, из которых составился круг Станкевича; это бросает своего рода луч на странные подземные потоки, в тиши подмывающие плотную кору русско-немецкого устройства.

Станкевич был сын богатого воронежского помещика, сначала воспитывался на всей барской воле, в деревне, потом его посылали в острогожское училище (и это чрезвычайно оригинально). Для хороших натур богатое и даже аристократическое воспитание очень хорошо. Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой ум преж-

девременной заботой, боязнью перед будущим, наконец оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет.

Станкевич развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и вместе с тем сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя с самого начала университетского курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять или, как немцы говорят, *снимать* противуречия, была основана на его художественной натуре. Потребность гармонии, стройности, наслаждения делает их снисходительными к средствам; чтоб не видать колодца, они покрывают его холстом. Холст не выдержит напора, но зияющая пропасть не мешает глазу. Этим путем немцы доходили до пантеистического квиетизма и опочили на нем; но такой даровитый русский, как Станкевич, не остался бы надолго «мирным».

Это видно из первого вопроса, который невольно тревожит Станкевича тотчас после курса.

Срочные занятия окончены; он предоставлен себе, его не ведут, но *он не знает, что ему делать*. Продолжать нечего было, кругом никто и ничто не звало живого человека. Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай куда хочешь,— есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и с любовью,— это *учение*.

И вот Станкевич натягивает ученые занятия, он думает, что его призвание — быть историком, и он начинает заниматься Геродотом; из этого занятия, можно было предвидеть, ничего не выйдет.

Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит *какая-то* деятельность и куда его манит театр и близость к Европе; хотелось бы ему побывать почетным смотрителем училища в Острогожске; он решается быть полезным «на этом скромном поприще»,— это еще меньше Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог (новое доказательство, что около не было близких интересов). Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им [1].

---

[1] Клюшников пластически выразил это следующим замечанием: «Станкевич — серебряный рубль, завидующий величине медного пятака» (Анненков, Биография Станкевича, стр. 133).

Но — и в этом его личная мощь — ему вообще не часто нужно было прибегать к таким фикциям; он на каждом шагу встречал удивительных людей, *умел их* встречать, и каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу, или облегчил ношу.

В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич.

Бакунин, кончив курс в артиллерийском корпусе, был выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам просил, чтобы его перевели в армию; брошенный в какой-то потерянной белорусской деревне, с своим парком, Бакунин одичал, сделался нелюдимом, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник парка жалел его, но делать было нечего, он ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить. Получив отставку, Бакунин приехал в Москву; с этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва знал по-немецки. С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления он блуждал, без плана и компаса, в фантастических построениях и ауто-дидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве — и кому ни проповедовал ее потом! Нам и Белинскому, дамам и Прудону.

Но Белинский черпал столько же из самого источника; взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к

жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича.

И в то же время ему приходилось служить опорой, быть старшим братом, ободрять Грановского, тихого, любящего, задумчивого и расхандрившегося тогда. Письма Станкевича к Грановскому изящны, прелестны — и как же его любил Грановский!

«Я еще не опомнился от первого удара,— писал Грановский вскоре после кончины Станкевича,— настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не верю в возможность потери — только иногда сжимается сердце. Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так много обязан. Его влияние на нас было бесконечно и благотворно».

...И сколько человек могли сказать это! — может, сказали!..

В станкевичевском кругу только он и Боткин были достаточные и совершенно обеспеченные люди. Другие представляли самый разнообразный пролетариат. Бакунину родные не давали ничего; Белинский — сын мелкого чиновника в Чембарах, исключенный из Московского университета «за слабые способности», жил скудной платой за статьи. Красов, окончив курс, как-то поехал в какую-то губернию к помещику *на кондицию,* но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел пешком назад в Москву, *с котомкой за спиной,* зимою, в обозе чьих-то крестьян. Вероятно, каждому из них отец с матерью, благословляя на жизнь, говорили — и кто осмелится упрекнуть их за это? — «Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себе дорогу, тебе неоткуда ждать наследства, нам тебе тоже нечего дать, устроивай сам свою судьбу, да и об нас подумай». С другой стороны, вероятно, Станкевичу говорили о том, что он по всему может занять в обществе почетное место, что он призван, по богатству и рождению, играть роль — так, как Боткину всё в доме, начиная от старика отца до приказчиков, толковало словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться.

Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие — свою бедность и идут, не останавливаясь, к

разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, humanitas [1] — поглощает все.

И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не ограничивалось университетским курсом и двумя-тремя годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли; другие остались, какими были, до нынешнего дня. Бойцом и нищим пал, изнуренный трудом и страданиями, Белинский. Проповедуя науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру, Грановский. Боткин не сделался в самом деле купцом... Никто из них *не отличился* по службе.

То же самое в двух смежных кругах — в славянском и в нашем. Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремленья вечно юны?

Где? укажите — я бросаю смело перчатку — исключаю только *на время* одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, то есть не выпущу противника из статистики в историю.

Что такое был теоретический интерес и страсть истины и религии во времена таких мучеников разума и науки, как Бруно, Галилей и проч., мы знаем. Знаем и то, что́ была Франция энциклопедистов во второй половине XVIII века,— а далее? а далее — sta, viator! [2]

В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии, Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком обще выразился; [3] но далее я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признания. Возьмите «Les mémoires d'un enfant du siècle» [4] и стихотворения Альфреда де Мюссе, восстановите ту Францию, которая просвечивает в записках Ж. Санда, в современной драме и повести, в процессах.

Но что же доказывает все это? — Многое, но на первый случай то, что немецкой работы китайские башмаки, в которых Россию водят полтораста лет, натерли много мозолей, но, видно, костей не повредили, если всякий раз, когда удается расправить члены, являются такие свежие и молодые силы. Это нисколько не обеспечивает будущего, но делает его крайне *возможным*.

---

[1] гуманизм *(лат.).— Ред.*

[2] стой, путник! *(лат.) — Ред.*

[3] В. Гюго, прочитав «Былое и думы» в переводе Делаво, писал мне письмо в защиту французских юношей времен Реставрации.

[4] «Исповедь сына века» *(франц.).— Ред.*

ГЛАВА XXVI

Предостережения.— Герольдия.— Канцелярия министра.— III Отделение.— История будочника.— Генерал Дубельт.— Граф Бенкендорф.— Ольга Александровна Жеребцова.— Вторая ссылка

Как ни привольно было нам в Москве, но приходилось перебираться в Петербург. Отец мой требовал этого; граф Строгонов, министр внутренних дел, велел меня зачислить по канцелярии министерства, и мы отправились туда в конце лета 1840 года.

Впрочем, я был в Петербурге две-три недели в декабре 1839. Случилось это так. Когда с меня сняли надзор и я получил право выезжать «в резиденцию и в столицу», как выражался К. Аксаков, отец мой решительно предпочел древней столице невскую резиденцию. Граф Строгонов, попечитель, писал брату, и мне следовало явиться к нему. Но это не все. Я был представлен владимирским губернатором к чину коллежского асессора; отцу моему хотелось, чтоб я этот чин получил как можно скорее. В герольдии есть черед для губерний; черед этот идет черепашьим шагом, если нет особенных ходатайств. Они почти всегда есть. Цена им дорогая, потому что все представление можно пустить вне чередового порядка, но одного чиновника нельзя вырвать из списка. Поэтому надобно платить за всех, «а то за что же остальные даром обойдут черед?». Обыкновенно чиновники делают складку и посылают депутата от себя; на этот раз издержки брал на себя мой отец, и, таким образом, несколько владимирских титулярных советников обязаны ему, что они месяцев восемь прежде стали асессорами.

Отправляя меня в Петербург хлопотать по этому делу, мой отец, простившись со мною, еще раз повторил:

— Бога ради, будь осторожен, бойся всех, от кондуктора в дилижансе до моих знакомых, к которым я даю тебе письма, не доверяйся никому. Петербург теперь не то, что был в наше время, там во всяком обществе наверное есть муха или две. Tiens toi pour averti [1].

С этим эпиграфом к петербургской жизни сел я в дилижанс первоначального заведения, то есть имеющего все недостатки, последовательно устраненные другими, и поехал.

Приехав часов в девять вечером в Петербург, я взял извозчика и отправился на Исаакиевскую площадь,— с нее хотел я начать знакомство с Петербургом. Все было покрыто глубоким

[1] Намотай это себе на ус *(франц.).— Ред.*

снегом, только Петр I на коне мрачно и грозно вырезывался середь ночной темноты на сером фонде [1].

Чернея сквозь ночной туман,
С поднятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Куда-то кажет вдаль рукою
С коня могучий великан;
А конь, притянутый уздою,
Поднялся вверх с передних ног,
Чтоб всадник дальше видеть мог.

«Юмор»

Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалось к Петру I — награда ли это ему?.. или наказание? Четырнадцатое декабря 1825 было следствием дела, прерванного двадцать первого января 1725 года. Пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра...

Возвратившись в гостиницу, я нашел у себя одного родственника; поговоривши с ним о том, о сем, я, не думая, коснулся до Исаакиевской площади и до 14 декабря.

— Что дядюшка? — спросил меня родственник,— как вы оставили его?

— Слава богу, как всегда; он вам кланяется...

Родственник, не меняя нисколько лица, одними зрачками телеграфировал мне упрек, совет, предостережение; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться — истопник клал дрова в печь; когда он затопил ее, причем сам отправлял должность раздувальных мехов, и сделал на полу лужу снегом, оттаявшим с его сапог, он взял кочергу длиною с казацкую пику и вышел.

Родственник мой принялся тогда меня упрекать, что я при истопнике коснулся такого *скабрезного* предмета, да еще по-русски. Уходя, он сказал мне вполголоса:

— Кстати, чтоб не забыть, тут ходит цирюльник в отель, он продает всякую дрянь, гребенки, порченую помаду; пожалуйста, будьте с ним осторожны, я уверен, что он в связях с полицией,— болтает всякий вздор. Когда я здесь стоял, я покупал у него пустяки, чтоб скорее отделаться.

— Для поощрения. Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармов?

— Смейтесь, смейтесь, вы скорее другого попадетесь; только что воротились из ссылки — за вами десять нянь приставят.

[1] основании *(от франц. fond).— Ред.*

— В то время как и семерых довольно, чтоб быть без глазу.

На другой день поехал я к чиновнику, занимавшемуся прежде делами моего отца; он был из малороссиян, говорил с вопиющим акцентом по-русски, вовсе не слушая, о чем речь, всему удивлялся, закрывая глаза и как-то по-мышиному приподнимая пухленькие лапки... Не вытерпел и он и, видя, что я взял шляпу, отвел меня к окошку, осмотрелся и сказал мне: «Уж это ви не погневайтесь, так по стародавнему знакомству с семейством вашего батюшки и их покойных братцев, ви, то есть насчет гистории, бившей с вами, не очень поговаривайте. Ну, помилуйте, сами обсудите, к чему это нужно, теперь все прошло, как дим; ви что-то молвили при моей кухарке,— чухна, кто ее знает, я даже так немножко — очень испугався».

«Приятный город»,— подумал я, оставляя испуганного чиновника... Рыхлый снег валил хлопьями, мокро-холодный ветер пронимал до костей, рвал шляпу и шинель. Кучер, едва видя на шаг перед собой, щурясь от снегу и наклоняя голову, кричал: «Гись, гись!» Я вспомнил совет моего отца, вспомнил родственника, чиновника и того воробья-путешественника в сказке Ж. Санда, который спрашивал полузамерзнувшего волка в Литве, зачем он живет в таком скверном климате? *«Свобода,*— отвечал волк,— заставляет забыть климат».

Кучер прав — «берегись, берегись!». И как мне хотелось поскорей уехать.

Я и то недолго остался в мой первый приезд. В три недели я все покончил и к Новому году прискакал назад во Владимир.

Опытность, приобретенная мною в Вятке, послужила мне чрезвычайно в герольдии. Я знал уже, что герольдия — нечто вроде прежнего Сен-Джайля в Лондоне — вертеп официально признанных воров, которых никакая ревизия, никакая реформа изменить не может. Сен-Джайль для очистки взяли приступом, скупая домы и приравнивая их земле; то же следует сделать с герольдией. К тому же она совершенно не нужна: какое-то паразитное место — служба служебного повышения, министерство табели о рангах, археологическое общество изыскания дворянских грамот, канцелярия в канцелярии. Само собою разумеется, что и злоупотребления там должны были быть *второго порядка!*

Поверенный моего отца привел ко мне длинного старика в мундирном фраке, которого каждая пуговица висела на нитках, нечистого и уже закусившего, несмотря на ранний час. Это был корректор из сенатской типографии; поправляя грамматические ошибки, он за кулисами помогал иным ошибкам разных обер-секретарей. Я в полчаса сговорился с ним, поторговавшись точно так, как бы речь шла о покупке лошади или мебели. Впрочем,

он сам положительно отвечать не мог, бегал в сенат за инструкциями и, наконец получивши их, просил «задаточку».

— Да сдержат ли они обещание?

— Нет, уж это позвольте, это не такие люди, этого никогда не бывает, чтоб, получимши благодарность, не исполнить долг чести,— ответил корректор до того обиженным тоном, что я счел нужным его смягчить легкой прибавочкой благодарности.

— В герольдии-с,— заметил он, обезоруженный мною,— был прежде секретарь, удивительный человек, вы, может, слыхали о нем, брал напропалую, и все с рук сходило. Раз какой-то провинциальный чиновник пришел в канцелярию потолковать о своем деле да, прощаясь, потихоньку из-под шляпы ему и подает серенькую бумажку.

— Да что у вас за секреты,— говорит ему секретарь,— помилуйте, точно любовную записку подаете. Ну, серенькая, тем лучше, пусть другие просители видят, это их поощрит, когда они узнают, что двести рублей я взял, да зато дело обделал.

И, растянув ассигнацию, он ее сложил и сунул в жилетный карман.

Корректор был прав: секретарь исполнил долг чести.

Я оставил Петербург с чувством очень близким к ненависти. А между тем делать было нечего, надобно было перебираться в неприязненный город.

Я недолго служил, всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего. Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным: та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком. Я не видал здесь пьяных чиновников, не видал, как берут двугривенники за справку, а что-то мне казалось, что под этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живет такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка, что мой столоначальник в Вятке казался мне больше человеком, чем они. Я вспоминал, глядя на новых товарищей, как он раз, на пирушке у губернского землемера, выпивши, играл на гитаре плясовую и, наконец, не вытерпел, вскочил с гитарой и пустился вприсядку; ну, эти ничем не увлекутся, в них не кипит кровь, вино не вскружит им голову. В танцклассе где-нибудь с немочками они умеют пройти французскую кадриль, представить из себя разочарованных, сказать стих Тимофеева или Кукольника... дипломаты, аристократы и Манфреды. Жаль только, что министр Дашков не мог этих Чайльд-Гарольдов отучить в театре, в церкви, везде делать фрунт и кланяться.

Петербуржцы смеются над костюмами в Москве, их оскорбляют венгерки и картузы, длинные волосы, гражданские усы. Москва действительно город штатский, несколько распущенный, не привыкший к дисциплине, но достоинство это или недостаток — это нерешенное дело. Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, обязательная форма, внешний порядок — все это в высшей степени развито в самом нечеловеческом состоянии людей — в казармах. Мундир и однообразие — страсть деспотизма. Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге, это доказывает незрелость нашего образования: наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок. В Париже только боятся быть одетым без вкуса, в Лондоне боятся только простуды, в Италии всякий одевается как хочет. Если б показать эти батальоны одинаковых сертуков, плотно застегнутых, щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов.

Всякий раз делал я над собою усилие, входя в министерство. Начальник канцелярии К. К. фон Поль, гернгутер, добродетельный и лимфатический уроженец с острова Даго, наводил какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отделений озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами,— по крайней мере, просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет двадцать. В регистратуре был чиновник, тридцать третий год записывавший исходящие бумаги и печатавший пакеты.

Мое «упражнение в стиле» и здесь доставило мне некоторую льготу; испытав мою неспособность ко всему другому, начальник отделения поручил мне составление общего отчета по министерству из частных, губернских. Предусмотрительность начальства нашла нужным вперед объяснить некоторые будущие выводы, не оставляя их на произвол цифр и фактов. Так, например, в слегка набросанном плане отчета было сказано: «Из рассматривания числа и характера преступлений (ни число, ни характер еще не были известны) в. в. изволите усмотреть успехи народной нравственности и усиленное действие начальства с целью оную улучшить».

Судьба и граф Бенкендорф спасли меня от участия в подложном отчете, это случилось так.

В первых числах декабря, часов в девять утром, Матвей сказал мне, что квартальный надзиратель желает меня видеть. Я не мог догадаться, что его привело ко мне, и велел просить. Квар-

тальный показал мне клочок бумаги, на котором было написано, чтоб он «*пригласил* меня в 10 часов утра в III Отделение собств. е. в. канцелярии».

— Очень хорошо,— отвечал я.— Это у Цепного моста?

— Не беспокойтесь, у меня внизу сани, я с вами поеду.

«Дело скверное»,— подумал я, и сердце сильно сжалось.

Я взошел в спальню. Жена моя сидела с малюткой, который только что стал оправляться после долгой болезни.

— Что он хочет? — спросила она.

— Не знаю, какой-нибудь вздор, мне надобно съездить с ним... Ты не беспокойся.

Жена моя посмотрела на меня, ничего не отвечала, только побледнела, как будто туча набежала на ее лицо, и подала мне малютку проститься.

Я испытал в эту минуту, насколько тягостнее всякий удар семейному человеку: удар бьет не его одного, и он страдает за всех и невольно винит себя за их страдания.

Переломить, подавить, скрыть это чувство можно; но надобно знать, чего это стоит; я вышел из дома с черной тоской. Не таков был я, отправляясь шесть лет перед тем с полицмейстером Миллером в Пречистенскую часть.

Проехали мы Цепной мост, Летний сад и завернули в бывший дом Кочубея; там во флигеле помещалась светская инквизиция, учрежденная Николаем; не всегда люди, входившие в задние ворота, перед которыми мы остановились, выходили из них, то есть, может, и выходили, но для того, чтоб потеряться в Сибири, погибнуть в Алексеевском равелине. Шли мы всякими дворами и двориками и дошли наконец до канцелярии. Несмотря на присутствие комиссара, жандарм нас не пустил, а вызвал чиновника, который, прочитав бумагу, оставил квартального в коридоре, а меня просил идти за ним. Он меня привел в директорскую комнату. За большим столом, возле которого стояло несколько кресел, сидел один-одинехонек старик, худой, седой, с зловещим лицом. Он для важности дочитал какую-то бумагу, потом встал и подошел ко мне. На груди его была звезда, из этого я заключил, что это какой-нибудь корпусный командир шпионов.

— Видели вы генерала Дубельта?

— Нет.

Он помолчал, потом, не смотря мне в глаза, морщась и сводя бровями, спросил каким-то стертым голосом (голос этот мне ужасно напомнил нервно-шипящие звуки Голицына junior'а московской следственной комиссии):

— Вы, кажется, не очень давно получили разрешение приезжать в столицы?

— В прошедшем году.

Старик покачал головой.

— Плохо вы воспользовались милостью государя. Вам, кажется, придется опять ехать в Вятку.

Я смотрел на него с удивлением.

— Да-с,— продолжал он,— хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему вас.

— Я совершенно ничего не понимаю,— сказал я, теряясь в догадках.

— Не понимаете? — это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу,— нет! куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились. Как вас опыт не научил? Почем вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь *мерзавца* [1], который лучше не просит, как через минуту прийти *сюда* с доносом.

— Ежели вы можете мне объяснить, что́ все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

— Куда ведут?.. Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

— Слышал,— отвечал я пренаивно.

— И, может, повторяли?

— Кажется, что повторял.

— С рассуждениями, я чай?

— Вероятно.

— С какими же рассуждениями? — Вот оно — наклонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет, наверно, принято графом в соображение.

— Помилуйте,— сказал я,— какое тут сознание, об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

— Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами.

— Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я выдумал это дело?

— В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На

---

[1] Я честным словом уверяю, что слово «мерзавец» было употреблено почтенным старцем.

что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.

— Вы меня просто стращаете,— отвечал я.— Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не спросив, правда или нет?

— Вы сами признались.

— Да как же, записка была представлена и дело кончено прежде, чем вы со мной говорили?

— Прочтите сами.

Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам: такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России.

Я молчал. Мне показалось, что сам старик почувствовал, что дело очень нелепо и чрезвычайно глупо, так что он не нашел более нужным защищать его и, тоже помолчав, спросил:

— Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

— Женат,— отвечал я.

— Жаль, что это прежде мы не знали, впрочем, если что можно сделать, граф сделает, я ему передам наш разговор. Из Петербурга *во всяком случае* вас вышлют.

Он посмотрел на меня. Я молчал, но чувствовал, что лицо горело, все, что я не мог высказать, все, задержанное внутри, можно было видеть в лице.

Старик опустил глаза, подумал и вдруг апатическим голосом, с притязанием на тонкую учтивость, сказал мне:

— Я не смею дольше задерживать вас; желаю душевно,— впрочем, дальнейшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, это чувство бесправия, бессилия, это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку.

Жену я застал в лихорадке, она с этого дня занемогла и, испуганная еще вечером, через несколько дней имела преждевременные роды. Ребенок умер через день. Едва через три или через четыре года оправилась она.

Говорят, что чувствительный pater familias [1] Николай Павлович плакал, когда умерла его дочь!..

И что это у них за страсть — поднять сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно пожар, трон рушится, царская фамилия гибнет,— и все это без всякой нужды! По-

[1] отец семейства *(лат.).— Ред.*

эзия жандармов, драматические упражнения сыщиков, роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия... опричники, стременные, гончие!

...Грустно сидели мы вечером того дня, в который я был в III Отделении, за небольшим столом — малютка играл на нем своими игрушками, мы говорили мало; вдруг кто-то так рванул звонок, что мы поневоле вздрогнули. Матвей бросился отворять дверь, и через секунду влетел в комнату жандармский офицер, гремя саблей, гремя шпорами, начал отборными словами извиняться перед моей женой: «Он не мог думать, не подозревал, не предполагал, что дама, что дети, чрезвычайно неприятно...»

Жандармы — цвет учтивости, если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких казарм, где офицер désolé [1] был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах.

Поль-Луи Курье уже заметил в свое время, что палачи и прокуроры становятся самыми вежливыми людьми. «Любезнейший палач,— пишет прокурор,— вы меня дружески одолжите, приняв на себя труд, если вас это не обеспокоит, отрубить завтра утром голову такому-то». И палач торопится отвечать, что «он считает себя счастливым, что такой безделицей может сделать приятное г. прокурору, и остается всегда готовый к его услугам — палач». А тот — *третий*, остается преданным без головы.

— Вас просит к себе генерал Дубельт.

— Когда?

— Помилуйте, теперь, сейчас, сию минуту.

— Матвей, дай шинель.

Я пожал руку жене — на лице у нее были пятны, рука горела. Что за спех, в десять часов вечера, заговор открыт, побег, драгоценная жизнь Николая Павловича в опасности? «Действительно,— подумал я,— я виноват перед будочником: чему было дивиться, что при этом правительстве какой-нибудь из его агентов прирезал двух-трех прохожих; будочники второй и третьей степени разве лучше своего товарища на Синем мосту? А сам-то будочник будочников?»

Дубельт прислал за мной, чтоб *мне сказать*, что граф Бенкендорф требует меня завтра в восемь часов утра к себе для объявления мне высочайшей воли!

Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд,

---

[1] расстроенный *(франц.).— Ред.*

особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив.

Когда я взошел в его кабинет, он сидел в мундирном сертуке без эполет и, куря трубку, писал. Он в ту же минуту встал и, прося меня сесть против него, начал следующей удивительной фразой:

— Граф Александр Христофорович доставил мне случай познакомиться с вами. Вы, кажется, видели Сахтынского сегодня утром?

— Видел.

— Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

— Я вам, генерал, скажу то, что сказал графу Сахтынскому: я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказывали, как я.

— Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница — я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть de dénigrer le gouvernement [1] — страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление *отеческое*, все делается как можно келейнее... Мы выбиваемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах. Не правда ли? ведь вы писали об этом?

— Я так мало придаю важности делу, что совсем не считаю нужным скрывать, что я писал об этом, и прибавлю к кому — к моему отцу.

— Разумеется, дело не важное; но вот оно до чего вас довело. Государь тотчас вспомнил вашу фамилию и что вы были в Вятке и велел вас отправить назад. А потому граф и поручил мне уведомить вас, чтоб вы завтра в восемь часов утра приехали к нему, он вам объявит высочайшую волю.

---

[1] чернить правительство *(франц.).— Ред.*

— Итак, на том и останется, что я должен ехать в Вятку, с больной женой, с больным ребенком, по делу, о котором вы говорите, что оно не важно?..

— Да вы служите? — спросил меня Дубельт, пристально вглядываясь в пуговицы моего вицмундирного фрака.

— В канцелярии министра внутренних дел.

— Давно ли?

— Месяцев шесть.

— И все время в Петербурге?

— Все время.

— Я понятия не имел.

— Видите,— сказал я, улыбаясь,— как я себя скромно вел.

Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что́ я говорил в своей комнате, как думал и что́ писал отцу... Дело было в том, что я тогда только что начал сближаться с петербургскими литераторами, печатать статьи, а главное, я был переведен из Владимира в Петербург графом Строгоновым без всякого участия тайной полиции и, приехавши в Петербург, не пошел *являться* ни к Дубельту, ни в III Отделение, на что мне намекали добрые люди.

— Помилуйте,— перебил меня Дубельт,— все сведения, собранные об вас, совершенно в вашу пользу, я еще вчера говорил с Жуковским,— дай бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отозвался.

— А все-таки в Вятку...

— Вот видите, ваше *несчастие*, что докладная записка *была подана* и что многих обстоятельств не было на виду. Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городом. Я переговорю с графом, он еще сегодня едет во дворец. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать; граф — человек ангельской доброты.

Я встал. Дубельт проводил меня до дверей кабинета. Тут я не вытерпел и, приостановившись, сказал ему:

— Я имею к вам, генерал, небольшую просьбу. Если вам меня нужно, не посылайте, пожалуйста, ни квартальных, ни жандармов: они пугают, шумят, особенно вечером. За что же больная жена моя будет больше всех наказана в деле будочника?

— Ах, боже мой, как это неприятно,— возразил Дубельт.— Какие они все неловкие! Будьте уверены, что я не пошлю больше полицейского. Итак, до завтра; не забудьте: в восемь часов у графа; мы там увидимся.

Точно будто мы сговаривались вместе ехать к Смурову есть устрицы.

На другой день в восемь часов я был в приемной зале Бенкендорфа. Я застал там человек пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам. В числе их была женщина, вся в трауре, с заплаканными глазами, она сидела с бумагой, свернутой в трубочку, в руках; бумага дрожала, как осиновый лист. Шага три от нее стоял высокий, несколько согнувшийся старик, лет семидесяти, плешивый и пожелтевший, в темно-зеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Он время от времени вздыхал, качал головой и шептал что-то себе под нос.

У окна сидел, развалясь, какой-то «друг дома», лакей или дежурный чиновник. Он встал, когда я взошел, вглядываясь в его лицо, я узнал его: мне эту противную фигуру показывали в театре,— это был один из главных уличных шпионов, помнится, по фамилии Фабр. Он спросил меня:

— Вы с просьбой к графу?

— По его требованию.

— Ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Ах,— сказал он, меняя тон, как будто встретил старого знакомого,— сделайте одолжение, не угодно ли сесть? Граф через четверть часа выйдет.

Как-то было страшно тихо и unheimlich [1] в зале, день плохо пробивался сквозь туман и замерзнувшие стекла; никто ничего не говорил. Адъютанты быстро пробегали взад и вперед, да жандарм, стоявший за дверями, гремел иногда своей сбруей, переступая с ноги на ногу. Подошло еще человека два просителей. Чиновник бегал каждого спрашивать зачем. Один из адъютантов подошел к нему и начал что-то рассказывать полушепотом, причем он придавал себе вид отчаянного повесы; вероятно, он рассказывал какие-нибудь мерзости, потому что они часто перерывали разговор лакейским смехом без звука, причем почтенный чиновник, показывая вид, что ему мочи нет, что он готов надорваться, повторял: «Перестаньте, ради бога, перестаньте, не могу больше».

Минут через пять явился Дубельт, расстегнутый по-домашнему, бросил взгляд на просителей, причем они поклонились, и, издали увидя меня, сказал:

— Bonjour, monsieur Herzen, votre affaire va parfaitement bien [2], на хорошей дороге...

---

[1] жутко *(нем.).— Ред.*

[2] Здравствуйте, господин Герцен, ваше дело идет превосходно *(франц.).— Ред.*

«Оставляют меня, что ли?» Я хотел было спросить, но, прежде чем успел вымолвить слово, Дубельт уже скрылся. Вслед за ним взошел какой-то генерал, вычищенный, убранный, затянутый, вытянутый, в белых штанах, в шарфе,— я не видывал лучшего генерала. Если когда-нибудь в Лондоне будет выставка генералов, так, как в Цинцинати теперь Baby-Exhibition[1], то я советую послать именно его из Петербурга. Генерал подошел к той двери, из которой должен был выйти Бенкендорф, и замер в неподвижной вытяжке; я с большим любопытством рассматривал этот идеал унтер-офицера... ну, должно быть, солдат посек он на своем веку за шагистику; откуда берутся эти люди? Он родился для выкидывания артикула и для строя! С ним пришел, вероятно, его адъютант, тончайший корнет в мире, с неслыханно длинными ногами, белокурый, с крошечным беличьим лицом и с тем добродушным выражением, которое часто остается у матушкиных сынков, никогда ничему не учившихся или, по крайней мере, не выучившихся. Эта жимолость в мундире стояла в почтительном отдалении от образцового генерала.

Снова влетел Дубельт, этот раз приосанившись и застегнувшись. Он тотчас обратился к генералу и спросил, что ему нужно? Генерал правильно, как ординарцы говорят, когда являются к начальникам, отрапортовал:

— Вчерашний день от князь Александра Ивановича получил высочайшее повеление отправиться в действующую армию на Кавказ, счел обязанностью явиться перед отбытием к его сиятельству.

Дубельт выслушал с религиозным вниманием эту речь и, наклоняясь несколько в знак уважения, вышел и через минуту возвратился.

— Граф,— сказал он генералу,— искренно жалеет, что не имеет времени принять ваше превосходительство. Он вас благодарит и поручил мне пожелать вам счастливого пути.— При этом Дубельт распростер руки, обнял и два раза коснулся щеки генерала своими усами.

Генерал отступил торжественным маршем, юноша с беличьим лицом и с ногами журавля отправился за ним. Сцена эта искупила мне много горечи того дня. Генеральский фрунт, прощание по доверенности и, наконец, лукавая морда Рейнеке-Фукса, целующего безмозглую голову его превосходительства,— все это было до того смешно, что я чуть-чуть удержался. Мне кажется, что Дубельт заметил это и с тех пор начал уважать меня.

---

[1] выставка детей *(англ.).— Ред.*

Наконец двери отворились à deux battants[1], и взошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий ост-зейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим.

Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все,— я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица,— но и добра он не сделал: на это у него недоставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай.

Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством, и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничество католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями...

— До сведения государя императора,— сказал он мне,— дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как вы мало исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку; но я, по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительства предоставлено назначить министру внутренних дел.

— Позвольте мне откровенно сказать, что даже *в сию* минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В тысяча восемьсот тридцать пятом году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был; теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!

Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь:

— Я вам объявляю монаршую волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете и что я вам скажу — это потерянные слова. Переменить теперь ничего нельзя, что будет потом, долею зависит от вас.

---

[1] на обе створки *(франц.).— Ред.*

А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей,— *так легко* в третий раз вы, наверно, не отделаетесь.

Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, перерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром! И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути,— а человек этот отделывается общими местами и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит *какое-нибудь* решение, чтоб сдать дело в *какую-нибудь* другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится?

Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил:

— Ваше сиятельство, взойдите в мое положение.

— Что за мерзость,— закричал граф,— вы позорите ваши медали! — И, полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человечными!

Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал:

— Зачем это вы, в самом деле? — Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорф уехал к государю.

— Что же мне делать? — спросил я Дубельта.

— Выберите себе какой хотите город с министром внутренних дел, мы мешать не будем. Мы завтра все дело перешлем туда; я поздравляю вас, что так уладилось.

— Покорнейше вас благодарю!

От Бенкендорфа я поехал в министерство. Директор наш, как я сказал, принадлежал к тому типу немцев, которые имеют в себе что-то лемуровское, долговязое, нерасторопное, тянущееся. У них мозг действует медленно, не сразу схватывает и долго работает, чтоб дойти до какого-нибудь заключения. Рассказ мой, по несчастию, предупредил сообщение из III Отделения; он вовсе не ждал его и потому совершенно растерялся, говорил какие-то бессвяз-

ные вещи, сам заметил это и, чтоб поправиться, сказал мне: «Erlauben Sie mir deutsch zu sprechen» [1]. Может, грамматически речь его и вышла правильнее на немецком языке, но яснее и определеннее она не стала. Я заметил очень хорошо, что в нем боролись два чувства: он понял всю несправедливость дела, но считал обязанностью директора оправдать действие правительства; при этом он не хотел передо мной показать себя варваром, да и не забывал вражду, которая постоянно царствовала между министерством и тайной полицией. Стало быть, задача сама по себе выразить весь этот сумбур была не легка. Он кончил признанием, что ничего не может сказать без министра, к которому и отправился.

Граф Строгонов позвал меня, расспросил дело, выслушал все внимательно и сказал мне в заключение:

— Это чисто полицейская уловка,— ну, да хорошо, и я, с своей стороны, им отвечу.

Я, право, думал, что он сейчас отправится к государю и объяснит ему дело, но так далеко министры не ходят.

— Я получил,— продолжал он,— высочайшее повеление об вас, вот оно, вы видите, что мне предоставлено избрать место и употребить вас на службу. Куда вы хотите?

— В Тверь или в Новгород,— отвечал я.

— Разумеется... ну, а так как место зависит от меня и вам, вероятно, все равно, в который из этих городов я вас назначу, то я вам дам первую ваканцию советника губернского правления, то есть высшее место, которое вы по чину можете иметь. Шейте себе мундир с шитым воротником,— добавил он шутя.

Вот и отыгрался, только не в мою масть.

Через неделю Строгонов представил в сенат о назначении меня советником в Новгород.

А ведь пресмешно: сколько секретарей, асессоров, уездных и губернских чиновников домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтоб получить это место; взятки были даны, святейшие обещания получены,— и вдруг министр, исполняя высочайшую волю и в то же время делая отместку тайной полиции, *наказывал* меня этим повышением, бросал человеку под ноги, для позолоты пилюли, это место — предмет пламенных желаний и самолюбивых грез,— человеку, который его брал с твердым намерением бросить при первой возможности.

От Строгонова я поехал к одной даме; об этом знакомстве следует сказать несколько слов.

Между рекомендательными письмами, которые мне дал мой отец, когда я ехал в Петербург, было одно, которое я десять раз

[1] Разрешите мне говорить по-немецки *(нем.).— Ред.*

брал в руки, перевертывал и прятал опять в стол, откладывая визит свой до другого дня. Письмо это было к семидесятилетней знатной, богатой даме; дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен; он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II, потом они встретились в Париже, вместе ездили туда и сюда, наконец оба приехали домой на отдых, лет тридцать тому назад.

Я вообще не любил важных людей, особенно женщин, да еще к тому же семидесятилетних; но отец мой спрашивал второй раз, был ли я у Ольги Александровны Жеребцовой, и я наконец решился проглотить эту пилюлю. Официант привел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую; мебель, обивка — все сдало цвет, все стояло, видно, давно на этих местах. На меня пахнуло домом княжны Мещерской; старость не меньше юности протаптывает свои следы на всем окружающем. Самоотверженно ждал я появления хозяйки, приготовляясь к скучным вопросам, к глухоте, к кашлю, к обвинениям нового поколения, а может, и к моральным поучениям.

Минут через пять взошла твердым шагом высокая старуха, с строгим лицом, носившим следы большой красоты; в ее осанке, поступи и жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум. Она проницательно осмотрела меня с головы до ног, подошла к дивану, отодвинула одним движением руки стол и сказала мне:

— Садитесь сюда на кресла, поближе ко мне, я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люблю его.

Она развернула письмо и подала мне, говоря:

— Пожалуйста, прочтите мне, у меня болят глаза.

Письмо было писано по-французски, с разными комплиментами, с воспоминаниями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и, когда я кончил, сказала:

— Ум-то у него не стареет, все тот же; он очень был любезен и очень костик [1]. А что, теперь все сидит в комнате, в халате, представляет больного? Я два года тому назад проезжала Москвой, была тогда у вашего батюшки, насилу, говорит, могу принять, разрушаюсь, а потом разговорился и забыл свои болезни. Все баловство; он немного старше меня, года два-три, да и то есть ли, а вот я и женщина, а все еще на ногах. Да, да, много воды утекло с тех времен, о которых ваш отец поминает. Ну, подумайте, мы с ним были из первых танцоров. Англезы тогда были в моде; вот я с Иваном Алексеевичем, бывало, и танцуем у покойной императрицы; можете вы себе представить вашего батюшку

[1] язвителен *(от франц. caustique).— Ред.*

в светло-голубом французском кафтане, в пудре и меня с фижмами и décolletée? С ним было очень приятно танцевать, il était bel homme [1], он был лучше вас,— дайте-ка хорошенько на вас посмотреть,— да, точно, он был получше... Вы не сердитесь, в мои лета можно говорить правду. Да ведь вам и не до того, я думаю, ведь вы литератор, ученый. Ах, боже мой, кстати, расскажите мне, пожалуйста, что это с вами за гистория была? Батюшка ваш писал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым — ничего не сделал. За что это вас услали, они ведь не говорят, все у них secret d'Etat [2].

В ее манере было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданию, мне было легко и свободно. Я отвечал полушутливо и полусерьезно и рассказал ей наше дело.

— Воюет с студентами,— заметила она,— все в голове одно — конспирации; ну, а те и рады подслуживаться; все пустяками занимаются. Людишки такие дрянные около него — откуда это он их набрал? — без роду и племени. Так видите, mon cher conspirateur [3], что же вам было тогда — лет шестнадцать?

— Ровно двадцать один год,— отвечал я, смеясь от души ее полнейшему презрению к нашей политической деятельности, то есть к моей и Николаевой,— но зато я был старший.

— Четыре-пять студентов испугали, видите, tout le gouvernement [4] — срам какой.

Потолковавши в этом роде с полчаса, я встал, чтоб ехать.

— Постойте-ка, постойте-ка,— сказала мне Ольга Александровна еще более дружеским тоном,— я не кончила мою исповедь; а как это вы увезли свою невесту?

— Почему вы знаете?

— Э, батюшка, слухом свет полнится,— молодость, des passions [5], я говорила тогда с вашим отцом, он еще сердился на вас; ну, да ведь умный человек, понял... благо, вы счастливо живете — чего еще? «Как же, говорит, приезжал в Москву против приказа, попался бы, ну, послали бы в крепость». Я ему на это и молвила: «Ну, да ведь не попался, так это надобно радоваться вам, а что пустяки городить да придумывать, что могло бы быть».— «Ну, вы всегда,— говорит он мне,— были отважны и жили очертя голову».— «А что же, батюшка, оканчиваю не хуже других век»,— ответила я ему. А это что уж такое: без денег

---

[1] он был красавец мужчина *(франц.).— Ред.*
[2] государственная тайна *(франц.).— Ред.*
[3] мой милый заговорщик *(франц.).— Ред.*
[4] все правительство *(франц.).— Ред.*
[5] страсти *(франц.).— Ред.*

оставил молодых! На что это похоже! «Ну, говорит, пошлю, пошлю, не сердитесь». Познакомьте меня с вашей супругой-то — а?

Я поблагодарил ее и сказал, что я приехал покамест один.

— Где же вы остановились?

— У Демута.

— И там обедаете?

— Иногда там, иногда у Дюме.

— На что же это по трактирам-то, дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать — приходите-ка, а я, право, очень рада, что познакомилась с вами; спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне: вы очень интересный молодой человек, хорошо понимаете вещи, даром что молоды, вот мы с вами и потолкуем о том, о сем; а то, знаете, с этими куртизанами [1] скучно — все одно: об дворе да кому орден дали — все пустое.

Тьер в одном томе истории Консулата довольно подробно и довольно верно рассказал умерщвление Павла. В его рассказе два раза упомянута одна женщина, сестра последнего фаворита Екатерины, графа Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитого во время войны, страстная и деятельная натура, избалованная положением, одаренная необыкновенным умом и мужским характером, она сделалась средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла. У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством. Полиция Павла заподозрила ее наконец, и она, вовремя извещенная, может, самим Паленом, успела уехать за границу. Заговор был тогда готов, и она получила, танцуя на бале прусского короля, весть о том, что Павел убит. Вовсе не скрывая радости, она с восторгом объявила новость всем находившимся в зале. Это до того скандализировало прусского короля, что он велел ее выслать в двадцать четыре часа из Берлина.

Она поехала в Англию. Блестящая, избалованная придворной жизнью и снедаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины в Лондоне и играет значительную роль в замкнутом и недоступном обществе английской аристократии. Принц Валлийский, то есть будущий король Георг IV, у ее ног, вскоре более... Пышно и шумно шли годы ее заграничного житья, но шли и срывали цветок за цветком.

Вместе с старостью пачалась для нее пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаний. Ее сын был убит под Бородиным, ее дочь умерла и оставила ей внуку, графиню Орлову. Старушка всякий год ездила в августе месяце из Петер-

[1] царедворцами *(от франц. courtisan).— Ред.*

бурга в Можайск посетить могилу сына. Одиночество и несчастие не сломили ее сильного характера, а сделали его только угрюмее и угловатее. Точно дерево середь зимы, она сохранила линейный очерк своих ветвей, листья облетели, костливо зябли голые сучья, но тем яснее виднелся величавый рост, смелые размеры, и стержень, поседелый от инея, гордо и сумрачно выдерживал себя и не гнулся от всякого ветра и от всякой непогоды.

Ее длинная, полная движения жизнь, страшное богатство встреч, столкновений образовали в ней ее высокомерный, но далеко не лишенный печальной верности взгляд. У нее была своя философия, основанная на глубоком презрении к людям, которых она оставить все же не могла, по деятельному характеру.

— Вы их еще не знаете,— говаривала она мне, провожая киваньем головы разных толстых и худых сенаторов и генералов,— а уж я довольно на них насмотрелась, меня не так легко провести, как они думают; мне двадцати лет не было, когда брат был в пущем фавёре, императрица меня очень ласкала и очень любила. Так, поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, наперерыв бросались в переднюю подать мне салоп или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел, меня бегали, как заразы, знаете, при сумасшедшем-то — и те же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни в ком и уехала за море. После моего возвращения бог посетил меня большими несчастиями, только я ни от кого участия не видала; были два-три старых приятеля, те, точно, и остались. Ну, пришло новое царствование, Орлов, видите, в силе, то есть я не знаю, насколько это правда... так думают, по крайней мере; знают, что он мой наследник, и внучка-то меня любит, ну, вот и пошла такая дружба — опять готовы подавать шубу и калоши. Ох! Знаю я их, да скучно иной раз одной сидеть, глаза болят, читать трудно, да и не всегда хочется, я их и пускаю, болтают всякий вздор,— развлечение, час, другой и пройдет...

Странная, оригинальная развалина другого века, окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права. Если она делила сатурналии Екатерины и оргии Георга IV, то она же делила опасность заговорщиков при Павле.

Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведения дворцового огорода за все наше поколение. При Екатерине двор и гвардия в самом деле обнимали все образованное в России; больше или меньше это продолжалось до 1812 года. С тех пор русское общество сделало страшные успехи; война вызвала к сознанию, сознание — к 14 декабря, общество внутри раздвоилось. Со стороны дворца остается

Н. Х. Кетчер.

Автолитография с рисунка К. А. Горбунова.
1846 г.
Государственный литературный музей.

не лучшее: казни и свирепые меры отдалили одних, новый тон отдалил других. Александр продолжал образованные традиции Екатерины; при Николае светски-аристократический тон заменяется сухим, формальным, дерзко деспотическим, с одной стороны, и беспрекословно покорным — с другой, смесь наполеоновской отрывистой и грубой манеры с чиновничьим бездушием. Новое общество, средоточие которого в Москве, быстро развилось.

Есть удивительная книга, которая поневоле приходит в голову, когда говоришь об Ольге Александровне. Это «Записки» княгини Дашковой, напечатанные лет двадцать тому назад в Лондоне. К этой книге приложены «Записки» двух сестер Вильмот, живших у Дашковой между 1805 и 1810 годами. Обе — ирландки, очень образованные и одаренные большим талантом наблюдения. Мне чрезвычайно хотелось бы, чтоб их письма и «Записки» были известны у нас.

Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество *независимых*. Тогдашние львы были капризные олигархи: граф А. Г. Орлов, Остерман — «общество теней»,— как говорит miss Willmot [1], общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла. Московские львы с 1825 года были: Пушкин, М. Орлов, Чаадаев, Ермолов. Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы «в чужих брильянтах», кавалеры *не смея садиться* без разрешения; перед ними графская дворня танцевала в маскарадных платьях. Сорок лет спустя я видел то же общество, толпившееся около кафедры одной из аудиторий Московского университета; дочери дам в чужих каменьях, сыновья людей, не смевших сесть, с страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством.

Вот этого-то общества, которое съезжалось со всех сторон Москвы и теснилось около трибуны, на которой молодой воин науки вел серьезную речь и пророчил былым,— этого общества не подозревала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мне потому, что я был первый образчик мира, неизвестного ей; ее *удивил* мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую

[1] Мисс Вильмот.

весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей и за то!

Я мог бы написать целый том анекдотов, слышанных мною от Ольги Александровны: с кем и кем она ни была в сношениях, от графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Каннинга, и притом она смотрела на всех независимо, по-своему и очень оригинально. Ограничусь одним небольшим случаем, который постараюсь передать ее собственными словами.

Она жила на Морской. Раз как-то шел полк с музыкой по улице; Ольга Александровна подошла к окну и, глядя на солдат, сказала мне:

— У меня дача есть недалеко от Гатчины, летом иногда я езжу туда отдохнуть. Перед домом я велела сделать большой сквер, знаете, эдак на английский манер, покрытый дерном. В запрошлый год приезжаю я туда; представьте себе — часов в шесть утром слышу я страшный треск барабанов; лежу ни живая ни мертвая в постели; все ближе да ближе; звоню, прибежала моя калмычка. «Что, мать моя, это случилось? — спрашиваю я,— шум какой?» — «Да это, говорит, Михайла Павлович изволит солдат учить».— «Где это?» — «На нашем дворе». Понравился сквер — гладко и зелено. Представьте себе, дама, живет, старуха, больная! — а он в шесть часов в барабан. Ну, думаю, это — пустяки. «Позови дворецкого». Пришел дворецкий; я ему говорю: «Ты сейчас вели заложить тележку да поезжай в Петербург и найми сколько найдешь белорусов, да чтоб завтра и начали копать пруд». Ну, думаю, авось *навального* [1] учения не дадут под моими окнами. Все это невоспитанные люди!

...Естественно, что я прямо от графа Строгонова поехал к Ольге Александровне и рассказал ей все случившееся.

— Господи, какие глупости, от часу не легче,— заметила она, выслушавши меня.— Как это можно с фамилией тащиться в ссылку из таких пустяков. Дайте я переговорю с Орловым, я редко его о чем-нибудь прошу, они все не любят этого; ну, да иной раз может же сделать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька через два, я вам ответ сообщу.

Через день утром она прислала за мной. Я застал у нее несколько человек гостей. Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика — это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение.

---

[1] морского *(от франц. naval).— Ред.*

Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольге Александровне, сказал:

— Я вам привез вчерашний рескрипт князю Петру Михайловичу, может, вы не изволили еще читать?

Слышала ли она или нет, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки, и морщась, с страшными усилиями прочла: «Кня-зь, Пе-тр Ми-хайло-вич!..»

— Что вы это мне даете?.. А?.. это не ко мне?

— Я вам докладывал-с, это рескрипт...

— Боже мой, у меня глаза болят, я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать.

— Позвольте, я прочту... я, право, не подумал.

— И, полноте, что трудиться понапрасну, какое мне дело до их переписки; доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята.

Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие впросак, и положил рескрипт в карман.

Видя, что Ольга Александровна в дурном расположении духа и в очень воинственном, гости один за другим откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мне:

— Я просила вас сюда зайти, чтоб сказать вам, что я на старости лет дурой сделалась; наобещала вам, да ничего и не сделала; не спросясь броду-то и не надобно соваться в воду, знаете, по мужицкой пословице. Говорила вчера с Орловым об вашем деле, и не ждите ничего...

В это время официант доложил, что графиня Орлова приехала.

— Ну, это ничего, свои люди, сейчас доскажу.

Графиня, красивая женщина и еще в цвете лет, подошла к руке и осведомилась о здоровье, на что Ольга Александровна отвечала, что чувствует себя очень дурно, потом, назвавши меня, прибавила ей:

— Ну, сядь, сядь, друг мой. Что детки, здоровы?

— Здоровы.

— Ну, слава богу; извини меня, я вот рассказываю о вчерашнем. Так вот, видите, я говорю ее мужу-то: «Что бы тебе сказать государю, ну, как это пустяки такие делают?» Куда ты! руками и ногами уперся. «Это, говорит, по части Бенкендорфа; с ним, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу: он не любит, да у нас это и не заведено».— «Что же это за чудо,— говорю я ему,— поговорить с Бенкендорфом? Я это и сама умею. Да и он-то что уж из ума выжил, сам не знает, что делает, все актриски на уме, кажется, уж и не под лета волочиться; а тут какой-нибудь секретаришка у него делает доносы всякие, а он и по-

дает. Что же он сделает? Нет, уж ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебе просить Бенкендорфа, он же все и напакостил».—«У нас, говорит, уж так заведено»,— и пошел мне тут рассказывать... Ну! вижу, что он просто боится идти к государю... «Что он у вас это, зверь, что ли, какой, что подойти страшно, и как же всякий день вы его пять раз видите?» — молвила я, да так и махнула рукой,— поди с ними толкуй. Посмотрите,— прибавила она, указывая мне на портрет Орлова,— экой бравый представлен какой, а боится слово сказать!

Вместо портрета я не мог удержаться, чтоб не посмотреть на графиню Орлову; положение ее было не из самых приятных. Она сидела, улыбаясь, и иногда взглядывала на меня, как бы говоря: «Лета имеют свои права, старушка раздражена»; но, встречая мой взгляд, не подтверждавший того, она делала вид, будто не замечает меня. В речь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно, у старухи разгорелись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтоб вихрь пронесся через голову.

— Ведь это, чай, у вас там, где вы это были, в этой в Вологде, писаря думают: «Граф Орлов — случайный человек, в силе»... Все это вздор, это подчиненные его небось распускают слух. Все они не имеют никакого влияния; они не так себя держат и не на такой ноге, чтоб иметь влияние... Вы уже меня простите, взялась не за свое дело; знаете, что я вам посоветую? Что вам в Новгород ездить! Поезжайте лучше в Одессу, подальше от них, и город почти иностранный, да и Воронцов, если не испортился, человек другого «режиму».

Доверие к Воронцову, который тогда был в Петербурге и всякий день ездил к Ольге Александровне, не вполне оправдалось; он хотел меня взять с собой в Одессу, *если* Бенкендорф изъявит согласие.

...Между тем прошли месяцы, прошла и зима; никто мне не напоминал об отъезде, меня забыли, и я уж перестал быть sur le qui vive [1], особенно после следующей встречи. Вологодский военный губернатор Болговский был тогда в Петербурге, очень короткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда. Он участвовал в убийстве Павла, будучи молодым семеновским офицером, и потом был замешан в непонятное и необъясненное дело Сперанского в 1812 году. Он был тогда полковником в действующей армии, его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк. Раз

[1] настороже *(франц.).— Ред.*

весною прихожу я к нему; спиною к дверям в больших креслах сидел какой-то генерал, мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет.

— Позвольте мне представить,— сказал Болговский, и тут я разглядел Дубельта.

— Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича,— сказал я, улыбаясь.

— Вы скоро едете в Новгород? — спросил он меня.

— Я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом.

— Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам, я вас просто так спросил. Мы вас передали с рук на руки графу Строгонову и не очень торопим, как видите; сверх того, такая законная причина, как болезнь вашей супруги... (Учтивейший в мире человек!)

Наконец, в начале июня я получил сенатский указ об утверждении меня советником новгородского губернского правления. Граф Строгонов думал, что пора отправляться, и я явился около 1 июля в богом и св. Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова, против самого того кургана, откуда волтерианцы XII столетия бросили в реку *чудотворную* статую Перуна.

ГЛАВА XXVII

Губернское правление.— Я у себя под надзором.— Духоборцы и Павел.— Отеческая власть помещиков и помещиц.— Граф Аракчеев и военные поселения.— Каннибальское следствие.— Отставка

Перед моим отъездом граф Строгонов сказал мне, что новгородский военный губернатор *Эльпидифор Антиохович* Зуров в Петербурге, что он говорил ему о моем назначении, и советовал съездить к нему. Я нашел в нем довольно простого и добродушного генерала очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет. Мы поговорили с ним с полчаса, он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались.

Приехавши в Новгород, я отправился к нему — перемена декораций была удивительна. В Петербурге губернатор был в гостях, здесь — дома; он даже ростом, казалось мне, был побольше в Новгороде. Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что он не терпит, чтоб советники подавали голос или оставались бы письменно при своем мнении, что это задерживает дела, что если что не так, то можно переговорить, а как на *мнения* пойдет, то тот или другой должен выйти в отставку.

Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка — единственная цель моей службы, и прибавил, что пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений.

Разговора этого было совершенно достаточно для обоих. Выходя от него, я решился не сближаться с ним. Сколько я мог заметить, впечатление, произведенное мною на губернатора, было в том же роде, как то, которое он произвел на меня, то есть мы настолько терпеть не могли друг друга, насколько это возможно было при таком недавнем и поверхностном знакомстве.

Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные. Читать бумаги по всем отделениям было решительно невозможно, надобно было подписывать на веру. Губернатор, последовательный своему мнению, что советник никогда не должен советовать, подписывал, противно смыслу и закону, первый после советника того отделения, по которому было дело. Лично для меня это было превосходно: в его подписи я находил некоторую гарантию потому, что он делил ответственность, и потому еще, что он часто, с особенным выражением, говорил о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей других советников, они мало успокоивали. Люди эти были закаленные, старые писцы, дослужившиеся десятками лет до советничества, жили они одной службой, то есть одними взятками. Пенять на это нечего: советник, помнится, получал тысячу двести рублей ассигнациями в год; семейному человеку продовольствоваться этим невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни в дележе общих добыч, ни сам грабить, они стали на меня смотреть как на непрошеного гостя и опасного свидетеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядели, что между мной и губернатором дружба была очень умеренная. Друг друга они берегли и предостерегали, до меня им дела не было.

К тому же мои почтенные сослуживцы не боялись больших денежных взысканий и начетов, потому что у них ничего не было. Они могли рисковать, и тем больше, чем важнее было дело; будет ли начет в пятьсот рублей или в пятьсот тысяч, для них было все равно. Доля жалованья шла, в случае начета, на уплату казне и могла длиться двести, триста лет, если б чиновник длился так долго. Обыкновенно или чиновник умирал, или государь — и тогда наследник на радостях прощал долги. Такие манифесты являются часто и при жизни того же государя, по поводу рождения, совершеннолетия и всякой всячины; они на них

считали. У меня же, напротив, захватили бы ту часть именья и тот капитал, который отец мой отделил мне.

Если б я мог положиться на своих столоначальников, дело было бы легче. Я сделал многое для того, чтоб привязать их, обращался учтиво, помогал им денежно и довел только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись советников, которые обращались с ними, как с мальчишками, и стали вполпьяна приходить на службу. Это были беднейшие люди, без всякого образования, без всяких надежд; вся поэтическая сторона их существования ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отделению, стало быть, приходилось тоже быть настороже.

Сначала губернатор мне дал IV отделение,— тут откупные дела и всякие денежные. Я просил его переменить, он не хотел, говорил, что не имеет права переменить без воли другого советника. Я в присутствии губернатора спросил советника II отделения, он согласился, и мы поменялись. Новое отделение было меньше заманчиво; там были паспорты, всякие циркуляры, дела о злоупотреблении помещичьей власти, о раскольниках, фальшивых монетчиках и людях, находящихся под полицейским надзором.

Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят [1], а между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера *о самом себе* как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер, из учтивости, в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: «Занимается государственной службой». Вот до каких геркулесовских столбов безумия можно доправиться, имея две-три полиции, враждебные друг другу, канцелярские формы вместо законов и фельдфебельские понятия вместо правительственного ума.

Нелепость эта напоминает мне случай, бывший в Тобольске несколько лет тому назад. Гражданский губернатор был в ссоре с виц-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Виц-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов, он сам составлял с большим трудом свои *язвительные* ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор

[1] Это до такой степени справедливо, что какой-то немец, раз десять ругавший меня в «Morning Advertiser», приводил в доказательство того, что я не был в ссылке, то, что я занимал должность советника губернского правления.

уехал на время в Петербург. Виц-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю отвечать на нее, подписал ответ и, получив его как виц-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжениями строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью.

С полгода вытянул я лямку в губернском правлении, тяжело было и крайне скучно. Всякий день в одиннадцать часов утра надевал я мундир, прицеплял статскую шпажонку и являлся в присутствие. В двенадцать приходил военный губернатор; не обращая никакого внимания на советников, он шел прямо в угол и там ставил свою саблю, потом, посмотревши в окно и поправив волосы, он подходил к своим креслам и кланялся присутствующим. Едва вахмистр с страшными седыми усами, стоявшими перпендикулярно к губам, торжественно отворял дверь и бренчанье сабли становилось слышно в канцелярии, советники вставали и оставались, стоя в согбенном положении, до тех пор, пока губернатор кланялся. Одно из первых действий оппозиции с моей стороны состояло в том, что я не принимал участия в этом соборном восстании и благочестивом ожидании, а спокойно сидел и кланялся ему тогда, когда он кланялся нам.

Больших прений, горячих рассуждений не было; редко случалось, чтоб советник спрашивал предварительно мнения губернатора, еще реже обращался губернатор к советникам с деловым вопросом. Перед каждым лежал ворох бумаги, и каждый писал свое имя,— это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изречение Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердием и занимался делами насколько было нужно, чтоб не получить замечания или не попасть в беду. Но в моем отделении было два рода дел, на которые я не считал себя вправе смотреть так поверхностно: это были дела о раскольниках и злоупотреблении помещичьей власти.

У нас раскольников не постоянно гонят, так, вдруг *найдет* что-то на синод или на министерство внутренних дел, они и сделают набег на какой-нибудь скит, на какую-нибудь общину, ограбят ее и опять затихнут. Раскольники обыкновенно имеют смышленых агентов в Петербурге, они предупреждают оттуда об опасности, остальные тотчас собирают деньги, прячут книги и образа, поят православного попа, поят православного исправника, дают выкуп; тем дело и кончается лет на десять.

В Новгородской губернии в царствование Екатерины было много духоборцев [1]. Их начальник, старый ямской голова, чуть ли

[1] Духоборцев ли, я не уверен.

не в Зайцеве, пользовался огромным почетом. Когда Павел ехал короноваться в Москву, он велел позвать к себе старика — вероятно, с целью обратить его. Духоборцы, как квекеры, не снимают шапки — с покрытой головой взошел седой старец к гатчинскому императору. Этого он вынести не мог. Мелкая и щепетильная обидчивость особенно поразительна в Павле и во всех его сыновьях, кроме Александра; имея в руках дикую власть, они не имеют даже того звериного сознания силы, которое удерживает большую собаку от нападений на маленькую.

— Перед кем ты стоишь в шапке? — закричал Павел, отдуваясь и со всеми признаками бешеной ярости.— Ты знаешь меня?

— Знаю,— отвечал спокойно раскольник,— ты Павел Петрович.

— В цепи его, в каторжную работу, в рудники! — продолжал *рыцарственный* Павел.

Старика схватили, и император велел *зажечь* с четырех концов село, а жителей выслать в Сибирь на поселение. На следующей станции кто-то из его приближенных бросился к его ногам и сказал ему, что он осмелился приостановить исполнение высочайшей воли и ждет, чтоб он повторил ее. Павел несколько отрезвел и понял, что странно рекомендоваться народу, выжигая селения и ссылая без суда в рудники. Он велел синоду разобрать дело крестьян, а старика сослать на пожизненное заточение в Спасо-Евфимьевский монастырь; он думал, что православные монахи домучат его лучше каторжной работы; но он забыл, что наши монахи не только православные, но люди, любящие деньги и водку, а раскольники водки не пьют и денег не жалеют.

Старик прослыл у духоборцев святым; со всех концов России ходили духоборцы на поклонение к нему, ценою золота покупали они к нему доступ. Старик сидел в своей келье, одетый весь в белом,— его друзья обили полотном стены и потолок. После его смерти они выпросили дозволение схоронить его тело с родными и торжественно пронесли его на руках от Владимира до Новгородской губернии. Одни духоборцы знают, где он схоронен; они уверены, что он при жизни имел уже дар делать чудеса и что его тело нетленно.

Я все это слышал долею от владимирского губернатора И. Э. Куруты, долею от ямщиков в Новгороде и, наконец, от посошника в Спасо-Евфимьевском монастыре. Теперь в этом монастыре нет больше политических арестантов, хотя тюрьма и наполнена разными попами, церковниками, непокорными сыновьями, на которых жаловались родители, и проч. Архимандрит, плечистый, высокий мужчина, в меховой шапке, показывал нам тюремный двор. Когда он взошел, унтер-офицер с ружьем подошел к нему

и рапортовал: «Вашему преосвященству честь имею донести, что по тюремному замку все обстоит благополучно, арестантов столько-то». Архимандрит в ответ благословил его. Что за путаница!

Дела о раскольниках были такого рода, что всего лучше было их совсем не подымать вновь, я их просмотрел и оставил в покое. Напротив, дела о злоупотреблении помещичьей власти следовало сильно перетряхнуть; я сделал все, что мог, и одержал несколько побед на этом вязком поприще, освободил от преследования одну молодую девушку и отдал под опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.

Какая-то барыня держала у себя горничную, не имея на нее никаких документов, горничная просила разобрать ее права на вольность. Мой предшественник благоразумно придумал до решения дела оставить ее у помещицы в полном повиновении. Мне следовало подписать; я обратился к губернатору и заметил ему, что незавидна будет судьба девушки у ее барыни после того, как она подавала на нее просьбу.

— Что же с ней делать?

— Содержать в части!

— На чей счет?

— На счет помещицы, если дело кончится против нее.

— А если нет?

По счастию, в это время взошел губернский прокурор. Прокурор по общественному положению, по служебным отношениям, по пуговицам на мундире должен быть врагом губернатора, по крайней мере, во всем перечить ему. Я нарочно при нем продолжал разговор; губернатор начал сердиться, говорил, что все дело не стоит трех слов. Прокурору было совершенно все равно, что будет и как будет с просительницей, но он тотчас взял мою сторону и привел десять разных пунктов из свода законов. Губернатор, которому, в сущности, еще больше было все равно, сказал мне, насмешливо улыбаясь:

— Тут выход один: или к барыне, или в острог.

— Разумеется, лучше в острог,— заметил я.

— Будет сообразнее с смыслом, изображенным в своде законов,— заметил прокурор.

— Пусть будет по-вашему,— сказал, еще более смеясь, губернатор,— услужили вы вашей *протеже;* как посидит в тюрьме несколько месяцев, поблагодарит вас.

Я не продолжал прения — цель моя была спасти девушку от домашних преследований; помнится, месяца через два ее выпустили совсем на волю.

Между перешенными делами моего отделения была сложная и длившаяся несколько лет переписка о буйстве и всяких зло-

действах в своем именье отставного морского офицера Струговщикова. Дело началось по просьбе его матери, потом крестьяне жаловались. С матерью он как-то поладил, а крестьян сам обвинил в намерении его убить, не приводя, впрочем, никаких серьезных доказательств. Между тем из показаний его матери и дворовых людей видно было, что человек этот делал всевозможные неистовства. Больше года дело это спало сном праведных; справками и ненужными переписками можно всегда затянуть дело — и потом, *почислив* решенным, сдать в архив. Надобно было сделать представление в сенат, чтоб его отдали под опеку, но для этого необходим отзыв дворянского предводителя. Предводители обыкновенно отвечают уклончиво, не желая потерять избирательный голос. Пустить дело в ход совершенно зависело от моей воли, но надобен был coup de grâce [1] предводителя.

Новгородский предводитель, милиционный [2] дворянин, с владимирской медалью, встречаясь со мной, чтоб заявить начитанность, говорил книжным языком докарамзинского периода; указывая раз на памятник, который новгородское дворянство воздвигнуло *самому себе* в награду за патриотизм в 1812 году, он как-то с чувством отзывался о, так сказать, трудной, священной и тем не менее лестной обязанности предводителя.

Все это было в мою пользу.

Предводитель приехал в губернское правление для свидетельства в сумасшествии какого-то церковника; после того как все председатели всех палат истощили весь запас глупых вопросов, по которым сумасшедший мог заключить об них, что и они не совсем в своем уме, и церковника возвели окончательно в должность безумного, я отвел предводителя в сторону и рассказал ему дело. Предводитель жал плечами, показывал вид негодования, ужаса и кончил тем, что отозвался об морском офицере как об отъявленном негодяе, «кладущем тень на благородное общество новгородского дворянства».

— Вероятно,— сказал я,— вы так и ответите письменно, если мы вас спросим?

Предводитель, взятый врасплох, обещал отвечать по совести, прибавив, что «честь и правдивость — беспременные атрибуты россейского дворянства».

Сомневаясь немного в беспременности этих атрибутов, я таки пустил дело в ход; предводитель сдержал слово. Дело пошло в сенат, и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда в мое

---

[1] последний, решающий удар *(франц.).— Ред.*

[2] участник ополчения 1812 г. *(от лат. militia).— Ред.*

отделение был передан сенатский указ, назначавший опеку над имением моряка и отдававший его под надзор полиции. Моряк был уверен, что дело кончено, и, как громом пораженный, явился после указа в Новгород. Ему тотчас сказали, как что было; яростный офицер собирался напасть на меня из-за угла, подкупить бурлаков и сделать засаду, но, непривычный к сухопутным кампаниям, мирно скрылся в какой-то уездный город.

По несчастию, «атрибут» зверства, разврата и неистовства с дворовыми и крестьянами является «беспременнее» правдивости и чести у нашего дворянства. Конечно, небольшая кучка образованных помещиков не дерутся с утра до ночи с своими людьми, не секут всякий день, да и то между ними бывают «Пеночкины», остальные недалеко ушли еще от Салтычихи и американских плантаторов.

Роясь в делах, я нашел переписку псковского губернского правления о какой-то помещице Ярыжкиной. Она засекла двух горничных до смерти, попалась под суд за третью и была почти совсем оправдана уголовной палатой, основавшей, между прочим, свое решение на том, что третья горничная не умерла. Женщина эта выдумывала удивительнейшие наказания — била утюгом, сучковатыми палками, вальком.

Не знаю, что сделала горничная, о которой идет речь, но барыня превзошла себя. Она поставила ее на колени на дрань, или на десницы, в *которых были набиты гвозди.* В этом положении она била ее по спине и по голове вальком и, когда выбилась из сил, позвала кучера на смену; по счастию, его не было в людской; барыня вышла, а девушка, полубезумная от боли, окровавленная, в одной рубашке, бросилась на улицу и в частный дом. Пристав принял показания, и дело пошло своим порядком, полиция возилась, уголовная палата возилась с год времени; наконец суд, явным образом закупленный, решил премудро: позвать мужа Ярыжкиной и внушить ему, чтоб он удерживал жену от таких наказаний, а ее самое, оставя в подозрении, что она способствовала смерти двух горничных, обязать подпиской их впредь не наказывать. На этом основании барыне отдавали несчастную девушку, которая в продолжение дела содержалась где-то.

Девушка, перепуганная будущностью, стала писать просьбу за просьбой; дело дошло до государя, он велел преследовать его и прислал из Петербурга чиновника. Вероятно, средства Ярыжкиной не шли до подкупа столичных, министерских и жандармских следопроизводителей, и дело приняло иной оборот. Помещица отправилась в Сибирь на поселение, ее муж был взят под опеку, все члены уголовной палаты отданы под суд, чем их дело кончилось, не знаю.

Я в другом месте[1] рассказал о человеке, засеченном князем Трубецким, и о камергере Базилевском, высеченном своими людьми. Прибавлю еще одну дамскую историю.

Горничная жены пензенского жандармского полковника несла чайник, полный кипятком; дитя ее барыни, бежавши, наткнулся на горничную, и та пролила кипяток; ребенок был обварен. Барыня, чтоб отомстить той же монетой, велела привести ребенка горничной и обварила ему руку из самовара... Губернатор Панчулидзев, узнав об этом чудовищном происшествии, душевно жалел, что находится в деликатном отношении с жандармским полковником и что, вследствие этого, считает неприличным начать дело, которое могут счесть за личность!

А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями, как в Старой Руссе солдаты военных поселений избили всех русских немцев и немецких русских.

В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую *предупредить легко,* а остановить вряд возможно ли будет.

Старая Русса, военные поселения! — страшные имена! Неужели история, вперед закупленная аракчеевской на-водкой[2], никогда не отдернет савана, под которым правительство спрятало ряд злодейств, холодно, систематически совершенных при введении поселений? Мало ли ужасов было везде, но тут прибавился особый характер — петербургско-гатчинский, немецко-татарский. Месяцы целые продолжалось *забивание палками и засекание розгами* непокорных... пол не просыхал от крови в земских избах и канцеляриях... Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!

Монгольская сторона московского периода, исказившая славянский характер русских, фухтельное бесчеловечье, исказившее петровский период, воплотилось во всей роскоши безобразия в графе Аракчееве. Аракчеев, без сомнения, одно из самых гнусных лиц, всплывших после Петра I на вершины русского правительства; этот

Холоп венчанного солдата,—

как сказал об нем Пушкин, был идеалом образцового капрала, так, как он носился в мечтах отца Фридриха II: нечеловеческая

[1] «Крещеная собственность».

[2] Аракчеев положил, кажется, 100 000 рублей в ломбард для выдачи через сто лет с процентами тому, кто напишет лучшую историю Александра I.

преданность, механическая исправность, точность хронометра, никакого чувства, рутина и деятельность, ровно столько ума, сколько нужно для исполнителя, и ровно столько честолюбия, зависти, желчи, чтоб предпочитать власть деньгам. Такие люди — клад для царей. Только мелкой злопамятностью Николая и можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями.

Павел открыл Аракчеева по сочувствию. Александр, пока еще у него был стыд, не очень приближал его; но, увлеченный фамильной страстью к выправке и фрунту, он вверил ему походную канцелярию. О победах этого генерала от артиллерии мы мало слышали; [1] он исполнял больше статские должности в военной службе, его сражения давались на солдатской спине, его враги приводились к нему в цепях, они вперед были побеждены. В последние годы Александра Аракчеев управлял всей Россией. Он мешался во все, на все имел право и бланковые подписи. Расслабленный и впадавший в мрачную меланхолию, Александр поколебался немного между кн. А. Н. Голицыным и Аракчеевым и, естественно, склонился окончательно на сторону последнего.

Во время таганрогской поездки Александра в именье Аракчеева, в Грузине, дворовые люди убили любовницу графа; это убийство подало повод к тому следствию, о котором с ужасом до сих пор, то есть через семнадцать лет, говорят чиновники и жители Новгорода.

Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар ее зарезал. Преступление было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.

Но виновный был нужен для мести нежного старика, он бросил дела всей империи и прискакал в Грузино. Середь пыток и крови, середь стона и предсмертных криков Аракчеев, повязанный окровавленным платком, снятым с трупа наложницы, писал к Александру чувствительные письма, и Александр отвечал ему: «Приезжай отдохнуть на груди твоего друга от твоего несчастия». Должно быть, баронет Виллие был прав, что у императора перед смертию вода разлилась в мозгу.

---

[1] Аракчеев был жалкий трус, об этом говорит граф Толь в своих «Записках» и статс-секретарь Марченко в небольшом рассказе о 14 декабре, помещенном в «Полярной звезде». Я слышал о том, как он прятался во время старорусского восстания и как был без души от страха, от инженерского генерала Рейхеля.

Но виновные не открывались. Русский человек удивительно умеет молчать.

Тогда, совершенно бешеный, Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почернелый, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению, за дальнее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; купцы, писаря ждали по неделям в части допроса. Жители прятались по домам, боялись ходить по улицам; о самой истории никто не осмеливался поминать.

Клейнмихель, служивший при Аракчееве, участвовал в этом следствии...

Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него недостало сил. Он взошел к губернатору — это было при старике Попове, который мне рассказывал,— и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника с *поднятым кулаком:* «Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — изменник!» Исправник был арестован и подал в отставку; душевно жалею, что не знаю его фамилии,— да будут ему прощены его прежние грехи за эту минуту, скажу просто, геройства: с такими разбойниками вовсе была не шутка показать человеческое чувство.

Женщину пытали, она ничего не знала о деле... однако ж умерла.

Да и «благословенный» Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Середь торжества следопроизводителей пришел приказ Николая отдать их под суд и остановить все дело.

Губернатора велено было судить сенату...[1], оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации, под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева, под него подошел этот мерзавец. Через два-три года он же был судим в Тамбове за злоупотребление власти в своем именье; да, он *подошел* под манифест Николая, он был ниже его.

---

[1] Чрезвычайно досадно, что я забыл имя этого достойного начальника губернии, помнится, его фамилья Жеребцов.

В начале 1842 года я был до невозможности утомлен губернским правлением и придумывал предлог, как бы отделаться от него. Пока я выбирал то одно, то другое средство, случай совершенно внешний решил за меня.

Раз в холодное зимнее утро приезжаю я в правление, в передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собой дитя. Пока она мне рассказывала дело, взошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить, ему было скучно, женщина, рыдая, цеплялась за его ноги, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: «Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь». После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю.

И я пошел... с меня было довольно... разве эта женщина не приняла меня *за одного из них?* Пора кончить комедию.

— Вы нездоровы? — спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

— Болен,— отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении. Потом я подал в отставку «за болезнию». Отставку мне сенат дал, присовокупив к ней чин *надворного советника;* но Бенкендорф с тем вместе сообщил губернатору, что мне запрещен въезд в столицы и велено жить в Новгороде.

Огарев, возвратившийся из первой поездки за границу, принялся хлопотать в Петербурге, чтоб нам было разрешено переехать в Москву. Я мало верил успеху такого протектора и страшно скучал в дрянном городишке с огромным историческим именем. Между тем Огарев все обделал. 1 июля 1842 года императрица, пользуясь семейным праздником, просила государя разрешить мне жительство в Москве, взяв во внимание болезнь моей жены и ее желание переехать туда. Государь согласился, и через три дня моя жена получила от Бенкендорфа письмо, в котором он сообщал, что мне разрешено сопровождать ее в Москву вследствие предстательства государыни. Он заключил письмо приятным извещением, что полицейский надзор будет продолжаться и там.

Новгород я оставлял без всякого сожаления и торопился как можно скорее уехать. Впрочем, при разлуке с ним случилось чуть ли не единственно приятное происшествие в моей новгородской жизни.

У меня не было денег; ждать из Москвы я не хотел, а потому и поручил Матвею сыскать мне тысячи полторы рублей ассигнациями. Матвей через час явился с содержателем гостиницы Гибиным, которого я знал и у которого в гостинице жил с неделю. Гибин, толстый купец с добродушным видом, кланяясь, подал пачку ассигнаций.

— Сколько желаете процентов? — спросил я его.

— Да я, видите,— отвечал Гибин,— этим делом не занимаюсь и в припент денег не даю, а так как наслышал от Матвея Савельевича, что вам нужны деньги на месяц, на другой, а мы вами оченно довольны, а деньги, слава богу, свободные есть,— я и принес.

Я поблагодарил его и спросил, что он желает: простую расписку или вексель? но Гибин и на это отвечал:

— Дело излишнее, я вашему слову верю больше, чем гербовой бумаге.

— Помилуйте, да ведь могу же я умереть.

— Ну, так к горести об вашей кончине,— прибавил Гибин, смеясь,— не много прибудет от потери денег.

Я был тронут и вместо расписки горячо пожал ему руку. Гибин, по русскому обычаю, обнял меня и сказал:

— Мы ведь все смекаем, знаем, что служили-то вы поневоле и что вели себя не то, что другие, прости господи, чиновники, и за нашего брата, и за черный народ заступались, вот я и рад, что потрафился случай сослужить службу.

Когда мы поздно вечером выезжали из города, ямщик осадил лошадей против гостиницы и тот же Гибин подал мне на дорогу торт величиною с колесо...

Вот моя «пряжка за службу»!

ГЛАВА XXVIII

Grübelei[1].— *Москва после ссылки.— Покровское.— Смерть Матвея.— Иерей Иоанн*

Жизнь наша в Новгороде шла нехорошо. Я приехал туда не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением. Вторая ссылка с своим пошлым характером раздражала больше, чем огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять дух, а только дразнила, в ней не было ни интереса новости, ни раздра-

[1] Мучительные раздумья *(нем.).— Ред.*

жения опасности. Одного губернского правления с своим Эльпидифором Антиоховичем Зуровым, советником Хлопиным и виц-губернатором Пименом Араповым было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь.

Я сердился; грустное расположение брало верх у Natalie. Нежная натура ее, привыкнувшая в детстве к печали и слезам, снова отдавалась себябуравящей тоске. Она долго останавливалась на мучительных мыслях, легко пропуская все светлое и радостное. Жизнь становилась сложнее, струн было больше, а с ними и больше тревоги. Вслед за болезнью Саши — испуг III Отделения, несчастные роды, смерть младенца. Смерть младенца едва чувствуется отцом, забота о родильнице заставляет почти забывать промелькнувшее существо, едва успевшее проплакать и взять грудь. Но для матери новорожденный — старый знакомый, она давно *чувствовала* его, между ними была физическая, химическая, нервная связь; сверх того, младенец для матери — выкуп за тяжесть беременности, за страдания родов, без него мучения, лишенные цели, оскорбляют, без него ненужное молоко бросается в мозг.

После кончины Natalie я нашел между ее бумагами записочку, о которой я совсем забыл. Это были несколько строк, написанных мною за час или за два до рождения Саши. Это была молитва, благословение, посвящение неродившегося существа на «службу человечества», обречение его на «трудный путь».

С другой стороны было написано рукой Natalie: «1 января, 1841. Вчера Александр дал мне этот листок; лучшего подарка он не мог сделать, этот листок разом вызвал всю картину трехлетнего счастья, беспрерывного, беспредельного, основанного на одной любви.

Так перешли мы в новый год; что бы ни ждало нас в нем, я склоняю голову и говорю за нас обоих: да будет твоя воля!

Мы встречали новый год дома, уединенно; только А. Л. Витберг был у нас. Недоставало маленького Александра в кружке нашем, малютка покоился безмятежным сном, для него еще не существует ни прошедшего, ни будущего. Спи, мой ангел, беззаботно, я молюсь о тебе — и о *тебе*, дитя мое, еще не родившееся, но которого я уже люблю всей любовью матери, твое движение, твой трепет так много говорят моему сердцу. Да будет твое пришествие в мир радостно и благословенно!»

Но благословение матери не сбылось: младенец был казнен Николаем. Мертвящая рука русского самодержца замешалась и тут, — и тут задушила!

Смерть малютки не прошла ей даром.

С грустью и взошедшей внутрь злобой переехали мы в Новгород.

Правда того времени так, как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, проходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книге того времени. Я собирался писать журнал, начинал много раз и никогда не продолжал. В день моего рождения в Новгороде Natalie подарила мне белую книгу, в которой я иногда писал, что было на сердце или в голове.

Книга эта уцелела. На первом листе Natalie написала: «Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны!»

А через три года она прибавила на ее последнем листе:

«В 1842 я желала, чтоб все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось,— и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе,— в любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя.

Мир прошедшему и благословение грядущему! *25 марта 1845, Москва».*

Вот что там записано 4 апреля 1842 года.

«Господи, какая невыносимая тоска! слабость ли это или мое законное право? Неужели мне считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться,— ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок... и еще годы надобно таскать эту тяжесть!»

И, будто сам испугавшись, я выписал вслед за тем стихи Гете:

Gut verloren — *etwas* verloren,
Ehre verloren — *viel* verloren.
Musst Ruhm gewinnen,
Da werden die Leute sich anders besinnen.
Mut verloren — *alles* verloren.
Da wär's besser nicht geboren [1].

[1] Потерять имущество — потерять *немного*. Потерять честь — потерять *много*. Но завоюешь славу — и люди изменят свои мнения. Потерять мужество — *все* потерять. Тогда уж лучше было не родиться *(нем.).— Ред.*

И потом:

«...Мои плечи ломятся, но еще несут!»

«...Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? а между тем наши страдания — почки, из которых разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее? Отчего руки не подымаются на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. Пусть же они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем: мы заслужили их грусть!»

«...Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь,— и как бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту (просил его, чтоб он выхлопотал мне право переехать в Москву). Написавши такое письмо, я делаюсь болен, on se sent flétri [1]. Вероятно, это чувство, которое испытывают публичные женщины, продаваясь первые раза за деньги...»

И вот эту-то досаду, этот строптивый крик нетерпения, эту тоску по *свободной деятельности*, чувство цепей на ногах — Natalie приняла иначе.

Часто заставал я ее у кроватки Саши с заплаканными глазами; она уверяла меня, что все это от расстроенных нерв, что лучше этого не замечать, не спрашивать... я верил ей.

Раз воротился я домой поздно вечером; она была уже в постеле, я взошел в спальную. На сердце у меня было скверно. Филиппович пригласил меня к себе, чтоб сообщить мне свое подозрение на одного из наших общих знакомых, что он в сношениях с полицией. Такого рода вещи обыкновенно щемят душу не столько возможной опасностью, сколько чувством нравственного отвращения.

Я ходил молча по комнате, перебирая слышанное мною, вдруг мне показалось, что Natalie плачет; я взял ее платок — он был совершенно взмочен слезами.

— Что с тобой? — спросил я, испуганный и потрясенный.

Она взяла мою руку и голосом, полным слез, сказала мне:

— Друг мой, я скажу тебе правду; может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебе скучно,— я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бедность твоей жизни — и в самом деле, что я могу сделать для тебя?

---

[1] чувствуешь себя запятнанным *(франц.).— Ред.*

Я был похож на человека, которого вдруг разбудили середь ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное: он уже испуган, дрожит, но еще не понимает, в чем дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной, глубокой любви, что и не говорил об этом, это было великое *подразумеваемое* всей жизни нашей; покойное сознание, беспредельная уверенность, исключающая сомненье, даже неуверенность в себе — составляли основную стихию моего личного счастья. Покой, отдохновение, художественная сторона жизни — все это было как перед нашей встречей на кладбище, 9 мая 1838, как в начале владимирской жизни — в ней, в ней и в ней!

Мое глубокое огорчение, мое удивление сначала рассеяли эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокоивал ее, утешал, она сама улыбалась над черными призраками, и снова солнце освещало наш уголок; но только что я забывал их, они опять подымали голову, совершенно ничем не вызванные, и, когда они проходили, я вперед боялся их возвращения.

Таково было расположение духа, в котором мы, в июле 1842 года, переехали в Москву.

Московская жизнь, сначала слишком рассеянная, не могла благотворно действовать, ни успокоить. Я не только не помог ей в это время, а, напротив, дал повод развиться сильнее и глубже всем Grübelei...

Когда мы приезжали из новгородской ссылки в Москву, вот что случилось перед самым отъездом.

Как-то утром я взошел в комнату моей матери; молодая горничная убирала ее; она была из новых, то есть из доставшихся моему отцу после Сенатора. Я ее почти совсем не знал. Я сел и взял какую-то книгу. Мне показалось, что девушка плачет; взглянул на нее — она в самом деле плакала и вдруг в страшном волнении подошла ко мне и бросилась мне в ноги.

— Что с тобой, что с тобой — говори просто! — сказал я ей, сам удивленный и сконфуженный.

— Возьмите меня с собой... Я вам буду служить верой и правдой, вам надобно горничную, возьмите меня. Здесь я *должна* погибнуть от стыда...— и она рыдала, как дитя.

Тут только я разглядел причину.

С разгоревшимся от слез и стыда лицом, с выражением страха и ожидания, с умоляющим взглядом стояла передо мной бедная девушка — с тем особенным выражением, которое дает женщине беременность.

Я улыбнулся и сказал ей, чтоб она приготовляла свои пожитки. Я знал, что моему отцу было все равно, кого я возьму с собой.

Она у нас прожила год. Время под конец нашей жизни в Новгороде было тревожно — я досадовал на ссылку и со дня на день ждал в каком-то раздраженье разрешения ехать в Москву. Тут я только заметил, что горничная очень хороша собой... Она догадалась!.. и все прошло бы без шага далее. Случай помог. Случай всегда находится, особенно когда ни с одной стороны его не избегают.

Мы переехали в Москву. Пиры шли за пирами... Возвратившись раз поздно ночью домой, мне приходилось идти задними комнатами. Катерина отворила мне дверь. Видно было, что она только что оставила постель, щеки ее разгорелись ото сна; на ней была наброшена шаль; едва подвязанная густая коса готова была упасть тяжелой волной... Дело было на рассвете. Она взглянула на меня и, улыбаясь, сказала:

— Как вы поздно.

Я смотрел на нее, упиваясь ее красотой, и инстинктивно, полусознательно положил руку на ее плечо, шаль упала... она ахнула... ее грудь была обнажена.

— Что вы это? — прошептала она, взглянула взволнованно мне в глаза и отвернулась, словно для того, чтоб оставить меня без свидетеля... Рука моя коснулась разгоряченного сном тела... Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдается ей, теряется в ней...

В эту минуту я любил эту женщину, и будто в этом упоении было что-нибудь безнравственное... кто-нибудь обижен, оскорблен... и кто же? Ближайшее, самое дорогое мне существо на земле. Мое страстное увлечение имело слишком мимолетный характер, чтоб овладеть мною,— тут не было корней (ни с той, ни с другой стороны, с ее стороны вряд было ли и увлеченье), и все прошло бы бесследно, оставя по себе улыбку, знойное воспоминанье и, может, раза два вспыхнувшую краску на щеках... Вышло не так, замешались другие силы; *необдуманно* был мною пущен камень... остановить, направить было вне моей воли...

Мне показалось, что Natalie что-то слышала, что-то подозревала, я решился рассказать ей, что было. Трудны такие исповеди, но мне казалось это необходимым очищением, экспиацией, восстановлением той откровенной чистоты отношений, которую молчание с моей стороны могло потрясти, испугать. Я считал, что самая откровенность смягчит удар, но он поразил сильно и глубоко; она была сильно огорчена, ей казалось, что я пал и ее увлек с собой в какое-то падение. Зачем я не подумал о последствиях и не остановился не перед самим поступком, а перед тем *отражением,* которое он должен был вызвать в существе, так неразрывно, тесно связанном со мною? Разве я не знал аскетиче-

скую точку зрения, с которой женщина, самая развитая и давно покончившая с христианством, смотрит на *измену*, не делая никаких различий, не принимая никаких облегчающих причин?

Упрекать женщину в ее исключительном взгляде вряд справедливо ли. Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить в них предрассудки? Их разбивает опыт — а оттого и иногда ломится не предрассудок, а жизнь. Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбища или места, на которых...

Она перешагнула — но коснувшись гроба! Она все поняла, но удар был неожидан и силен; вера в меня поколебалась, идол был разрушен, фантастические мучения уступили факту. Разве случившееся не подтверждало праздность сердца? В противном случае разве оно не противустояло бы первому искушению — и какому? И где? В нескольких шагах от нее. И кто *соперница?* Кому она пожертвована? Женщине, вешавшейся каждому на шею...

Я чувствовал, что все это было не так, чувствовал, что она никогда не была пожертвована, что слово «соперница» пейдет и что если б *эта* женщина не была легкой женщиной, то ничего бы и не было, но, с другой стороны, я понимал и то, что оно могло так казаться.

Борьба на смерть шла внутри ее, и тут, как прежде, как после, я удивлялся. Она ни разу не сказала слова, которое могло бы обидеть Катерину, по которому она могла бы догадаться, что Natalie знала о бывшем,— упрек был для меня. Мирно и тихо оставила она наш дом. Natalie ее отпустила с такою кротостью, что простая женщина, рыдая, на коленях перед ней, сама рассказала ей, что было, и все же, наивное дитя народа, просила прощенья.

Natalie занемогла. Я стоял возле свидетелем бед, наделанных мною, и больше, чем свидетелем,— собственным обвинителем, готовым идти в палачи. Перевернулось и мое воображение — мое *падение* принимало все большие и большие размеры. Я понизился в собственных глазах и был близок к отчаянью. В записной книге того времени уцелели следы целой психической болезни от покаянья и себяобвинения до ропота и нетерпенья, от смиренья и слез до негодованья...

«Я виноват, много виноват, я заслужил крест, лежащий на мне (записано 14 марта 1843 года)... Но когда человек с глубоким сознанием своей вины, с полным раскаянием и отречением от прошедшего просит, чтоб его избили, казнили, он не возмутится никаким приговором, он вынесет все, смиренно склоняя голову, он надеется, что ему будет легче по ту сторону наказания, жертвы, что казнь примирит, замкнет прошедшее. Только сила карающая должна на том остановиться; если она будет продолжать кару, если она будет поминать старое, человек возму-

тится и сам начнет реабилитировать себя... Что же в самом деле он может прибавить к своему искреннему раскаянию? Чем ему еще примириться? Дело человеческое состоит в том, чтоб, оплакавши вместе с виновным его падение, указать ему, что он все еще обладает силами восстановления. Человек, которого уверяют, что он сделал смертный грех, должен или зарезаться, или еще глубже пасть, чтоб забыться,— иного выхода ему нет».

13 апреля. «Любовь!.. Где ее сила? Я, любя, нанес оскорбление. Она, еще больше любя, не может стереть оскорбление. Что же после этого может человек для человека? Есть развития, для которых нет прошедшего, оно *в них* живо и не проходит... они не гнутся, а ломятся, они падают падением другого и не могут сладить с собой».

30 мая 1843. «Исчезло утреннее, алое освещение, и когда миновали бури и рассеялись мрачные тучи, *мы были больше умны и меньше счастливы*».

Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше,— вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен.

Это был кризис, болезненный переход из юности в совершеннолетие. Она не могла сладить с мыслями, точившими ее, она была больна, худела,— испуганный, упрекая себя, стоял я возле и видел, что той самодержавной власти, с которой я мог прежде заклинать мрачных духов, у меня нет больше, мне было больно это и бесконечно жаль ее.

Говорят, что дети растут в болезнях; в эту психическую болезнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. Вместо утреннего, яркого, но косого освещения она входила этим скорбным путем в светлый полдень. Организм вынес — это только и было нужно. Не утрачивая ни одной йоты женственности, она мыслью развилась с необычайной смелостью и глубиной. Тихо и с самоотверженной улыбкой склонялась она перед неотвратимым, без романтического ропота, без личной строптивости и без кичливого удовольствия, с другой стороны.

Не в книге и книгой освободилась она, а ясновидением и жизнью. Неважные испытания, горькие столкновения, которые для многих прошли бы бесследно, провели сильные бразды в ее душе и были достаточным поводом внутренней глубокой работы. Довольно было легкого намека, чтоб от последствия к последствию она доходила до того безбоязненного пониманья истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно расставалась с своим иконостасом, в котором стояло так много заветных святынь, облитых слезами печали и радости; она покидала их, не краснея, как краснеют большие девочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась от них, она их уступила с болью,

зная, что она станет от этого беднее, беззащитнее, что кроткий свет мерцающих лампад заменится серым рассветом, что она дружится с суровыми, равнодушными силами, глухими к лепету молитвы, глухими к загробным упованиям. Она тихо отняла их от груди, как умершее дитя, и тихо опустила их в гроб, уважая в них прошлую жизнь, поэзию, данную ими, их утешения в иные минуты. Она и после не любила холодно касаться до них, так, как мы минуем без нужды ступать на земляную насыпь могилы.

При этой сильной внутренней работе, при этой ломке и перестройке всех убеждений явилась естественная потребность отдыха и одиночества.

Мы уехали в подмосковную моего отца.

И как только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями,— мы широко вздохнули и опять светло взглянули на жизнь. Мы жили в деревне до поздней осени. Изредка приезжали гости из Москвы, Кетчер гостил с месяц, все друзья явились к 26 августа; потом опять тишина, тишина и лес, и поля — и никого, кроме нас.

Уединенное Покровское, потерянное в огромных лесных дачах, имело совершенно другой характер, гораздо больше серьезный, чем весело брошенное на берегу Москвы-реки Васильевское с своими деревнями. Разница эта даже была заметна между крестьянами. Покровские мужички, задвинутые лесами, меньше васильевских походили на подмосковных, несмотря на то что жили двадцатью верстами ближе к Москве. Они были тише, проще и чрезвычайно тесно сжились между собой. Мой отец переселил в Покровское одну богатую крестьянскую семью из Васильевского, но они никогда не считали эту семью за принадлежащую к их селу и называли их «посельщиками».

С Покровским я тоже был тесно соединен всем детством, там я бывал даже таким ребенком, что и не помню, а потом с 1821 года почти всякое лето, отправляясь в Васильевское или из Васильевского, мы заезжали туда на несколько дней. Там жил старик Кашенцов, разбитый параличом, в опале с 1813 года, и мечтал увидеть своего барина с кавалериями и регалиями; там жил и умер потом, в холеру 1831, почтенный седой староста с брюшком, Василий Яковлев, которого я помнил во все свои возрасты и во все цвета его бороды, сперва темно-русой, потом совершенно седой; там был молочный брат мой Никифор, гордившийся тем, что для меня отняли молоко его матери, умершей впоследствии в доме умалишенных...

Небольшое село из каких-нибудь двадцати или двадцати пяти дворов стояло в некотором расстоянии от довольно большого господского дома. С одной стороны был расчищенный и обнесенный

решеткой полукруглый луг, с другой — вид на запруженную речку для предполагаемой лет за пятнадцать тому назад мельницы и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лет пятнадцать, Сенатор и мой отец, владевшие этим именьем сообща.

Дом, построенный Сенатором, был очень хорош: высокие комнаты, большие окна и с обеих сторон сени вроде террас. Он был построен из отборных толстых бревен, ничем не покрытых ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченных паклей и мохом. Стены эти пахли смолой, выступавшей там-сям янтарным пóтом. Перед домом, за небольшим полем, начинался темный строевой лес, через него шел просек в Звенигород; по другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей через майковскую фабрику — на Можайку. Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей... и запах... этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами... которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при широкко, перед грозой... и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик, валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!

Солнце село, еще очень тепло, домой идти не хочется, мы сидим на траве. Кетчер разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик? к нам, что ли? Сегодня суббота — может быть.

— Исправник едет куда-нибудь,— говорит Кетчер, подозревая, что это не он.

Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок, тут одна дорога и есть — к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда; Михаил Семенович, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясницу. А Кетчер уже бранит их:

— Да что вас эта нелегкая принесла в восемь часов вечера, не могли раньше ехать, все привередник Белинский,— не может рано встать. Вы что смотрели!

— Да он еще больше одичал у тебя,— говорит Белинский,— да и волосы какие отрастил! Ты, Кетчер, мог бы в «Макбете» представлять подвижной лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств, есть злодеи, которые позже нашего приезжают.

Другая тройка уже загибает на двор: Грановский, Е. Корш.

— Надолго ли вы?

— На два дни.

— Превосходно! — И сам Кетчер рад до того, что встречает их почти так, как Тарас Бульба своих сыновей.

Да, это была одна из светлых эпох нашей жизни, от прошлых бурь едва оставались исчезавшие облака; дома, в кругу друзей, была полная гармония!

А чуть было нелепая случайность не перепортила все.

Как-то вечером Матвей, при нас показывая Саше что-то на плотине, поскользнулся и упал в воду с мелкой стороны. Саша перепугался, бросился к нему, когда он вышел, вцепился в него ручонками и повторял сквозь слезы: «Не ходи, не ходи, ты утонешь!» Никто не думал, что эта детская ласка будет для Матвея последняя и что в словах Саши заключалось для него страшное пророчество.

Измокший и замаравшийся Матвей пошел спать,— и мы больше не видали его.

На другое утро я стоял на балконе часов в семь, послышались какие-то голоса, больше и больше, нестройные крики, и вслед за тем показались мужики, бежавшие стремглав.

— Что у вас там?

— Да беда,— отвечали они,— человек-то ваш, никак, тонет... одного вовремя вытащили, а другого не могут сыскать.

Я бросился к реке. Староста был налицо и распоряжался без сапог и с засученными портками; двое мужиков с комяги забрасывали невод. Минут через пять они закричали: «Нашли, нашли!» — и вытащили на берег мертвое тело Матвея. Цветущий юноша этот, красивый, краснощекий, лежал с открытыми глазами, без выражения жизни, и уж нижняя часть лица начала вздуваться. Староста положил тело на берегу, строго наказал мужикам не дотрогиваться, набросил на него армяк, поставил караульного и послал за земской полицией...

Когда я возвратился домой, я встретился с Natalie; она уже знала, что случилось, и, рыдая, бросилась ко мне.

Жаль, очень жаль нам было Матвея. Матвей в нашей небольшой семье играл такую близкую роль, был так тесно связан со всеми главными событиями ее последних пяти лет и так искренно любил нас, что потеря его не могла легко пройти.

«Может,— писал я тогда,— для него смерть — благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего. Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно, его развитие мучило его своей неравномерностью».

Печальная сторона в судьбе Матвея состояла именно в разрыве, который неосторожное развитие внесло в его жизнь и в немогуте наполнить его, в отсутствии твердой воли одолеть им. Благородные чувства и нежное сердце в нем были сильнее ума и характера. Он быстро, *по-женски*, почуял многое, особенно из нашего воззрения; но смиренно возвратиться к началам, к азбуке и выполнить учением пустоты и пробелы он не был в состоянии. Звания своего он не любил, да и не мог любить. Общественное неравенство нигде не является с таким унижающим, оскорбительным характером, как в отношении между барином и слугой. Ротшильд на улице гораздо ровнее с нищим, который стоит с метлой и разметает перед ним грязь, чем с своим камердинером в шелковых чулках и белых перчатках.

Жалобы на слуг, которые мы слышим ежедневно, так же справедливы, как жалобы слуг на господ, и это не потому, чтоб те и другие сделались хуже, а потому, что их отношение больше и больше приходит в сознание. Оно удручительно для слуги и развращает барина.

Мы так привыкли к нашему аристократическому отношению к прислуге, что вовсе его не замечаем. Сколько есть на свете барышень, добрых и чувствительных, готовых плакать о зябнущем щенке, отдать нищему последние деньги, готовых ехать в трескучий мороз на томболу [1] в пользу разоренных в Сирии, на концерт, дающийся для погорелых в Абиссинии, и которые, прося маменьку еще остаться на кадриль, ни разу не подумали о том, как малютка-форейтор мерзнет на ночном морозе, сидя верхом с застывающей кровью в жилах.

Гнусно отношение господ с слугами. Работник, по крайней мере, знает свою работу, он что-нибудь делает, он что-нибудь может сделать поскорее, и тогда он прав, наконец, он может мечтать, что сам будет хозяином. Слуга не может кончить своей работы, он в беличьем колесе; жизнь сорит, сорит беспрестанно, слуга беспрестанно подчищает за ней. Он *должен* взять на себя все мелкие неудобства жизни, все грязные, все скучные ее стороны. На него надевают ливрею, чтоб показать, что он *не сам, а чей-то*. Он ухаживает за человеком вдвое больше здоровым, чем он сам, он должен ступать в грязь, чтоб тот сухо прошел, он должен мерзнуть, чтоб тому было тепло.

Ротшильд не делает нищего-ирландца свидетелем своего лукулловского обеда, он его не посылает наливать двадцати человекам Clos de Vougeot с подразумеваемым замечанием, что если он пальет себе, то его прогонят как вора. Наконец, ирландец тем

[1] лотерею *(от итал. tombola).— Ред.*

уже счастливее комнатного раба, что он не знает, какие есть мягкие кровати и пахучие вины.

Матвею было лет пятнадцать, когда он перешел ко мне от Зонненберга. С ним я жил в ссылке, с ним во Владимире; он нам служил в то время, когда мы были без денег. Он, как нянька, ходил за Сашей, наконец, он имел ко мне безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из пониманья, что *я не в самом деле барин.* Его отношение ко мне больше походило на то, которое встарь бывало между учениками итальянских художников и их maestri [1]. Я часто был им недоволен, но вовсе не как слугой... я печально смотрел на его будущность; чувствуя тягость своего положения, страдая об этом, он ничего не делал, чтоб выйти из него. В его лета, если б он хотел заниматься, он мог бы начать новую жизнь; но для этого-то и надобен был постоянный, настойчивый труд, часто скучный, часто детский. Его чтение ограничивалось романами и стихами; он их понимал, ценил, иногда очень верно, но серьезные книги его утомляли. Он медленно и плохо считал, дурно и нечетко писал. Сколько я ни настаивал, чтоб он занялся арифметикой и чистописанием, не мог дойти до этого: вместо русской грамматики он брался то за французскую азбуку, то за немецкие диалоги, разумеется, это было потерянное время и только обескураживало его. Я его сильно бранил за это, он огорчался, иногда плакал, говорил, что он несчастный человек, что ему учиться поздно, и доходил иногда до такого отчаяния, что желал умереть, бросал все занятия и недели, месяцы проводил в скуке и праздности.

С посредственными способностями, без большого размаха можно было бы еще сладить. Но, по несчастию, у этих психически тонко развитых, но мягких натур большею частию сила тратится на то, чтоб ринуться вперед, а на то, чтоб продолжать путь, ее и нет. Издали образование, развитие представляются им с своей поэтической стороны, ее-то они и хотели бы захватить, забывая, что им недостает всей технической части дела — doigté [2], без которого инструмент все-таки не покоряется.

Часто спрашивал я себя, не ядовитый ли дар для него его полуразвитие? Что-то ждет его в будущем?

Судьба разрубила гордиев узел!

Бедный Матвей! К тому же и самые похороны его были окружены, при всем подавляющем, угрюмом характере, скверной обстановкой и притом совершенно отечественной.

---

[1] учителями *(итал.).— Ред.*
[2] умения *(франц.).— Ред.*

К полудню приехали становой и писарь, с ними явился и наш сельский священник, горький пьяница и старый старик. Они освидетельствовали *тело*, взяли допросы и сели в зале писать. Поп, ничего не писавший и ничего не читавший, надел на нос большие серебряные очки и сидел молча, вздыхая, зевая и крестя рот, потом вдруг обратился к старосте и, сделавши движение, как будто нестерпимо болит поясница, спросил его:

— А что, Савелий Гаврилович, закусочка будет?

Староста, важный мужик, произведенный Сенатором и моим отцом в старосты за то, что он был *хороший плотник*, не из той деревни (следственно, ничего в ней не знал) и был очень красив собой, несмотря на шестой десяток,— погладил свою бороду, расчесанную веером, и, так как ему до этого никакого дела не было, отвечал густым басом, посматривая на меня исподлобья:

— А уж это не могим доложить-с!

— Будет,— отвечал я и позвал человека.

— Благодарение господу богу; да и пора, рано встаю, Александр Иванович, так и отощал.

Становой положил перо и, потирая руки, сказал, прихорашиваясь:

— У нас, кажись, отец-то Иоанн взалкал; дело доброе-с, коли хозяин не прогневается, можно-с.

Человек принес холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу.

— Благословите-ка, батюшка, яко пастырь, и покажите пример, а мы, грешные, за вами,— заметил становой.

Поп с поспешностию и с какой-то чрезвычайно сжатой молитвой хватил винную рюмку сладкой водки, взял крошечный верешок хлеба в рот, погрыз его и в ту же минуту выпил другую и потом уже тихо и продолжительно занялся ветчиной.

Становой — и это мне особенно врезалось в память,— повторяя тоже сладкую водку, был ею доволен и, обращаясь ко мне с видом знатока, заметил:

— Полагаю-с, что доппель-кюммель[1] у вас от вдовы Руже-с?

Я не имел понятия, где покупали водку, и велел подать полуштоф, действительно водка была от вдовы Руже. Какую практику надобно было иметь, чтоб различить *по букету* водки имя заводчика!

Когда они покончили, староста положил становому в телегу куль овса и мешок картофеля, писарь, напившийся в кухне, сел на облучок, и они уехали.

Священник пошел нетвердыми стопами домой, ковыряя в

[1] тминная водка *(от нем. Doppelkümmel).— Ред.*

зубах какой-то щепкой. Я приказывал людям о похоронах, как вдруг отец Иоанн остановился и замахал руками; староста побежал к нему, потом от него ко мне.

— Что случилось?

— Да батюшка велел вашу милость спросить,— отвечал староста, не скрывая улыбки,— кто, мол, поминки будет справлять по покойнике?

— Что же ты ему сказал?

— Сказал, чтоб не сумлевался, блины, мол, будут.

Матвея схоронили, блинов и водки попу дали, а все-то это оставило за собой длинную темную тень, мне же предстояло еще ужасное дело — известить его мать.

Расстаться с честным иереем храма Покрова божией матери в селе Покровском я никак не могу, не рассказав об нем следующее событие.

Отец Иоанн был не модный семинарский священник, не знал греческих спряжений и латинского синтаксиса. Ему было за семьдесят лет, полжизни он провел диаконом в большом селе «Елисавет Алексиевны Голохвастовой», которая упросила митрополита рукоположить его священником и определить на открывшуюся ваканцию в селе моего отца. Как он ни старался всею жизнию привыкнуть к употреблению большого количества сивухи, он не мог победить ее действия, и поэтому он после полудня был постоянно пьян. Пил он до того, что часто со свадьбы или с крестин в соседних деревнях, принадлежавших к его приходу, крестьяне выносили его замертво, клали, как сноп, в телегу, привязывали вожжи к передку и отправляли его под единственным надзором его лошади. Клячонка, хорошо знавшая дорогу, привозила его преаккуратно домой. Матушка попадья также пила допьяна всякий раз, когда бог пошлет. Но замечательнее этого то, что его дочь, лет четырнадцати, могла, не морщась, выпивать чайную чашку пенника.

Мужики презирали его и всю его семью; они даже раз жаловались на него миром Сенатору и моему отцу, которые просили митрополита взойти в разбор. Крестьяне обвиняли его в очень больших запросах денег за требы, в том, что он не хоронил более трех дней без платы вперед, а венчать вовсе отказывался. Митрополит или консистория нашли просьбу крестьян справедливой и послали отца Иоанна на два или на три месяца толочь воду. Поп возвратился после архипастырского исправления не только вдвое пьяницей, но и вором.

Наши люди рассказывали, что раз в храмовой праздник, под хмельком, бражничая вместе с попом, старик крестьянин ему сказал: «Ну вот, мол, ты азарник какой, довел дело до высоко-

преосвященнейшего! Честью не хотел, так вот тебе и подрезали крылья». Обиженный поп отвечал будто бы на это: «Зато ведь я вас, мошенников, так и венчаю, так и хороню: что ни есть самые дрянные молитвы, их-то я вам и читаю».

Через год, то есть в 1844, мы опять жили лето в Покровском. Седой, исхудалый поп все так же пил и так же не мог одолеть сильного действия алкоголя. По воскресеньям он повадился после обедни приходить ко мне, напиваться водкой и сидеть часа два. Мне это надоело, я не велел его принимать и даже прятался от него в лес, но он и тут нашелся: «Барина дома нет,— говорил он,— ну, а водка-то дома, верно? Небось не взял с собой?» Человек мой выносил ему в переднюю большую рюмку сладкой водки, и священник, выпив ее и закусив паюсной икрой, смиренно уходил восвояси.

Наконец наше знакомство рушилось окончательно.

Одним утром является ко мне дьячок, молодой долговязый малый, по-женски зачесанный, с своей молодой женой, покрытой веснушками; оба они были в сильном волнении, оба говорили вместе, оба прослезились и отерли слезы в одно время. Дьячок каким-то сплюснутым дискантом, супруга его, страшно картавя, рассказывали в обгонки, что на днях у них украли часы и шкатулку, в которой было рублей пятьдесят денег, что жена дьячка нашла «воя» и что этот «вой» не кто иной, как честнейший богомолец наш и во Христе отец Иоанн.

Доказательства были непреложны: жена дьячка нашла в хламе, выброшенном из священникова дома, кусок от крышки украденного ящика.

Они приступили ко мне, чтоб я защитил их. Сколько я им ни объяснял разделения властей на духовную и светскую, но дьячок не сдавался, жена его плакала; я не знал, что делать. Жаль мне его было, потерю свою он ценил в девяносто рублей. Подумав, я велел заложить телегу и послал старосту с письмом к исправнику; у него-то я спрашивал того совета, который дьячок надеялся получить от меня. К вечеру староста воротился, исправник мне на словах велел сказать: «Бросьте это дело, а то консистория вступится и наделает хлопот. Пусть, мол, барин не трогает кутьи, коли не хочет, чтоб от рук воняло». Ответ этот, и в особенности последнее замечание, Савелий Гаврилов передавал с большим удовольствием.

— А что шкатунку украл батюшка,— прибавил он,— то это так верно, как я перед вами стою.

Я с горестью передал дьячку ответ светской власти. Староста, напротив, успокоительно говорил ему:

Т. Н. Грановский.

Портрет маслом П. З. Захарова
1845 г.
Государственная Третьяковская галерея.

— Ну, что безвременно нос повесил? погоди, подведем еще; что ты — баба или дьячок?

И подвел старостa с компанией.

Был ли Савелий Гаврилов раскольник или нет, я наверное не знаю, но семья крестьян, переведенная из Васильевского, когда отец мой его продал, вся состояла из старообрядцев. Люди трезвые, смышленые и работящие, они все ненавидели попа. Один из них, которого мужики называли лабазником, имел на Неглинной в Москве свою лавку. История украденных часов тотчас дошла до него; наводя справки, лабазник узнал, что дьякон без места, зять покровского попа предлагал кому-то купить или отдать под заклад часы, что часы эти у менялы; лабазник знал часы дьячка; он к меняле — как раз часы те самые. На радостях он не пожалел лошади и приехал сам с вестию в Покровское.

Тогда, с полными доказательствами в руках, дьячок отправился к благочинному. Дни через три я узнал, что поп заплатил дьячку сто рублей и они помирились.

— Как же это было? — спросил я дьячка.

— Благочинный соизволил, как изволили слышать, нашего Ирода выписывать к себе-с. Долго держали их-с, и уже что было, не знаю-с. Только потом изволили меня потребовать и строго сказали мне: «Что у вас там за дрязги? Стыдно, молодой человек, мало ли что под хмельком случится, старик, видишь, старый, в отцы тебе годится. Он тебе сто рублев на мировую дает. Доволен ли?» — «Доволен,— говорю я, мол,— ваше высокоблагословение».— «Ну, а доволен, так хайло-то держи, нечего в колокола звонить,— все же ему за семьдесят лет; а не то, смотри, самого в бараний рог сверну».

И этот пьяный вор, уличенный лабазником, снова явился священнодействовать при том же старосте, который так утвердительно говорил мне, что он украл «шкатунку», с тем же дьячком на крылосе, у которого теперь паки и паки в кармане измеряли скудельное время знаменитые часы, и — при тех же крестьянах!

Случилось это в 1844 году в пятидесяти верстах от Москвы, и я был всего этого свидетелем!

Что же тут удивительного, если на призыв отца Иоанна дух святой, как в песне Беранже, не сойдет —

Non, dit l'Esprit Saint, je ne descends pas! [1]

Как же его не прогнали?

Муж церкви, скажут нам мудрые православия, не может быть подозреваем, как и Цезарева жена!

---

[1] Нет, сказал святой дух, я не сойду! *(франц.)— Ред.*

ГЛАВА XXIX

НАШИ

I

Московский круг.— Застольная беседа.— Западники (Боткин, Редкин, Крюков, Е. Корш)

Поездкой в Покровское и тихим летом, проведенным там, начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда.

Судорожно натянутые нервы в Петербурге и Новгороде — отдали, внутренние непогоды улеглись. Мучительные разборы нас самих и друг друга, эти ненужные разбереживания словами недавних ран, эти беспрерывные возвращения к одним и тем же наболевшим предметам миновали; а потрясенная вера в нашу непогрешительность придавала больше серьезный и истинный характер нашей жизни. Моя статья «По поводу одной драмы» была заключительным словом прожитой болезни.

С внешней стороны теснил только полицейский надзор; не могу сказать, чтоб он был очень докучлив, но неприятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой квартального, очень противно.

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский — ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был *согласнее* в мнениях, но с ним я был ближе — там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры в университете, кто — участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уж очень не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет; мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь с тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарелись, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisance [1] нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии — *он линяет*. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменила его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместно с нашим характером — и слава богу!

Распущенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитания, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так на Западе.

С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противуречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и непроизвольном непонимании так и стучишь головой о предел мира завершенного.

Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед; мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее тою composite [2] артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.

С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

---

[1] самонадеянность *(франц.).— Ред.*

[2] Здесь: сплоченностью *(франц.).— Ред.*

Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более чем с любовью,— чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана, мы не плакали о грехах мира сего — мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы *кой на что,* не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен.

Ты прав, мой друг, ты прав...

Да, ты прав, Боткин — и гораздо больше Платона,— ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти «пантеистическое» наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку.

Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр — soberana pantorrilla!

Ведь вот и Редкин был в Испании — но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для «юридыческих» комментарий к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барцелоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, то есть ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал

посматривать на его больную ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что «радыкальный юрист» зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую.

— Что за неуважение к науке! ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю,— говорит строго Редкин и вовсе не сердится.

— Это ввв-сё мо-о-жет быть,— замечает, заикаясь, Е. Корш,— но отчего же ты себя до того идентифировал[1] с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?

— Ну, пошло, теперь не кончится,— прибавляет Редкин и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпаемый слегка остротами Крюкова — с изящной античной отделкой по классическим образцам.

Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину; *ее объясняет* сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис — кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один Кетчер, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать их; они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды; на минуту я забыл и невозможность записывать шутки, и то, что очерки эти живы только для меня да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю,— давно ли перед всеми было так много, так много дороги!..

...И вот перед моими глазами встают наши Лазари — но не с облаком смерти, а моложе, полные сил. Один из них угас, как Станкевич, вдали от родины — И. П. Галахов.

Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. Корша остроты и шутки искрились, как шипучее вино, от избытка сил. Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию — но без большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галахов очень рано попал в Измайловский полк и так же рано оставил его, и тогда уже принялся себя воспитывать в самом деле. Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить *истину,* и притом практи-

---

[1] отождествил *(от франц. identifier).— Ред.*

ческую, сейчас прилагаемую к жизни. Он не обращал внимания, так, как это делает большая часть французов, на то, что *истина* только дается методе, да и то остается неотъемлемой от нее; истина же как результат — битая фраза, общее место. Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что *она* ускользала от его капризного преследования. Он досадовал и сердился. Людям этого слоя не живется в отрицании, в разборе, им анатомия противна, они ищут готового, целого, созидающего. Что же Галахову мог дать наш век, и притом в николаевское царствование?

Он всюду бросался; постучался даже в католическую церковь, но живая душа его отпрянула от мрачного полусвета, от сырого, могильного, тюремного запаха ее безотрадных склепов. Оставив старый католицизм иезуитов и новый — Бюше, он принялся было за философию; ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме.

Готовая организация, обязательный строй и долею казарменный порядок фаланстера если не находят сочувствия в людях критики, то, без сомнения, сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина, как кормилица, взяла их на руки и убаюкала. Фурьеризм имел определенную цель: труд, и труд сообща. Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебание и нерешительность. Это повторяется в самых обыкновенных, ежедневных случаях. «Хотите вы сегодня в театр или за город?» — «Как вы хотите», — отвечает другой, и оба не знают, что делать, ожидая с нетерпением, чтоб какое-нибудь обстоятельство решило за них, куда идти и куда нет. На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигиальная, икарийская лавра. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились наконец из сил, сомнения начали одолевать ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое, конечно, не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев.

Галахов был слишком развит и независим, чтоб совсем исчезнуть в фурьеризме, но на несколько лет он его увлек. Когда я с ним встретился в 1847 в Париже, он к фаланге питал скорее ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой долго жили, к дому, в котором провели несколько спокойных лет, чем ту, которую верующие имеют к церкви.

В Париже Галахов был еще оригинальнее и милее, чем в Москве. Его аристократическая натура, его благородные, рыцарские понятия были оскорбляемы на каждом шагу; он смотрел с тем отвращением, с которым гадливые люди смотрят на что-нибудь сальное — на мещанство, окружавшее его там. Ни французы, ни немцы его не надули, и он смотрел несколько свысока на многих из тогдашних героев, чрезвычайно просто указывая их мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбие. В его пренебрежении к этим людям проявлялось даже национальное высокомерие, совершенно чуждое ему. Говоря, например, об одном человеке, который ему очень не нравился, он сжал в одном слове «немец!» выражением, улыбкой и прищуриванием глаз целую биографию, целую физиологию, целый ряд мелких, грубых, неуклюжих недостатков, специально принадлежащих германскому племени.

Как все нервные люди, Галахов был очень неровен, иногда молчалив, задумчив, но par saccades[1] говорил много, с жаром, увлекал вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морил со смеху неожиданной капризностью формы и резкой верностью картин, которые делал в два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передам, как сумею, один из его рассказов, и то в небольшом отрывке. Речь как-то шла в Париже о том неприятном чувстве, с которым мы переезжаем нашу границу. Галахов стал нам рассказывать, как он ездил в последний раз в свое именье,— это был chef d'œuvre.

«...Подъезжаю к границе, дождь, слякоть, через дорогу бревно, выкрашенное черной и белой краской; ждем, не пропускают. Смотрю, с той стороны наезжает на нас казак с пикой, верхом.

— Пожалуйте паспорт.

Я ему отдал и говорю:

— Я, братец, с тобой пойду в караульню, здесь очень дождь мочит.

— Никак нельзя-с.

— Отчего?

— Извольте обождать.

Я повернул в австрийскую кордегардию,— не тут-то было: очутился, как из-под земли, другой казак с китайской рожей.

— Никак нельзя-с!

— Что случилось?

— Извольте обождать! — А дождь все сечет, сечет... Вдруг из караульни кричит унтер-офицер: «Под высь!» — цепи загре-

[1] временами *(франц.).— Ред.*

мели, и полосатая гильотина стала подыматься; мы подъехали под нее, цепи опять загремели, и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! В караульне какой-то кантонист прописывает паспорт.

— Это вы сами и есть? — спрашивает; я ему тотчас — цванцигер [1].

Тут взошел унтер-офицер, тот ничего не говорит, ну, а я поскорее и ему — цванцигер.

— Все в исправности, извольте отправляться в таможню.

Я сел, еду... только все кажется — за нами погоня. Оглядываюсь — казак с пикой трях-трях...

— Что ты, братец?

— В таможню ваше благородие конвоирую.

На таможне чиновник в очках книжки осматривает. Я ему — талер и говорю:

— Не беспокойтесь, это все такие книги, ученые, медицинские!

— Помилуйте, что это-с! Эй, сторож, запирай чемодан!

Я — опять цванцигер.

Выпустили наконец — я нанял тройку, едем бесконечными полями; вдруг зарделось что-то, больше да больше... зарево.

— Смотри-ка,— говорю я ямщику,— а? несчастие.

— Ничего-с,— отвечает он,— должно быть, избенка какая или овин какой горит; ну, ну, пошевеливай знай!

Часа через два с другой стороны красное небо,— я уж и не спрашиваю, успокоенный тем, что это избенка или овинишко горит.

...В Москву я из деревни приехал в великий пост; снег почти сошел, полозья режут по камням, фонари тускло отсвечиваются в темных лужах, и пристяжная бросает прямо в лицо мороженую грязь огромными кусками. А ведь престранное дело: в Москве только что весна установится, дней пять пройдут сухих, и вместо грязи какие-то облака пыли летят в глаза, першит, и полицмейстер, стоя озабоченно на дрожках, показывает с неудовольствием на пыль, а полицейские суетятся и посыпают каким-то толченым кирпичом от *пыли*!»

Иван Павлович был чрезвычайно рассеян, и его рассеянность была таким же милым недостатком в нем, как заикание у Е. Корша; иногда он немного сердился, но большей частию сам смеялся над оригинальными ошибками, в которые он беспрестанно попадал. Ховрина звала его раз на вечер, Галахов

[1] Здесь: двадцать крейцеров *(от нем. Zwanziger).— Ред.*

поехал с нами слушать «Линду ди Шамуни», после оперы он заехал к Шевалье и, просидев там часа полтора, поехал домой, переоделся и отправился к Ховриной. В передней горела свеча, валялись какие-то пожитки. Он в залу,— никого нет; он в гостиную,— там застал он мужа Ховриной в дорожном платье, только что приехавшего из Пензы. Тот смотрит на него с удивлением. Галахов осведомляется о пути и спокойно садится в креслы. Ховрин говорит, что дороги скверны и что он очень устал.

— А где же Марья Дмитриевна? — спрашивает Галахов.

— Давно спит.

— Как спит? Да разве так поздно? — спрашивает он, начиная догадываться.

— Четыре часа! — отвечает Ховрин.

— Четыре часа! — повторяет Галахов.— Извините, я только хотел вас поздравить с приездом.

Другой раз, у них же, он приехал на званый вечер; все были во фраках, и дамы одеты. Галахова не звали, или он забыл, но он явился в пальто; [1] посидел, взял свечу, закурил сигару, говорил, никак не замечая ни гостей, ни костюмов. Часа через два он меня спросил:

— Ты куда-нибудь едешь?

— Нет.

— Да ты во фраке?

Я расхохотался.

— Фу, вздор какой! — пробормотал Галахов, схватил шляпу и уехал.

Когда моему сыну было лет пять, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял, постоял, покраснел и с ревом бросился назад.

— Что с тобой, что с тобой? — спрашивали мы все.

Заливаясь горькими слезами, он только повторял:

— Там чужой мальчик, его не надо, его не надо.

В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, alter ego [2] и сильно огорчился этим; но сильнее его огорчился сам Галахов; он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом.

---

[1] сюртуке *(от франц. paletot).— Ред.*

[2] двойника *(лат.).— Ред.*

В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову; он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки.

С его могилы — перехожу на другую, больше дорогую и больше свежую.

II

НА МОГИЛЕ ДРУГА

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

...В 1840 году, бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы — все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности,

от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых *строй* некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтиться. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова,— в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь»,— думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание: мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации —не тех бурных, грозных, которые в «гневе своем чувствуют вполне свою жизнь»,

как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать «по подряду» журнальные статьи. Он и друг его Е. Корш, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское «Библиотеки для чтения».

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем — это важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга; для деятельной любви различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочув-

ствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история — не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением; Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду. А Станкевич привил ему поэтически и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом... Ну, а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский, неужели они не лучше поняли хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его *левых и правых* последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости — шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру; Станкевич — в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскоре после его женитьбы. Гармония, окружавшая плавно и покойно его новый быт, подернулась траурным крепом. Следы этого удара долго не проходили, не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел

так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу.

Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитора.

Они мне казались братом и сестрой, тем больше, что у них не было детей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... в эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил; он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 года. С благочестием и гордостию повторяю я их:

«На дружбу мою к вам двум (то есть к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из *худшей стороны* самого себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа.* Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привя-

занности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего «Крупова»? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: «Не полагай ничего на личное, верь в одно общее», а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках...

В конце 1843 года я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке»; успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с «Отечественными записками» из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

«Лекции Грановского,— сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом,— имеют *историческое значение*». Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свиданья, встречи beau mond'a [1]. Для этого он не нарядил историю в кружева и блонды, совсем напротив,— его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française [2], ставящих огромные точки на крошечные *i* вроде нравоучений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил *ими* так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику,— все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к

---

[1] высшего света *(франц.).— Ред.*
[2] во французском духе *(франц.).— Ред.*

кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы: «Браво! Браво!» Выйти не было возможности; Грановский, бледный как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице, в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался, измученный, в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета, и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

...Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу *римскому* отрока-сына за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного мальчишки!

Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими — в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями, и широкоплечий popolano [1], и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко настрадавшегося человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого; зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти. Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне подали письмо. Я прочитал его, идучи, и истинно — сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрел на все и думал: «Да это вздор! Как? этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами,— его будто нет?..» Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А. Таландье; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

---

[1] простолюдин *(итал.)*.— *Ред.*

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне *нужно* было знать, что там — вдали, на нашей родине — *живет* этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу — она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни,— как другая, не совсем чуждая ему могила, на *которой я был!*

Там перечту я строки грустного примирения, которые так близки мне, что я их выпросил в дар *нашим* воспоминаниям.

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой...
Средь урн надгробных и камней
Свежа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоих учеников
На ней рассыпаны лежали
Венки из листьев и цветов.
Над ней, суровым дням послушна,—
Кладбища сторож вековой,—
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главой,
И речка, берег омывая,
Волной бесследною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль нескончаемой стези.

Твоею дружбой не согрета,
Вдали шла долго жизнь моя,
И слов последнего привета
Из уст твоих не слышал я.
Размолвкой нашей недовольный,
Ты, может, глубоко скорбел;
Обиды горькой, но невольной
Тебе простить я не успел.
Никто из нас не мог быть злобен,
Никто, тая строптивый нрав,
Был повиниться не способен,
Но каждый думал, что он прав.
И ехал я на примиренье,
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять...
Но было поздно...

В день унылый,
В глухую осень, одинок
Стоял я у твоей могилы
И все опомниться не мог.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взор потух, и навсегда?
Твой голос смолк среди недуга?
Меня отныне никогда
Ты в час свиданья не обнимешь?
Не молвишь в провод ничего?
Ты сердцем любящим не примешь
Признаний сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,
Как правды ужас не таи!
Шептали что-то непонятно
Уста холодные мои,
И дрожь по телу пробегала,
Мне кто-то говорил укор,
К груди рыданье подступало,
Мешался ум, мутился взор,
И кровь по жилам стыла, стыла...
Скорей на воздух! дайте свет!
О! это страшно, страшно было,
Как сон гнетущий или бред...

Я пережил,— и вновь блуждает
Жизнь между дела и утех,
Но в сердце скорбь не заживает,
И слезы чуются сквозь смех.
В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу — и будто образ брата
У сердца смерть не отняла.
И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон;
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный,
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар...
Но снова в памяти унылой
Ряд урн надгробных и камней
И насыпь свежая могилы
В цветах и листьях, и над ней,
Дыханью осени послушна,—
Кладбища сторож вековой,—
Сосна качает равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берег омывая,
Бегут, спешат, не отдыхая.

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу — «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо мною лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше,— пишет он в 1850 году,— становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что́ значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В Московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, Лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками Римской империи, которой недоставало только одного — наследственности!..

...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее,— когда же развалится этот мир?..

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать — пусть выгонят сами.

...Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был

хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального».

Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (то есть при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет; только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется».

Одно из последних писем он заключает так: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противудействие? Тяжело, брат,— а выхода нет *живому*».

Быстро на нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнию осматриваюсь назад, точно на поле сражения — мертвые да изуродованные...

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противуположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним нумером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности, это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них, с Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет тридцати пяти от роду. Эллинист Печерин побился, побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии. Редкин постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами. Крылов — но довольно. La toile! La toile! [1]

---

[1] Занавес! Занавес! *(франц.)* — *Ред.*

ГЛАВА XXX

НЕ НАШИ

Славянофилы и панславизм.— Хомяков, Киреевские, К. Аксаков.— П. Я. Чаадаев

> Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая* — и мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно.*
>
> *«Колокол», лист 90 (На смерть К. С. Аксакова)*

I

Рядом с нашим кругом были наши противники, nos amis les ennemis[1] или, вернее, nos ennemis les amis[2],— московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно — этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но принимая за серьезное их православие, но видя их церковную нетерпимость в обе стороны,— в сторону науки и в сторону раскола,— мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации.

Идея народности, сама по себе, идея консервативная — выгораживание своих прав, противуположение себя другому; в ней

---

[1] наши друзья-враги *(франц.).— Ред.*

[2] наши враги-друзья *(франц.).— Ред.*

есть и юдаическое понятие о превосходстве племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность, как знамя, как боевой крик, только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства со всеми их преувеличениями исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам, в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят, они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противупоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого ученья было совершенно на месте; но если б у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как «Домострой», и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм, при появлении своем, был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с тейчтумом [1], шедшим на воскресение *счастливых* времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался туже, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться, и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими заня-

[1] германизмом *(от старонем. Teutschtum).— Ред.*

тиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие исключительно иностранному влиянию существовал со времени обрития первой бороды Петром I.

Противудействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими *потешниками,* в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

Все раскольники — славянофилы.

Все белое и черное духовенство — славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая де Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un cœur bien né, que la patrie est chère! [1]

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцуженный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.

[1] Сколь дорога отчизна благородному сердцу! *(франц.)* — *Ред.*

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лесть «Северной пчелы», с другой — в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую — Манчестером, Шебуева — Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды...

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, *изобретением* народного гимна по Себастиану Баху [1] и Прокопием Ляпуновым — по Шиллеру [2].

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности,* отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало — дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла».

---

[1] Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King» <Боже, храни короля *(англ.).— Ред.*> да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это — нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный *корпуса жандармов* полковником Львовым.

Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний нумер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой — в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание — и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строгонов, *рассказывавший мне* этот милый анекдот.

[2] Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то *стерты,* не нашли сил аплодировать.

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастием. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III Отделению или к управе благочиния, что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше, чем иностранец, больше, чем свой,— он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастию, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц — немец; я сбегаю его прирезать и сейчас возвращусь».

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в *тостах* партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении «Письма» Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что́ и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет,— все равно надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza [1].

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать «Телескоп» — «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... читаю далее,— «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски неизвестным автором... я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «Письмо» Витбергу, потом Скворцову, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России пострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в заме-

[1] оставьте всякую надежду *(итал.).— Ред.*

ну игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что*. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разумения, грозный урок, данный народам,— до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было покаяние и обвинение; знать вперед, *чем* примириться,— не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине — шутка, и искупление — неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и ценсор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего* не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, то есть выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению,*— умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволья власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

— А вы думаете,— сказал Чаадаев,— что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life [1]. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас; лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto [2], живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать его, звать... и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди. Он, правда, по словам Пушкина,

> в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес,
> Но здесь, под гнетом власти царской,
> Он только офицер гусарской...

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние,

---

[1] светской жизни *(англ.).— Ред.*

[2] запретом *(лат.).— Ред.*

зачем в его небольшом, скромном кабинете, в Старой Басманной, толпились по понедельникам «тузы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им и ними[1]. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место, вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного; именно поэтому оно смахивает на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела. Государь находился тогда, помнится, в Вероне

---

[1] Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечал Чаадаев.— Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник? Прежде, кажется, был красный?

— Да разве вы не знаете, что я — морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигают,— отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да разве на этом основании,— заключил Чаадаев.

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

— Чем же? — спросил Чаадаев.

— Помилуйте, одно чтение записок, дел,— и сенатор показал аршин от полу.

— Да ведь вы их не читаете.

— Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.

— Вот в этом я уж никакой надобности не вижу,— заметил Чаадаев.

или в Аахене на конгрессе. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости — отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаев не торопился в Россию; расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного преследования [1]), около 1830 года он возвратился.

В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем «Письме» он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом; ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником «Voix du Peuple». В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не-религии и не-ведения, этой умеренной теологии образованных мещан, «атеизма, окруженного религиозными учреждениями».

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ставит мистическую формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Красинский, продолжающие быть мессианистами,— то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько забыли; стоит вспомнить «Историю» Волабеля, «Письма» леди Морган, «Записки» Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властию, лукавый мо-

[1] Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.

нархизм, с другой, целомудренно прикрывался листом хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в средние века, в мистицизм,— читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму своего века.

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, угнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противуречий своим высшим единством, своей вечной фата-морганой, своим urbi et orbi [1], своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных летах.

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарения Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен — все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой шеей à l'enfant [2] или учившиеся по пансионам и лицеям; были молодые литераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву; между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха,

---

[1] Риму и миру *(лат.).— Ред.*
[2] как дети *(франц.).— Ред.*

жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон, и Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
...Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена!

В мире не было ничего противуположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

«В Москве,— говаривал Чаадаев,— каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами,* как будто удивляясь, что имеет слово человеческое» [1].

Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни,— сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?»

«Его нет»,— отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему при-

[1] «В дополнение к тому,— говорил он мне в присутствии Хомякова,— они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

П. Я. Чаадаев.

Портрет маслом неизвестного художника.
1840-е годы.
Государственный исторический музей.

вели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. «История других народов — повесть их освобождения. Русская история — развитие крепостного состояния и самодержавия». Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей,— *просвещенных* рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством,— пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь... это почти значило «пора умереть», и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси, взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание *живой души* в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было,— *не смертельная болезнь*. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа,— у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа.

«Выход за нами,— говорили славяне,— выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство, *воротимся* к прежним нравам!»

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы — к 8 термидору. Случившееся стоит писанного — его не вырубишь топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика — а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам.

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов — принимая *его совсем*

готовым. Они полагали, что делить предрассудки народа — значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе,— великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли,— в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться; все это далеко за *пределом* государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и *не могла иметь.* То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь *только* всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта — не воспоминания, это — живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только *уцелели* под трудным историческим выработыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлю-

щие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой,— все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободнообщинного быта. Но эти краеугольные камни — все же камни... и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно *социального,* оно невольно влечет к круговой поруке народов... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие — при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их *женственность,* недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством — монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию *современного* европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм, или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота — великие *таланты* в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм — выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так не способна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм — военный стан, империя — война, император — военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома — внизу, на дне — и *там,* за Неманом.

Начавшаяся теперь война [1] может иметь перемирия, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседелым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал — государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить *третью* личность, немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой — на Тихом океане.

Помирятся ли эти *трое,* померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца,— одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений, это — то, что *разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.*

II

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охот-

[1] Писано во время Крымской войны.

никами, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и проч. и проч.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, *бывало,* в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы услышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну *молодую* Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что́ прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла — без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять;

где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Редкин выводил логически личного бога, ad majorem gloriam Hegeli;[1] где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало.

Вообще в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава. Помещичья распущенность, признаться сказать, нам по душе; в ней есть своя ширь, которую мы не находим в мещанской жизни Запада. Подобострастный клиентизм, о котором говорит девица Вильмот в «Записках» Дашковой и который я сам еще застал,— в тех кругах, о которых идет речь, не существовал. Хор этого общества был составлен из неслужащих помещиков или служащих не для себя, а для успокоения родственников, людей достаточных, из молодых литераторов и профессоров. В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведенных в косный порядок обычаев, которой нет в старой европейской жизни, и в то же время в нем сохранилась привитая нам воспитанием традиция западной вежливости, которая на Западе исчезает; она с примесью славянского laisser-aller[2], а подчас и разгула, составляла особый русский характер *московского* общества, к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть *парижским,* и это хотение, наверное, осталось.

Мы Европу все еще знаем задним числом; нам все мерещатся те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь; когда приезд Давида

---

[1] к вящей славе Гегеля *(лат.).— Ред.*
[2] разболтанности *(франц.).— Ред.*

Юма в Париж сделал эпоху и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень, Гримм, надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове времена вечеров барона Гольбаха и первого представления «Фигаро», когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтоб добиться места и увидать революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале (граф Прованссний, то есть будущий Людовик XVIII, в роли Фигаро, Мария-Антуанетта — в роли Сусанны!).

Tempi passati...[1] Не только гостиные XVIII столетия не существуют,— эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция,— но и таких гостиных больше нет, как бывали, например, у Стааль, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литераторы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем; партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей.

Один из последних опытов «гостиной» в прежнем смысле слова не удался и потух вместе с хозяйкой. Дельфина Гэ истощала все свои таланты, блестящий ум на то, чтоб как-нибудь сохранить *приличный* мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей.

Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантией с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая Каменного гостя ликвидации... Не легкая «козри»[2] нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в Первой империи, вытесняет искусство, лоретка — даму, биржевой игрок — литератора.

Это распадение общества не в одном Париже. Ж. Санд была живым средоточием всего своего соседства в Ноане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации, и, что

---

[1] Давно минувшие времена... *(итал.)* — *Ред.*

[2] болтовня *(от франц. causerie).*— *Ред.*

всего важнее, тут была сама Ж. Санд. С 1852 года тон начал меняться, добродушные беришоны уже не приезжали затем, чтоб отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею, другие боялись доносов; непринужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать до того надоела, намучила Ж. Санд, что она решилась прекратить свои ноанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля...

...Говорят, Москва — молодая Москва — состарелась, не пережила Николая; что и университет ее измельчал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Английский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи кричат против освобождения и Ноздревы шумят за *естественные и неотъемлемые* права дворян. Может быть!.. но не такова была Москва сороковых годов, и вот эта-то Москва и принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея *только,* что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались,— а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя,— словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек,

обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли *у него у самого* что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, *как казалось,* от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он вообще больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши, или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (то есть даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и проч. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!

Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными как смоль кудрями и вперед улыбался.

— Знаете ли что,— сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли,— не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться и остано-

виться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

— Я вам и не говорил,— ответил я ему,— что я берусь это доказывать,— я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный,— вы можете принимать эти страшные результаты *свирепейшей имманенции,* и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

— Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!

— Докажите мне, что *не-наука ваша* истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.

— Для этого надобно веру.

— Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».

Многие — и некогда я сам — думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения им воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал,— это зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это — теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение «Европеец». Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй «Европеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове,— «Ден-

ница» была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг — он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени Французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:

— Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.

И он, в самом деле, потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг — Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетило несчастие, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми.

Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону,— тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей».

Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме,— натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию — с наукой, западную цивилизацию — с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом, стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.

Их общее несчастие состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их — юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что́ в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это — закал; одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противудействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.

Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками; им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным «Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печерин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.

В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; *докончив* в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастию, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели, и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия — «Дмитрий Самозванец». Опять скука!

В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.

Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учители, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.

Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды, а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно

взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой — средой сильной и имевшей над ним большие выгоды; ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.

— Москва — столица русского народа,— говорил он,— а Петербург только резиденция императора.

— И заметьте,— отвечал я ему,— как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на *съезжую,* а в Петербурге сведут на *гауптвахту.*

«Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей; он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

— Мне было слишком больно,— сказал он,— проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься.— Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!» [1]

Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил.

Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре,— писал он мне из Петербурга,— и с филистимлянами за одним столом есть не могу...

[1] «Колокол», лист 90.

Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Зато честили его и славяне. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, «радующемся при зрелище пожара».

Впрочем, «Москвитянин» выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но и отчасти *правительственной.* Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.

Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев — не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин — из ненависти к аристократии.

Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою страну, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, *может быть,* при Александре II [1]. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью,— нелепо и вредно.

Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?

Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски. Его шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызенные отметки и нежеваные мысли, вдохновил меня как-то в старые

[1] Писано в 1855 году.

годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Вёдрина». Строгонов (попечитель), читая их, сказал:

— А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.

Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противуположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндалю, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.

Говоря о слоге этих сиамских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера — по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: «Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!»

Тем не меньше, хотя и дурным слогом, но близнецы «Москвитянина» стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстановлял против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному *порядку идей,* за которые Николай из *идеи порядка* ковал в цепи да посылал в Нерчинск.

Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю? «Меня обвиняют,— сказал Грановский,— в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции — так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед

после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамильe *ы* вместо *е* и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим soprano: «Он и с *е* хорош, он и с *е* русский». С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.

Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, то есть когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, то есть сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением.

С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!», мы все понурили голову. Белинский был прав!

Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастию, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского — лжеучителем, растлевающим юношей, меня — слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех — изменниками отечеству. Конечно, он не называл нас по имени,— их добавляли чтецы, носившие с восхищением из залы в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами, резко клеймя злые нападки и называя *«не нашими»* разных славян, во Христе-бозе нашем жандармствующих.

Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался,— все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастию, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.

Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке, и проч.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти,— это та, в которой он говорил о книге Мишле «Le Peuple» [1] и о романе Ж. Санда «La Mare au Diable» [2], потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса. Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке пречистой девы», сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.

Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи,— выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.

Между тем «каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться» хорошо издавать «Москвитянина», он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели «Москвитянина» вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились предложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.

Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь; конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену; они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру,

---

[1] «Народ» *(франц.).— Ред.*
[2] «Чертова лужа» *(франц.).— Ред.*

что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять...» Где же лучше можно было взять редактора?

Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не мог ничего сделать. «Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неуспех должен был сильно огорчить Киреевского.

После второго крушения «Москвитянина» он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.

На этот раз победителями вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда «Москвитянин» тонул и «Маяк» не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью «Отечественные записки», поставил на ноги их побочного сына и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие,— в то время как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Так я оставил поле битвы и уехал из России. Обе стороны высказались еще раз[1], и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.

Умер Николай; новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где они? — Ушли! и К. Аксаков ушел, и нет этих «противников, которые были ближе нам многих своих».

Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.

Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову:

«Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело;* долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать

---

[1] Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в «Dévelop. des idées révolut.».

себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается *перелом русской мысли.* И когда *мы* это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *не одинакая.*

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно.*

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш,— это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока —

Mutter, Mutter, lass mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen! [1]

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили *горный дух,* остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы — их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь,

[1] Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам! *(нем.) — Ред.*

чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»[1]

ГЛАВА XXXI

Кончина моего отца.— Наследство.— Дележ.— Два племянника

С конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались; он явным образом гаснул, особенно со смерти Сенатора, умершего совершенно последовательно всей своей жизни: невзначай и чуть-чуть не в карете. В 1839 году, одним вечером, он, по обыкновению, сидел у моего отца; приехал он из какой-то агрономической школы, привез модель какой-то агрономической машины, употребление которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и в одиннадцать часов вечера уехал домой.

Он имел обыкновение дома очень немного закусывать и выпивать рюмку красного вина; на этот раз он отказался и, сказав моему старому другу Кало, что он что-то устал и хочет лечь, отпустил его. Кало помог ему раздеться, поставил у кровати свечу и вышел; едва дошел он до своей комнаты и успел снять с себя фрак, как Сенатор дернул звонок; Кало бросился — старик лежал возле постели мертвый.

Случай этот сильно потрёс моего отца и испугал; одиночество его усугублялось, страшный черед был возле: три старших брата были схоронены. Он стал мрачнее, и хотя, по обыкновению своему, скрывал свои чувства и продолжал ту же холодную роль, но мышцы изменяли,— я с намерением говорю «мышцы», потому что мозг и нервы у него остались те же до самой кончины.

В апреле 1846 лицо старика стало принимать предсмертный вид, глаза потухали; он уже был так худ, что часто, показывая мне свою руку, говорил:

— Скелет совсем готов, стоит только снять кожицу.

Голос его стал тише, он говорил медленнее; но ум, память и характер были как всегда — та же ирония, то же постоянное недовольство всеми и та же раздражительная капризность.

---

[1] «Колокол», 15 января 1861.

— Помните,— спросил дней за десять до кончины кто-то из его старых знакомых,— кто был наш поверенный в делах в Турине после войны? Вы его знавали за границей.

— Северин,— отвечал старик, едва подумавши несколько секунд.

Третьего мая я его застал в постеле; щеки горели лихорадочно, что у него почти никогда не бывало; он был беспокоен и говорил, что не может встать; потом велел себе поставить пиявки и, лежа в постеле во время этой операции, продолжал свои колкие замечания.

— А! ты здесь,— сказал он, будто я только что взошел.— Ты бы, любезный друг, съездил куда-нибудь рассеяться, это очень меланхолическое зрелище — смотреть, как разлагается человек: cela donne des pensées noires! [1] Да вот прежде дай-ка мальчику гривенник на водку.

Я пошарил в кармане, ничего не нашел меньше четвертака и хотел дать, но больной увидел и сказал:

— Какой ты скучный; я тебе сказал — гривенник.

— У меня нету с собой.

— Подай мой кошелек из бюро,— и он, долго искавши, нашел гривенник.

Взошел Голохвастов, племянник моего отца; старик молчал. Чтоб что-нибудь сказать, Голохвастов заметил, что он сейчас от генерал-губернатора; больной при этом слове дотронулся, по-военному, пальцем до черной бархатной шапочки; я так хорошо изучил все его движения, что тотчас понял, в чем дело: Голохвастову следовало сказать «у Щербатова».

— Представьте, какая странность,— продолжал тот,— у него открылась каменная болезнь.

— Отчего же странно, что у генерал-губернатора открылась каменная болезнь? — спросил медленно больной.

— Как же, mon oncle [2], ему с лишком семьдесят лет, и в первый раз открылся камень.

— Да, вот и я, хоть и не генерал-губернатор, а тоже очень странно, мне семьдесят шесть лет, и я в первый раз умираю.

Он действительно чувствовал свое положение; это-то и придавало его иронии какой-то макабрский [3] характер, заставлявший разом улыбаться и цепенеть от ужаса. Камердинер его, который всегда по вечерам делал мелкие домашние доклады, сказал, что хомут у водовозной лошади очень худ и что следует купить новый.

---

[1] это внушает мрачные мысли! *(франц.)* — *Ред.*

[2] дядюшка *(франц.)*.— *Ред.*

[3] мрачный *(от франц. macabre)*.— *Ред.*

— Какой ты чудак,— отвечал ему мой отец,— человек отходит, а ты ему толкуешь о хомуте. Погоди денек-другой, как отнесешь меня в залу на стол, тогда доложи ему (он указал на меня), он тебе велит купить не только хомут, но седло и вожжи, которых совсем не нужно.

Пятого мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернели, старик видимо тлел от внутреннего огня. Говорил он мало, но с совершенным присутствием духа; утром он спросил кофею, бульону... и часто пил какую-то тизану [1]. В сумерки он подозвал меня и сказал:

— Кончено,— при этом он провел рукой, как саблей или косой, по одеялу. Я прижал к губам его руку — она была горяча. Он хотел что-то сказать, начинал... и, ничего не сказавши, заключил:

— Ну, да ты знаешь,— и обратился к Григорию Ивановичу, стоявшему по другую сторону кровати.

— Тяжело,— сказал он ему и остановил на нем томный взгляд.

Григорий Иванович, заведовавший тогда делами моего отца, человек чрезвычайно честный и пользовавшийся его доверием больше других, наклонился к больному и сказал:

— Все до сих пор употребленные вами средства остались безуспешными, позвольте мне вам посоветовать прибегнуть к другому лекарству.

— К какому лекарству? — спросил больной.

— Не пригласить ли священника?

— Ох,— сказал старик, обращаясь ко мне,— я думал, что Григорий Иванович в самом деле хочет посоветовать какое-нибудь лекарство.

Вскоре потом он уснул. Сон этот продолжался до следующего утра, должно быть, это было забытье. Болезнь за ночь сделала страшный успех; конец был близок, я в девять часов послал верхового за Голохвастовым.

В половину одиннадцатого больной потребовал одеться. Он не мог ни стать на ноги, ни верно взять что-нибудь рукой, но тотчас заметил, что серебряной пряжки, которой застегивались панталоны, недоставало, и велел ее принесть. Одевшись, он перешел, поддерживаемый нами, в свой кабинет. Там стояли большие вольтеровские кресла и узенькая, жесткая кушетка, он велел себя положить на нее, тут он сказал несколько слов непонятно и бессвязно, но минут через пять раскрыл глаза и, встретив взором Голохвастова, спросил его:

---

[1] отвар *(от франц. tisane).— Ред.*

— Что так раненько пожаловал?

— Я, дядюшка, был тут поблизости,— отвечал Голохвастов,— так заехал узнать о вашем здоровье.

Старик улыбнулся, как бы говоря: «Не проведешь, любезный друг». Потом спросил свою табакерку; я подал ее ему и раскрыл, но, делая долгие усилия, он не мог настолько свести пальцы, чтобы взять табаку; его, казалось, поразило это, мрачно посмотрел он вокруг себя, и снова туча набежала на мозг, он сказал несколько невнятных слов, потом спросил:

— Как бишь называются вот эти трубки, что через воду курят?

— Кальян.— заметил Голохвастов.

— Да, да... мой кальян,— и ничего.

Между тем Голохвастов приготовил за дверями священника с дарами, он громко спросил больного, желает ли он его принять; старик раскрыл глаза и кивнул головой. Ключарев растворил дверь, и взошел священник... отец мой был снова в забытьи, но несколько слов, сказанные протяжно, и еще больше запах ладана разбудили его, он перекрестился; священник подошел, мы отступили.

После церемонии больной увидел доктора Левенталя, усердно писавшего рецепт.

— Что вы пишете? — спросил он.

— Рецепт для вас.

— Какой рецепт, или мошус, что ли? Как вам не стыдно, вы бы опиума прописали, чтоб спокойнее отойти... Подымите меня, я хочу сесть на кресла,— прибавил он, обращаясь к нам. Это были последние слова, сказанные им в связи.

Мы подняли умирающего и посадили.

— Подвиньте меня к столу.

Мы подвинули. Он слабо посмотрел на всех.

— Это кто? — спросил он, указывая на Марию Каспаровну. Я назвал.

Ему хотелось опереть голову на руку, но рука опустилась и упала на стол, как неживая; я подставил свою. Он раза два взглянул томно, болезненно, как будто просил помощи; лицо принимало больше и больше выражение покоя и тишины... вздох, еще вздох — и голова, отяжелевшая на моей руке, стала стынуть... Все в комнате хранило несколько минут мертвое молчание.

Это было шестого мая 1846 года, около трех часов пополудни.

Торжественно и пышно был он схоронен в Девичьем монастыре; два семейства крестьян, отпущенных им на волю, пришли из Покровского, чтоб нести гроб на руках; мы шли за ними; факелы, певчие, попы, архимандриты, архиерей... потрясающее душу «Со святыми упокой», а потом могила и тяжелое падение земли

на крышу гроба,— тем и кончилась длинная жизнь старика, так упрямо и сильно державшего в руке своей власть над домом, так тяготевшего надо всем окружающим, и вдруг его влияние исчезло, его воля исключена, его нет, совсем нет!

Могилу засыпали, попов и монахов повели обедать, я не пошел, а отправился домой, экипажи разъезжались; нищие толкались около монастырских ворот; крестьяне стояли в кучке, обтирая пот с лица; я всех их знал коротко, простился с ними, поблагодарил их и уехал.

Перед кончиной моего отца мы почти совсем переехали из маленького дома в большой, в котором он жил, а потому и не удивительно, что в суете первых трех дней я не успел оглядеться, но теперь, возвращаясь с похорон, как-то странно сжалось сердце; на дворе, в сенях меня встретили слуги, мужчины и женщины, прося покровительства и защиты (почему, я сейчас объясню); в зале пахло ладаном, я взошел в комнату, в которой стояла постель моего отца; она была вынесена; дверь, к которой столько лет не только люди, но и я сам, подходили, осторожно ступая, была настежь, и горничная в углу накрывала небольшой стол. Все адресовалось ко мне за приказаниями. Мое новое положение было мне противно, оскорбительно,— все это, этот дом принадлежит мне оттого, что кто-то умер, и этот кто-то — мой отец. Мне казалось, в этом грубом завладении было что-то нечистое, словно я обкрадывал покойника.

Наследство имеет в себе сторону глубоко безнравственную: оно искажает законную печаль о потере близкого лица введением во владение его вещами.

По счастию, нас избежало другое отвратительное последствие его — дикие распри, безобразные ссоры делящих добычу возле гроба. Раздел всего именья сделался в какие-нибудь два часа времени, при которых никто не сказал ни одного холодного слова, никто не возвысил голоса и после которого все разошлись с бóльшим уважением друг к другу. Факт этот, главная честь которого принадлежит Голохвастову, заслуживает, чтоб об нем сказать несколько слов.

При жизни Сенатора он и мой отец сделали взаимное завещание родового именья друг другу с тем, чтоб последний передал его Голохвастову. Часть своего именья отец мой продал и капитал этот назначил нам. Потом он дал мне небольшое именье в Костромской губернии, и это по настоятельному требованию Ольги Александровны Жеребцовой. Именье это и теперь находится под секвестром, который правительство, вопреки закона, наложило прежде, чем мне был сделан запрос, хочу ли я возвратиться. После смерти Сенатора мой отец продал его тверское

именье. Пока собственное родовое именье моего отца покрывало проданное им из принадлежавшего его брату, Голохвастов молчал. Но когда у старика явилась мысль отдать мне подмосковную с тем, чтоб я деньгами заплатил, по назначению его, долю моему брату и долю другим лицам, тогда Голохвастов заметил, что это несообразно с волею покойника, хотевшего, чтоб именье перешло к нему. Старик, не выносивший ни в чем ни малейшей оппозиции, особенно таким планам, которые он долго обдумывал и потому считал непогрешительными, осыпал племянника колкостями. Голохвастов отказался от всякого участия в его делах и пуще всего от звания душеприказчика. Размолвка сначала пошла так круто, что они было прервали все сношения.

Удар этот был не легок старику. Мало было людей на свете, которых бы он в самом деле любил: Голохвастов был в том числе. Он вырос на его глазах, им гордилась вся семья, к нему отец мой имел большое доверие, его он ставил мне всегда в образец, и вдруг «Митя, сын сестры Лизаветы», в ссоре, отказывается от распоряжений, заявляет свое veto, и уже из-за него видны пронические глаза Химика, с улыбкой потирающего свой нос пальцами, обожженными селитряной кислотой.

По обыкновению, отец мой не показывал ни малейшего вида, что это огорчает его, и избегал разговора о Голохвастове, но заметно стал угрюмее, беспокойнее и чаще говорил об «ужасном веке, в котором ослабли все узы родства и старшие не находят больше того уважения, каким были окружены в счастливые времена», вероятно, когда представительницей всех семейных добродетелей была Екатерина II!

В начале этой ссоры я был в Соколове и едва мельком слышал о ней, но на другой день после моего возвращения в Москву рано утром приехал ко мне Голохвастов. Большой педант и формалист, он пространно, хорошим и правильным слогом рассказал мне все дело, прибавив, что именно потому поторопился приехать, чтоб предупредить меня, в чем дело, прежде чем я услышу что-нибудь о размолвке.

— Недаром,— сказал я ему шутя,— меня зовут Александром: этот гордиев узел я вам тотчас разрублю. Вы должны во что б то ни стало помириться, и для того, чтоб уничтожить спорный предмет, я скажу вам прямо и решительно, что я отказываюсь от Покровского, а там одних лесных дач будет довольно, чтоб покрыть потерю тверского именья.

Голохвастов несколько смешался и поэтому еще больше доказывал мне все то, что я так хорошо понял по первым двум словам. Мы с ним расстались в самых лучших отношениях.

Через несколько дней мой отец как-то вечером сам заговорил

о Голохвастове. По своему обыкновению, когда он был недоволен кем-нибудь, он не оставил в нем ни одного здорового места. Идеал, на который он мне указывал с десятилетнего возраста, этот образцовый сын, этот примерный брат, этот лучший племянник в мире, этот благовоспитанный человек по превосходству, этот человек, наконец, одевающийся до того хорошо, что никогда узел галстука не был ни велик, ни мал,— этот человек являлся теперь в каком-то отрицательном фотографическом снимке, так что впадины были выпуклы, а белые места черны.

Переход к простой брани был бы слишком крут и заметен без разных переливов, оттенков и мостов. Такой непоследовательности отец мой при своем уме не мог сделать.

— Да, скажи, пожалуйста,— все забываю тебя спросить,— виделся ты с Дмитрием Павловичем (он его всегда звал Митя) после твоего возвращения?

— Один раз.

— Ну что, как его превосходительство?

— Ничего, здоров.

— Очень хорошо, что ты с ним видаешься; таких людей надобно держаться. Я его люблю и привык любить, да он всего этого и заслуживает. Конечно, есть и у него свои, и пресмешные, недостатки... но един бог без греха. Скорая карьера вскружила ему голову... ну, молод, в аннинской ленте; к тому же род его службы такой: ездит куратором учеников бранить да все с школярами привык говорить свысока... поучает их, те слушают его навытяжке... он и думает, что со всеми можно говорить тем же тоном. Не знаю, заметил ли ты — даже голос у него переменился. Я помню, при покойной императрице князь Прозоровский таким же резким голосом приказывал своим ординарцам. Ридикульно[1] сказать, приехал вдруг ко мне выговор читать. Я слушаю его и думаю: что, если бы покойница сестра Лизавета могла видеть это! Я ее с рук на руки Павлу Ивановичу передал в день их венчания, а тут ее сын:

— Да, дядюшка, кричит, если так, вы уж лучше обратитесь к Алексею Александровичу, а меня прошу избавить.

— Я, ты знаешь: одна нога в гробу, бездна забот, болезни, ну, Иов многострадальный. А он кричит, распалахнулся в лице... Quel siècle![2] Я знаю, ну, он привык в декастериях... ведь он никуда не ездит, а любит распоряжаться дома со старостами да с конюхами,— а тут эти писаришки — все «вашпревосходительство! вашпревосходительство!» — ну, затмение...

---

[1] Смешно *(от франц. ridicule).— Ред.*

[2] Что за век! *(франц.) — Ред.*

Словом, как в портрете Людовика-Филиппа, изменяя слегка черты, последовательно доходишь от спелого старика до гнилой груши, так и «образцовый Митя» — оттенок за оттенком — под конец уж как-то стал сбиваться на Картуша или на Шемяку.

Когда последние удары кистью были кончены, я рассказал весь мой разговор с Голохвастовым. Старик выслушал внимательно, насупил брови, потом, продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табак, сказал мне:

— Ты, пожалуйста, любезный друг, не думай, что ты меня очень затруднил тем, что отказываешься от Покровского... Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь: «возьмите, мол, мое имение», и тебе кланяться не стану. Охотники найдутся. Все контркарируют [1] мои прожекты; мне это надоело,— отдам все в больницу — больные будут добром поминать. Не только Митя, уж ты, наконец, учишь меня распоряжаться моим добром, а давно ли Вера тебя в корыте мыла? Нет, устал, пора в отставку; я и сам пойду в больницу.

Так разговор и окончился.

На другой день, часов в одиннадцать утром, отец прислал за мной своего камердинера. Это случалось очень редко; обыкновенно я заходил к нему перед обедом или если не обедал у него, то приходил к чаю.

Я застал старика перед его письменным столом, в очках и за какими-то бумагами.

— Поди-ка сюда, да, если можешь подарить мне часик времени... помоги-ка тут мне в порядок привести разные записки. Я знаю, ты занят, всё статейки пишешь — литератор... видел я как-то в «Отечественной почте» твою статью, ничего не понял,— всё такие термины мудреные. Да уж и литература-то такая... Прежде писывали Державин, Дмитриев, а нынче ты... да мой племянник Огарев. Хотя, по правде сказать, лучше дома сидеть и писать всякие пустяки, чем все в санках да к Яру, да шампанское.

Я слушал и никак не понимал, куда идет это captatio benevolentiae [2].

— Садись-ка вот здесь, прочти эту бумагу и скажи твое мнение.

Это было духовное завещание и несколько прибавлений к нему. С его точки зрения, это было высшее доверие, которое он мог оказать.

Странный психологический факт. В продолжение чтения и разговора я заметил две вещи: во-первых, что ему хотелось по-

---

[1] противодействуют *(от франц. contrecarrer).— Ред.*

[2] снискание расположения *(лат.).— Ред.*

мириться с Голохвастовым, а во-вторых, что он очень оценил мой отказ от именья, и в самом деле с этого времени, то есть с октября месяца 1845, и до своей кончины он во всех случаях показывал не только доверие, но иногда советовался со мной и даже раза два поступил по моему совету.

А что бы подумал человек, который бы вчера подслушал наш разговор? В ответе моего отца насчет Покровского я не изменил ни йоты, я очень помню его.

Завещание в главной части было просто и ясно: он оставлял все недвижимое имение Голохвастову, все движимое, капитал и домы моей матери, брату и мне, с условием равного раздела. Зато прибавочные статьи, написанные на разных лоскутках без чисел, далеко не были просты. Ответственность, которую он клал на нас и в особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности неприятна. Они противуречили друг другу и носили тот характер неопределенности, из-за которого обыкновенно выходят безобразные ссоры и обвинения.

Например, там были такие вещи: «Всех дворовых людей, *хорошо* и *усердно* мне служивших, отпускаю я на волю и поручаю вам выдать им денежные награждения по *заслугам*».

В одной записке было сказано, что старый каменный дом оставляется Григорию Ивановичу. В другой — дом имел иное назначение, а Григорию Ивановичу оставлялись деньги, но вовсе не было сказано, чтоб эти деньги шли взамен дома. По одному прибавлению, отец мой оставлял десять тысяч серебром одному родственнику, а по другому — он оставлял его сестре небольшое именье, с тем чтоб она отдала своему брату эти десять тысяч серебром.

Надобно заметить, что о половине этих распоряжений я прежде слыхал от него, и не я один. Старик много раз при мне говорил, например, о доме Григория Ивановича и советовал ему даже переехать в него.

Я предложил моему отцу пригласить Голохвастова и поручить ему с Григорием Ивановичем составить общую записку.

— Конечно,— говорил он,— Митя мог бы помочь, да ведь он очень занят. Знаешь, эти государственные люди... Что ему до умирающего дяди — он всё семинарии ревизует.

— Он наверно приедет,— заметил я,— это дело слишком важно для него.

— Я всегда рад его видеть. Только не всегда у меня голова достаточно здорова говорить о делах. Митя, il est très verbeux [1], он заговорит меня, а у меня сейчас мысли кругом пойдут. Ты

[1] он очень болтлив *(франц.).— Ред.*

лучше свези к нему все эти бумаги, да пусть он прежде на маржах [1] поставит свои замечания.

Дни через два Голохвастов приехал сам; он, как большой формалист, перепугался больше меня беспорядка, а как классик, выразился об этом так: «mais, mon cher, c'est le testament d'Alexandre le Grand» [2]. Мой отец, как всегда в подобных случаях бывало, представил себя вдвое больше больным, говорил Голохвастову косвенные колкости, потом обнял его, тронул щекой его щеку, и семейное Кампо-Формио было заключено.

Насколько мы могли, мы уговорили старика переменить редакцию его прибавлений и сделать одну записку. Он сам хотел ее написать и не кончил в продолжение шести месяцев.

Вслед за разделом явился, естественно, вопрос, кто же поступает на волю и кто нет? Что касается до денежного награждения, я уговорил моего отца определить сумму; после долгих прений он назначил три тысячи рублей серебром. Голохвастов объявил людям, что, не зная, кто именно служил в доме и как, он предоставляет мне разбор их прав. Я начал с того, что поместил в список всех до одного из служивших в доме. Но когда разнесся слух о моем листе, на меня хлынули со всех сторон какие-то дворовые прошлых поколений, с дурно бритыми седыми подбородками, плешивые, обтерханные, с тем неверным качанием головы и трясением рук, которые приобретаются двумятремя десятками лет пьянства, старухи, сморщившиеся и в чепцах с огромными оборками, заочные крестники и крестницы, о христианском существовании которых я не имел понятия. Одних из этих людей я совсем не видывал, других помнил как во сне; наконец явились и такие, о которых я наверно знал, что они никогда не служили у нас в доме, а вечно ходили по паспорту, другие когда-то жили, и то не у нас, а у Сенатора, или пребывали спокон века в деревне. Если б эти разбитые на ноги старики и уменьшившиеся в росте и закоптевшие от лет старухи хотели вольную для себя, беда была бы не велика; совсем напротив, они-то и были готовы окончить век свой за Дмитрием Павловичем, но у каждого почти нашлись сыновья, дочери, внучата. Призадумался я, думал, думал, да и дал всем им свидетельства. Голохвастов очень хорошо понял, что половина этих незнакомцев никогда не была на службе, но, видя мои свидетельства, велел всем писать отпускные; когда мы их подписывали, он, почесывая пальцем волосы, сказал мне, улыбаясь:

— Я думаю, мы тут и чужих несколько человек отпустили.

---

[1] на полях *(от франц. marge).— Ред.*

[2] но, дорогой мой, это завещание Александра Великого *(франц.).— Ред.*

Голохвастов был в своем роде тоже оригинальное лицо, как вся семья моего отца.

Меньшая сестра моего отца была замужем за старым, старинным столбовым и очень богатым русским барином Павлом Ивановичем Голохвастовым. Голохвастовы мелькают там-сям в русской истории со времен Грозного; при Самозванце, во время междуцарствия встречаются их имена. Келарь Авраамий Палицын навлек на себя сначала гнев Дмитрия Павловича, а потом предлинную статью, неосторожно отозвавшись об одном из предков его в своем сказании об осаде Троице-Сергиевской лавры.

Павел Иванович был угрюмый, скупой, но чрезвычайно честный и деловой человек. Мы видели, как он помешал моему отцу уехать из Москвы в 1812 году и как умер потом в деревне от удара.

У него остались два сына и дочь. Они жили с матерью в том самом большом доме на Тверской, которого пожар так поразил старика [1]. Несколько строгий, скупой и тяжелый тон, введенный стариком, пережил его. В доме их царствовала обдуманная, важная скука и официально учтивый, благосклонный тон с чувством собственного достоинства, который à la longue [2] чрезвычайно надоедал. Большие и хорошо убранные комнаты были слишком пусты и беззвучны. Молча сидела, бывало, за своей работой дочь; мать, сохранившая следы большой красоты и тогда еще не старая, лет сорока пяти с чем-нибудь, начинала хворать и обыкновенно лежала на софе; обе говорили протяжно и несколько нараспев, как тогда вообще говорили московские дамы и девицы. Дмитрий Павлович лет восьмнадцати походил на сорокалетнего мужчину. Меньшой брат был живее его, но зато его почти никогда не было налицо...

...И все-то это примерло... А я еще помню, когда мать дала Дмитрию Павловичу торжественную инвеституру [3] на полное распоряжение лошадью и дрожками. Их бывший гувернер Маршаль, превосходный человек, послуживший мне когда-то типом Жозефа в «Кто виноват?», давал мне уроки после Бушо.

Как ни обходи, ни маскируй, как умно ни разрешай эти тревожные вопросы о жизни, смерти, судьбе, они все-таки являются с своими могильными крестами и с той будто неуместной улыбкой, которая остается на осклабившихся челюстях мертвой головы!

---

[1] «Былое и думы», часть 1, глава I.
[2] в конце концов *(франц.).— Ред.*
[3] ввод во владение *(от лат. investire).— Ред.*

А если раздумаешься, то сам увидишь, что и нельзя не улыбаться. Вот хоть бы судьба этих двух братьев — чего и чего не придет в голову, думая о них!

Разница, бывшая между моим отцом и Сенатором, бледнеет перед резкой противуположностью их, несмотря на то что они выросли в одной комнате, имели одного гувернера, одних учителей, одинакую обстановку.

Старший брат был блондин с британски-рыжеватым оттенком, с светло-серыми глазами, которые он любил щурить и которые говорили о невозмущаемом штиле души. С летами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою. Он тогда стал щурить не только глазами, но и ноздрями особенного, довольно удачного покроя. Говоря, он почесывал третьим пальцем левой руки волосы на висках, всегда подвитые и правильно причесанные, притом он постоянно держал губы на благосклонной улыбке; последнее он унаследовал у матери и у Лампиева портрета Екатерины II. Правильные черты его вместе с стройным и довольно высоким ростом, с тщательно округленными движеньями, с шейным платком, которого узел «никогда не был ни велик, ни мал», придавали ему какую-то торжественную красоту — посаженого отца, почетного свидетеля, человека, которому предоставлено раздавать награды отличившимся ученикам, или, по крайней мере, человека, приехавшего поздравить с рождеством Христовым или с наступающим Новым годом. Но для будней, для ежедневного обихода он был слишком наряден.

Вся его жизнь была рядом наград за успехи и нравственность. Он их заслуживал вполне. Маршаль, поседевший от меньшого брата его, не мог нахвалиться Дмитрием Павловичем и безусловно верил в непогрешительность его французского синтаксиса. Действительно, он говорил по-французски с той непорочной правильностью, с которой французы никогда не говорят (вероятно, потому, что в них не развито чувство сознания всей важности знать французскую грамматику). Четырнадцати лет он не только участвовал в управлении именьем, но перевел на французский язык в прозе *всю* «Россиаду» Хераскова для упражнения в стиле. Вероятно, старик радовался на том свете больше, чем «Лебедь на водах Меандра», узнавши это. Но Голохвастов не только правильно говорил по-французски и по-немецки, не только хорошо знал полатыни, но знал и говорил правильно и хорошо по-русски.

Так, как Маршаль считал его лучшим учеником, так его мать считала его лучшим сыном, дяди его — лучшим племянником, а князь Дмитрий Владимирович Голицын, когда он определился к нему на службу, считал его лучшим чиновником. Но что́ еще важ-

нее — что все это действительно так и было. А странное дело... чувствовалось отсутствие *чего-то*. Он был умен, деловой человек, много читал и помнил — чего же больше, кажется, требовать?

Я впоследствии не раз встречал эти натуры, эти «гладенькие» умы, эти светло понимающие — на известном пространстве и в известную глубину — головы. Они умно рассуждают, не отступая от данных; они еще умнее поступают, не сходя с торной дороги; они настоящие современники своего времени, своего общества. Все, что́ они говорят,— истинно, но они могли бы говорить что-нибудь другое; все, что́ они делают,— хорошо, но они могли бы делать что-нибудь иное. Они обыкновенно нравственны, но вам нечистая сила шепчет на ухо: «Да могут ли они быть безнравственны?» Немцы назвали бы таких людей «рассудочными»; это среда вигизма в Англии,— среда, которой гений и высший представитель теперь — Маколей, в стары годы был Вальтер Скотт, среда практической философии пустынника de la Chaussée d'Antin и философских поучений Вейса. Все у этих господ исправно, чинно, на месте; они правильно любят добродетель и бегут порока; все у них не лишено известной прелести серенького летнего дня без дождя и солнца, а чего-то нет,— ну, так, безделицы, *ничего*, как у великих княжен царя Никиты... но

И того недоставало,—

а без того и все остальное не в честь.

Меньшой брат Голохвастова родился хромой; уж одно это обстоятельство лишило его возможности приобресть античную позу и версальскую поступь старшего брата. К тому же у него были черные волосы и огромные черные глаза, которыми он никогда не щурился. Эта энергическая и красивая наружность была всё; внутри бродили довольно неустроенные страсти и смутные понятия. Мой отец, не ставивший его ни в грош, говорил, когда особенно был им недоволен:

— Quel jeu intéressant de la nature[1] видеть на плечах Николаши,— и при этом старик поднимал свои собственные,— голову персидского шаха!

Так, как его старший брат не мог ни на минуту обдосужиться весь свой век и постоянно что-нибудь делал, так Николай Павлович всю жизнь решительно ничего не делал. В юности он не учился; лет двадцати трех он уже был женат, и это презабавным образом: он увез сам себя. Влюбившись в бедную и незнатную девушку, чрезвычайно милую грёзовскую головку или севрскую изящнейшую куколку, он просил позволения жениться на ней, и

[1] Какая занятная игра природы *(франц.).— Ред.*

этому я всего меньше дивлюсь. Мать, исполненная аристократических предрассудков и воображавшая, что за своих сыновей меньше взять нельзя, как Румянцеву или Орлову, и то с целым народонаселением какой-нибудь Воронежской или Рязанской губернии, разумеется, не согласилась. Но, как брат его ни уговаривал, как дяди и тетки ни усовещивали, светленькие глазки молодой девушки взяли свое; наш Вертер, видя, что ничем не сломит волю своих родных, спустил ночью в окно шкатулку, несколько белья, камердинера Александра, потом спустился сам, оставив свою дверь запертую изнутри. Когда к обеду следующего дня открыли дверь, он был уже обвенчан. Его мать так огорчилась тайным браком, что слегла в постель и умерла, принеся свою жизнь в жертву на алтарь этикета и приличий.

У них в доме жила вдова коменданта Орской крепости во времена чумы и Пугачева, старушка-офицерша, глухая, с небольшими усами и ворчунья. Часто рассказывала она мне потом о потрясающем событии побега и всякий раз прибавляла: «Я, батюшка, с малых лет видела, что в Николае-то Павловиче проку никакого не будет и никакого утешения Елизавете Алексеевне. Ему, извольте видеть, было лет двенадцать,— век не забуду,— прибежал ко мне, хохочет до слез, говорит: «Надежда Ивановна, Надежда Ивановна, поскорее к окну: посмотрите, что с нашей коровой сделалось!» Я к окну — да так и ахнула. Ну, представь, батюшка: ей собаки, что ли, хвост оторвали, только она, моя голубушка, так-таки без хвоста и есть... Корова была тирольская... не вытерпела я, так это, я говорю, ты смеешься над маменькиной коровой да над своим добром, ну, какой же в тебе будет путь! Так я уж и махнула рукой с той самой поры».

Пророчество, так странно вышедшее из коровьего хвоста, которого не было на своем месте, начало сбываться быстро. Братья разделились, и меньшой пошел кутить.

Кто не помнит ряд Гогартовых рисунков, в которых он представляет параллельно жизнь трудолюбивого и лентяя. Трудолюбивый скучает в церкви, ленивый играет в кости; трудолюбивый читает в семействе назидательную книгу, лентяй пьет водку и т. д. Эту параллель с изменением общественного положения представляли наши братья. У Гогарта один из героев начинает воровать и оканчивает виселицей, а другой всю жизнь совсем не веселится и приговаривает своего приятеля к смерти. Воровство — hors d'œuvre [1] — не его вина, что ему мать не оставила двух тысяч душ в Калужской губернии, как Елизавета Алексеевна, и полмиллиона денег. Стал ли бы он тогда хлопотать и трудиться,—

[1] Здесь: нечто побочное *(франц.).— Ред.*

воровать вовсе не отдохновение, а работа очень неприятная и чрезвычайно опасная.

Оба брата, разделившись, горячо принялись за дело: один — улучшать свое именье, другой — разорять его; не знаю, прибавил ли Дмитрий Павлович сто рублей своими неусыпными заботами к имуществу, Николай Павлович через десять лет имел больше миллиона долга.

Вскоре после смерти матери, устроив свою сестру, то есть выдав ее замуж, Дмитрий Павлович уехал в Париж и Лондон — глядеть Европу, а Николай Павлович принялся себя показывать Москве: балы, обеды, спектакли следовали друг за другом; его дом с утра был набит охотниками до хорошего завтрака, знатоками вин, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами; вино лилось, музыка гремела; он даже иногда поднимал местные образа первой величины: князя Д. В. Голицына, князя Юсупова.

Холостой Дмитрий Павлович между тем, правильно осмотревши Европу и выучившись по-английски, возвращался вооруженный планами девонширских ферм и корнвельского конского завода в сопровождении английского берейтора и двух огромных породистых ньюфаундлендских собак, с длинной шерстью, с перепонками на лапах и одаренных невероятной глупостью. Морем плыли сеяльные и веяльные машины, необыкновенные плуги и модели всяких агрономических затей.

Пока Дмитрий Павлович старательно заводил четырехпольное хозяйство, не идущее к нашей земле, и обсевал клевером наши православные луга, пока он давал английское воспитание жеребятам, от русских родителей рожденным, и изучал Тэера,— Николай Павлович, и это, я думаю, худший и глупейший поступок в его жизни, успел разлюбить свою жену и, как бы не находя довольно быстрым средством разорения балы и обеды, взял на содержание актрису-танцовщицу, которая, без сомнения, была недостойна завязывать шнурков корсета его жены. С этой минуты все пошло как на парах: именье было описано, жена погоревала, погоревала о судьбе детей и о своей собственной, простудилась и в несколько дней умерла,— дом распадался.

Видя это, Дмитрий Павлович принял энергическую меру, чтоб и его именье не пошло кредиторам его брата: он решился жениться. Он тщательно выбрал умную и дельную жену; брак его не был делом безумной страсти; он из династического интереса желал прямых наследников, чтоб оградить родовое именье праотцев.

Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича. Такого сюрприза от него он не ждал; видно, им было на роду написано

удивлять друг друга своими бракосочетаниями. Чтоб утешиться, он стал вдвое кутить. Как медленно ни делаются у нас эти дела, но наконец настало время продажи именья с аукционного торга. Не думаю, чтоб это очень заботило Дмитрия Павловича, но тут опять замешались династические интересы, и потому Дмитрий Павлович с помощью дядей принялся за спасение брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеек сорок с рубля, то есть бросали в печь большую сумму денег, и увидели потом, что это совершенно бесполезно,— так много было векселей. Один из эпизодов этой истории остался у меня в памяти. При разделе брильянты матери достались Николаю Павловичу; Николай Павлович наконец заложил и их. Видеть брильянты, украшавшие некогда величавый стан Елизаветы Алексеевны, проданными какой-нибудь купчихе, Дмитрий Павлович не мог. Он представил брату весь ужас его поступка; тот плакал, клялся, что раскаивается; Дмитрий Павлович дал ему вексель на себя и послал к ростовщику выкупить брильянты; Николай Павлович просил его позволение привезти брильянты к нему, чтоб он их спрятал как единственное наследство его дочерей. Брильянты он выкупил и повез к брату, но, вероятно, chemin faisant[1] он раздумал, потому что, вместо брата, он заехал к другому ростовщику и снова их заложил. Надо себе представить удивление Сенатора, досаду Дмитрия Павловича и пространные рассуждения моего отца, чтоб понять, как я от души хохотал над этим высоко комическим происшествием.

Когда все средства окончательно истощились, именье было продано, дом назначен в продажу, люди распущены, брильянты не выкуплены во второй раз, когда наконец Николай Павлович велел рубить свой московский сад, для того чтоб *топить печи*,— та же благодатная судьба, которая баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Он поехал на дачу к своему двоюродному брату и вышел пройтиться, приостановился середь разговора, взял себя за голову рукой, упал и умер.

В эти последние годы the diligent[2] Дмитрий Павлович, как Цинциннат, оставив плуг, перешел к управлению ученой республики в Москве. Случилось это так. Император Николай, полагая, что генерал-майор Писарев довольно остриг студентов и основательно научил застегивать вицмундирные сюртуки, захотел переменить военное управление университета на статское. На дороге между Москвой и Петербургом он назначил попечителем князя Сергий Михайловича Голицына — по какому соображению, это

[1] по дороге *(франц.).— Ред.*
[2] прилежный *(англ.).— Ред.*

трудно сказать, вероятно, он и сам себе в этом отчета не мог дать. Разве он назначил его для того, чтобы доказать, что место попечителя вовсе не нужно. Голицын, которого он взял с собой, без того уже полуживой от курьерской езды сломя голову, к которой он не привык, до того испугался нового места, что стал отказываться. Но в этих случаях толковать с Николаем было невозможно: его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда они чего-нибудь хотят животом.

Вронченко, когда его сделали министром финансов, бросился ему в ноги, уверяя его в своей неспособности. Николай глубокомысленно отвечал ему:

— Все это вздор; я прежде не управлял государством, а вот научился же,— научишься и ты.

И Вронченко остался поневоле министром к великой радости всех «unprotected females» [1] Мещанской улицы, которые осветили свои окна, говоря: «Наш Василий Федорович стал министром!»

Голицын, проскакавши еще верст сто и еще больше измятый, решился идти на переговоры и доложил, что он только тогда возьмет место, когда у него будет надежный товарищ, который бы помогал ему пасти университетскую паству. Государь через пятьдесят верст велел ему самому сыскать себе товарища. Так они благополучно приехали в Петербург.

Отдохнув с месяц от дороги, Голицын тихонько поехал в Москву и принялся искать товарища. У него был по университету помощник, высочайший из смертных после своего брата и преображенского тамбурмажора, граф А. Панин; но он действительно был слишком высок, чтоб маленький старичок мог его избрать. Осмотревшись в Москве, взгляд Голицына остановился на Дмитрии Павловиче. С его точки зрения, он не мог сделать лучшего выбора. Дмитрий Павлович имел все те достоинства, которые высшее начальство ищет в человеке нашего века, без тех недостатков, за которые оно гонит его: образованье, хорошая фамилия, богатство, агрономия и не только отсутствие «завиральных идей», но и вообще всяких происшествий в жизни. Голохвастов не имел ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не играл отроду в карты, ни разу не напивался допьяна, но часто по воскресеньям ездил к обедне, и не просто к обедне, а к обедне в домовую церковь князя Голицына. К этому надобно прибавить мастерской французский язык, округленные манеры и одну страсть, страсть совершенно невинную,— к лошадям.

Только что Голицын придумал, как уж Николай опять несся стремглав в Москву. Тут Голицын поймал его, пока он не

[1] публичных женщин *(англ.).— Ред.*

ударился в Тулу, и представил ему Дмитрия Павловича. Он вышел от государя товарищем попечителя.

С этого времени Дмитрий Павлович начал приметно толстеть, наружность его выражала еще больше важности; он стал как-то больше говорить в нос, чем прежде, и фрак стал носить как-то пошире, без звезды, но, видимо, предчувствуя ее.

До его назначения в университет мы были с ним настолько близки, насколько различие лет позволяло (он был лет 16 старше меня). Тут я с ним чуть не рассорился, по крайней мере, лет десять кряду мы смотрели друг на друга с неприязненным холодом.

Частной причины на это не было никакой. Его поведение относительно меня было всегда исполнено деликатности, без ненужной короткости, без оскорбительного отдаления. Это потому заслуживает внимания, что отец мой, с своей стороны, стараясь нас сблизить, делал все, что следует, чтоб поселить между нами ненависть.

Он постоянно толковал мне, что Сенатор и Дмитрий Павлович — мои естественные *покровители*, что я должен быть к ним *прибежен*, что я должен ценить их родственную ласку. К этому он прибавлял, что само собою разумеется, что все их знаки внимания оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, к которому я привык почти столько же, сколько к моему отцу, с той разницей, что его я не боялся, мне эти слова ничего не значили, но от Голохвастова они меня отдаляли, и если не отдалили, то это благодаря такту, с каким себя Голохвастов постоянно вел.

Вещи эти отец мой говорил не в минуту досады, а в самом лучшем расположении духа, и это оттого, что в екатерининском веке клиентизм был обыкновенен, подчиненные не смели сердиться за «ты» от начальника и все на свете открыто искали милостивцев и покровителей.

Когда Дмитрий Павлович был назначен в университет, я думал точно так, как князь Сергий Михайлович, что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Если бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педантство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педельства на большом размере не было при самом Писареве. И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были Панин и Писарев для волос и пуговиц.

Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме

его, что-то образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился ex officio [1] со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостью своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая?

Формализм его и это вечное священнодействие, mise en scène [2] себя, иногда вводили его в самые забавные истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться.

Как председатель московского цензурного комитета, он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали цензировать в Петербург. В Москве был старик Мяснов, большой охотник до лошадей; он составил какую-то генеалогическую таблицу лошадиных родов и, желая выиграть время, просил позволения посылать в цензуру корректурные листы вместо рукописи, в которой, вероятно, хотел сделать поправки. Голохвастов затруднился, произнес длинную речь, где плодовито изложил pro и contra [3], и заключил ее тем, что, впрочем, разрешить присылку корректурных листов в цензуру можно, буде автор удостоверит, что в его книге нет ничего против правительства, религии и нравственности.

Холерический и раздражительный Мяснов встал и с серьезным видом сказал:

— Так как это дело остается на моей ответственности, то я считаю необходимым оговориться: в книге моей, конечно, нет ни одного слова против правительства, ни против нравственности, но насчет религии я не так уверен.

— Помилуйте! — сказал удивленный Голохвастов.

— А вот, извольте видеть, в Кормчей книге есть статья, так гласящая: «Над корчагами клянущие, волосы плетущие и на конские ристалища ходящие да будут преданы анафеме». А я в моей книге очень много говорю о конских ристалищах, так, право, и не знаю...

— Это не может быть препятствием,— заметил Голохвастов.

— Покорнейше вас благодарю за разрешение сомнения,— ответил колкий старик, откланиваясь.

Когда я возвратился из второй ссылки, положение Голохвастова в университете было не прежнее. На место князя *Сергий* Ми-

---

[1] по должности *(лат.).— Ред.*
[2] Здесь: стремление порисоваться *(франц.).— Ред.*
[3] «за» и «против» *(лат.).— Ред.*

хайловича поступил граф *Сергей* Григорьевич Строгонов. Понятия Строгонова, сбивчивые и неясные, были все же несравненно образованнее. Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгоновского майората. В этих случаях не надо забывать la difficulté vaincue [1].

— Какая страшная повесть Гоголева «Шинель»,— сказал раз Строгонов Е. Коршу,— ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч. Поставьте себя в мое положение и взгляните на эту повесть.

— Мне о-очень т-трудно,— отвечал Корш,— я не привык рассматривать предметы с точки зрения человека, имеющего тридцать тысяч душ.

Действительно, с такими двумя бельмами, как майорат и «наш» с палочкой, трудно ясно смотреть на божий свет, и граф Строгонов иногда заступал постромку, делался чисто-начисто генерал-адъютантом, то есть взбалмошно-грубым, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него недоставало, и в этом снова выражалась добрая сторона его натуры. Для объяснения того, что я хочу сказать, приведу один пример.

Раз кончивший курс казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части ваканция младшего учителя, пришел просить у графа перемещения. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском городе. По несчастию, Строгонов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка.

— Какое вы имеете право на это место? — спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы.

— Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась ваканция.

— Да и еще одна открывается,— перебил граф,— ваканция нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?

— Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства,— ответил молодой человек,— я приму место посла с искренней благодарностию.

Граф стал еще желтее, однако учтиво просил его в кабинет.

У меня лично с ним бывали прекурьезные сношения; самое

[1] преодоленной трудности *(франц.).— Ред.*

первое свидание наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская школа.

Вечером как-то, во Владимире, сижу я дома за своей Лыбедью; вдруг является ко мне учитель гимназии, немец, доктор Иенского университета, по прозванию Делич, в мундире. Доктор Делич объявил мне, что утром приехал из Москвы попечитель университета, граф Строгонов, и прислал его пригласить меня завтра в десять часов утра к себе.

— Не может быть; я его совсем не знаю, и вы, верно, перемешали.

— Это не фозможно. Der Herr Graf geruhten aufs freundlichste sich bei mir zu beurkunden über Ihre Lage hier [1]. Увы, едете?

Русский человек, я поборолся еще с Деличем, убедился еще больше, что ездить совсем не нужно, и поехал на другой день.

Альфиери, как человек не русский, поступил иначе, когда французский маршал, занявший Флоренцию, пригласил его, незнакомого, к себе на вечер. Он ему написал, что если это просто частное приглашение, то он за него весьма благодарит, но просит его извинить, потому что он никогда не ездит к незнакомым. Если же это приказ, то, зная военное положение города, он непременно в восемь часов вечера отдастся в плен (se constituera prisonnier).

Строгонов звал меня как редкость, принадлежавшую прежде к университету, как блудного кандидата. Ему просто хотелось меня видеть и, сверх того, хотелось, такова слабость души человеческой, даже под толстым аксельбантом, похвастать передо мной своими улучшениями по университету.

Он меня принял очень хорошо. Наговорил мне кучу комплиментов и скорым шагом дошел до чего хотел.

— Жаль, что вам нельзя побывать в Москве, вы не узнаете теперь университет; от здания и аудитории до профессоров и объема преподавания — все изменилось,— и пошел, и пошел.

Я очень скромно заметил, чтоб показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дурак, что, вероятно, преподавание оттого так изменилось, что много новых профессоров возвратилось из чужих краев.

— Без всякого сомнения,— отвечал граф,— но, сверх того, дух управления, единство, знаете, моральное единство...

Впрочем, отдадим ему справедливость: он своим «моральным единством» больше сделал пользы университету, чем Земляника

---

[1] Граф изволил самым дружеским образом осведомиться у меня о вашем положении здесь *(нем.).— Ред.*

своей больнице «честностию и порядком». Университет очень много обязан ему... но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что он хвастался этим перед человеком, сосланным под надзор за политические проступки. Ведь это стоит того, что человек, сосланный за политические проступки, без всякой необходимости поехал по зову генерал-адъютанта. О, Русь!.. Что же тут удивительного, что иностранцы ничего не понимают, глядя на нас!

Второй раз я видел его в Петербурге, именно в то время, когда меня ссылали в Новгород. Сергей Григорьевич жил у брата своего, министра внутренних дел. Я входил в залу в то самое время, как Строгонов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо; он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки.

Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах было видно большое негодование или раздражение, потому что Строгонов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытания с христианской кротостью.

— Поверьте,— говорил он,— каждому на свой пай достается нести крест.

«Даже и очень много иногда»,— подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь, и не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

Он догадался и покраснел.

— Вы, верно, думаете,— сказал он,— хорошо, мол, ему проповедовать. Поверьте, что tout est compensé [1],— по крайней мере, так думает Азаис.

Сверх проповеди, он и Жуковский действительно хлопотали обо мне, но челюсти бульдога, вцепившегося в меня, не легко было разнять.

Поселившись в 1842 году в Москве, я стал иногда бывать у Строгонова. Он ко мне благоволил, но иногда будировал. Мне очень нравились эти приливы и отливы. Когда он бывал в либеральном направлении, он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был в мое время. Но когда он был в *консервативном* направлении, тогда упрекал, что я не служу и что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и

[1] все уравновешено *(франц.).— Ред.*

больше ставят в необходимость изменить присяге или закрыть их кафедры.

— Я знаю, какой крик поднимется от этого, вы первый будете меня называть вандалом.

Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил:

— Вы этого никогда не сделаете, и потому я вас могу искренно поблагодарить за хорошее мнение обо мне.

— Непременно сделаю,— ворчал Строгонов, потягивая ус и желтея,— вы увидите.

Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет, за это можно было позволить ему периодически пострадать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй.

Раз как-то он до того зарапортовался, говоривши со мной, что, браня все революционное, рассказал мне, как 14 декабря Трубецкой ушел с площади, расстроенный, прибежал в дом к его отцу и, не зная, что делать, подошел к окну и стал барабанить по стеклу; так прошло некоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой в их доме, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь, тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади, так-то вы понимаете ваш долг?» Он схватил шляпу и пошел — куда вы думаете? — спрятаться к австрийскому послу.

— Конечно, ему следовало бы идти в полицию и донести,— сказал я.

— Как? — спросил удивленный Строгонов и почти попятился от меня.

— Или вы считаете, как француженка,— сказал я, не удерживая больше смеха,— что его обязанность была идти на площадь и стрелять в Николая?

— Видите,— заметил Строгонов, поднимая плечи и нехотя посматривая на дверь,— какой у вас несчастный pli [1] ума, я только говорю, что вот эти люди... когда нет истинных, моральных, основанных на вере принципов, когда они сходят с прямого пути... все путается. Вы с летами все это увидите.

До этих лет я еще не дожил, но эту сторону ненаходчивости у Строгонова, над которой часто зло подсмеивался Чаадаев, я, совсем напротив, ставлю ему в большое достоинство.

Говорят, что во время совершенного помрачения духа нашего невского Саула, после февральской революции, увлекся и Строгонов. Он будто бы настоял в новом цензурном совете на воспрещении пропускать что бы то ни было из писанного мною. Я это принимаю за действительный знак его хорошего расположения

[1] склад *(франц.).— Ред.*

ко мне; услышав это, я принялся за русскую типографию. Но Саул шел дальше. Вскоре реакция обошла и перешла нашего графа, он не хотел быть палачом университета и вышел из попечителей. Но это еще не все. Через два-три месяца после Строгонова вышел в отставку и Голохвастов, устрашенный рядом безумных мер, которые ему предписывались из Петербурга.

Так окончилась публичная карьера Дмитрия Павловича, и он, как настоящий москвич, сложив с себя бремя государственных дел, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельским хозяйством и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами.

В внутренней жизни его в продолжение его кураторства все шло благополучно, то есть в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Именье было ограждено законными наследниками. Сверх того, еще одно лицо обрадовало и согрело последние десять лет его жизни. Я говорю о приобретении *Бычка*, первого рысака по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов Бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона — то худым консулом с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину, на скале середь плещущего океана,— так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где он провел свою юность, в поле — свободный, с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой, невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков,— тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале.

Казалось бы, отделавшись от скучных забот по университету, с огромным именьем и огромным доходом, с двумя звездами и четырьмя детьми, тут-то бы и жить да поживать. Судьба решила иначе; вскоре после своей отставки Дмитрий Павлович, здоровый, сильный мужчина, лет пятидесяти с чем-то, занемог, хуже да хуже, сделалась горловая чахотка, и он умер после тяжелой и мучительной болезни в 1849 году.

И вот я поневоле останавливаюсь в раздумье перед этими двумя могилами, и ряд странных вопросов, о которых я упомянул, снова представляется уму.

Смерть приравняла двух непохожих братьев. Кто же из них лучше воспользовался своим промежутком между двумя немыми и безответными пропастями? Один истратил и себя, и свое достояние, но имел свой медовый месяц из лучших липовых сот. Положим, что он и был человек бесполезный, но вреда *намеренного* никому не делал. Он оставил детей в бедности — плохо; но они все-таки получили воспитание и должны были получить кой-что от дяди. А сколько тружеников, работавших всю жизнь, с горькой слезой закрывают глаза, глядя на детей, которым они не могли дать ни воспитания, ни куска хлеба? Т. Карлейль, утешая людей, слишком умилявшихся над судьбой несчастного сына Людовика XVI, сказал им: «Это правда, он был воспитан сапожником, то есть получил то дурное воспитание, которое получали и теперь получают миллионы детей бедных поселян и работников».

Другой брат совсем не жил, он *служил* жизнь, так, как священники *служат* обедню, то есть с чрезвычайной важностию совершал какой-то привычный ритуал, более торжественный, чем полезный. Обдумать, зачем он его исполнял, ему было так же некогда, как его брату. Если из жизни Дмитрия Павловича исключить два-три случая — Бычка, скачки и кубки да два-три входа и выхода, например, когда он взошел в университет с сознанием, что он — начальник его, когда он вышел первый раз из своей комнаты в звезде, когда он представлялся е. и. величеству, когда водил по аудиториям е. и. высочество,— останется одна проза, одно деловое, натянутое, официальное утро. Спору нет, мысль о важности его участия в делах административных доставляла ему удовольствие; этикет — своего рода поэзия, своего рода артистическая гимнастика, как парады и танцы; но ведь какая бедная поэзия в сравнении с пышными пирами, в которых провел свою жизнь его брат, тайком обвенчавшийся на хорошенькой барышне с упоительными глазками.

И в дополнение, Дмитрий Павлович своей правильной жизнию, своим образцовым поведением в нравственном, служебном и гигиеническом отношениях даже не дошел ни до здоровья, ни до долголетия и умер так же неожиданно, как его брат, но только с гораздо большими мучениями [1].

Ну, и all right! [2]

---

[1] Мне кажется, что, говоря о Дмитрии Павловиче, я не должен умолчать о его последнем поступке со мною. После кончины моего отца он мне остался должен 40 000 сер. Я уехал за границу, оставив этот долг за ним. Умирая, он завещал, чтобы мне первому было уплачено, потому что официально я не мог ничего требовать. Вслед за вестью о его кончине я по следующей почте получил все деньги.

[2] все! *(англ.)* — *Ред.*

ГЛАВА XXXII

Последняя поездка в Соколово.— Теоретический разрыв.— Натянутое положение.— Dahin! Dahin! [1]

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам,— и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем *нравились*.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Редкина, старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Редкиным у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Редкин подошел к окну и опустил стору.

— Что же, от этого будет лучше? — спросил я его.

— Как же,— ответил за него Крюков.— Редкин верит in die Persönlichkeit des absoluten Geistes [2] и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.

Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.

На одном листе записной книжки того времени, с видимой arrière-pensée [3], помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена».

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.

Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена

---

[1] Туда! Туда! *(нем.)— Ред.*

[2] в личность абсолютного духа *(нем.).— Ред.*

[3] задней мыслью *(франц.).— Ред.*

были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука,— если только человек вверится ей без якоря,— непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились — от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля — все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий, оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.

Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули наконец из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Редкина, то, в сущности, все же они с ним согласнее, чем со мной, и что, при всей независимости их мысли, еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми, с Грановским и Е. Коршем.

Открытие это исполнило меня глубокой печалью; порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.

Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и Лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной ялвы.

Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.

Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за «Отечественными записками». Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил наконец его отроческую неуверенность в себе и стал с ним говорить

об «Отечественных записках». Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.

Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.

— Что вы намерены делать после курса? — спросил я его раз.

— Постричься в священники,— отвечал он, краснея.

— Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

— Мне нет выбора, мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

— Вы не сердитесь на меня,— возразил я,— но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам,— все это и, сверх того, искреннее участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:

— Перед вами лгать не стану — нет!

— Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день во всю вашу жизнь всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против святого духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!

— Это ужасно! ужасно! — сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

— Я к вам пришел затем,— сказал он,— чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы: духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал, с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.

Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере, способствовал к ее спасению.

Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.

Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, то есть положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти [1].

С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, новое, сильное поколение.

---

[1] История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В Лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить.

На одном из этих праздников один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было *начертано* золотыми буквами: «Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа...» и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное имя государя императора.

Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастие не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончать курс и приехать к ней. Начальник Лицея, кажется, генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дело до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из Лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, то есть ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат,— и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости божией, убившей вовремя его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете.

Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед нами свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его «романтизма». Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, недоставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и Сатина.

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались... Что-то они... как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к «Яру», где они остановились. Ну, вот они, наконец. И как переменились, и какая борода, и не видались несколько лет! — Мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец наш маленький круг был почти весь в сборе — теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово — это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой — открывался пространный вид вдаль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, «Бель-вю» [1].

Соколово некогда принадлежало графам Румянцевым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то ширйной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили

[1] «Прекрасный вид» *(от франц. belle vue).— Ред.*

мы в нашем парке. Кетчер меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Евгений приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. Михаил Семенович нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота...

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном: об отсутствии Огарева. Ну вот и он, и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами; Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura[1] не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри — явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела — все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы (помнится, об *Энциклопедистах*) и был им чрезвычайно доволен.

---

[1] дачная жизнь *(итал.).— Ред.*

— Да что же тебе нравится? — спросил я его.— Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

— Твои мнения,— ответил Грановский,— точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед, ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

— Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее *обязывает нас* к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

— Все это так мало обязательно,— возразил Грановский, слегка изменившись в лице,— что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

— Славно было бы жить на свете,— сказал я,— если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.

— Подумай, Грановский,— прибавил Огарев,— ведь это своего рода бегство от несчастия.

— Послушайте,— возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего,— вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах, мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что́ произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посто-

ронний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего...

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа — предел и с тем вместе цензура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»

Огарев взял тройку и поехал в Москву, на дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.

...Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружном круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел — которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
. . . . . .
. . . . . .
Опять один мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо...

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало — дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, не имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью...

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. Коршу. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. Корша, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет; и все это он говорил с дружбой, с деликатностью — видно было, что и ему не легко.

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили — ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего... а только все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon [1] исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на «границу химического сродства» — и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... может быть... но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество *религии* необходимо, тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше, можно быть хорошим и верным *союзником*, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они — меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает,— мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать,— и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решает один такт сердца, тут нет правил.

Вскоре и в дамском обществе все разладилось.

. . . . . .

На ту минуту нечего было делать.

Ехать — ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора, и *без* разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.

---

[1] откровенность *(франц.).— Ред.*

ГЛАВА XXXIII

Частный пристав в должности камердинера.— Обер-полицмейстер Кокошкин.— «Беспорядок в порядке».— Еще раз Дубельт.— Паспорт

...За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтоб самому достать его. Ольга Александровна отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова «высочайшее» разрешение приехать в Петербург на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под *строгим* надзором полиции; мне хотелось одного: чтоб он послал запрос в Петербург.

В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он, и, попросивши, чтоб я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне пять лет тому назад въезд в Петербург запрещен и что без высочайшего повеления он билета не подпишет.

— За этим у нас дело не станет,— сказал я, смеясь, и вынул из кармана письмо.

Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволение показать обер-полицмейстеру и часа через два прислал мне билет и мою бумагу.

Надобно сказать, что половину разговора мой пристав вел на необыкновенно очищенном французском языке. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, он испытал очень горько.

За несколько лет перед тем приехал в Москву с Кавказа какой-то путешественник, легитимист шевалье Про. Он был в Персии, в Грузии, много видел и имел неосторожность сильно критиковать тогдашние военные действия на Кавказе и особенно администрацию. Боясь, что Про будет то же говорить в Петербурге, генерал-губернатор кавказский благоразумно написал военному министру, что Про — преопасный военный агент со стороны французского правительства. Про жил преспокойно в Москве и был хорошо принят князем Д. В. Голицыным, как вдруг князь получил приказ отправить его с полицейским чиновником из Москвы за границу. Сделать такую глупость и такую грубость над

знакомым всегда труднее, и потому Голицын, помявшись дни два, пригласил к себе Про и после красноречивого вступления наконец сказал ему, что какие-то доносы, вероятно с Кавказа, дошли до государя и что он приказал ему оставить Россию, что, впрочем, даже ему дадут провожатого...

Про, рассерженный, заметил князю, что так как правительство имеет право высылать, то он ехать готов, но провожатого не возьмет, не считая себя преступником, которого следует конвоировать.

На другой день, когда полицмейстер приехал к Про, тот его встретил с пистолетом в руке, объявляя наотрез, что он ни в комнату, ни в свою коляску не пустит полицейского, не пославши ему пули в лоб, если тот захочет употребить силу.

Голицын был вообще очень порядочный человек и потому затруднен; он послал за Вейером, французским консулом, чтоб посоветоваться, как быть. Вейер нашел expédient: [1] он потребовал полицейского, хорошо говорящего по-французски, и обещал его представить Про как путешественника, просящего уступить ему место в коляске Про за половину прогонов.

С первых слов Вейера Про догадался, в чем дело.

— Я не торгую местами в моей коляске,— сказал он консулу.

— Человек этот будет в отчаянии.

— Хорошо,— сказал Про,— я его беру даром, за это пусть он возьмет на себя маленькие услуги,— да не капризник ли это какой? я его тогда брошу на дороге.

— Самый услужливый в мире человек, вы просто распоряжайтесь им. Я вас благодарю за него.— И Вейер поскакал к князю Голицыну объявить о своем торжестве.

Вечером Про и bona fide [2] traveller [3] отправились. Про молчал всю дорогу; на первой станции он взошел в комнату и лег на диван.

— Эй! — закричал он товарищу,— подите сюда, снимите сапоги.

— Что вы, помилуйте, с какой стати?

— Вам говорят: снимите сапоги, или я вас брошу на дороге, ведь я не держу вас.

Снял мой полицейский офицер сапоги...

— Вытрясите их и вычистите.

— Это из рук вон!

— Ну, оставайтесь!..

Вычистил офицер сапоги.

---

[1] выход *(франц.).— Ред.*

[2] мнимый *(лат.).— Ред.*

[3] путешественник *(англ.).— Ред.*

На следующей станции та же история с платьем, и так Про тормошил его до самой границы. Чтоб утешить этого *мученика* шпионства, на него было обращено особое монаршее внимание и его наконец сделали частным приставом.

На третий день после моего приезда в Петербург дворник пришел спросить от квартального, «по какому виду я приехал в Петербург?». Единственный вид, бывший у меня,— указ об отставке, был мною представлен генерал-губернатору при просьбе о пассе. Я дал дворнику билет, но дворник возвратился с замечанием, что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург. С тем вместе пришел полицейский с приглашением в канцелярию обер-полицмейстера. Отправился я в канцелярию Кокошкина (днем освещенную лампами!); через час времени он приехал. Кокошкин лучше других лиц того же разбора выражал царского слугу без дальних видов, чернорабочего временщика без совести, без размышления,— он служил и наживался так же естественно, как птицы поют.

Перовский сказал Николаю, что Кокошкин сильно берет взятки.

— Да,— отвечал Николай,— но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге.

Я посмотрел на него, пока он толковал с другими... какое измятое, старое и дряхло-растленное лицо; на нем был завитой парик, который вопиюще противуречил опустившимся чертам и морщинам.

Поговоривши с какими-то немками по-немецки и притом с какой-то фамильярностью, показывавшей, что это старые знакомые, что видно было и из того, что немки хохотали и шушукались, Кокошкин подошел ко мне и, смотря вниз, довольно грубым голосом спросил:

— Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?

— Да, но я имею разрешение.

— Где оно?

— У меня.

— Покажите — как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?

— Как во второй раз?

— Я помню, что вы приезжали.

— Я не приезжал.

— И какие это у вас дела здесь?

— У меня есть дело к графу Орлову.

— Что же, вы были у графа?

— Нет, но был в Третьем отделении.

— Видели Дубельта?

— Видел.

— А я вчера видел самого Орлова, он говорит, что никакого разрешения вам не посылал.

— Оно у вас в руках.

— Бог знает когда это писано, и время прошло.

— Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту.

— Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через двадцать четыре часа.

— Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова.

— Я вам не могу позволить, да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения.

— Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу.

— Она должна остаться у меня.

— Да ведь это письмо ко мне, на мое имя, единственный документ, по которому я здесь.

— Бумага останется у меня, как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтоб не было хуже.

Он кивнул головой и вышел. Вот тут и толкуй с ними.

У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под начет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старосте. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано, Тучков так и отвечал. Дело пошло в сенат, сенат снова решил: «Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность... то...» На что Тучков опять отвечал: «А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то...» Прошел год, снова полиция объявляет с строжайшим подтверждением: «Так как генерал-лейтенант... то...», и опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения.

Все это вовсе не исключение, а совершенно нормально. Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит № и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: «А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад», и бумагу кладет в карман.

Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах: «Какие они все шалуны!»

Я поехал в III Отделение и рассказал Дубельту, что́ было. Дубельт расхохотался.

— Как это они вечно все перепутают! Кокошкин доложил

графу, что вы приехали без позволения, граф и сказал, чтоб вас выслали, но я потом объяснил дело; вы можете жить сколько хотите, я сейчас велю написать в полицию. Но теперь об вашем деле: граф не думает, чтоб полезно было просить вам позволение ехать за границу. Государь вам два раза отказал, последний раз по просьбе графа Строгонова; если он откажет в третий раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете *к водам.*

— Что же мне делать? — спросил я с ужасом, так мысль путешествия и воли обжилась в моей груди.

— Отправляйтесь в Москву; граф напишет генерал-губернатору частное письмо о том, что вы желаете для здоровья вашей супруги ехать за границу, и спросит его, заметив, что знает вас с самой лучшей стороны, думает ли он, что можно с вас снять надзор? На такой вопрос нечего отвечать, кроме «да». Мы представим государю о снятии надзора, тогда берите себе паспорт, как все другие, и с богом к каким хотите *водам.*

Мне казалось все это чрезвычайно сложным и даже просто уловкой, чтоб отделаться от меня. Отказать мне они не могли, это навлекло бы на них гонение Ольги Александровны, у которой я бывал всякий день. Однажды усхавши из Петербурга, я не мог еще раз приехать; переписываться с этими господами — дело трудное. Долю моих сомнений я сообщил Дубельту; он начал хмуриться, то есть еще больше улыбаться ртом и щурить глазами.

— Генерал,— сказал я в заключение,— не знаю, а мне даже не верится, что до государя дошло представление Строгонова.

Дубельт позвонил и велел подать «дело» обо мне и, ожидая его, добродушно сказал мне:

— Граф и я, мы предлагаем вам тот путь для получения паспорта, который мы считаем вернейшим; ежели у вас есть средства более верные, употребите их; вы можете быть уверены, что мы вам не помешаем.

— Леонтий Васильевич совершенно прав,— заметил какой-то гробовой голос; я обернулся, возле меня стоял еще более седой и состарившийся Сахтынский, который принимал меня пять лет тому назад в том же III Отделении.— Я вам *советую* руководствоваться его мнением, если хотите ехать.

Я поблагодарил его.

— А вот и дело,— сказал Дубельт, принимая толстую тетрадь из рук чиновника (что бы я дал — прочесть ее всю! В 1850 году я видел в кабинете Карлье мой «досье» в Париже; интересно было бы сличить); порывшись в ней, он мне ее подал раскрытую: это была докладная записка Бенкендорфа вследствие письма Строгонова, просившего мне разрешение ехать на шесть месяцев к водам в Германию. На поле было крупно написано карандашом

«рано», по карандашу было проведено лаком, внизу написано было пером: «рукою е. и. в. написано *рано*. Граф А. Бенкендорф».

— Верите теперь? — спросил Дубельт.

— Верю,— отвечал я,— и так верю вашим словам, что завтра же еду в Москву.

— Да вы, пожалуй, погуляйте у нас, полиция теперь вас беспокоить не будет, а перед отъездом заезжайте, я велю вам показать письмо к Щербатову. Прощайте, bon voyage [1], если не увидимся.

— Счастливого пути,— прибавил Сахтынский.

Мы расстались, как видите, приятельски.

Приехав домой, я нашел приглашение от частного пристава, кажется II Адмиралтейской части. Он меня спрашивал, когда я выезжаю.

— Завтра вечером.

— Помилуйте, да, кажется, я думал... генерал говорил, сегодняшнего числа. Его превосходительство, конечно, отсрочит, но позвольте быть удостоверену?

— Можете, можете; кстати, дайте мне билет.

— Я его напишу в части и пришлю часа через два. В каком заведении изволите ехать?

— В Серапинском, если найду место.

— И прекрасно, а в случае если места не найдете, благоволите сообщить.

— С удовольствием.

Вечером опять явился квартальный, частный пристав велел мне сказать, что *не может* выдать мне билета, а чтоб я пришел завтра в *восемь часов* утра к обер-полицмейстеру.

Что за пропасть такая и что за скука! В восемь часов я не пошел, а в продолжение утра явился в канцелярию. Частный пристав был там и сказал мне:

— Вам нельзя ехать: есть бумага из Третьего отделения.

— Что случилось?

— Не знаю, генерал не велел выдавать билета.

— Правитель дел знает?

— Как не знать,— и он мне указал полковника в мундире и сабле, сидевшего за большим столом в другой комнате; я спросил его, в чем дело.

— Точно-с,— сказал он,— была бумага, да вот она,— он прочитал ее и подал мне. Дубельт писал, что я имел полное право приехать в Петербург и могу остаться *сколько хочу*.

— Поэтому-то вы меня не пускаете? Извините, я не могу удержаться от смеха: вчера обер-полицмейстер гнал меня отсюда

[1] счастливого пути *(франц.).— Ред.*

против моей воли, сегодня против моей воли оставляет, и все это на том основании, что в бумаге сказано, что я могу оставаться *сколько хочу.*

Дело было так очевидно, что сам полковник-секретарь расхохотался.

— На что же я брошу деньги за два места в дилижансе? Велите, пожалуйста, написать билет.

— Я не могу, а пойду доложить генералу.

Кокошкин велел написать билет и, проходя по канцелярии, с упреком сказал мне:

— На что это похоже, то хотите остаться, то едете; ведь сказано, что можете остаться.

Я ему ничего не отвечал.

Когда вечером мы выехали из-за заставы и я снова увидел бесконечную поляну, тянувшуюся к Четырем Рукам, я посмотрел на небо и искренно присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот — начальник III Отделения.

Щербатов неохотно отвечал Орлову. У него тогда был секретарем не полковник, а пиетист, ненавидевший меня за мои статьи как «афея и гегельянца». Я сам ездил толковать с ним. Схисекретарь елейным голосом и с христианским помазанием говорил, что генерал-губернатору ничего не известно обо мне, что он в моих высоких нравственных качествах не сомневается, но что следует забрать справки у обер-полицмейстера. Он хотел затянуть дело; к тому же этот господин не брал взяток. В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи бог. По счастью, обер-полицмейстер Лужин одобрил меня.

Дней через десять, возвращаясь домой, я в дверях столкнулся с жандармом. Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову, и потому не без особенно неприятного чувства ждал я, что он мне скажет; он подал мне пакет. Граф Орлов извещал о высочайшем повелении снять надзор. С тем вместе я получил *право на заграничный пасс.*

Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Я отпущен в страны чужие!
Да это, полно ли, не сон?
Нет! Завтра ж кони почтовые,
И я скачу von Ort zu Ort [1],
Отдавши деньги за паспорт.

[1] от места к месту *(нем.).— Ред.*

Поеду. Что-то будет там?..
Не знаю! верю! но темно
Грядущее перед очами,
Бог весть, что мне сулит оно!
Стою со страхом пред дверями
Европы. Сердце так полно
Надеждой, смутными мечтами,
Но я в сомнении, друг мой,
Качаю грустной головой.

. . . . . .

«Юмор», ч. II

«...Шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи... Мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались.

Был уж вечер, возок заскрипел по снегу... Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного только недоставало — ближайшего из близких, он один был болен и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде.

Это было 21 января 1847 года...»

Дней через десять мы были на границе.

...Унтер-офицер отдал мне пассы; небольшой старый солдат в неуклюжем кивере, покрытом клеенкой, и с ружьем неимоверной величины и тяжести, поднял шлагбаум; уральский казак с узенькими глазками и широкими скулами, державший поводья своей небольшой лошаденки, шершавой, растрепанной и сплошь украшенной ледяными сосульками, подошел ко мне «пожелать счастливого пути»; грязный, худой и бледный жиденок-ямщик, у которого шея была обернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

— Прощайте! Прощайте! — говорил, во-первых, наш старый знакомец Карл Иванович, проводивший нас до Таурогена, и кормилица Таты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами.

Жиденок тронул коней, возок двинулся, я смотрел назад, шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу, подшимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади.

Кормилица в сарафане и дупегрейке все еще смотрела нам вслед и плакала; Зонненберг, этот образчик родительского дома, эта забавная фигура из детских лет, махал фуляром — кругом бесконечная степь снегу.

— Прощай, Татьяна! Прощайте, Карл Иванович!

Вот столб, и на нем обсыпанный снегом *одноглавый* и худой орел с растопыренными крыльями... и то хорошо — одной головой меньше.

Прощайте!

Н. Х. КЕТЧЕР

(1842--1847)

Мне приходится говорить о Кетчере опять, и на этот раз гораздо подробнее.

Возвратившись из ссылки, я застал его по-прежнему в Москве. Он, впрочем, до того сросся и сжился с Москвой, что я не могу себе представить Москву без него или его в каком-нибудь другом городе. Как-то он попробовал перебраться в Петербург, но не выдержал шести месяцев, бросил свое место и снова явился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова проповедовать вольный образ мыслей офицерам, играющим на бильярде, поучать актеров драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притеснения прежних друзей своих. Правда, теперь у него был и новый круг, то есть круг Белинского, Бакунина; но хотя он их и поучал денно и нощно, но душою и сердцем все же держался нас.

Ему было тогда лет под сорок, но он решительно остался старым студентом. Как это случилось? Это-то и надобно проследить.

Кетчер по всему принадлежит к тем странным личностям, которые развились на закраине петровской России, особенно после 1812 года, как ее последствие, как ее жертвы и, косвенно, как ее выход. Люди эти сорвались с общего пути, тяжелого и безобразного, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом искании останавливались. В этой пожертвованной шеренге черты очень розны: не все похожи на Онегина или на Печорина, не все — лишние и праздные люди, а есть люди, трудившиеся и ни в чем не успевшие,— люди неудавшиеся. Мне тысячу раз хотелось передать ряд своеобразных фигур, резких портретов, снятых с натуры, и я невольно останавливался, подавленный материалом. В них ничего нет стадного, рядского, чекан розный, одна общая связь связует их или, лучше, одно *общее несчастие*; вглядываясь в темно-серый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же, бритые лбы, клейменые лица, каски, эполеты, султаны... словом, петербургская Россия. Ею они несчастны, и нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут: земли нет под ногами, хотят кричать — языка нет... да нет и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этом потерянном равновесии больше развивалось оригиналов и чудаков, чем практически полезных людей, чем неутомимых работников, что в их жизни было столько

же неустроенного и безумного, как хорошего и чисто человеческого.

Отец Кетчера был инструментальный мастер. Он славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Он умер рано, оставив большую семью на руках вдовы и очень расстроенные дела. Происхождением он был, кажется, швед. Стало, об истинной связи с народом, о той непосредственной связи, которая всасывается с молоком, с первыми играми, даже в господском доме,— не может быть и речи. Общество иностранных производителей, индустриалов, ремесленников и их хозяев составляет замкнутый круг, жизнию, привычками, интересами, всем на свете отделенный и от верхнего и от низшего русского слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнее и чище, чем дикая тирания и затворнический разврат нашего купечества, чем печальное и тяжелое пьянство мещан, чем узкая, грязная и основанная на воровстве жизнь чиновников, но тем не меньше она совершенно чуждая окружающему миру, иностранная, дающая с самого начала другой pli и другие основы.

Мать Кетчера была русская, вероятно, оттого Кетчер и не сделался иностранцем. В воспитание детей я не думаю, чтоб она входила, но чрезвычайно важно было то, что дети были крещены в православной вере, то есть не имели никакой. Будь они лютеране или католики, они совсем бы отошли на немецкую сторону, они бы ходили в ту или другую кирху и вступили бы незаметно в выделяющуюся, обособляющуюся Gemeinde[1] с ее партиями, приходскими интересами. В русскую церковь, конечно, Кетчера никто не посылал; сверх того, если он иногда и хаживал ребенком, то она не имеет того паутинного свойства, как ее сестры, особенно на чужбине.

Надобно вспомнить, что время, о котором идет речь, вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, не защищались тогда чем ни попало, не ревновали о своих правах, может, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватали прохожих за ворот, сомневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик профессор Гейм, памятный лексиконами, с ужасом говорил в университетской «ауле»:[2] «Es ist ein Ende mit der grossen Hochschule Rutheniae»[3]. Даже свирепая

---

[1] общину *(нем.).— Ред.*

[2] актовом зале *(от лат. aula).— Ред.*

[3] Пришел конец великому русскому университету *(нем.).— Ред.*

Невский проспект.

Цветная литография Жюля Арну.
1840-е годы.
Государственный литературный музей.

холера изуверства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (как всё у нас), Магницкого и Рунича, пронеслась зловредной тучей, побила народ, попавшийся на дороге, и исчезла, воплощаясь в разных Фотиев и графинь. В гимназиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с «закона божия».

Когда пришло время, Кетчер поступил в Медико-хирургическую академию. Это было тоже чисто иностранное заведение, и тоже не особенно православное. Там проповедовал Just-Christian Loder — друг Гете, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этих людей наука была еще религией, пропагандой, войной, им самим свобода от теологических цепей была нова, они еще помнили борьбу, они верили в победу и гордились ею. Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису. Возле него стояли Фишер Вальдегеймский и оператор Гильтебрант, о которых я говорил в другом месте, и разные другие немецкие адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты. «Ни слова русского, ни русского лица». Все русское было отодвинуто на второй план. Одно исключение мы только и помним — это Дядьковский. Кетчер чтил его память, и он, вероятно, имел хорошее влияние на студентов; впрочем, медицинские факультеты и в позднейшее время жили не общей жизнью университетов: составленные из двух наций — немцев и семинаристов,— они занимались своим *делом*.

Этого *дела* показалось мало Кетчеру, и это — лучшее доказательство тому, что он не был немец и не искал прежде всего профессии.

Особенной симпатии к своему домашнему кругу он не мог иметь, с молодых лет любил он жить особняком. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Он принялся читать и читать Шиллера.

Кетчер впоследствии перевел всего Шекспира, но Шиллера с себя стереть не мог.

Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты — все это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлекцией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился, он был удовлетворен, критика и скептицизм были для него совершенно чужды.

Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение, и нравственная жизнь его была окончательно решена. Все остальное проходило бесследно, мало занимало его. Девяностые

годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлекциями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал Французскую революцию как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало.

Таким я его встретил в 1831 году у Пассека и таким оставил в 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель, не романтический, а, так сказать, этико-политический, вряд мог ли найти в тогдашней Медико-хирургической академии ту среду, которую искал. Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его. Отходя от окружавших людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-то лафонтеновским «Зондерлингом» [1], каким-то «Робинсоном в Сокольниках». В небольшом саду их дома была беседка; туда перебрался «лекарь Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера», как в те времена острил Н. А. Полевой. В беседке дверь не имела замка... в ней было трудно повернуться. Это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру «Разбойников» и «Фиеско» и, вместо молитвы на сон грядущий, читал речи Мара и Робеспьера. Словом, если б он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал бы Руссо, чтоб был каждый.

С нами Кетчер сблизился через Вадима в 1831 году [2]. В нашем кружке, состоявшем тогда, сверх нас двоих, из Сазонова, Сатина, старших Пассеков и еще двух-трех студентов, он увидел какой-то зачаток исполнения своих заветных мечтаний, новые всходы на плотно скошенной ниве в 1826 — и потому горячо к нам придвинулся. Постарше нас, он вскоре овладел «цензурой нравов» и не давал нам делать шагу без замечаний, а иногда и выговора. Мы верили, что он практический человек и опытный больше нас; сверх того, мы любили его, и очень. Занемогал ли кто, Кетчер являлся сестрой милосердия и не оставлял больного, пока тот оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и дру-

[1] «Чудаком» *(от нем. Sonderling).— Ред.*
[2] «Былое и думы», т. I, стр. 190.

ких. Кетчер первый пробрался к ним в казармы, развлекал их, делал им поручения и дошел до того, что жандармский генерал Писовский его призывал и внушал ему быть осторожнее и вспомнить свое звание (штаб-лекаря!). Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег, и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали... Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его,— отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. «Она не придет,— говорил Надеждин спросонья,— пойдемте спать». Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, и ждала она час-другой; все тихо, она сама — еще тише — возвратилась в свою комнату, вероятно поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: «Он ее не любил!»

Участие Кетчера во время нашего тюремного заключения, во время моей женитьбы рассказано в других местах. Пять лет, которые он оставался почти один — 1834—1840 — из нашего круга в Москве, он с гордостью и доблестью представлял его, храня нашу традицию и не изменяя ни в чем ни йоты. Таким мы его и застали, кто в 1840, кто в 1842... в нас ссылка, столкновение с чуждым миром, чтение и работа изменили многое; Кетчер, неподвижный представитель наш, остался тот же. Только вместо Шиллера переводил Шекспира.

Одна из первых вещей, которой занялся Кетчер, чрезвычайно довольный, что старые друзья съезжались снова в Москву, состояла в возобновлении своей цензуры morum [1], и тут оказались первые шероховатости, которых он долго не замечал. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоедала. Прежняя жизнь кипела так быстро и шла так обще, что никто не обращал внимания на маленькие камешки по дороге. Время, как я сказал, изменило многое, личности развились резче, развились розно, и роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже чем смешна; все старались повернуть в смешное, покрыть его дружбой, его чистыми намерениями ненужную искренность и обличи-

[1] нравов *(лат.).— Ред.*

тельную любовь, и делали очень дурно. Да дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если б его останавливали с самого начала, не выросли бы те несчастные столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь в начале 1847 года.

Впрочем, новые друзья не совсем были так снисходительны, как мы, и сам Белинский, очень любивший его, выбившись иной раз из сил и столько же не терпевший несправедливости, как сам Кетчер, давал ему резкие уроки, на целые месяцы переставая с ним спорить. Холодным или равнодушным Кетчер никогда не бывал. Он был постоянно в пароксизме преследования или в припадке любви, быстро переходя из самого горячего друга в уголовного судью,— из этого ясно, что он всего менее выносил холод и молчание.

Тотчас после ссоры или ряда крупных обвинений Кетчер развлекался, гнев проходил бесследно, вероятно, внутренно бывал он недоволен собой, но никогда не сознавался; напротив, он старался всему придать вид шутки и опять переходил за те пределы, за которыми шутка не веселит. Это было вечное повторение знаменитого «гусака» в примирении Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Кто не видал детей, которые, закусив удила, нервно не могут остановиться в какой-нибудь шалости; уверенность в том, что будет наказание, как будто усиливает искушение. Чувствуя, что успел снова додразнить кого-нибудь до холодных и колких ответов, он окончательно возвращался в мрачное расположение духа, поднимал брови, ходил большими шагами по комнате, становился трагическим лицом из шиллеровских драм, присяжным из суда Фукье-Тенвиля, произносил свирепым голосом ряд обвинений на всех нас,— обвинений, не имевших ни малейшего основания, сам под конец убеждался в них и, подавленный горем, что его друзья такие мерзавцы, уходил угрюмо домой, оставляя нас ошеломленными, взбешенными до тех пор, пока гнев ложился на милость и мы хохотали как сумасшедшие.

На другой день Кетчер с раннего утра, тихий и печальный, ходил из угла в угол, свирепо дымя трубкой и ожидая, чтоб кто-нибудь из нас приехал побранить его и помириться; мирился он, разумеется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательного, строгого дяди. Если же никто не являлся, то Кетчер, затая в груди смертельный страх, шел печально в кофейную на Неглинной или в светлую, покойную гавань, в которой всегда встречал его добродушный смех и дружеский прием, то есть отправлялся к М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая им, уляжется; он, разумеется, жаловался Михаилу Семеновичу на нас;

добрый старик мылил ему голову, говорил, что он порет дичь, что мы совсем не такие злодеи, как он говорит, и что он его сейчас повезет к нам. Мы знали, как Кетчер мучился после своих выходок, понимали или, лучше, прощали то чувство, почему он не говорил прямо и просто, что виноват, и стирали по первому слову дочиста следы размолвки. В наших уступках на первом плане участвовали дамы, становившиеся почти всегда его заступниками. Им нравилась его открытая простота (он и их не щадил), доходившая до грубости, как странность; видя их потворство, Кетчер убедился, что так и следует поступать, что это мило и что, сверх того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры в Покровском иногда бывали полнейшего комизма, а все-таки оставляли на целые дни длинную серую тень.

— Отчего кофей так дурен? — спросил я у Матвея.

— Его не так варят,— отвечал Кетчер и предложил свою методу. Кофей вышел такой же.

— Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю,— заметил Кетчер и принялся за дело. Кофей не поправлялся, я заметил это Кетчеру. Кетчер попробовал и, уже несколько взволнованным голосом и устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил:

— Так, по-твоему, этот кофей не лучше?

— Нет.

— Однако ж это удивительно, что ты в едакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения.

— Не я, а кофей.

— Это наконец из рук вон, что за несчастное самолюбие!

— Помилуй, да ведь не я варил кофей, и не я делал кофейник...

— Знаю я тебя... лишь бы поставить на своем. Какое ничтожество — из-за поганого кофея — адское самолюбие!

Больше он не мог; удрученный моим деспотизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исходивши верст двадцать; счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение; я, разумеется, не поминал о кофее и делал разные вежливости грибам.

На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился.

Один из главных источников наших препираний было воспитание моего сына.

Воспитание делит судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, ко-

торые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота — человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке — он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. «У меня, говорит, такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю... это предмет слишком близкий к сердцу».

Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе — обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия и твердо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из *искусственной* жизни и сознательно возвратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался, как все, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противудействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастию, в деле воспитания, как во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.

Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле... прикладное было слишком близко. Мой сын — тогда ему было лет семь-восемь — был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему лечения и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя.

— Ты консерватор! — кричал он с неистовством,— ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба.

Ребенок шалил и кричал во время болезни матери, я останавливал его; сверх простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной «Жуковым»:

— Где твое право останавливать его крик? Он должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!

Размолвки эти, как я ни брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если б это было, он больше всех был бы наказан и потому, что он все же был очень привязан ко всем, и потому, что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с *другим*, и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду; но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, поверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решенное,— и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы sommairement [1], сплеча, так или иначе — все равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.

При всем том серьезного отдаления до 1846 между нами не было. Natalie очень любила Кетчера; с ним неразрывна была память 9 мая 1838 года; она знала, что под его ежовыми колючками хранилась нежная дружба, и не хотела знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни. Ссора с Кетчером представлялась ей чем-то зловещим; ей казалось, если время может подпилить, и притом такой маленькой пилкой, одно из колец, так крепко державшихся во всю юность, то оно примется за другие,— и вся цепь рассыплется. Середь суровых слов и жестких ответов я видел, как она бледнела и просила взглядом остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иног-

[1] в целом *(франц.).— Ред.*

да это трогало Кетчера, но он употреблял гигантские усилия, чтоб показать, что ему, в сущности, все равно, что он готов примириться, но, пожалуй, будет продолжать ссору...

На этом можно было бы годы продлить странное, колебавшееся отношение карающей дружбы и дружбы уступающей. Но новые обстоятельства, усложнившие жизнь Кетчера, повели дела круче.

У него был свой роман, странный, как все в его жизни, и заставивший его быстро осесть в довольно тонкой семейной сфере.

Жизнь Кетчера, сведенная на величайшую простоту, на элементарные потребности студентского бездомовья и кочевья по товарищам, вдруг изменилась. У него *в доме* явилась женщина, или, вернее, у него *явился дом*, потому что в нем была женщина. До тех пор никто не предполагал Кетчера семейным человеком, в своем chez soi [1], его, любившего до того все делать беспорядочно, ходя закусывать, курить между супом и говядиной, спать не на своей кровати, что Константин Аксаков замечал шутя, что «Кетчер отличается от людей тем, что люди обедают, а Кетчер ест»,— у него-то вдруг ложе, свой очаг, своя крыша!

Случилось это вот как.

За несколько лет до того Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку; утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застенчива и жалка; ее существование никем не было замечено... ее никто *не жалел*... Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольнический скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать, приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о ее печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первом она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова: за всеми шумами приятельских пиров, московских первых спектаклей и бажановской кофейной была пустота в его сердце, в которой он, конечно, не признался бы даже себе самому, но которая сказывалась. Бедный, невзрачный цветок сам собою падал на его грудь — и он принял его, не очень думая о последствиях и, вероятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

В лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального [2] ценса, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. С ними не

---

[1] в домашнем кругу *(франц.).— Ред.*

[2] избирательного *(от франц. électoral).— Ред.*

жениро́вались[1] мы все... и потому бросить камень вряд посмеет ли кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась Кетчеру. Недаром воспиталась она в раскольническом скиту — она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтила, чего боялась, чему повиновалась: Христос и богоматерь, святые угодники и чудотворные иконы — все это теперь было в Кетчере, в человеке, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это было вполовину скрыто, погребено... не смело обнаружиться.

...У ней родился ребенок; она была очень больна, ребенок умер... Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула... Кетчер стал холоднее к Серафиме, видался реже и наконец совсем оставил ее. Что это дикое дитя «не разлюбит его даром», можно было смело предсказать. Что же у ней оставалось на всем белом свете, кроме этой любви? Разве броситься в Москву-реку. Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, несмотря ни на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтоб встретить его, проводить глазами и потом плакать, плакать целую ночь; большею частью она пряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если он ласково отвечал, Серафима была счастлива и весело бежала домой. О своем же *«несчастии»*, о своей любви она говорить стыдилась и не смела. Так прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. В 1845 Кетчер переселился в Петербург. Это было свыше сил. Не видать его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами, знать, что он за семьсот верст, между чужими людьми, и не знать, здоров ли он и не случилось ли с ним какой беды,— этого вынести она не могла. Без всяких пособий и помощи, Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала месяцы, исчезла и добралась-таки до Петербурга. Там, усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтоб он не оттолкнул ее, чтоб он ее простил, что дальше ей ничего не нужно: она найдет себе угол, найдет черную работу, будет жить на хлебе и воде,— лишь бы остаться в том городе, где он, и иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли: теперь она останется здесь у него, это будет ее дом, он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись; забыты холодные осенние ночи,

[1] стеснялись *(от франц. se gêner).— Ред.*

забыт страшный путь, и слезы ревности, и горькие рыданья: она с ним и уже, наверное, не расстанется больше... живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории, разве один Михаил Семенович; теперь скрыть ее было невозможно и не нужно: мы двое и весь наш круг приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг.

И эта-то девушка, полная любви, с своей безусловной преданностью, покорностью, наделала Кетчеру бездну вреда. На ней было все благословение и все проклятие, лежащее на пролетариате,— да еще особенно на нашем.

В свою очередь, и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она Кетчеру.

И то и другое в совершенном неведении и с безусловной чистотой намерений!

Она окончательно испортила жизнь Кетчера, как ребенок портит кистью хорошую гравюру, воображая, что он ее раскрашивает. Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы — дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь,— и она, воспитавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Связывая вновь необыкновенной силой воли порванные концы, она крепко держалась за узел.

Ускользнуть Кетчер уже не мог. Но он и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер искренно стремился загладить его; подвиг Серафимы увлек его. Склоняясь перед ним, он знал, что, в свою очередь, и он делает жертву; но, натура в высшей степени честная и благородная, он был рад ей, как искуплению. Только знал-то он одну материальную сторону ее: фактическое стеснение жизни; о противуречии сожития старого студента с шиллеровскими мечтами — с женщиной, для которой не только мир Шиллера не существовал, но и мир грамотности, мир всего светского образования,— ему и в голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица inter pares amicitia [1] совершенно верна, и всякий mésalliance [2] — вперед посеянное несчастие. Много глупого, надменного, буржуазного разумелось под

---

[1] между равными — дружба *(лат.).— Ред.*
[2] неравный брак *(франц.).— Ред.*

этим словом, но сущность его истинна. В худшем из всех неравенств — в неравенстве развития — одно спасение и есть: воспитание одного лица другим; но для этого надобно два редкие дара: надобно, чтоб один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтоб один вел, другой шел. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталь; он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бывает и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитие превращается в консолидированную войну, в вечное единоборство, в котором лица крепнут и остаются на веки веков в бесплодных усилиях, с одной стороны, поднять и, с другой — стянуть, то есть отстоять свое место. При равных силах этот бой поглощает жизнь, и самые крепкие натуры истощаются и падают обессиленными середь дороги. Падает всего прежде натура развитая; ее эстетическое чувство глубоко оскорблено двойным строем, лучшие минуты, в которые все звонко и ярко, ей отравлены... Экспансивные люди страстно требуют, чтоб все близкое им было близко их мысли, их религии. Это принимается за нетерпимость. Для них прозелитизм дома — продолжение апостольства, пропаганды; их счастие оканчивается там, где их не понимают... а чаще всего их не хотят понять.

Позднее воспитание сложившейся женщины — дело очень трудное, особенно трудное в тех сожитиях, которыми оканчиваются, а не начинаются близкие отношения. Связи, легко, ветрено начатые, редко подымаются выше спальной и кухни. Общая крыша слишком поздно покрывает их, чтоб под ней можно было учиться, разве какое-нибудь страшное несчастие разбудит душу спящую, но способную проснуться. По большей части la petite femme[1] никогда не делается *большой*, никогда не делается женой и сестрой вместе. Она остается или любовницей и лореткой или делается кухаркой и любовницей.

Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность. Но одинаковость развития сглаживает многое. А когда его нет, а есть праздный досуг, нельзя вечно пороть вздор, говорить о хозяйстве или любезничать; а что же делать с женщиной, когда она — что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо телесно

[1] сожительница; букв.: маленькая жена *(франц.).— Ред.*

близкое и умственно далекое. Ее не нужно днем, а она беспрестанно тут; мужчина не может делить с ней своих интересов, она не может не делить с ним своих силетен.

Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. Вот в эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Бесследным это не остается.

Бывают прочные отношения сожития мужчины с женщиной без особенного равенства развития, основанные на удобстве, на хозяйстве, я почти скажу, на гигиене. Иногда это — рабочая ассоциация, взаимная помощь, соединенная с взаимным удовольствием; большей частию жена берется как сиделка, как добрая хозяйка, «pour avoir un bon pot-au-feu» [1], как говорил мне Прудон. Формула старой юриспруденции очень умна: a mensa et toro [2],— уничтожь общий стол и общую кровать, они и разойдутся с покойной совестью.

Эти деловые браки — чуть ли не лучшие. Муж постоянно в своих занятиях, ученых, торговых, в своей канцелярии, конторе, лавке. Жена постоянно в белье и припасах. Муж возвращается усталый, все готово у него, и все идет шагом и маленькой рысцой к тем же воротам кладбища, к которым доехали родители. Это явление чисто городское; [3] в Англии оно является чаще, чем где-либо; это та среда мещанского счастья, о котором проповедовали моралисты французской сцены, о котором мечтают немцы; в ней легче уживаются разные степени развития через год после окончания курса в университете; тут есть разделение труда и чинопочитание. Муж, особенно при капитале, делается тем, чем его назвал смысл народный — *хозяин*, «mon bourgeois» своей жены. Этим путем, и благодаря законам о наследстве, он не зарастет травой: всякая женщина постоянно остается *женщиной на содержании* если не у постороннего, то у своего мужа. Она это знает.

Dessen Brot man ißt.
Dessen Lied man singt [4].

---

[1] чтобы иметь хороший обед *(франц.).— Ред.*

[2] от стола и ложа *(лат.).— Ред.*

[3] Ни у пролетария, ни у крестьян нет между мужем и женой двух разных образований, а есть тяжелое равенство перед работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

[4] Чей хлеб ешь, того песню поешь *(нем.).— Ред.*

Но в этих браках есть свое нравственное единство, есть свое одинакое воззрение, свои одинакие цели. Кетчер сам цели не имел и равно не мог быть ни «хозяином», ни воспитателем. Он не мог с Серафимой даже бороться — она всегда уступала. Своим криком, своим строптивым характером он запугал ее. При ее развитом сердце — у нее было тяжелое, упирающееся пониманье, та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно не привыкнувших к отвлеченной работе, и которая составляет одну из отличительных черт допетровских времен. Соединенная с своим «кровным, болезным», она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бедности? Да разве она всю жизнь не была бедна, разве она не вынесла нищету — эту бедность с унижением? Работы? Разве она не работала с утра да ночи в мастерской за несколько грошей? Ссоры, разлуки? Да, последнее было страшно, и очень; но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было с ней в самом деле поссориться, а каприз она вынесла бы; пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть уверенной, что он ее хоть немного любит и не хочет с ней расстаться. И он этого не хотел, и на это, сверх всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кетчера, она стала заменять чего в ней не было — постоянным уходом и заботливостью.

Кетчеру было за сорок лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома так, как киргиз в кибитке: без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исподволь все меняется, он окружен сетью внимания и услуг, он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен, ужас и слезы, когда он поднимает брови; и это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома — жаль же было и ее оставлять постоянно одну. К тому же трудно было, чтоб Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорностью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает, без rancune [1], чтоб туча прошла.

Покорная, безответная до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бедная, глупая Тереза Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства?

---

[1] злобы *(франц.).— Ред.*

Влияние Серафимы на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен; Тереза развила подозрительность его в мелкую обидчивость и, нехотя, без умысла, рассорила его с лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умела порядком читать и никогда не могла выучиться узнавать, который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства.

Утром Руссо заходит к Гольбаху; человек приносит завтрак и три куверта: Гольбаху, его жене и Гримму; в разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. «Да останьтесь же завтракать»,— говорит г-жа Гольбах и велит подать прибор; но уже поправлять поздно: Руссо, желтый от досады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили тарелки, намекая, чтоб он ушел. Ей такие рассказы по душе; в них она могла принять *горячее* участие: они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на m-me Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы (например, от Юма) и удаляется, оставленный всеми, в Монморанси, проклиная, за недостатком людей, воробьев и ласточек, которым бросал зерны.

Еще раз — без равенства нет брака в самом деле. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их,— наложница, экономка, нянька, но *не жена* в полном, в благородном значении слова. Гейне говорил о своей «Терезе», что «она не знает и никогда не узнает о том, что он писал». Это находили милым, смешным, и никому не приходило в голову спросить: «Зачем же она была его жена?» Мольер, читавший своей кухарке свои комедии, был во сто раз человечественнее. Зато m-me *Айн* и заплатила, вовсе нехотя, своему мужу. В последние годы его страдальческой жизни она окружила его своими приятельницами и приятелями, увядшими камелиями прошлого сезона, сделавшимися нравственными дамами от морщин, и полинялыми, поседевшими, падшими на ноги друзьями их.

Я нисколько не хочу сказать, что жена непременно должна и делать и любить, что делает и любит муж. Жена может предпочитать музыку, а муж — живопись,— это не разрушит равенства. Для меня всегда были ужасны, смешны и бессмысленны официальные таскания мужа и жены, и чем выше, тем смешнее; зачем какой-нибудь императрице Евгении являться на кавалерийское ученье и зачем Виктории возить своего мужчину, le Prince Con-

sort[1], на открытие парламента, до которого ему дела нет. Гете прекрасно делал, что не возил свою дородную половину на веймарские куртаги. Проза их брака была не в этом, а в отсутствии всякого общего поля, всякого общего интереса, который бы связывал их помимо полового различия.

Перехожу ко вреду, который мы сделали бедной Серафиме.

Ошибка, сделанная нами,— опять-таки родовая ошибка всех утопий и идеализмов. Верно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого внимания, к чему эта сторона приросла и можно ли ее отделить,— никакого внимания на глубокое сплетение жил, связывающих дикое мясо со всем организмом. Мы всё еще по-христиански думаем, что стоит сказать хромому: «Возьми одр твой и ступай», он и пойдет.

Мы разом перебросили затворницу Серафиму — Серафиму полудикую, не видавшую людей, из ее одиночества в наш круг. Ее оригинальность нравилась, мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, *что и так хорошо*. Но оставаться *просто* по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы — революционеры, социалисты, защитники женского освобождения — сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку!*

Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа — épicier? [2]

Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Natalie поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих; пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией. Ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью — напротив, желание, чтоб ее не заметили. Как дитя, как слабый зверек, она прибегала под крыло Natalie; ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей в *ученье*, то есть в мастерской.

Она сделалась игрушкой нашего круга,— это наконец ей понравилось; она поняла, что ее положение, что она сама — *оригинальны*, и с этой минуты она пошла ко дну... Никто не удержал ее. Одна Natalie серьезно думала о том, чтоб развить ее. Серафима не принадлежала к гуртовым натурам, ее миновали множество дрянных недостатков — она не любила рядиться, была равнодушна к роскоши, к дорогим вещам, к деньгам — лишь бы Кетчер не чув-

---

[1] принца-супруга *(франц.).— Ред.*

[2] лавочника *(франц.).— Ред.*

ствовал нужды, был бы доволен, до остального ей не было дела. Сначала Серафима любила долго-долго говорить с Natalie и верила ей, кротко слушала ее советы и старалась им следовать... Но, оглядевшись, обжившись в нашем круге и, может, подстрекаемая другими, тешившимися ее странностями, она начала показывать страдательную оппозицию и на всякое замечание говорила далеко не наивно: «Уж я такая несчастная... где мне меняться да переделываться? Видно, уж такая глупая и бесталанная и в могилку сойду». В этих словах, с ведома или без ведома, звучало задетое самолюбие. Она перестала себя чувствовать свободной у нас, реже и реже ходила она к нам. «Бог с ней, с Натальей Александровной,— говорила она,— разлюбила она меня, бедную». Панибратство, пансионская фамильярность были чужды Natalie; в ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства. Серафима не поняла смысла разницы в обхождении с нею Natalie и других и забыла, кто первый протянул ей руку и прижал к сердцу; вместе с ней отдалился и Кетчер, все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность Кетчера удвоилась. В каждом неосторожном слове он видел преднамеренность, злой умысел, желание обидеть, и не его одного, а и Серафиму. Она, с своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за Кетчера, и, по закону нравственной реверберации [1], собственные подозрения его возвращались к нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться в желание найти в нас вины, в надзор, в постоянное полицейское следствие, и мелкие недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны их.

В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врываться пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразительной; постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки.

Вся эта едкая пыль наседала во все щели и мало-помалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер с своими обвинениями против меня и Огарева, Грановский не верил им, но, жалея «больного, огорченного и все-таки любящего» Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости.

— Ведь ты знаешь, что у него нрав такой; это — болезнь, влияние доброй Серафимы, но неразвитой и тяжелой, дальше и

[1] отражения *(от франц. réverbération).— Ред.*

дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении.

. . . . . .

Чтоб кончить этот грустный рассказ, приведу два примера... В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофея в Покровском...

Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек пять близких знакомых и в том числе Михаил Семенович.

— Нанял ты нынешний год дом в Соколове?

— Нет еще, денег нет, а там надобно платить вперед.

— Неужели же все лето останешься в Москве?

— Подожду немного, потом увидим.

Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь.

Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корш и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови; но наконец все были обстреляны.

Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый; лист только что развернулся; мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановясь передо мной, с лицом прокурора фемического суда и с дрожащей от негодования губой, сказал мне:

— А надобно тебе честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что он еще не заплатил тебе девятьсот рублей, которые брал у тебя.

Я истинно ничего не понял, тем больше, что, наверное, год не думал об долге Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать. Старик теперь без денег с своей огромной семьей собирается в Крым, а тут ему в присутствии пяти человек говорят: «Нет денег на наем дачи!» Фу, какая гадость!

Огарев вступился за меня, Кетчер накинулся на него; нелепым обвинениям не было конца; Грановский попробовал его унять, не смог и уехал с Коршем прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел исподлобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой.

Я хотел на этот раз дать сильный урок и если не вовсе прервать, то приостановить сношения с Кетчером. Он раскаивался, плакал; Грановский требовал мира, говорил с Natalie, был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «Ведь это на три дня».

Вот прогулка, а вот и другая.

Месяца через два мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал их провожать верхом на своей черкесской лошади; не было ни тени ссоры, размолвки.

...Огарев возвратился через два-три часа; мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись.

На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке; он был задумчив, грустнее обыкновенного, и наконец сказал мне, что у него есть что-то на душе и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой знают все, бывшие в Соколове.

— Герцен,— сказал мне Грановский,— если б ты знал, как мне тяжело, как больно... как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь... и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут, как на смех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность...

— Да что случилось, скажи, пожалуйста? — спросил я, действительно испуганный.

— То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным... Я стараюсь, делаю что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать.

— Да дело-то в чем?

— А вот в чем: вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провожать верхом.

— При мне было, да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил.

— На мосту Кортик зашалил, стал на дыбы; Огарев, усмиряя его, с досады выругался при Серафиме, и она слышала... да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает: «Отчего на него не находят рассеянности в присутствии твоей жены или моей?» Что на это сказать?.. и притом, при всей простоте своей, Серафима очень сюссептибельна [1], что при ее положении очень понятно.

Я молчал. Это перешло все границы.

— Что ж тут делать?

— Очень просто: с негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно раззнакомиться. С такими людьми быть близким другом — презрительно...

— Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно.

— Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его безграничную деликатность, повторяешь

---

[1] обидчива *(от франц. susceptible).— Ред.*

бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе.

Грановский смутился.

— Боже мой! — сказал он,— неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды,— неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую... мне было очень тяжело.

— Грановский,— сказал я ему,— Корш прав: мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в постромки... Gemach! друг мой, Gemach![1] Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края,— мы разойдемся без ненависти и злобы; что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.

Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было. Огарев действительно осенью уехал, а вслед за ним и мы.

Laurel House, Putney, 1857.
Пересмотрено в Буасьере
и на дороге в сентябре 1865.

...Реже и реже доходили до нас вести о московских друзьях. Запуганные террором после 1848, они ждали верной оказии. Оказии эти были редки, паспортов почти не выдавали. От Кетчера — годы целые ни слова; впрочем, он никогда не любил писать.

Первую живую весть, после моего переселения в Лондон, привез в 1855 году доктор Пикулин... Кетчер был в своей стихии, шумел на банкетах в честь севастопольцев, обнимался с Погодиным и Кокоревым, обнимался с черноморскими моряками, шумел, бранился, поучал. Огарев, приехавший прямо со свежей могилы Грановского, рассказывал мало; его рассказы были печальны...

Прошло еще года полтора. В это время была окончена мною эта глава и кому первому из посторонних прочтена? — Да,— habent sua fata libelli![2]

Осенью 1857 года приехал в Лондон *Чичерин.* Мы его ждали с нетерпением; некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и Кетчера, он для нас представлял близкого человека. Слышали мы о его жесткости, о консерваторских веллеитетах[3],

---

[1] Спокойствие!.. спокойствие! *(нем.)— Ред.*
[2] книги имеют свою судьбу! *(лат.)— Ред.*
[3] стремлениях *(от франц. velléité).— Ред.*

о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод... Много угловатого обтачивается теченьем времени.

— Я долго думал, ехать мне к вам или нет. К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть... Я же, как вы знаете, вполне уважая вас, далеко не во всем согласен с вами.

Вот с чего начал Чичерин.

Он подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я почуял, что это не противник, а враг, но подавил физиологический сторожевой окрик,— и мы разговорились.

Разговор тотчас перешел к воспоминаниям и к расспросам с моей стороны. Он рассказывал о последних месяцах жизни Грановского, и, когда он ушел, я был довольнее им, чем сначала.

На другой день после обеда речь зашла о Кетчере. Чичерин говорил об нем, как о человеке, которого он любит, беззлобно смеясь над его выходками; из подробностей, сообщенных им, я узнал, что обличительная любовь к друзьям продолжается, что влияние Серафимы дошло до того, что многие из друзей ополчились против нее, исключили из своего общества и проч. Увлеченный рассказами и воспоминаниями, я предложил Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о Кетчере и прочел ее всю. Я много раз раскаивался в этом, не потому, чтоб он во зло употребил читанное мною, а потому, что мне было больно и досадно, что я в сорок пять лет мог разоблачать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим «темпераментом».

Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.

— Зачем вы хотите быть профессором,— спрашивал я его,— и ищете кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель.

Споря с ним, проводили мы его на железную дорогу и расстались, не согласные ни в чем, кроме взаимного уважения.

Из Франции он написал мне недели через две письмо, с восхищением говорил о работниках, об учреждениях. «Вы нашли то, что искали,— отвечал я ему,— и очень скоро. Вот что значит ехать с готовой доктриной». Потом я предложил ему начать печатную переписку и написал начало длинного письма.

Он не хотел, говорил, что ему некогда, что такая полемика будет вредна...

Замечание, сделанное в «Колоколе» о доктринерах вообще, он принял на свой счет; самолюбие было задето, и он мне прислал свой «обвинительный акт», наделавший в то время большой шум.

Чичерин кампанию потерял,— в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в «Колоколе», был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано. Мы еще шли тогда в восходящем пути, и катковские бревна трудно было класть под ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом: он был еще нов тогда. Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна — Ифигения Зимнего дворца, Тимашев, начальник III Отделения, и Н. Х. Кетчер.

Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же откровенным негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина... И это не потому, чтоб «Грандисона Ловласу предпочла», а потому, что, посимый без собственного компаса à la remorque [1] кружка, он остался верен ему, не замечая, что тот плывет в противуположную сторону. Человек котерии [2],— для него вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот.

Никогда не доработавшись ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения, он шел с благородными стремлениями и завязанными глазами и постоянно бил врагов, не замечая, что позиции менялись, и в этих-то жмурках бил нас, бил других, бьет кого-нибудь и теперь, воображая, что делает дело.

Прилагаю письмо, писанное мною к Чичерину для начала приятельской полемики, которой помешал его прокурорский обвинительный акт.

«My learned friend [3].

Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены

[1] на буксире *(франц.).— Ред.*
[2] кружка *(от франц. coterie).— Ред.*
[3] Мой ученый друг *(англ.).— Ред.*

в том, что знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было *так* и *так*, настоящее должно быть *так* и *так* и привести к *такому-то* будущему; вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам досталась завидная доля священников — утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение — открытый вопрос, доктрина — вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение никогда не достигает такой резкой законченности; оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений. Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за едино-спасающий угол, а сомнение ищет отделаться от всех углов, осматривается, возвращается назад и часто парализует всякую деятельность своим смирением перед истиной. Вы, ученый друг, определенно знаете, куда идти, как вести,— я не знаю. И оттого я думаю, что нам надобно наблюдать и учиться, а вам — *учить* других. Правда, мы можем сказать, *как не надобно*, можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль, освободить ее от цепей, улетучить призраки — церкви и съезжей, академии и уголовной палаты — вот и все; но вы можете сказать, *как надобно*.

Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, то есть отношение *с точки зрения вечности*; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в Campo Santo [1] науки или входят уже очищенные от *живой жизни*, вроде гербария логических теней. Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет, как в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания, доктрина держит себя, как Симеон Столпник — на пьедестале, жертвуя всем временным — вечному, общим идеям — живыми частностями.

Словом, доктринеры — больше всего историки, а мы вместе с толпой — ваш субстрат; вы — история für sich [2], мы — история an sich [3]. Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны мы. Вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете... вы — доктора и попы наши. Но больные и умирающие мы.

---

[1] кладбище *(итал.).— Ред.*
[2] для себя *(нем.).— Ред.*
[3] в себе *(нем.).— Ред.*

Этот антагонизм не новость, и он очень полезен для движения, для развития. Если б род людской мог весь поверить вам, он, может, сделался бы благоразумным, но умер бы от всемирной скуки. Покойный Филимонов поставил эпиграфом к своему «Дурацкому колпаку»: «Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien» [1].

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ее дают ей обширную возможность обобщений,— она должна бояться впечатлений и, как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало. Но для деятельного вмешательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает. Всеобщее он понимает, а частное любит или ненавидит. Спиноза со всею мощью своего откровенного гения проповедовал необходимость считать существенным одно не точимое молью, вечное, неизменное — субстанцию и не полагать своих надежд на случайное, частное, личное. Кто это не поймет в теории? Но только привязывается человек к одному частному, личному, современному; в уравновешивании этих крайностей, в их согласном сочетании — высшая мудрость жизни.

Если мы от этого общего определения наших противуположных точек зрения перейдем к частным, мы, при одинаковости стремлений, найдем не меньше антагонизма даже в тех случаях, когда мы согласны вначале. Примером это легче объяснить.

Мы совершенно согласны в отношении к религии; но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с *подлунной* религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из гвельфов вы сделались гибеллином, чины небесные заменились для вас государственным чином, поглощение лица в боге — поглощением его в государстве, бог заменен централизацией и поп — квартальным надзирателем.

Вы в этой перемене видите переход, успех, мы — новые цепи. Мы не хотим быть ни гвельфами, ни гибеллинами. Ваша светская, гражданская и уголовная религия тем страшнее, что она лишена всего поэтического, фантастического, всего детского характера своего, который заменится у вас канцелярским порядком, идолом государства с царем наверху и палачом внизу. Вы хотите, чтоб человечество, освободившееся от церкви, ждало столетья два в передней присутственного места, пока каста жрецов-чиновников и монахов-доктринеров решит, как ему быть вольным и насколько. Броде наших комитетов об освобождении крестьян. А нам все это

---

[1] Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы *(франц.).— Ред.*

противно; мы можем многое допустить, сделать уступку, принести жертву обстоятельствам, но для вас это не жертвы. Разумеется, и тут вы счастливее нас. Утратив религиозную веру, вы не остались ни при чем, и, найдя, что гражданские верования человеку заменяют христианство, вы их приняли — и хорошо сделали — для нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это нам першит в горле, и мы ваше присутственное место, вашу централизацию ненавидим совсем не меньше инквизиции, консистории, Кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу? Вы как учитель хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы как стадо, приходящее к сознанию, не хотим, чтоб нас пасли, а хотим иметь свои земские избы, своих поверенных, своих подьячих, которым поручать хождение по делам. Оттого нас *правительство* оскорбляет на всяком шагу своей властью, а вы ему рукоплещете так, как ваши предшественники, попы, рукоплескали светской власти. Вы можете и расходиться с ним так, как духовенство расходилось, или как люди, ссорящиеся на корабле, как бы они ни удалялись друг от друга: за борт вы не уйдете, и для нас, мирян, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религия — апотеоза государства, идея чисто романская и в новом мире преимущественно французская. С нею можно быть сильным государством, но нельзя быть свободным народом; можно иметь славных солдат... но нельзя иметь независимых граждан. Северо-Американские Штаты, совсем напротив, отняли религиозный характер полиции и администрации до той степени, до которой это возможно...»

ЭПИЛОГ

Перечитывая главу о Кетчере, невольно призадумываешься о том, что за чудаки, что за оригинальные личности живут и жили на Руси! Какими капризными развитиями сочилась и просочилась история нашего образования. Где, в каких краях, под каким градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?

А сколько я их нагляделся — этих оригинальных фигур «во всех родах различных», начиная с моего отца и оканчивая «детьми» Тургенева.

«Так русская печь печет!» — говорил мне Погодин. И в самом деле, каких чудес она ни печет, особенно когда хлеб сажают на немецкий лад... от саек и калачей до православных булок с Геге-

лем и французских хлебов à la quatre-vingt-treize![1] Досадно, если все эти своеобычные печенья пропадут бесследно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильных деятелях.

...Но в них меньше видна русская печь, в них ее особенности поправлены, выкуплены; в них больше русского склада да ума, чем печи. Возле них пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившиеся с дороги... вот в их-то числе не оберешься чудаков.

Волосяные проводники исторических течений, капли дрожжей, потерявшихся в опаре, но поднявших ее *не для себя*. Люди, рано проснувшиеся темной ночью и ощупью отправившиеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дороге,— они разбудили других на совсем иной труд.

...Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля от полного забвения. Их уж теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезываются вершины гор и утесов...

ЭПИЗОД ИЗ 1844 ГОДА

К нашей второй *виллежиатуре* относится очень характеристический эпизод; его не пометить просто жаль, несмотря на то что я и Natalie участвовали в нем очень мало.

Эпизод этот можно было бы назвать: *Арманс и Базиль — философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак Ж. Санда, делающийся Жаком-фаталистом.*

Начался он на французской томболе.

Зимой 1843 я поехал на томболу. Публики было бездна, помнится, тысяч пять человек; знакомых почти никого. Базиль шмыгнул с какой-то маской,— ему было не до меня. Он слегка покачал головой и прищурил ресницы так, как делают знатоки, находя вино превосходным и бекаса удивительным.

Бал был в зале Благородного собрания. Я походил, посидел, глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьерро, ото всей души усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных канканеров... и пошел ужинать наверх. Там-то меня отыскал Базиль. Он был совершенно не в нормальном положении, а в первом разгаре острого периода любви; он у него был тем острее, что Базилю тогда было около сорока лет и волос начал падать с возвышенного чела. Бессвязно толковал он мне о какой-то французской «Миньоне, со всей простотой «Клерхен» и со всей игривой прелестью парижской гризетки...».

---

[1] девяносто третьего года! *(франц.)* — *Ред.*

Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, а на последней, вместо оглавления, счет; но убедился, что это не так.

Базиль видел свою парижанку во второй или третий раз и вел циркумволюционные линии, не бросаясь на приступ. Он меня познакомил с ней. Арманс действительно была живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца. От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги — все в ней принадлежало благородному плебейству великого города. Она еще была работница, а не мещанка. У нас этот тип никогда не существовал. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и середь всего чутье самосохранения, чутье опасности и чести. Дети, брошенные иногда с десяти лет на борьбу с бедностью и искушениями, беззащитные, окруженные заразой Парижа и всевозможными сетями, они сами становятся своим провидением и охраной. Такие девушки могут легко отдаться, но взять их невзначай, врасплох трудно. Те из них, которых можно бы было купить,— те до этого круга работниц не доходят: они уже куплены прежде, завертелись, унеслись и исчезли в омуте другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтоб через пять-шесть лет явиться в своей коляске по Longchamp или в первом ярусе оперы в своей ложе — mit Perlen und Diamanten [1].

Базиль был влюблен по уши. Резонер в музыке и философ в живописи, он был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях. На жизнь он смотрел так, как Речер на Шекспира, возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее, словом, не оставляя в своей непосредственности ни одного движенья души. Взгляд этот, впрочем, в разных степенях принадлежал тогда почти всему кружку; иные срывались талантом, другие живостью, но у всех еще долго оставался — у кого жаргон, у кого и самое дело. «Пойдем,— говорил Бакунин Тургеневу в Берлине, в начале сороковых годов,— окунуться в пучину действительной жизни, бросимся в ее волны»,— и они шли просить Варнгагена фон Энзе, чтоб он их ввел ловким купальщиком в практические пучины и представил бы их одной хорошенькой актрисе. Понятно, что с этими приготовлениями не только ни до какого купанья в страстях, «разъедающих тайники духа нашего», но вообще ни до какого *поступка* дойти нельзя. Не доходят до них и немцы; но зато немцы и не ищут поступков, а как бы поспокойнее. Наша натура, напротив, не выносит этого постного отношения — des

[1] в жемчугах и бриллиантах *(нем.).— Ред.*

theoretischen Schwelgens[1], запутывается, спотыкается и падает больше смешно, чем опасно.

Итак, влюбленный и сорокалетний философ, щуря глазки, стал сводить все спекулятивные вопросы на «демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам Омфалы, начал уяснять себе и другим нравственную идею семьи, почву брака. Со стороны Гегеля (Гегелевой философии права, глава Sittlichkeit[2]) препятствий не было. Но призрачный мир случайности и «кажущегося», мир духа, не освободившегося от преданий, не был так сговорчив. У Базиля бы отец — Петр Кононыч,— старый кулак, богач, который сам был женат последовательно на трех и от каждой имел человека по три детей. Узнав, что его сын, и притом старший, хочет жениться на католичке, на нищей, на француженке, да еще с Кузнецкого моста, он решительно отказал в своем благословении. Без родительского благословения, может, Базиль, принявший в себя шик и момент скептицизма, как-нибудь и обошелся бы, но старик связывал с благословением не только последствие jenseits (на том свете), но и diesseits (на этом), а именно *наследство*.

Препятствие старика, как всегда, двинуло дело вперед, и Базиль стал подумывать о скорейшей развязке. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика принять un fait accompli[3] или скрыть от него брак в ожидании, что он скоро не будет ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наследством.

Но непросветленный мир преданий и тут подставлял свою ногу. Обвенчаться под сурдинку в Москве было не легко, чрезвычайно дорого и тотчас бы дошло до отца через диаконов, архидиаконов, дьячков, просвирен, свах, приказчиков, сидельцев и разных потаскушек. Положено было посондировать нашего отца Иоанна в с. Покровском, известного читателям нашим своей историей о похищении в нетрезвом виде серебряных «часов и шкатунки» у дьячка.

Отец Иоанн, узнав, что непокорному сыну около сорока лет, что невеста не русская и что родителей ее здесь нет, что, сверх меня, подпишется свидетелем университетский профессор, стал меня благодарить за такую милость, полагая, вероятно, что я старался женить Базиля для доставления ему двухсотенной бумажки. Он был до того тронут, что закричал в другую комнату: «Попадья, попадья, выпусти два-три яичка!», и достал из шкапа полуштоф, заткнутый бумажкой, для того чтоб меня попотчевать.

---

[1] теоретического наслаждения *(нем.).— Ред.*
[2] Нравственность *(нем.).— Ред.*
[3] совершившийся факт *(франц.).— Ред.*

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Армане должна была приехать к нам в Покровское погостить; Базиль (хотевший ее сопровождать) — возвратиться в Москву и, окончательно устроившись, идти от отцовского проклятия под благословение пьяненького отца Иоанна.

...Ожидая i promessi sposi [1], мы велели приготовить ужин и сели ждать. Ждали, ждали; бьет двенадцать почи — никого нет. Час — никого нет. Дамы пошли уснуть; я с Грановским и Кетчером принялся за ужин.

Le ore suonan' quadrano,
E una, e due, e tre... [2]

Ма...[3] их нет как нет.

...Наконец колокольчик... ближе и ближе; повозка простучала по мосту. Мы бросились в сени. Тарантас, заложенный тройкою, быстро въезжал на двор и остановился. Вышел Базиль. Я подошел дать руку Армане; она вдруг меня схватила за руку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул... и потом разом бросилась мне на шею, с хохотом повторяя: «Monsieur Herstin»... Это был не кто иной, как Виссарион Григорьевич Белинский in propria persona [4].

В тарантасе не было больше никого. Мы смотрели друг на друга с удивлением, кроме Белинского, который хохотал до кашля, и Базиля, который чуть до насморка не плакал. К дополнению эффекта надобно заметить, что два дня тому назад в Москве о Белинском и слуху не было.

— Давайте мне есть,— сказал наконец Белинский,— я вам расскажу там, какие у нас были чудеса; надобно же выручить несчастного Базиля, который вас боится больше Армане.

Вот что случилось. Видя, что дело быстро приближается к развязке, Базиль испугался, начал *рефлектировать* и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализм брака, неразрушимость его по Кормчей книге и по книге Гегеля. Он заперся, отданный на жертву духу мучительного исследования и беспощадного анализа. Страх возрастал с часу на час, и тем больше, что дорога к отступлению была тоже не легка и что решиться на нее почти надобно было иметь столько же характера, как и на самый брак... Страх этот рос до тех пор, пока в дверь постучался Белинский, приехавший из Петербурга прямо к нему в дом. Базиль рассказал ему весь ужас, с которым он идет на сретение своего сча-

---

[1] обрученных *(итал.).— Ред.*

[2] Часы бьют каждую четверть, один, два, три... *(искаж. итал.) — Ред.*

[3] Но... *(итал.) — Ред.*

[4] собственной персоной *(лат.).— Ред.*

ствия, и все отвращение, с которым он вступает в бракосочетание по любви... и требовал его совета и помощи.

Белинский отвечал ему, что надобно быть сумасшедшим, чтоб после этого, сознательно и зная вперед, что будет, положить на себя такую цепь.

— Вот Герцен,— говорил он,— и женился, и жену свою увез, и за ней приезжал из ссылки; а спроси его — он ни разу не задумывался, следует ему так делать или нет и какие будут последствия. Я уверен, что ему казалось, что он *не может* иначе поступить... Ну, ему и выганцевалось... А ты то же хочешь сделать, любомудрствуя и рефлектируя.

Только этого и надо было Базилю. Он в ту же ночь написал Арманс диссертацию о браке, о своей несчастной рефлекции, о неспособности простого счастья для пытливого духа, излагал все невыгоды и опасности их соединения и спрашивал Арманс совета, что им теперь делать?

Ответ Арманс он привез с собой.

В рассказе Белинского и письме Арманс обе натуры — ее и Базиля — вполне вышли, как на ладони. Действительно, брачный союз таких противуположных людей был бы странен. Арманс писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлекций его не понимала, а видела в них предлог, охлаждение; говорила, что в таком случае не должно быть и речи о свадьбе, развязывала его от данного слова и заключила тем, что после случившегося им не следует видеться. «Я вас буду помнить,— писала она,— с благодарностью и нисколько не виню вас: я знаю, вы чрезвычайно *добры,* но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!»

Такое письмо, должно быть, не совсем приятно получить. В каждом слове сила, энергия и немного свысока... Дитя славного плебейского кряжа, Арманс поддержала свое происхождение. Будь это англичанка, как бы крепко она ухватилась за письмо Базиля, как втом бы своего добродетельного соллиситора [1] рассказала с негодованием, с стыдом о первом пожатии руки, о первом поцелуе... и как бы ее адвокат, со слезами на глазах и мелом в парике, потребовал бы у присяжных вознаградить обиженную невинность тысячью или двумя фунтов...

Француженке, бедной швее, и в голову этого не пришло.

Два или три дня, которые они провели в Покровском, были печальны для экс-жениха. Точно ученик, сильно напакостивший в классе и который боится и учителя и товарищей, Базиль потерпел день-другой и уехал в Москву.

---

[1] поверенного *(от англ. solicitor).— Ред.*

Вскоре мы услышали, что Боткин едет в чужие краи. Он писал ко мне письмо смутное, недовольное собой, звал проститься. В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву; новая диссертация ехала в то же время из Москвы в Покровское к Natalie. Я отправился к Боткину и прямо попал на прощальный пир. Пили шампанское, и в тостах, в желаниях были какие-то странные намеки.

— Ведь ты не знаешь,— сказал мне Базиль на ухо,— ведь я... того...— и он прибавил шепотом: — ведь Арманс едет со мной. Вот девушка! Я теперь только ее узнал,— и он качал головой.

Это стоило появления Белинского.

В эпистоле к Natalie он пространно объяснял ей, что мысль и рефлекция о женитьбе повергли его в раздумье и отчаянье, он усомнился и в своей любви к Арманс, и в своей способности к семейной жизни; что таким образом он дошел до мучительного сознания, что он должен все разорвать и бежать в Париж, что в этом расположении он явился смешным и жалким в Покровское... Решившись таким образом, он, перечитывая письмо Арманс, сделал новое открытие, именно,— что он Арманс любит очень много, и потому потребовал у нее свиданье и снова предложил ей руку. Он думал опять о покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его. Венчаться он собирался в Петербурге и тотчас ехал во Францию. «Арманс рада, как ребенок».

В Петербурге Базиль придумал венчаться в Казанском соборе. Чтоб при этом философия и наука не были забыты, он пригласил для совершения обряда протоиерея *Сидонского,* ученого автора «Введения в науку философии». Сидонский давно знал Боткина по его статьям как свободного светского мыслителя и немецкого любомудра. После всех чудес, бывших с Арманс, ей досталась честь, редко достающаяся: послужить поводом одной из самых комических встреч двух заклятых врагов — религии и науки.

Сидонский, чтоб блеснуть своим мирским образованием, перед венчанием стал говорить о новых философских брошюрах, и, когда все было готово и дьячок подал ему епитрахиль, к которой он приложился и стал надевать, он, потупя взоры, сказал Боткину:

— Вы извините: обряды-с — я весьма хорошо знаю, что христианский ритуал сделал свое время, что...

— О, нет, нет! — прервал его Базиль голосом, полным участия и сострадания.— Христианство вечно — его сущность, его субстанция не может пройти.

Сидонский поблагодарил целомудренным взглядом «рыцарственного» антагониста, обратился к клиру и запел: «Благословен бог наш... и ныне, и присно, и во веки веков».— «Аминь!» — гря-

нул клир, и дело пошло своим порядком, и Боткина в венце и Арманс в венце повел Сидонский круг аналоя... заставляя ликовать Исаию.

Из собора Базиль отправился с Арманс домой и, оставив ее там, явился на литературный вечер Краевского. Через два дня Белинский посадил молодых на пароход... Теперь-то, подумают, история, наверное, окончена.

Нисколько.

До Каттегата дело шло очень хорошо, но тут попался проклятый «Жак» Ж. Санда.

— Как ты думаешь о Жаке? — спросил Базиль Арманс, когда она кончила роман.

Арманс сказала свое мнение.

Базиль объявил ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляет своим суждением глубочайшие стороны его духа и что его *миросозерцание* не имеет ничего общего с ее.

Сангвиническая Арманс не хотела менять миросозерцания; так прошли оба Бельта.

Вышедши в Немецкое море, Боткин почувствовал себя больше дома и сделал еще раз опыт переменить миросозерцание, убедить Арманс — иначе взглянуть на Жака.

Умирающая от морской болезни, Арманс собрала последние силы и объявила, что мнения своего о Жаке она не переменит.

— Что же нас связывает после этого? — заметил сильно расходившийся Боткин.

— Ничего,— отвечала Арманс,— et si vous me cherchez querelle [1], так лучше просто расстаться, как только коснемся земли.

— Вы решились? — говорил Боткин, петушась.— Вы предпочитаете?..

— Все на свете, чем жить с вами; вы несносный человек — слабый и тиран.

— Madam!

— Monsieur!

Она пошла в каюту; он остался на палубе. Арманс сдержала слово: из Гавра уехала к отцу... и через год возвратилась в Россию одна, и притом в Сибирь.

На этот раз, кажется, история этого перемежающегося брака кончилась.

А впрочем, Барер говорил же: «Только мертвые не возвращаются!»

(Писано в 1857, Putney, Laurel House.)

---

[1] и если вы хотите ссориться *(франц.).— Ред.*

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПАРИЖ — ИТАЛИЯ — ПАРИЖ

(1847—1852)

Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадет. «Былое и думы» не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах — все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.

Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года,— мои «Письма из Франции и Италии»; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился.

Многое, не взошедшее в «Полярную звезду», взошло в это издание — но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...

Женева, 29 июля 1866.

Париж. Итальянский бульвар.

Цветная литография.
1840-е годы.
Государственный музей изобразительных искусств.

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

ГЛАВА XXXIV

ПУТЬ

Потерянный пасс.— Кенигсберг.— Собственноручный нос.— Приехали! — И уезжаем

...В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал вслух читать все, что не нужно: «Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden, denen daran gelegen etc., etc... Unterzeichner Peroffski, Minister der Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit»... [1]

Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Террачино и Неаполем неаполитанский карабинер четыре раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя наши визы. Я показал ему неаполитанскую визу; ему этого и полкарлина было мало, он понес пассы в канцелярию и воротился минут через двадцать с требованием, чтоб я и мой товарищ шли к бригадиру. Бригадир, старый и пьяный унтер-офицер, довольно грубо спросил:

— Как ваша фамилия, откуда?

— Да это все тут написано.

— Нельзя прочесть.

Мы догадались, что грамота не была сильною стороной бригадира.

[1] По указу е. и. в. Николая I... всем и каждому, кому ведать надлежит и т. д. и т. д. ...Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена св. Владимира... Обладатель золотого оружия с надписью «За храбрость» *(нем.).— Ред.*

— По какому закону,— сказал мой товарищ,— обязаны мы вам читать наши пассы; мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать, мало ли что я сам продиктую.

— Accidénti! — пробормотал старик,— va ben, va ben! [1] — и отдал наши виды, не записывая.

Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора; прочитав три раза в трех пассах все ордена Перовского до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня:

— Вы-то, Euer Hochwohlgeboren [2], кто такое?

Я вытаращил глаза, не понимая, что́ он хочет от меня.

— Fräulein Maria Ern, Fräulein Maria Korsch, Frau Haag,— всё женщины, тут нет ни одного мужского вида.

Посмотрел я: действительно, тут были только пассы моей матери и двух наших знакомых, ехавших с нами,— у меня мороз пробежал по коже.

— Меня без вида не пропустили бы в Таурогене.

— Bereits so [3], только дальше-то ехать нельзя.

— Что же мне делать?

— Вероятно, вы забыли в кордегардии, я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погреются у нас.— Heh! Kerl, lass er mal den Braunen anspannen [4].

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопотал, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, что я его положил в карман, стало, я его выронил,— где же искать? Его занесло снегом... надобно просить новый, писать в Ригу, может, ехать самому; а тут сделают доклад, догадаются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге, образы Кокошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры... опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городовых с двумя блестящими пуговицами на спине, которыми они смотрят назад... и прежде всего увижу опять небольшого сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное «4», обмерзлую казацкую лошадь. Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила.

Между тем заложили большую печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шине-

[1] Черт возьми!.. ладно уж, ладно! *(итал.)* — *Ред.*

[2] Ваше высокоблагородие *(нем.)*.— *Ред.*

[3] Так-то так *(нем.)*.— *Ред.*

[4] Эй! малый, пусть запрягут гнедого *(нем.)*.— *Ред.*

ли и ботфортах, почтальон классически хлопнул классическим бичом — как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал:

— Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Pass [1],— и он его держал развернутым в руках.

Спазматический смех овладел мною.

— Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?

— Посмотрите,— сказал он, — ваш русский сержант положил лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть листа...

А ведь прочитал три раза: «Es ergehet deshalb an alle hohe Mächte, und an alle und jeder, welchen Standes und welcher Würde sie auch sein mögen...» [2]

...«В Кенигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город: на дворе был теплый зимний день» [3], хозяин гостиницы предложил проехаться в санях, лошади были с бубенчиками и колокольчиками, с страусовыми перьями на голове... и мы были веселы, тяжелая плита была снята с груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения — отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая, я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная вещь,— столько же, сколько право бороду не брить и проч.). Эта развязность, этот элемент более ясный и живой, поражает русского при переезде за границу. Петербургское правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того — только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтоб перед ним все дрожало, словом, хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей — передняя и казармы.

...Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет; возле меня уселся какой-то закутанный господин; дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах — я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии, он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и, в заключение, сильно напал на познан-

[1] Стой! Стой! Вот проклятый паспорт *(нем.).— Ред.*

[2] «По сему надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы...» *(нем.) — Ред.*

[3] «Письма из Франции и Италии». Письмо I.

ских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило, я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнения, и потом замолчал.

Между тем рассвело; тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мере, недоставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива — но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу; «Majestät» [1] приезжал в больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрил.

Le roi de Prusse en le voyant,
A dit: c'est vraiment étonnant [2].

По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.

Переезд наш из Кенигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены,— это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды — все равно. Теперь благодаря железным дорогам вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны.

Дорога от Кенигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кенигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся; кондуктор ссылался на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа.

---

[1] его величество *(нем.).— Ред.*

[2] Король прусский, увидя его, сказал: это в самом деле удивительно *(франц.).— Ред.*

Так мы проехали с полдороги, тут он объявил нам очень просто, что «нам дадут *только пять мест*».

— Как пять? вот мой билет.

— Мест больше нет.

Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:

— Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.

После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Herr Major» и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.

Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлин записку.

— Вы почтовый чиновник? — спросил я.

— Нет,— отвечал он, еще больше в нос,— но это все равно... я... видите... как это здесь называется — служу в центральной полиции.

Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.

Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.

...Берлин, Кельн, Бельгия — все это быстро прояснело перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и *доехали* наконец.

...Я отворил старинное, тяжелое окно в Hôtel du Rhin; передо мной стояла колонна —

...с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix.

В *Париже* — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где

Камил Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «à la Bastille!»

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова... Вот rue St.-Honoré, Елисейские поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин...

Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.

Я был вне себя от радости!

На ней я здесь и остановлюсь.

Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнию, торжественная прогулка по Италии, вспрянувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале,— все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», — что же вообще письма, как не *записки* о коротком времени?

ГЛАВА XXXV

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ РЕСПУБЛИКИ

Англичанин в меховой куртке.— Герцог де Ноаль.— Свобода и ее бюст в Марсели.— Аббат Сибур и Всемирная республика в Авиньоне

...«Завтра мы едем в Париж, я оставлю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана[1] сильна — но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе — и совершенно всего не сдует же реакция».

Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на via del Corso и глядя на «Народную» площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал.

---

[1] северный ветер *(от итал. tramontano).— Ред.*

Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей — а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «République Française»,— я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу!

Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с неимоверной быстротою и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка-француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посередине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельверагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалой и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что «сигары свои он сам привез из Гаваны». Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет *правильного* сообщения и прямого между Лондоном и Петербургом [1].

— Вы в Рим? — спросил я его, подъезжая к Чивите.

— Не знаю,— отвечал он.

Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:

— Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. А вы остаетесь здесь?

— Да. Пароход пойдет завтра.

Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех — и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке, с портфелью, зри-

[1] Теперь оно есть.

тельной трубкой, маленьким несессерчиком, шествующего перед слугой, навьюченным чемоданом и всяким добром.

— Я в Неаполь,— сказал он, поравнявшись.

— Что же климат, не поправился?

— Скверный.

Я забыл сказать, что в первый проезд он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей; в продолжение ночи он раза три чуть не убил меня: то страхом, то ногами; в каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись:

— Oh — beg pardon — j'ai avais soif.

— Pas de mal [1].

С ним стало, в этот путь мы встретились как старые знакомые; он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике.

Француз принимал иное участие в этих делах... с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу, и необходимой оседлости.

— Вы не можете себе представить,— сказал я ему шутя,— какое оригинальное наслаждение вы доставляете мне вашими недомолвками. Я лет пятнадцать говорил так о монархии, как вы говорите о республике. Роли переменились: я, защищая республику,— консерватор, а вы, защищая легитимистскую монархию,— perturbateur de l'ordre publique [2].

Старик и англичанин расхохотались. К нам подошел еще один тощий, высокий господин, которого нос обессмертил «Шаривари» и Филиппон,— граф д'Аргу («Шаривари» говорил, что его дочь потому не выходит замуж, чтоб не подписываться: «такая-то, née d'Argout» [3]). Он вступил в разговор, с уважением обращался со

---

[1] О — прошу прощения — у меня была жажда *(искаж. франц.).*— Ничего *(франц.).*— *Ред.*

[2] возмутитель общественного порядка *(франц.).*— *Ред.*

[3] рожденная д'Аргу; игра слов: née — урожденная, nez — нос *(франц.).*— *Ред.*

стариком, но на меня смотрел с некоторым удивлением, близким к отвращению; я заметил это и стал говорить на четыре градуса *краснее.*

— Это презамечательная вещь,— сказал мне седой старик.— Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы, русские, или совершеннейшие рабы царские, или — passez-moi le mot [1] — анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете свободными [2].

В этом роде продолжался наш политический разговор.

Когда мы подъезжали к Марсели и все стали суетиться о пожитках, я подошел к старику и, подавая ему свою карточку, сказал, что мне приятно думать, что спор наш под морскую качку не оставил неприятных следов. Старик очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет республиканцев, которых я наконец увижу поближе, и подал мне свою карточку. Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V.

Случай этот, весьма неважный, я рассказал для пользы и поучения наших *герцогов* первых трех классов. Будь на месте Ноаля какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто принял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за капитаном корабля.

Один русский министр в 1850 г. [3] с своей семьей сидел на пароходе в карете, чтоб не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете... да еще на море, да еще имея двойной рост.

Надменность наших сановников происходит вовсе не из аристократизма,— барство выводится; это чувство ливрейных, пудреных слуг в больших домах, чрезвычайно подлых в одну сторону, чрезвычайно дерзких — в другую. Аристократ — лицо, а наши — верные слуги престола — вовсе не имеют личности; они похожи на павловские медали с надписью: *«Не нам, не нам, а имени твоему».* К этому ведет целое воспитание: солдат думает, что его *только* потому нельзя бить палками, что у него аннинский крест, станционный смотритель ставит между ладонью путешественника и своей щекой офицерское звание, обиженный чиновник указывает на Станислава или Владимира — «не собой, не собой... а чином своим!»

Выходя из парохода в Марсели, я встретил большую процессию Национальной гвардии, которая несла в Hôtel de Ville бюст

[1] простите мне это слово *(франц.).— Ред.*

[2] Суждение это я слышал потом раз десять.

[3] Знаменитый Виктор Панин.

свободы, то есть женщину с огромными кудрями в фригийской шапке. С криком: «Vive la République!» [1] шли тысячи вооруженных граждан, и в том числе работники в блузах, взошедшие в состав Национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, что и я пошел за ними. Когда процессия подошла к Hôtel de Ville, генерал, мэр и комиссар Временного правительства Демосфен Оливье вышли в сени. Демосфен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг; толпа, разумеется, двигалась вперед, Национальная гвардия ее осаживала назад; толпа не слушалась; это оскорбило вооруженных блузников, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди; граждане «единой и нераздельной республики» попятились...

Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и, в особенности, римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и *телесной* неприкосновенности развито в каждом человеке, не только в факино [2], в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В Романье на эту дерзость отвечали бы двадцатью «колтелатами» [3]. Французы попятились — может, у них были мозоли?

Случай этот неприятно подействовал на меня; к тому же, пришедши в hôtel, я прочел в газетах руанскую историю. Что же это значит, неужели герцог Ноаль прав?

Но когда человек хочет верить, его веру трудно искоренить, и, не доезжая до Авиньона, я забыл марсельские приклады и руанские штыки.

В дилижансе с нами сел дородный, осанистый аббат, средних лет и приятной наружности. Сначала он ради приличия принялся за молитвенник, но вскоре, чтоб не дремать, он положил его в карман и начал мило и умно разговаривать, с классической правильностью языка Портройяля и Сорбонны, с цитатами и целомудренными остротами.

Действительно, одни французы умеют разговаривать. Немцы признаются в любви, поверяют тайны, поучают или ругаются. В Англии оттого и любят рауты, что тут не до разговора... толпа, нет места, все толкутся и толкаются, никто никого не знает; если же соберется маленькое общество, сейчас скверная музыка, фальшивое пение, скучные маленькие игры, или гости и хозяева с необычайной тягостью волочат разговор, останавливаясь, задыхаясь

---

[1] «Да здравствует республика!» *(франц.)— Ред.*
[2] носильщике *(от итал. facchino).— Ред.*
[3] ударами ножа *(от итал. coltellata).— Ред.*

и напоминая несчастных лошадей, которые, выбившись из сил, тянут против течения по бечевнику нагруженную барку.

Мне хотелось подразнить аббата республикой и не удалось. Он был доволен свободой *без излишеств*, главное, без крови и войны, и считал Ламартина великим человеком, чем-то вроде Перикла.

— И Сафо,— добавил я, не вступая, впрочем, в спор и благодарный за то, что он не говорил ни слова о религии. Так, болтая, доехали мы до Авиньона часов в одиннадцать вечера.

— Позвольте мне,— сказал я аббату, наливая ему за ужином вино,— предложить довольно редкий тост: за республику et pour les hommes de l'église qui sont républicains! [1]

Аббат встал и заключил несколько цицероновских фраз словами: «A la République future en Russie!» [2]

«A la République universelle!» [3] — закричал кондуктор дилижанса и человека три, сидевших за столом. Мы чокнулись.

Католический поп, два-три сидельца, кондуктор и русские — как же не всеобщая республика?

А ведь весело было!

— Куда вы? — спросил я аббата, усаживаясь снова в дилижанс и попросив его пастырского благословения на курение сигары.

— В Париж,— отвечал он,— я избран в Национальное собрание; я буду очень рад видеть вас у себя — вот мой адрес.

Это был аббат Сибур, doyen [4] чего-то, брат парижского архиерея.

...Через две недели наступало 15 мая, этот грозный ритурнель, за которым шли страшные Июньские дни. Тут все принадлежит не моей биографии — а биографии рода человеческого...

Об этих днях я много писал.

Я мог бы тут кончить, как старый капитан в старой песне:

Te souviens-tu?.. mais ici je m'arrête,
Ici finit tout noble souvenir [5].

Но с этих-то *проклятых* дней и начинается последняя часть моей жизни.

---

[1] и за духовных лиц — республиканцев! *(франц.)— Ред.*

[2] «За будущую республику в России!» *(франц.)* — *Ред.*

[3] «За всемирную республику!» *(франц.)* — *Ред.*

[4] настоятель *(франц.).— Ред.*

[5] Помнишь ли ты?.. но здесь я умолкаю, здесь кончаются все благородные воспоминания *(франц.).— Ред.*

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

Тетрадь первая

I

Сон

Помните ли, друзья, как хорош был тот зимний день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи, когда мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались?

...Был уже вечер, возок заскрипел по снегу, вы смотрели печально вслед и не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного только недоставало — *ближайшего из близких,* он один был далек и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде.

Это было 21 января 1847 года.

С тех пор прошли семь лет[1], и *какие семь лет!* В их числе 1848 и 1852.

Чего и чего не было в это время, и все рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.

Камня на камне не осталось от прежней жизни. *Тогда* я был во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне залоги. Я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле...

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира — да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и вообще такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с

---

[1] Писано в конце 1853 года.

нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть переехала дорогу...

...Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах.

Испуганный Парижем 1847 года, я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия «просыпалась» на моих глазах! я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви,— вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла одр свой и пошла — в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение. Когда я пришел в себя, все исчезло — la sonnambula [1], испуганная полицией, упала с крыши, друзья рассеялись или с ожесточением добивали друг друга... И я очутился один-одинехонек, между гробов и колыбелей — сторожем, защитником, мстителем,— и ничего не сумел сделать, потому что хотел сделать больше обыкновенного.

И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило,— и остаюсь здесь, потому что не знаю, что́ из себя делать. Чужая порода людей кишит, мятется около меня, объятая тяжелым дыханьем океана,— мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане, в котором очертания смутились, в котором огонь делает только тусклые пятна.

...А *та* страна, обмытая темно-синим морем, накрытая темно-синим небом... Она одна осталась светлой полосой — но ту сторону кладбища.

О Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за днем время, в которое я был пьян тобою!

...Темная ночь. Корсо покрыто народом, кое-где факелы. В Париже уже с месяц провозглашена республика. Новости пришли из Милана — там дерутся, народ требует войны, носится слух, что Карл-Альберт идет с войском. Говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух.

Толпы строятся, они идут к пиэмонтскому послу узнать, объявлена ли война.

— В ряды, в ряды с нами! — кричат десятки голосов.

---

[1] лунатичка *(итал.).— Ред.*

— Мы — иностранцы.

— Тем лучше. Santo dio [1], вы наши гости!

Пошли и мы.

— Вперед гостей, вперед дам, вперед le donne forestiere! [2]

И толпа с страстным криком одобрения расступилась. Чичероваккио и с ним молодой римлянин, поэт народных песен, продираются с знаменем, трибун жмет руки дамам и становится с ними во главе десяти, двенадцати тысяч человек,—и все двинулось в том величавом и стройном порядке, который свойствен только одному римскому народу.

Передовые взошли в Палаццо, и через несколько минут двери залы растворились на балкон. Посол явился успокоить народ и подтвердить весть о войне, слова его приняты с исступленной радостью. Чичероваккио был на балконе, сильно освещенный факелами и канделябрами, а возле него осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все *четыре русские* — не странно ли? Я как теперь их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхающийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и проклятиями иезуитам громкое «Evviva le donne forestiere» [3].

В Англии их и нас освистали бы, осыпали бы грубостями, а может, и каменьями, во Франции приняли бы за подкупных агентов. А здесь аристократический пролетарий, потомок Мария и древних трибунов, горячо и искренно приветствовал нас. Мы им были приняты в европейскую борьбу... и с одной Италией не прервалась еще связь любви, по крайней мере, сердечной памяти.

И будто все это было... опьянение, горячка? Может,— но я не завидую тем, которые не увлеклись тогда изящным сновидением. Долго спать все же нельзя было; неумолимый Макбет действительной жизни заносил уже свою руку, чтоб убить «сон»... и

My dream was past — it has no further change! [4]

II

В грозу

...Вечером 24 июня, возвращаясь с Place Maubert, я взошел в кафе на набережной Орçау. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе; я подошел к

[1] святый боже *(итал.).— Ред.*

[2] иностранок *(итал.).— Ред.*

[3] «Да здравствуют иностранки» *(итал.).— Ред.*

[4] Мой сон исчез — и новым не сменился! *(англ.)— Ред.*

окну: уродливая, комическая banlieue[1] шла из окрестностей на помощь порядку; неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах, шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком: «Да здравствует Людовик-Наполеон!»

Этот зловещий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: «Да здравствует республика!» Ближние к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался их приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику, наказать собою Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат.

Двадцать пятого или шестого июня, в 8 часов утра, мы пошли с Анненковым на Елисейские поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия. На Place de la Concorde был отряд мобили; около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближних домов, у всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет 17, опираясь на ружье, что-то рассказывал; подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспанных ночей и водки; многие дремали, упирая подбородок на ружейное дуло.

— Ну, уж тут что было, этого и описать нельзя,— замолчав, он продолжал: — да, и они таки хорошо дрались, ну только и мы за наших товарищей заплатили! сколько их попадало! я сам до дула всадил штык пяти или шести человекам — припомнят! — добавил он, желая себя выдать за закоснелого злодея.

Женщины были бледны и молчали, какой-то дворник заметил: «По делам мерзавцам!»... но дикое замечание не нашло ни малейшего отзыва. Это было слишком низкое общество, чтоб сочувствовать резне и несчастному мальчишке, из которого сделали убийцу.

Мы молча и печально пошли к Мадлене. Тут нас остановил кордон Национальной гвардии. Сначала пошарили в карманах, спросили, куда мы идем, и пропустили; но следующий кордон, за Мадленой, отказал в пропуске и отослал нас назад; когда мы возвратились к первому, нас снова остановили.

— Да ведь вы видели, что мы сейчас тут шли?

---

[1] окраина *(франц.).— Ред.*

— Не пропускайте! — закричал офицер.

— Что вы, смеетесь над нами, что ли? — спросил я его.

— Тут нечего толковать,— грубо ответил лавочник в мундире,— берите их — и в полицию: одного я знаю (он указал на меня), я его не раз видел на сходках, другой должен быть такой же, они оба не французы, я отвечаю за все — вперед!

Два солдата с ружьями впереди, два за нами, по солдату с каждой стороны,— повели нас. Первый встретившийся человек был представитель народа, с глупой воронкой в петлице — это был Токвиль, писавший об Америке. Я обратился к нему и рассказал, в чем дело; шутить было нечего: они без всякого суда держали людей в тюрьме, бросали в тюльерийские подвалы, расстреливали. Токвиль даже не спросил, кто мы; он весьма учтиво раскланялся и отпустил нижеследующую пошлость: «Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжения исполнительной». Как же ему было не быть министром при Бонапарте?

«Исполнительная власть» повела нас по бульвару, в улицу Шоссе д'Антен, к комиссару полиции. Кстати, не мешает заметить, что ни при аресте, ни при обыске, ни во время пути я не видал ни одного полицейского; все делали мещане-воины. Бульвар был совершенно пуст, все лавки заперты, жители бросались к окнам и дверям, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди. «Des émeutiers étrangers» [1],— отвечал наш конвой, и добрые мещане смотрели на нас со скрежетом зубов.

Из полиции нас отослали в Hôtel des Capucines; там помещалось министерство иностранных дел, но на это время какая-то временная полицейская комиссия. Мы с конвоем взошли в обширный кабинет. Плешивый старик в очках и весь в черном сидел один за столом; он снова спросил нас все то, что спрашивал комиссар:

— Где ваши виды?

— Мы их никогда не носим, ходя гулять...

Он взял какую-то тетрадь, долго просматривал ее, по-видимому, ничего не нашел и спросил провожатого:

— Почему вы захватили их?

— Офицер велел; он говорит, что это очень подозрительные люди.

— Хорошо,— сказал старик,— я разберу дело, вы можете идти.

Когда наши провожатые ушли, старик просил нас объяснить причину нашего ареста. Я ему изложил дело, прибавил, что офи-

[1] «Иностранные бунтовщики» *(франц.).— Ред.*

цер, может, видел меня 15 мая у Собрания, и рассказал случай, бывший со мной вчера: я сидел в кафе «Комартин», вдруг сделалась фальшивая тревога, эскадрон драгун пронесся во весь опор, Национальная гвардия стала строиться, я и человек пять, бывших в кафе, подошли к окну; национальный гвардеец, стоявший внизу, грубо закричал:

— Слышали, что ли, чтоб окна были затворены?

Тон его дал мне право думать, что он не со мной говорит, и я не обратил ни малейшего внимания на его слова; к тому же я был не один, а случайно стоял впереди. Тогда защитник порядка поднял ружье и, так как это происходило в rez-de-chaussée [1], хотел пырнуть штыком, но я заметил его движение, отступил и сказал другим:

— Господа, вы свидетели, что я ему ничего не сделал,— или это такой обычай у Национальной гвардии колоть иностранцев?

— Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom! [2] — подхватили мои соседи.

Испуганный трактирщик бросился закрывать окна, сержант с подлой наружностью явился с приказом гнать всех из кофейной; мне казалось, что это был тот самый господин, который велел нас остановить. К тому же кафе «Комартин» в двух шагах от Мадлены.

— Вот то-то, господа, видите, что значит неосторожность, зачем в такое время выходить со двора, умы раздражены, кровь течет...

В это время национальный гвардеец привел какую-то служанку, говоря, что офицер ее схватил в то самое время, как она хотела бросить в ящик письмо, адресованное в Берлин. Старик взял пакет и велел солдату идти.

— Вы можете отправляться домой,— сказал он нам,— только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который вас схватил. Да, постойте, я вам дам провожатого, он вас выведет на Елисейские поля, там можете пройти.

— Ну и вы,— заметил он служанке, отдавая письмо, до которого не дотронулся,— бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше...

Итак, полиция защищала от вооруженных мещан!

Ночью, с 26 на 27 июня, рассказывает Пьер Леру, он был у Сенара, прося его распорядиться насчет пленных, которые задыхались в подвалах Тюльери. Сенар, человек, известный своим отчаянным консерватизмом, сказал Пьеру Леру:

---

[1] в нижнем этаже *(франц.).— Ред.*

[2] Но это подло, этому нет названия! *(франц.)— Ред.*

— А кто будет отвечать за их жизнь на дороге, их перебьет Национальная гвардия? Если б вы пришли часом раньше, вы застали бы здесь двух полковников, я насилу их упял и кончил тем, что сказал им, что если эти ужасы будут продолжаться, то я, вместо президентского стула в Собрании, займу место за баррикадой.

Часа через два, по возвращении домой, явился дворник, незнакомый человек во фраке и человека четыре в блузах, дурно скрывавших муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомец расстегнул фрак и жилет и, с достоинством указывая на трехцветный шарф, сказал, что он комиссар полиции Барле (тот самый, который в Народном собрании второго декабря взял за шиворот человека, взявшего, в свою очередь, Рим,— генерала Удино) и что ему велено сделать у меня обыск. Я подал ему ключи, и он принялся за дело совершенно так, как в 1834 году полицмейстер Миллер.

Взошла моя жена; комиссар, как некогда жандармский офицер, приезжавший от Дубельта, стал извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда он, в заключение речи, просил быть снисходительной:

— Это было бы жестокостью с моей стороны не взойти в ваше положение, вы уже довольно наказаны обязанностью делать то, что́ вы делаете.

Комиссар покраснел, но не сказал ни слова. Порывшись в бумагах и отложив целый ворох, он вдруг подошел к камину, понюхал, потрогал золу и, важно обращаясь ко мне, спросил:

— С какой целью жгли вы бумаги?

— Я не жег бумаг.

— Помилуйте, зола еще теплая.

— Нет, она не теплая.

— Monsieur, vous parlez à un magistrat! [1]

— А зола все же холодная,— сказал я, вспыхнув и подняв голос.

— Что же, я лгу?

— Почему же вы имеете право сомневаться в моих словах?.. вот с вами какие-то *честные работники*, пусть попробуют. Ну, да если б я и жег бумагу: во-первых, я вправе жечь, а во-вторых, что же вы сделаете?

— Больше у вас нет бумаг?

— Нет.

— У меня есть еще несколько писем, и презанимательных, пойдемте ко мне,— сказала моя жена.

---

[1] Сударь, вы говорите с должностным лицом! *(франц.)* — *Ред.*

— Помилуйте, ваши письма...

— Пожалуйста, не церемоньтесь... ведь вы исполняете ваш долг, пойдемте.

Комиссар пошел, слегка взглянул на письма, большей частию из Италии, и хотел выйти...

— А вот вы и не видали, что тут внизу письмо из Консьержери, от арестанта, видите, не хотите ли взять с собой?

— Помилуйте, сударыня,— отвечал квартальный республики,— вы так предубеждены, мне этого письма вовсе не нужно.

— Что вы намерены сделать с русскими бумагами? — спросил я.

— Их переведут.

— Вот в том-то и дело, откуда вы возьмете переводчика? если из русского посольства, то это равняется доносу, вы погубите пять, шесть человек. Вы меня искренно обяжете, если упомянете в procès verbal [1], что я настоятельно прошу взять переводчика из польской эмиграции.

— Я думаю, что это можно.

— Благодарю вас; да вот еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

— Немного.

— Я вам покажу два письма; в них слово «Франция» не упомянуто, писавший их — в руках сардинской полиции, вы увидите по содержанию, что ему плохо будет, если письма дойдут до нее.

— Mais ah ça! [2] — заметил комиссар, начинавший входить в человеческое достоинство.— Вы, кажется, думаете, что мы в связи со всеми *деспотическими* полициями. Нам дела нет до чужих. Поневоле мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела.

— Очень хорошо, стало, вы письма можете оставить.

Комиссар не солгал: он действительно *немного* знал по-итальянски и потому, повертевши письма, положил их в карман, обещаясь возвратить.

Тем его визит и кончился. Письма итальянца он отдал на другой день, но мои бумаги канули в воду. Прошел месяц, я написал письмо к Каваньяку, спрашивая его, отчего полиция не возвращает моих бумаг и не говорит о том, что́ нашла в них,— вещь, может, очень не важная для нее, но чрезвычайно важная для моей чести.

---

[1] протоколе *(франц.).— Ред.*

[2] Ну, что вы! *(франц.)— Ред.*

Последнее было вот на чем основано. Несколько знакомых вступились за меня, находя безобразным визит комиссара и задерживание бумаг.

— Мы желали удостовериться,— сказал Ламорисьер.— *не агент ли он русского правительства.*

Это гнусное подозрение я услышал тут в первый раз; для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла так публично, так открыто, как в хрустальном улье, и вдруг сальное обвинение, и от кого — от республиканского правительства!

Через неделю меня потребовали в префектуру; Барле был со мною; нас принял в кабинете Дюку молодой чиновник, очень похожий на петербургского начальника отделения из развязных.

— Генерал Каваньяк,— сказал он мне,— поручил префекту возвратить ваши бумаги без малейшего разбора. Сведения, собранные о вас, делают его совершенно излишним, на вас не падает никакого подозрения, вот ваша портфель, не угодно ли вам подписать предварительно эту бумагу?

Это была расписка в том, «что бумаги *все* сполна мне возвращены».

Я приостановился и спросил, не будет ли правильнее, если я пересмотрю бумаги.

— До них не дотрогивались. Впрочем, вот печать.

— Печать цела,— заметил успокоительно Барле.

— Моей печати тут нет. Да ее и не прикладывали.

— Это моя печать, да ведь у вас был ключик.

Не желая отвечать грубостью, я улыбнулся. Это взбесило обоих; начальник отделения сделался начальником департамента, схватил ножик и, взрезывая печать, сказал довольно грубым тоном:

— Пожалуй, смотрите, коли не верите, только у меня нет столько свободного времени,— и он вышел, кланяясь с важностью.

То, что они рассердились, убедило меня, что бумаг действительно не смотрели, и потому, едва бросив взгляд, я дал расписку и отправился домой.

ГЛАВА XXXVI

«La Tribune des Peuples». — Мицкевич и Рамон де ла Сагра.— Хористы революции 13 июня 1849.— Холера в Париже.— Отъезд

Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких связей; литературные и политические кружки оставались мне совершенно чуждыми. Причин на это было много. Прямого случая не представлялось — искать я не хотел. Ходить только, что-

бы смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими: они одобряют, поощряют нас, хвалят наше произношение и наше богатство; мы выносим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами — мы за ними не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него; нам совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невежество,— они пользуются всем этим с безнадежным довольством собой.

Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно *импонировать;* на это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой.

Не должно, сверх того, забывать, что нет людей, с которыми было бы легче завести шапочное знакомство, как с французами, и нет людей, с которыми было бы труднее в самом деле сойтиться. Француз любит жить на людях, чтобы себя показать, чтобы иметь слушателей, и в этом он так же противоположен англичанину, как и во всем остальном. Англичанин смотрит на людей от скуки, смотрит, как из партера, употребляет людей для развлечения, для получения сведений; англичанин постоянно спрашивает, а француз постоянно отвечает. Англичанин все недоумевает, все обдумывает — француз все знает положительно, он кончен и готов, он дальше не пойдет; он любит проповедовать, рассказывать, поучать — чему? кого? — все равно. Потребности личного сближения у него нет, кафе его вполне удовлетворяет; он, как Репетилов, не замечает, что, вместо Чацкого, стоит Скалозуб, вместо Скалозуба — Загорецкий, и продолжает толковать о Камере присяжных, о Байроне (которого называет «Бирон») и о материях важных.

Возвратившись из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая, потом пострадал Июньские дни и осадное положение. Тогда я еще глубже вгляделся в вольтеровского tigre-singe [1],— и у меня прошло даже желание знакомиться с сильными республики сей.

Раз представилась было возможность общего труда, которая могла привести в сношение со многими лицами,— да и та не удалась. Граф Ксаверий Браницкий дал семьдесят тысяч франков на основание журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала

[1] тигра-обезьяну *(франц.).— Ред.*

были очевидны. Французские газеты занимаются мало и плохо тем, что делается вне Франции; во время республики они думали, что достаточно подчас ободрить все языцы словом solidarité des peuples [1], обещанием, как только дома обдосужатся завести всемирную республику, основанную на всеобщем братстве. При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной»,— из него можно было сделать международный «Монитер» движения и прогресса. Его успех был тем вернее, что всеобщих газет вовсе нет,— в «Таймсе» и «Journal des Débats» бывают превосходные статьи о специальных вопросах, но без связи, случайно, отрывочно. Редакция «Аугсбургской газеты» была бы действительно самая всеобщая, если б от ее *черно-желтого* направления не так грубо рябило в глазах.

Но, видно, всем добрым начинаниям 1848 года было на роду написано родиться на седьмом месяце и умереть прежде первого зуба. Журнал пошел плохо, вяло — и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849.

Когда все было готово и начеку: дом был нанят и устроен, с большими столами, покрытыми сукном, и маленькими косыми конторками, тощий французский литератор был приставлен смотреть за международными орфографическими ошибками, при редакции учрежден совет из бывших польских нунциев и сенаторов, а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощники которому дан Хоецкий,— оставалось торжественно начать, и когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля, и чем же приличнее, как не ужином?

Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза, зато другие нации, от Сицилии до кроатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо — Адам Мицкевич; я его никогда прежде не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную летами. Много дум и страданий сквозили в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало пережитое несчастие, знакомство с внутреннею болью, экзальтацию горести — это был пластический образ *судеб Польши.* Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля; впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича

[1] братство народов *(франц.).— Ред.*

будто что-то удерживало, занимало, рассеивало; это *что-то* был его странный мистицизм, в который он заступал дальше и дальше.

Я подошел к нему, он меня стал расспрашивать о России; сведения его были отрывочны, литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию. Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов,— мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то неприязненное к России. Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами; притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора.

Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговея, иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим laisser-aller [1]. Быть признанным людьми одного образа мнения, иметь на них влияние, видеть их любовь — желает каждый, отдавшийся душою и телом своим убеждениям, живший ими; но наружных знаков симпатии и уважения я не желал бы принимать: они разрушают равенство и, следовательно, свободу; да, сверх того, в этом отношении нам никак не догнать ни архиереев, ни начальников департаментов, ни полковых командиров.

Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост «в память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтоб я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост «за Мицкевича» и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз, в Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году. Хомяков поднял бокал с словами «за великого отсутствующего славянского поэта!». Имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкий был доволен; подтасовавши таким образом наше extemporе [2], мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост, Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, то есть Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить

---

[1] непринужденностью *(франц.).— Ред.*
[2] экспромт *(лат.).— Ред.*

от нее. По мере того как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал одного слова, одного *имени*, чтоб не осталось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться!

Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она *снова* ринется на освобождение всех притесненных народов под теми же орлами, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народами династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.

Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:

— Что же вы?

— Я не скажу ни слова после этой речи.

— Пожалуйста, что-нибудь.

— Ни под каким видом.

Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменился в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое «Je demande la parole» [1] положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик, лет семидесяти, весь седой, с славной, энергической наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Рамон де ла Сагра.

— За двадцать четвертое февраля,— сказал он,— таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за двадцать четвертое февраля и на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королевским или императорским, бурбонским или бонапартовским. Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он смотреть может на дела как поэт, и по-своему прав, но я не хочу, чтоб его слова в таком собрании прошли без протестации...— И пошел, и пошел, со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.

Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяс-

---

[1] Прошу слова *(франц.).— Ред.*

нение, они не удались. Де ла Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал.

Хуже предзнаменования для нового журнала не могло быть, он просуществовал кое-как до 13 июня и исчез так незаметно, как существовал. Единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, usé par la gloire [1], другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если б наполеоновская полиция была умнее, никогда «Tribune des Peuples» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июне. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела.

Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то, вместо освобождения, или выдумывают себе кумир, или попадаются под влияние какого-нибудь визионера [2]. Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу. Поклонение Наполеону принадлежит на первом плане к этому безумию; Наполеон ничего не сделал для них; он не любил Польши, а любил поляков, проливавших за него кровь с тем поэтическим колоссальным мужеством, с которым они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра. В 1812 году Наполеон говорил Нарбону: «Я хочу в Польше лагерь, а не форум. Я равно не позволю ни в Варшаве, ни в Москве открыть клуб для демагогов»,— и из него-то поляки сделали военное воплощение бога, поставили рядом с Вишну и Христом.

Раз вечером, поздно, зимой 1848 шел я с одним поляком из Мицкевичевых приверженцев по Вандомской площади. Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял фуражку. «Неужели?..» — подумал я, не смея верить в такую глупость, и смиренно спросил его: что за причина, что он снял фуражку? Поляк показал мне пальцем на бронзового императора. Как же после этого не теснить и не угнетать людей, когда это приобретает столько любви!

---

[1] истрепанного славою *(франц.).— Ред.*

[2] духовидца *(от франц. visionnaire).— Ред.*

В домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посещенное богом». Жена его долгое время была повредженной. Товянский заговаривал ее и будто помог, это особенно поразило Мицкевича, но следы болезни остались... Дела их шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великого поэта, пережившего себя. Он угас в Турции, замешавшись в нелепое дело устройства казацкого легиона, которому Турция запретила называться польским. Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона.

После этой неудачной попытки участвовать в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в трех-четырех банкетах, то есть ел холодную баранину и пил кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая «Марсельезу». Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России — ни дальней зарницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета; писать ко мне перестали; личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь [1] наконец вслед за гробом Николая.

Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение...

...Холера свирепствовала в Париже, тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки,— все это соответствовало событиям.

Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу; вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром, часов в семь, пришли мне сказать, что у нее холера; я пошел к ней и обомлел,— ни одной черты не осталось по-прежнему — она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съежились, темные тени легли под глазами. Насилу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне:

— Вы сами видите, что тут делать,— прописал что-то и уехал.

Больная подозвала меня и спросила:

---

[1] Писано в 1856 году.

— Что вам сказал доктор? Он вам что-то сказал?

— Послать за лекарством.

Она взяла меня за руку — и рука ее удивила меня больше лица: она исхудала и сделалась угловатой, как будто месяц тяжкой болезни прошел с тех пор, как она занемогла,— и, останавливая на мне взгляд, исполненный страдания и ужаса, проговорила:

— Скажите, бога ради, что он сказал... что, умираю я?.. Да вы меня не боитесь? — прибавила она.

Мне ее было ужасно жаль в эту минуту; это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивал ее жизнь, должно было быть безмерно мучительно. К утру она умерла.

И. Тургенев собирался ехать из Парижа, срок его квартиры окончился, он пришел ко мне переночевать. После обеда он жаловался на духоту, я сказал ему, что купался утром, вечером пошел и он купаться. Возвратившись, он чувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил меня.

— Я потерянный человек,— сказал он мне,— холера.

У него действительно были тошнота и спазмы; по счастью, он отделался десятью днями болезни.

Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала в Ville d'Avray. Когда занемог И. Тургенев, я отправил туда Natalie и детей и остался один с ним, а когда ему стало гораздо легче, переехал и я туда.

Туда-то утром, 12 июня, явился ко мне Сазонов. Он был в величайшем одушевлении, говорил о готовящемся движении, о неминуемости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво лавр. Я говорил ему, что он знает мое мнение о настоящем положении дел, что мне кажется глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего.

На это восторженный агитатор заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки, в то время как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам и даже к преступлениям, заговорило во мне.

— Да с чего же ты вообразил, что я не пойду?

— Я так заключил из твоих слов.

— Нет, я сказал, что это глупо, но ведь не говорил, что я никогда не делаю глупостей.

— Вот этого-то я и хотел. Вот таким-то я тебя люблю! Ну, так нечего терять времени, едем в Париж. Сегодня вечером немцы и другие рефюжье собираются в девять часов, пойдем сначала к ним.

— Где же они собираются? — спросил я его в вагоне.

— В café Lamblin, в Palais-Royal'e.

Это было мое первое удивление.

— Как в café Lamblin?

— Там обыкновенно собираются «красные».

— Именно потому-то, мне кажется, и следовало бы сегодня собраться в другом месте.

— Да уже они все там привыкли.

— Пиво, верно, очень хорошо!

В кафе, за десятком маленьких столиков, важно заседали разные habitués [1] революции, значительно и мрачно посматривавшие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их *табло* [2], их *фон*, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застращать англичан.

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле, так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции.

В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частию очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.

Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, то есть те общие места, которые последовательно проявляются одни и те же, à tour de rôle [3], как уточки

---

[1] завсегдатаи *(франц.).— Ред.*

[2] картину *(от франц. tableau).— Ред.*

[3] по очереди *(франц.).— Ред.*

в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках.

Сверх людей наивных, революционных доктринеров, в эту среду естественно втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученье, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. Внешнее руководство, которое гуртом пасет в обыкновенные времена стада человеческие, слабеет во времена переворотов, люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой, и то только по-видимому, всплывают знаменитости в революционные времена,— поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сделано сегодня, можно сделать завтра, можно и вовсе не делать.

Хористы революции, подобно хору греческих трагедий, делятся еще на полухоры: к ним идет ботаническая классификация: одни из них могут назваться *тайнобрачными*, другие — *явнобрачными*. Одни из них делаются вечными заговорщиками, меняют по нескольку раз квартиру и форму бороды. Они таинственно приглашают на какие-то необыкновенно важные свидания, если можно, ночью или в каком-нибудь неудобном месте. Встречаясь публично с своими друзьями, они не любят кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрывают свой адрес, не сообщают день отъезда, не сказывают, куда едут, пишут шифрами и химическими чернилами новости, напечатанные просто голландской сажей в газетах.

При Людвиге-Филиппе, рассказывал мне один француз, Э., замешанный в какое-то политическое дело, скрывался в Париже; при всех своих прелестях, такая жизнь становится à la longue[1] утомительна и скучна. Делессер, bon vivant[2] и богатый человек, был тогда префектом; он служил по полиции не из нужды, а из страсти и любил иногда весело пообедать. У него и у Э. было много общих приятелей; раз, между «грушей и сыром», как говорят французы, один из них сказал ему:

— Какая досада, что вы так преследуете бедного Э.! Мы лишены славного собеседника, и он должен скрываться, как преступник.

— Помилуйте,— сказал Делессер,— об его деле помину нет.

[1] с течением времени *(франц.).— Ред.*
[2] кутила *(франц.).— Ред.*

Зачем он прячется? — Знакомые его иронически улыбались.— Я его постараюсь уверить, что он делает вздор, и вас с тем вместе.

Приехавши домой, он позвал одного из главных шпионов и спросил его:

— Что Э., в Париже?

— В Париже,— отвечал шпион.

— Прячется? — спросил Делессер.

— Прячется,— отвечал шпион.

— Где? — спросил Делессер.

Шпион вынул книжку, порылся в ней и прочел его адрес.

— Хорошо, так ступайте к нему завтра утром рано и скажите, что он напрасно беспокоится, что мы его не ищем и что он может спокойно жить на своей квартире.

Шпион в точности исполнил приказание, а через два часа после его визита Э. таинственно извещал своих близких и друзей, что он уезжает из Парижа и будет скрываться в одном из дальних городов, потому-де, что префект открыл место, где он прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завесой таинственности и красноречивым молчанием свою тайну, столько явнобрачные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это бессменные трибуны кофейных и клубов; они постоянно недовольны всем и хлопочут обо всем, все сообщают, даже то, чего не было, а то, что было,— является у них, как горы в рельефных картах, возведенное в квадрат и куб. Глаз до того к ним привыкает, что невольно ищет их при всяком уличном шуме, при всякой демонстрации, на всяком банкете.

...Для меня зрелище в café Lamblin было еще ново, я мало был знаком тогда с задним двором революции. Правда, я ходил в Риме и в caffè delle Belle Arti и на площадь, бывал в Circolo Romano и в Circolo Popolare, но тогдашнее римское движение не имело еще того характера политической махровости, который особенно развился после неудач 1848 года. Чичероваккио и его друзья имели свои наивности, свою южную мимику, которая нам кажется фразой, и свои итальянские фразы, которые мы принимаем за декламацию, но они были в периоде юного увлечения, они еще не пришли в себя после трехвекового сна; il popolano [1] Чичероваккио вовсе не был политическим агитатором по ремеслу, он ничего лучше не просил бы, как снова удалиться с миром в свой небольшой дом Strada Ripetta [2] и торговать лесом и дровами в кругу своей семьи, как pater familias и свободный civis romanus [3].

[1] сын народа *(итал.).— Ред.*

[2] на улице Рипетта *(итал.).— Ред.*

[3] отец семейства... римский гражданин *(лат.).— Ред.*

В людях, его окружавших, не могло быть той печати пошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера taré [1], который так печально распространился во Франции.

Само собою разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех делателях и двигателях событий,— кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той накипевшей закрапне, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова или как шагистика — Николаю.

Реакции радоваться нечему — не такими репейниками и мухоморами поросла она, и не на закрапнах, а повсюду. В ней целые населения чиновников, дрожащих перед начальниками, шпыряющих шпионов, вольнонаемных убийц, готовых драться с той и другой стороны, офицеров во всех отвратительных видах, от прусского юнкертума до хищных французских алжирцев, от гвардейцев до «камер-пажей». И тут мы еще только коснулись светской реакции, не трогая ни нищенствующую братию, ни интригующих иезуитов, ни полицействующих попов, ни прочих членов ангельского и архангельского чина.

Если в реакции есть что-нибудь похожее на наших дилетантов революции, то это придворные — люди, употребляемые для церемоний, люди выходов и входов, люди, бросающиеся в глаза на крестинах и бракосочетаниях, на коронациях и похоронах, люди для мундира, для шитья, представляющие лучи власти, ее аромат.

В café Lamblin, где отчаянные граждане сидели за пиверами [2] и большими стаканами, я узнал, что нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы. Вдохновение должно было сойти, как некогда святой дух на голову апостолов. Только в одном пункте все были согласны,— *в том, чтоб явиться на место сбора без оружия*. После пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтоб завтра в восемь часов утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle, против Château d'Eau, мы отправились в редакцию «Истинной республики».

---

[1] с изъяном *(франц.).— Ред.*

[2] рюмками *(от франц. petit verre).— Ред.*

Издателя не было дома: он поехал к «горцам» за инструкциями. В большой, почернелой, слабо освещенной и еще слабее меблированной зале, служившей редакции для сбора и совещаний, было человек двадцать, большей частью поляки и немцы. Сазонов взял лист бумаги и принялся что-то писать; написавши, он нам прочел: это была протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении. Тем, кто хотел обессмертить свое имя, связывая его с славным завтра, он предлагал подписаться. Почти все хотели обессмертить свое имя и подписались. Вошел издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что он много знает, но должен молчать; я был уверен, что он ничего не знает.

— Citoyens,— сказал Торэ,— la Montagne est en permanence[1].

Ну что же сомневаться в успехе — en permanence! — Сазонов передал издателю протестацию европейской демократии. Издатель перечитал и сказал:

— Это прекрасно, это прекрасно! Франция вас благодарит, граждане; но зачем же подписи? Их так немного, что в случае неудачи на вас обрушится вся злоба наших врагов.

Сазонов настаивал, чтоб имена остались; многие были согласны с ним.

— Я не беру этого на мою ответственность,— возразил издатель,— простите меня, я лучше вас знаю, с кем мы имеем дело.

При этом он оторвал подписи и предал имена дюжины кандидатов на бессмертие всесожжению на свече, а текст послал набирать в типографию.

Когда мы вышли из редакции, рассветало; толпы оборванных мальчишек и несчастных, убого одетых женщин стояли, сидели, лежали по тротуарам, возле разных редакций, ожидая кипы журналов,— одни, чтоб их складывать, другие, чтоб бежать с ними во все концы Парижа. Мы вышли на бульвар — тишина была совершенная, изредка попадались патрули Национальной гвардии, прогуливались и лукаво посматривавшие городовые сержанты.

— Как беззаботно спит этот город,— сказал мой товарищ,— не предчувствуя, какая гроза его разбудит завтра!

— Вот кто не спит за нас за всех,— сказал я ему, указывая наверх, то есть на освещенное окно в Maison d'Or.— Это очень кстати, зайдем выпить абсинту; у меня что-то на желудке нехорошо.

---

[1] Граждане, Гора заседает непрерывно *(франц.).— Ред.*

— А у меня пусто, к тому же оно и недурно поужинать; как едят в Капитолии, я не знаю, ну, а в Консьержри кормят отвратительно.

По костям холодной индейки, оставшимся от трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирепствовала в Париже, ни того, что мы идем через два часа менять судьбы Европы. Мы ели в Maison d'Or так, как Наполеон спал под Аустерлицем.

Часу в девятом, когда мы пришли на бульвар Bonne Nouvelle, на нем уже стояли многочисленные кучки людей, с видимым нетерпением ожидавших, что делать; на лицах было написано недоумение, но с тем вместе по особенной физиономии групп видно было большое озлобление. Найди себе эти люди настоящих вожатаев, день не кончился бы фарсом.

Была минута, в которую мне показалось, что сейчас завяжется дело. Какой-то господин довольно тихо ехал верхом по бульварам. В нем узнали одного из министров (Ламруа), который, вероятно, не для одного чистого воздуха прогуливался верхом так рано. Его окружили с криком, стащили с лошади, изодрали ему фрак и потом отпустили, то есть другая группа отбила его и экскортировала куда-то. Толпа росла, часам к десяти могло быть до двадцати пяти тысяч человек. Кого мы ни спрашивали, к кому мы ни обращались, никто ничего не знал. Керсози, времен минувших карбонаро, уверял нас, что банлье [1] входит в Arc de Triomphe с криком «Vive la République!»

«Пуще всего,— опять повторяли все старейшины демократии,— будьте без оружия, а то вы испортите характер дела. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить Собранию свою волю, чтоб не дать врагам никакого повода к клевете».

Наконец колонны состроились. Из нас, иностранцев, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, в числе которых были Э. Араго, в полковничьем мундире, бывший министр Бастид и другие знаменитости 1848 года. С разными криками и с «Марсельезой» двинулись мы по бульвару. Кто не слыхал «Марсельезы», петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма.

В эту минуту демонстрация получила величавый характер. По мере того как мы тихо двигались по бульварам, все окна отворялись; дамы, дети толкались у них и выходили на балконы; мрач-

[1] предместье *(от франц. banlieue).— Ред.*

ные и встревоженные лица их мужей, отцов-проприетеров[1] выглядывали из-за них, не замечая, что в четвертых этажах и мансардах высовывались другие головки — бедных швей и работниц; они махали нам платками, кланялись и приветствовали руками. Время от времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домов известных лиц.

Так дошли мы до того места, где rue de la Paix входит в бульвары; она была заперта взводом венсенских стрелков, и, когда наша колонна поравнялась с ними, стрелки вдруг расступились, как декорация в театре,— и Шангарнье верхом на небольшой лошади скакал перед эскадроном драгунов. Без всяких соммаций[2], без барабанного боя и прочих законом предписанных форм, он, смяв передовые ряды, отрезал их от прочих и, развернув драгунов на две стороны, велел им скорым шагом расчистить улицу. Драгуны с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малейшем сопротивлении. Я едва успел сообразить, что случилось, как очутился нос с носом с лошадью, которая фыркала мне в лицо, и с драгуном, который, ругаясь, также не за глаза, грозился вытянуть меня фухтелем, если я не пойду в сторону. Я подался направо и в одно мгновение был увлечен толпой и прижат к решетке rue Basse des Remparts. Из нашего ряда остался возле меня один Мюллер-Стрюбинг; между тем драгуны жали передовых людей лошадьми, а они нас людьми, которым некуда было деться. Э. Араго соскочил в улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнул себе ногу; вслед за ним соскочил и я с Стрюбингом; мы взглянули друг на друга с каким-то бешенством негодованья, Стрюбинг обернулся и громко закричал: «Aux armes! Aux armes!»[3] Человек в блузе схватил его за воротник и, толкая в другую сторону, сказал:

— Что вы, с ума сошли, что ли?.. смотрите сюда.

По улице — должно быть, Chaussée d'Antin — двигалась густая щетина штыков.

— Ступайте, пока вас не слыхали да пока не отрезали дороги. Все пропало! все! — прибавил он, сжимая кулак, и, напевая песню,— будто ничего не было, удалился скорыми шагами.

Мы пошли на площадь Согласия. На Елисейских полях не было ни одного взвода из банлье; ведь и Керсози знал, что не было; это была дипломатическая ложь к спасению, а может, она была бы и к гибели тех, которые поверили бы.

---

[1] собственников *(от франц. propriétaire).— Ред.*
[2] требований *(от франц. sommation).— Ред.*
[3] «К оружию! К оружию!» *(франц.) — Ред.*

Наглость нападения на безоружных людей возбудила большую злобу. Будь в самом деле что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, как начать настоящий бой. «Гора», вместо того чтоб явиться в весь рост, услышав о том, как смешно разогнали лошадьми самодержавный народ, скрылась за облаком. Ледрю-Роллен вел переговоры с Гинаром. Гинар, начальник артиллерии Национальной гвардии, хотел сам пристать к движению, хотел дать людей, соглашался дать пушки, но ни под каким видом не хотел *давать зарядов*; он как-то хотел действовать *моральной стороной пушек;* то же делал со своим легионом Форестье. Много ли им помогло это — мы видели по версальскому процессу. Всем чего-то хотелось — но никто не дерзал; всего предусмотрительнее оказались несколько молодых людей, с надеждой на новый порядок — они заказали себе префектские мундиры, которых, после неудачи движения, не взяли, и портной принужден был вывесить их на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось в Arts et Métiers, работники, походивши по улицам с вопрошающим взглядом и не находя ни совета, ни призыва,— отправились домой, еще раз убедившись в несостоятельности «горных» отцов отечества, может быть глотая слезы, как блузник, говоривший нам: «Все погибло! все!», а может и смеясь исподтишка тому, что «Гора» опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализм Гинара — все это внешние причины неудачи и являются с тем же *кстати,* как резкие характеры и счастливые обстоятельства, когда их нужно. Внутренняя причина состояла в бедности той республиканской идеи, из которой шло движение. Идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой, могут даже — как Христос — еще раз, два показаться после смерти своим адептам,— но трудно для них снова завладеть жизнью и вести ее. Они не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей. Если б «Гора» одолела 13 июня,— что бы она сделала? Нового у нее за душой ничего не было. Опять бесцветная фотография яркой и мрачной рембрандтовской, сальватор-розовской картины 1793 года, без якобинцев, без войны, даже без наивной гильотины...

Вслед за 13 июнем и опытом лионского восстания начались аресты; мэр с полицией приходил к нам в Ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге; часть знакомых была захвачена. Консьержри была набита битком, в небольшом зале было до шестидесяти человек; посреди него стоял ушат для нечистот, раз в сутки его выносили — и все это в образованном Париже, во время свирепейшей холеры. Не имея ни малейшей охоты прожить месяца два в этом

комфорте, на гнилых бобах и тухлой говядине, я взял пасс у одного молдовалаха и уехал в Женеву [1].

Тогда еще возили Францию Lafitte и Caillard; дилижансы ставили на железную дорогу, потом снимали, помнится, в Шалоне и опять где-то ставили. Со мной в купе сел худощавый мужчина, загорелый, с подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавший на меня; с ним был небольшой сак и шпага, завернутая в клеенку. Очевидно, что это был переодетый городской сержант. Он тщательно осмотрел меня с ног до головы, потом уткнулся в угол и не произнес ни одного слова. На первой станции он подозвал кондуктора и сказал ему, что забыл превосходную карту, что он его обяжет, давши клочок бумаги и конверт. Кондуктор заметил, что до звонка остается всего минуты три; сержант выпрыгнул и, возвратившись, стал еще подозрительнее осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчание, даже позволение курить он спросил у меня молча; я отвечал также головой и глазами и вынул сам сигару. Когда стало смеркаться, он спросил меня:

— Вы в Женеву?

— Нет, в Лион,— отвечал я.

— А! — Тем разговор и кончился.

Через несколько времени отворилась дверь и кондуктор с трудом всунул плешивую фигуру в пространном гороховом пальто, в цветном жилете, с толстой тростью, мешком, зонтиком и огромным животом. Когда этот тип добродетельного дяди уселся между мной и сержантом, я его спросил, не давши ему прийти в себя от одышки:

— Monsieur, vous n'avez pas d'objection? [2]

Кашляя, отирая пот и повязывая фуляром голову, он отвечал мне:

— Сделайте одолжение; помилуйте, мой сын, который теперь в Алжире, всегда курит, il fume toujours [3],— и потом, с легкой руки, пошел рассказывать и болтать; через полчаса он уже допросил меня, откуда я и куда еду, и, услыхав, что я из Валахии, с свойственной французу учтивостью прибавил: «Ah! c'est un beau pays» [4], хотя он и не знал наверно, в Турции она или в Венгрии.

---

[1] Как справедливы были мои опасения, доказал полицейский обыск, сделанный дня три после моего отъезда в доме моей матери, в Ville d'Avray. У нее захватили все бумаги, даже переписку ее горничной с моим поваром. Рассказ о 13 июне я не счел своевременным печатать тогда.

[2] Сударь, вы ничего не имеете против? *(франц.)— Ред.*

[3] Он вечно дымит *(франц.).— Ред.*

[4] «А! это прекрасная страна» *(франц.).— Ред.*

Сосед мой отвечал на его вопросы очень лаконически.

— Monsieur est militaire?

— Oui, monsieur.

— Monsieur a été en Algérie?

— Oui, monsieur [1].

— Мой старший сын тоже, он и теперь там. Вы, верно, в Оран?

— Non, monsieur.

— А в ваших странах есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестом,— отвечал я с неподражаемой самоуверенностью.— Только у нас дилижансы ходят на волах.

Это привело в крайнее удивление моего соседа, и он наверно присягнул бы, что я валах; после этой счастливой подробности даже сержант смягчился и стал разговорчивее.

В Лионе я взял свой чемодан и тотчас поехал в другую контору дилижансов, вскарабкался на империал и через пять минут скакал уже по женевской дороге. В последнем большом городе, на площадке перед полицейским домом, сидел комиссар полиции с писарем, около стояли жандармы, тут свидетельствовали предварительно пассы. Приметы не совсем шли ко мне, а потому, слезая с империала, я сказал жандарму:

— Mon brave [2], пожалуйста, где бы на скорую руку выпить стакан вина с вами, укажите, мочи нет, какой жар.

— Да вот тут, два шага, кафе моей родной сестры.

— А как же быть с пассом?

— Давайте сюда, я отдам моему товарищу, он принесет его нам.

Через минуту мы осушали с жандармом бутылку Бон в кафе его родной сестры, а через пять его приятель принес пасс, я ему поднес стакан, он приложил руку к шляпе, и мы отправились друзьями к дилижансу. Первый раз сошло хорошо с рук. Приезжаем на границу — река, на реке мост, за мостом пиэмонтская таможня. Французские жандармы на берегу таскаются во всех направлениях, ищут Ледрю-Роллена, который давно проехал, или, по крайней мере, Феликса Пиа, который все-таки проедет, и, так же как я, с валахским пассом.

Кондуктор заметил нам, что здесь окончательно смотрят бумаги, что это продолжается довольно долго, с полчаса, в силу чего

---

[1] Вы — военный? — Да, сударь.— Вы были в Алжире? — Да, сударь *(франц.).— Ред.*

[2] Любезный *(франц.).— Ред.*

советовал поесть в почтовом трактире. Мы вошли и только что уселись, прикатил другой лионский дилижанс; входят пассажиры, и первый — мой сержант, фу, пропасть какая, я ведь ему сказал, что еду в Лион. Мы с ним сухо поклонились, он также, кажется, удивился, однако не сказал ни слова.

Пришел жандарм, роздал пассы, дилижансы были уже на той стороне.

— Извольте, господа, отправляться пешком через мост.

Вот тут-то, думаю, и пойдет история. Вышли мы... Вот и на мосту — истории нет, вот и за мостом — истории нет.

— Ха, ха, ха! — сказал, нервно смеясь, сержант,— переехали-таки, фу, как будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

— Как,— сказал я,— и вы?

— Да ведь и вы, кажется?

— Помилуйте,— отвечал я, смеясь от души,— прямо из Бухареста, чуть не на волах.

— Ваше счастье,— сказал мне кондуктор, грозя пальцем,— а вперед будьте осторожнее. Зачем вы дали два франка на водку мальчику, который привел вас в контору? Хорошо, что он тоже *наш*, он мне тотчас сказал: «Должно быть, красный, ни минуты не остался в Лионе и так обрадовался месту, что дал мне два франка на водку».— «Ну, молчи, не твое дело,— сказал я ему,— а то услышит бестия какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановит».

На другой день мы приехали в Женеву, эту старинную гавань гонимых... «Во время смерти короля сто пятьдесят семейств,— говорит Мишле в своей истории XVI столетия,— бежали в Женеву; спустя некоторое время еще тысяча четыреста. Выходцы французские и выходцы из Италии основали истинную Женеву, это удивительное убежище между тремя нациями; без всякой опоры, боясь самих швейцарцев, оно держалось одной нравственной силой».

Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие остатки европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев переходили Рейн, другие спускались с С.-Готарда или шли из-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смело открыто их гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убежища.

Точно на смотру, церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва, которых я любил заочно и к которым теперь торопился навстречу...

ГЛАВА XXXVII

Вавилонское столпотворение.— Немецкие Umwälzungsmänner'ы [1].— *Французские красные горцы.— Итальянские fuorusciti* [2] *в Женеве.— Маццини, Гарибальди, Орсини...— Романская и германская традиция.— Прогулка на «Князе Радецком»*

Было время, когда, в порыве раздражения и горького смеха, я собирался, на манер гранвилевской иллюстрации, написать памфлет: «Les réfugiés peints par eux-mêmes» [3]. Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжко гнетет людей...

Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграции, предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерный тип.

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от не эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен.

Эмигранты 1849 не верили еще в продолжительность победы своих врагов, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение — минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцом

---

[1] потрясатели основ *(нем.).— Ред.*

[2] изгнанники *(итал.).— Ред.*

[3] «Эмигранты в их собственном изображении» *(франц.).— Ред.*

революции 1848 года. Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия, от версальского процесса, баденские ополченцы, вступившие в Женеву правильным строем, с своими офицерами и с Густавом Струве, участники венского восстания, богемцы, познанские и галицийские поляки — все это толпилось между отель де Берг и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция не минутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и нарождения республики демократической и социальной — одни, другие — демократической, но отнюдь не социальной.

Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника, в низкой шляпе с большими полями, *в черном* белом сертуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием; возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Ф. Капп.

— Вы не знаете их? — спросил он меня.

— Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который, вместо фиговых листьев, надел не по мерке сшитое пальто.

— Это Струве и Гейнцен,— ответил он, смеясь.— Хотите познакомиться?

— Очень.

Он подвел меня.

Разговор был ничтожен; Струве возвращался домой и просил зайти, мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь их сидела высокая и издали очень красивая женщина, с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной,— это была известная Амалия Струве, его жена.

Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на покойное выражение глаз, на нечесаную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска Густава-Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующий покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно *избить два миллиона* человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибальской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет, добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев; он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано ни придешь в café de la Poste, а доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету, зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо:

— Я думаю, что сегодня в Париже горячий день.

— Отчего же?

— Я вам не могу сказать, от кого я слышал, но только от близкого человека Ледрю-Роллена, он был здесь проездом...

— Да ведь вы и вчера и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор?

— Ну так что ж, Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut [1].

Вот к нему-то, как к другу Гейнцена, в том же самом кафе я и обратился, когда Гейнцен напечатал свою филантропическую программу.

— Зачем же,— сказал я ему,— ваш приятель пишет такой вредный вздор? Реакция кричит, да и имеет право — что за Мара, переложенный на немецкие нравы, да и как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

— Послушайте,— сказал он наконец,— вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческом, в этом числе, по крайней мере, *двести тысяч китайцев*.

— Ну, вот это другое дело, чего их жалеть,— ответил я и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.

Дня через два после моей встречи в Паки гарсон Hôtel des Bergues, где я стоял, прибежал ко мне в комнату и с важной миной возвестил:

— Генерал Струве с своими адъютантами.

Я подумал, или что мальчика кто-нибудь подослал шутя, или что он что-нибудь переврал; но дверь отворилась,

Mit bedächtigem Schritt
Густав Струве tritt...[2]

и с ним четыре господина; двое были в военном костюме, как их тогда носили фрейшерлеры [3], и вдобавок с большими красными

---

[1] не в один день был выстроен Рим *(нем.).— Ред.*
[2] осторожным шагом Густав Струве входит *(нем.).— Ред.*
[3] добровольцы *(от нем. Freischärler).— Ред.*

брасарами [1], украшенными разными эмблемами. Струве представил мне свою свиту, демократически называя ее «братьями в ссылке». Я с удовольствием узнал, что один из них, молодой человек лет двадцати, с видом бурша, недавно вышедшего из фуксов, успешно занимал уже должность министра внутренних дел per interim [2].

Струве тотчас начал меня поучать своей теории о семи бичах, der sieben Geisseln: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д., и о водворении какой-то новой демократической и революционной религии. Я заметил ему, что если уже это зависит от нашей воли, заводить или нет новую религию, то лучше не заводить никакой, а предоставить это воле божией, оно же и по сущности дела относится более до нее. Мы поспорили. Струве что-то отпустил о Weltseele [3], я ему заметил, что, несмотря на то что Шеллинг так ясно определил мировую душу, называя ее das Schwebende [4], мне она порядком не дается. Он вскочил со стула и, подошедши ко мне как нельзя ближе со словами «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей голове, нажимая ими, как будто череп у меня был составлен из клавишей фицгармоники.

— Действительно,— прибавил он, обращаясь к четырем братьям в ссылке: — Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration [5].

Все были довольны отсутствием у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этом он объявил мне, что он глубокий френолог и не только писал книгу о Галлевой системе, но даже выбрал по ней свою Амалию, потрогавши предварительно ее череп. Он уверял, что у нее бугра страстей совсем почти не существует и что задняя часть черепа, обиталище их, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причине он женился на ней.

Струве был большой чудак, ел одно постное с прибавкой молока, не пил вина и на такой же диете держал свою Амалию. Ему казалось и этого мало, и он всякий день ходил купаться с нею в Арву, где вода середь лета едва достигает восьми градусов, не успевая нагреться,— так быстро стекает она с гор.

Впоследствии мне случалось говорить с ним о растительной пище. Я возражал ему, как обыкновенно возражают: устройством зубов, большей потерей сил на претворение растительного фиб-

---

[1] нарукавные повязки *(от франц. brassard).— Ред.*

[2] временно *(лат.).— Ред.*

[3] мировой душе *(нем.).— Ред.*

[4] парящее *(нем.).— Ред.*

[5] Гражданин Герцен не имеет никакого, решительно никакого бугра почтительности *(нем.).— Ред.*

рина, указывал на меньшее развитие мозга у травоядных животных. Он слушал кротко, не сердился, но стоял на своем. В заключение он, видимо желая меня поразить, сказал мне:

— Знаете ли вы, что человек, всегда питающийся растительной пищей, до того очищает свое тело, что оно совсем не пахнет после смерти?

— Это очень приятно,— возразил я ему,— но мне-то от этого какая же польза? я не буду нюхать сам себя после смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказал мне с спокойным убеждением:

— Вы еще будете иначе говорить!

— Когда вырастет бугор почтительности,— прибавил я.

В конце 1849 Струве прислал мне свой, вновь изобретенный *для вольной* Германии календарь. Дни, месяцы — все было переведено на какое-то древнегерманское и трудно понятное наречие; вместо святых каждый день был посвящен воспоминанию двух знаменитостей, например Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался в память врагов рода человеческого, например Николая и Меттерниха. Праздниками были те дни, когда воспоминание падало на особенно великих людей, на Лютера, Колумба и проч. В этом календаре Струве галантно заменил 25 декабря, рождество Христово, праздником *Амалии*!

Как-то, встретившись со мной на улице, он, между прочим, сказал, что надобно было бы издавать в Женеве журнал, общий всем эмиграциям, на трех языках, который мог бы бороться против «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народов, раздавленных теперь реакцией. Я ему отвечал, что, разумеется, это было бы хорошо.

Издание журналов было тогда повальной болезнию: каждые две-три недели возникали проекты, являлись спесимены [1], рассылались программы, потом нумера два-три — и все исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, все еще считали себя способными на издание журнала, сколачивали сто — двести франков и употребляли их на первый и последний лист. Поэтому намерение Струве меня нисколько ни удивило; но удивило, и очень, его появление ко мне на другое утро, часов в семь. Я думал, что случилось какое-нибудь несчастие, но Струве, спокойно усевшись, вынул из кармана какую-то бумагу и, приготовляясь читать, сказал:

— Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.

---

[1] пробные номера *(от англ. specimen).— Ред.*

Прочитавши, он объявил, что пойдет к Маццини и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену: он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую он протянул мне, густо пробормотавши: «Бюргер, плац!» [1]

Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писал что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценом. Гейнцен прочистил голос и начал читать *по-немецки,* несмотря на то что общий всем язык был один французский.

Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не содрогнувшийся перед требованием двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.

Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпидифора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора [2].

Маццини хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. «Si omnes consentiunt, ego non dissentio» [3],— подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках» и тоже подписался.

Однако ж акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал — подписанной суммы было недостаточно.

— Господа,— сказал Маццини,— я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода, я буду помещать все *замечательные* статьи в моей «Italia del Popolo», вот вам одной третью расходов и меньше.

---

[1] Садитесь, гражданин! *(от нем. Bürger, Platz) — Ред.*
[2] «Былое и думы», т. II.
[3] Если все согласны, я не возражаю *(лат.).— Ред.*

— В самом деле! Чего же лучше!

Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:

— Вы славно отделались от журнала.

— Послушайте,— заметил он,— ведь итальянская часть в самом деле *лишняя*.

— Так, как и две остальные! — добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.

Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спини.

Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек, с печально рассеянным выражением,— это был товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи.

Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими проницательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко, сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснивалось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; в них и в морщинах на лбу — бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, неспанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей или, лучше, *одной* сильной страсти, да еще что-то фанатическое — может, аскетическое.

Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва может скрыть досаду при противуречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаторпальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.

Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных pallazzi аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские принчипе[1], контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты — все шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.

Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандиера, ряд за рядом, выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики... и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабёфа,— идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику: «Viva l'Italia!», «Evviva Mazzini!» [2]

Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии,— разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:

Пианори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобы смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку, она мне казалась так же несовременна, как два предпоследние опыта в Милане, но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и реформы!

Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый с знаменем в руке — а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громо-

---

[1] князья *(от итал. principe).— Ред.*

[2] Да здравствует Италия! Да здравствует Маццини! *(итал.) — Ред.*

вых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула — дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах.

Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась в народе.

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra,
Ma s'inchinaron per baciar la terra:
Ad uno, ad uno li guardai nel viso,
Tutti avean una lagrima e un sorriso,
Li disser ladri, usciti dalle tane,
Ma non portaron via nemmeno un pane;
E li sentii mandare un solo grido:
Siam venuti a morir per nostro lido —
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!
Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e préso'l per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardommi e mi rispose — O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
Io mi sentii tremare tutto il core;
Né potei dirgli: V'aiuti il Signore,
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!

L. Mercantini. «La Spigolatrice di Sapri» [1]

В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его; звезда его тогда была в полном блеске — но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться.

---

[1] Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:

«Они сошли с оружием в руках, но они не воевали с нами: они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого,— у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание: «Мы пришли умереть за наш край!»

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!

Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами... Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: «Куда идешь ты, прекрасный вождь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра моя, иду умирать за родину». И сильно заныло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: «Бог тебе в помочь!»

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!»

И я знал bel capitano <прекрасного вождя> и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины...

Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову.

Сам Гарибальди скрепя сердце произнес строгий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его.

. . . . . .

Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают, чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый,— опять принимается за дело с судорожной горячностью.

В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обусловливает успех, она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.

Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели ни битого, стереотипного чекана французских стросвых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ — буржуа in spe [1], немецкий революционер так же, как немецкий бурш — тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы — самобытнее, *индивидуальнее.*

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну пре-

[1] в будущем *(лат.).— Ред.*

кращения личностей — оно совершенно во французском духе устроило общественное воспитание, то есть воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час по тем же книгам — одно и то же. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры, учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз — природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло,— скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.

Образованный итальянец выработывался, как наш брат, сам собой, жизнию, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки. Итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа — наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.

История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки del popolo grasso [1], не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и *контадину* [2], чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство, в французском смысле, собственно, представляется в Италии особой средой, образовавшейся со

[1] разжиревшего класса *(итал.).— Ред.*
[2] крестьянину *(от итал. contadino).— Ред.*

времени первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, *пиэмонтским* слоем. Он отличается в Италии так же, как во всем материке Европы, тем, что во *многих* вопросах постоянно либерален и во *всех* — боится народа и слишком нескромных толков о труде и заплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда *своим* снизу.

Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Борромеи, Дель-Верме, Бельжиойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абруцц, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори,— поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвязал свою сутану и все время осады и защиты Маргеры с ружьем в руке дрался под градом пуль в передовых рядах; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццакапо, тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвав их, нельзя не приостановиться.

С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вестиндских доках; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне и с Орсини. Гарибальди в толстом светлом пальто, с яркоцветным шарфом на шее и фуражкой на голове казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него, они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном,— вдруг он вскочил, говоря: «Постойте! С вами мы выпьем другого вина»,— и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке... Чего нельзя

было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто *белет* из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.

Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его малопомалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пиэмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь — освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике, как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.

Когда он отплывал за углем в Ньюкестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть.

— А кто им не велит сделать то же,— возразил он с жаром.— Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают; я мог бы иметь под моим начальством три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара — все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже — это конец, это страна «забвения родины», это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью. Плавучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недосягаемая!

В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды»... о котором — живи он в иной век — сложилась бы своя легенда, свое «Arma virumque cano!» [1].

---

[1] Пою оружие и мужа! *(лат.)* — *Ред.*

Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года в rue Lepelletier; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатишестилетнюю голову под нож гильотины. Я познакомился с Орсини в Ницце в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались, наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга.

Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите — только не пошлые, будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских «отцов отечества» и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнию, но не дорожат также и жизнию ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой — весь римский героизм лишений и смерти.

Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной — а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из казематт Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект *гранат,* потом, лицом к лицу с опасностью, бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стóящий осколка гранаты...

Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вы-

нес он из этой жизни с контрабандистами, с bravi [1], с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.

Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад «вымощен» ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини — как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого «искателя морских приключений» Колумба, ни величайшего «бандита» новейших веков — Наполеона Бонапарта.

Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа [2]. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и — пойдет далее без раскаяния и сомнения.

Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора,

---

[1] наемными убийцами *(итал.).— Ред.*

[2] Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде!

когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ — все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.

И что же сделал *он* с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьвером? Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона — толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. О, divina Commedia! [1] — или просто Commedia! в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!

...С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.

Медичи — ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв — по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.

Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами — Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса [2] и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный,— в нем все было изящно и нравилось.

Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вехи, знаки фарватера были потеряны, не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках», но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы

---

[1] божественная комедия! *(итал.)* — *Ред.*

[2] испанского партизана *(от испан. gerrillas).*— *Ред.*

раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро»,— там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.

В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей — Пизакане, Мордини, Козенц...

— Отчего,— сказал я шутя,— наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то вандейковских рыцарей, чем итальянца?

— Это патурально,— прибавил, продолжая шутить, Пизакане.— Джакомо — ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.

— Fratelli [1],— сказал Медичи,— немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!

— Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты,— продолжал тот.

— Извольте,— сказал Медичи.— Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!

Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не русскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан — простота от нерасторопности ума, оттого, что они все как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была *ложь*. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.

Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального

[1] Братья *(итал.).— Ред.*

коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи. Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики. Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда — под ядрами и пулями.

Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины: эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться,— ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: *он* рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта... Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге.

В Лондоне, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частию молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, il ne savait pas se faire valoir...[1] Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.

Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.

Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie...

Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них

[1] Он не умел придавать себе цену *(франц.).— Ред.*

видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться... я не знаю... ну, на Моцарта, например, зачем он не годился в драбанты. Это — возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие — барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказал ему:

— Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы все ее забываете!

— Какую?

— Да то, что он умер в тысяча восемьсот тридцать шестом году.

Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем *думает*.

Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, *им* не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних,— это своего рода бегство от сомнений; она жаждет только деятельности прикладной — это своего рода лень. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.

Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом — очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.

Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо — *Лавирона*; с ним я недолго был знаком, он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии), в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю

с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.

Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Hôtel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, как Deus ex machina, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское Собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден par contumace[1]. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы,— тут Июньские дни, потом проскрипции, ссылки, *синий* террор. В это самое время однажды вечером сидел я на бульваре перед Тортони, в толпе всякой всячины и, как в Париже всегда бывает — в умеренную и неумеренную монархию, в республику и империю — все это общество впересыпку с шпионами. Вдруг подходит ко мне — не верю глазам — Лавирон.

— Здравствуйте! — говорит он.

— Что за сумасшествие? — отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони.— Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?

— Если бы вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь... я думал, думал, да и пошел гулять.

— Зачем же на бульвар?

— Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду.

— Куда?

— В Женеву,— так тяжко и так все надоело; мы идем навстречу страшным несчастиям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте — прощайте, и да будет наша встреча повеселее.

В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил, вдруг объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата, я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками»,— гово-

[1] заочно *(франц.).— Ред.*

рил он триумвирам и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед; когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром.

Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд божий над преступным изменником отечества!

...Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.

Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку: он «во всех классах учится прилежно», и в этом вся его история; на Страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся,— много страдал; он купил право на протестантизм — Тридцатилетней войной, право на независимое существование, то есть на бледное существование под надзором России,— борьбой с Наполеоном. Его освобождение в 1814—1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Landesvater [1], в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й *парад* (сорок четвертый был до революции),— тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гете — в Веймаре.

Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется в ее безусловном, то есть недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая,

[1] отец своих подданных *(нем.).— Ред.*

что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.

Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее — то, чему они покоряются, может быть и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому *из видов,*— это кривление душой за взятки.

Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так как верит в «почетный легион», в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen[1], к покою и, переходя из своего кабинета в Prunkzimmer[2] или спальню, жертвует халату, покою и кухне — свободную мысль свою. Немец большой сибарит, этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира,— такой же эпикуреец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.

Все немецкие революционеры — большие космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität[3], и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.

При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн — там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.

«Воинственный» конвент, собиравшийся в павловской церкви

[1] благоденствию *(нем.).— Ред.*
[2] парадную комнату *(нем.).— Ред.*
[3] они преодолели точку зрения национальности *(нем.).— Ред.*

во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache[1] профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов,— рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt![2]) брал за живое только с точки зрения «Тейтчтума». Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые поползновения удержать неправое стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.

Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гетевской комедии «Der Bürgergeneral»[3].

Не было города, «пятна» в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка «Комитета общественного спасения», со всеми главными деятелями, с холодным юношей *Сен-Жюстом,* с мрачными террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал, они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Колло д'Эрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами[4],— это был Дантон, eine schwelgende Natur![5]

Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris[6] в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, завстреничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.

После дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Баку-

---

[1] весьма видных в своей области *(нем.).— Ред.*
[2] одноплеменном! *(нем.) — Ред.*
[3] «Генерал-гражданин» *(нем.).— Ред.*
[4] горничными *(от нем. Stubenmädchen).— Ред.*
[5] широкая натура! *(нем.) — Ред.*
[6] такого настоящего парижского сорвиголову *(нем. и франц.).— Ред.*

нине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:

— Революция — гроза, тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью... надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять «Гору» 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии, намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился *терроризовать* мою улицу. «Männer! [1] — говорю я моему отряду.— Под опасением военного суда, который при осадном положении может *сейчас лишить вас жизни* в случае ослушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и, под строгим прикрытием, приведен ко мне». Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал, но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже...

— И,— сказал я с ужасом,— и она?

— И она их отводила домой,— прибавил гордо и самодовольно террорист.

К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.

Исправлявший должность министра внутренних дел, юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «Vom andern Ufer» [2], писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр per interim [3] приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво... и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так прошло с неделю. Капп и я — мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской *сто франков вперед* за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему

---

[1] Ребята! *(нем.)* — *Ред.*

[2] «С того берега» *(нем.).— Ред.*

[3] между тем *(лат.).— Ред.*

очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то что он не переписал еще и на десять.

Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.

Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, *бюргеру* и *брудеру* [1] лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.

— Ну, так я отошлю ему деньги — mit Verachtung [2],— сказал министр.

— Что за вздор! — закричал один фрейшерлер.— Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель der Besitzenden [3]. Согласны?

— Да, да, согласны, браво!

— Выпьем,— кричал оратор,— и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера.

— Да, да, не надобно кланяться.

Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.

Все эти смешные недостатки, вместе с особенной Plumpheit [4] немцев, оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, то есть сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна,— а сторона пошлая, тяжелая постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим, грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение жовиального [5] немца.

Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка; все, чего мы можем требовать от них, во имя животного брат-

---

[1] гражданину и брату *(от нем. Bürger и Bruder).— Ред.*
[2] с презрением *(нем.).— Ред.*
[3] имущих *(нем.).— Ред.*
[4] неуклюжестью *(нем.).— Ред.*
[5] резвящегося *(от франц. jovial).— Ред.*

ства,— это чтоб они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не лягаясь. В природе все достигает посильно, чего может, складывается, как случится, и потом принимает родовое pli;[1] воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое, но требовать от лошади бифстекса и от быков иноходи — все же нелепость.

Чтоб наглазно понять разницу двух противуположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек: я беру именно их потому, что они неподдельны в своей грубости.

Посмотрите, как парижские гамены смеются над каким-нибудь английским чудаком и как лондонские мальчишки издеваются над французом; в этом маленьком примере резко высказываются два противуположные типа двух европейских пород. Парижский гамен нагл и привязчив, он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит; во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает; есть слова, которых он никогда не употребляет,— грубостью его остановить трудно, если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. Еще надобно заметить, что французских мальчиков нужно чем-нибудь поразить: красным жилетом с синими полосками, кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку, вещами, делаемыми одними англичанами и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтоб обратить гонение или смех.

Острота лондонских мальчишек проще, она начинается с ржания при виде иностранца[2], лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями; потом они кричат раз двадцать: «French pig! French dog!»[3] Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и блеяние удвоивается; если он идет прочь, мальчишки бегут за ним,— тогда остается ultima ratio:[4] поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося. После этого мальчишки бегут сломя голову прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем.

Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с gamins в их проделках против иностранца; в Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.

---

[1] склад *(франц.).— Ред.*

[2] Все это очень переменилось после Крымской войны (1866).

[3] Французская свинья! Французская собака! *(англ.) — Ред.*

[4] крайнее средство *(лат.).— Ред.*

Во Франции есть щит, который тотчас останавливает самого задорного мальчика,— это бедность. Страна, которая не знает слова более оскорбительного, как слово beggar[1], тем больше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее.

Один итальянский рефюжье[2], бывший прежде офицером в австрийской кавалерии и без всяких средств, оставивший отечество после войны, ходил, когда пришла зимняя пора, в военной офицерской шинели. Это производило такой фурор на рынке, по которому он должен был проходить всякий день, что крики «кто ваш портной?», хохот и, наконец, подергивание за воротник дошли до того, что итальянец бросил свою шинель и ходил, дрогнув до костей, в одном сертуке.

Эта грубость в уличной шутке, этот недостаток деликатности, такта в народе, с своей стороны, объясняет, отчего женщин нигде не бьют так часто и так больно, как в Англии[3], отчего отец готов бесчестить дочь, муж — жену, юридически преследовать их.

Уличные грубости сильно оскорбляют сначала французов и итальянцев. Немец, напротив, принимает их с хохотом, отвечает таким же ругательством, перебранка продолжается, и он остается очень доволен. Обоим это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!»[4] — кричит ему, хрюкая, гордый британец. «Стерва Джон Буль!» — отвечает немец, и каждый идет своей дорогой.

Это обращение не ограничивается улицей — стоит только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, Руге et consorts[5], которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глаз наш не привык видеть в печати такие выражения, такие обвинения: ничего не пощажено — ни личная честь, ни семейные дела, ни поверенные тайны.

У англичан грубость пропадает, поднимаясь на высоту таланта или аристократического воспитания; у немцев — никогда. Величайшие поэты Германии (за исключением Шиллера) впадают в самую неотесанную вульгарность.

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания, в нашем смысле слова. Немцев учат, и учат много, но совсем не воспитывают, даже в аристократии, в которой преобладают казарменные, юнкерские нравы. У них в житейских делах отсутствует эстетиче-

---

[1] нищий *(англ.).— Ред.*

[2] эмигрант *(от франц. réfugié).— Ред.*

[3] «Таймс» как-то, года два тому назад, считал, что средним числом в каждой части Лондона (их десять) ежегодно бывает до двухсот процессов о побоях женщин и детей. А сколько побоев проходит без процессов?

[4] Кровавая собака! *(англ.) — Ред.*

[5] и компании *(франц.).— Ред.*

ский орган. Французы его утратили, точно так, как они утратили изящество своего языка; нынешний француз редко умеет написать письмо без конторских или адвокатских выражений — прилавок и казармы исказили их нравы.

В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, делящую итальянцев от тедесков [1] и в которую сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.

Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.

Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развевался огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: «Fürst Radetzky» [2]. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит: австрийский или сардинский? Тесье, по версальскому суду, был осужден на in contumaciam [3] на депортацию [4]. Хотя Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками месяцев шесть продержать в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пиэмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии,— но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.

— Что же,— сказал Тесье,— ведь идти назад смешно.

— Ну, так вперед! — И мы взошли на палубу.

Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями, зачем? — не знаю, на пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат распустили. В каюте, на стене, вissли правила, в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если кто-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (kaiserlich-königlichen) [5] полицейских уставов, тот имеет быть судим по австрий-

---

[1] немцев *(от итал. tedeschi).— Ред.*
[2] «Князь Радецкий» *(нем.).— Ред.*
[3] заочно *(лат.).— Ред.*
[4] ссылку *(от франц. déportation).— Ред.*
[5] императорско-королевских *(нем.).— Ред.*

ским законам. Or donc[1] носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум.

На палубе сидело несколько итальянцев: мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистию посматривая на суетившихся во все стороны и без всякой нужды белобрысых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати, и вообще они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять, повернувшись спиной возле самого носа, ломаться и показывать «мы-де победители — наша взяла» следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.

Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привесть к безобидному племенному различию надобно века времени.

После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением — ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной, натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки, одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью *плескали* с ложки суп в рот, другие ели *с ножа,* без хлеба и без соли, масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся — он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.

Для закуски молодой, долговязый, с светло-желтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял

[1] Ну, а *(франц.).— Ред.*

как следует навытяжке и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать, но лишь только он произнес: «Ваше благородие»,— «Молчать!» — закричал раздавленным голосом светло-желтый и — «марш!». Потом, обращаясь к товарицам, как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас?

Когда мы вышли на землю, у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: «Viva la Republica!» — а один итальянец, качая головой, повторял: «O, brutissimi, brutissimi!» [1]

Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать — много веков.

ГЛАВА XXXVIII

Швейцария.— Джемс Фази и рефюжье.— Monte-Rosa

Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить, живши в Женеве, внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом; он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление — подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застает его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и прежде чем он спохватится,— делается его взглядом.

В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями.

---

[1] О, скоты, скоты! *(итал.)* — *Ред.*

Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге 53 и 54 годов я многому научился и на многое, из прошедшего и виденного прежде, иначе взглянул.

Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизаций, шедших ко дну, перетирая друг друга, середь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма — две страны остались как были. Одна за своим морем, другая за своими горами, обе средневековые республики, обе прочно вросшие в землю вековыми нравами.

Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией! Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее: с одной стороны, к трудному лавированию, с другой — к сложному поведению. В Англии, собственно, народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принадлежит известной среде; большинство народа вне движения; ее едва колеблет чартизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбрасывает за океан горючие вещества, по мере их накопления, и там они торжественно взрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо, переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык.

Совсем другое дело в Швейцарии: в ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы; она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, от пахаря и работника, к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры — является, после бурь революции и сатурналий реакции, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде.

Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные земли в Европе — те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, например, поддерживается рядом coups d'Etat с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности,— в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью.

Поведение федерального совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство; вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами, остальное составляет или дальнее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редко дельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всем и всему, наименее знает географию и всего больше заражен нестерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самою природой не увлекается вдаль: он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и, пока его не трогают на ней, он молчит.

Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами вовсе не *швейцарское,* по нем вопрос об эмигрантах — вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастию, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, ею легко народы доходят до положения хорошо береженого стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим.

Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числом, нецентрализованная Швейцария — гидра, Ериарей, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова? где ее сердце? Сверх того, без столицы нельзя себе представить короля. Король в Швейцарии — такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва — горами, и так же соединенный ими, как она.

Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в *том* городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.

В этих празднествах вольного народа, в его воённой забаве, без оскорбительного étalage'а [1] монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии,— есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка, и все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти...

В Женеве, вскоре после моего приезда, давали обед ученикам всех школ перед наступающими вакациями. Джемс Фази (президент кантона) пригласил меня на этот пир. На поле, в Каруже, был разбит большой шатер. Совет и все кантональные знаменитости были налицо и обедали вместе с детьми. Часть граждан, состоявших на очереди, была созвана в мундирах и с ружьями, для почетной стражи. Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил получивших награды и предложил тост «за будущих граждан!» при громе музыки и пушечных выстрелах. После этого дети, по два в ряд, отправились за ним в поле, где были приготовлены разные забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, то есть отцы, дяди, старшие братья учеников, составили шпалеры, и, по мере того как глава колонны проходила, они делали «на караул»... да! «на караул» перед сыновьями-мальчиками, перед сиротами, воспитывающимися на счет кантона... Дети были почетные гости города — его «будущие граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтских и иных торжественных актах.

Странно и то, что каждый работник, каждый взрослый крестьянин, половые в трактирах и их хозяева, жители гор и жители болот знают хорошо дела кантона, принимают в них участие, принадлежат к партиям. Язык их, степень образования очень меняются, и если женевский работник напоминает иногда лионского клубиста, в то время как простой житель гор похож еще до сих пор на лица, окружающие шиллеровского Телля, то это нисколько не мешает тому и другому горячо заниматься общественными делами. Во Франции идут по городам отпрыски и разветвления политических и социальных обществ, члены их занимаются *революционным* вопросом и по дороге знают кое-что из настоящего управления. Но зато стоящие вне ассоциации, а в особенности крестьяне, ничего не знают и вовсе не интересуются ни делами Франции, ни делами департамента.

Наконец, и нам и французам бросается в глаза отсутствие всяких риз и облачений, всей оперной обстановки правительства. Президент кантона, президент Федерального собрания, статс-секретари (то есть министры), федеральные полковники ходят, как

[1] выставления напоказ *(франц.).— Ред.*

все простые смертные, в кафе, обедают за общим столом, рассуждают о делах, спорят с работниками, спорят при них между собой, и все это запивают вместе с другими иворнским вином да киршем.

С начала нашего знакомства с Джемсом Фази эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидел, что во всех законных случаях правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствие гардеробной важности, лампасов, плюмажей, швейцаров с булавой, вахмистров с усами и прочих шалостей и ненужностей монархической mise en scène [1].

Осенью 1849 началось гонение выходцев, искавших убежища в Швейцарии; правительство было в слабых руках доктринеров, федеральные министры потеряли голову. Застращенная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона, высылала теперь, по приказу последнего, людей, искавших убежища, и делала ту же любезность для Австрии и Пруссии. Конечно, федеральное правительство имело дело не с старым, толстым королем, не любившим крайних мер, а с людьми, у которых на руках еще не обсохла кровь и которые были в самом разгаре дикого преследования. Но чего же боялось Федеральное собрание? Если б оно умело смотреть дальше своих гор, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами соседние правительства. Ни одно из них в 1849 году не имело достаточной оседлости и нравственного сознания своей силы, чтоб начать войну. Стоило конфедерации показать зубы — и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гонение людей, которым некуда было деться.

Долго некоторые кантоны, и в том числе Женевский, противодействовали Федеральному собранию, но наконец и Фази был увлечен, volens-nolens [2], в преследование выходцев.

Положение его было очень неприятно. Переход человека из заговорщиков в правительство, как бы он естествен ни был, имеет свои комические и досадные стороны. В сущности, надобно сказать, что не Фази перешел в правительство, а правительство перешло к Фази, тем не менее прежний конспиратор не всегда ладил с президентом кантона. Ему приходилось бить по своим или иногда явно не слушаться федеральных приказов, принимать такие меры, против которых он лет десять кряду ораторствовал. Он делал то и другое по капризу и этим возбуждал против себя обе стороны.

---

[1] постановки *(франц.).— Ред.*
[2] волей-неволей *(лат.).— Ред.*

Фази — человек большой энергии и больших государственных талантов, но слишком француз, чтобы не любить крутые меры, централизацию, власть. Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики. Перье и Лаффит нашли, что «лучшая республика» — герцог Орлеанский; он сделался королем, а Фази бросился в крайнюю республиканскую оппозицию. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом, с обществом des droits de l'homme [1] и с карбонарами, замешивается в савойскую экспедицию Маццини, издает журнал, который на французский манер задавили пенями...

Убедившись наконец, что во Франции нечего делать, он вспоминает свою родину и переносит всю свою энергию, всю приобретенную ловкость политического деятеля, публициста и конспиратора на развитие своих идей в Женевском кантоне.

Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство; прения, нападки и отпоры перешли из камер и журналов на площадь, и Фази явился главою возмутившейся части города. Пока он распоряжался и устанавливал своих вооруженных друзей, седой старик смотрел из окна и, военный по профессии, не мог вытерпеть, чтоб не дать совета, как следует поставить пушку или отряд. Фази послушался. Совет был дельный,— но кто же этот военный? Граф Остерман-Толстой, главнокомандующий союзными армиями под Кульмом, уехавший из России при воцарении Николая и живший потом почти всегда в Женеве.

Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен. Члены хотели арестовать его и с негодованием спрашивали: «Во имя кого он осмеливается так говорить?»

— Во имя женевского народа, которому надоело дурное управление ваше и который со мной,— при этом Фази отдернул сукно в дверях совета. Толпа вооруженных людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрелить. Старые «патриции» и мирные кальвинисты смутились.

— Ступайте вон, пока есть время! — заметил Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сел за стол и написал декрет,

---

[1] прав человека *(франц.).— Ред.*

или плебисцит, объявлявший, что народ женевский, уничтожив прежнее правительство, собирается для новых выборов и для принятия нового демократического уложения, в ожидании чего народ вверяет исполнительную власть *Джемсу Фази*. Это 18 брюмера — в пользу демократии и народа. Хотя он и выбрал сам себя диктатором, но выбор, бесспорно, был очень удачен.

С тех пор, то есть с 1846 года, он управляет Женевой. Так как по конституции президент избирается на два года и не может быть избран два раза кряду, то через два года женевцы назначают кого-нибудь из бледных поклонников Фази, и, таким образом, de facto [1] он остается президентом, к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве.

Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы — все двинулось быстро вперед; твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ: Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотически республиканские замашки; привыкнув к власти — деспотическое pli стало иной раз брать верх; к тому же события и идеи после 1848 застали Фази врасплох, он был смущен, с одной стороны, обойден — с другой. Ну, вот она, эта республика, о которой он мечтал с Годфруа Каваньяком и Арман Каррелем... а что-то неладно. Бывший его товарищ Марраст, президент Национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме «за завтраком, в присутствии секретаря», и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить попов; когда экс-редактор «Насионаля» в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протеже Фази пошел еще дальше, сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знаться с старым товарищем и идет в Наполеоны. «Республика в опасности!» — а работники и передовые люди не занимаются ею, они всё толкуют о социализме. Так вот виноватый — и Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своего Kulminationspunkt'a, как говорят немцы, и пошел вниз.

Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу. Много поломал я копий с

[1] на деле *(лат.).— Ред.*

обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек *не хочет* убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться, зачем так хорошо играть свою роль даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новое учение, сложившееся *вне* их круга; тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази называть социализм в наших разговорах «Клеопатрой», чтоб это слово не сердило его и не мешало своим звуком пониманию. Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий,— но об этом не здесь.

Раз, пришедши домой, я нашел записку Струве,— он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнцена; Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось нового?

Фази не хотел, чтоб Струве издавал в Женеве свой «интернациональный» журнал; он боялся и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнценом напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зубов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится, я не знаю; довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет «семь бичей рода человеческого», было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал к нему квартального с приказом, чтоб он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбыть Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно; мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная (то, что французы называют mesure de salut public [1]). Полицейский знал это, но, желая услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве.

Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтоб не сходить к другу Гейнцену, который, с своей стороны, получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнцен жил недалеко, то Струве ganz gemütlich [2] отпра-

[1] мерой по охране общественного порядка *(франц.).— Ред.*
[2] совершенно благодушно *(нем.).— Ред.*

вился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях. Лишь только он поравнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ Федерального совета, требовал, чтоб он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу «семи бичей», сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон.

Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в двенадцатом вечера, у Pont des Bergues я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что нового? — сказал он, увидав меня.

— Много,— отвечал я с изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, il n'y a plus de sécurité dans les rues [1] — я боюсь ходить...

— А, это вы говорите насчет Струве...— отвечал Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал перерываться.— Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? Я наконец устал, я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений Федерального совета...

— Право,— сказал я, улыбаясь,— которое вы предоставляете одному себе.

— Что же мне из-за всякого вырвавшегося из Бедлама подвергать опасности кантон, самого себя, и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо «спасибо» они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкал его — это из рук вон! Не понимают, что чиновник (magistrat), приходящий во имя закона, должен быть уважаем. Не правда ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласен,— сказал я ему,— и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный Фурером или Друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще как враг, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхивал таких вещей,— заметил Фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров.

---

[1] не чувствуешь себя в безопасности на улице *(франц.).— Ред.*

— Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священнодействующими лицами — вещь совершенно монархическая...

— Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболепием, что у вас царь и закон — одно и то же, c'est parfaitement russe! [1]

— Да где же это понять, когда у вас уважение к закону значит уважение к квартальному или к городовому сержанту?

— А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов; я его видел на деле...

— И прекрасный отец семейства,— продолжал я,— да только ни мне, ни Струве дела нет до этого; мы с ним не знакомы, и явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти...

— Да помилуйте,— заметил все больше и больше сердившийся Фази,— что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали...

— Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать.

— Знаете, что я думаю? — он приостановился.— Я полагаю, что он просто русский агент.

— Господи, какой вздор! — сказал я, расхохотавшись.

— Как *вздор?!* — закричал Фази еще громче.— Я вам говорю это серьезно!

Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женевского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, он, в сущности, был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я, может, пропустил бы ему это поднятие голоса; но тут были свидетели, к тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве, и потому я стенторовским голосом отвечал ему:

— Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтоб все поверили?

Крик мой подействовал, Фази сбавил голос, но зато, беспощадно разбивая свой кулак о перилы моста, он заметил:

— Да его дядя, Густав Струве,— русский поверенный в делах в Гамбурге.

— Это уж из «Волка и овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!

— В самом деле, лучше идти спать, чем спорить, а то еще мы поссоримся,— заметил Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошел в Hôtel des Bergues, Фази с итальянцами — через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле рас-

---

[1] это совершенно по-русски! *(франц.) — Ред.*

творились, и публика, состоявшая из гарсонов и туристов, слушала наше прение.

Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился, и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женевская полиция поступила беззаконно, и не только отказался послать его далее, но воротил назад.

Можно себе представить бешенство Фази, когда он, на закуску нашего разговора, узнал о благополучном возвращении Струве. Побранившись с «тираном» письменно и словесно, Струве уехал с Гейнценом в Англию; там-то Гейнцен потребовал два миллиона голов и мирно уплыл с своим Пиладом в Америку, сначала с целью завести *училище для молодых девиц,* потом чтоб издавать в С.-Луисе «Пионера», журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать.

Дней пять после разговора у моста я встретился с Фази в café de la Poste.

— Что это вас не видать давно? — спросил он.— Неужели всё сердитесь? Ну, уже эти мне дела о выходцах, признаюсь, такая обуза, что с ума можно сойти! Федеральный совет бомбардирует одной нотой за другой, а тут проклятый женский супрефект нарочно живет, чтоб смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все за это — свои же сердятся. Вот теперь новое дело, и прескверное, я уже знаю, что меня будут бранить, а что мне делать?

Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал:

— Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство.

Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия фрейшерлерами его городишка были ими похищены драгоценные вещи и, между прочим, редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бленкера, а так как до сведения его светлости дошло, что Бленкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей.

— Что скажете? — спросил торжествующим голосом Фази.

— Ничего. Мало ли что бывает в военное время.

— Что же, по-вашему, делать?

— Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве; что вам за дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бленкер не повесил его, а тут он еще ищет пожитки.

— Вы преопасный софист,— сказал Фази,— да только вы не подумали, что такие проделки бросают тень на нашу партию... этого так оставить невозможно.

— Не знаю, зачем вы это принимаете к сердцу. Такие ли делаются ужасы на белом свете. Что касается партии и ее чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софист,— подумайте сами, неужели, давши ход этому делу, вы ей сделаете пользу? Оставьте без внимания донос герцога — его примут за клевету; а вот как к слуху о нем прибавят, что вы посылали делать обыск, да еще, на беду, что-нибудь найдут, тогда трудно будет оправдываться Бленкеру и всей партии.

Фази откровенно удивлялся русскому беспорядку моих мнений.

Дело Бленкера кончилось как нельзя лучше. Его не было в Женеве; жена его, при появлении следственного судьи и полиции, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда они, и, услышав о сосуде, сама отыскала его,— это был весьма простой серебряный потир. Его взяли молодые люди, бывшие в ополчении, и поднесли в память победы своему полковнику.

Фази впоследствии извинялся перед Бленкером, *соглашаясь*, что поторопился в этом деле. Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сбивать их — все это *чисто французские* недостатки, судопроизводство для них — кровожадная игра, вроде травли для испанцев. Прокурор, как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уцелеет. В Англии нет ничего подобного: судья смотрит хладнокровно на подсудимого, не усердствует и почти доволен, когда присяжные не дают обвинительного приговора.

С своей стороны, рефюжье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно, и к этому нельзя быть слишком строгим. Страсти, распахнувшиеся во время революционных движений, не угомонились от неудачи и, не имея другого выхода, выражались в строптивом беспокойстве духа. Людям этим смертельно хотелось говорить именно в то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй план, стереться, сосредоточиться, а они, совсем напротив, старались не сходить со сцены и заявляли всеми средствами свое существование; они писали брошюры, писали в журналах, говорили на сходках, говорили в кафе, распространяли ложные новости и стращали глупые правительства близким восстанием. Большая часть из них принадлежала к числу самых безопасных хористов революций, но устрашенные правительства с обратным безумием верили их силе и, непривычные к свободной и смелой речи, кричали о неминуемой опасности, о гибели

религии, трона, семьи и требовали, чтоб Федеральный совет изгнал этих страшных людей мятежа и разрушений.

Одна из первых мер, принятых швейцарским правительством, состояла в удалении от французской границы тех из рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту меру было очень противно для Фази; он почти со всеми был лично знаком. Объяснив им приказ оставить Женеву, он старался *не знать,* кто уехал, кто нет. Неуехавшим еще надобно было отказаться от главных кафе, от Pont des Bergues,— этого-то они и не хотели уступить. Отсюда выходили смешные пансионские сцены, в которых участвовали бывшие народные представители, люди с седыми волосами, за сорок лет, известные писатели — с одной стороны, и с другой — президент свободного кантона да полицейские агенты рабских соседей Швейцарии.

Раз при мне жекский супрефект спросил ироническим тоном у Фази:

— Monsieur le Président, а что, такой-то в Женеве?

— Давным-давно нет,— отвечал отрывисто Фази.

— Я очень рад,— заметил супрефект и пошел своей дорогой. А Фази, неистово схватив меня за руку и судорожно указывая на человека, спокойно курившего сигару, сказал мне:

— Вот он! вот он! Пойдемте в другую сторону, чтоб не встретить этого разбойника. Это ад, да и только!

Я не мог удержаться от смеха. Разумеется, это был высланный рефюжье, и он-то прогуливался по Pont des Bergues, который в Женеве — то, что у нас Тверской бульвар.

Я прожил в Женеве до половины декабря. Гонения, начавшиеся втихомолку против меня русским правительством, заставили меня покинуть ее для того, чтоб ехать в Цюрих спасать именье моей матери, в которое запустил царственные когти «незабвенный» император.

Страшное это время было в моей жизни. Штиль между двух ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый... Приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни; за них я обязан величественной швейцарской природе.

Даль от людей и изящная природа имеют удивительно целебное влияние. Я по опыту писал в «Поврежденном»: «Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужны даль и горы, море и теплый, кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтоб он не зачерствел...»

От многого хотелось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные в средоточии политических смут и распрей, в постоянном раздражении, в виду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, осадили много горечи, тоски и устали на дне души. Ирония принимала другой характер. Грановский писал мне, прочитав «С того берега», писанное именно в то время: «Книга твоя дошла до нас, я читал ее с радостью и с гордым чувством... но при всем том в ней есть что-то усталое, ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем; но то, что было в России живого и симпатического для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве...» Сазонов, перечитав перед моим отъездом из Парижа, в 1849 году, начало моей повести «Долг прежде всего», писанной за два года, сказал мне: «Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь. У тебя прошел светлый смех и добродушная шутка».

Но мог ли человек пройти искусом 1848 и 1849 года и остаться тем же? Я сам чувствовал эту перемену. Только дома, без посторонних, находили иногда прежние минуты не «светлого смеха», а *светлой грусти;* вспоминая былое, наших друзей, вспоминая недавние картины римской жизни, возле кроватки спящих детей, или глядя на их игру, душа настроивалась, как прежде, как некогда,— на нее веяло свежестью, молодой поэзией, полной кроткой гармонии, на сердце становилось хорошо, тихо, и под влиянием такого вечера легче жилось день, другой!

Минуты эти были не часты; дурное, невеселое рассеяние мешало им,— число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая гостиная наша на Елисейских полях была полна чужими. Большею частью это были вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком... и зачем я был близок с ним!..

Я с радостию покидал Париж, но в Женеве мы очутились в том же обществе, только лица были другие и размеры теснее. В Швейцарии все тогда было ринуто в политику, все делилось на партии: tables d'hôte'ы и кофейные, часовщики и женщины. Исключительно политическое направление, особенно в том тяжелом затишье, которое всегда следует за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной сухостью и однообразным попреканием прошедшему. Оно похоже на летнее время в больших городах, где все запылено, жарко, без воздуха, где, сквозь бледные деревья, просвечивают стены, отражающие солнце и теплые камни мостовой. Живой человек рвется на воздух, которым еще не дышала тьма тем, в котором не пахнет обглодками жизни и не слышно нестройного дребезжания, сального, гнилого запаха и беспрерывного стука.

Иногда мы в самом деле вырывались из Женевы, ездили по берегам Лемана, уезжали к подножию Монблана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тенями всю суету суетствий, освещая душу и тело холодным веянием своих вечных ледников.

Не знаю, желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают: они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают, но иной раз хорошо пожить под их тенью. К тому же по горам живет чистое и доброе племя,— племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни самобытной и независимой. Накипь цивилизации, ее ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят под ними, мало задевая их. Римский мир еще продолжается в Граубюндене, время крестьянских войн едва прошло где-нибудь в Аппенцеле. Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдется такой же здоровый кряж населения — но вообще его в Европе давно нет.

На нашем северо-востоке видел я, впрочем, что-то подобное. В Перми и Вятке мне удавалось встречать людей такого же закала, как на Альпах.

Утомленные беспрерывным, долгим подниманием шаг за шаг по горе, чтоб дать отдохнуть клячам, я и товарищ, ехавший со мной в Церматт, мы вошли в небольшой постоялый двор, помнится, повыше св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бедность своих запасов, пошарив там-сям, принесла бутылку кирша, сухой, как камень, хлеб (хлеб в горах — вещь не простая, его привозят на ослах с долин), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока и потом пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я есть не мог; но баранина, сыр и кирш были хороши. Хозяйка угощала нас, как званых гостей, с добродушным видом подкладывала кусочки и все извинялась. Проводники наши тоже поели и допили кирш. Уезжая, я спросил, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась в другую комнату, чтобы сообразить, и потом, сделав предисловие о дороговизне, трудном подвозе, она рискнула сказать *пять франков*.

— Как,— заметил я,— и с лошадьми? — Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

— Ну, и четырех будет довольно.

Когда меня везли из Перми в Вятку, я попросил в одной деревне, где меняли лошадей, квасу у женщины, сидевшей на бревне возле избы.

— Больно кисел,— отвечала она,— а вот я тебе вынесу браги, от праздника, видишь, осталась.

Через минуту она принесла глиняный кувшин, заткнутый тряпкой, и ковш. Мы с жандармом напились вдоволь; отдавая ковш старухе, я подал ей гривенник или пятиалтынный, но она не взяла, приговаривая:

— Господь с тобой, что это с дорожного человека-то брать, да и едешь ты того,— она посмотрела на жандарма.

— Да за что же, тетушка, мы твою бражку-то даром пили? Возьми детушкам на пряники.

— Нет, кормилец, ты в этом не сомневайся, а есть лишние деньги, подай их нищему али богу поставь свечку.

Другой подобный случай был со мной на Великой-реке, близ Вятки. Я ездил смотреть туда оригинальную процессию,— как икону Николая Хлыновского носят туда в гости. На обратном пути я зашел с ямщиком в избу, где он брал овес: хозяева и человека три богомольцев собирались обедать; сильно пахло щами, попросил и я себе. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлеба и огромную солонку с высокой спинкой. Поевши, я дал хозяину четвертак. Он посмотрел на меня, почесал затылок и сказал:

— Оно, видишь, неладно... Что же, ты наел гроша на два, а даешь четвертак... Оно мне взять-то и не приходится: и перед богом грешно, и перед людьми совестно.

Помнится, я где-то упоминал об обычае пермских мужиков выставлять на ночь за окно кусок хлеба, квас или молоко на тот случай, что если *несчастный,* то есть сосланный, проберется из Сибири да побоится постучать, так чтоб подкрепился, не делая шума. Подобное я нашел на горах Швейцарии: только тут это делается, за неимением возле Сибири, просто для путников. На довольно больших высотах, там, где уже жизнь редеет, где гранит уже выказывается, как череп у человека, начинающего плешиветь, и резкий, холодный ветер подувает на сухую, аптекарскую растительность,— там попадались мне хижины пустые, но с незапертыми дверями, чтобы путник, сбившийся с дороги или загнанный непогодой, мог найти приют и без хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тут, а на столе — сыр, хлеб или козье молоко. Иные, поевши, кладут на стол какую-нибудь копейку, другие ничего, но, видно, никто не крадет. Конечно, посторонних прохожих бывает очень мало, но тем не менее эти отпертые двери удивляют городской глаз.

Разговорившись о горах и вершинах, доскажу мое путешествие на Монте-Розу. Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?

От старушки, которая совестилась взять пять франков за корм четырех человек и двух лошадей, со включением целой бутылки кирша, мы до самого вечера поднимались по узкой нарезке, местами не шире метра, до Церматта; привычные лошади шли шагом и осторожно, выбирая место, куда поставить копыто по скалистой, неровной тропинке. Проводники беспрестанно напоминали нам, чтоб не править, а пускать лошадь идти, как она знает. С одной стороны был крутой обрыв тысячи в три футов и больше. Внизу, на его дне, шумел и несся Весп, с какой-то безумной поспешностию, стараясь найти больше открытое русло и вырваться из сжатой каменной постели. Его пенящаяся, клубящаяся поверхность была местами видна; по гористым берегам росли целые сосновые леса, казавшиеся мохом с высоты, по которой мы двигались. С другой стороны — голая, скалистая высь, местами нависшая над головами. Часы целые едешь, едешь... стучат подковы о камень, срывается нога лошади, ревет Весп, и все такие же скалы с одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающийся обрыв — с другой; это наводит тоску, раздражительную усталь... Я не хотел бы часто повторять этого пути.

Церматт — последнее местечко, где живут несколько семей вместе; оно стоит как в котле — громады гор окружают его. Один из домохозяев принимает у себя редких путешественников; мы застали у него шотландца, геолога. Пока нам собирали ужин, сделалось совершенно темно; близость гор удвоивала мрак. Часу в одиннадцатом хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала нам:

— Ведь это копыта, да и крик проводников слышен... Охота же в ночную пору ехать по такой дороге.

Стук копыт медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла с ним в сени, я пошел за ней: что-то стало отделяться из черной мглы, какие-то фигуры показались на полосе фонарного света, и, наконец, два всадника подъехали к сеням. На одной лошади сидела высокая, средних лет женщина, на другой — мальчик лет четырнадцати. Дама покойно сошла с лошади, будто она воротилась с прогулки в Гайд-парке, и вошла в общую комнату. Шотландца она уже где-то встретила и потому тотчас стала с ним говорить. Спросив себе поесть, она послала сына узнать от проводников, сколько времени лошадям нужно отдыхать. Они сказали, что двух часов довольно.

— Неужели вы едете, не дождавшись дня? — спросил шотландец.— Зги не видать, и притом же вам теперь придется спускаться по новой дороге.

— Я уже так разочла время.

Через два часа англичанка с сыном стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На рассвете мы взяли третьего проводника, гербариста, который знал все тропинки и удивительно насвистывал альпийские мотивы, и стали взбираться на одну из ближних высот, поднимаясь к ледяному морю и Мон-Сервину.

Сначала седой туман закрывал все и мочил нас мелким дождем, мы поднимались, он понижался; вскоре сделалось как-то резко светло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго где-то описывает, «что слышно на горе»; не высока, должно быть, была его гора; меня поразило, совсем напротив, совершенное отсутствие звука: решительно ничего не слыхать, кроме легкого, перемежающегося грохота от перекатывающихся лавин, и то изредка... Вообще же тишина мертвая, *прозрачная,*— я нарочно употребляю это слово,— и необычайная разреженность воздуха делают *видимой, звучной* эту совершенную немоту, этот беспробудный, минеральный, стихийный сон [1] допотопных времен.

Шумит жизнь,— но все живое внизу и покрыто облаками; тут уж нет и растений, один мох седой, жесткий попадается кое-где на камнях. Еще вверх — еще свежее стало, начинается нетающий иней; тут рубеж, тут ничего не бывает, дальше ходит только любопытнейший из всех *зверей,* чтоб на минуту заглянуть в эти степи пустоты, посмотреть на эти пограничные, выдавшиеся пределы планеты, и скорее спуститься в свою среду, исполненную сует,— но где он дома.

Мы остановились перед ледяным снежным морем, расстилавшимся между нами и Мон-Сервином; окаймленное грядою гор, облитых солнцем, оно само, белое до ослепительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантского Колизея. Местами изрытое ветрами, волнистое, оно будто застыло в самую минуту движения; изгибы валов замерзли, не успев выправиться.

Я сошел с лошади и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волнами к берегу... Немая, неподвижная белизна, без всякого предела... легкий ветер приподнимал небольшую белую пыль, упосил ее, вертел... она падала, и все снова приходило в покой, да раза два лавины, оторвавшись с глухим раскатом, скатывались вдали, цепляясь за утесы, разбиваясь о них и оставляя по себе облако снега...

Странно чувствует себя человек в этой раме — гостем, лишним, посторонним, и, с другой стороны, свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становится бел и чист внутри... серьезен и полон какого-то благочестия!

. . . . . .

[1] Вот я и оправдал знаменитое — «я слышу молчание!» московского полицмейстера.

Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси и считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..

Да, жизнь иногда имеет свои мелодраматические выходки, свои coups de théâtre [1], очень натянутые.

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

Тетрадь вторая

I

Il pianto [2]

После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в *побежденных,* в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она *должна была быть* побежденной.

У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.

Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разумения, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была ли еще печальнее. Они в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то что *невеста* обманула.

Несчастия, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздражение... эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала.

---

[1] театральные эффекты *(франц.).— Ред.*

[2] Плач *(итал.).— Ред.*

Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество — начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех — *цех выходцев* — складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он «утопает в посте и наслаждается лишениями», так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала... Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.

Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.

...Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена, нехотя, дымясь и треща, горели в камине, все были заняты укладкой, я сидел один-одинехонек: женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие — мой «Эпилог к 1849»*.

«Разочарование, усталь, Blasiertheit!» [1] — сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь!.. Разочарование — слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы — ни на что. Давно надоели нам все эти высшие, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия,— в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.

Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтоб притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и

[1] равнодушие *(нем.).— Ред.*

Байрон были двух розных возрастов, двух розных воспитаний и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся.

Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. За римским разрывом шло христианство, за христианством — вера в цивилизацию, в человечество. *Либерализм составляет последнюю религию*, но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея — политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготе; болезненное сознание этого выражается иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.

Иронией высказывается досада, что истина логическая — не одно и то же с истиной исторической, что, сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что, сверх своего разума, она имеет свой роман.

Разочарованья [1], в нашем смысле слова, до революции не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. Я уже не говорю о великомученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жаке; но разве папа-Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя бога и свободы, не был пиетист своей человеческой религией?

Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового пасти стада людские. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее,* но не *общее* сознание, не *мысль всех.*

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие — убеждение, но для убеждения недостаточно *правоты*, в этом вся ошибка, а необходимо еще одно — *мозговое равенство!*

Пока длилась отчаянная борьба, при звуках святой песни гугенотов и святой «Марсельезы», пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но наконец тяжелое здание феодальной монархии рухнулось, долго ломали стены, отбивали замки... еще удар — еще пролом сделан, храбрые вперед, вороты

---

[1] Вообще «наш» скептицизм не был известен в прошлом веке, один Дидро и Англия делают исключение. В Англии скептицизм был с давних времен дома, и Байрон, естественно, идет за Шекспиром, Гоббсом и Юмом.

отперты — и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий populus romanus. Davus sum, non Aedipus! [1] Неотразимая волна грязи залила все. В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сиэс был больше прав, чем думал, говоря, что *мещане* — «всё».

Мещане не были произведены революцией, они были готовы с своими преданиями и нравами, чуждыми *на другой лад* революционной идеи. Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось в мещанство.

Несколько человек каждого поколения оставались, вопреки событиям, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а может, астеки, несут несправедливую казнь за монополь исключительного развития, за мозговое превосходство сытых каст, каст досужих, имевших время работать не одними мышцами.

Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость этого факта. Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития, пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль на конце — это заключение; все начинается тупостью новорожденного; возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внешних и внутренних влияний, отклонений, остановок. У одного вода размягчит мозг, другой, падая, сплюснет его, оба останутся идиотами, третий не упадет, не умрет скарлатиной — и сделается поэтом, военачальником, бандитом, судьей. Мы вообще в природе, в истории и в жизни всего больше знаем удачи и успехи; мы теперь только начинаем чувствовать, что не все так хорошо подтасовано, как казалось, потому что мы сами — неудача, *проигранная карта.*

Сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами, мы готовы, par dépit [2], верить в разумное

---

[1] римский народ. Я — Дав, не Эдип! *(лат.)* — *Ред.*
[2] с досады *(франц.).*— *Ред.*

(то есть намеренное) зло, как верили в разумное добро,— это последняя дань, которую мы платим идеализму.

Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется; ее почти нет в *Новом* Свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Там, сверх того, нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они подымаются, опускаются с итогом credit и debet каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода. *Кто может* совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Ионатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском разложении.

Те, которые *не могут*, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американский возраст.

Большой беды в этом нет, нас немного, и мы скоро вымрем!

Но как люди так развиваются вон из своей среды?..

Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в «The Dream»;[1] представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных: одного дряхлого, другого по колена в топком болоте, раздавленного, как Кариатида, постоянно натянутые мышцы которой не дают ни капли крови мозгу. Если б он умел приладиться к той жизни, он, вместо того чтоб умереть за тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины».

Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года; от них нельзя было спастись ни в Равенне, ни в Диодати. Байрон не мог удовлетвориться по-

[1] «Сон» *(англ.).— Ред.*

немецки теориями sub specie aeternitatis[1], ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился, как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилюли.

Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда приклонить голову.

Реалист Гете, так же как романтик Шиллер этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда «дух отрицанья» является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен; насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему — sie ist gerettet[2]. Не таков Люцифер в «Каине»; это печальный ангел тьмы, на его лбу тускло мерцает звезда горькой думы, полного внутреннего распадения, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смешит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни брильянтов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступленью — той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем,— ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти.

Ни Каин, ни Манфред, ни Дон-Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого «нравоучения». Может, с точки зрения драматического искусства, это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилог Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это — «The Darkness»;[3] вот результат жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные... корабль догнивает — смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, то есть если новый мир дойдет до того, что сумеет считать до четырех.

Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до

---

[1] с точки зрения вечности *(лат.).— Ред.*
[2] она спасена *(нем.).— Ред.*
[3] «Тьма» *(англ.).— Ред.*

смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу; но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может, и оба, и тогда — ну, тогда история с своим мормонизмом начнет новую беременность... E sempre bene [1], господа!

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов — ей все равно, она продолжает свое или так продолжает, что попало — десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль западная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие — что же с этим делать?

Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими, и, несмотря на то что каждое событие, каждая встреча, каждое столкновение, лицо — наперерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал *выхода*.

Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что *выхода нет*, и гордо высказал это.

Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня; я всячески хотел бежать от них... я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери, останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату — к *смирению перед истиной,* к самоотверженному принятию ее.

...Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом.

Так уж с общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

---

[1] Ну, и ладно *(итал.).— Ред.*

II

Post Scriptum

Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, *хотим* другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, то есть мы не знаем ее, а судим à livre ouvert[1], по книжкам и картинкам, так, как дети судят по «Orbis pictus» о настоящем мире, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами и что где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами.

Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.

Во-первых, нам известен только один верхний, *образованный* слой Европы, который накрывает собой тяжелый фундамент народной жизни, сложившийся веками, выведенный инстинктом, по законам, малоизвестным в самой Европе. Западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией. Европейские государства спаяны из двух народов, особенности которых поддерживаются совершенно розными воспитаниями. Восточного единства, вследствие которого турок, подающий чубук, и турок, великий визирь, похожи друг на друга, здесь нет. Массы сельского населения, после религиозных войн и крестьянских восстаний, не принимали никакого действительного участия в событиях; они ими увлекались направо или налево, как нивы,— не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его.

В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная

[1] Здесь: с первого взгляда *(франц.).— Ред.*

жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов — все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, *мещанских*. Они составляют целое, то есть замкнутое, оконченное в себе воззрение на жизнь, с своими преданиями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью *низшего порядка*.

Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира: господа заменились *хозяевами*. Купец сам по себе — лицо стертое, промежуточное; посредник между одним, который производит, и другим, который потребляет, он представляет нечто вроде дороги, повозки, средства.

Рыцарь был больше *он сам*, больше *лицо* и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он, в сущности, и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное — товар, дело, вещь, главное — *собственность*.

Рыцарь был страшная невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиетист, но он был во всем открыт и откровенен; к тому же он всегда готов был лечь костьми за то, что считал правым; у него было свое нравственное уложение, свой кодекс чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты собственного уважения или уважения равных.

Купец — человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним — *хитростью*. Его предки, средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить: они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку зарывали деньги в землю. Все это естественно перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского, называемого *средним состоянием*.

Пока оно было в несчастном положении и соединялось с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого стало ненадолго, и Санчо Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его натуры взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостинницами, открытыми для *всех* (то есть для всех имеющих деньги).

Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были потрясены, но нового сознания *настоящих* отношений между людьми не было раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека, чего тут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, Salus populi и chacun pour soi [1]. Брут и Фома Кемпийский, Евангелие и Бентам, приходо-расходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди нетрудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий—хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки — редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую англиканскую церковь— Old Shop [2].

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие *мещане,* которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть, с одной стороны, *скупость*, с другой — *зависть.* Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает

---

[1] народное благо *(лат.)*; ...каждый за себя *(франц.).— Ред.*

[2] Старая лавка *(англ.).— Ред.*

победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений,— она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Парламентское правление, не так, как оно истекает из народных основ англосаксонского Common law [1], а так, как оно сложилось в государственный закон,— самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?

Но в этом-то сохранении вида и главное дело.

Во всем современно европейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой — выставка и étalage [2]. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, *казаться,* вместо того чтоб *быть,* вести себя *прилично,* вместо того чтоб вести себя *хорошо,* хранить внешний Respectabilität [3] вместо внутреннего достоинства.

В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования. Кто из нас не останавливался, краснея за неведение западного общества (я здесь не говорю об ученых, а о людях, составляющих то, что называется обществом)? Образования теоретического, серьезного быть не может: оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от *дела.* Так как все, лежащее вне торговых оборотов и «эксплуатации» своего общественного положения, *не существенно* в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограничено. Оттого происходит та нелепость и тяжесть ума, которую мы видим в мещанах всякий раз, как им приходится съезжать с битой и торной дороги. Вообще хитрость и лицемерие далеко не так умны и дальновидны, как воображают; их диаметр беден и плаванье мелко.

Англичане это знают и потому не оставляют битые колеи и выносят не только тяжелые, но, хуже того, смешные неудобства своего готизма, боясь всякой перемены.

Французские мещане не были так осторожны и со всем своим лукавством и двоедушием — оборвались в империю.

---

[1] Обычного права *(англ.).— Ред.*
[2] хвастовство *(франц.).— Ред.*
[3] благопристойность *(нем.).— Ред.*

Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка *всеобщую подачу голосов*. Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прокидывать на счетах и метить булавками.

И что же они подвергнули суду *всех голосов* при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину — пойдет ли тот спрашивать мнение встречного, поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?

Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочлись.

Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, забравший все в руки, то есть и мещан, которые воображали по старой памяти, что он будет *царствовать*, а они — *править*.

То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонно на людях, как буржуазия.

Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал, с своей стороны, еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорей их идеалом.

Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, то есть обязывает, per fas et nefas[1], иметь собственность. Его евангелие коротко: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом не разоряясь, и

[1] правдою и неправдою *(лат.).— Ред.*

ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».

Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, то есть людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гете. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства.

Из протестантизма они сделали *свою* религию,— религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика,— религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, ее оставил. В Англии *чернь* всего менее ходит в церковь.

Из революции они хотели сделать *свою* республику, но она ускользнула из-под их пальца так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, то есть без места в настоящем, но с надеждой на instaurationem magnam [1].

Реформация и революция были сами до того испуганы пустотою мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скучном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цивизме республиканского формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других — что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, *образованнее,* то есть промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции... И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария — единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.

Эти отрывки, напечатанные в IV книге «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением, писанным до *приезда Огарева в Лондон* и до *смерти Грановского:*

...Прими сей череп — он
Принадлежит тебе по праву.
А. Пушкин.

На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой оста-

[1] великое восстановление *(лат.).— Ред.*

нется непонятным, усеченным, может, ненужным, во всяком случае, будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после...

Теперь расстанемтесь, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шум, долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них искать *своих* и отучился — не от людей, а от близости с ними.

Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере, отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглохнуть и пропасть в душе, как взгляд рассеивается и пропадает в пустой дали... но и это — скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.

К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год, как бывало, видаемся каждый день, и ничего не переменилось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер — и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой почвы — кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.

Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб — но вы, друзья, примите его радушно; этот труд помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу *не весело, но спокойно* (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму:

«Lieta no... ma sicura!» [1] — говорит Леопарди о смерти в своем «Ruysch e le sue mummie».

Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня,— *примите же сей череп — он вам принадлежит по праву.*

Isle of Wight, Ventnor, 1 октября 1855 г.

ГЛАВА XXXIX

Деньги и полиция.— Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов.— Полиция и деньги

В декабре 1849 года я узнал, что доверенность на залог моего именья, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал моей матери

[1] «Не весело... но спокойно!» *(итал.)* — *Ред.*

наложено запрещение. Терять времени было нечего, я, как уже сказал в прошлой главе, бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери.

Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись, в чем были, от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства.

Я и то чуть не потерял всего. Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался очертя голову в политические движения и предоставил на волю божью будущность семьи,— может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое именье в то время, как вспрянувшая Италия кипела пред моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях, а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть «вице-губернатором», за «обер-прокурорским столом» и говорил бы своему секретарю «ты», а своему министру «ваше высокопревосходительство!».

Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Беднее было бы сердце и память, если бы я пропустил те светлые мгновения веры и восторженности! Чем было бы выкуплено для меня лишение их? да и что для *меня* — чем было бы выкуплено для *той*, сломленная жизнь которой была потом одним страданием, окончившимся могилой? Как горько упрекала бы меня совесть, что я из предусмотрительности украл у нее чуть ли не последние минуты невозмутимого счастия! А потом, ведь главное я все же сделал — спас почти все достояние, за исключением костромского имения.

После Июньских дней мое положение становилось опаснее; я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разменять мне два билета московской сохранной казны. Дела тогда, разумеется, не шли, курс был прескверный; условия его были невыгодны, но я тотчас согласился и имел удовольствие видеть легкую улыбку сожаления на губах Ротшильда — он меня принял за бессчетного

prince russe, задолжавшего в Париже, и потому стал называть «monsieur le comte» [1].

По первым билетам деньги немедленно были уплачены; по следующим, на гораздо значительнейшую сумму, уплата хотя и была сделана, но корреспондент Ротшильда извещал его, что на мой капитал наложено запрещение,— по счастию, его не было больше.

Таким образом, я очутился в Париже с большой суммой денег, середь самого смутного времени, без опытности и знания, что́ с ними делать. И между тем все уладилось довольно хорошо. Вообще, чем меньше страстности в финансовых делах, беспокойствия и тревоги, тем они легче удаются. Состояния рушатся так же часто у жадных стяжателей и финансовых трусов, как у мотов.

По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг, несколько французских и небольшой дом на улице Амстердам, занимаемый Гаврской гостиницей.

Один из первых революционных шагов моих, развязавших меня с Россией, погрузил меня в почтенное сословие консервативных тунеядцев, познакомил с банкирами и нотариусами, приучил заглядывать в биржевой курс — словом, сделал меня западным rentier. Разрыв современного человека со средой, в которой он живет, вносит страшный сумбур в частное поведение. Мы в самой середине двух, мешающих друг другу, потоков; нас бросает, и будет еще долго бросать то в ту, то в другую сторону, до тех пор, пока тот или другой окончательно не сломит и поток, еще беспокойный и бурный, но уже текущий в одну сторону, не облегчит пловца, то есть не унесет его с собой.

Счастлив тот, кто до этого умеет так лавировать, что, уступая волнам и качаясь, все же плывет в *свою* сторону!

При покупке дома я имел случай поближе взглянуть в деловой и буржуазный мир Франции. Бюрократический формализм при совершении купчей не уступит нашему. Старик нотариус прочел мне несколько тетрадей, акт о прочтении их, main-levée [2], потом настоящий акт — из всего составилась целая книга in folio [3]. В последний торг наш о цене и расходах хозяин дома сказал, что он сделает уступку и возьмет на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понял его, потому что с самого начала объявил, что покупаю на чистые деньги. Нотариус объяснил мне, что деньги должны остаться у него, по крайней мере, три месяца, в продолжение которых сделается публикация и вызовутся все кредиторы, имеющие какие-нибудь права на дом. Дом был заложен

---

[1] Русского князя... «господин граф» *(франц.).— Ред.*
[2] снятие запрещения *(франц.).— Ред.*
[3] в лист *(лат.).— Ред.*

в семьдесят тысяч, но он мог быть еще заложен и в другие руки. Через три месяца, по собрании справок, выдается покупщику purge hypothécaire [1], а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяин уверял, что у него нет других долгов. Нотариус подтверждал это.

— Честное слово,— сказал я ему,— и вашу руку — у вас других долгов нет, которые касались бы дома?

— Охотно даю его.

— В таком случае я согласен и явлюсь сюда завтра с чеком Ротшильда.

Когда я на другой день приехал к Ротшильду, его секретарь всплеснул руками:

— Они вас надуют! как это возможно! Мы остановим, если хотите, продажу. Это неслыханное дело — покупать у незнакомого на таких условиях.

— Хотите, я пошлю с вами кого-нибудь рассмотреть это дело? — спросил сам барон Джемс.

Такую роль недоросля мне не хотелось играть, я сказал, что дал слово, и взял чек на всю сумму. Когда я приехал к нотариусу, там, сверх свидетелей, был еще кредитор, приехавший получить свои семьдесят тысяч франков. Купчую перечитали, мы подписались, нотариус поздравил меня парижским домохозяином,— оставалось вручить чек.

— Какая досада,— сказал хозяин, взявши его из моих рук,— я забыл вас попросить привезти два чека, как я теперь отделю семьдесят тысяч?

— Нет ничего легче, съездите к Ротшильду, вам дадут два или, еще проще, съездите в банк.

— Пожалуй, я съезжу,— сказал кредитор.

Хозяин поморщился и ответил, что это его дело, что он поедет.

Кредитор нахмурился. Нотариус добродушно предложил им ехать вместе.

Едва удерживаясь от смеха, я им сказал:

— Вот ваша записка, отдайте мне чек, я съезжу и разменяю его.

— Вы нас бесконечно обяжете,— сказали они, вздохнув от радости; и я поехал.

Через четыре месяца purge hypothécaire была мне прислана, и я выиграл тысяч десять франков за мое опрометчивое доверие.

После 13 июня 1849 года префект полиции Ребильо что-то донес на меня; вероятно, вследствие его доноса и были взяты пе-

---

[1] свидетельство об освобождении недвижимости от закладных *(франц.).— Ред.*

тербургским правительством странные меры против моего именья. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж.

Мы отправились через Невшатель и Безансон. Путешествие наше началось с того, что в Берне я забыл на почтовом дворе свою шинель; так как на мне был теплый пальто и теплые калоши, то я и не воротился за ней. До гор все шло хорошо, но в горах нас встретил снег по колено, градусов восемь мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижанс не мог идти, пассажиров рассажали по два, по три в небольшие пошевни. Я не помню, чтоб я когда-нибудь страдал столько от холода, как в эту ночь. Ногам было просто больно, я зарыл их в солому, потом почтальон дал мне какой-то воротник, но и это мало помогло. На третьей станции я купил у крестьянки ее шаль франков за 15 и завернулся в нее; но это было уже на съезде, и с каждой милей становилось теплее.

Дорога эта великолепно хороша с французской стороны; обширный амфитеатр громадных и совершенно непохожих друг на друга очертаниями гор провожает до самого Безансона; кое-где на скалах виднеются остатки укрепленных рыцарских замков. В этой природе есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, рос и складывался крестьянский мальчик, потомок старого сельского рода — Пьер-Жозеф Прудон. И действительно, о нем можно сказать, только в другом смысле, сказанное поэтом о флорентинцах:

E tiene ancora del monte et del macigno! [1]

Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спросить его, в чем дело. Нессельроде отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным.

Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингис-хана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай.

— Для меня,— сказал я ему,— мало удивительного в том, что Николай, в наказание мне, хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку; но я не мог себе представить, чтоб ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери; подписываясь на них, она их передала предъявителю

[1] Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб! *(итал.)* — *Ред.*

(au porteur), но с тех пор как вы расписались на них, этот porteur — *вы* [1], и вам-то нагло отвечают: «Деньги ваши, но барин платить не велел».

Речь моя удалась. Ротшильд стал сердиться и, ходя по комнате, говорил:

— Нет, я с собой шутить не позволю, я сделаю процесс ломбарду, я потребую категорического ответа у министра финансов!

«Ну,— подумал я,— этого уже Вронченко не поймет. Хорошо еще «конфиденциального», а то «категорического».

— Вот вам образчик, как самодержавие, на которое так надеется реакция, фамильярно и sans gêne [2] распоряжается с собственностью. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луи-блановского.

— Я подумаю,— сказал Ротшильд,— что делать. Так нельзя оставить этого.

Дни через три после этого разговора я встретил Ротшильда на бульваре.

— Кстати,— сказал он мне, останавливая меня,— я вчера говорил о вашем деле с Киселевым [3]. Я вам должен сказать, вы меня извините, он очень невыгодного мнения о вас и вряд ли сделает что-нибудь в вашу пользу.

— Вы с ним часто видаетесь?

— Иногда, на вечерах.

— Сделайте одолжение, скажите ему, что вы сегодня виделись со мной и что я самого дурного мнения о нем, но что с тем вместе никак не думаю, чтоб за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильд расхохотался; он, кажется, с этих пор стал догадываться, что я не prince russe, и уже называл меня *бароном;* но это, я думаю, он для того поднимал меня, чтоб сделать достойным разговаривать с ним.

На другой день он прислал за мной; я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру и прибавил:

— Вот ваш проект письма, садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы им; если хотите что́ прибавить или изменить, мы сейчас сделаем. А мне позвольте продолжать мои занятия.

---

[1] Подпись эта, endossement <передаточная подпись *(франц.).— Ред.*>, делается для пересылки, чтоб не посылать анонимный билет, по которому всякий может получить деньги.

[2] бесцеремонно *(франц.).— Ред.*

[3] Это не П. Д. Киселев, бывший впоследствии в Париже, очень порядочный человек и известный министр государственных имуществ, а другой, переведенный в Рим.

Сначала я осмотрелся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входил один биржевой агент за другим, громко говоря цифру; Ротшильд, продолжая читать, бормотал не поднимая глаз: «да,— нет,— хорошо,— пожалуй,— довольно», и цифра уходила. В комнате были разные господа, рядовые капиталисты, члены Народного собрания, два-три истощенных туриста с молодыми усами на старых щеках, эти вечные лица, пьющие на водах вино, представляющиеся ко дворам, слабые и лимфатические отпрыски, которыми иссякают аристократические роды и которые туда же, суются от карточной игры к биржевой. Все они говорили между собой вполголоса. Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, всё миллионы или, по крайней мере, сотни тысяч.

— Ну, что,— сказал он, обращаясь ко мне,— довольны?

— Совершенно,— отвечал я.

Письмо было превосходно: резко, настойчиво, как следует — когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтоб тот немедленно требовал аудиенции у Нессельроде и у министра финансов, чтоб он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения — почему уплата остановлена, что, в случае отказа, он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших проволочек, он должен будет дать гласность этому делу через журналы для предупреждения других капиталистов. Письмо это он рекомендовал Гассеру показать Нессельроде.

— Очень рад... но,— сказал он, держа перо в руке и с каким-то простодушием глядя прямо мне в глаза,— но, любезный барон, неужели вы думаете, что я подпишу это письмо, которое au bout du compte [1] может меня поссорить с Россией за полпроцента комиссии?

Я молчал.

— Во-первых,— продолжал он,— у Гассера будут расходы, у вас даром ничего не делают,— это, разумеется, должно пасть на ваш счет; сверх того... сколько предлагаете вы?

— Мне кажется,— сказал я,— что вам бы следовало предложить, а мне согласиться.

— Ну, пять, что ли? Это немного.

— Позвольте подумать...

---

[1] в конечном счете *(франц.).— Ред.*

Мне хотелось просто рассчитать.

— Сколько хотите... Впрочем,— прибавил он с мефистофелевской иронией в лице,— вы можете это дело обделать даром — права вашей матушки неоспоримы, она виртембергская подданная, адресуйтесь в Штутгарт — министр иностранных дел обязан заступиться за нее и выхлопотать уплату. Я, по правде сказать, буду очень рад свалить с своих плеч это неприятное дело.

Нас перервали. Я вышел в бюро, пораженный всей античной простотой его взгляда и его вопроса. Если б он просил 10—15 процентов, то я и тогда бы согласился. Его помощь была мне необходима, он это так хорошо знал, что даже подтрунил насчет обруселого Виртемберга. Но, снова руководствуясь той отечественной политической экономией, что за какое бы пространство извозчик ни спросил двугривенный — все же попробовать предложить ему пятиалтынный, я, без всякого достаточного основания, сказал Шомбургу, что полагаю, что один процент можно сбавить. Шомбург обещал сказать и просил зайти через полчаса.

Когда через полчаса я входил на лестницу Зимнего дворца финансов в rue Lafitte, с нее сходил соперник Николая.

— Мне Шомбург говорил,— сказало его величество, милостиво улыбаясь и высочайше протягивая собственную августейшую руку свою,— письмо подписано и послано. Вы увидите, как они повернутся, я им покажу, как со мной шутить.

«Только не за полпроцента»,— подумал я и хотел стать на колени и принести, сверх благодарности, верноподданническую присягу, но ограничился тем, что сказал:

— Если вы совершенно уверены, велите мне открыть кредит хоть на половину всей суммы.

— С удовольствием,— отвечал государь император и проследовал в улицу Лафит.

Я откланялся его величеству и, пользуясь близостию, пошел в Maison d'Or.

Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов, устрашенный конкурсом и опубликованием в «Ведомостях», уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению.

С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая,

я был для него нечто вроде Маренго или Аустерлица, и он несколько раз рассказывал при мне подробности дела, слегка улыбаясь, но великодушно щадя побитого противника.

В продолжение моего процесса я жил в Отель Мирабо, rue de la Paix. Хлопоты по этому делу заняли около полугода. В апреле месяце, одним утром, говорят мне, что какой-то господин дожидается меня в зале и хочет непременно видеть. Я вышел; в зале стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

— Комиссар полиции Тюльерийского квартала, такой-то.

— Очень рад.

— Позвольте мне прочесть вам декрет министра внутренних дел, сообщенный мне префектом полиции и касающийся вас.

— Сделайте одолжение, вот стул.

«Мы, префект полиции:[1]

Взяв в соображение 7 пункт закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 г., дающий министру внутренних дел право высылать (expulser) из Франции всякого иностранца, присутствие которого во Франции может возмутить порядок и быть опасным общественному спокойствию, и основываясь на министерском циркуляре 3 января 1850 года,

решаем, что следует:

Называемый (le N-é, то есть nommé, но это не значит «вышеупомянутый», потому что прежде обо мне не говорится, это только безграмотная попытка как можно грубее обозначить человека) Герцен, Александр, 40 лет (два года прибавили), русский подданный, живущий там-то, обязан оставить немедленно Париж по объявлении сего и в наискорейшем времени выехать из пределов Франции.

Воспрещается ему впредь возвращаться под опасением наказаний, положенных 8 пунктом того же закона (тюремное заключение от одного месяца до шести и денежный штраф).

Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений.

Сделано (Fait) в Париже, 16 апреля 1850.
Префект полиции *П. Карлье.*
Скрепил общий секретарь префектуры *Клемен Рейр.*

На боку: Читал и одобрил 19 апреля 1850 г.
Министр внутренних дел *Ж. Барош.*

Лета тысяча восемьсот пятидесятого,
апреля двадцать четвертого.

---

[1] Перевожу слово в слово.

Мы, Емилий Буллей, комиссар полиции города Парижа, и *в особенности* Тюльерийского отделения. Во исполнении приказаний господина префекта полиции от 23 апреля:

Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, как сказано в оригинале». Тут следует весь текст опять. В том роде, как дети говорят сказку о белом быке, повторяя всякий раз с прибавкой одной фразы: «Сказать ли вам сказку о белом быке?»

Далее: «Мы пригласили поименованного (le dit) Герцена явиться в продолжение двадцати четырех часов в префектуру для получения паспорта и для назначения границы, через которую он выедет из Франции.

А чтоб сказанный сударь Герцен не отозвался неведением (n'en prétende cause d'ignorance — каков язык!), мы ему оставили *эту* копию сказанного решения в начале сего настоящего нашего протокола объявления — nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procès-verbal de notification».

Где мои вятские товарищи по канцелярии Тюфяева, где Ардашов, писавший за присест по десяти листов, Вепрёв, Штин и мой пьяненький столоначальник? Как сердце их должно возрадоваться, что в Париже, после Вольтера, после Бомарше, после Ж. Санд и Гюго,— пишут так бумаги! Да и не один Вепрёв и Штин должны радоваться — а и земский моего отца, Василий Епифанов, который, из глубоких соображений учтивости, писал своему помещику: «Повеление ваше по сей настоящей прошедшей почте получил и по оной же имею честь доложить...»

Можно ли оставить камень на камне этого глупого, пошлого здания des us et coutumes [1], годного только для слепой и выжившей из ума старухи, как Фемида?

Чтение не произвело ожидаемого действия. Парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы,— мне, напротив, было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоедать.

— Когда должен я явиться в префектуру? — спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

— Я советую завтра, часов в десять утра.

— С удовольствием.

— Как нынешний год весна рано начинается,— заметил комиссар города Парижа, и в особенности Тюльерийский.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здесь обедывал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?

---

[1] нравов и обычаев *(франц.).— Ред.*

— Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!

— Это действительно неприятно... хозяйка умная и прекрасная женщина — m-lle Кузен — была большой приятельницей знаменитой Lenormand.

— Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал, может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать billet doux [1] Карлье.

— Ха, ха... мое дело вы знаете, позвольте пожелать.

— Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.

На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jérusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место, он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть префекта.

— Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.

— Позвольте мне написать сейчас.

Он позвонил, вошел старик huissier [2] с цепью на груди; сказав ему с важным видом: «Бумаги и перо этому господину», юноша кивнул мне головой.

Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.

В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: «Г. префект готов принять такого-то завтра в два часа».

Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день: у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если бог продлит его живот.

На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах сидел толстый, высокий румяный господин — из тех, которым всегда бывает

[1] любовную записку *(франц.).— Ред.*
[2] сторож *(франц.).— Ред.*

жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным[1] выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.

— Вы желали видеть префекта,— сказал он мне,— но он извиняется перед вами, очень нужное дело заставило его выехать,— если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?

Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. «Ну, этот давно служит»,— подумал я.

— Вы, верно, знаете, зачем я пришел.

Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего.

— Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома...

— Где ваш дом?

— Четырнадцать, rue Amsterdam... очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.

— Позвольте узнать, какие у вас дела, по дому или...?

— Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысяч четыреста франков.

— Как-с?

— С небольшим сто тысяч roubles argent[2].

— Это значительная сумма!

— C'est une somme ronde[3].

— Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела? — спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфлями.

— От месяца до шести недель.

— Это ужасно много.

— Процесс мой в России. Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.

— Как так?

— С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев

[1] Здесь: благодушным *(от франц. jovial).— Ред.*
[2] рублей серебром *(франц.).— Ред.*
[3] Это кругленькая сумма *(франц.).— Ред.*

дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.

— D'abord [1],— заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры,— Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову. Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возвратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?

Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из Евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:

— За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч франков, и потому считал себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чем моя somme ronde. Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы: «Что нам делать? Мы в необходимости»,— взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой: «Видите ли,— приговаривал он,— ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные subventions [2], которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинакиы последствиям».

— Я уверен,— сказал я,— что сам император Николай не подозревает этой солидарности; не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление.

— Un bon citoyen [3] уважает законы страны, какие бы они ни были... [4]

— Вероятно, это по тому знаменитому правилу, что все же лучше, чтоб была дурная погода, чем чтоб совсем погоды не было.

— Но, чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку

---

[1] Прежде всего *(франц.).— Ред.*

[2] субсидии *(франц.).— Ред.*

[3] Хороший гражданин *(франц.).— Ред.*

[4] Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете.

на один месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда о вашем деле, тут не столько сомнение...

— Да сделайте одолжение, отчего же не справиться, мы в войне, и если б мне было полезно употребить военную хитрость, чтоб остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?..

Но светский и милый alter ego [1] префекта не остался в долгу:

— Люди, которые так говорят, никогда не говорят неправды.

Через месяц дело еще не было окончено; к нам ездил старик доктор Пальмье, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок. Давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здоровье, я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальмье, разумеется, был знаком со всеми в префектуре; он обещал мне лично передать Х. историю моего недуга. К крайнему удивлению, Пальмье приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. Х. не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился *лично* известить его о том, что я болен, в постеле и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущий здоровьем.

Х. с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбопытствовал прочитать, что́ написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастию, я вспомнил Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимом аппетите, жаловался на аневризм,— я сказал Х., что у меня болезнь в сердце и что дорога может мне быть очень вредна.

Х. пожалел, советовал беречься, потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря:

— Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтоб ваше здоровье поправилось в продолжение этого времени; ему было бы очень неприятно, если б это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может.

Я понял это и приготовился выехать из Парижа около 20 июня.

Имя Х. встретилось мне еще раз через год. Патриот этот и bon citoyen бесшумно удалился из Франции, забывши отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков в какую-то калифорнскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры! Когда добрый гражданин увидел, что, при всем уважении

[1] двойник *(лат.).— Ред.*

к законам своей родины, он может попасть на галеры за faux[1], тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная, не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенною историей калифорнской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог; видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги.

Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально gardé à vue[2], письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому.

Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирски-ламартиновского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона, и ему самому в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтоб, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу, из министерства внутренних дел и Elysée, все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. Второе декабря — возведение полиции на степень государственной власти.

Никогда нигде не было такой политической полиции, ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен Конвента. На это, сверх особенного *национального* влечения к полиции, есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным шпионством, полиция везде окружена враждебными элементами и, следственно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция — самое народное учреждение; какое бы правительство ни захватило власть в руки, *полиция у него готова*, часть народонаселения будет ему помогать с фанатизмом и увлечением, которые надобно умерять, а не усиливать, и помогать притом всеми страшными средствами частных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестриного мужа, братниной жены, особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях, с общей лестницей, с общим двором и дворником?

Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы; усталый и измучен-

---

[1] мошенничество *(франц.).— Ред.*
[2] под явным надзором *(франц.).— Ред.*

ный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, рассуждает так: «Он в пыли, стало, пришел *издалека*, он спросил курицы, стало, у него есть *деньги*, руки у него белые, стало, он *аристократ*». Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак, там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин — Муций Сцевола, ликворист, и гражданин — Брут, Тимолеон — портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции — в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!

Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Лиона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства — через префектов, помимо префектов — через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось, и не только оружие, но и оруженосец: Фуше перешел к Бурбонам, сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства,— половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, в Национальной гвардии.

Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы... Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой — с болезненной, необузданной жаждой денег и наслаждений, растлила целое поколение.

Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.

Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, *сближавшимися* с целью предательства.

Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны,— так слабодушный товарищ погубил Конарского. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей, образованных, говорящих *нашим* языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами...

К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4½%. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжаклен-легитимист, и бездна людей, облагодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тюльерийском дворце.

ГЛАВА XL

Европейский комитет.— Русский генеральный консул в Ницце.— Письмо к А. Ф. Орлову.— Преследование ребенка.— Фогты.— Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне.— Прием в Шателе

(1850—1851)

> С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: «Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов — от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюлярной тюрьмы.
>
> Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852,— нового ничего, разве какое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется».
>
> *«Письма из Франции и Италии», 1 июня 1851 г.*

Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная,

проданная Венгрия. Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге *центральный европейский комитет*... а реакция свирепела больше и больше.

После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, я виделся с Маццини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты [1] в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней *как русский*; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движения*, которую комитет представлял, то есть восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь *явно* свою юнту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или alien биллем [2], или предложением приостановить habeas corpus.

Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают *что-нибудь*, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, profession de foi [3] и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначеи собирают деньги, литераторы пи-

---

[1] хунты, союза *(от испан. junta).— Ред.*
[2] законом об иностранцах *(англ.).— Ред.*
[3] исповедания веры *(франц.).— Ред.*

шут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частию филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с другой — примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат en permanence [1]. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, то есть невозможный.

Заговор должен быть тайной. Время *тайных обществ* миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания,— будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал *никогда ни в каком тайном обществе,* но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головою.

Другая ошибка или другое несчастие комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще; у них было бы единство ненависти к одному главному врагу — к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.

Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:

«Ницца, 13 сентября 1850.

Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.

Вы чуть ли не один из главных *политических* деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и

[1] непрерывно заседающий *(франц.).— Ред.*

уважением. Можно не соглашаться с вами в мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело,— с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.

Какая тут может быть организация? — Это одно смешение.

Ни вам, ни истории эти люди не нужны; все, что для них можно сделать — это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что *нового* в прокламациях, что в «Proscrit»? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы,— это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устраиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли. Но где же она?

Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломация, политика, оружие наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации — чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм — религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.

Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами, от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторят.

В «Nouveau Monde» тот же vacuum horrendum [1], печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться

[1] ужасающая пустота *(лат.).— Ред.*

ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем — войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну — настоящим казаком... auf eigene Faust[1], как говорят немцы, при большой революционной армии — не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.

В ожидании этого — я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития; но говорить, обращать, убеждать зависит от меня — и я это делаю от всей души и от всего помышления.

Простите мне, любезный Маццини, и откровенность, и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу,— но тоже преданным и своим убеждениям».

На это письмо Маццини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и проч.

В ту же осень, в которую меня вспомнил Маццини и европейский комитет, вспомнил меня наконец и противуевропейский комитет Николая Павловича.

Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал покончеными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура *второго* порядка.

— Я имею вам сделать сообщение.

— Несмотря на то,— отвечал я,— что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.

Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: «Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им...» — снова встал.

Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как

[1] на свой риск *(нем.).— Ред.*

консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:

— Сделайте одолжение, я слушаю.

— «...ператорское величество,— продолжал он, снова садясь,— изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки».

Он замолчал. Я продолжал не говорить ни слова.

— Что же мне отвечать? — спросил он, складывая бумагу.

— Что я не поеду.

— Как не поедете?

— Так-таки, просто не поеду.

— Вы обдумали ли, что такой шаг...

— Обдумал.

— Да как же это... Позвольте, что же я напишу? по какой причине?..

— Вам не велено принимать никаких причин.

— Как же я скажу, ведь это — ослушание воли его императорского величества?

— Так и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это,— и он еще больше покраснел.— Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще *келейно*. (Консул, верно, думал, что III Отделение — монастырь.)

Как я ни человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула в Ницце не хотел ехать в Петропавловские кельи отца Леонтия или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича.

— Неужели,— сказал я ему,— когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поеду? Забудьте, что вы консул, и рассудите сами. Именье мое секвестровано, капитал моей матери был задержан, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я после этого ехать, не сойдя с ума?

Он мялся, постоянно краснел и, наконец, попал на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу,— сказал он,— вступать... я понимаю затруднительное положение, с другой стороны — милосердие! — Я посмотрел на него, он опять покраснел.— Сверх того, зачем же вам отрезывать себе все пути? Вы напишите мне, что вы очень больны, я отошлю к графу.

— Это уж слишком старо, да и на что же без нужды говорить неправду.

— Ну, так уж потрудитесь написать мне письменный ответ.

— Пожалуй. Вы мне не оставите ли копии с бумаги, которую читали?

— У нас этого не делается.

— Жаль. Я собираю коллекцию.

Как ни был прост мой письменный ответ, консул все же перепугался: ему казалось, что его переведут за него, не знаю, куда-нибудь в Бейрут или в Триполи; он решительно объявил мне, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмелится. Как я его ни убеждал, что на него не может пасть никакой ответственности, он не соглашался и просил меня написать другое письмо.

— Это невозможно,— возразил я ему,— я не шучу этим шагом и вздорных причин писать не стану: вот вам письмо и делайте с ним что хотите.

— Позвольте,— говорил самый кроткий консул из всех, бывших после Юния Брута и Калпурния Бестии,— вы письмо это напишите не ко мне, а к графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дело не трудное, стоит поставить «M. le comte» вместо «M. le consul»; [1] на это я согласен.

Переписывая мое письмо, мне пришло в голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. По-русски кантонист какой-нибудь в его канцелярии или в канцелярии III Отделения может его прочесть, его могут послать в сенат, и молодой обер-секретарь покажет его писцам; зачем же их лишать этого удовольствия? А потому я перевел письмо. Вот оно:

«М. г.

Граф Алексей Федорович!

Императорский консул в Ницце сообщил мне высочайшую волю о моем возвращении в Россию. При всем желании, я нахожусь в невозможности исполнить ее, не приведя в ясность моего положения.

Прежде всякого вызова, более года тому назад, положено было запрещение на мое именье, отобраны деловые бумаги, находившиеся в частных руках, наконец, захвачены деньги, 10 000 фр., высланные мне из Москвы. Такие строгие и чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что, прежде всякого вопроса, всякого суда, признан виновным и наказан — лишением части моих средств.

Я не могу надеяться, чтоб одно возвращение мое могло меня спасти от печальных последствий политического процесса. Мне легко объяснить каждое из моих действий, но в процессах этого рода судят мнения, теории; на них основывают приговоры. Могу

[1] «Господин граф»... «Господин консул» *(франц.).— Ред.*

ли я, должен ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

В. с., оцените простоту и откровенность моего ответа и повергнете на высочайшее рассмотрение причины, заставляющие меня остаться в чужих краях, несмотря на мое искреннее и глубокое желание возвратиться на родину.

Ницца, 23 сентября 1850».

Я действительно не знаю, возможно ли было скромнее и проще отвечать; но у нас так велика привычка к рабскому молчанию, что и это письмо консул в Ницце счел чудовищно дерзким, да, вероятно, и сам Орлов также.

Молчать, не смеяться, да и не плакать, а отвечать по данной форме, без похвалы и осуждения, без веселья, да и без печали — это идеал, до которого деспотизм хочет довести подданных и довел солдат,— но какими средствами? А вот я вам расскажу.

Николай раз на смотру, увидав молодца флангового солдата с крестом, спросил его: «Где получил крест?» По несчастью, солдат этот был из каких-то исшалившихся семинаристов и, желая воспользоваться таким случаем, чтоб блеснуть красноречием, отвечал: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай сурово взглянул на него, на генерала, надулся и прошел. А генерал, шедший за ним, когда поравнялся с солдатом, бледный от бешенства, поднял кулак к его лицу и сказал: «В гроб заколочу Демосфена!»

Мудрено ли, что красноречие не цветет при таких поощрениях!

Отделавшись от императора и консула, мне захотелось выйти из категории беспаспортных.

Будущее было темно, печально... я мог умереть, и мысль, что тот же краснеющий консул явится распоряжаться в доме, захватит бумаги, заставляла меня думать о получении где-нибудь прав гражданства. Само собою разумеется, что я выбрал Швейцарию, несмотря на то что именно около этого времени в Швейцарии сделали мне полицейскую шалость.

С год после рождения моего второго сына мы с ужасом заметили, что он совершенно глух. Разные консультации и опыты скоро доказали, что возбудить слух было невозможно. Но тут явился вопрос: следовало ли его оставить, как это всегда делают, немым? Школы, которые я видел в Москве, далеко не удовлетворяли меня. Разговор пальцами и знаками не есть разговор, говорить надобно ртом и губами. По книгам я знал, что в Германии и в Швейцарии делали опыты учить глухонемых говорить, как мы говорим, и слушать, смотря на губы. В Берлине я видел в первый

раз оральное[1] преподавание глухонемым и слышал, как они декламировали стихи. Это огромный шаг вперед от методы аббата Лепе. В Цюрихе это учение доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, решилась поселиться с ним на несколько лет в Цюрихе, чтобы посылать его в школу.

Ребенок этот был одарен необыкновенными способностями: вечная тишина вокруг него, сосредоточивая его живой, порывистый характер, славно помогала его развитию и вместе с тем изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горели умом и вниманием; пяти лет он умел дразнить намеренно карикатурно всех приходивших к нам с таким комическим тактом, что нельзя было не смеяться.

В полгода он сделал в школе большие успехи. Его голос был voilé;[2] он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что́ ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше — проезжая через Цюрих, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они — мне.

Но после моего отъезда старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще и с социалистами, которых они ненавидели, и, что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке «Von andern Ufer», вышедшей, как на смех, у них под носом, из лучшей цюрихской типографии. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтоб сбыть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала *паспорт ребенка*; я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность,— что Коля действительно мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города. Я рассказал это в Париже, кто-то из моих знакомых напечатал об этом в «Насионале». Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение (caution), что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение — несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не

---

[1] Здесь: по губам *(от франц. oral).— Ред.*

[2] приглушенный *(франц.).— Ред.*

было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через «Насиональ»)? И это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере.

Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастию, не делил мнений полицейского синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые квартальные Цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери, с тем чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Мать моя с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим залогом, ей его не выдали под предлогом, что Коля еще в Швейцарии. Я написал из Ниццы. Цюрихская полиция потребовала сведений, имеет ли Коля законное право жить в Пиэмонте...

Это было уже слишком, и я написал следующее письмо к президенту Цюрихского кантона:

«Г. Президент!

В 1849 году я поместил моего сына, пяти лет от роду, в цюрихский институт глухонемых. Через несколько месяцев цюрихская полиция потребовала у моей матери его паспорт. Так как у нас не спрашивают ни у новорожденных, ни у детей, ходящих в школу, паспортов, то сын мой и не имел отдельного вида, а был помещен на моем. Это объяснение не удовлетворило цюрихскую полицию. Она потребовала залог. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшего на себя столько опасливого подозрения со стороны цюрихской полиции, вышлют,— внесла его.

В августе 1850 года, желая оставить Швейцарию, моя мать потребовала залог, но цюрихская полиция его не отдала; она хотела прежде узнать о действительном отъезде ребенка из кантона. Приехав в Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, причем она приложила свидетельство о том, что мы и, главное, шестилетний и подозрительный сын мой находимся в Ницце, а не в Цюрихе. Цюрихская полиция, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидетельства, в котором здешняя полиция должна была засвидетельствовать, «что сыну моему официально позволяется жить в Пиэмонте» (que l'enfant est officiellement toleré). Г. Шултгес сообщил это г. Авигдору.

Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиции, я отказался от предложения г. Авигдора послать новое свидетельство, которое он очень любезно предложил мне сам взять. Я не

хотел доставить этого удовольствия цюрихской полиции, потому что она, при всей важности своего положения, все же не имеет права ставить себя полицией международной, и потому еще, что требование ее не только обидно для меня, но и для Пиэмонта.

Сардинское правительство, господин Президент,— правительство образованное и свободное. Как же возможно, чтоб оно не дозволило жить (ne tolerât pas) в Пиэмонте больному ребенку шести лет? Я действительно не знаю, как мне считать этот запрос цюрихской полиции — за странную шутку или за следствие пристрастия к залогам вообще.

Представляя на ваше рассмотрение, г. Президент, это дело, я буду вас просить, как особенного одолжения, в случае нового отказа, объяснить мне это происшествие, которое слишком любопытно и интересно, чтоб я считал себя вправе скрыть его от общего сведения.

Я снова писал к г. Шултгесу о получении денег и могу вас смело уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желания, после всех полицейских неприятностей, возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности.

Ницца, 9 сентября 1850».

Само собою разумеется, что после этого полиция города Цюриха, несмотря на вселенские притязания, выплатила залог...

...Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской: поступить добровольно в подданство чье бы то ни было было мне противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли две страны: Америка и Швейцария.

Америка — я ее очень уважаю; верю, что она призвана к великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе к Европе, чем была, но американская жизнь мне антипатична. Весьма вероятно, что из угловатых, грубых, сухих элементов ее сложится иной быт. Америка не приняла оседлости, она недостроена, в ней работники и мастеровые в будничном платье таскают бревна, таскают каменья, пилят, рубят, приколачивают... зачем же постороннему обживать ее сырое здание?

Сверх того, Америка, как сказал Гарибальди,— «страна забвения родины»; пусть же в нее едут те, которые не имеют веры в свое отечество, они должны ехать с своих кладбищ; совсем напротив, по мере того как я утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась — но думать о возвращении при Николае было бы безумием.

Итак, оставалось вступить в союз с свободными людьми Гельветической конфедерации.

Фази еще в 1849 году обещал меня натурализировать в Женеве, но все оттягивал дело; может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов в своем кантоне. Мне это надоело, приходилось переживать черное время, последние стены покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до беды... Карл Фогт предложил мне списаться о моей натурализации с Ю. Шаллером, который был тогда президентом Фрибургского кантона и главою тамошней радикальной партии.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о нем самом.

В однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встречаются иногда, как бы на выкуп ей,— здоровые, коренастые семьи, исполненные силы, упорства, талантов. Одно поколение даровитых людей сменяется другим, многочисленнейшим, сохраняя из рода в род дюжесть ума и тела. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры дом в узком, темном переулке, трудно представить себе, сколько в продолжение ста лет сошло по стоптанным каменным ступенькам его лестницы молодых парней с котомкой за плечами, с всевозможными сувенирами из волос и сорванных цветов в котомке, благословляемых на путь слезами матери и сестер... и пошли в мир, оставленные на одни свои силы, и сделались известными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домик, крытый черепицей, в их отсутствие опять наполнялся новым поколением студентов, рвущихся грудью вперед в неизвестную будущность.

За неимением другого тут есть наследство примера, наследство фибрина. Каждый начинает сам и знает, что придет время и его выпроводит старушка бабушка по стоптанной каменной лестнице,— бабушка, принявшая своими руками в жизнь три поколения, мывшая их в маленькой ванне и отпускавшая их с полною надеждой; он знает, что гордая старушка уверена и в нем, уверена, что и из него выйдет что-нибудь... и выйдет непременно!

Dann und wann [1], через много лет, все это рассеянное население побывает в старом домике, все эти состарившиеся оригиналы портретов, висящих в маленькой гостиной, где они представлены в студенческих беретах, завернутые в плащи, с рембрандтовским притязанием со стороны живописца,— в доме тогда становится суетливее, два поколения знакомятся, сближаются... и потом опять все идет на труд. Разумеется, что при этом кто-нибудь непременно в кого-нибудь хронически влюблен, разумеется, что дело не

[1] Время от времени *(нем.).— Ред.*

обходится без сентиментальности, слез, сюрпризов и сладких пирожков с вареньем, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзией с мышцами и силой, которую я редко встречал в выродившихся, рахитических детях аристократии и еще менее у мещанства, строго соразмеряющего число детей с приходо-расходной книгой.

Вот к этим-то благословенным семьям древнегерманским принадлежит родительский дом Фогта.

Отец Фогта — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне; мать — из рода Фолленов, из этой эксцентрической, некогда наделавшей большого шума швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германии в эпоху тугендбундов и буршеншафтов, Карла Занда и политического Schwärmerei[1] 17 и 18 годов. Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера: он произнес действительно зажигательную речь, вслед за которою сжег на костре иезуитские и реакционные книги, всякие символы самодержавия и папской власти. Студенты мечтали сделать его императором единой и нераздельной Германии. Его внук, Карл Фогт, в самом деле был одним *из викариев империи* в 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь в жилах сына бернского профессора, внука Фолленов. А ведь au bout du compte[2] все зависит от химического соединения да от качества элементов. Не Карл Фогт станет со мной спорить об этом.

В 1851 году я был проездом в Берне. Прямо из почтовой кареты я отправился к Фогтову отцу с письмом сына. Он был в университете. Меня встретила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла как друга своего сына и тотчас повела показывать его портрет. Мужа она не ждала ранее шести часов; мне его очень хотелось видеть, я возвратился, но он уже уехал на какую-то консультацию к больному. Второй раз старушка встретила меня уже как старого знакомого и повела в столовую, желая, чтоб я выпил рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большим круглым столом, неподвижно прикрепленным к полу; об этом столе я уже давно слышал от Фогта и потому очень рад был лично познакомиться с ним. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для еды, тарелки, горчицу, соль, так что, не беспокоя никого и без прислуги, каждый привертывал к себе что хотел,— ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вместо горчицы можно

---

[1] мечтательства *(нем.).— Ред.*
[2] в конечном счете *(франц.).— Ред.*

было попасть ложкой в сахар... если кто-нибудь повертывал диск. В этом населении братьев и сестер, коротких знакомых и родных, где все были заняты розно, срочно, общий обед вечером было трудно устроить. Кто приходил и кому хотелось есть, тот садился за стол, вертел его направо, вертел его налево и управлялся как нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у них я не мог; ко мне вечером хотели приехать Фази и Шаллер, бывшие тогда в Берне; я обещал, если пробуду еще полдня, зайти к Фогтам и, пригласивши меньшего брата, юриста, к себе ужинать, пошел домой. Звать старика так поздно и после такого дня я не счел возможным. Но около двенадцати часов гарсон, почтительно отворяя двери перед кем-то, возвестил нам: «Der Herr Professor Vogt»,— я встал из-за стола и пошел к нему навстречу.

Вошел старик довольно высокого роста, с умным, выразительным лицом, превосходно сохранившийся.

— Ваше посещение,— сказал я ему,— мне вдвойне дорого, я не смел вас звать так поздно, после ваших трудов.

— А я не хотел вас пропустить через Берн, не увидавшись с вами. Услышав, что вы были у нас два раза и что вы пригласили Густава, я пригласил сам себя. Очень, очень рад, что вижу вас, то, что́ Карл о вас пишет, да и без комплиментов, я хотел познакомиться с автором «С того берега».

— Душевно благодарю вас; вот место, садитесь с нами, у нас ужин во всем разгаре, что вам угодно?

— Я не буду есть, но рюмку вина выпью с удовольствием.

В его виде, словах, движениях было столько непринужденности, вместе — не с тем добродушием, которое имеют люди вялые, пресные и чувствительные, а именно с добродушием людей сильных и уверенных в себе. Его появление нисколько не стеснило нас, напротив, все пошло живее.

Разговор переходил от предмета к предмету, везде, во всем он был дома, умен, éveillé [1], оригинален. Речь зашла как-то о федеральном концерте, который давался утром в бернском соборе и на котором были все, кроме Фогта. Концерт был гигантский, со всей Швейцарии съехались музыканты, певцы и певицы для участия в нем. Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и пониманием исполнили они знаменитое творение Гайдна. Публика была внимательна, но холодна, она шла из собора, как идут от обедни; не знаю, насколько было благочестия, но увлечения не было. Я то же испытал на самом себе. В припадке откровенности я сказал

[1] находчив *(франц.).— Ред.*

П.-Ж. Прудон.

Гравюра.
1848 г.
Государственный литературный музей.

это знакомым, с которыми выходил; по несчастию, это были правоверные, ученые, горячие музыканты, они напали на меня, объявили меня профаном, не умеющим слушать музыку глубокую, серьезную. «Вам только нравятся мазурки Шопена»,— говорили они. В этом еще нет беды, думал я, но, считая себя все же несостоятельным судьей, замолчал.

Надобно иметь много храбрости, чтоб признаваться в таких впечатлениях, которые противоречат общепринятому предрассудку или мнению. Я долго не решался при посторонних сказать, что «Освобожденный Иерусалим» — скучен, что «Новую Элоизу» — я не мог дочитать до конца, что «Герман и Доротея» — произведение мастерское, но утомляющее до противности. Я сказал что-то в этом роде Фогту, рассказывая ему мое замечание о концерте.

— А что,— спросил он,— Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, без всяких границ.

— Я знал это, потому что я вполне вам сочувствую. Как же это возможно, чтоб живой, современный человек мог себя так искусственно натянуть на религиозное настроение, чтоб наслаждение его было естественно и полно? Для нас так же нет пиетистической музыки, как нет духовной литературы,— она для нас имеет смысл исторический. У Моцарта, напротив, звучит нам знакомая жизнь, он поет от избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда «Don Giovanni», когда «Nozze di Figaro» [1] были новостию, что это был за восторг, что за откровение нового источника наслаждений! Моцартова музыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гетев «Фауст», как тысяча семьсот восемьдесят девятый год. Мы видели в его произведениях, как светская мысль восемнадцатого столетия с своей секуляризацией жизни вторгалась в музыку; с Моцартом революция и новый век вошли в искусство. Ну, как же нам после «Фауста» читать Клопштока и без веры слушать эти литургии в музыке?..

Долго и необыкновенно занимательно говорил старик, он одушевился, я налил еще раза два вина в его бокал, он не отказывался и не торопился пить. Наконец он посмотрел на часы.

— Ба! уж два часа, прощайте, мне в девять надобно быть у больного.

Я с истинной дружбой проводил его.

Два года спустя он доказал, как много энергии в его седой голове и как его теории — *правда,* то есть как они близки к практике. Венский рефюжье, доктор Кудлих, посватался за одну из

[1] «Дон-Жуан»... «Свадьба Фигаро» *(итал.).— Ред.*

дочерей Фогта; отец был согласен, но вдруг протестантская консистория потребовала метрические свидетельства жениха. Разумеется, ему, как изгнаннику, ничего нельзя было достать из Австрии, и он представил приговор, по которому был осужден заочно; одного свидетельства Фогта и его дозволения было бы достаточно для консистории, но бернские пиетисты, по инстинкту ненавидевшие Фогта и всех изгнанников, уперлись. Тогда Фогт собрал всех своих друзей, профессоров и разные бернские знаменитости, рассказал им дело, потом позвал свою дочь и Кудлиха, взял их руки, соединил и сказал присутствовавшим:

— Вас, друзья, беру в свидетели, что я как отец благословляю этот брак и отдаю мою дочь, по ее желанию, за такого-то.

Поступок этот ошеломил пиетистическое общество в Швейцарии; оно с негодованием и ужасом взглянуло на этот антецедент, сделанный не горячим юношей, не бездомным изгнанником, а старцем безукоризненным и уважаемым всеми.

Теперь от отца перейдемте к его старшему сыну.

Я с ним познакомился в 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы в два года нашей жизни в Ницце. Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною. Я счел бы его за очень счастливого человека, если б знал, что он недолго проживет; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сих пор, донимая только одними мигренями. Его натура — реальная, живая, всему раскрытая — имеет многое, чтоб наслаждаться, все, чтоб никогда не скучать, и почти ничего, чтобы мучиться внутренно, разъедать себя недовольной мыслию, страдать теоретически — сомнением и практически — тоской по несбывшимся мечтам. Страстный поклонник красот природы, неутомимый работник в науке, он все делал необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художник в своем деле, он им наслаждался; радикал — по темпераменту, реалист — по организации и гуманный человек — по ясному и добродушно-ироническому взгляду, он жил именно в той жизненной среде, к которой единственно идут дантовские слова: «Qui è l'uomo felice» [1].

Он прожил жизнь деятельно и беззаботно, нигде не отставая, везде в первом ряду; не боясь горьких истин, он так же пристально всматривался в людей, как в полипы и медузы, ничего не требуя ни от тех, ни от других, кроме того, что они могут дать. Он не поверхностно изучал, но не чувствовал потребности переходить известную глубину, за которой и оканчивается все светлое и которая, в сущности, представляет своего рода выход из действи-

[1] «Здесь человек счастлив» *(итал.).— Ред.*

тельности. Его не манило в те нервные омуты, в которых люди упиваются страданиями. Простое и ясное отношение к жизни исключало из его здорового взгляда ту поэзию печальных восторгов и болезненного юмора, которую мы любим, как все потрясающее и едкое. Его ирония, как я заметил, была добродушна, его насмешка весела; он смеялся первый и от души своим шуткам, которыми отравлял чернила и пиво педантов-профессоров и своих товарищей по парламенту in der Paul's Kirche [1].

В этом жизненном реализме было то общее, симпатическое, что нас связывало; хотя жизнь и развитие наше были так розны, что мы во многом расходились.

Во мне не было и не могло быть той спетости и того единства, как у Фогта. Воспитание его шло так же правильно, как мое — бессистемно; ни семейная связь, ни теоретический рост никогда не обрывались у него, он продолжал традицию семьи. Отец стоял возле примером и помощником; глядя на него, он стал заниматься естественными науками. У нас обыкновенно поколение с поколением расчленено; общей, нравственной связи у нас нет. Я с ранних лет должен был бороться с воззрением всего окружавшего меня, я делал оппозицию в детской, потому что старшие наши, наши деды были не Фоллены, а помещики и сенаторы. Выходя из нее я с той же запальчивостью бросился в другой бой и, только что кончил университетский курс, был уже в тюрьме, потом в ссылке. Наука на этом переломилась, тут представилось иное изучение — изучение мира несчастного, с одной стороны, грязного — с другой.

Наскучив этой патологией, я бросился с жадностью на философию, от которой Фогт чувствовал непреодолимое отвращение. Окончив курс медицины и получив диплом доктора, он не решился лечить, говоря, что недостаточно верит в врачебную кабалистику, и снова весь отдался физиологии. Труд его очень скоро обратил на себя внимание не только немецких ученых, но и парижской Академии наук. Он уже был профессором сравнительной анатомии в Гиссене, товарищем Либиха (с которым вел потом озлобленную химико-теологическую полемику), когда революционный шквал 1848 года оторвал его от микроскопа и бросил в франкфуртский парламент.

Разумеется, что он стал в самый радикальный ряд, говорил исполненные остроты и отваги речи, выводил из терпения умеренных прогрессистов, а иногда и неумеренного короля прусского. Вовсе не будучи политическим человеком, он по удельному весу сделался одним из «лидеров» оппозиции, и, когда эрцгерцог

[1] в церкви св. Павла *(нем.).— Ред.*

Иоанн, бывший каким-то викарием империи, окончательно сбросил с себя маску добродушия и популярности, заслуженной тем, что он женился когда-то на дочери станционного смотрителя и иногда ходил во фраке, Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место. Тут дела немецкой революции пошли быстро под гору: правительства достигли цели, выиграли нужное время (по совету Меттерниха) — щадить парламент им было бесполезно. Изгнанный из Франкфурта, парламент мелькнул какой-то тенью в Штутгарте, под печальным названием Nachparlament [1], там его реакция и придушила. Оставалось викариям подобру да поздорову уехать от верной тюрьмы и каторжной работы... Переехав швейцарские горы, Фогт стряхнул с себя пыль франкфуртского собора и, расписавшись в книге путешественников: «К. Фогт — викарий Германской империи в бегах», снова принялся с той же невозмутимой ясностью, веселым расположением духа и неутомимым трудолюбием за естественные науки. С целью изучения морских зоофитов он поехал в Ниццу в 1850.

Несмотря на то что мы шли с разных сторон и разными путями, мы встретились на *трезвом совершеннолетии в науке.*

Был ли я так последователен, как Фогт — и *в жизни?* трезво ли я на нее смотрел? Теперь мне кажется, что нет. Да я не знаю, впрочем, хорошо ли начинать с трезвости; она не только *предупреждает* много бедствий, но и лучшие минуты жизни. Вопрос трудный, который, по счастию, для каждого разрешается не рассуждениями и волей, а организацией и событиями. Теоретически освобожденный, я не то что хранил разные непоследовательные верования, *а они сами остались* — романтизм революции я пережил; мистическое верование в прогресс, в человечество оставалось дольше других теологических догматов; а когда я и их пережил, у меня еще оставалась религия личностей, вера в двух-трех, уверенность в себя, в волю человеческую. Тут были, разумеется, противуречия; внутренние противуречия ведут к несчастьям, тем более прискорбным, обидным, что у них вперед отнято последнее человеческое утешение — оправдание себя в своих собственных глазах...

В Ницце Фогт принялся с необыкновенной ревностью за дело... Покойные, теплые заливы Средиземного моря представляют богатую колыбель всем frutti di mare [2], вода просто полна ими. Ночью бразды их фосфорного огня тянутся, мерцая, за лодкой,

---

[1] охвостье парламента *(нем.).— Ред.*
[2] моллюскам *(итал.).— Ред.*

тянутся за веслом, салпы можно брать рукой, всяким сосудом. Стало быть, в материале не было недостатка. С раннего утра сидел Фогт за микроскопом, наблюдал, рисовал, писал, читал и часов в пять бросался, иногда со мной, в море (плавал он как рыба); потом он приходил к нам обедать и, вечно веселый, был готов на ученый спор и на всякие пустяки, пел за фортепьяно уморительные песни или рассказывал детям сказки с таким мастерством, что они, не вставая, слушали его целые часы.

Фогт обладает огромным талантом преподавания. Он, полушутя, читал у нас несколько лекций физиологии для дам. Все у него выходило так живо, так просто и так пластически выразительно, что дальний путь, которым он достиг этой ясности, не был заметен. В этом-то и состоит вся задача педагогии — сделать науку до того понятной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым, *обыкновенным* языком.

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, то есть непереваримые. Ученый язык — язык условный, под титлами, язык стенографированный, временный, пригодный ученикам; содержание спрятано в его алгебраических формулах для того, чтоб, раскрывая закон, не повторять сто раз одного и того же. Переходя рядом схоластических приемов, содержание науки обрастает всей этой школьной дрянью, а доктринеры до того привыкают к уродливому языку, что другого не употребляют, им он кажется понятен,— в стары годы им этот язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного. По мере того как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропилы и подмостки становятся противны — мы ищем простоты. Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?

Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель вместо истинного знания,— не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи. В недостатке откровенности, в робких уступках никто не обвинит Фогта. Скорее «нежные души» упрекнут его в том, что он слишком прямо и слишком просто высказывает свою правду, находящуюся в прямом противоречии с общепринятой ложью. Христианское воззрение приучило к дуализму и идеальным образам так сильно, что нас неприятно поражает все естественно здоровое; наш ум, свихнутый веками, гнушается голой красотой, дневным светом и требует сумерек и покрывала.

Читая Фогта, многим обидно, что ему ничего не стоит принимать самые резкие последствия, что ему жертвовать так легко,

что он не делает усилий, не мучится, желая примирить теодицею с биологией,— ему до первой как будто дела нет.

Действительно, натура Фогта такова, что он никогда иначе не думал и *не мог* иначе думать, в этом-то и состоит его непосредственный реализм. Теологические возражения могли ему представлять только исторический интерес; нелепость дуализма до того ясна его простому взгляду, что он не может вступать в серьезный спор с ним, так, как его противники — химические богословы и святые отцы физиологии — в свою очередь, не могут серьезно опровергать магию или астрологию. Фогт отшучивается от их нападок — а этого, по несчастию, мало.

Вздор, которым ему возражают,— вздор всемирный и поэтому очень важный. Детство человеческого мозга таково, что он не берет простой истины; для сбитых с толку, рассеянных, смутных умов только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелепо.

Тут нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебные места, учебные заведения, правительства и революционеры поддерживают наперерыв родовое безумие человечества. И как семьдесят лет тому назад сухой деист Робеспьер казнил Анахарсиса Клоца, так какие-нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта в руки палача.

Бой невозможен, сила с их стороны. Против горсти ученых, натуралистов, медиков, двух-трех мыслителей, поэтов — весь мир, от Пия IX «с незапятнанным зачатием» до Маццини с «республиканским iddio [1]»; от московских православных кликуш славянизма до генерал-лейтенанта Радовица, который, умирая, завещал профессору физиологии Вагнеру то, чего еще никому не приходило в голову завещать,— *бессмертие души* и ее защиту; от американских заклинателей, вызывающих покойников, до английских полковников-миссионеров, проповедующих верхом перед фронтом слово божие индийцам. Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущие поколения...

...А если докажут, что это безумие, эта религиозная мания — единственное условие гражданского общества, что для того, чтоб человек спокойно жил возле человека, надобно обоих свести с ума и запугать, что эта мания — единственная уловка, в силу которой творится история?

Я помню французскую карикатуру, сделанную когда-то против фурьеристов с их attraction passionnée: [2] на ней представлен осел, у которого на спине прикреплен шест, а на шесте повешено

---

[1] богом *(итал.).— Ред.*

[2] страстным влечением *(франц.).— Ред.*

сено так, чтоб он мог его видеть. Осел, думая достать сено, должен идти вперед,— двигалось, разумеется, и сено — он шел за ним. Может, доброе животное и прошло бы далее так — но ведь все-таки *оно осталось бы в дураках!*

Перехожу теперь к тому, как одна страна радушно приняла меня в то самое время, как другая без всякого повода вытолкнула.

Шаллер обещал Фогту похлопотать о моей натурализации, то есть найти общину, которая согласилась бы принять меня, и потом поддержать дело в Большом совете. В Швейцарии для натурализации необходимо, чтоб предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятие нового согражданина, что совершенно согласно с самозаконностью каждого кантона и каждого местечка, в свою очередь. Деревенька Шатель, близ Мора (Муртен), соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей. Деревенька эта недалеко от Муртенского озера, возле которого был разбит и убит Карл Смелый, несчастная смерть и имя которого так ловко послужили австрийской цензуре (а потом и петербургской) для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере.

Когда дело поступило в Большой совет, два иезуитствующие депутата подняли голос против меня, но ничего не сделали. Один из них говорил, что надобно было бы знать — почему я был в ссылке и чем навлек гнев Николая. «Да это — само по себе рекомендация!» — отвечал ему кто-то, и все засмеялись. Другой, из видов предупредительной осторожности, требовал новых обеспечений, чтоб в случае моей смерти воспитание и содержание моих детей не пало на бедную коммуну. Удовлетворился и этот сын во Иисусе ответом Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромным большинством, и я сделался из русских надворных советников — тягловым крестьянином сельца Шателя, что под Муртеном, «originaire de Châtel près Morat» [1], как расписался фрибургский писарь на моем паспорте.

Натурализация нисколько не мешает, впрочем, карьере дома,— я имею два блестящих примера перед глазами: Людовик Бонапарт — гражданин Турговии, и Александр Николаевич — бюргер дармштадтский, сделались, после их натурализации, императорами. Так далеко я и не иду.

Получив весть об утверждении моих прав, мне было почти необходимо съездить поблагодарить новых сограждан и позна-

[1] «уроженцем Шателя, близ Мора» *(франц.).— Ред.*

комиться с ними. К тому же у меня именно в это время была сильная потребность побыть одному, всмотреться в себя, сверить прошлое, разглядеть что-нибудь в тумане будущего, и я был рад внешнему толчку.

Накануне моего отъезда из Ниццы я получил приглашение от начальника полиции de la sicurezza pubblica[1]. Он мне объявил приказ министра внутренних дел — выехать немедленно из сардинских владений. Эта странная мера со стороны ручного и уклончивого сардинского правительства удивила меня гораздо больше, чем высылка из Парижа в 1850. К тому же и не было никакого повода.

Говорят, будто я обязан этим усердию двух-трех верноподданных русских, живших в Ницце, и в числе их мне приятно назвать министра юстиции Панина; он не мог вынести, что человек, навлекший на себя высочайший гнев Николая Павловича, не только покойно живет, и даже в одном городе с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь император этого не жалует. Приехав в Турин, юстиция, говорят, попросил, так, по доброму знакомству, министра Азелио выслать меня. Сердце Азелио чуяло, верно, что я в Крутицких казармах, учась по-итальянски, читал его «La Disfida di Barletta» — роман «и не классический и не старинный», хотя тоже скучный,— и ничего не сделал. А может, и потому он не решился меня *выслать*, что, прежде таких дружеских внимаций, надобно было *прислать* посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта.

Зато ниццский интендант и министры в Турине воспользовались рекомендацией при первом же случае. Несколько дней до моей высылки в Ницце было «народное волнение», в котором лодочники и лавочники, увлекаемые красноречием банкира Авигдора, протестовали, и притом довольно дерзко, говоря о независимости ниццского графства, о его неотъемлемых правах,— против уничтожения свободного порта. Общее легкое таможенное положение для всего королевства уменьшало их привилегии без уважения «к независимости ниццского графства» и к его правам, «начертанным на скрижалях истории».

Авигдора, этого О'Коннеля Пальоне (так называется *сухая* река, текущая в Ницце), посадили в тюрьму, ночью ходили патрули, и народ ходил, те и другие пели песни, и притом одни и те же,— вот и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой из иностранцев не участвовал в этом семейном деле тарифов и таможен. Тем не менее интендант указал на несколько человек из рефюжье как на зачинщиков, и в том числе на меня. Мини-

[1] общественной безопасности *(итал.).— Ред.*

стерство, желая показать пример целебной строгости, велело меня прогнать вместе с другими.

Я пошел к интенданту (из иезуитов) и, заметив ему, что это совершеннейшая роскошь высылать человека, который сам едет и у которого визированный пасс в кармане, спросил его, в чем дело? Он уверял, что сам так же удивлен, как я, что мера взята министром внутренних дел, даже без предварительного сношения с ним. При этом он был до того учтив, что у меня не осталось никакого сомнения, что все это напакостил он. Я написал разговор мой с ним известному депутату оппозиции Лоренцо Валерио и уехал в Париж.

Валерио свирепо напал на министра в своей интерпелляции и требовал отчета, почему меня выслали. Министр мялся, отклонял всякое влияние русской дипломации, свалил все на доносы интенданта и смиренно заключил, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно с удовольствием изменит свое решение.

Оппозиция аплодировала. Следственно, de facto запрещение было снято, но, несмотря на мое письмо к министру, он мне не отвечал. Речь Валерио и ответ на нее я прочитал в газетах и решился ехать просто-напросто в Турин, на возвратном пути из Фрибурга. Чтоб не иметь отказа в визе, я поехал без визы; на пиэмонтской границе со стороны Швейцарии пассы осматривают без свирепого ожесточения французских жандармов. В Турине я пошел к министру внутренних дел; вместо его меня принял его товарищ, заведовавший верховной полицией, граф Понс де ла Мартино, человек известный в тех краях, умный, хитрый и преданный католической партии.

Прием его меня удивил. Он мне сказал все то, что я ему хотел сказать; что-то подобное было со мной в одно из свиданий с Дубельтом, но граф Понс перещеголял.

Он был очень пожилых лет, болезненный, худой, с отталкивающей наружностию, с злыми и лукавыми чертами, с несколько клерикальным видом и жесткими, седыми волосами на голове. Прежде чем я успел сказать десять слов о причине, почему я просил аудиенции у министра, он перебил меня словами:

— Да помилуйте, где же тут может быть сомнение?.. Отправляйтесь в Ниццу, отправляйтесь в Геную, оставайтесь здесь — только без малейшей rancune [1], мы очень рады... это все наделал интендант... видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку. Если бы вы сделали что-нибудь противное законам, на то есть суд, вам нечего тогда было бы пенять на несправедливость, не правда ли?

---

[1] злопамятство *(франц.).— Ред.*

— Совершенно согласен с вами.

— А то *берут* меры, которые раздражают... заставляют кричать — и без всякой нужды!

После этой речи против *самого себя* он проворно схватил лист бумаги с министерским заголовком и написал: «Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino. 12 Juglio 1851» [1].

— Вот вам на всякий случай, впрочем, будьте уверены, до этой бумаги дело не дойдет. Я очень, очень рад, что мы покончили с вами это дело.

Так как это значило vulgariter [2] «ступайте с богом», то я и оставил моего Понса, улыбаясь вперед лицу, которое сделает интендант в Ницце; но этого лица бог мне не привел видеть: его сменили.

Но возвращаюсь к Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проехавши по знаменитому мосту, как все смертные, бывшие в Фрибурге, мы отправились с добрым старичком, канцлером Фрибургского кантона, в Шатель. В Муртене префект полиции, человек энергический и радикальный, просил нас подождать у него, говоря, что староста поручил ему предупредить его о нашем приезде, потому что ему и прочим домохозяевам было бы очень неприятно, если б я приехал невзначай, когда все в поле на работе. Погулявши час-два по Мора, или Муртену, мы отправились, и префект с нами.

Возле дома старосты ждали нас несколько пожилых крестьян и впереди их сам староста, почтенный, высокого роста, седой и хотя несколько сгорбившийся, но мускулистый старик. Он выступил вперед, снял шляпу, протянул мне широкую, сильную руку и, сказав: «Lieber Mitbürger» [3], произнес приветственную речь на таком германо-швейцарском наречии, что я ничего не понял. Приблизительно можно было догадаться, что́ он мог мне сказать, а потому, да еще взяв в соображение, что если я скрыл, что не понимаю его, то и он скроет, что не понимает меня, я смело отвечал на его речь:

— Любезный гражданин староста и любезные шательские сограждане! Я прихожу благодарить вас за то, что вы в вашей общине дали приют мне и моим детям и положили предел моему бездомному скитанию. Я, любезные граждане, не за тем оставил родину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ

---

[1] «Сим разрешается г. А. Г. возвратиться в Ниццу и оставаться там, сколько времени он найдет нужным. За министра С. Мартино. 12 июля 1851» *(итал.).— Ред.*

[2] попросту *(лат.).— Ред.*

[3] Дорогой согражданин *(нем.).— Ред.*

русский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения; я оставил ее после ссылки, преследуемый свирепым самовластием Николая. Рука его, достававшая меня везде, где есть король или господин, не так длинна, чтоб достать меня в общине вашей! Я спокойно прихожу под защиту и кров ваш, как в гавань, в которой я всегда могу найти покой. Вы, граждане Шателя, вы, эти несколько человек, вы могли, принимая меня в вашу среду, остановить занесенную руку русского императора, вооруженную миллионом штыков. *Вы сильнее его!* Но сильны вы только вашими свободными вековыми республиканскими учреждениями! С гордостью вступаю я в ваш союз! И да здравствует Гельветическая республика!

— Dem neuen Bürger hoch!.. Es lebe der neue Bürger!..[1] — отвечали старики и крепко жали мою руку; я сам был несколько взволнован!

Староста пригласил нас к себе.

Мы вошли и сели за длинный стол, на скамьях; на столе был хлеб и сыр. Двое крестьян втащили страшной величины бутыль, больше тех классических бутылей, которые преют целые зимы в старинных наших домах, в углу на лежанке, наполненные наливками и настойками. Бутыль эта была в плетеной корзине и наполнена белым вином. Староста сказал нам, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль он помнит лет за тридцать и что вино это употребляется только при чрезвычайных случаях. Все крестьяне сели с нами за стол, кроме двух, хлопотавших около кафедральной бутыли. Они из нее наливали вино в большую кружку, а староста наливал из кружки в стаканы; перед каждым крестьянином был стакан, но мне он принес нарядный хрустальный кубок, причем он заметил канцлеру и префекту:

— Вы на этот раз извините, почетный-то кубок уж нынче мы подадим нашему новому согражданину; с вами мы свои люди.

Пока староста наливал вино в стаканы, я заметил, что один из присутствующих, одетый не совсем по-крестьянски, был очень беспокоен, обтирал пот, краснел — ему нездоровилось; когда же староста провозгласил мой тост, он с какой-то отчаянной отвагой вскочил и, обращаясь ко мне, начал речь.

— Это,— шепнул мне на ухо староста с значительным видом,— гражданин учитель в нашей школе.

Я встал.

---

[1] Новому гражданину ура!.. Да здравствует новый гражданин!.. *(нем.) — Ред.*

Учитель говорил не по-швейцарски, а по-немецки, да и не просто, а по образцам из нарочито известных ораторов и писателей: он помянул и о Вильгельме Телле, и о Карле Смелом (как тут поступила бы австрийско-александринская театральная цензура — разве назвала бы Вильгельма Смелым, а Карла — Теллем?) и при этом не забыл не столько новое, сколько выразительное сравнение неволи с позлащенной клеткой, из которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось от него порядком, он его ставил рядом с очень облихованными людьми из римской истории. Я чуть не перервал его на этом, чтоб сказать: «Не обижайте покойников!», но, как будто предвидя, что и Николай скоро будет в их числе, промолчал.

Крестьяне слушали его, вытянув загорелую сморщившуюся шею и прикладывая в виде глазного зонтика руку к ушам; канцлер немного вздремнул и, чтоб скрыть это, первый похвалил оратора.

Между тем староста сидел не сложа руки, а усердно наливал вино, провозглашая, как самый привычный к делу церемоний-мейстер, тосты:

— За конфедерацию! За Фрибург и его радикальное правительство! За президента Шаллера!

— За моих любезных сограждан в Шателе! — предложил я наконец, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкус, далеко не слабо. Все встали... Староста говорил:

— Нет, нет, lieber Mitbürger, полный кубок, как мы пили за вас, полный! — Старички мои расходились, вино подогрело их...

— Привезите ваших детей,— говорил один.

— Да, да,— подхватили другие,— пусть они посмотрят, как мы живем, мы люди простые, дурному не научим, да и мы их посмотрим.

— Непременно,— отвечал я,— непременно.

Тут староста уж пошел извиняться в дурном приеме, говоря, что во всем виноват канцлер, что ему следовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное,— что тогда встретили бы меня и проводили ружейным залпом. Я чуть не сказал ему à la Louis-Philippe: «Помилуйте... да что же случилось? Одним крестьянином только больше в Шателе!»

Мы расстались большими друзьями. Меня несколько удивило, что я не видел ни одной женщины, ни старухи, ни девочки, да и ни одного молодого человека. Впрочем, это было в рабочую пору. Замечательно и то, что на таком редком для них празднике не был приглашен пастор.

Я им это поставил в большую заслугу. Пастор непременно испортил бы все, сказал бы глупую проповедь и с своим чинным

благочестием похож был бы на муху в стакане с вином, которую непременно надобно вынуть, чтоб пить с удовольствием.

Наконец мы снова уселись в небольшую коляску или, вернее, линейку канцлера, завезли префекта в Мора и покатились в Фрибург. Небо было покрыто тучами, меня клонил сон, и кружилось в голове. Я усиливался не спать. «Неужели это их вино?» — думал я с некоторым презрением к самому себе... Канцлер лукаво улыбался, а потом сам задремал; дождь стал накрапывать, я покрылся пальто, стал было засыпать... потом проснулся от прикосновения холодной воды... дождь лил как из ведра, черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, дальние раскаты грома пересыпались по горам. Канцлер стоял в сенях и громко смеялся, говоря с хозяином Zöringer Hof'a.

— Что,— спрашивал меня хозяин,— видно, наше простое, крестьянское вино не то что французское?

— Да неужели мы приехали? — спрашивал я, выходя весь мокрый из линейки.

— Это не так мудрено,— заметил канцлер,— а вот что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали?

— Ничего.

Потом я узнал, что простые швейцарские вина, вовсе не крепкие на вкус, получают с летами большую силу и особенно действуют на непривычных. Канцлер нарочно мне не сказал этого. К тому же, если б он и сказал, я не стал бы отказываться от добродушного угощения крестьян, от их тостов и еще менее не стал бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступил, доказывается тем, что через год, проездом из Берна в Женеву, я встретил на одной станции моратского префекта.

— Знаете ли вы,— сказал он мне,— чем вы заслужили особенную популярность наших шательцев?

— Нет.

— Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивший их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мора до Фрибурга, под проливным дождем.

Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской конфедерации и напился пьян шательским вином! [1]

---

[1] Не могу не прибавить, что именно этот лист мне пришлось поправлять в Фрибурге и в том же Zöringer Hof'e. И хозяин все тот же, с видом действительного хозяина, и столовая, где я сидел с Сазоновым в 1851 году,— та же, и комната, в которой через год я писал свое завещание, делая исполнителем его Карла Фогта, и этот лист, напомнивший столько подробностей... Пятнадцать лет! Невольно, безотчетно берет страх...

14 октября 1866.

ГЛАВА XLI

П.-Ж. Прудон.— Издание «La Voix du Peuple».— Переписка.— Значение Прудона.— Прибавление

Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу Июньских дней — Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб иметь право на слово!»

Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судейских уловок. Началась старая травля, par force[1] редакторов,— травля, в которой отличались министры Людовика-Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется из залога; пока залог не дополнен — нельзя издавать журнал, как он пополнится — новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством.

Ледрю-Роллен сначала, потом полковник Франполи как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу». Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов «Le Représentant du Peuple», потом его же «Le Peuple». Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой.

Одного из редакторов, помнится Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в ассизы по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «L'addition, s'il vous plait!»[2] — ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафу.

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. Национальная гвардия ворвалась в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия.

Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: «La Voix du Peuple». Надобно было достать двадцать четыре ты-

---

[1] Здесь: принуждение *(франц.).— Ред.*
[2] «Счет, пожалуйста!» *(франц.) — Ред.*

сячи франков для залога. Э. Жирарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог.

Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет.

Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон — по преимуществу диалектик, контроверзист[1] социальных вопросов. Французы в нем ищут экспериментализта и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарийской управы благочиния, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.

Прудон, конечно, виноват, поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «Destruo et aedificabo»;[2] сила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все, ломавшие старое: человеку одно разрушение противно; когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену.

В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь одностороннее решение, а то, что, достигая до них, становится *вопросом.* Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.

В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель,— с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнут в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.

Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. Они привыкли

---

[1] спорщик *(от лат. contraversia).— Ред.*

[2] «Разрушу и воздвигну» *(лат.).— Ред.*

играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить, что попадется, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм... Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой.

Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера — для него это орудия, которыми он пытает свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.

— Мне очень нравится ваша система,— сказал Прудону один английский турист.

— Да у меня нет никакой системы,— отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав.

Это-то именно и сбивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басни, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам.

Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорию о том, как он мог бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо.

Наружные признаки и явления финансового мира служат для него так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни: он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению. Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать,— мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит: «Лекарства! лекарства! или молчи о болезни!» Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых на войне. Лекарство, видно, нелегко находится; мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793: ее лечили победами

и усиленными моционами, заставляя ходить в Египет, в Россию, ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой и маленьким Наполеоном — что же, лучше, что ли, стало? Сам Прудон попробовал было раз свою патологию и срезался *на Народном банке,*— несмотря на то что, сама по себе взятая, идея его верна. По несчастию, он в заговаривание не верит, а то и он причитывал бы ко всему: «Союз народов! Союз народов! Всеобщая республика! Всемирное братство! Grande armée de la démocratie!» [1] Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и за то французы его считают эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»; многое изменилось в его мыслях,— еще бы, прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт a moll-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». В этих переменах именно и бросается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии до недавно вышедшего carmen horrendum [2] биржевого распутства, тот же порядок мыслей, развиваясь, видоизменяясь, отражая события, идет и через «Противоречия» политической экономии, и через его «Исповедь», и через его «журнал».

Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму; они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающем все, что жизнь вносит нового... или, по крайней мере, не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верною себе, иначе она не была бы *живой истиной,* а истиной вечной, успокоившейся от треволнений мира сего — в мертвой тишине святого застоя [3].

Где и в каком случае, случалось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломации. За политические ошибки он, как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед собой; напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, чем партии, к которой он поневоле

---

[1] Великая армия демократии! *(франц.)* — *Ред.*

[2] ужасающей песни *(лат.).*— *Ред.*

[3] В новом сочинении Стюарта Милля «On Liberty» он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: «The deap slumber of a decided opinion» <глубокий сон бесспорного мнения *(англ.).*— *Ред.*>

принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу.

Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облекал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив, всюду ясно видно, что политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу; я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп.

Без сомнения, не место было Прудона в Народном собрании так, как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе. Прудон в своей «Исповеди революционера» говорит, что он не умел найтиться в Собрании. Да что же мог там делать человек, который Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов, сказал: «Я подаю голос против вашей конституции не только потому, что она дурна, но и потому, что она — конституция».

Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: «Речь — в «Монитер», оратора — в сумасшедший дом!» Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов,— с тех пор как александрийский архиерей возил с собой на вселенские соборы каких-то послушников, вооруженных во имя богородицы дубинами, и до вашингтонских сенаторов, доказывающих друг другу палкой пользу рабства.

Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять середь перебранок яркий след.

Тьер, отвергая финансовый проект Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие учения. Прудон взошел на трибуну и с своим грозным и сутуловатым видом коренастого жителя полей сказал улыбающемуся старичишке:

— Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я... я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся). Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я

расскажу всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!

Глаза всех обратились на Тьера: он сидел нахмуренный, и улыбки совсем не было, да и ответа тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила,— в этих словах резко слышится язык нового мира, идущего с своим судом и со своими казнями.

С Февральской революции Прудон предсказывал то, к чему Франция пришла; на тысячу ладов повторял он: «Берегитесь, не шутите, это не Катилина у ворот ваших, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры [1] — всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затмение, послеобеденный сон великого народа!». Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел; тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду. Говорят, что китайский император таскает ежегодно за хохол придворного звездочета, когда тот ему докладывает, что дни начинают убывать.

Гений Прудона действительно антипатичен французским риторам, его язык оскорбляет их. Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергают написанные не по форме точно так, как русские судьи. Их критика останавливается перед их символическими книгами вроде «Contrat social» [2], «Объявления прав человека». Люди веры — они ненавидят анализ и сомнения; люди заговоров — они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник, они даже в прошедшем не любят самобытных мыслей. Луи Блан почти досадует на эксцентрический гений Монтеня [3]. На этом галльском чувстве, стремящемся снять личность стадом, основано их пристрастие к *приравниванию,* к единству военного строя, к централизации, то есть к деспотизму.

Кощунство француза и резкость суждений — больше шалость, баловство, удовольствие подразнить, чем потребность разбора, чем сосущий душу скептицизм. У него бездна маленьких предрассудков, крошечных религий — за них он стоит с запальчивостию Дон-Кихота, с упрямством раскольника. Оттого-то они и

---

[1] водяные часы *(греч.).— Ред.*

[2] «Общественный договор» *(франц.).— Ред.*

[3] «Histoire de la Révolution française» <«История французской революции» *(франц.).— Ред.*>

не могут простить ни Монтеню, ни Прудону их *вольнодумство и непочтительность* к общепринятым кумирам. Они, как петербургская цензура, позволяют шутить над титулярным советником, но тайного — не тронь. В 1850 году Э. Жирарден напечатал в «Прессе» смелую и новую мысль, что основы права не вечны, а идут, изменяясь с историческим развитием. Что за шум возбудила эта статья — брань, крик, обвинения в безнравственности продолжались, с легкой руки «Gazette de France», месяцы.

Участвовать в восстановлении такого органа, как «Peuple», стоило пожертвований,— я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог.

До того времени мои сношения с Прудоном были ничтожны; я встречал его раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes;[1] его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

Боясь сначала смиренной роли наших соотечественников и патронажа великих людей, я не старался сближаться даже с самим Прудоном и, кажется, был не совершенно неправ. Письмо Прудона ко мне, в ответ на мое, было учтиво, но холодно и с некоторой сдержанностью.

Мне хотелось с самого начала показать ему, что он не имеет дела ни с сумасшедшим prince russe, который из революционного дилетантизма, а вдвое того из хвастовства дает деньги, ни с правоверным поклонником французских публицистов, глубоко благодарным за то, что у него берут двадцать четыре тысячи франков, ни, наконец, с каким-нибудь тупоумным bailleur de fonds[2], который соображает, что внести залог за такой журнал, как «Voix du Peuple»,— *серьезное* помещение денег. Мне хотелось показать ему, что я очень знаю, *что делаю,* что имею свою положительную

[1] Ботаническому саду *(франц.).— Ред.*
[2] негласным пайщиком *(франц.).— Ред.*

цель, а потому хочу иметь положительное влияние на журнал; приняв безусловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всею иностранною частию, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и проч., требовать для последних плату за помещенные статьи. Это может показаться странным, но я могу уверить, что «National» и «Реформа» открыли бы огромные глаза, если б кто-нибудь из иностранцев смел спросить денег за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помешательство, как будто иностранцу видеть себя в печати в *парижском* журнале не есть:

Lohn der reichlich lohnet[1].

Прудон согласился на мои требования, но все же они покоробили его. Вот что он писал мне 29 августа 1849 года в Женеву: «Итак, дело решено: под моей общей дирекцией вы имеете участие в издании журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *без всякого контроля*, кроме того, к которому редакцию обязывает уважение *к своим мнениям* и страх судебной ответственности. Согласные в идеях, мы можем только расходиться в выводах, что же касается до обсуживания заграничных событий, мы их совсем предоставляем вам. Вы и мы — миссионеры одной мысли. Вы увидите наш путь по общей полемике, и вам надобно будет держаться его; я уверен, что мне никогда не придется *поправлять ваши мнения;* я это счел бы величайшим несчастием; скажу откровенно, весь успех журнала зависит от нашего согласия. Надобно вопрос демократический и социальный поднять на высоту предприятия европейской лиги. *Предположить*, что мы не будем согласны друг с другом, значит предположить, что у нас недостает необходимых условий для издания журнала и *что нам было бы лучше молчать*».

На эту строгую депешу я отвечал высылкою двадцати четырех тысяч франков и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым; я говорил, насколько я теоретически согласен с ним, прибавив, что я, как настоящий скиф, с радостию вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание — возвещать ему его близкую кончину. «*Ваши соотечественники далеки от того, чтобы разделять эти идеи.* Я знаю одного свободного француза — это вас. Ваши революционеры — консерваторы. Они христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франции, что нет спасения внутри разваливающегося здания, что и спасать из него нечего, что самые его

[1] Плата, богато вознаграждающая *(нем.).— Ред.*

понятия о свободе и революции проникнуты консерватизмом и реакцией. Действительно, политические республиканцы составляют не больше как одну из вариаций на ту же конституционную тему, на которую играют свои вариации Гизо, Одилон Барро и другие. Вот этот взгляд следовало бы проводить в разборе последних европейских событий, преследовать реакцию, католицизм, монархизм не в ряду наших врагов — это чрезвычайно легко,— но в собственном нашем стане. Надобно обличить круговую поруку демократов и власти. Если мы не боимся затрогивать победителей, то не будем бояться из ложной сентиментальности затрогивать и побежденных.

Я глубоко убежден, что если инквизиция республики не убьет наш журнал,— это будет лучший журнал в Европе».

Я и теперь в этом убежден. Но как же мы с Прудоном могли думать, что вовсе не церемонное правительство Бонапарта допустит такой журнал? Это трудно объяснить.

Прудон был доволен моим письмом и 15 сентября писал мне из Консьержри: «Я очень рад, что встретился с вами на одном или на одинаковом труде; я тоже написал нечто вроде философии революции [1] под заглавием «Исповедь революционера». Вы в ней, может, не найдете вашего варварского задора (verve barbare), к которому вас приучила немецкая философия. Не забывайте, что я пишу для французов, которые со всем своим революционным пылом, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов выше самых высоких вершин нашего журнального, академического и литературного мира; меня еще станет на десять лет, чтобы быть великаном между ними.

Я совершенно разделяю ваше мнение насчет так называемых республиканцев; разумеется, это один вид общей породы доктринеров. Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга. Во мне и в моих сотрудниках вы найдете людей, которые пойдут с вами рука в руку...

Я также думаю, что методический, мирный шаг, незаметными переходами, как того хотят экономические науки и философия истории, невозможен больше для революции; нам надобно делать страшные скачки. Но в качестве публицистов, возвещая грядущую катастрофу, нам не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то нас возненавидят и будут гнать, а нам надобно *жить*»...

Журнал пошел удивительно. Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром. Его статьи были полны

[1] Я тогда печатал «Vom andern Ufer».

оригинальности, огня и того раздражения, которое тюрьма раздувает.

«Кто вы такой, г. президент? — пишет он в одной статье, говоря о Наполеоне,— скажите: мужчина, женщина, гермафродит, зверь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журнал может держаться!

Подписчиков было немного, но уличная продажа была велика, в день продавалось от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч экземпляров. Расход особенно замечательных нумеров, например, тех, в которых помещались статьи Прудона, был еще больше, редакция печатала их от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч, и часто на другой день экземпляры продавались *по франку* вместо одного су [1].

Но со всем этим к 1 марту, то есть через полгода, не только в кассе не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафов. Гибель была неминуема. Прудон значительно ускорил ее. Это случилось так: раз я застал у него в С.-Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов. Д'Альтон-Ше — тот пэр Франции, который скандализовал Пакье и испугал всех пэров, отвечая с трибуны на вопрос:

— Да разве вы не католик?

— Нет, но еще больше, я вовсе не христианин, да и не знаю, деист ли.

Он говорил Прудону, что последние нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудон рассматривал их и становился все угрюмее, потом, совершенно рассерженный, обратился к редакторам:

— Что же это значит? Пользуясь тем, что я в тюрьме, вы спите там в редакции. Нет, господа, эдак я откажусь от всякого участия и напечатаю мой отказ, я не хочу, чтоб мое имя таскали в грязи, у вас надобно стоять за спиной, смотреть за каждой строкой. Публика принимает это за мой журнал, нет, этому надобно положить конец. Завтра я пришлю статью, чтоб загладить дурное действие вашего маранья, и покажу, как я разумею дух, в котором должен быть наш орган.

Видя его раздражение, можно было ожидать, что статья будет не из самых умеренных, но он превзошел наши ожидания, его «Vive l'Empereur!» [2] был дифирамб иронии — иронии ядовитой, страшной.

Сверх нового процесса правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели в скверную комнату, то есть дали гораздо

[1] Мой ответ на речь Донозо Кортеса, отпечатанный тысяч в 50 экземпляров, вышел весь, и, когда я попросил через два-три дня себе несколько экземпляров, редакция принуждена была скупить их по книжным лавкам.

[2] «Да здравствует император!» *(франц.)* — *Ред.*

худшую, в ней забрали окно до половины досками, чтоб нельзя было ничего видеть, кроме неба, не велели к нему пускать никого, к дверям поставили особого часового. И эти средства, неприличные для исправления шестнадцатилетнего шалуна, употребляли семь лет тому назад с одним из величайших мыслителей нашего века! Не поумнели люди со времени Сократа, не поумнели со времени Галилея, только стали мельче. Это неуважение к гению, впрочем, явление новое, возобновленное в последнее десятилетие. Со времени Возрождения талант становится до некоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами, их посылают на эшафот, но не в рабочий дом.

Буржуазно-императорская Франция любит равенство.

Гонимый Прудон еще рванулся в своих цепях, еще сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен. Мой залог был схвачен до копейки. Пришлось замолчать единственному человеку во Франции, которому было еще что́ сказать.

Последний раз я виделся с Прудоном в С.-Пелажи, меня высылали из Франции,— ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы с ним, не было ни тени близкой надежды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось.

Я много слышал о его жесткости, rudesse [1], нетерпимости, на себе я ничего подобного не испытал. То, что *мягкие* люди называют его жесткостью — были упругие мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли; в гневе он напоминал сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Крупионом. Он знал, что я его понимаю, знал и то, как немногие его понимают, и ценил это. Он знал, что его считали за человека мало экспансивного, и, услышав от Мишле о несчастии, постигшем мою мать и Колю, он написал мне из С.-Пелажи между прочим: «Неужели судьба еще и с этой стороны должна добивать нас? Я не могу прийти в себя от этого ужасного происшествия. Я вас люблю и *глубоко ношу вас здесь*, в этой груди, которую так *многие считают каменной*».

С тех пор я не видал его; [2] в 1851 году, когда я, по милости Леона Фоше, приезжал в Париж на несколько дней, он был отослан в какую-то центральную тюрьму. Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.

---

[1] крутом нраве *(франц.).— Ред.*

[2] После писанного я виделся с ним в Брюсселе.

У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим, тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную жизнь и на значение женщины вообще.

— Как счастлив наш N.,— говаривал Прудон шутя,— у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot au feu [1], и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья.

В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но и в них выражается не мещанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского pater familias'а [2], гордо считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение *«О справедливости в церкви и в революции»*.

Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое... тяжкое время!.. Разлагающий воздух его одуряет сильнейших...

И этот «ярый боец» не выдержал, надломился; в его последнем труде я вижу ту же мощную диалектику, тот же размах, но она приводит уже его к прежде задуманным результатам; она уже не свободна в последнем слове. Я под конец книги следил за Прудоном, как Кент следил за королем Лиром, ожидая, когда он образумится, но он заговаривался больше и больше,— такие же припадки нетерпимости, необузданной речи, как у Лира, и так же «Every inch» [3] обличает талант, но... талант «тронутый». И он бежит с трупом — только не дочери, а матери, которую считает живой! [4]

Романская мысль, религиозная в самом отрицании, суеверная в сомнении, отвергающая одни авторитеты во имя других, редко погружалась далее, глубже in medias res [5] действительности, редко так диалектически смело и верно снимала с себя все путы, как в этой книге. Она отрешилась в ней не только от грубого дуализма религии, но и от ухищренного дуализма философии; она освободилась не только от небесных привидений, но и от земных;

---

[1] бульона *(франц.).— Ред.*
[2] отца семейства *(лат.).— Ред.*
[3] «Каждый дюйм» *(англ.).— Ред.*
[4] Я долею изменил мое мнение об этом сочинении Прудона (1866).
[5] в самую сущность *(лат.).— Ред.*

она перешагнула через сентиментальную апотеозу человечества, через фатализм прогресса, у ней нет тех неизменяемых литий о братстве, демократии и прогрессе, которые так жалко утомляют среди раздора и насилия. Прудон пожертвовал пониманью революции ее идолами, ее языком и перенес нравственность на единственную реальную почву — грудь человеческую, признающую один разум и никаких кумиров, «разве его».

И после всего этого великий иконоборец испугался освобожденной личности человека, потому что, освободив ее отвлеченно, он впал снова в метафизику, придал ей *небывалую волю*, не сладил с нею и повел на заклание богу бесчеловечному, холодному богу *справедливости*, богу равновесия, тишины, покоя, богу браминов, ищущих потерять все личное и распуститься, опочить в бесконечном мире ничтожества.

На пустом алтаре поставлены *весы*. Это будут новые кавдинские фуркулы для человечества.

«Справедливость», к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не *изящное* уравновешивание страстей и жертв. Галльский трибун ничего не берет из «анархической и легкомысленной Греции», он стоически попирает ногами личные чувства, а не ищет согласовать их с требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу, потому что *она — не она,* ее смысл, ее сущность вне ее, она — орган справедливости, она *предназначена,* как дева Мария, носить в мучениях идею и водворить ее на свет для спасения государства.

Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья, в современной мастерской,— идеал Прудона. Христианство слишком изнежило семейную жизнь, оно предпочло Марию — Марфе, мечтательницу — хозяйке, оно простило согрешившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а в Прудоновой семье именно надобно мало любить. И это не все: христианство гораздо выше ставит личность, чем семейные отношения ее. Оно сказало сыну: «Брось отца и мать и иди за мной»,— сыну, которого следует, во имя *воплощения справедливости,* снова заковать в колодки безусловной отцовской власти,— сыну, который не может иметь воли при отце, пуще всего в выборе жены. Он должен закалиться в рабстве, чтоб, в свою очередь, сделаться тираном детей, рожденных без любви, по долгу, для продолжения семьи. В этой семье

брак будет нерасторгаем, но зато холодный как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше. И эти старые, изношенные пугала из гегелизма правой стороны пришлось-то мне еще раз увидеть под пером Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария,— труд, от которого, по крайней мере, была свободна аристократическая семья Древнего Рима, основанная на рабстве; нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упованья рая, даже и стихов к тем порам «не будут больше писать», по уверению Прудона, зато работа будет «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным убаюкиванием, но пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости,— что это за вздор!

Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука, сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:

— Да из чего же мы это выбиваемся из сил?

— Для торжества справедливости,— скажет ему Прудон.

А новый Каин ответит ему:

— Да кто же мне поручил торжество справедливости?

— Как кто? — разве все призвание твое, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?

— Кто же поставил эту цель? — скажет на это Каин.— Это слишком старо, бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать — не долг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической традиции; или вы думаете, что после взятия Бастилии, после террора, после войны и голода, после короля-мещанина и мещанской республики я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вековую ссору и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?

А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие *о цели* у Прудона совершенно

непоследовательно. Телеология — это тоже теология; это — Февральская республика, то есть та же Июльская монархия, но без Людовика-Филиппа. Какая же разница между предопределенной целесообразностию и промыслом? [1]

Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные, ticket of leave [2], не наделали бед, он ловит их в капкан римской семьи.

В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пенат видится уже не *анархия*, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чем все пороки вместе.

Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть; «француз, живущий в России,— говорит Прудон,— русский, а не француз». Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя...

«Голландия не погибнет,— сказал Вильгельм Оранский в страшную годину,— она сядет на корабли и уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины». Вот какие народы бывают свободны.

Так и англичане: как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны: Франция довольна собой и лепится все больше и больше к своему средоточию, а средоточие — к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?

А, с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France? [3] «Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык — не лучший язык, ее литература — не лучшая ли-

---

[1] Сам Прудон сказал: «Rien ne ressemble plus à la préméditation, que la logique des faits» <Ничто не похоже так на преднамеренность, как логика фактов *(франц.).— Ред.*>

[2] Здесь: досрочно освобожденные *(англ.).— Ред.*

[3] прекрасную Францию *(франц.).— Ред.*

тература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гекзаметра?» К тому же ее всемирный гений усвоивает себе и мысль и творение всех времен и стран: «Шекспир и Кант, Гете и Гегель — разве не сделались своими во Франции?» И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда их берут во двор.

Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва «бизантинских» [1] архиереев — как раз пришлась архиерею социализма!

Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме *разума*, хотел остаться не только мужем вроде Синей Бороды, но и французским националистом — с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслью свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь.

Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на *освобождение* он иногда находит, на *свободу* — никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один — какую-то мандаринскую иерархию, другой — свою каторжную семью и апотеозу бесчеловечного pereat mundus — fiat justicia! [2]

РАЗДУМЬЕ ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ

I

...С одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный брак, нераздельность отцовской власти,— семья, в которой для *общественной* цели лица гибнут, *кроме одного*, свирепый брак, в котором признана неизменяемость чувств, кабала обету; с другой — возникающие ученья, в которых брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц.

С одной стороны, женщина, чуть не побиваемая каменьями за измену, с другой — самая ревность, поставленная hors la loi [3],

---

[1] византийских *(от франц. byzantin).— Ред.*
[2] пусть погибнет мир, но да свершится правосудие! *(лат.)* — *Ред.*
[3] вне закона *(франц.).— Ред.*

как болезненное, искаженное чувство эгоизма, проприетаризма[1] и романтического ниспровержения здоровых и естественных понятий.

Где истина... где диагональ? Двадцать три года тому назад я уже искал выхода из этого леса противоречий[2].

Мы смелы в отрицании и всегда готовы толкнуть всякого неруна в воду — но перупы домашней и семейной жизни как-то water-proof[3], они все «выдыбаются». Может, в них и не осталось смысла,— но жизнь осталась; видно, орудия, употребляемые против них, только скользнули по их змеиной чешуе, уронили их, оглушили... но не убили.

Ревность... Верность... Измена... Чистота... Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови,— слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме... и притом слова, под которыми, как под дамокловым мечом, жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за *углом* и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальное, губить нас самих...

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и *совершенно естественная* страсть, она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii[4], право суда и мести. Она сделалась *долгом чести,* чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики — но затем все же на дне души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли, несчастия,* называемое ревностью,— чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию,— чувство «ирредуктибельное»[5].

---

[1] собственничества *(от франц. propriété).— Ред.*
[2] «Былое и думы», т. III. «По поводу одной драмы».
[3] непромокаемы *(англ.).— Ред.*
[4] право меча *(лат.).— Ред.*
[5] неустранимое *(от франц. irréductible).— Ред.*

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуркулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон *правда*, с обеих — *ложь*. Бойким entweder — oder [1] и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания *одного* из терминов *он* возвращается так, как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

Гегель *снимал* эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в *безусловный дух;* в нем они не исчезали, а *преображались, исполнялись*, как выражалась немецкая теологическая наука,— это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются *искуплениями*, то есть священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположнее *личной воли* и *необходимости*, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

Сам Прудон поступил, в другом порядке вопросов, гораздо человечественнее немецкой науки. Он выходит из экономических противоречий тем, что признает обе стороны под обузданием высшего начала. Собственность-*право* и собственность-*кража* становятся рядом, в вечном колебании, в вечном восполнении, под постоянно растущим миродержавием *справедливости*. Ясно, что противоречия и спор переносятся в другую сферу и что к отчету требовать приходится понятие справедливости больше, чем право собственности.

Чем высшее начало проще, менее мистично и менее односторонно, чем оно реальнее и прилагаемее, тем полнее оно сводит термины противоречащие на их наименьшее выражение.

Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, *в развитии общих интересов*.

Радикально уничтожить ревность значит уничтожить *любовь к лицу*, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще — любовью к полу. Но именно только *личное*, *индивидуальное* и нравится, оно-то и дает колорит, tonus [2], страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — *личный*, наше счастье и несчастье — *личное*

---

[1] или — или *(нем.).— Ред.*

[2] напряжение *(лат.).— Ред.*

счастье и несчастье. Доктринаризм со всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб *они лились человечески*... и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника [1].

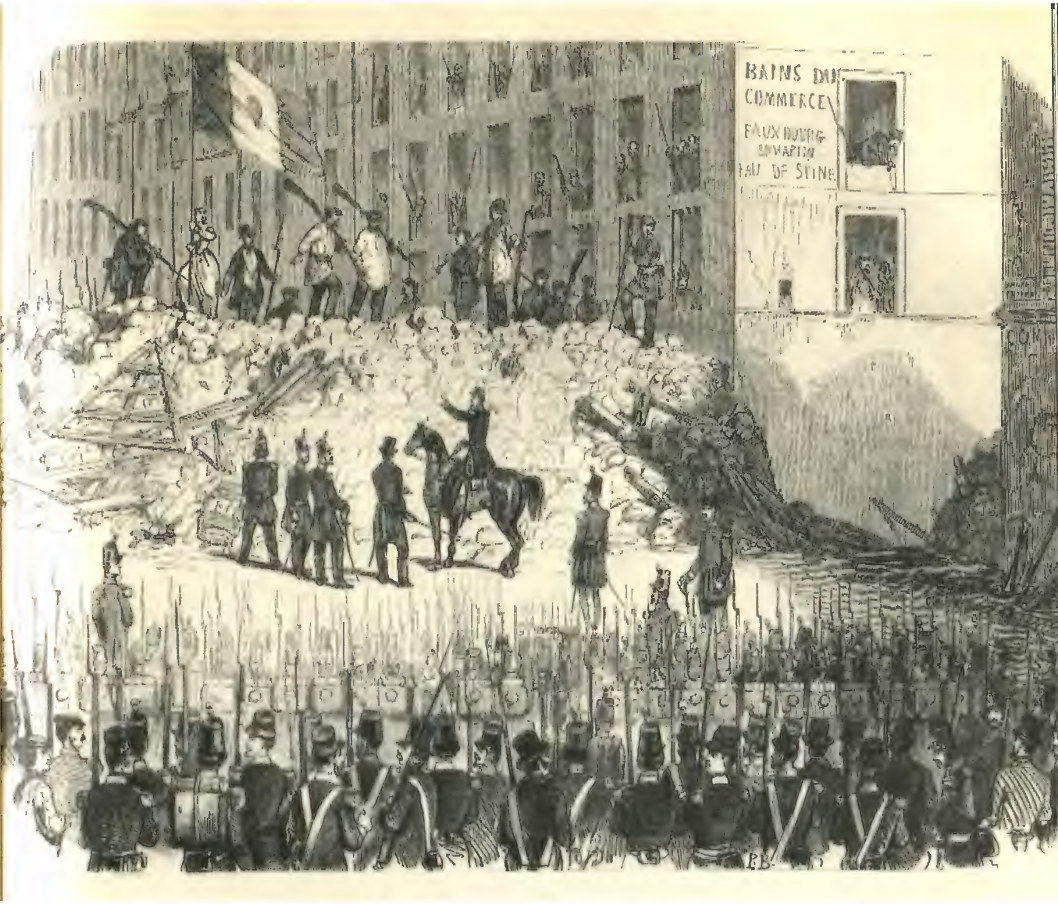
II

Свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. И то и другое может встретиться на закраинах половых и брачных отношений как частный случай, как исключение, но не как общее правило. Половое отношение перервется или будет постоянно стремиться к более тесному и прочному соединению так, как нерасторгаемый брак — к освобождению от внешней цепи.

Люди постоянно протестовали против обеих крайностей. Нерасторгаемый брак был принимаем ими лицемерно или сгоряча. Случайная близость никогда не имела полной инвеституры, ее всегда скрывали так, как хвастались браком. Все попытки официальной регламентации публичных домов, несмотря на то что они имеют в виду их стеснение, оскорбляют общественный, нравственный смысл. Он в устройстве видит признание. Проект, сделанный одним господином в Париже, во время Директории, о заведении привилегированных публичных домов, с своей иерархией

---

[1] Читая корректурный лист, мне попалась французская газета, в которой рассказан чрезвычайно характеристический случай. Возле Парижа какой-то студент завел связь с девушкой, связь эта открылась. Отец ее отправился к студенту и умолял его со слезами, *на коленях, восстановить* честь дочери и жениться на ней; студент с дерзостью отказался. Коленопреклоненный отец дал ему пощечину, студент его вызвал, они стрелялись; во время дуэли старика хватил паралич, изуродовавший его. Студент сконфузился и «решился жениться», а невеста огорчилась и решилась выйти замуж. Газета прибавляет, что такая *счастливая* развязка, верно, будет много способствовать к выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший дом, неужели Китай, Индия, над юродствами и уродствами которых мы столько издеваемся, представляют что-нибудь безобразнее, глупее этой истории? Я уже не говорю — безнравственнее. Парижский роман в сто раз преступнее всех поджариваемых вдов и зарываемых весталок. Там *вера,* снимающая всякую ответственность, а здесь одни условные призрачные понятия о внешней чести, о внешней репутации... Не явно ли из дела, что за человек студент? За что же судьбу девушки сковали с ним à perpétuité? За что же ее сгубили для спасения имени?! О, Бедлам! (1866).


BAINS DU
COMMERCE

Июньские дни 1848 года в Париже.

Гравюра из газеты «L'Illustration»
от 8 июля 1848 года.

и прочим, был даже в те времена принят свистом и пал под громом смеха и пренебрежения.

Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполья инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей...

Брак для христианства — уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат [1].

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую победу свою над человеческой природой.

Вообще христианский брак мрачен и несправедлив, он восстановляет неравенство, против которого проповедует Евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована, выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар католичества и рыцарства.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша-паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос.

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика... стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом,— слагается в тиши *народная легенда*, раздается песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером — она поет *за* несчастную женщину. Суд разит — песня отпускает. Церковь предает анафеме любовь вне брака — песня проклинает брак без любви. Она защищает влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем. Песня для народа — его светская молитва, его *другой* выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

В праздничные дни литании богородице сменялись печальными звуками des complaintes [2], которые не предавали позору

---

[1] неоформленный брак *(от лат. concubinatus).— Ред.*
[2] жалобных песен *(франц.).— Ред.*

несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили перед всех скорбящей девой, прося ее заступы и прощенья.

Из песен и легенд протест растет в роман и драму. В драме он становится силой. Обиженная любовь, мрачные тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный суд. Процесс их потрясал тысячи сердец, вырывая слезы и крики негодования против кабального брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и лож произносили постоянно свое оправдание лицам и осуждение институтам.

Между тем в эпоху политических перестроек и светского направления умов одна из двух крепких ножек брака стала подламываться. Переставая все более и более быть таинством, то есть теряя последнюю основу свою, он тем больше опирался на полицию. Только мистическим вмешательством высшей силы и может быть оправдан христианский брак. Тут есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надевающий на себя трехцветный шарф и венчающий с гражданским кодексом в руке, гораздо нелепее священника в ризе, окруженного дымом ладана, образами, чудесами. Сам первый консул Наполеон, самый буржуазно-прозаический человек в деле любви и семьи, догадался, что брак на съезжей больно плох, и уговаривал Камбасереса прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *верной* мужу (о нем ни слова) и слушаться его.

Как скоро брак выходит из сфер мистицизма — он делается expédient[1], внешней мерой. Ее ввели испуганные «Синие Бороды», обрившиеся и сделавшиеся «синими подбородками», Раули в судейских париках, академических фраках, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданский брак — мера государственного хозяйства, освобождение государства от воспитания детей и вящее прикрепление людей к собственности. Брак без вмешательства церкви сделался кабальным контрактом на пожизненное отдание своего тела друг другу. До веры, до мистических бредней законодателю дела нет, лишь бы контракт был исполнен, а не будет исполнен, он найдет средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? В Англии, в классической стране юридического развития, подвергают же страшнейшим истязаниям шестнадцатилетнего мальчика, которого старый казарменный сводник, с лентами на шляпе, напоит элем и джином и завербует в полк. Отчего же не наказывать позором, разореньем, выдачей головой девочку, которая, не давая себе отчета в том, что

[1] средством *(франц.).— Ред.*

делает, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra [1], забывая, что season ticket [2] не передается.

Но и на «синий подбородок» пашлись свои труверы и романисты. Против контрактового брака водрузился догмат психиатрический, физиологический, догмат *абсолютной непреложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними.*

Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет.

Затем стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам — дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения.

Мнимые силы, если люди их принимают за действительные, точно так же мощны, как и действительные, и это потому, что материал, даваемый человеком, *тот же* — какая бы сила ни была. Человек, который боится духов, и человек, который боится бешеных собак, боится одинаким образом и может умереть от страха. Разница в том, что в одном случае человеку можно доказать, что он боится вздора, а в другом — нельзя.

Я отрицаю то царственное место, которое дают *любви* в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением.

Неужели мы освободились от всего на свете: от бога и диавола, от римского и уголовного права — и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы или уснуть на коленях Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони вместо одного?

Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратнее точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше *загнана в любовь*... Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Мне ее жаль.

---

[1] лишнее *(лат.).— Ред.*

[2] сезонный билет *(англ.).— Ред.*

III

Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрассудки в женском воспитании? Их разбивает опыт, и оттого-то ломится не предрассудок, а жизнь.

Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбище или места, на которых совершилось злодейство. Одни боятся нечистых духов, другие — чистой правды и остаются при фантастическом неустройстве и неисследованной тьме. Серьезного единства во взгляде на половые отношения так же мало, как во всех практических сферах. Все еще мерещится возможность соединить христианскую нравственность, идущую от попрания плоти на *тот свет,* с земной, реальной нравственностью *этого* света. С досады, что не ладится и чтоб не долго мучить себя над разрешением вопросов, люди оставляют по выбору и по вкусу то, что им нравится из церковного учения, и бросают то, что не нравится, на том самом основании, на котором, не соблюдая постов, усердно едят блины, и, не оставляя веселых религиозных обычаев, устраняются от скучных. А кажется, давно пора внести больше спетости и мужества в поведение. Пусть уважающий закон остается подзаконным и не нарушает его, а не принимающий — свободным от него открыто и сознательно.

Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее.

С детских лет девушка испугана половым отношением, какой-то *страшной, нечистой тайной,* от которой ее предостерегают, отстращивают, как будто этот грех имеет какую-то чарующую силу. И потом то же чудовище, то же magnum ignotum [1], пятнающее неизгладимым пятном, дальнейший намек на которое заставляет краснеть и позорит, ставится целью ее жизни. Мальчику, едва умеющему ходить, дают жестяную саблю, приучая его к убийству, ему пророчат гусарский мундир и эполеты; девочку убаюкивают надеждой богатого, красивого жениха, и она мечтает об эполетах, но не на своих плечах, а на плечах суженого.

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'à l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier [2].

[1] великое неизвестное *(лат.).— Ред.*

[2] Спи, спи, дитя мое, до пятнадцати лет, в пятнадцать лет придется проснуться, в пятнадцать лет придется выйти замуж *(франц.).— Ред.*

Надобно дивиться хорошей человеческой натуре, не поддающейся такому воспитанию; следовало бы ожидать, что все девочки, так убаюканные, с пятнадцати лет пустятся на ускоренную замену убитых мальчиками, приученными с детства к смертоносным оружиям.

Христианское учение вселяет ужас перед «плотью» прежде, чем организм сознает свой пол; оно будит в ребенке опасный вопрос, бросает тревогу в отроческую душу, и, когда приходит время ответа,— *другое* учение возводит, как мы сказали, для девушки половое назначение в искомый идеал; ученица становится *невестой,* и та же тайна, тот же грех, но *очищенный,* является венцом воспитанья, желанием всех родных, стремлением всех усилий, чуть не общественным долгом. Искусства и науки, образование, ум, красота, богатство, грация — все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь к *официальному* падению... к тому же греху, мысль о котором считалась преступлением, но которое изменило свою сущность тем чудом, которым папа, взалкавши на дороге, благословил *скоромное блюдо в постное.*

Словом, отрицательно и положительно все воспитание женщины остается воспитанием половых отношений, около них вертится вся ее последующая жизнь... *от них* она бежит, *к ним* она бежит, *ими* опозорена, *ими* гордится... Сегодня хранит отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подруге, краснея, шепотом говорит о любви; завтра при блеске и шуме, при толпе, зажженных люстрах и громе музыки бросается в объятия мужчины.

Невеста, жена, мать — женщина едва под старость, *бабушкой,* освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно, если *дедушка* умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее... беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви; в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, не разрывается.

На это физиологически крепкое и глубокое отношение христианство дунуло своим лихорадочным, монашеским аскетизмом, своими романтическими бреднями и раздуло его в безумное и разрушительное пламя — ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщине из этого хаоса — геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день от случайности к случайности и от противоречия к противоречию.

Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!

Я видел одну борьбу и одну победу...

ГЛАВА XLII

Coup d'Etat.— Прокурор покойной республики.— Глас коровий в пустыне.— Высылка прокурора.— Порядок и цивилизация торжествуют

> «Vive la mort [1], друзья! И с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения.
>
> Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надо ее поднять — мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением устрашенных событиями в Париже».
>
> *«Письма из Франции и Италии», письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1851 г.*

Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Pasquale Rocca и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что «Бонапарт разогнал Собрание и назначил *красное* правительство». Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне Франции (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе — не знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов, политических кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило?

Через час явились Фогт, Орсини, Хоецкий, Матьё и другие,— все были удивлены... Матьё, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя.

Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, то есть с черепом чисто галльским, непоместительным, но упрямым, с большой, тем-

[1] Да здравствует смерть *(франц.).— Ред.*

ной и нечесаной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами — Матьё походил на пророка, на юродивого, на авгура и на его птицу. Он был юрист и в счастливые дни Февральской республики был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей — он отдался революции, так, как отдаются религии: с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю-Роллена — «Ледрррю» и Луи Блана — Бланом просто, говорил, когда мог, «citoyen» и постоянно конспирировал.

Получивши весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через два дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась, que cela chauffe [1], и особенно на юге, в Варском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтоб войти в сношения с представителями восстания... кой-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя Вар на известном месте, собрать на совещание людей важных и надежных... Но чтоб жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы «коровьим мычанием». Если дело пойдет на лад, Орсини хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матьё, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, верный своей революционной и немного кондотьерской натуре, стал приготовлять своих товарищей и оружие. Матьё пропал.

Через сутки ночью меня будит Рокка, часа в четыре:

— Два господина, прямо с дороги, им очень нужно, говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку — «Гражданин, бога ради, как можно скорее, вручите подателю триста или четыреста франков, крайне нужно. *Матьё*».

Я захватил деньги и сошел вниз: в полумраке сидели у окна две замечательные личности; привычный ко всем мундирам революции, я все-таки был поражен посетителями. Оба были покрыты грязью и глиной с колен до пяток, на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих — затасканные пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное — как следует: всклоченные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав, «citoyen», произнес речь, в которой коснулся до моих цивических добродетелей и до денег, которые ждет Матьё. Я отдал деньги.

— Он в безопасности? — спросил я.

— Да,— отвечал его посол,— мы сейчас идем к нему за Вар. Он покупает лодку.

— Лодку? зачем?

---

[1] недовольство разгорается *(франц.).— Ред.*

— Гражданин Матьё имеет целый план высадки,— гнусный трус лодочник не хотел дать внаем лодку...

— Как, высадку во Франции... с одной лодкой?..

— Пока, гражданин, это тайна.

— Comme de raison [1].

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачем.

На другой день явился сам Матьё, точно так же по уши в грязи... и усталый до изнеможения; он всю ночь мычал коровой, несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальной, а Матьё носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать.

Началась история лодки. Долго ли до греха,— сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев. Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью,— можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французов, но и нас всех в Ницце. Хоецкий взялся его угомонить и сделал это артистом.

Окно Хоецкого, с небольшим балконом, выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матьё, бродящего с таинственным видом по берегу моря... Хоецкий стал ему делать знаки; Матьё увидел и показал, что сейчас придет к нему, но Хоецкий выразил страшнейший ужас — телеграфировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтоб он подошел к балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочках, подкрался.

— Вы не знаете? — спросил его Хоецкий.

— Что?

— В Ницце взвод французских жандармов.

— Что вы?!

— Ш-ш-ш-ш... Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас домовой обыск — вас сейчас схватят, не выходите на улицу.

— Violation du territoire... [2] я буду протестовать.

— Непременно, только теперь спасайтесь.

— Я в St.-Hélène к Герцену.

— С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки, дача его на границе, с огромным садом, и не проведают, как возьмут — да и Рокка видел уже вчера двух жандармов у ворот.

---

[1] Как и следует *(франц.).— Ред.*

[2] Вторжение на чужую территорию *(франц.).— Ред.*

Матьё задумался.

— Идите морем к Фогту, спрячьтесь у него покамест, он, кстати, всего лучше вам даст совет.

Матьё берегом моря, то есть вдвое дальше, пошел к Фогту и начал с того, что рассказал ему от доски до доски разговор с Хоецким. Фогт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему:

— Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вам через два часа надобно ехать в Турин — за горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой.

— Я сбегаю домой за пожитками...— и прокурор республики несколько замялся.

— Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме? За вами следят жандармы, агенты, шпионы... а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, экой Селадон! Дворник! — закричал Фогт (дворник его дома был крошечный немец, уморительный, похожий на давно не мытый кофейник и очень преданный Фогту).— Пишите скорее, что вам нужна рубашка, платок, платье, он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею, целуйтесь и плачьте сколько хотите.

Матьё от избытка чувств обнял Фогта.

Пришел Хоецкий.

— Торопитесь, торопитесь,— говорил он с зловещим видом.

Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея — осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.

— Вы, верно, опять режете гнилых собак или кроликов? — спросил Хоецкий у Фогта.— Quel chien de métier! [1]

— Нет.

— Помилуйте, у вас такой запах в комнате, как в катакомбах в Неаполе.

— Я и сам чувствую, но не могу понять, это из угла... верно, мертвая крыса под полом — страшная вонь...— И он снял шинель Матьё, лежавшую на стуле. Оказалось, что запах идет из шинели.

— Что за чума у вас в шинели? — спросил его Фогт.

— Ничего нет.

— Ах, это, верно, я,— заметила, краснея, Дульцинея,— я ему положила на дорогу фунт лимбургского сыра в карман, un peu trop fait [2].

— Поздравляю ваших соседей в дилижансе,— кричал Фогт, хохоча, как он один в свете умеет хохотать.— Ну, однако, пора. Марш!

---

[1] Что за собачье ремесло! *(франц.)* — *Ред.*

[2] немного передержанного *(франц.)*.— *Ред.*

И Хоецкий с Фогтом выпроводили агитатора в Турин.

В Турине Матьё явился к министру внутренних дел с протестом. Тот его принял с досадой и смехом.

— Как же вы могли думать, чтоб французские жандармы ловили людей в Сардинском королевстве? — Вы нездоровы.

Матьё сослался на Фогта и Хоецкого.

— Ваши друзья,— сказал министр,— над вами пошутили.

Матьё написал Фогту; тот нагородил ему, не знаю какой вздор в ответ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкого, и через несколько недель написал мне письмо, в котором между прочим писал: «Вы один, гражданин, из этих господ не участвовали в коварном поступке против меня»...

К характеристическим странностям этого дела принадлежит, без сомнения, то, что восстание в Варе было очень сильное, что народные массы действительно поднялись и были усмирены оружием с обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и телохранители его, при всем усердии и мычании, не знали, где к ним примкнуть? Никто не подозревает ни его, ни его товарищей, что они намеренно ходили пачкаться в грязи и глине и не хотели идти туда, где была опасность,— совсем нет. Это вовсе не в духе французов, о которых Дельфина Ге говорила, что «они всего боятся, за исключением ружейных выстрелов», и еще больше не в духе de la démocratie militante [1] и красной республики... Отчего же Матьё шел направо, когда восставшие крестьяне были налево?

Несколько дней спустя, как желтый лист, гонимый вихрем, стали падать на Ниццу несчастные жертвы подавленного восстания. Их было так много, что пиэмонтское правительство, до поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками или цыганским табором возле города. Сколько бедствий и несчастий видели мы на этих кочевьях,— это та страшная, закулисная часть внутренних войн, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декабрей.

Тут были простые земледельцы, мрачно тосковавшие о доме, о своей землице и наивно говорившие: «Мы вовсе не возмутители и не partageux; [2] мы хотели защищать порядок, как добрые граждане, ce sont ces coquins [3], которые нас вызвали (то есть чиновники, мэры, жандармы), они изменили присяге и долгу,— а мы теперь должны умирать с голоду в чужом крае или идти под военный суд?.. Какая же тут справедливость?» И действительно, coup d'Etat вроде второго декабря убивает больше, чем людей,—

[1] воинствующей демократии *(франц.).— Ред.*

[2] сторонники раздела земель *(франц.).— Ред.*

[3] а эти негодяи *(франц.).— Ред.*

он убивает всякую нравственность, всякое понятие о добре и зле у целого населения, это такой урок разврата, который не может пройти даром. В числе их были и солдаты, troupiers [1], которые не могли сами надивиться, как они, вопреки дисциплины и приказаний капитана, очутились не с той стороны, с которой полк и знамя. Их число, впрочем, не было велико.

Тут были простые, небогатые буржуа, которые на меня не делают того омерзительного впечатления, как не простые — жалкие, ограниченные люди, они кой-как, с трудом, между обмериванием и обвешиванием усвоивая себе две-три мысли и полумысли об обязанностях,— восстали за них, когда увидели, что их святыня попрана. «Это победа эгоизма,— говорили они,— да, да, эгоизма, а уж где эгоизм, тут порок; надобно, чтоб каждый исполнял долг свой без эгоизма».

Тут были, разумеется, и городские работники, этот искренний и настоящий элемент революции, стремящейся декретировать la sociale и в ту же меру воздать буржуа и aristo [2], в какую они им воздают.

Наконец, тут были раненые — и страшно раненные. Я помню двоих крестьян средних лет, доползших, оставляя кровавый след, от границы до предместья, в котором жители подняли их полумертвыми. За ними гнался жандарм; видя, что граница недалеко, он выстрелил в одного и раздробил ему плечо... раненый продолжал бежать... жандарм выстрелил еще раз, раненый упал; тогда он поскакал за другим и нагнал его сначала пулей, а потом сам. Второй раненый сдался, жандарм второпях привязал его к лошади и вдруг хватился первого... тот дополз до перелеска и пустился бежать... догнать его верхом было трудно, особенно с другим раненым, оставить лошадь невозможно... *Жандарм выстрелил à bout portant* [3] *пленному в голову сверху вниз,* тот упал замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, все кости. Когда он пришел в себя — никого не было... он добрался по знакомым тропинкам, протоптанным контрабандистами, до Вара и перешел его, исходя кровью; тут он нашел совершенно истощенного товарища и с ним *дожил* до первых домов St.-Hélène. Там, как я сказал, их спасли жители. Первый раненый говорил, что после выстрела он зарылся в какие-то кусты, что он потом слышал голоса, что охотник-жандарм, верно, настиг других и поэтому удалился.

Каково усердие французской полиции!

За ним следовало усердие мэров, их помощников, прокуроров *республики* и префектов, оно показалось при подаче и счете

[1] рядовые *(франц.).— Ред.*
[2] социальное устройство общества... аристократу *(франц.).— Ред.*
[3] в упор *(франц.).— Ред.*

голосов; все это истории чисто французские, известные всему миру. Скажу только, что в отдаленных местах меры для достижения огромного большинства при вотировании были взяты с сельской простотой. По ту сторону Вара в первом местечке мэр и жандармский brigadier сидели возле урны и смотрели, какой бюльтень кто кладет, тут же говоря, что они свернут потом в бараний рог всякого *бунтовщика*. Казенные бюльтени были печатаны на особой бумаге,— ну, так и вышло, что во всем местечке нашлось, не знаю, пять или десять смельчаков беспардонных, вотировавших против плебисцита; остальные, и с ними вся Франция, вотировали империю in spe [1].

[1] в будущем *(лат.).— Ред.*

<РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ>

I

(1848)

«Так много понимать (писала Natalie к Огареву в конце 1846 года) и не иметь силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться на *первом* — жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу выработать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне себя, отдаю ему справедливость, а в душе отражается одно мрачное и мучит меня. Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя ничто не удовлетворяет, что ты многим недоволен, а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться,— у меня все есть для этого, лишь развей эту способность».

Эти строки и остатки журнала, относящегося к тому времени и приложенного в другом месте [1], писаны под влиянием московских размолвок.

Темная сторона снова брала верх — отдаление Грановских испугало Natalie, ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым. Женщина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила как меньшую сестру, ушла далее других. Вырваться во что б ни стало из этого круга сделалось тогда страстной idée fixe [2] Natalie.

Мы уехали.

Сначала новость — Париж,— потом просыпавшаяся Италия и революционная Франция захватили всю душу. Личное раздумье было побеждено историей. Так дожили мы Июньских дней...

...Еще прежде этих страшных, кровавых дней пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежды... «Трех полных

[1] В «Арабесках».

[2] навязчивой идеей *(франц.).— Ред.*

месяцев не прошло еще после 24 февраля, башмаков не успели износить, в которых строили баррикады, а уж усталая Франция напрашивалась на усмирение» [1]. Капли крови не пролилось в этот день — это был тот сухой удар грома при чистом небе, вслед за которым чуется страшная гроза. В этот день я с каким-то ясновидением загляпул в душу буржуа, в душу работника — и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон — сосредоточенную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга, толкаясь ежедневно в совершенной чересполосице — в доме, на улице, в мастерской, на рынке. Страшный, кровавый бой, не предсказывавший ничего доброго, был за плечами. Этого никто не видел, кроме консерваторов, накликавших его; ближайшие знакомые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им легче было схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям; им вообще хотелось не пониманье дела, а торжество над противниками, им хотелось поставить на своем.

Я становился дальше и дальше от всех. Пустота грозила и тут,— но вдруг барабанный бой — утром рано дребезжавший по улицам *сбор* возвестил начало катастрофы.

Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны, они положили черту в моей жизни. Повторю несколько строк, писанных мною через месяц.

«Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать,— не для того чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить о них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще *раздаются* выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St.-Denis на Елисейских полях и мрачное ночное «Sentinelle, prenez garde à vous!..» [2]. Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают,— от этого можно уме-

---

[1] «Письма из Франции и Италии». IX.

[2] Часовой, берегись!.. *(франц.)* — *Ред.*

реть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся; я оправляюсь после Июньских дней, как после тяжкой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре, перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont-Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи; барабан раздавался со всех сторон, артиллерия тянулась со стороны Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после Июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки, на всех переулках строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печальным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... Набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закромы «Насионаля» дали им исполнителей.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Насионаля» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают»,— сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои

лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили ходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie» [1], мальчишки 16, 17 лет хвастали кровью своих братий, запекшейся на их руках, в них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? — об них никто и не думал... местами посыпали песком, кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских полей; на place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла, в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы: кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки: клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого».

Natalie писала около того же времени в Москву: «Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, чтоб *они были живы*, может, и их ждет такая же ужасная доля».

В этих словах отголосок всего пережитого — в них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательствами, и бедный глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот за то, что не слышал «passez au large!» [2].

И как же иначе могло это отразиться на душе женщины, так

---

[1] «Умереть за отечество» *(франц.).— Ред.*
[2] «проходи!» *(франц.) — Ред.*

несчастно, глубоко понимавшей все печальное... Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены желчи — какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд — делал неловким жизнь.

Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз надо всем в душе Natalie — а скорбь истинная, тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, напротив, он сделался *живою болью*. Это было сокрушенье сестры, материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы. Она была *в самом деле* то, что Рашель лгала своей «Марсельезой».

Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам себе, с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды; ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающее через край,— это был выход.

У нее не было его. Утром дети, вечером наши раздраженные, злые споры,— споры прозекторов с плохими лекарями. Она страдала, а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б за ее больной душой я вполовину так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом... я не допустил бы побегам от разъедающего корня проникнуть во все стороны. Я сам их укрепил и вырастил, не изведая, может ли она вынести их, сладить с ними.

Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной беседы, мирного покоя. Мы не умели еще запирать дверей от посторонних. К концу года начали отовсюду являться гонимые из всех стран — бездомные скитальцы; они искали от скуки, от одиночества какого-нибудь дружеского крова и теплого привета.

Вот как она писала об этом: «Мне надоели китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, *иногда*, мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь так похожа на капель весною — кап, кап, кап,— все утро забота о Саше, о Наташе, и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так, что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются,— ну, кажется, отдохну,— нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело, что хорошие люди; иначе я была бы совсем одна, а тут я не одна, и присутствие их *не чувствую,* будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело, а уйдут — ничего не остается... Настает завтра — все то же, настает другое завтра — все то же. Никому другому я бы не сказала этого,— примут за жалобу,

подумают, что недовольна жизнию. Ты понимаешь меня, ты *знаешь,* что я ни с кем в свете не променялась бы; это минутное негодование, усталь... Струя свежего воздуха — и я воскресаю во всей силе»... (21 ноября 1848.)

«Если б все говорить, что проходит по голове, мне иногда так страшно становится, глядя на детей... что за смелость, что за дерзость *заставить* жить новое существо и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою — это страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать: «Вот если б мой ребенок был такой», то есть если б его жизнь была такая... Мой взгляд упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был великий человек, позже — чтоб он был тем, другим... наконец, я хочу, чтоб...»

Тут письмо перервано тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 декабря добавлено: «Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо — а остальное все пустяки...»

24 января 1849. «Как бы я хотела иногда тоже бегать по-мышиному и чтоб эта беготня меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты, среди этих необходимостей — а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучительно чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающими — я не говорю о самом тесном круге — да, если б можно было в нем заключиться,— нельзя. Хочется далее, вон — но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь — что же это? Тридцать лет — и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность,— да, я это говорю громко. А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня расцеловала... Неудовлетворенность? — я слишком счастлива, la vie déborde...[1] Но

Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь оттого, что ты так же слаба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела *так* говорить, не хотела, чтоб они *слышали,* как я говорю. Для них я найду другое. Потом меня пугает мое равнодушие; так немногое, так немногие меня интересуют... Природа — только не в кухне, история — только не в Камере,— потом семья, потом

[1] жизнь бьет через край *(франц.).— Ред.*

еще двое-трое — вот и всё. А ведь какие все добрые — занимаются моим здоровьем, глухотой Коли...»

27 января. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги, они слишком продолжительны, а жизнь так коротка; мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не поможешь, разве только доказать пословицу: «На людях и смерть красна». Но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Америку... Чему мы поверили, что приняли за осуществление, то было пророчество, и пророчество очень раннее. Как тяжело, как безотрадно,— мне хочется плакать, как ребенку. Что личное счастье?.. Общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух наполнен только предсмертным заразительным дыханием».

1 февраля. «N... N..., если бы ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть все, кроме этого тесного круга...

Невыносимо броженье, которого результат будет через несколько веков; существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого брожения и смотреть так вдаль,— оно сжимается, уничтожается».

Это письмо заключается словами: «Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувствовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию всего существующего...»

ПРИМЕТЫ

Реакция торжествовала; сквозь бледно-синюю республику виднелись черты претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции делал облавы по рощам и катакомбам, отыскивая скрывавшихся. Люди менее воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Тучковы жили в том же доме, Мария Федоровна — у нас, Анненков и Тургенев приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно думая спастись от внутренней тягости, от Июньских дней, взошедших в кровь и которые они везли с собой.

Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принесть столько человеческих жертв и столько самого себя на заклание богу жестокому и беспощадному.

День нашей разлуки с Тучковыми и с Марией Федоровной как-то особо каркнул вороном в моей жизни; я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других.

Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они — последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические *приметы*, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнию.

Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знакомых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7 часов утра; ложиться спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое всегда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех... разговор не клеился, всем сделалось не по себе; налитое вино выдыхалось, натянутые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавесь, и лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.

Все были печальны; я задыхался от грусти.

Жена моя сидела на небольшом диване; перед ней на коленях и скрывая лицо на ее груди стояла младшая дочь Тучкова «Consuelo di sua alma» [1] — как она ее звала. Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жизни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух шагах молча и мрачно сидела Мария Федоровна; она давно свыклась с покорностью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто «Прощайте», в то время как сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало «До свиданья».

Потом мы поехали их провожать. В высоком пустом каменном амбаркадере было пронзительно холодно, двери хлопали неистово, и сквозной ветер дул со всех сторон. Мы уселись в углу на лавке; Тучков пошел хлопотать с чемоданами. Вдруг дверь отворилась, и два пьяных старика шумно взошли в залу. Платья их были замараны, лица искажены, от них несло диким развратом. Они взошли, ругаясь, один хотел ударить другого, тот посторонился и, размахнувшись что есть силы, ударил его самого в лицо; пьяный старик полетел со всех ног. Голова его с каким-то дребезжащим, пронзительным звуком щелкнулась о каменный пол; он вскрикнул, приподнял голову, кровь лилась ручьями по седым волосам и камням. Полиция и пассажиры с неистовством бросились на другого старика.

---

[1] Утешение моей души *(итал.).— Ред.*

С вечера раздраженные, взволнованные, в натянутом состоянии, мы крепились, но страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося черепа, произвело во всех что-то истерическое. Наш дом и весь наш круг был во все времена чист и свободен от «трагинервических явлений», но это было сверх сил; я чувствовал дрожь во всем теле, жена моя была близка к обмороку, а тут звонок — пора, пора! — и мы остались вдруг за решеткой — одни.

Ничего нет грубее и оскорбительнее для расстающегося, как полицейские меры во Франции на железных дорогах; они крадут у остающегося последние две-три минуты... *Они* еще тут, машина не свистнула еще, поезд не отошел, но между вами загородка, стена и рука полицейского,— а вам хочется видеть, как сядут, как тронутся с места, потом следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уж ничего не видать...

...Молча приехали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэло; по временам, завертываясь в шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этот звук? он у меня в ушах».

Дома я уговорил ее прилечь, а сам сел читать газеты; читал, читал и premiers-Paris [1], и фельетоны, и смесь, взглянул на часы — еще не было двенадцати... Вот день! Я пошел к Анненкову, он тоже ехал на днях; с ним отправились мы гулять, улицы были скучнее чтения, такая тоска... точно угрызения совести томили меня. «Пойдемте ко мне обедать»,— сказал я, и мы пошли. Жена моя была решительно больна.

Вечер был бессвязен, глуп.

— Итак, решено,— спросил я Анненкова, прощаясь,— вы едете в конце недели?

— Решено.

— Жутко будет вам в России.

— Что делать, мне ехать необходимо; в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

Я тогда еще мог возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не писали еще своих доносов, но внутри дело было решено. Слова Анненкова между тем все-таки неприятно коснулись моих обнаженных нерв, я подумал и отвечал:

— Нет, для меня выбора нет, я должен остаться и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на place Maubert.

Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь переполняла меру, когда вся моя жизнь казалась мне одной продол-

[1] передовые статьи парижских газет *(франц.).— Ред.*

жительной ошибкой, когда я сомневался в самом себе, в *последнем,* в *остальном,* приходили мне в голову эти слова: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой?» Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования.

. . . . . .

И опять потянулось время... день за день... серое, скучное... Мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнанники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений; полные самоуверенности, надежд, они принимали реакцию, подымавшуюся во всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу, они ждали завтра, через неделю свой черед...

Я чувствовал, что они ошибаются, но мне нравилась их ошибка, я старался быть непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении. Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день... Я метался от тоски туда, сюда, искал рассеяний... в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на людях, но все чего-то недоставало, смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка резала по сердцу, и веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы; факты сурово подымались со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния; оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена... из общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отрицанием и сомнением, переходящим в поведение: мысль смела, язык дерзок, он легко произносит слова, которых сердце боится; в груди еще тлеют верования и надежды, тогда когда забежавший ум качает головой. Сердце отстает, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается.

Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда потеря одних верований расчищает место другим; может, в старости, когда все становится безразлично от устали,— эти переломы делаются легче, но nel mezzo del cammino di nostra vita [1] они достаются не даром.

Что же, наконец, все это — шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула, обманула в свою пользу; ей нужны для закваски

[1] в средине жизненного пути *(итал.).— Ред.*

сумасшедшие, и дела нет, что с ними будет, когда они придут в себя; она их употребила — пусть доживают свой век в инвалидном доме. Стыд, досада! А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему малодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня и, вечно озабоченные, вечно занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем, вечно идут — и всё ни с места... Они вас судят, утешают, журят — какая скука, какое наказанье!

«Люди веры, люди любви», как они называют себя в противуположность нам, «людям сомненья и отрицанья», не знают, что такое полоть с корнем упования, взлелеянные целой жизнию, они не знают *болезни истины,* они не отдавали никакого сокровища с тем «громким воплем», о котором говорит поэт:

> Ich riβ sie blutend aus dem wunden Herzen,
> Und weinte laut und gab sie hin [1].

Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие,— им незнакома внутренняя борьба, они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей; внутри все цело, совесть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащий других, им кажется капризом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый смеется над своей деревяшкой, и заключают, что ему операция ничего не стоила; им в голову не приходит, отчего он состарился не по летам и как ноет отнятая нога при перемене погоды, при дуновении ветра.

Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших «С того берега». Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя.

Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться... от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: «Omnia mea mecum porto»! [2]

---

[1] Я вырвал ее, истекая кровью, из раненого сердца и громко заплакал и отдал ее *(нем.).— Ред.*

[2] «Все мое ношу с собой»! *(лат.) — Ред.*

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов, обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма без юности, без веры. С этим fara da me[1] моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, *но без всего*...

ТИФОИДНАЯ ГОРЯЧКА

Зимой 1848 была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потом сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла; Райе, известный доктор, советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть и, не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване; прошло несколько часов, сон продолжался. Фогт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. «Посмотрите,— сказал он,— на ребенка, ведь это вовсе не естественный сон». Мертвая, слегка синеватая бледность лица испугала меня, я положил руку на лоб — лоб был совершенно холодный. Я бросился сам к Райе, по счастью, застал его дома и привез с собой. Малютка не просыпалась; Райе приподнял ее, сильно потрёс и заставил меня громко звать ее по имени... она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тем же сном, тяжелым, мертвым, дыхание едва-едва было заметно; она в этом состоянии, с небольшими переменами, оставалась несколько дней, без пищи и почти без питья; губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятны,— это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не слишком обнадеживал.

Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая, сидела моя жена день и ночь у кроватки; глаза ее покрылись тем жемчужным отливом, которым высказывается усталь, страдание, истощение сил и неестественное напряжение нерв. Раз, часу во втором ночи, мне показалось, что Тата не дышит; я смотрел на нее, скрывая ужас; жена моя догадалась.

— У меня кружится в голове,— сказала она мне,— дай воды.

Когда я подал стакан, она была без чувств. И. Тургенев, приходивший делить мрачные часы наши, побежал в аптеку за аммониаком, я стоял неподвижно между двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки, мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя.

— Что? — спросила она.

---

[1] ставкой на самого себя *(итал.).— Ред.*

— Кажется, Тата открывала глаза,— сказала наша добрая, милая Луиза.

Я посмотрел—будто просыпается; я назвал ее шепотом по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растрескавшимися губами. С этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злее, мучительнее разлагают человека, нежели детские болезни, я их знаю, но *тупого* яда, берущего истомой, обессиливающего в тиши, оскорбляющего страшной ролей праздного свидетеля, хуже нет.

Тот, кто раз на своих руках держал младенца и чувствовал, как он холодел, тяжелел, становился каменным; кто слышал последний стон, которым тщедушный организм умоляет о пощаде, о спасении, просится остаться на свете; кто видел на своем столе красивый гробик, обитый розовым атласом, и беленькое платьице с кружевами, так отличающееся от желтого личика,— тот при каждой детской болезни будет думать: «Отчего же не быть и другому гробику вот на этом столе?»

Несчастие — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий, то есть боится снова перечувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых память не разносится с тучами.

Стон больного ребенка наводит на меня такой внутренний ужас, обдает таким холодом, что я должен делать большие усилия, чтоб победить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи я в первый раз пошел пройтиться; на дворе было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеем, но, несмотря ни на холод, ни на ранний час, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюльтени: с лишком пять миллионов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона.

Осиротевшая передняя наконец нашла своего барина!

...В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою иной ряд несчастий, сгубивший в *частном* быте еще больше, чем черные Июньские дни — в *общем*. Личность эта быстро подошла к нам, втесняет себя, не давая образумиться... В обыкновенное время я скоро знакомлюсь и туго сближаюсь с людьми, но время-то тогда, скажу еще раз, не было обыкновенное.

Все нервы были открыты и болели, ничтожные встречи, неважные напоминовенья потрясали весь организм. Помню я,

например, как дня три после канонады я бродил по предместью св. Антония; все еще носило свежие следы свирепого боя: развалившиеся стены, неснятые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие женщины, дети, рывшиеся в мусоре... Я сел на стул перед небольшим кафе и смотрел с щемящимся сердцем на страшную картину. Прошло с четверть часа. Кто-то тихо положил мне руку на плечо,— это был Довиат, молодой энтузиаст, проповедовавший в Германии à la Ruge какой-то своего рода неокатолицизм и уехавший в 1847 в Америку.

Он был бледен, черты его расстроены, длинные волосы в беспорядке; на нем было дорожное платье.

— Боже мой! — сказал он,— *как* мы с вами встречаемся!

— Когда вы приехали?

— Сегодня. Узнав в New-York'е о Февральской революции, о всем, что делается в Европе, я на скорую руку продал все, что мог, собрал деньги и бросился на пароход, полный надежд и с веселым сердцем. Вчера в Гавре я узнал о последних событиях, но моего воображения недоставало, чтоб представить себе *это*.

Мы оба еще раз посмотрели, и у обоих глаза были полны слез.

— Ни дня, ни одного дня в проклятом городе! — сказал взволнованный Довиат и был в самом деле похож на юного пророчествующего левита.— Вон отсюда! Вон! Прощайте — еду в Германию!

Он уехал и попался в прусскую тюрьму, где просидел лет шесть.

Помню еще представление «Катилины», которого ставил тогда на своем историческом театре крепконервный Дюма. Форты были набиты колодниками, излишек отправляли стадами в Шато д'Иф, в депортацию, родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтоб им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил Июньские дни в римской латиклаве на сцену... Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен — Катилина и Марк Туллий — Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью. Восстание побеждено, Ламартин прошел по сцене со своим «Vixerunt» [1],— декорации меняются. Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти лежат между мертвыми, умершие покрыты окровавленными рубищами... У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых, молодых жил?.. Я бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан...

---

[1] «Отжили» *(лат.).— Ред.*

В такие судорожные дни, когда человек из кабака и театра, из своего дома и из кабинета чтения выходит в лихорадке, с воспаленным мозгом, задавленный внутри, глубоко оскорбленный и готовый оскорбить первого встречного,— в эти времена каждое слово симпатии, каждая слеза того же горя, каждая брань той же ненависти имеет страшную силу.

Одинакими ранами быстро сродняются больные места.

...В первые времена моей юности меня поразил один французский роман, которого я впоследствии не встречал,— роман этот назывался «Arminius». Может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал и долго бродил в голове моей. Я помню главные черты его до сих пор.

Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного — старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого — дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, то есть знаем *официальную,* газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города — разрушенными семьями, поля сражений — забытыми могилами. Автор «Арминия» (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб.

Всемирная история, распускаясь в сказании, становится ближе к нам, соизмеримее, живее. Я был так увлечен «Арминием», что сам принялся писать около 1833 года ряд исторических сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полицеймейстер Цынский. Но, конечно, писавши их, мне не приходило в мысль, что и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колей истории.

Что там ни толкуют, а есть сходные стороны в наших отношениях к европейцам. Наша цивилизация накожна, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных, уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги — но мы далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растления. У нас умственное развитие[1] служит чистилищем и порукой.

[1] Писано в 1857 году.

Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не переходило.

На Западе это не так. И вот почему мы легко отдаемся человеку, касающемуся наших святынь, *понимающему* наши заветные мысли, смело говорящему то, о чем мы привыкли молчать или говорить шепотом на ухо другу. Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосягаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которыми падает всякое отношение, всякое чувство,— ему нужна роля, позы на сцене, ему нужно во что бы ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям. Наш брат, степняк, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им, долго не приходит в себя, а потом бросается, как раненый медведь, и ломает кругом деревья, и ревет, и взметает землю,— но поздно,— и его противник его же указывает пальцем... Много еще разовьется ненависти и прольется крови из-за этих двух разных возрастов и воспитаний.

...Было время, я строго и страстно судил человека, разбившего мою жизнь, было время, когда я искренно желал *убить* этого человека... С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим, беспрерывным разбором. В эти *семь лет* я узнал и свой собственный предел, и предел многих, и вместо ножа — у меня в руках скальпель, и вместо брани и проклятий — принимаюсь за рассказ из психической патологии.

II

За несколько дней до 23 июня 1848, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.

— Да это вы? — сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки.— Можно ли это?.. Узнать вас нельзя...

Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды.

Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дормезе из Парижа в баденский

поход, на провозглашение германской республики. Теперь он возвращался с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими... Разом изменилось все, рухнулось все, и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разорение.

Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Гервегу. Он его знал во время его пущей славы. Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными, особенно художники. Я застал Гервега в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым и скоро познакомился больше фамильярно, чем близко. Осенью 1847 я уехал в Италию. Возвратившись в Париж, я не застал его,— о его несчастиях я читал в газетах. Почти накануне Июньских дней приехал он в Париж и, встретив у меня первый дружеский прием после баденской ошибки, стал чаще и чаще ходить к нам.

Многое мешало мне сначала сблизиться с этим человеком. В нем не было той простой, откровенной натуры, того полного abandon [1], который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был скрытен, лукав, боялся других; он любил наслаждаться украдкой; у него была какая-то не мужская изнеженность, жалкая зависимость от мелочей, от удобств жизни и эгоизм без всяких границ, rücksichtslos [2], доходивший до наивности цинизма. Во всем этом я вполовину винил не его самого.

Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддерживала его слабости, охорашивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был беден,— она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка. Поверженная в прахе, в каком-то вечном поклонении, Huldigung [3] перед поэтом, «шедшим на замену Гете и Гейне», она в то же время задушила его талант в пуховиках мещанского сибаритизма.

Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа *на содержании,* и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они неминуемо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходилось сдать свою квартиру «с золотым обрезом», как мы ее называли,

---

[1] непосредственности *(франц.).— Ред.*
[2] ни с чем не считающийся *(нем.).— Ред.*
[3] почитании *(нем.).— Ред.*

и распродать поодиночке и за полцены своих «Амуров и Купидонов», по счастию не крепостных, а бронзовых.

Я приостановлюсь здесь, чтоб сказать несколько слов об их прежней жизни и о самом браке их, носящем удивительно резкую печать современного германизма.

У немцев, а еще больше у немок, бездна мозговых страстей, то есть страстей выдуманных, призрачных, натянутых, литературных,— это какая-то Überspanntheit [1], книжная восторженность, мнимая, холодная экзальтация, всегда готовая без меры удивляться или умиляться без достаточной причины — не притворство, а ложная правда, психическая невоздержность, эстетическая истерика, ничего не стоящая, но приносящая много слез, радости и печали, много развлечений, ощущений, Wonne! [2] Умная женщина, как Беттина Арним, не могла отделаться во всю свою жизнь от этой немецкой болезни. Жанры могут изменяться, содержание — быть иным, но, так сказать, психическое обработывание материала — одно и то же. Все сводится на разные вариации, разные нюансы сладострастного пантеизма, то есть религиозно-полового и теоретически влюбленного отношения к природе и людям, что вовсе не исключает романтического целомудрия и теоретического сладострастья ни у светских жриц Космоса, ни у монашествующих невест Христа, богоблудствующих в молитве. Те и другие порываются быть нареченными сестрами грешниц в самом деле. Делают они это из любопытства и сочувствия к *падениям,* на которые сами никогда не решатся, и всякий раз отпускают им грехи, даже тогда, когда те не просят об этом. Самые восторженные из них проходят весь курс страстей без приложения и искушаются всеми грехами как-то заочно, per contumaciam [3], по книжкам других и собственным тетрадкам.

Одна из самых общих черт всех восторженных немок — это идолопоклонство гениям и великим людям; религия эта идет из Веймара со времен Виланда, Шиллера и Гете. Но так как гении редки и Гейне жил в Париже, а Гумбольдт был слишком стар и слишком реалист, они бросились с каким-то голодным отчаянием на хороших музыкантов, на недурных живописцев. Образ Ф. Листа, как электрическая искра, прошел через сердца всех немок, выжигая в них высокий лоб и длинные, назад отчесанные волосы.

За неимением, наконец, общегерманских великих людей, они брали, так сказать, удельных гениев, чем бы то ни было отличившихся; все женщины влюблялись в него, все девушки schwärmten

[1] мания преувеличения *(нем.).— Ред.*
[2] наслаждения *(нем.).— Ред.*
[3] упрямо *(лат.).— Ред.*

für ihn [1], все шили ему на канве подтяжки и туфли и посылали разные сувениры — секретно, без имени.

В сороковых годах умы в Германии были сильно возбуждены. Можно было ожидать, что народ этот, поседевший за книгой, как Фауст, захочет наконец, как он, выйти на площадь посмотреть на белый свет. Мы знаем теперь, что это были *ложные тревоги,* что новый Фауст из Ауэрбахова погребка возвратился вспять в штудирциммер [2]. Тогда казалось иначе, особенно немцам, а потому всякое проявление революционного духа находило горячее признание. В самый разгар этого времени показались политические песни Гервега. Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Гервега с Гейне могла только его жена. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гете и не Вольтеры, а Беранжеровы песни и «Марсельеза», переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Гервега оканчивались иной раз in crudo [3] французским криком: «Vive la République!», и это приводило в восторг в 42 году — в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно.

Гервег, поэт-лавреат демократии, проехал с банкета на банкет всю Германию и наконец явился в Берлин. Всё бросилось приглашать его, для него давали обеды и вечера, все хотели его видеть, даже у самого короля явилось такое желание поговорить с ним, что его доктор Шенлейн счел нужным представить Гервега королю.

В нескольких шагах от дворца в Берлине жил банкир. Дочь этого банкира была уже давно влюблена в Гервега. Она его никогда не видала и не имела об нем никакого понятия, но она, читая его стихи, почувствовала в себе *призвание* сделать его счастливым и в его лавровый венок вплести розы семейного блаженства. Когда же она увидела его в первый раз на вечере, который давал ее отец, она окончательно убедилась, что *это он,* и он на самом деле сделался ее *он.*

Предприимчивая и решительная девушка повела стремительно свою атаку. Сначала двадцатичетырехлетний поэт отпрянул назад от мысли о браке, и притом о браке с особой очень некрасивой, с несколько юнкерскими манерами и громким голосом: будущность открывала перед ним обе половины парадных дверей,— какой же тут семейный покой, какая жена!.. Но дочь банкира открывала, с своей стороны, в *настоящем* мешки червонцев, путешествие по Италии, Париж, страсбургские пироги и Clos de

[1] мечтали о нем *(нем.).— Ред.*
[2] классную комнату *(от нем. Studierzimmer).— Ред.*
[3] в подлиннике *(лат.).— Ред.*

Vougeot... Поэт был беден, как Ир. Жить у Фоллена нельзя было вечно,— поколебался он, поколебался и... принял предложение, забыв старику Фоллену (деду Фогта) сказать спасибо.

Эмма сама мне рассказывала, как подробно и отчетливо поэт вел переговоры о приданом. Он даже прислал из Цюриха рисунки мебели, гардин и тому подобное и требовал, чтоб все это было выслано *прежде* свадьбы,— так он требовал. О любви нечего было и думать; ее надобно было чем-нибудь заменить. Эмма поняла это и решилась упрочить свою власть иными средствами. Проведя несколько времени в Цюрихе, она повезла мужа в Италию и потом поселилась с ним в Париже. Там она отделала своему «шацу»[1] кабинет с мягкими диванами, тяжелыми бархатными занавесками, дорогими коврами, бронзовыми статуэтками и устроила целую жизнь пустой праздности; ему это было ново и нравилось, а между тем талант его туск, производительность исчезала; она сердилась за это, подстрекала его и в то же время утягивала его больше и больше в буржуазный эпикуреизм[2].

Она была по-своему не глупа и имела гораздо больше силы и энергии, чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала — но не то, что нужно, училась всякой всячине — не доходя ни в чем до зенита. Отсутствие женственной грации неприятно поражало в ней. От резкого голоса до угловатых движений и угловатых черт лица, от холодных глаз до охотного низведения разговора на двусмысленные предметы — у ней все было мужское. Она открыто при всех волочилась за своим мужем так, как пожилые мужчины волочатся за молоденькими девочками; она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом, поправляла ему шейный платок, волосы и как-то возмутительно нескромно хвалила его. При посторонних он конфузился, но в своем круге не обращал на это никакого внимания, так, как занятый делом хозяин не замечает усердия, с которым собака лижет ему сапоги и ласкается к нему. У них бывали и сцены иногда из-за этого, после ухода гостей; но на другой день влюбленная Эмма снова начинала ту же травлю любовью, и он снова выносил ее из-за удобств жизни и из-за ее обо всем пекущейся опеки.

До чего она избаловала своего миньона[3], всего лучше покажет следующий анекдот.

---

[1] «сокровищу» *(от нем. Schatz).— Ред.*

[2] Вот до чего шла ее предусмотрительность. Раз в Италии Гервег был недоволен одеколонью. Сейчас жена пишет к Jean-Marie Farina, чтоб прислать ящик чистейшей одеколони в Рим. Между тем они из Рима уехали, оставляя приказ переслать письма и посылки в Неаполь; так точно они уехали из Неаполя. Несколько месяцев спустя ящик с одеколонью явился к ним в Париж с неимоверным счетом своих путевых издержек.

[3] любимчика *(от франц. mignon).— Ред.*

Ницца. .

Литография Жюля Арну.
1850-е годы.

Раз после обеда заходит к ним Ив. Тургенев. Он застает Гервега, лежащего на диване. Эмма терла ему ногу и остановилась.

— Что ж ты перестала — продолжай,— сказал устало поэт.

— Вы больны? — спросил Тургенев.

— Нет, нисколько, но это очень приятно... Ну, что нового?

Они продолжали разговаривать,— Эмма потирать ноги.

Уверенная в том, что все удивляются мужу, она беспрестанно болтала о нем, не замечая ни того, что это очень было скучно, ни того, что она ему вредила анекдотами об его слабонервности и капризной требовательности. Для нее все это казалось бесконечно милым и достойным запечатлеться на веки веков в людской памяти — других это возмущало.

— Георг у меня страшный эгоист и баловень (zu verwöhnt[1]),— говаривала она,— но кто ж и имеет больше прав на баловство? Все великие поэты были вечно капризными детьми, и их всех баловали... На днях он купил мне превосходную камелию; дома ему так стало жаль ее отдать, что он даже не показал мне ее и спрятал в свой шкап и держал там, пока она совсем завяла,— so kindisch!..[2]

Это — слово в слово ее разговор.

Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны, он и упал в нее и, если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором.

Шум Февральской революции разбудил Германию. Говор, ропот, биение сердца слышались с разных концов единого и разделенного на тридцать девять частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб и обдумывали, что сделать. Временное правительство ободряло их — не на восстание, а на удаление из Франции: им что-то и от французских работников не спалось. После напутственного благословения Флокона и крепкого словца о тиранах и деспотах Коссидьера,— конечно, могло случиться,— этих бедняков и расстреляют, и повесят, их бросят лет на двадцать в казематы,— это было не их дело.

Баденская экспедиция была решена — но кому же быть освободителем, кому вести эту новую armée du Rhin, состоящую из несколько сот мирных работников и подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому поэту: лиру за спину и меч в руки, на «боевом коне», о котором он мечтал в своих стихах. Он будет петь после битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей и им продиктует волю *своей* Германии; в Берлине, Unter-den-Linden, поставят его статую, и ее будет

---

[1] слишком избалован *(нем.).— Ред.*

[2] так по-детски *(нем.).— Ред.*

видно из дому старого банкира; века будут воспевать его и — в этих песнопениях... быть может, не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажом, денщиком провожала его, берегла его in der Schwertfahrt![1] И она заказала себе у Юмана rue neuve des Petits Champs военную амазонку из трех национальных цветов: черного, красного и золотого,— и купила себе черный бархатный берет с кокардой тех же цветов.

Через приятелей Эмма указала работникам на поэта; не имея никого в виду и вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание.

На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом?! Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость и самообладание,— тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся перед всякой опасностью. Зачем же она вела его на страшный искус, в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны, лавровый венок веял могилой, а с другой — бегство и позорный столб?

У нее был совсем иной расчет,— его она, не думая, сама рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя; революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены, ясно говорили, что и эти троны покачнулись; трудно себе было представить, чтоб баденский герцог или виртембергский король могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростертыми объятиями: *поэт* провозгласил бы республику, республика провозгласила бы *поэта* диктатором — разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться военной и гражданской славой...

На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат

---

[1] в походе *(нем.).— Ред.*

ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по врожденному холопству, любит их и слепо слушается своих штаб- и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьезного плана, ничего не приготовив. Тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли сделать,— они тоже были побиты, но не побежали с поля сражения, и по счастию... возле них не было влюбленной немки.

При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться,— и окончательно погубила его. Она стала перед ним *под выстрелами* и звала товарищей на спасенье поэта. Солдаты одолевали... Эмма, прикрывая бегство своего мужа, подвергалась быть раненной, убитой или схваченной в плен, то есть посаженной лет на двадцать в Шпандау или Раштадт, да еще предварительно высеченной.

Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат; наконец позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой, подвергая свой дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу.

— Как же имя вашего спасителя? — спросили его мы.

— Я забыл его спросить,— отвечал покойно Гервег.

Раздраженные товарищи его бросились теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была «с золотым обрезом», и аристократическую изнеженность и проч. Его жена до такой степени не понимала portée [1] того, что делала, что месяца через четыре напечатала в защиту мужа брошюру, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был отбросить на него.

Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверен и в том, что они беспорядочно бросались и долею на ненужные прихоти *воинственной четы*. П. Анненков был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями индейки, пастеты у Шеве и укладывались вина и прочее в путевую карету *генерала*. Деньги были даны Флоконом по

[1] значения *(франц.).— Ред.*

распоряжению Временного правительства; в самой сумме их престранные варьяции: французы говорили о 30 000 франков, Гервег уверял, что он не получал и половины, но что правительство заплатило за проезд по железной дороге. К этому обвинению возвратившиеся инсургенты прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались, оборванные, голодные и без гроша денег после поражения, они обратились к Гервегу за помощью — и получили отказ, Эмма даже не допустила их до него — в то время как он жил в богатом отеле... «и носил *желтые* сафьянные туфли». Почему они именно это считали признаком роскоши, не знаю. Но о желтых туфлях я слышал десять раз.

Все это случилось как во сне. В начале марта освободители *in spe* еще пировали в Париже; в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Гервег, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая дорожка к славе засыпана... действительность сурово напомнила ему о его границе; он понял, что его положение — поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора — было неловко... Ему приходилось переродиться или идти ко дну. Мне казалось (и вот где худшая ошибка моя), что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом — больше, чем кто-нибудь.

И мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии писал): «...Я знаю жалкую слабость моего характера,— твой характер яснее моего и сильнее,— поддержи меня, будь мне *старшим братом, отцом*... У меня нет близких людей — я на тебе сосредоточиваю все симпатии; любовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей... да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя... В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя: в безграничной любви к близким моему сердцу».

Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало. Ведь и в баденское восстание он шел не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя,— но, видя опасность, бежал.

Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилий, ни жертвы — все может идти превосходно — целые годы, целая жизнь,— но не попадайся ничего на дороге — иначе быть беде — преступлению или стыду.

Зачем я не знал этого тогда!

К концу 1848 года Гервег стал у нас бывать почти всякий вечер — дома ему было скучно. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она воротилась из баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся у нее не было;

она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива — как будто они возвратились после победы — по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно — недостаток денег и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта, но разорила вконец старика банкира, ее отца.

Она постоянно старалась рассеять мрачные мысли мужа, ей и в голову не приходило, что он только этими грустными мыслями и может спастись.

Внешней, подвижной Эмме не было потребности на эту внутреннюю, глубокую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим entweder — oder[1] всякий гордиев узел — с правой или с левой стороны, все равно,— лишь бы как-нибудь отделаться и снова торопиться — куда? этого-то они и сами не знают. Она врывалась середь речи или с анекдотом, или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная, что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того чтоб из кокетства скрывать свою деловую смышленость, она кокетничала ею. Притом надобно сказать, что она серьезного практического смысла нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и материях — очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании; она постоянно жила sur le qui vive[2], смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходимости жизни и даже здоровья и воспитания детей его капризам.

Гервег, естественно, рвался из дома и искал у нас гармоничного покоя. Он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся — детям столько же, сколько нам. Он мечтал о том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль — и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии.

И при всем этом, кроме одинакового или очень близкого пониманья общих дел, в нас мало было сходного.

Гервег как-то сводил все на свете на себя; он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своем превосходстве. Все это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб

---

[1] или — или *(нем.).— Ред.*
[2] начеку *(франц.).— Ред.*

вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью, что прикажут.

И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в dépit[1] и объяснения, этой вечной жажды внимания, холенья никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, laisser-aller[2] происходило тоже от самолюбия, может быть, я им накликал беды на свою голову, но оно так. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе. С крепкими мышцами и нервами, я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку — но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.

При такой противуположности нельзя себе представить, чтоб между мной и Гервегом не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими, во-вторых, он меня совершенно обезоруживал грустным сознанием, что он виноват. Он не оправдывался, но во имя дружбы просил снисхождения к слабой натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме — она ревниво подтрунивала над этим.

Наступил 1849 год.

III

КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА

Мало-помалу в 1849 я стал замечать в Гервеге разные перемены. Его неровный нрав сделался еще больше неровным. На него находили припадки невыносимой грусти и бессилия. Отец его жены окончательно потерял состояние; спасенные остатки были нужны другим членам семейства — бедность грубее стучалась в двери поэта... он не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества. Эмма выбивалась из сил — занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи... и все это для того, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых — но не шила

[1] досаду *(франц.).— Ред.*
[2] непринужденность *(франц.).— Ред.*

детям белья для того, чтоб он обедал у «Провансальских братий» и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги, не зная, откуда они, и не желая знать. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему— он упорно не понимал, а она сердилась, и все шло по-старому.

Хоть он и боялся бедности до смешного, тем не меньше причина его тоски была не тут.

В его плаче о себе постоянно возвращалась одна нота, которая наконец стала мне надоедать; я с досадой слушал вечное повторение жалоб Гервега на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть; что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и «даже от ее громкого голоса». Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне... В этом лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня — за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер... Мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется... Разбилось все.

Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него — и плач, плач — все это сильно действовало на женщину, едва вышедшую из трудно приобретенной гармонии и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили.

— У тебя есть отшибленный уголок,— говорила мне Natalie,— и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервега. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он — большой ребенок, а ты совершеннолетний, его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить... зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие...

Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с нею... и я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мной не говорит...

Можно беречь тайну, не вверяя ее никому, но только *никому*. Если он говорил о своей любви, он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости, и тайну, так близко касающуюся до него — стало, он не говорил. Я забыл на это время старый роман под заглавием «Арминий»!

...В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж, хлопотать о деньгах моей матери, остановленных русским правительством. С Гервегом мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне.

Я его застал читающего по корректурным листкам отрывки из «Vom andern Ufer» Симону Трирскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день — он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечественно.

Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы... Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека... Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы: «Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?»

Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался у Эммы, но, в сущности, был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо; мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем сочувствии к Гервегу, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое было печально, но спокойно; я ее просил тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и со мной; я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнию, чтоб что-нибудь не договаривать.

«От тебя письмо от 9,— писала Natalie (это письмо осталось, почти все остальные сожжены во время coup d'Etat),— и я тоже сижу и думаю только: «Зачем это?» И плачу, и плачу. Может, я виновата во всем; может, недостойна жить — но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней — так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира — куда же? — надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна, из нее и опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый, я не знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности,— в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души, что-то, как волосок тончайший, мутило душу, а потом опять все становилось светло».

«Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным,— пишет Natalie в другом письме,— искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Гервегу».

Мне было этого мало, и я писал ей: «Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота — он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне — не струна грусти, а другая... Теперь всё еще в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, *Гервег взойдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я. Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим,* что и как... Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; *здесь* мне будет еще тяжелее — и я не вынесу».

На это письмо она отвечала криком ужаса; мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась. «Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с тобой,— как будто это возможно! Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас — я буду укладываться, и через несколько дней я с детьми в Париже».

В день выезда из Цюриха она еще писала: «Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнию сведены,— я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! — я благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеются, как тучи».

Встреча наша в Париже была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознанья, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко.

В длинных разговорах того времени одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Гервегу Natalie словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту.

Ничего не зная о моей переписке с Natalie, Гервег понял что-то недоброе в моих письмах. Я действительно, помимо другого, был очень недоволен им. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги,— он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег. Письма его ко мне, сохранившиеся у меня, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает

меня в холодности; он умоляет не покидать его; он не может жить без меня, без прежнего полного, безоблачного сочувствия; он проклинает недоразумения и вмешательство «безумной женщины» (то есть Эммы); он жаждет начать новую жизнь,— жизнь вдали, жизнь с нами,— и снова называет меня отцом, братом, близнецом.

На все это я писал ему на разные лады: «Подумай, можешь ли ты начать новую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя... порчу, растленную цивилизацию»,— и раза два напомнил Алеко, которому старый цыган говорит: «Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы!»

Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным обличительным документом... чего? Обмана, коварства, лжи?.. Нет; да это было бы и не ново,— а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением, как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?

С той минуты, с которой он угадал мое сомнение и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе,— и *в то же время* своим отчаянием еще сильнее действовал на женщину, которой сердце было потрясено,— с той минуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь молчанием и умолял ее (как я после узнал) не отнимать у него моей дружбы неосторожным словом,— с той минуты начинается преступление.

Преступление!.. Да... и все последующие бедствия идут как простые неминуемые последствия его,— идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они — не *наказание,* а последствие... идут за поколенье — по страшной несокрушимости совершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими, раскаяние искупает его, но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них религия выдумала рай и его сени — монастырь.

...Меня выслали из Парижа и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце,— тогда это была Италия,— и Эмма ехала туда же. Через некоторое время, то есть к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Гервег.

Зачем же я-то с Natalie именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, но, в сущности, он мелок.

Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Гервег мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?

Недели через две-три после своего приезда Гервег принял вид Вертера в последней степени отчаяния, и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась с заплаканными глазами,— он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату Natalie, и обе были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид Natalie и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри.

Еще не было сказано ни слова, но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять являющиеся две сверкающие точки на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги.

IV

ЕЩЕ ГОД

(1851)

Перед Новым годом Natalie принесла мне показать акварель, которую она заказывала живописцу Guyot. Картина представляла нашу террасу, часть дома и двор, на дворе играли дети, лежала Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie. Я думал, что акварель назначена мне, но Natalie сказала, что она ее хочет подарить в Новый год Гервегу.

Мне было досадно.

— Нравится тебе? — спросила Natalie.

— Акварель мне так нравится,— сказал я,— что, если Гервег позволит, я велю сделать для себя копию...

По моей бледности и по голосу Natalie поняла, что эти слова были и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня, слезы были у нее на глазах.

— Возьми ее себе! — сказала она.

— Ни под каким видом, что за шалости.

Больше мы не говорили.

Новый, 1851, мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном состоянии, сел возле Фогта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал остротами и колкостями; Фогт катался со смеху, Гервег печально смотрел исподлобья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой

бокал и сказал, что он одного желает: *«чтоб наступающий год был не хуже прошедшего»*, и что он желает этого всем сердцем, но не надеется, напротив, чует, что *«все, все* распадается и гибнет».

Я промолчал.

На другое утро я взял свою старую повесть «Кто виноват?» и перечитал журнал Любеньки и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы — так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?.. Но внутренний голос говорил мне: «какой ты Круциферский — да и он что за Бельтов — где в нем благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение?» и середь уверенности в минутном увлечении Natalie я был еще больше уверен, что мы померимся с ним, что он меня не вытеснит из ее сердца.

...Случилось то, чего я ожидал: Natalie сама вызвала объяснение. После истории с акварелью и праздника у моей матери откладывать его было невозможно.

Разговор был тяжел. *Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад.* Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда, хотела сама ехать на год в Россию и боялась ехать. Я видел колебанье и видел, что он своим эгоизмом сгубит ее — а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть за молчание.

— Еще раз,— повторял я,— я отдаю судьбу свою в твои руки. Еще раз умоляю все взвесить, все оценить... Я еще готов принять всякое решенье, готов ждать день, неделю, но только *чтоб решенье было окончательное.* Я чувствую,— говорил я,— что стою на пределе моих сил; я еще могу хорошо поступить, но чувствую также, что надолго меня не станет.

— Ты не уедешь, ты не уедешь! — говорила она, заливаясь,— этого я не переживу.— На ее языке такие слова были не шуткой.— Он должен ехать.

— Natalie, не торопись, не торопись брать последнего решенья, потому что оно последнее... думай сколько хочешь, но скажи мне окончательный ответ. Эти приливы и отливы сверх моих сил... я от них глупею, становлюсь мелок, схожу с ума... требуй от меня все, что хочешь, но только сразу...

Тут заехала моя мать с Колей звать нас в Ментоне. Когда мы вышли садиться, оказалось, что одного места недоставало. Я указал рукою место Гервегу. Гервег, вовсе не отличавшийся такой деликатностью, не хотел садиться. Я посмотрел на него, затворил дверцы коляски и сказал кучеру: «Ступайте!»

Мы остались вдвоем перед домом на берегу моря. У меня на душе была плита, он молчал, был бледен как полотно и избегал моего взгляда. Зачем я не начал прямо разговора или не столк-

нул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня. Он сказал мне что-то о страданиях поэта и что жизнь так скверно устроена, что поэт вносит всюду несчастие. Сам страдает и заставляет страдать все ему близкое... Я спросил его, читал ли он «Ораса» Ж. Санд. Он не помнил, я советовал ему перечитать.

Он пошел за книгой к Висконти. *Больше мы с ним не виделись!*

Когда часу в седьмом все собрались к обеду, его не было. Взошла его жена с глазами, опухнувшими от слез. Она объявила, что муж болен,— все переглянулись; я чувствовал, что был в состоянии воткнуть в нее нож, который был в руках.

Он заперся в своих комнатах наверху. Этим étalage [1] он покончил себя, с ним я был свободен. Наконец посторонние ушли, дети улеглись спать,— *мы остались вдвоем.* Natalie сидела у окна и плакала; я ходил по комнате; кровь стучала в виски, я не мог дышать.

— Он едет! — сказала она наконец.

— Кажется, это совсем не нужно — ехать надобно мне.

— Бога ради...

— Я уеду...

— Александр, Александр, как бы ты не раскаялся. Послушай меня — спаси всех. Ты один можешь это сделать. Он убит, он совершенно пал духом,— ты знаешь сам, что́ ты был для него; его безумная любовь, его безумная дружба и сознание, что он нанес тебе огорчение... и хуже... Он хочет ехать, исчезнуть... Но для этого ничего не надобно усложнять, иначе *он на один шаг от самоубийства.*

— Ты веришь?

— Я уверена.

— И он сам это говорил?

— Сам, и Эмма. Он вычистил пистолет.

Я расхохотался и спросил:

— Не баденский ли? Его надобно почистить: он, верно, валялся в грязи. Впрочем, скажи Эмме,— я отвечаю за его жизнь, я ее страхую в какую угодно сумму.

— Смотри, как бы тебе не пожалеть, что смеешься,— сказала Natalie, мрачно качая головой.

— Хочешь, я пойду его уговаривать.

— Что еще выйдет из всего этого?

— Следствия,— сказал я,— трудно предвидеть и еще труднее отстранить.

---

[1] Здесь: кокетничанием *(франц.).— Ред.*

— Боже мой! Боже мой! Дети — бедные дети,— что с ними будет?

— Об них,— сказал я,— надобно было прежде думать!

И это, конечно, самые жестокие слова из всех сказанных мною. Я был слишком раздражен, чтобы человечески понимать смысл слов; я чувствовал что-то судорожное в груди и голове и был, может, способен не только к жестоким словам, но к кровавым действиям.

Она была уничтожена — наступило молчание.

«Прошло с полчаса;[1] я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов — она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли устрашить — жизнь свою я уже не ставил ни в грош,— это одно из первых условий для дел страшных и безумных. Я ни слова не говорил,— я стоял перед большим столом в гостиной, сложа руки на груди... лицо мое было, вероятно, совсем искажено.

Молчание продолжалось,— вдруг я взглянул и испугался: лицо ее покрывала смертная бледность — бледность с синим отливом, губы были белые, рот судорожно полураскрыт; не говоря ни слова, она смотрела на меня мутным, помешанным взглядом. Этот вид бесконечного страдания, немой боли вдруг осадил бродившие страсти, мне ее стало жаль, слезы текли по щекам моим, я готов был броситься к ее ногам — просить прощенья... Я сел возле нее на диван, взял ее руку, положил голову на плечо и стал ее утешать тихим, кротким голосом.

Меня угрызала совесть,— я чувствовал себя инквизитором, палачом... то ли надобно было — это ли помощь друга — это ли участие, и так, со всем развитием, со всей гуманностью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду.

Несколько минут прошли прежде, чем она сказала что-нибудь, могла что-нибудь сказать, и потом вдруг, рыдая, бросилась мне на шею; я ее опустил на диван совершенно изнуренную; она только могла сказать: «Не бойся, друг мой, это хорошие слезы, слезы умиления... нет, нет, я никогда не расстанусь с тобой!»

От волнения, от спазматического рыдания она закрыла глаза,— она была в обмороке. Я лил ей на голову одеколонь, мочил виски, она успокоилась, открыла глаза, пожала мою руку и впала в какое-то забытье, продолжавшееся больше часу; я простоял возле на коленях. Когда она раскрыла глаза, она встретилась с

[1] Частию из письма Гаугу, писанного в марте 1852.

моим печальным и покойным взглядом,— слезы еще катились по щекам, она улыбнулась мне...

Это был кризис. С этой минуты тяжелые чары ослабли — яд действовал меньше.

— Александр,— говорила она, несколько оправившись,— доверши свое дело: поклянись мне,— мне это нужно, я без этого жить не могу,— поклянись, что все кончится без крови, подумай о детях... о том, что будет с ними без тебя и без меня...

— Даю тебе слово, что я сделаю все, что возможно, отстраню всякую коллизию, пожертвую многим, но для этого мне необходимо одно,— чтоб он завтра уехал, ну, хоть в Геную.

— Это как ты хочешь. А мы начнем новую жизнь, и пусть все прошедшее будет прошедшее.

Я крепко обнял ее.

На другой день утром явилась ко мне Эмма. Она была растрепана, с заплаканными глазами, очень безобразна, в блузе, подпоясанной шнурком. Она трагически медленно подошла ко мне. В другое время я бы расхохотался над этой немецкой декламацией. Теперь было не до смеха. Я принял ее стоя и вовсе не скрывая, что мне ее посещение неприятно.

— Что вам надобно? — спросил я.

— Я пришла *от него* к вам.

— Ваш муж,— сказал я,— мог бы сам прийти, если ему нужно, или он уже застрелился?

Она скрестила руки на груди.

— И это *вы* говорите, вы, его друг? Я вас не узнаю! Неужели вы не понимаете трагедию, совершающуюся перед вашими глазами?.. Его нежная организация не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами. Да, да, с вами!.. Он плачет о горе, которое он нанес вам,— он велел вам сказать, что жизнь его в ваших руках, он просит, чтоб вы убили его.

— Что это за комедия,— сказал я, перерывая ее речь,— ну, кто же приглашает людей таким образом, да еще через свою жену, на убийство? Это продолжение пошлых мелодраматических выходок, отвратительных для меня,— я не немец...

— Herr Herzen...

— Madame Herwegh, зачем вы беретесь за такие трудные комиссии? Вы могли ожидать, что вы не услышите от меня ничего приятного.

— Это роковое несчастие,— сказала она, помолчав,— оно равно поразило вас и меня... но посмотрите, какая разница в вашем раздражении и в моей преданности...

— Сударыня,— сказал я,— наши роли были не одинакие. Прошу не сравнивать их, а то как бы вам не пришлось покраснеть.

— Никогда! — сказала она запальчиво.— Вы не знаете, что́ говорите,— и потом прибавила: — Я увезу его, в этом положении он не должен остаться, ваша воля исполнится. Но вы больше не тот в моих глазах, которого я так много уважала и которого считала лучшим другом Георга. Нет, если б вы были тот человек, вы расстались бы с Natalie,— пусть она едет, пусть он едет,— я осталась бы с вами и с детьми здесь.

Я громко захохотал.

Она вспыхнула в лице и голосом, дрожащим от досады и негодования, спросила меня:

— Что это значит?

— Зачем же,— сказал я ей,— вы шутите в серьезных материях? Однако довольно, вот вам мой ultimatum: идите сейчас к Natalie сами, одни, переговорите с ней,— если она хочет ехать — пусть едет, я ничему и никому не буду препятствовать, *кроме того* (извините меня), кроме того, чтоб вы здесь остались; уж я как-нибудь с хозяйством сам справлюсь. Но слушайте: если она не хочет ехать, то это последняя ночь, которую я провожу под одной кровлей с вашим мужем,— *живыми* здесь еще раз ночевать мы не будем!

Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне таким тоном, как будто хотела сказать: «Вот плоды твоих злодеяний!»

— Natalie не едет; она погубила великое существование из самолюбия,— я спасу его!

— Итак?

— Итак, мы на днях едем.

— Как на днях? Что вы это... Завтра утром — вы забыли, что ли, альтернативу?

(Повторяя это, я нисколько не изменял этим слову, данному Natalie: я был совершенно уверен, что она его увезет.)

— Я вас не узнаю, как горько я ошиблась в вас,— заметила сумасбродная женщина и снова вышла.

Дипломатическое поручение на этот раз было легко,— она возвратилась минут через двадцать, говоря, что он на все согласен: и на отъезд, и на дуэль, но с тем вместе он велел мне сказать, *что он дал клятву не поднимать пистолета на мою грудь*, а готов принять смерть из моих рук.

— Вы видите, он все у нас шутит... Ведь и короля французского казнил просто палач, а не близкий приятель. Итак, вы завтра отправляетесь?

— Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово.
— За ночь все можно приготовить.
— Надобно паспорт визировать.

Я позвонил, взошел Рокка, я сказал ему, что m-me Emma просит его сейчас визировать их пасс в Геную.

— Да у нас денег нет на дорогу.
— Много ли вам надобно до Генуи?
— Франков *шестьсот*.
— Позвольте мне вам их вручить.
— Мы здесь должны по лавочкам.
— Примерно?
— Франков пятьсот.
— Не беспокойтесь и — счастливый путь!

Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной страстью.

— За что,— говорила она,— за что это обращение *со мной — меня* вы не имеете права ни ненавидеть, ни презирать.

— Стало, *не вас* имею?

— Нет,— сказала она, захлебываясь слезами,— нет, я только хотела сказать, что я вас любила искренно, как сестра; я не хочу вас оставить, не пожав вам руки, я уважаю вас, вы, может, правы — но вы жестокий человек. Если б вы знали, что я вынесла...

— А зачем вы были всю вашу жизнь рабой? — сказал я ей, подавая руку; на ту минуту я не был способен к состраданию.— Вы заслужили вашу судьбу.

Она вышла вон, закрывая лицо.

На другой день утром, в десять часов, в извозчичьей карете, на которую нагрузили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт mit Weib und Kind[1] в Геную. Я стоял у открытого окна,— он как-то юркнул в карету так быстро, что я и не приметил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижения больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить.

Natalie была расстроена,— мы поехали вдвоем за город, прогулка была печальна; из живых, свежих ран струилась кровь. Воротившись домой, первое лицо, встретившее нас, был сын Гервега, Горас, мальчик лет девяти, шалун и воришка.

— Откуда ты?
— Из Ментоне.
— Что случилось?
— Вот от maman записка к вам.

«Lieber Herzen,— писала она, как будто между нами ничего не было,— мы остановились дня на два в Ментоне; комната в гос-

---

[1] с женой и детьми *(нем.).— Ред.*

тинице небольшая,— Горас мешает Георгу,— позвольте оставить его у вас на несколько дней».

Это отсутствие такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала К. Фогту, чтоб он приехал *на совещание,*— итак, чужие люди будут замешаны. Я просил Фогта взять Гораса и сказать, что места нет.

«Однако,— велела она мне сказать через Фогта,— квартира еще за ними целых три месяца, и я могу ею располагать».

Это было совершенно справедливо — только деньги за квартиру *заплатил я.*

Да, в этой трагедии, как у Шекспира, рядом с звуками, раздирающими сердце, с стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя искра, тухнет мысль,— площадная брань, грубый смех и рыночное мошенничество.

У Эммы была горничная Жаннета, француженка из Прованса, красивая собой и очень благородная; она оставалась дня на два и должна была с их вещами ехать на пароходе в Геную. На другой день утром Жаннета тихо отворила дверь и спросила меня, может ли она взойти и поговорить со мной наедине. Этого никогда не бывало; я думал, что она хочет попросить денег, и готов был дать.

Краснея до ушей и со слезами на глазах, добрая провансалка подала мне разные счеты Эммы, не заплоченные по лавочкам, и прибавила:

— Madame приказывала мне, да я никак не могу этого сделать, не спросившись вас,— она, видите, приказывала, чтоб я забрала в лавках разных разностей и приписала бы их в эти счеты,— я не могла этого сделать, не сказавши вам.

— Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить?

— Вот записка.

На записке было написано *несколько кусков полотна, несколько дюжин носовых платков и целый запас детского белья.*

Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время, а тут какое обилие сил: вздумать об экономическом приобретении полотна и о детских чулках, когда рушится семейство и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы. Немцы — славный народ!

V

Мы опять были одни, но это было не прежнее время,— все носило следы бури. Вера и сомнение, усталь и раздражение, чувство досады и негодования мучили. А пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни, не было больше той святой беспечности, с которой жилось так легко, не оставалось ничего заветного. Если все то было, что было,— нет ничего невозможного.

Воспоминания пугали в будущем. Сколько раз мы сходили вечером обедать одни и, никто не притрогиваясь ни к чему и не произнося слова, вставали, отирая слезы, из-за стола и видя, как добрый Рокка с сердитым видом качал головой, унося блюда. Праздные дни, ночи без сна... тоска, тоска. Я пил что попало — скидам, коньяк, старый белет, пил ночью один и днем с Энгельсоном,— и это в ниццском климате. Русская слабость пить с горя — совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы, и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.

Гервег прислал мне письмо — я его, не читая, бросил. Он стал писать к Natalie письмо за письмом. Он писал раз ко мне — я отослал назад письмо. Печально смотрел я на это. Это время должно было быть временем глубокого искуса, покоя и свободы от внешних влияний. Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством, но и страшнейшими преступлениями? Так, например, он писал, что на него находят такие минуты исступления, что *он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно* и явиться к нам в их крови. В другом письме,— что он придет зарезаться при мне и сказать: «Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил!» Рядом с этим он умолял Natalie *помирить* его со мною; *принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше.*

Десять раз писал он о заряженном пистолете, и Natalie все еще верила. Он требовал только ее благословения на смерть; я уговорил ее написать ему, что она наконец согласна, что она убедилась, что выхода нет, кроме смерти. Он отвечал, что ее строки пришли *слишком поздно, что он теперь не в том расположении* и не чувствует достаточно сил, чтобы исполнить, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Natalie.

Вслед за тем приехал из Генуи Орсини — он рассказывал, смеясь, о попытке самоубийства мужа и жены. Узнав, что Гервеги в Генуе, Орсини пошел к ним и встретил Гервега, гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, что *они решились уморить себя голодом*, что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить его судьбу,— она просила его не оставить Гораса и Адду.

Орсини обомлел от удивления.

— Мы не ели тридцать часов,— продолжала Эмма,— уговорите его съесть что-нибудь, спасите человечеству великого поэта! — и она рыдала.

Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Гервег стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила и велела подать миску супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами,— но обличительная миска стояла тут.

— Георг,— сказала Эмма,— я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что и сама решилась спросить супу.

— Я взял от тошноты кусочек салами,— впрочем, это вздор: голодная смерть самая мучительная,— я отравлюсь! — И он принялся за суп.

Жена подняла глаза к небу и взглянула на Орсини, как бы говоря: «Вы видите — его спасти нельзя».

Орсини умер, но несколько свидетелей его рассказа в живых, например, К. Фогт, Мордини, Charles Edmond.

Нелегко было Natalie от этих проделок. Она была *унижена в нем*, я был унижен в нем, и она это мучительно чувствовала.

Весной Гервег уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу (новая дерзкая неделикатность). Мне хотелось после всего бывшего отдохнуть. Я придрался к моей швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию с Энгельсоном. Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче.

На обратном пути я встретил в Женеве Сазонова. Он за бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела.

— Как всегда.

— Ведь я знаю всю историю и спрашиваю тебя из дружеского участия.

Я с испугом и дрожью смотрел на него — он не заметил ничего. Что же это такое? Я считал, что все это — тайна, и вдруг человек за стаканом вина говорит со мной, как будто это самое обыкновенное, обыденное дело.

— Что ты слышал и от кого?

— Я слышал всю историю от самого Гервега. И скажу тебе откровенно: я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты *не пускаешь* жену твою ехать или зачем не оставишь ее сам — помилуй, что за слабость, ты начал бы новую, свежую жизнь.

— Да с чего же ты вообразил, что она хочет ехать? Неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать?

— Ты принуждаешь,— разумеется, не физически, а *морально*. Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем ожидал, и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Гервег уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он — трус и боится тебя как огня, а во-вторых, потому, что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься, приехать в Швейцарию.

— Это гнуснейшая клевета! — вскрикнул я.

— *Это его слова*, и в этом я даю тебе честнейшее слово.

Пришедши домой в отель, я бросился, больной и униженный, на постель, не раздеваясь, в положении, близком к помешательству или смерти. Верил я или нет? Не знаю, но не могу сказать, чтоб я *вовсе не верил* словам Сазонова.

«Итак,— повторял я сам себе,— вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь — обманом и, по дороге, европейской сплетней... Ха, ха, ха!.. Меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату, которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется,— и усердно лечат — для того, чтобы додать, когда оправится, вторую половину». Я был обижен, оскорблен, унижен.

В этом расположении я написал ночью письмо; письмо мое должно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглазном оскорблении, в этом дурном письме.

Natalie отвечала строками черной печали.

«Лучше мне умереть,— говорила она,— вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу!»

Гервег солгал.

Следующие письма были кротко печальны: ей было жаль меня, ей хотелось уврачевать мои раны, а что сама-то она должна была вынести...

Зачем нашелся человек, повторивший мне эту клевету, и зачем не было другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной горячки?

VI

OCEANO NOX[1]

(1851)

I[2]

...Ночью, с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского дворца в Турине; площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий, часовой тихо ходил взад и

[1] Ночь на океане *(лат.).— Ред.*

[2] Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части «Былого и дум», которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные. Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 — в «Записках» Орсини, принимавшего самое горячее участие в несчастии, поразившем меня, были поводом, что я напечатал второй отрывок в «Полярной звезде» 1859.

вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побрякивая ружьем... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *запахом* широкко.

Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно — я опять почувствовал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть друзья и верования, что я полон любовью — как тринадцать лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838, когда я, завернувшись в плащ, ждал Кетчера у фонарного столба, на Поварской.

Я и теперь ждал свиданья,— свиданья с *той же* женщиной, и ждал, может, еще с большей любовью, хотя к ней и примешивались грустные, черные ноты; но в эту ночь их было мало слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежавшего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма Natalie, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть несколько дней в Турине. Она была права: нам надобно было еще раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, узнать окончательно, *есть ли* для нас общее счастие,— и все это наедине, даже без детей, и притом *в другом* месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не вовремя что-нибудь напомнить — шепнуть какое-нибудь полузабытое слово...

Почтовая карета должна была во втором часу прийти со стороны Col di Tenda, ее-то я и ждал у сумрачного Карињянского дворца: недалеко от него она должна была заворачивать.

Я приехал в этот же день утром из Парижа, через Mont-Cenis; в Hôtel Feder мне дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мне нравился этот праздничный вид, он был кстати. Я велел приготовить небольшой ужин и пошел бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъезжала к почтовому дому, Natalie узнала меня.

— Ты тут! — сказала она, кланяясь в окно. Я отворил дверцы, и она бросилась ко мне на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благодарности, что у меня в памяти мелькнули, как молния, слова из ее письма: «Я возвращаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий — сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двух-трех слов было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взял ее небольшой дорожный мешок, перебросил его на трости за спину, подал ей руку, и мы весело пошли по пустым улицам в отель. Там все спали, кроме швейцара. На накрытом столе стояли две незажженные свечи, хлеб,

фрукты и графин вина; я никого не хотел будить, мы зажгли свечи и, севши за пустой стол, взглянули друг на друга и разом вспомнили владимирское житье.

На ней было белое кисейное платье или блуза, надетая на дорогу от палящего жара — и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того времени.

И мы сами были те же, только теперь мы подавали друг другу руку не как заносчивые юноши, самонадеянные и гордые верой в себя, верой друг в друга и в какую-то исключительность нашей судьбы, а как ветераны, закаленные в бою жизни, испытавшие не только свою силу, но и свою слабость... едва уцелевшие от тяжелых ударов и неисправимых ошибок. Вновь отправляясь в путь, мы, не считаясь, разделили печальную ношу былого. С этой ношей приходилось идти более скромным шагом, но внутри наболевших душ сохранилось все для возмужалого, отстоявшегося счастия. По ужасу и тупой боли еще яснее разглядели мы, как мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, детьми.

В эту встречу все было кончено, оборванные концы срослись, не без рубца, но крепче прежнего,— так срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшие на глазах, соединяли нас еще новой связью — чувством глубокого сострадания друг к другу. Я видел ее борьбу, ее мученье, я видел, как она изнемогала. Она видела меня слабым, несчастным, оскорбленным, оскорбляющим, готовым на жертву и на преступление.

Мы слишком большой платой заплатили друг за друга, чтоб не понимать, чего мы стоим и как дорого мы обошлись друг другу. «В Турине,— писал я в начале 1852,— было наше второе венчание; его смысл, может быть, глубже и знаменательнее первого, он совершился с полным сознанием всей ответственности, которую мы вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий...»

Любовь каким-то чудом пережила удар, который должен был ее разрушить.

Последние темные облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно после разлуки в несколько лет; день давно сквозил яркими полосами в опущенные жалузи, когда мы встали из-за пустого стола...

Дня через три мы поехали вместе домой, в Ниццу, по Ривьере — мелькнула Генуя, мелькнул Ментоне, где мы так часто бывали и в таком розном настроении духа, мелькнуло Монако,

врезывающееся в море бархатной травой и бархатным песком; все встречало нас весело, как старые друзья после размолвки, а тут виноградники, рощи роз, померанцевых деревьев и море, стелющееся перед домом, и дети, играющие на берегу... вот они узнали, бросились навстречу. *Мы дома.*

Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними,— ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вечная язычница, увенчала обреченных на жертву пышным венком осенних цветов... и усыпала, хоть на время, своим маком и благоуханием!

Пропасти, делившие нас, исчезли, берега сдвинулись. Разве это не та же рука, которая через всю жизнь была в моей руке, и разве это не тот же взгляд, только иногда он мутится от слез. «Успокойся же, сестра, друг, товарищ, ведь все прошло — и мы те же, как в юные, святые, светлые годы!»

«...После страданий, которых, может, ты знаешь меру, иные минуты полны блаженства; все верования детства, юности не только совершились, но прошли сквозь страшные испытания, не утратив ни свежести, ни аромата, и расцвели с новым блеском и новой силой. Я никогда не была так счастлива, как теперь»,— писала она своему другу в Россию.

Разумеется, от прошедшего остался осадок, до которого нельзя было касаться безнаказанно,— что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющий испуг и боль.

Прошедшее — не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза. Люди вообще забывают только то, чего не стоит помнить или чего они не понимают. Дайте иному забыть два-три случая, такие-то черты, такой-то день, такое-то слово,— и он будет юн, смел, силен,— а с ними он идет, как ключ, ко дну. Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью Банко; тени — не уголовные судьи, не угрызения совести, *а несокрушимые события памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имеет свои права, оно — факт, с ним надобно *сладить,* а не забыть его,— и мы шли к этому дружными шагами.

...Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я в то же мгновение встречал испуганный взгляд, смотревший на меня с бесконечной мукой и говоривший: «Да, ты прав, иначе и быть не может, но...», и я старался разгонять набежавшие тучи.

Святое время примиренья, я вспоминаю о нем сквозь слезы...

...Нет, не *примиренья*, это слово не идет. Слова, как гуртовые платья, впору до «известной степени» *всем* людям одинакого роста и плохо одевают каждого *отдельно.*

Нам нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали друг о друге, но не расходились. В самые мрачные минуты какое-то неразрывное единство, бессомненное для обоих, и глубокое уваженне друг к другу были присущи. Мы походили скорее на людей, оправляющихся после тяжкой горячки, чем на помирившихся: бред прошел, мы узнали друг друга взглядом, несколько слабым и мутным. Боль вынесенная была памятна, утомление ощутительно, но ведь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

...Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки, одно длинное письмо и одна страничка уцелели. По ним можно судить о том, что пропало... Читая их, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль — в мысль. Если б этот труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент в замену уклончивого молчания женщины и надменного покровительства ее мужчиной; но самый бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил.

II

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...

V. Hugo[1]

Так оканчивалось лето 1851. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и с Шпильманом уехали погостить в Париже к Марии Каспаровне. Тихо проводили мы время с детьми. Казалось, все бури были назади.

В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потом другое из Марсели, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароход и едут к нам. Во

[1] В бездонном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана... В. Гюго *(франц.).— Ред.*

время ее отсутствия мы переехали в другой дом, также на берегу моря, в предместье С.-Елен. В доме этом с большим садом было помещение для моей матери; мы убрали ее комнату цветами, наш повар достал с Сашей китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово — дети часов с трех не сходили с террасы; наконец в шестом часу на горизонте отделилась от моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас, Франсуа пустился на пристань, я сел в коляску и поехал туда же.

Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разрешения sanita [1] сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней стоял Франсуа.

— Как,— спросил я,— вы уже назад едете?

Он мне не отвечал; я взглянул на него и обмер: он был зеленого цвета и дрожал всем телом.

— Что это? — спросил я,— вы больны?

— Нет,— отвечал он, минуя мой взгляд,— только наши не приехали.

— Как не приехали?

— Там что-то с пароходом случилось, так не все пассажиры приехали.

Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать.

На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом и с совершенным молчанием. Сам капитан дожидался меня; все это совсем не в обычаях, и я ждал чего-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что большая часть пассажиров взяты им и другим пароходом, шедшим мимо. «У меня,— сказал он,— только две молодые девушки из ваших»,— и повел меня на переднюю палубу — все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нее, высокая, стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волосами; возле нее — горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась в другую сторону.

— Что же это наконец? Где они? — спросил я, болезненно схватившись руку горничной.

— Мы ничего не знаем,— отвечала она,— пароход потонул, нас замертво вытащили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтоб переодеться.

---

[1] санитарного надзора *(итал.).— Ред.*

Капитан грустно посмотрел на меня, потрес мою руку и сказал:

— Отчаиваться не надо, съездите в Иер, быть может, и найдете кого-нибудь из них.

Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломлении; все в голове было смутно и дрожало внутри, я желал, чтоб дом наш был за тысячу верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще; это были фонарики, зажженные детьми. У ворот стояли наши люди, Тата и Natalie с Олею на руках.

— Как, ты один?— спросила меня спокойно Natalie.— Да ты хоть бы Колю привез.

— Их нет,— сказал я,— с их пароходом что-то случилось, надобно было перейти на другой, тот не всех взял. Луиза здесь.

— *Их нет!* — вскрикнула Natalie.— Я теперь только разглядела твое лицо: у тебя глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я еду их искать в Иер.

Она покачала головой и прибавила: «Их нет! их нет!» — потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова; я привел ее в столовую; проходя, я шепнул Рокке: «Бога ради, фонари»; он понял меня и бросился их тушить.

В столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, перед местом моей матери — букет цветов, перед местом Коли — новые игрушки.

Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близкими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже совсем посторонними: одни хотели узнать, что случилось, другие — показать участие, третьи — советовать всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен: участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь.

Я решился в ту же ночь ехать в Иер. Natalie хотела ехать со мной, я уговорил ее остаться; к тому же погода круто переменилась: подул мистраль, холодный как лед и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию, через Варский мост; я поехал к Леону Пиле, французскому консулу; он был в опере; я отправился к нему в ложу с Хоецким; Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, сказал мне:

— Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых отказ был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска через границу, приходите за ним через полчаса в консулат.

У входа в театр меня ждали человек десять из тех, которые были у нас. Я им сказал, что Леон Пиле дает билет.

— Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем,— говорили мне со всех сторон,— остальное будет сделано,— мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем почтовых лошадей.

Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету; содержатель гостиницы предложил безденежно свою.

В одиннадцать часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались; море, в котором так недавно были похороны, едва видное в темноте, билось и ревело. Мы поднимались на Эстрель, дождь заменился снегом, лошади спотыкались и чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, принимался греться; я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны, упрашивал торопиться.

Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного, но поискать, взглянуть на самое место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец... была потребность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома, прийти в себя.

Пока на Эстреле меняли лошадей, я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я чуть не зарыдал, осмотревшись: это было возле той самой таверны, в которой мы провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее; тот же вид стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь скрывался за серыми не итальянскими тучами и местами белел от снега.

Живо представилось мне то время, со всеми мельчайшими подробностями: я вспомнил, как хозяйка нас потчевала зайцем, тухлость которого была заморена страшным количеством чеснока, как в спальной летали летучие мыши, как я их гонял с нашей Луизой полотенцем и как на нас веяло в первый раз теплым южным воздухом...

Тогда я писал: «С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости — юнеешь, хочется петь, плясать, плакать; все так ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепительные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные дере-

вья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительностью; воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок, наши слова, пенье птиц раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом изгибе дороги блеснуло каймой около гор и задрожало серебряным огнем Средиземное море» [1].

И вот через четыре года я снова на том же месте!..

Прежде ночи мы не могли приехать в Иер, я тотчас отправился к комиссару полиции; с ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комиссару. У него были разные спасенные вещи; я ничего в них не нашел. Потом мы пошли в больницу. Один из утопавших отходил, другие сообщили мне, что они видели пожилую женщину, ребенка лет пяти и с ним молодого человека, с белокурой, окладистой бородой... что они видели их в самую последнюю минуту и что, стало быть, они так же пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова и являлся вопрос: ведь рассказывавшие были же живы, хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спаслись.

Найденные тела лежали в крипте монастыря; мы пошли туда из больницы; сестры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков, в каждом ящике было одно тело. Комиссар велел их раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жандарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой.

Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и каким-то официальным тоном спрашивал, при вскрытии каждого ящика: «Вы свидетельствуете, в присутствии нашем, что тело это вам незнакомо?»; я кивал головой, комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть. Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышку, я с каким-то ужасом бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые черты, а в сущности, еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно, так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы страшнее всяких похорон, а тут не было и самих покойников.

Я никого не нашел. Одно тело поразило меня: женщина лет двадцати, красавица, в нарядном провансальском костюме; ее грудь была обнажена (с нею был ребенок, разумеется унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лицо ее нисколько не изменилось, смуглый загар придавал ей совершенно живой вид.

---

[1] «Письма из Франции и Италии».

Бригадир не вытерпел и заметил: «Экая прелесть какая!» Комиссар ничего не прибавил, жандарм, накрывши ее, заметил бригадиру: «Я знал ее, она из здешних подгородных крестьянок, ехала к мужу в Грас. Пусть подождет!»

Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежащего,— сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения какую-то сказку.

В Иере мне рассказывали еще о пожилом человеке, потерявшем всю семью, который не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком без денег, в состоянии, близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английскому консулу: они лишились матери, отца и брата!

Дело шло к рассвету, я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури; вдали, на одном месте, качалось какое-то особенное пятно, словно более густая, прозрачная влага.

— Пароход вез груз масла, видите, оно отстоялось,— вот тут и было несчастие.

Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тут?

— Метров сто восемьдесят будет.

Я постоял, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесят метров глубины и носящееся пятно масла!..

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues;
Vous roulerez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus... [1]

С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью она говорила мне, как бы прося моей помощи:

— Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омары!

[1] Никто не знает вашей участи, бедные, погибшие головы; вы будете катиться в мрачных пространствах, касаясь лбами неведомых скал... *(франц.) — Ред.*

Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной,— и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее... В мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования людей между приговором и казнию, когда человек разом надеется и наверное знает — что он от топора не уйдет!

VII

(1852)

Снова наступал Новый год. Мы его встретили около постели Natalie: наконец организм не вынес, она слегла.

Энгельсоны, Фогт, человека два близких знакомых были у нас. Все были печальны. Парижское *второе декабря* лежало плитой на груди. Общее, частное — все неслось куда-то в пропасть, и уж так далеко ушло под гору, что ни остановить, ни изменить ничего нельзя было — приходилось ждать тупо, страдательно, когда все сорвавшееся с рельсов полетит в тьму.

Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри была смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться.

Болезнь определилась — сделалась плерези[1] в левой стороне.

Пятнадцать страшных дней провела она между жизнию и смертью, но на этот раз жизнь победила. В одну из самых тяжких минут я спросил доктора Бонфиса: переживет ли больная ночь?

— Наверное,— сказал Бонфис.

— Вы правду говорите? Пожалуйста, не обманывайте!

— Даю вам честное слово — я ручаюсь...— Он приостановился.— Я ручаюсь *за три дня*, спросите Фогта, если мне не верите.

Хорошо было это обратное on en plantera[2] Гудсон Лова.

Наступило медленное выздоровление, а с ним последний луч надежды бледно осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде... Были минуты удивительные — последние аккорды навеки умолкающей музыки...

Несколько дней после перелома болезни я как-то утром рано пришел к себе в кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слыхал, как входил человек. Проснувшись, я

---

[1] плеврит *(от франц. pleurésie).— Ред.*

[2] Здесь: выздоровление *(франц.).— Ред.*

нашел на столе письмо. Почерк Гервега. С какой стати он пишет, и как после всего, что было, осмеливается он писать ко мне? Повода я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтобы его отправить назад, но, увидавши на обороте надпись: «Дело честного вызова», я открыл письмо.

Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими *клеветами* на него *сбил* Natalie с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее, что она *изменила* ему. В заключении он *доносил на нее* и говорил, что судьба решает между мной и им, что «она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно было кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения» [1].

Письмо это была *первая обида, нанесенная мне* со дня рождения. Я вскочил, как уязвленный зверь, с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в Ницце? Зачем через коридор лежала умирающая женщина!

Обливши два-три раза голову холодной водой... я сошел к Энгельсону (он занимал после кончины моей матери ее комнаты) и, выждав, когда его жена ушла, сказал ему, что получил письмо от Гервега.

— Так вы в самом деле получили его? — спросил Энгельсон.

— Да разве вы знали, ожидали его?

— Да,— сказал он,— вчера я слышал об этом.

— От кого?

— От Карла Фогта.

Я щупал себе голову, мне казалось, что я сошел с ума. Молчание наше было до того безусловно, что ни моя мать, ни Мария Каспаровна ни разу не заговаривали со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими, но и с ним я говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Парижа, о причине моего разрыва с Гервегом. Я был поражен в Женеве, услышав от Сазонова о болтовне этого негодяя, но мог ли я думать, что около нас, возле, за дверью все знают, все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между несколькими лицами... что знают даже о письмах, которых я еще не получал? Мы пошли к Фогту. Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне *страшное письмо,* что он сбросит меня с высоты, на которую меня поставила Natalie, что он покроет нас *«позором,*

---

[1] Я никогда не перечитывал этого письма и раз только развертывал его потом. В 1853, в годовщину рожденья Natalie, 23 октября ст. ст., я, не читая, его сжег.

Похороны Н. А. Герцен в Ницце.

Картина маслом Ипполита Каффи.
1852 г.
Государственный литературный музей.

хоть бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде».

Наконец, он писал своей жене (и она все это показывала Фогту, Шарль Эдмонду и Орсини!): «Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим», то есть, стало быть, перерезать нас.

Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия,— это вздор. Человек этот не сделал ни одного *поступка* опасного или неосторожного, сумасшествие было только *на словах*, он выходил из себя *литературно*. Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягостнее всякого скандала, возвратившаяся тишина нашей жизни не давала ему покоя. Мещанин, как Орас Ж. Санда, он болтал в отомщенье женщине, которую любил, и человеку, которого называл братом и отцом, и — мещанин-немец, он грозился мелодраматическими фразами, сочиненными на псевдошиллеровский лад.

В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к своей жене, в то самое время *он жил на содержании* у старой, покинутой любовницы Людовика-Наполеона, разгульной женщины, известной всему Цюриху, с ней проводил дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже, кутил в больших отелях... нет, это не сумасшествие.

— Что вы намерены делать? — спросил меня наконец Энгельсон.

— Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете и все знают... шансы все с моей стороны.

— Да как же вам ехать?..

— В этом-то все и дело. Напишите ему покаместь, что не ему у меня требовать удовлетворения, а мне его *наказывать*, что я сам выберу средства и время его наказать, что для этого не оставлю больной женщины, а на его грубости плюю.

В том же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне помочь. Энгельсон, Сазонов и Фогт приняли с горячностью мое предложение. Письмо мое было большой ошибкой и дало ему повод сказать впоследствии, что я принял дуэль, что только потом отказался от нее.

Отказаться от дуэли — дело трудное и требует или много твердости духа, или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе, обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворянской честью и военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол и принять на себя нареканье в трусости.

Доказывать нелепость дуэли не стоит — в теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчиняются ему для того, чтоб доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его *почетной* смертью, или тем, что делает из него *почетного* убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты,— он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство шулера и его обвинителя!

Дуэль иногда можно принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину, но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презренья не бояться шпаги противника, а может бояться топора гильотины.

Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти, но не может отнять права обличить мертвого или живого врага... В дуэли остается все шито и крыто — это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства, и упражнение в искусстве убивать — служебной обязанностью.

Пока миром будут управлять военные, дуэли не переведутся; но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с богом и властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе...

...Сколько людей прошли с гордым и торжествующим лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом, инквизициями и не знаю чем — и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя.

Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме; у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих. Я не принимал и не отказывался от дуэля. Казнь Гервега была для меня нравственной необходимостью, физиологической необходимостью,— я искал в голове верного средства мести, и притом такого, которое не могло бы его поднять. А уже дуэлем или просто ножом достигну я ее — мне было все равно.

Он сам надоумил. Он писал своей жене, а та, по обычаю, показывала знакомым, что, несмотря на все, я «головой выше окружающей меня сволочи»; что меня «сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин»; что если б он «мог увидеться на одну минуту со мной, то все бы объяснилось», «он (то есть я) один может понять меня»,— и это было *писано после письма ко мне!* «А по-

сему,— заключал поэт,— я всего больше желал бы, чтобы Герцен принял дуэль *без свидетелей*. Я уверен, что с первого слова мы пали бы друг другу на грудь, и все было бы забыто». Итак, дуэль предлагалась как средство драматического примирения.

Если б я мог тогда отлучиться на пять дней, на неделю, я непременно отправился бы в Цюрих и явился бы к нему, исполняя его желание, один,— и жив бы он не остался.

Через несколько дней после письма, часов в девять, утром, взошел ко мне Орсини. Орсини по какой-то физиологической нелепости имел страстную привязанность к Эмме; что было общего между этим огненным, чисто южным молодым красавцем и безобразной, лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний приход его удивил меня. Он очень просто, без фраз, сказал мне, что весть о письме Гервега возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить jury d'honneur[1]. При этом он стал защищать Эмму, говоря, что она ни в чем не виновата, кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении; что он был свидетелем, чего ей все это стоило. «Вам,— говорил он,— следует ей протянуть руку; вы должны наказать виновного, но должны также *восстановить* невинную женщину».

Я решительно, безусловно отказался. Орсини был слишком проницателен, чтоб не понять, что я мнения не переменю, а потому не настаивал.

Между прочим, говоря о jury d'honneur[2], он мне сказал, что уже писал обо всей истории к Маццини и спрашивал его мнения. Не странно ли опять? Делают партии, составляют приговоры, пишут к Маццини — и все это помимо меня, и все это по поводу событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться?

Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал письмо к Маццини. Мне тут открывался своего рода *фемический* суд и суд, который сам напрашивался. Я написал ему, что Орсини мне говорил о своем письме и что, боясь, что он не совершенно верно передавал дело, о котором он от меня никогда не слыхал ни слова, хочу и рассказать ему дело, и посоветоваться с ним.

Маццини тотчас отвечал. «Лучше было бы,— писал он,— покрыть все молчанием, но вряд ли теперь возможно это для вас, а потому явитесь смело обвинителем и представьте нам суд».

---

[1] суд чести *(франц.).— Ред.*

[2] Jury никакого не было, но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Гервегу, подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццакаппо, Козенц.

Что я верил в возможность этого суда — в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался и дорого заплатил за ошибку.

Вместе с письмом Маццини получил я письмо от Гауга, которому Маццини (зная, что он со мной хорошо знаком) сообщил письмо Орсини и мое. Гауг после нашей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом. В этом человеке было много хорошего и бездна неспетого и нелепого. Он спал непробудным казарменным сном австрийского лейтенанта, как вдруг его разбудила тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие, но не с тем, чтоб бить народ, а с тем, чтоб стать в его ряды. Переход был слишком крут и оставил кой-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурш, кадет, студент и лейтенант, он искренно любил меня.

Гауг писал, что он едет в Ниццу, и умолял ничего не предпринимать без него. «Вы покинули родину и пришли к нам, как брат; не думайте, чтоб мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнаказанно ряд измен клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы иначе понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули западного искателя приключений,— русский революционер не падет!»

В ответ я написал Гаугу длинное письмо. Это была моя первая исповедь — я ему рассказал все, что было, и принялся его ждать.

...А между тем в спальной догорала, слабо мерцая, великая жизнь в отчаянной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь возле кровати больной,— она любила, чтоб именно я давал ей лекарства, чтоб я приготовлял оранжад. Ночью я топил камин, и когда она засыпала покойно, у меня опять являлась надежда ее спасти.

Но бывали минуты тяжести невыносимой... Я чувствую ее худую, лихорадочную руку, я вижу мрачный, тоскливый взгляд, остановленный на мне с мольбой, с упованьем... и страшные слова: «Дети останутся одни, осиротеют, все погибнет, ты только и ждешь... Во имя детей — оставь все, не защищайся от грязи, дай же мне, мне защитить тебя,— ты выйдешь чистым, лишь бы мне немного окрепнуть физически... Но нет, нет, силы не приходят. Не оставь же детей!» — и я сотни раз повторял мое обещанье.

В один из подобных разговоров Natalie вдруг мне сказала:

— Он писал к тебе? [1]

[1] Слухи обо всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было *случайно*. Насчет его письма был намек в письме Марии Каспаровны, слышавшей все это в *Париже* от Н. А. Мельгунова.

— Писал.

— Покажи мне письмо.

— Зачем?

— Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать.

Я почти был рад, что она заговорила о письме: мне страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов. Я никогда не решился бы спросить, но тут она сама заговорила о письме, я не мог переломить себя: меня ужасала мысль, что сомнение все же останется, а может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты.

— Письма я тебе не покажу, а скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..

— Как ты можешь думать?

— Он пишет это.

— Это почти невероятно... он пишет это своей рукой?

Я отогнул в письме то место и показал ей... Она взглянула, помолчала и печально сказала потом: «Подлец!»

С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом, ни одним намеком *она не простила его* и не пожалела об нем.

Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо.

«Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить, и притом при свидетеле, то, что́ я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, но ваш характер, вероломный, низко еврейский, ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей во время вашего отъезда и после, в то самое время, как достоинство и преданность Александра росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталом, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедестал вы хотели забросать грязью. Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь. Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют Александру одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью. Куда делись вечные протестации в вашем религиозном уважении моей воли, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Александру? Разве я не всегда говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что если б он меня оставил, даже умер бы,— я останусь одна до конца жизни?.. Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами,— действительно, я его сделала — я вас жалела тогда, я хотела человечески проститься с вами,— вы сделали невозможным исполнение этого обещания.

С самого отъезда вашего вы начали пытать меня, требуя то такого обещания, то другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет, лишь бы взять с собою самую слабую надежду. Когда вы увидели, что это вам не удалось, вы предлагали ряд нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили тем, что стали грозить *публичностью*, хотели меня поссорить окончательно с Александром, хотели его заставить убить вас, драться с вами, наконец, грозили наделать страшнейших преступлений! Угрозы эти не действовали больше на меня — вы их слишком часто повторяли.

Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: «Я остаюсь в моей семье, моя семья — Александр и мои дети», и, если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. «Между мной и вами нет моста». Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее.

Н. Г.

18 февраля 1852. Ницца».

Через несколько дней возвратилось письмо из Цюриха, Гервег возвратил его назад нераспечатанным, письмо было послано страховое, с тремя печатями и возвратилось назад с надписью на том же пакете.

«Если так,— заметила Natalie,— ему *прочтут его».*

Она позвала к себе Гауга, Тесье, Энгельсона, Орсини и Фогта и сказала им:

— Вы знаете, как мне хотелось оправдать Александра, но что я могу сделать, прикованная к постели? Я, может, не переживу этой болезни — дайте мне спокойно умереть, веря, что вы исполните мое завещание. Человек этот отослал мне назад письмо — пусть кто-нибудь из вас прочтет его ему при свидетелях.

Гауг взял ее руку и сказал:

— Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено.

Это простое, энергическое действие потрясло всех, и скептик Фогт вышел взволнованным, как фанатик Орсини. Орсини сохранил горячее уважение к ней до конца своих дней. Последний раз, когда я его видел перед его отъездом в Париж, в конце 1857, он с умилением вспоминал о Natalie, а может, и с затаенным упреком. Из нас двоих, конечно, не на Орсини падет обвинение в нравственной несостоятельности, в дуализме дела и слова...

...Раз поздно вечером или, лучше, ночью мы долго и печально рассуждали с Энгельсоном. Наконец он пошел к себе, а я — наверх. Natalie спала покойно; я посидел несколько минут в спальной и вышел в сад. Окно Энгельсона было открыто, он, пригорюнившись, курил у окна сигару.

— Видно, такая судьба! — сказал он и сошел ко мне.

— Зачем вы не спите, зачем вы пришли? — спрашивал он, и голос его нервно дрожал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: — Верите вы в мою беспредельную любовь к вам, верите, что у меня нет в мире человека ближе вас? Отдайте мне Гервега,— не нужно ни суда, ни Гауга — Гауг немец. Подарите мне право отомстить за вас, я — *русский*... Я обдумал целый план, мне надобно ваше доверие — ваше рукоположение.

Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный занимавшейся зарей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему на шею.

— Верите вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компрометирую дело, в котором замешано для меня столько святого — без вашего доверия я связан. Скажите откровенно: да или нет. Если *нет* — прощайте, и к черту все, к черту и вас и меня! Я завтра уеду, и вы обо мне больше не услышите.

— В вашу дружбу, в вашу искренность я верю, но боюсь вашего воображенья, ваших нерв и не очень верю в ваш практический смысл. Вы мне ближе всех здесь, но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя.

— Так, по-вашему, у генерала Гауга практический гений?

— Я этого не говорил, но думаю, что Гауг — больше практический человек, так, как думаю, что Орсини практичнее Гауга.

Энгельсон больше ничего не слушал — он плясал на одной ноге, пел и, наконец успокоившись немного, сказал мне:

— Попались, попались, как кур во щи!

Он положил мне руку на плечо и прибавил вполслуха:

— С Орсини-то я и обдумал весь план, с самым практическим человеком в мире. Ну, благословляйте, отче!

— А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?

— Даю.

— Рассказывайте ваш план.

— Этого я не могу, по крайней мере, теперь не могу...

Сделалось молчание. Что он хотел, понять было нетрудно...

— Прощайте,— сказал я,— дайте мне подумать,— и невольно прибавил: — Зачем же вы мне об этом говорили?

Энгельсон понял меня.

— Проклятая слабость! Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил.

— *Да я-то знаю*,— сказал я ему в ответ, и мы разошлись.

Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна была гибельно потрясти больной организм, заставили меня *остановить* исполнение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини... Итак, вместо казни

я спас Гервега, но уж, конечно, *не для него и не для себя!* Тут не было ни сентиментальности, ни великодушия...

Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем *в обратную сторону.* Эмма, чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фогтом за то, что он дерзко отзывался об ее Георге, и упросила Шарля Эдмонда написать к нему письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить всякого рода провокации, а то худо будет. Не знаю, что писал Шарль Эдмонд,— задача была нелегкая,— но ответ Гервега был *замечателен.* Сначала он говорил, что «не Фогтам и не Шарлям Эдмондам его судить», потом — что связь между им и мной порвал я, а потому да падет все на мою голову. Перебравши все и защищаясь даже в своей двуличной роли, он заключал так: «Я даже не знаю, есть ли тут измена? Толкуют еще эти шалопаи о деньгах,— чтоб окончить навсегда с этим дрянным обвинением, я скажу откровенно, что Герцен не слишком дорого купил своими несколькими тысячами франков те минуты рассеяния и наслаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время!» — C'est grand, c'est sublime,— говорил Ch. Edmond,— mais c'est niederträchtig» [1].

На это Хоецкий отвечал, что на подобные письма отвечают палкой, что́ он и сделает при первом свидании.

Гервег умолк.

VIII

С наступлением весны больной сделалось лучше. Она уже большую часть дня сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, не чесанные в продолжение болезни, наконец, без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались, как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или Кадикс. Ей хотелось выздороветь, хотелось жить, хотелось в Испанию.

После возвращения письма все замолкло, точно будто совесть жены и мужа почувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, перешли ее и устали.

Вниз Natalie еще не сходила и не торопилась, она собиралась сойти в первый раз 25 марта, в мое рождение. Для этого дня она приготовила себе белую мериносовую блузу, а я выписал из Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мне, кого она хочет звать сверх Энгельсонов: Орсини, Фогта, Мордини и Пачелли с женой.

За два дня до дня моего рождения у Ольги сделался насморк

[1] Это — величественно, это — возвышенно, но это *(франц.)* подло *(нем.).— Ред.*

с кашлем. В городе была influenza. Ночью Natalie два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь была теплая, но бурная. Утром она проснулась сама с сильнейшей influenza,— сделался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка.

О том, чтоб встать на другой день, нечего было и думать: после лихорадочной ночи — ужасная прострация; болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие надежды были прибиты. Неестественный звук кашля грозил чем-то зловещим.

Natalie слышать не хотела, чтоб гостям отказали. Печально и тревожно сели мы часа в два за стол без нее.

Пачелли привезла с собой какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. M-me Пачелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Словно горе какое-нибудь лежало на ней; проклятье ли бедности тяготило ее, или, быть может, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чем вечные уроки музыки и преданность человека слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей.

В нашем доме она встречала больше простоты и теплого привета, чем у других *практик* [1], и полюбила Natalie с южной экзальтацией.

После завтрака она посидела у больной и вышла от нее бледная как полотно. Гости просили у нее спеть привезенную арию. Она села за фортепьяно, взяла несколько аккордов, запела и вдруг, испуганно взглянув на меня, залилась слезами,— склонила голову на инструмент и спазматически зарыдала. Это покончило праздник. Гости разошлись, почти не говоря ни слова. Задавленный какой-то каменной плитой, пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался.

Это было начало похорон.

И притом двух!

Через два месяца после моего рождения схоронили и m-me Пачелли. Она поехала в Ментоне или Роккабрун на осле. Ослы в Италии привыкли ночью взбираться на горы, не оступаясь. Тут белым днем осел споткнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях...

Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой... Nur zu [2] — какая-то следующая нелепость?

...Далее все заволакивается — настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь,— тут и описывать нечего или нельзя — время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственного ничтожества и страшной телесной силы.

---

[1] Людей, с которыми занималась *(от франц. practique).— Ред.*

[2] Да ну же! *(нем.) — Ред.*

Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суета, сбитые с ног слуги и рядом с наступающей смертью — новые сплетни, новые гадости. Судьба не золотила мне больше пилюли, не пожалели меня и люди: благо, мол, крепки плечи, пускай себе!

Дни за три до кончины ее Орсини мне принес записочку от Эммы к Natalie. Она умоляла ее «простить за все сделанное против нее, простить *всех*». Я сказал Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство, заставившее написать ее эти строки, и принимаю их.

Я сделал больше, и в одну из последних спокойных минут я тихо сказал Natalie:

— Эмма просит у тебя прощения.

Она улыбнулась иронически и не отвечала ни слова. Она лучше меня знала эту женщину.

Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной,— туда обыкновенно приходили близкие знакомые. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фогт кричал, Орсини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился.

— Что у вас? — спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость.

— Да вот что,— подхватил Энгельсон.— Какие тут секреты, это такая прелесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если б это случилось в другое время... Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так как вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтоб вы возвратили ей *вексель в десять тысяч франков,* который она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов... Stupendisch teuer, stupendisch teuer! [1]

Сконфуженный Орсини добавил:

— Я думаю, она сошла с ума.

Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему:

— Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает; что если я и оценил ее чувство раскаяния, то не в десять тысяч франков!

Записки Орсини не взял.

Вот по какой грязи мне пришлось идти на похороны. Что это: безумие или порок, разврат или тупость?

Это так же трудно решить, как вопрос: откуда вырвалась эта семья — из сумасшедшего дома или из смирительного?

Вечером 29 апреля приехала Мария Каспаровна. Natalie ожидала ее с дня на день, она звала ее несколько раз, боясь, чтобы

[1] Безумно дорого, безумно дорого! *(нем.)* — *Ред.*

m-me Engelson не захватила в руки воспитание детей. Она ждала ее с часу на час, и, когда мы получили письмо, она послала Гауга и Сашу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свиданье с Марией Каспаровной нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: «Маша!» — и не могла ничего больше прибавить.

Болезнь застала Natalie в половине беременности. Бонфис и Фогт думали, что это исключительное положение помогло к выздоровлению от плерези. Приезд Марии Каспаровны ускорил роды. Роды были лучше, чем ожидали, младенец родился живой, но силы истощились — наступила страшная слабость.

Младенец родился к утру. К вечеру она велела подать себе новорожденного и позвать детей. Доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не делать этого.

— И ты, Александр, слушаешься их? — сказала она.— Смотри, как бы тебе не было потом очень жаль, что ты у меня отнимаешь эту минуту: мне теперь полегче. Я хочу сама представить малютку детям.

Я позвал детей.

Не имея силы держать новорожденного, она его положила возле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате:

— Вот вам еще маленький брат — любите его.

Дети весело бросились целовать ее и малютку. Мне вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на детей:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...

Оглушенный горем, смотрел я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дети ушли, я умолял ее не говорить и отдохнуть; она хотела отдохнуть, но не могла: слезы катились из глаз.

— Помни твое обещание... Ах, как страшно думать, что они останутся одни, совсем одни... и в чужой стороне. Да неужели нет спасенья?..

И она останавливала на мне какой-то взгляд просьбы и отчаяния.

Эти переходы от страшной безнадежности к упованью невыразимо раздирали сердце в последнее время... В те минуты, когда я всего меньше верил, она брала мою руку и говорила мне:

— Нет, Александр, это не может быть, это слишком глупо — мы поживем еще, лишь бы слабость прошла.

Скользнув, лучи надежды, они меркли сами собой — и заменялись невыразимо печальным, тихим отчаянием [1].

---

[1] Тетрадь эта писана года три тому назад.

— Когда меня не будет,— говорила она,— и все устроится; теперь я не могу себе вообразить, как вы будете жить без меня: кажется, я так нужна детям; а подумаешь — и без меня они так же будут расти, и все пойдет своим путем, как будто и всегда так было.

Еще несколько слов прибавила она о детях, о здоровье Саши; она радовалась, что он стал крепче в Ницце, что в этом согласен и Фогт.

— Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная. Ах,— добавила она,— если б мне дожить до приезда моей Natalie... А что, дети спят? — спросила она, несколько погодя.

— Спят,— сказал я.

Издали послышался детский голос.

— Это Оленька,— сказала она и улыбнулась (в последний раз).— Посмотри, что она.

К ночи ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушки не хорошо лежат, но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и даже с неудовольствием меняла положение головы. Потом наступил тяжелый сон.

Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить; я ей подал с ложечки апельсинный сок с сахаром и водой, но зубы были совершенно стиснуты: она была без сознания — я оцепенел от ужаса; рассветало, я отдернул занавесь и с каким-то безумным чувством отчаяния разглядел, что не только губы, но и зубы почернели в несколько часов.

За что же еще это? Зачем это ужасное беспамятство, зачем этот черный цвет!

Доктор Бонфис и К. Фогт сидели всю ночь в гостиной. Я сошел и сказал Фогту, что я заметил, он миновал мой взгляд и, не отвечая, пошел наверх. Ответа было не нужно: пульс больной едва бился.

Около полудня она пришла в себя — опять позвала детей, но не говорила ни слова. Она находила, что в комнате было темно. Это случилось во второй раз за день, она спросила меня, зачем нет свечей (две свечи горели на столе), я зажег еще свечу — но она, не замечая ее, говорила, что темно.

— Ах, друг мой, как тяжело голове,— сказала она, и еще два-три слова.

Она взяла мою руку — рука ее уже не была похожа на живую — и покрыла ею свое лицо. Я что-то сказал ей, она отвечала невнятно,— сознание было снова потеряно и не возвращалось...

Еще одно слово... одно слово... или уж конец бы всему! в этом положении она осталась до следующего утра. С полдня или с часа

1 мая до семи часов утра 2 мая. Какие нечеловечески страшные 19 часов!

Минутами она приходила в полусознание, явственно говорила, что хочет снять фланель, кофту, спрашивала платье — но ничего больше.

Я несколько раз начинал говорить; мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало по лицу ее. Раза два она пожала мне руку, не судорожно, а намеренно — в этом я совершенно уверен. Часов в шесть утра я спросил доктора, сколько остается времени — «Не больше часа».

Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. Всходя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несчастие нас ожидает,— он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий к обмороку, взошел он со мной в комнату.

— Станем рядом здесь на коленях,— сказал я, указывая на ковер у изголовья.

Предсмертный пот покрывал ее лицо, рука спазматически касалась до кофты, как будто желая ее снять. Несколько стенаний, несколько звуков, напомнивших мне агонию Вадима,— и те замолкли. Доктор взял руку и опустил ее, она упала, как вещь.

Мальчик рыдал — я хорошенько не помню, что было в первые минуты. Я бросился вон — в зал — встретил Ch. Edmond'a, хотел ему сказать что-то, но вместо слов из моей груди вырвался какой-то чужой мне звук... Я стоял перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного пониманья, на бессмысленно двигавшееся мерцавшее море.

Потом мне вспомнились слова: «Береги Тату!» Мне сделалось страшно, что ребенка испугают. Говорить ей я запретил прежде, но как же можно было положиться? Я велел ее позвать и, запершись с нею в кабинете, посадил к себе на колени и, мало-помалу приготовив ее, сказал наконец, что «мама» умерла. Она дрожала всем телом, пятны вышли на лице, слезы навернулись...

Я ее повел наверх. Там уже все изменилось. Покойница, как живая, лежала на убранной цветами постели возле малютки, скончавшейся в ту же ночь. Комната была обита белым, усыпана цветами; изящный во всем вкус итальянцев умеет внести что-то кроткое в раздирающую печаль смерти.

Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— Мамаша вот! — сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами холодного лица, она истерически заплакала; дольше я не мог вынести и вышел.

Часа через полтора я сидел один опять у того же окна и опять бессмысленно смотрел на море, на небо. Дверь отворилась, и взошла Тата, одна. Она подошла ко мне и, ласкаясь, как-то испуганно шептала мне:

— Папа, я умно себя вела, я не много плакала.

С глубокой горестью посмотрел я на сироту. «Да тебе и надо быть *умной*. Не знать тебе материнской ласки, материнской любви. Их ничто не заменит; у тебя будет пробел в сердце. Ты не испытаешь лучшей, чистейшей, единой бескорыстной привязанности в свете. Ты ее, может, будешь иметь, но к тебе ее никто не будет иметь; что же любовь отца в сравнении с материнской *болью* любви?..»

Она лежала вся в цветах — сторы были опущены,— я сидел на стуле, на том же обычном стуле возле кровати; кругом было тихо, только море шипело под окном. Флер, казалось, приподнимался от слабого, очень слабого дыхания... Кротко застыли скорби и тревога,— словно страданье окончилось бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел, смотрел всю ночь, ну, а как в самом деле она проснется? Она не проснулась. Это не сон, это — смерть.

Итак, это правда!..

...На полу, по лестнице было наброшено множество красно-желтого гераниума. Запах этот и теперь потрясает меня, как гальванический удар... и я вспоминаю все подробности, каждую минуту — и вижу комнату, обтянутую белым, с завешенными зеркалами, возле *нее*, также в цветах, желтое тело младенца, уснувшего, не просыпаясь, и ее холодный, страшно холодный лоб... Я иду скорыми шагами без мысли и намерения в сад — наш Франсуа лежит на траве и рыдает, как дитя, я хочу ему что-то сказать,— и совсем нет голоса — я бегу назад, *туда*. Незнакомая дама вся в черном и с нею двое детей потихоньку отворяет дверь,— она просит позволение прочесть католическую молитву,— я сам готов молиться с нею. Она становится на колени перед кроватью, и дети становятся на колени — она шепчет латинскую молитву, дети тихо повторяют за ней. Потом она говорит мне:

— И они не имеют матери, а отец их далеко. Вы хоронили их бабушку...

Это были дети Гарибальди.

...Толпы изгнанников собрались через сутки на дворе, в саду, они пришли проводить ее. Фогт и я, мы положили ее в гроб. Гроб вынесли. Я твердо шел за ним, держа Сашу за руку, и думал: «Вот так-то люди глядят на толпу, когда их ведут на виселицу».

Какие-то два француза — одного из них помню — граф Воге — на улице с ненавистью и смехом указали, что нет священ-

ника. Тесье было прикрикнул на них,— я испугался и сделал ему знак рукой: тишина была необходима.

Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе. Мы все сорвали по розе — точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве. На пригорке, выступающем в него, в виде *Эстрели*, с одной стороны и *Корниче* — с другой, схоронили мы ее. Кругом сад,— эта обстановка продолжала роль цветов на постеле.

Недели через две Гауг напомнил о последней воле ее, о данном слове: он и Тесье собирались ехать в Цюрих. Марии Каспаровне было пора в Париж. Все настаивали, чтоб я отправил Тату и Ольгу с ней, а сам с Сашей ехал бы в Геную. Больно мне было расставаться, но я не доверял себе; может, думалось мне, и в самом деле так лучше, ну, а лучше — пусть так и будет. Я только просил не уводить детей до 9/21 мая: я хотел провести с ними четырнадцатую годовщину нашей свадьбы.

На другой день после нее я проводил их на Варский мост. Гауг поехал с ними до Парижа. Мы посмотрели, как таможенные пристава, жандармы и всякая полиция тормошили пассажиров; Гауг потерял свою трость, подаренную мною, искал ее и сердился, Тата плакала. Кондуктор, в мундирной куртке, сел возле кучера. Дилижанс поехал по драгиньянской дороге,— а мы, Тесье, Саша и я, пошли назад через мост, сели в коляску и поехали *туда, где я жил.*

Дома у меня больше не было. С отъездом детей последняя печать *семейной* жизни отлетела — все приняло холостой вид. Энгельсон с женой уехал дня через два. Половина комнат были заперты. Тесье и Edmond переехали ко мне. Женский элемент был исключен. Один Саша напоминал возрастом, чертами, что тут было что-то другое... напоминал кого-то *отсутствующего!*

Post scriptum

...Дней через пять после похорон Гервег писал своей жене: «Весть эта глубоко огорчила меня, я полон мрачных мыслей — пришли мне по первой почте «I. Sepolcri» — Уго Фосколо».

И в следующем письме: [1] «Теперь настало время примирения с Герценом, *причина нашего раздора не существует больше...* Лишь бы мне его увидеть — с глаза на глаз — он один в состоянии *понять меня!*»

И понял!

---

[1] Оба письма ходили по рукам в Ницце.

ГАУГ

Гауг и Тесье явились одним утром в Цюрих, в отель, где жил Гервег. Они спросили, дома ли он, и на ответ кельнера, что дома, они велели себя прямо вести к нему, без доклада.

При их виде Гервег, бледный как полотно, дрожащий, встал и молча оперся на стул.

«Он был страшен,—до того выражение ужаса исказило его черты»,— говорил мне Тесье.

— Мы пришли к вам,— сказал ему Гауг,— исполнить волю покойницы: она на ложе предсмертной болезни писала вам, вы отослали письмо нераспечатанным под предлогом, что оно подложное, вынужденное. Покойница сама поручила мне и Тесье дю Моте засвидетельствовать, что она письмо это писала сама по доброй воле, и потом вам его прочесть.

— Я не хочу... не хочу...

— Садитесь и слушайте! — сказал Гауг, поднимая голос.

Он сел.

Гауг распечатал письмо и вынул из него... *записку, писанную рукою Гервега.*

Когда письмо, нарочно страхованное, было отослано назад, я отдал его на хранение Энгельсону. Энгельсон заметил мне, что две печати были подпечатаны.

— Будьте уверены,— говорил он,— что этот негодяй читал письмо и именно потому его отослал назад.

Он поднял письмо к свечке и показал мне, что в нем лежала не одна, а две бумаги.

— Кто печатал письмо?

— Я.

— Кроме письма, ничего не было?

— Ничего.

Тогда Энгельсон взял такую же бумагу, такой же пакет, положил три печати и побежал в аптеку; там он взвесил оба письма — присланное имело *полтора* веса. Он возвратился домой с пляской и пением и кричал мне: «Отгадал! отгадал!»

Гауг, вынув записку, прочитал письмо, потом, взглянув на записку, которая начиналась бранью и упреками, передал ее Тесье и спросил Гервега:

— Это ваша рука?

— Да, это я писал.

— Стало, вы письмо подпечатали?

— Я не обязан вам давать отчета.

Гауг изорвал его записку и, бросив ему в лицо, прибавил:

— Какой же вы мерзавец!

Испуганный Гервег схватился за шнурок и стал звонить изо всей силы.

— Что вы, с ума сошли? — спросил Гауг и схватил его за руку.

Гервег, рванувшись от него, бросился к двери, растворил ее и закричал:

— Режут! Режут! (Mord! Mord!)

На неистовый звон, на этот крик всё бросилось по лестнице к его комнате: гарсоны, путешественники, жившие в том же коридоре.

— Жандармов! Жандармов! Режут! — кричал уже в коридоре Гервег.

Гауг подошел к нему и, сильно ударив его рукой в щеку, сказал ему:

— Вот тебе, негодяй (Schuft), за жандармов!

Тесье в это время взошел опять в комнату, написал имена и адрес и молча подал их ему. На лестнице собралась толпа зрителей. Гауг извинился перед хозяином и ушел с Тесье.

Гервег бросился к комиссару полиции, прося его взять под *защиту законов* против подосланных убийц, и спрашивал, не начать ли ему процесс за пощечину.

Комиссар при содержателе отеля, расспросив о разных подробностях, изъявил сомнение в том, чтоб люди, таким образом приходившие белым днем в отель, не скрывая имен и места жительства, были подосланные убийцы. Что касается до процесса, он полагал, что его начать очень легко, и, наверное, думал, что Гауг будет приговорен к небольшой пени и к непродолжительной тюрьме. «Но в вашем деле вот в чем неудобство,— прибавил он,— для того, чтоб осудили этого господина, вам надобно публично *доказать, что он вам действительно дал пощечину*... Мне кажется, что для вашей пользы лучше дело оставить, оно же бог знает к каким ревеляциям [1] поведет...»

Логика комиссара победила.

Я тогда был в Лугано. Обдумав дело, на меня нашел страх: я был уверен, что Гервег не вызовет Гауга или Тесье, но чтоб Гауг умел *на этом остановиться* и покойно уехать из Цюриха,— в этом я не был уверен. Вызов со стороны Гауга [2] был бы явным образом

---

[1] разоблачениям *(от франц. révélation).— Ред.*

[2] Гауг действительно его сделал,— разумеется, Гервег не пошел.

против характера, который я хотел дать делу. Сам Тесье, на благородный ум которого я мог совершенно надеяться, во всем был слишком француз.

Гауг был упрям до капризности и раздражителен до детства. У него постоянно были контры и пики то с Хоецким, то с Энгельсоном, то с Орсини и итальянцами, которых он наконец действительно восстановил против себя,— и Орсини, улыбаясь по-своему и слегка покачивая головой, говаривал пресмешно:

— Oh, il generale, il generale Aug! [1]

На Гауга имел влияние один Карл Фогт с своим светлым практическим взглядом; он поступал агрессивно: осыпал его насмешками, кричал,— и Гауг его слушался.

— Какой секрет открыли вы,— спросил я раз Фогта,— усмирять нашего бенгальского *генерала?*

— Vous l'avez dit [2],— отвечал Фогт,— вы пальцем дотронулись до секрета. Я его усмиряю потому, что *он генерал и верит в это.* Генерал знает дисциплину, он против начальства идти не может: вы забываете, что я — *викарий империи.*

Фогт был совершенно прав. Несколько дней спустя Энгельсон, нисколько не думая о том, что́ он говорит и при ком, сказал:

— На такую мерзость способен только немец.

Гауг обиделся. Энгельсон уверял его, что он не спохватился, что у него сорвалась эта глупость нечаянно с языка. Гауг заметил, что важность не в том, что он сказал при нем, а в том, что он имеет такое мнение о немцах,— и вышел вон.

На другой день рано утром он отправился к Фогту, застал его в постеле, разбудил и рассказал ему нанесенную обиду Германии, прося его быть свидетелем и снести Энгельсону картель.

— Что же, вы считаете, что я так же сошел с ума, как вы? — спросил его Фогт.

— Я не привык сносить обиды.

— Он вас не обижал. Мало ли что сорвется с языка,— он же извинялся.

— Он обидел Германию... и увидит, что при мне нельзя безнаказанно оскорблять великую нацию.

— Да вы что же за исключительный представитель Германии? — закричал на него Фогт.— Разве я не немец? Разве я не имею права вступаться так же, как вы, больше, чем вы?

---

[1] Ох, генерал, генерал Гауг! *(итал.)* — *Ред.*

[2] Вы его сами открыли *(франц.).*— *Ред.*

— Без сомнения, и, если вы берете это дело на себя, я вам уступаю.

— Хорошо, но, вверивши мне, надеюсь, что вы не станете мешать. Сидите же здесь спокойно, а я схожу и узнаю, точно ли такое мнение у Энгельсона или это так, случайно сказанная фраза,— ну, а картель ваш покаместь мы изорвем.

Через полчаса явился Фогт ко мне, я ничего не знал о вчерашнем событии. Фогт взошел, по обычаю громко смеясь, и сказал мне:

— Что, у вас Энгельсон на воле ходит или нет? Я запер нашего генерала у себя. Представьте, что он за поганых немцев, о которых Энгельсон дурно отозвался, хотел с ним драться; я его убедил, что расправа принадлежит мне. Половина дела сделана. Усмирите вы теперь Энгельсона, если он не в белой горячке.

Энгельсон и не подозревал, что Гауг до такой степени рассердился; сначала хотел лично с ним объясниться, готов был принять картель, потом сдался, и мы послали за Гаугом. Викарий на это утро бросил медуз и салпов и до тех пор сидел, пока Гауг и Энгельсон совершенно дружески рассуждали за бутылкой вина и котлетами à la milanaise [1].

В Люцерне, куда я отправился из Лугано, мне предстояла новая задача. В самый день моего приезда Тесье рассказал мне, что Гауг написал *мемуар* по поводу пощечины, в котором изложил все дело; что эту записку он хочет напечатать и что Тесье его только остановил тем, что все же без моего согласия такой вещи печатать невозможно. Гауг, нисколько не сомневаясь в моем согласии, решился ждать меня.

— Употребите все усилия, чтоб этот несчастный factum [2],— говорил мне Тесье,— не был напечатан; он испортит все дело, он сделает вас, память вам дорогую и нас всех посмешищем на веки веков.

Вечером Гауг отдал мне тетрадь. Тесье был прав. От такого удара воскреснуть нельзя бы было. Все было изложено с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к покойной — и все было смешно, *смешно для меня* в это время слез и отчаяния. Вся статья была писана слогом Дон Карлоса — в прозе. Человек, который мог написать такую вещь, должен был свое сочинение высоко поставить и, конечно, не мог его уступить без боя. Нелегка была моя роль. Писано все это было для меня, из дружбы, добросовестно, честно, искренно,— и я-то должен был вместо благодарности

---

[1] по-миланski *(франц.).— Ред.*

[2] эпизод *(лат.).— Ред.*

отравить ему мысль, которая сильно засела в его голове и правилась ему.

Уступки я сделать не мог. Долго думая, я решился к нему написать длинное послание, благодарил его за дружбу, но умолял его мемуара не печатать. «Если надобно в самом деле что-нибудь печатать из этой страшной истории, то это печальное право принадлежит мне одному».

Письмо это, запечатавши, я послал Гаугу в часов 7 утра. Гауг отвечал мне: «Я с вами не согласен, я вам и ей ставил памятник, я вас поднимал на недосягаемую высоту, и, если б кто осмелился бы заикнуться, того я заставил бы замолчать. Но в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой разумеется, если вы хотите писать,— уступлю».

Он был день целый мрачен и отрывист. К вечеру мне пришла страшная мысль: *умри я — ведь он памятник-то поставит,*— и потому, прощаясь, я ему сказал, обнявши его:

— Гауг, не сердитесь на меня; в таком деле действительно нет лучшего судьи, как я.

— Да я и не сержусь, мне только больно.

— Ну, а если не сердитесь, оставьте у меня вашу тетрадь, подарите ее мне.

— С величайшим удовольствием.

Замечательно, что у Гауга с тех пор остался литературный зуб против меня, и впоследствии в Лондоне, на мое замечание, что он к Гумбольдту и Мурчисону пишет слишком вычурно и фигурно, Гауг, улыбаясь, говорил:

— Я знаю, вы диалектик, у вас слог резкого разума, но чувство и поэзия имеют другой язык.

И я еще раз благословил судьбу, что не только взял у него его тетрадь, но, уезжая в Англию, ее сжег.

Новость о пощечине разнеслась, и вдруг в «Цюрихской газете» появилась статья Гервега с его подписью. *«Знаменитая пощечина»,*— говорил он,— никогда не была дана, а что, напротив, он «оттолкнул от себя Гауга так, что Гауг замарал себе спину об стену», что, сверх всего остального, особенно было вероятно для тех, которые знали мускульного и расторопного Гауга и неловкого, тщедушного баденского военачальника. Далее он говорил, что все это — далеко ветвящаяся интрига, затеянная *бароном Герценом на русское золото,* и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованье.

Гауг и Тесье тотчас поместили в той же газете серьезный, сжатый, сдержанный и благородный рассказ дела.

К их объяснению я прибавил, что у меня на жалованье никогда никого не было, кроме слуг и Гервега, который жил

последние два года на мой счет и один из всех моих знакомых в Европе должен мне значительную сумму. Это *чуждое мне оружие* я употребил в защиту оклеветанных друзей.

На это Гервег возразил в том же журнале, что «он никогда *не находился в необходимости занимать у меня деньги и не должен мне ни копейки*» (занимала для него его жена).

С тем вместе какой-то доктор из Цюриха писал мне, что Гервег поручил ему вызвать меня.

Я отвечал через Гауга, что, как прежде, так и теперь, я Гервега не считаю человеком, заслуживающим удовлетворения; что казнь его началась, и я пойду своим путем. При этом нельзя не заметить, что два человека (кроме Эммы), принявшие сторону Гервега — этот доктор и Рихард Вагнер, музыкант *будущего*,— оба не имели никакого уважения к характеру Гервега. Доктор, посылая вызов, прибавлял: «Что же касается до сущности самого дела, я его не знаю и желаю быть совершенно в стороне». А в Цюрихе он говорил своим друзьям: «Я боюсь, что он не будет стреляться и хочет разыграть какую-нибудь сцену; только я не позволю над собой смеяться и делать из меня шута. Я ему сказал, что у меня будет другой заряженный пистолет в кармане — *и этот для него!..*»

Что касается до Р. Вагнера, то он письменно жаловался мне, что Гауг слишком бесцеремонен, и говорил, что он не может произнести строгого приговора над человеком, «которого он любит и жалеет». «К нему надобно снисхождение; может, он еще и воскреснет из ничтожной, женоподобной жизни своей, соберет свои силы из эксцентричной распущенности и иначе проявит себя» [1].

Как ни гадко было поднимать — рядом со всеми ужасами — денежную историю, но я понял, что ею я ему нанесу удар, который поймет и примет к сердцу весь буржуазный мир, то есть все общественное мнение в Швейцарии и Германии.

Вексель в 10 000 франков, который мне дала m-me Herwegh и хотела потом выменять на несколько слов позднего раскаянья, был со мной. Я его отдал нотариусу.

С газетой в руке и с векселем в другой явился нотариус к Гервегу, прося объясненья.

— Вы видите,— сказал он,— это не моя подпись.

Тогда нотариус подал ему письмо его жены, в котором она писала, что берет деньги для него и с его ведома.

— Я совсем этого дела не знаю и никогда ей не поручал; впрочем, адресуйтесь к моей жене в Ниццу — мне до этого дела нет.

---

[1] Письмо Вагнера в приложении.

— Итак, вы решительно не помните, чтоб сами уполномочили вашу супругу?

— Не помню.

— Очень жаль; простой денежный иск этот получает через это совсем иной характер, и ваш противник может преследовать вашу супругу за мошеннический поступок, escroquerie [1].

На этот раз поэт не испугался и храбро отвечал, что это не его дело. Ответ его нотариус предъявил Эмме. Я не продолжал дела. Денег, разумеется, они не платили.

— Теперь,— говорил Гауг,— теперь в Лондон!.. Этого негодяя так нельзя оставить...

И мы через несколько дней смотрели на лондонский туман из четвертого этажа Morley's House.

Переездом в Лондон осенью 1852 замыкается самая ужасная часть моей жизни,— на нем я прерываю рассказ.

(Окончено в 1858.)

...Сегодня второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба? Никого нет возле... иных вовсе нет, другие очень далеко — и не только *географически!*

Голова Орсини, окровавленная, скатилась с эшафота...

Тело Энгельсона, умершего врагом мне, покоится на острове Ламанша.

Тесье дю Моте, химик, натуралист, остался тот же кроткий и добродушный, но сзывает духов... и вертит столы.

Charles Edmond, друг принца Наполеона, библиотекарем в Люксембургском дворце.

Ровнее всех, вернее всех себе остался К. Фогт.

Гауга я видел год тому назад. Из-за пустяков он поссорился со мной в 1854 году, уехал из Лондона, не простившись, и перервал все сношения. Случайно узнал я, что он в Лондоне — я велел ему передать, что «настает десятилетие после похорон, что стыдно сердиться без серьезного повода, что нас связывают святые воспоминания и что если он забыл, то я помню, с какой готовностью он протянул мне дружескую руку».

Зная его характер, я сделал первый шаг и пошел к нему. Он был рад, тронут, и при всем эта встреча была печальнее всех разлук.

Сначала мы говорили о лицах, событиях, вспоминали подробности, потом сделалась пауза. Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали совершенно чужие. Я делал усилия

[1] мошенничество *(франц.).— Ред.*

поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; разные инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они,— опять стало тяжело.

— Ах, боже мой,— сказал я вдруг, вынимая часы,— пять часов, а у меня назначен rendez-vous [1]. Я должен оставить вас.

Я солгал — никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже словно камень с плеч свалился.

— Неужели пять часов? — Я сам еду обедать сегодня в Clapham.

— Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.

И, выйдя на улицу, я был готов... «захохотать»? — нет, заплакать.

Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел он ехать, как говорил, остался дольше, но нам было довольно, и мы не старались увидеться еще раз.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Теддингтон
Август 1863.

Бывало, Огарев, в новгородские времена, певал: «Cari luoghi io vi ritrovai»; [2] найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.

Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847, спускаясь оттуда в первый раз в Италию. Там ехал в 1851 в Иер отыскивать следы моей матери, сына — и ничего не нашел.

Туго стареющая природа осталась та же, а человек изменился, и было отчего. Жизни, наслажденья искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы... были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем, и ни одного облака впереди,— тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то беззаботном сознании силы.

Во второй раз я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный, я искал тела, потонувший корабль,— и не только сзади гнались страшные тени, но и впереди все было мрачно.

В третий раз... еду к детям, еду к могиле,— желанья стали скромны: ищу немного досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя, этого noli me tangere [3] устали и старости.

---

[1] свидание *(франц.).— Ред.*
[2] Дорогие места, я опять вас увидел *(итал.).— Ред.*
[3] не тронь меня *(лат.).— Ред.*

21 сентября был я на могиле. Все тихо: то же море, только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов мне были страшны, чужды. *Она не тут;* здесь ее нет — она жива во мне.

Я пошел с кладбища в оба дома,— дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей à charge?..[1] Вот терраса, по которой я между роз и виноградников ходил задавленный болью и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желанием облегченья, помощи и, не находя их в людях, искал в вине...

Диван, покрытый теперь пылью и какими-то рамками,— диван, на котором *она* изнемогла и лишилась чувств в страшную ночь объяснений.

Я отворил ставень в спальной дома Дуйса — вот он, старознакомый вид... я обернулся — кровать, тюфяки сняты и лежат на полу, словно на днях был вынос... Сколько потухло, исчезло в этой комнате! Бедная страдалица — и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!

---

[1] обвинения *(франц.).— Ред.*

РУССКИЕ ТЕНИ

I

Н. И. САЗОНОВ

Сазонов, Бакунин, Париж.— Имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад... назад — в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства [1].

Мне слишком дороги наши *две юности*, чтоб опять не приостановиться на них... С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риензи; с Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля.

О Бакунине я говорил, и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде — в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина,— делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.

В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, иересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в *крайний край*,— анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоца, другом Гракха Бабёфа,— и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов,—

Но здесь, под гнетом власти царской,—

---

[1] Этот очерк принадлежит к XXXIV гл., стр. 12.

Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии да года два в московском гегелизме, торопился оставить край, в котором мысль преследовалась как дурное намерение и независимое слово — как оскорбление общественной нравственности.

Вырвавшись в 1840 году из России, он в нее не возвращался до тех пор, пока пикет австрийских драгун не сдал его русскому жандармскому офицеру в 1849 году.

Поклонники целесообразности, милые фаталисты рационализма все еще дивятся премудрому à propos, с которым являются таланты и деятели, как только на них есть потребность, забывая, сколько зародышей мрет, глохнет, не видавши света, сколько способностей, готовностей вянут, потому что их не нужно.

Пример Сазонова еще резче. Сазонов прошел бесследно, и смерть его так же никто не заметил, как всю его жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, которые клали на него его друзья. Легко сказать, что он виноват в своей судьбе; но как оценить и взвесить долю, падающую на человека, и ту, которая падает на среду?

Николаевское время было временем нравственного душегубства, оно убивало не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, так сказать, отрицательными ударами.

Хоронить затянувшиеся существования того времени, выбившиеся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врезавшуюся в песок барку нашу,— моя специальность. Я — их Домажиров, теперь всеми забытый, а некогда всем в Москве известный старик, отставной ординарец Прозоровского. Пудреный, в светло-зеленом павловском мундире, являлся он на все выносы, на которых бывал архиерей, становился вперед процессии и вел ее, воображая, что делает дело.

...На второй год университетского курса, то есть осенью 1831, мы встретили в числе новых товарищей, в физико-математической аудитории, двоих, с которыми особенно сблизились.

Наши сближения, симпатии и антипатии шли из одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии: наука, искусство, связи, родительский дом, общественное положение. Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали про-

зелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента.

Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие. Ему было лет восьмнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили. Друг его, красивый собой и нежный, как девушка, совсем напротив, искал, к кому бы приютиться; полный любви и преданности, едва вышедший из-под материнского крыла, с благородными стремлениями и полудетскими мечтами, ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам и отдавался весь и нам, и нашей идее,— это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова.

...День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей веры в святость дела — и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству,— был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и à la lettre [1] пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной» [2], как четыре диакона, идущие в светлый праздник с четырьмя Евангелиями в руках.

Проповедовали мы везде, всегда... Что мы, собственно, проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу.

Общества, в сущности, никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены.

С тех пор наша пропаганда не перемежалась через всю жизнь нашу, от университетской аудитории до лондонской типографии. Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутым вопросам, по возбужденным интересам, в журналах, на лекциях, в литературных кругах... видоизменяясь, развиваясь, наша пропаганда оста-

---

[1] буквально *(франц.).— Ред.*

[2] Universitas.

валась верной себе и вносила свой *индивидуальный* характер во все окружающее. Казна подняла нас и сделала нам на свой счет пьедестал *тюрьмой* и *ссылкой*. Мы возвратились в Москву «авторитетами» в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин, а статьями в «Отечественных записках» мы сами примкнули к петербургскому движению лицеистов и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими.

Умалчивать о значении нашего круга оттого, что я принадлежал к нему, было бы лицемерно или глупо. Совсем напротив, встречаясь в моих рассказах с теми временами, с старыми друзьями тридцатых и сороковых годов, я нарочно останавливаюсь и говорю, не боясь повторений, лишь бы ближе познакомить с ними молодое поколение. Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них, как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их, как отсталых, как лишних и праздных людей, фантастов и мечтателей, забывая, что оценка прошлых *лиц*, их значение и «проба» меньше зависят от сравнения *суммы* знания и образа постановления задач прежнего времени и нового, чем от энергии и силы, которую вносили они в свои решения. Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков.

Смело и с полным сознанием скажу еще раз про наше товарищество того времени, что «это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал», а скитался довольно по белому и по *красному* свету. Я не только говорю о нашем, близком круге, но то же и в той же силе должен сказать о круге Станкевича и о славянофилах. Молодые люди, испуганные ужасной действительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья,— из-за своих убеждений и остались верными им. Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть.

Их преследуют, отдают под суд, отдают под надзор, ссылают, таскают, обижают, унижают,— они остаются те же; проходит десять лет — они те же, проходит двадцать, тридцать — они те же.

Я требую признания им и справедливости.

Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз:

— Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все *жертвовали* общественным положением, имели средства, для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть...

— Я полагаю,— отвечал я раз,— что для казненных *да*...

— По крайней мере, не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам нравилось быть революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком — не выбор, это — *наше* общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком, упавшим в воду и купающимся: обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия.

Не признавать людей потому, что они делали из внутреннего влечения то, что́ другие *будут* делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно.

Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас — не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен.

Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только *с истины;* не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями... это — halte [1] меры, истины, красоты, это —вечно уравновешиваемое колебание организма.

Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественного страдания так же несправедливо, как все исключительности и монополи. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью дальше милостыни и насильственной сполиации [2], дальше раздачи именья и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании, в ультрademократизме, как заметил Прудон,— чув-

[1] Здесь: предел, граница *(франц.).— Ред.*
[2] грабежа *(от франц. spoliation).— Ред.*

ством зависти и ненависти, не переходя ни там, ни тут ни к какой построяющей мысли, ни к какой практике.

Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла Великого — Сен-Симон, так же как фабрикант Роберт Оуэн не от голодной смерти сделались апостолами социализма.

Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы, вместе с нами, не вошли и те ранние сеятели всего, что взошло и всходит — декабристы, которых мы так глубоко уважаем.

Отступление это здесь почти некстати.

Сазонов был действительно праздный человек и сгубил в себе бездну сил; затертый разными разностями на чужбине, он пропал, как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой.

Когда нас арестовали в 1834 году и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию. Участь его, разрозненная с нами, положила, может, начало последующей жизни его,— жизни какой-то блуждающей и бесследно падающей звезды.

Через год он возвратился в Москву; это был один из самых удушливых и тяжелых периодов прошлого царствования. В Москве его встретил мертвый calme plat[1], нигде ни тени сочувствия, ни живого слова. Мы в *резервах* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились с грубой реальностью провинциального быта.

В Москве все Сазонову напоминало наше отсутствие. Из старых друзей один Кетчер был налицо,— человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог идти рука в руку. Кетчер, как мы говорили, был сознательный дикарь — *из образованных,* куперовский пионер, с премедитацией[2] возвращавшийся в первобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по теории, студент лет тридцати пяти в роли шиллеровского юноши.

Сазонов побился, побился в Москве,— скука одолела его, ни-

---

[1] штиль *(франц.).— Ред.*

[2] преднамеренностью *(от франц. préméditation).— Ред.*

что не звало на труд, на деятельность. Он попробовал переехать в Петербург — еще хуже; не выдержал он à la longue и уехал в Париж без определенного плана. Это было еще то время, когда Париж и Франция имели на нас всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны, и были в восторге от всего — от либеральных речей, от песней Беранже и карикатур Филипона. Так было и с Сазоновым. Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут — чужой всем и всему. Другой, длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд,— по на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул.

...А горели и его глаза и наполнялись слезой при памяти о наших университетских мечтах... Внутри его глубоко уязвленного самолюбия все еще хранилась вера в *близкий* переворот России и в то, что он призван играть в нем большую роль. Казалось, он и кутил только *покаместь,* в скучном ожидании предстоящего огромного дела, и был уверен, что одним добрым вечером его вызовут из-за стола café Anglais и повезут управлять Россией... он пристально присматривался к тому, что делается, и с нетерпением ждал минуты, когда нужно будет принять серьезное участие и сказать последнее, завершающее слово...

...После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазонов и Бакунин были недовольны (так, как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов

они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали.

Разница наших взглядов чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так: накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на исстрадавшемся лице его. Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся sur le tapis [1].

— Жаль,— заметил Сазонов,— что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал,— отвечал я.

— Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы...

Мне было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущие без цензуры, вы, полные веры в себя, полные сил и талантов, что же вы сделали? Или что вы делаете? Неужели вы воображаете, что ходить с утра из одной части Парижа в другую, чтоб еще раз переговорить с Служальским или Хоткевичем о границах Польши и России,— дело? Или что ваши беседы в кафе и дома, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, а другие пять ничего не понимают и говорят,— дело?

— Постой, постой,— говорил Сазонов, уже очень неравнодушно,— ты забываешь наше положение.

— Какое положение? Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Полноте, господа, одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людей. Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда две меры, которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские к оценке людей. Строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как

[1] предметом обсуждения *(франц.).— Ред.*

наши *пасовали* перед этими матадорами краснобайства, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с vitesse accélerée [1]. И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрывать *их* невежество (как делают нежные родители и самолюбивые мужья), тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими Анахарсисами.

Сазонов, любивший еще в России студентом окружать себя *двором* разных посредственностей, слушавших и слушавшихся его, был и здесь окружен всякими скудными умом и телом лацаронн литературной Киайи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетонов, вроде тощего Жюльвекура, полуповрежденного Тардифа де Мело, неизвестного, но великого поэта Буэ; в его хоре были и ограниченнейшие поляки из товянщизны, и тупоумнейшие немцы из атеизма. Как он не скучал с ними — это его секрет; он даже ко мне ходил почти всегда с одним или с двумя понятыми из хора, несмотря на то что я с ними всегда скучал и не скрывал этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что он сам становился в положение Жюльвекура в отношении к Маррастам, Риберолям и даже к меньшим знаменитостям.

Все это не совсем понятно для современных посетителей Парижа. Никак не надобно забывать, что настоящий Париж — *не настоящий, а новый.*

Сделавшись каким-то *сводным* городом всего света, Париж перестал быть городом по преимуществу французским. Прежде в нем была вся Франция и «ничего разве ее»; теперь в нем вся Европа да еще две Америки, но *его самого* меньше; он расплылся в своем звании мирового отеля, караван-сарая и потерял свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвращение без пределов.

Само собою разумеется, что отношение иностранцев к новому Парижу изменилось. Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* город. Кочующий турист считает Париж своим, он его покупает, жирует им и очень хорошо знает, что он нужен Парижу и что старый Вавилон обстроился, окрасился, побелился не для себя, а для него.

В 1847 году я еще застал *прежний* Париж, к тому же Париж с поднятым пульсом, допевавший Беранжеровы песни с припевом: «Vive la réforme!» [2], невзначай переменявшимся в «Vive la République!» [3]. Русские продолжали тогда жить в Париже с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков), *что они живут в нем,* что они

[1] возрастающею быстротой *(франц.).— Ред.*
[2] Да здравствует реформа! *(франц.) — Ред.*
[3] Да здравствует республика! *(франц.) — Ред.*

гуляют в Palais Royal'e и ходят aux Français [1]. Они откровенно поклонялись львам и львицам всех родов — знаменитым докторам и танцовщицам, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему «Мапа» и всем литературным шарлатанам и политическим фокусникам.

Я ненавижу систему дерзости préméditée, которая у нас в моде. Я в ней узнаю все родовые черты прежнего, офицерского, помещичьего дантизма, ухарства, переложенные на нравы Васильевского острова и линий его. Но не надобно забывать, что и клиентизм наш перед западными авторитетами шел из той же казармы, из той же канцелярии, из той же передней — только в другие двери, а именно обращенные к барину, начальнику и командиру. В нашей бедности поклонения чему б то ни было, кроме грубой силы и ее знамений — звезд и чинов, потребность иметь нравственную *табель о рангах* очень понятна, но зато перед кем и кем не стояли в умилении лучшие из наших соотечественников? Даже перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. От *немцев* можно сделать заключение, что́ делалось перед французами, перед людьми действительно замечательными, перед Пьером Леру, например, или перед *самой* Жорж Санд...

Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком «Десяти лет» или у Бакунина с Прудоном — некоторым образом чин, повышение; но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию.

Месяца через три после моего приезда в Париж я начал крепко нападать на это *чинопочитание,* и именно в пущий разгар моей оппозиции случился спор по поводу Белинского. Бакунин, с обыкновенным добродушием своим, сам вполовину соглашался и хохотал, но Сазонов надулся и продолжал меня считать профаном в практически-политических вопросах. Вскоре я его убедил еще больше в этом.

Февральская революция была для него полнейшим торжеством: знакомые фельетонисты заняли правительственные места, троны качались, их поддерживали поэты и доктора. Немецкие князьки спрашивали совета и помощи у вчера гонимых журналистов и профессоров. Либералы учили их, как крепче нахлобучить узенькие коронки, чтоб их не снесло поднявшейся вьюгой. Сазонов писал ко мне в Рим письмо за письмом и звал *домой,* в Париж, в единую и нераздельную республику.

Возвращаясь из Италии, я застал Сазонова озабоченным. Бакунина не было, он уже уехал *поднимать* западных славян.

---

[1] во «Французскую комедию» *(франц.).— Ред.*

— Неужели,— сказал мне Сазонов при первом свидании,— ты не видишь, что наше *время пришло?*

— То есть как?

— Русское правительство в impass'e [1].

— Что же случилось, не провозглашена ли республика в Петропавловской крепости?

— Entendons nous [2], я не думаю, чтоб у нас завтра было двадцать четвертое февраля. Нет, но общественное мнение, но наплыв либеральных идей, разбитая на части Австрия, Пруссия с конституцией заставят подумать людей, окружающих Зимний дворец. Меньше нельзя сделать, как октроировать [3] какую-нибудь конституцию, un simulacre de charte [4], ну, и при этом,— прибавил он с некоторой торжественностью,— при этом необходимо либеральное, образованное, умеющее говорить современным языком министерство. Думал ли ты об этом?

— Нет.

— Чудак, где же они возьмут образованных министров?

— Как не найти, если б было нужно; но мне кажется, они их искать не будут.

— Теперь этот скептицизм неуместен, *история совершается,* и притом очень быстро. Подумай,— правительство поневоле обратится *к нам.*

Я посмотрел на него, желая знать, что он, шутит или нет. У него лицо было серьезно, несколько поднято в цвете и нервно от волнения.

— Так-таки просто *к нам?*

— Ну, то есть *лично* ли к нам или к нашему кругу, все равно,— да ты подумай еще раз, к кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смеешься. Это наше несчастие, что мы не умеем ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir; [5] ты все думаешь о статейках, статейки хорошее дело, но теперь другое время, и один день во власти важнее целого тома.

Сазонов с сожалением смотрел на мою *непрактичность* и наконец нашел людей меньше скептических, уверовавших в близкое пришествие его министерства. В конце 1848 года два-три немца-рефюжье очень постоянно посещали небольшие вечера, устроенные Сазоновым у себя. В их числе был австрийский лейтенант, отличившийся как начальник штаба при Месенгаузере.

---

[1] в тупике *(франц.).— Ред.*

[2] Постараемся понять друг друга *(франц.).— Ред.*

[3] даровать *(от франц. octroyer).— Ред.*

[4] подобие конституции *(франц.).— Ред.*

[5] ни заставить ценить себя *(франц.).— Ред.*

Раз, выходя часа в два ночи по проливному дождю и вспомнив, что от rue Blanche до quartier Latin не то чтоб было чересчур близко, офицер роптал на свою судьбу.

— Какая же вам неволя в такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно, не неволя, да, знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мне кажется, что с ним надобно нам поддерживать хорошие отношения. Вы лучше меня знаете, что он с своим талантом и умом... с тем местом, которое он занимает в своей партии, что он далеко пойдет при предстоящем перевороте в России...

— Ну, Сазонов,— сказал я ему на другой день,— архимедову точку ты нашел: есть человек, который верит в твою будущую портфель, и этот человек — лейтенант такой-то.

Время шло, переворота в России не было, и послов за нами никто не присылал. Прошли и грозные Июньские дни; Сазонов принялся за «передовую статью» — не журнала, а *эпохи*. Долго работал он за ней, читал небольшие отрывки, поправлял, менял и едва окончил к зиме. Ему казалось необходимым «объяснить последнюю революцию России». «Не ждите,— говорил он вначале,— чтоб я вам стал описывать события, другие это сделают лучше меня. Я вам передам мысль, идею совершившегося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, он всякий раз, когда брал его, хотел сделать что-нибудь необыкновенное, громовое,— «Письмо» Чаадаева постоянно носилось в его уме. Статья поехала в Петербург, была прочтена в дружеских кругах и не сделала никакого впечатления.

Еще летом 1848 завел Сазонов международный клуб. Туда он привел всех своих Тардифов, немцев и мессианистов. С сияющим лицом ходил он в синем фраке по пустой зале. Он открыл международный клуб речью, обращенной к пяти-шести слушателям, в числе которых был я[1] в роли публики, остальная кучка была на платформе в качестве бюро. Вслед за Сазоновым предстал растрепанный, с видом заспанного человека, Тардиф де Мело и грянул стихотворение в честь клуба.

Сазонов поморщился, но остановить поэта было поздно.

> Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard
> Et vous tous... [2] —

кричал с каким-то восторженным остервенением Тардиф де Мело, не замечая смеха.

---

[1] Я был тогда, как выражаются поляки, «паспортовый» и не отрезал еще путей возвращения в Россию.

[2] Ворцель, Сазонов, Голынский, дель Бальцо, Леопард и все вы... *(Франц.) — Ред.*

На другой или третий день Сазонов мне прислал экземпляров тысячу программы открытия клуба, тем клуб и кончился. Только впоследствии мы услышали, что один из представителей человечества,— и именно представлявший на этом конгрессе Испанию и говоривший речь, в которой называл исполнительную власть potence exécutive, воображая, что это по-французски,— чуть не попал в Англии на настоящую виселицу и был приговорен к каторжной работе за подделку какого-то акта.

За неудавшимся министерством и лопнувшим клубом следовали больше скромные, но и гораздо больше возможные попытки сделаться журналистом. Когда устроилась «La Tribune des Peuples», под главным заведованием Мицкевича, Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хорошие статьи... и замолк; а перед падением «Трибуны», то есть перед 13 июнем 1849, был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, il se sentait dérogé [1], досадовал за это, ничего не оканчивал, запускал начатое и бросал вполовину сделанное.

В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции «Voix du Peuple» Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил, она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов через месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом. «Я Прудона глубоко уважаю,— писал он мне в Женеву,— но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».

Через год Сазонов пристроился к воскрешенной тогда мацинистами «Реформе». Главной редакцией заведовал Ламенне. И тут не было места двум великим людям. Сазонов поработал месяца три и бросил «Реформу». С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с Ламенне — в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламенне, вспомнив привычки клерикальной юности своей, прибегнул к ultima ratio [2] на Западе и пустил насчет Сазонова вопрос: «Не агент ли он русского правительства?»

В последний раз я Сазонова видел в Швейцарии в 1851 году. Он был выслан из Франции и жил в Женеве. Это было самое серое, подавляющее время, грубая реакция торжествовала везде. Поколебалась вера Сазонова во Францию и в близкую перемену министерства в Петербурге. Праздная жизнь ему надоела, мучила

---

[1] он чувствовал себя униженным *(франц.).— Ред.*
[2] крайнему доводу *(лат.).— Ред.*

его, работа не спорилась, он хватался за все, без выдержки, сердился и пил. К тому же жизнь мелких тревог, вечной войны с кредиторами, добывание денег, талант их бросать и неуменье распоряжаться вносили много раздражения и печальной прозы в ежедневное существование Сазонова; он и кутил уже не весело, по привычке, а кутить он некогда был мастер.

Кстати, несколько слов о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутеж и не была лишена колорита.

В первые годы своей парижской жизни Сазонов встретился с одной богатой вдовой, с нею он еще больше втянулся в пышную жизнь. Она уехала в Россию, оставив ему на воспитание их дочь и большие деньги. Вдова не успела доехать до Петрополя, как уже ее заменила дебелая итальянка, с голосом, перед которым еще раз пали бы стены иерихонские.

Года через два-три вдова вздумала совершенно неожиданно посетить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа? — спросила она, оглядывая ее с головы до ног.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну как она научит ее говорить по-французски с таким акцентом?.. Это беда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher... [1] — и вдова взяла дочь.

Это был не только чувствительный, но и финансовый кризис. Сазонов был далеко не беден. Сестры посылали ему тысяч двадцать франков в год дохода с его именья. Но, тратя безумно, он и теперь не думал уменьшать свой train [2], а бросился на займы. Занимал он направо и налево, брал у сестер из России что мог, брал у друзей и врагов, брал у ростовщиков, у дураков, у русских и не русских... Долго держался он и лавировал таким образом, но наконец все-таки оборвался и попал в Клиши, как я уже упомянул.

В продолжение этого времени старшая сестра его овдовела. Услышав, что он в тюрьме, обе сестры поехали его выручать. Как всегда бывает, они ничего не знали о житье-бытье Николиньки. Обе сестры были без ума от него, считали его за гения и ждали с нетерпением, когда он явится во всей силе и славе.

Их встретили разные разочарования, они их тем больше удивили, чем меньше они ожидали. На другой день утром они, взявши с собой графа Хоткевича, приятеля Сазонова, поехали его

---

[1] Но, моя дорогая... Но, мой дорогой... *(франц.)* — *Ред.*

[2] образ жизни *(франц.)*.— *Ред.*

выкупать сюрпризом. Хоткевич оставил их в карете и ушел, обещавши через минуту явиться с братом. Час шел за часом, Николинька не являлся... Верно, такие длинные формальности, думали дамы, скучая в фиакре... Прибежал наконец Хоткевич один, с красным лицом и сильным винным запахом. Он возвестил, что Сазонов сейчас будет, что он на прощанье с товарищами угощает их вином и закусывает с ними, что это уж так заведено. Кольнуло что немножко нежное сердце путешественниц... но... но вот и толстый, потный, плотный Николинька бросился в их объятия,— и они отправились, довольные и счастливые, домой.

Они слышали что-то... об какой-то итальянке... Пламенная дочь Италии, не устоявшая перед северным гением, и гиперборей, плененный южным голосом, огнем очей... Они, краснея и стыдясь, изъявили робкое желание с ней познакомиться. Он согласился на все и отправился домой. Дня через два сестры вздумали сделать второй сюрприз брату, который еще меньше удался первого.

Часов в одиннадцать утра, в жаркий день, отправились сестры взглянуть на Франческу да Римини и ее житье-бытье с Николинькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... В небольшой гостиной, покрытой коврами, сидел на полу в глубоком неглиже Сазонов и с ним — толстая signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянских легких... рассказу Николиньки. Возле них стояло ведро со льдом, и в нем, склоняясь набок,— бутылка шампанского.

Что было дальше и как, я не знаю, но эффект был сильный и продолжительный. Меньшая сестра приезжала ко мне совещаться об этом событии, о котором она говорила с спазмами и слезами. Я ее утешал тем, что первые дни после Клиши не составляют норму.

За всем этим следовала проза переезда на меньшую квартиру... Камердинер, который мастерски подавал галстук из непробиваемой шелковой материи, в которую изловчился вонзать булавку с жемчужиной, был отпущен, да и сама булавка вслед за ним явилась в окне какого-то магазина.

Так прошло еще лет пять. Сазонов возвратился в Париж из Швейцарии, потом опять уехал из Парижа в Швейцарию. Чтоб отделаться от дебелой итальянки, он изобрел самое оригинальное средство — он женился на ней, потом расстался.

Между нами пробежала кошка. Он не откровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогом мне. Я не мог перешагнуть через это.

Между тем началась новая эпоха для России; Сазонов рвался принять участие в ней, писал статьи неудававшиеся, хотел

возвратиться — и не возвращался[1] и оставил наконец Париж. Долго об нем не было ничего слышно.

...Вдруг какой-то русский, приехавший недавно из Швейцарии в Лондон, сказал мне:

— Накануне моего отъезда из Женевы хоронили старого знакомого вашего.

— Кого это?

— Сазонова, и представьте: ни одного русского не было на похоронах.

И стукнуло сердце — будто раскаяньем, что я его так надолго оставил...

(Писано в 1863.)

II
ЭНГЕЛЬСОНЫ

Они оба умерли. Он не старше тридцати пяти лет, она моложе его.

Он умер лет около десяти тому назад в Жерсее; за его гробом шла вдова, ребенок и коренастый, растрепанный старик с крупными, резкими, запущенными чертами — в его лице были зря перемешаны гений и безумие, фанатизм и ирония, озлобление ветхозаветного пророка и якобинца 1793 года. Старик этот был *Пьер Леру.*

Она умерла в начале 1865 года в Испании. О ее смерти я узнал несколько месяцев спустя.

Где ребенок, я не слыхал.

Человек, о котором идет речь, был мне близок, был мне дорог, он первый обтер глубокие раны, когда они были свежи, он был моим братом, моей сестрой. *Она*, вряд зная ли, что делает, отдалила его от меня. Он стал моим врагом...

Весть о ее смерти опять вызвала их в памяти...

Я взял тетрадь, писанную мною об них в 1859 году, и вместо псалтыря прочел ее над покойниками.

Долго думал я, печатать ее или нет, и недавно решил, что *да.* Намерение мое чисто, рассказ истинен. Не упрек хочу я бросить в их могилу, а вместе с читателем еще и еще раз проследить по новым субъектам всю сложную, болезненную сломанность людей последнего николаевского поколения.

Château Boissière, 31 декабря 1865.

---

[1] Его статья «О месте России на Всемирной выставке» напечатана в II кн. «Полярной звезды».

I

В конце 1850 года в Ниццу приехал один русский с женой. Мне их указали на прогулке. Оба они принадлежали к чающим движения воды; он — худой, бледный, чахоточный, рыжевато-белокурый, она — быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, живший у одной русской дамы, сказал мне, что белокурый господин — лицеист, что он читает «Vom andern Ufer», что он был замешан в деле Петрашевского и по всему тому желает со мной познакомиться. Я отвечал, что всегда рад хорошему русскому, тем больше лицеисту, да еще участвовавшему в деле, мало мне известном, но которое для меня было маслиной, принесенной голубем в Ноев ковчег.

Прошло несколько дней, я не видал ни лекаря, ни нового русского. Вдруг, как-то часу в десятом вечера, мне подали карточку — это был он. Мы сидели с Карлом Фогтом в столовой, я велел гостя просить наверх в гостиную и прежде других пошел туда. Там я застал его, бледного, дрожащего, в каком-то лихорадочном состоянии. Он едва мог сказать свою фамилию; успокоившись немного, он вскочил со стула, бросился ко мне, расцеловал меня и, прежде чем я, в свою очередь, успел прийти в себя, он, со словами: «Так наконец-то я в самом деле вижу вас!» — поцеловал мою руку. «Что с вами? Помилуйте!» — говорил я ему, но он уже плакал в это время.

Я смотрел на него с недоумением: что это — нервная распущенность или просто помешательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь, и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, выключенный из Лицея за какой-то вздор, гнушаясь службой, которую должен был принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться и, за несколько часов до исполнения своего намерения, пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы». Чтение мало-помалу захватило его внимание, ему стало легче, ему стало стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющее силы, и Энгельсон вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим.

Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволенья скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, перерываемую

отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроенную голову, резкую диалектическую способность и еще яснее — сломанность, бросавшую его из одной крайности в другую: от негодованья, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния.

Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него,— он как-то слишком сильно действовал на нервы,— но мало-помалу я привык к его странностям и был рад оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей.

Энгельсон бездну читал и бездну учился, был лингвист, филолог и вносил во все знакомый нам скептицизм, который так много берет за боль, оставляемую им. Встарь об нем сказали бы, что он зачитался. Через край возбужденная умственная деятельность была не по силам хилого организма. Вино, которым он побеждал усталь и возбуждал себя, раздувало его фантазию и мысли в длинные и яркие пасмы огня, быстро сожигая его больное тело.

Беспорядок и вино, всегдашняя раздражительная деятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнейшая праздность, крайность страстей и крайность апатии — несмотря на большую разницу с нашим прежним московским складом — живо напоминали мне былое. Опять услышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Он был свидетелем петербургского террора после 1848 и знал литературные круги. Совершенно отрезанный тогда от России, я с жадностью слушал его рассказы.

Мы стали видаться часто, потом всякий вечер.

Жена его тоже была странное существо. Ее лицо, от натуры прекрасное, было искажено невралгиями и каким-то тревожным беспокойством. Она была обруселая норвеженка и говорила по-русски с легким акцентом, который ей шел. Вообще она была молчаливее и скрытнее его. Домашняя жизнь их шла не светло; у них было как-то нервно unheimlich [1], натянуто, чего-то недоставало в их жизни, что-то было лишнее в ней, и это постоянно чувствовалось, как невидимое, грозное, электрическое в воздухе.

Часто заставал я их в большой комнате, бывшей их спальней и приемной в отеле, в совершеннейшей прострации. Ее, с заплаканными глазами, обессиленную, в одном углу; его, бледного как мертвец, с белыми губами, растерянного, молчащего — в другом... Так сидели они иногда часы целые, дни целые, и это в нескольких шагах от синего Средиземного моря, от померанцевых рощей, куда звало все — и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной

[1] неуютно *(нем.)*.— *Ред.*

жизни. Они, собственно, не ссорились, тут не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Он вдруг вставал, подходил к ней, становился на колени и, иногда с рыданьем, повторял: «Сгубил я тебя, мое дитя, сгубил!» И она плакала и верила, что он ее сгубил. «Когда же я наконец умру и оставлю его на свободе?» — говорила она мне.

Все это было для меня ново, и мне их было до того жаль, что хотелось с ними плакать и пуще всего сказать им: «Да полноте, полноте, вы вовсе не так несчастны и не так дурны, вы оба славные люди, возьмемте лодку и размыкаем горе по синему морю». Я это и делал иногда, и мне удавалось их увозить от самих себя. Но за ночь пароксизм возвращался... Они как-то надразнили друг друга и стояли в таком раздражительном импассе, что пустейшее слово нарушало согласие и снова вызывало каких-то фурий со дна их сердца.

Иной раз мне казалось, что, беспрерывно растравляя свои раны, они в этой боли находят какое-то жгучее наслажденье, что это взаимное разъеданье сделалось им необходимо, как водка или никули. Но, по несчастью, организм у обоих начал явно уставать, они быстро неслись в дом умалишенных или в могилу.

Натура ее, вовсе не бездарная, но невыработанная и в то же время испорченная, была гораздо сложнее и, в некотором смысле, гораздо выносливее и сильнее его. К тому же в ней не было ни тени единства, последовательности, той несчастной последовательности, которая у него оставалась в самых вопиющих крайностях и в самых крутых противуречиях. В ней рядом с отчаянием, с желанием умереть, с привычкой ныть и изнывать была и жажда светских наслаждений, и затаенное кокетство, любовь к нарядам и роскоши, отвергаемая как-то преднамеренно, назло себе. Она всегда была одета к лицу и со вкусом.

Ей хотелось быть женщиной свободной, по тогдашним понятиям, и огромным, оригинальным психическим несчастием, в смысле героинь Ж. Санд... но ее, как гиря, стягивала прежняя, привычная, традиционалыпая жизнь совсем в иную сферу.

То, что составляло поэзию Энгельсона и много выкупало его недостатков, то, что ему самому служило выходом, того она не понимала. Она не могла следовать за его скачущей мыслию, за его быстрыми переходами от отчаяния к остротам и хохоту, от откровенного смеха к откровенным слезам. Она отставала, теряла связь, терялась... для нее были непонятны карикатурные профили печальных мыслей его.

Когда Энгельсон, после целого запаса каламбуров и шалостей, передразниваний, больше и больше монтируясь, делал целые драматические представления, от которых нельзя было не хохотать до

упаду, она уходила с озлоблением из комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведение его при посторонних». Он обыкновенно примечал это, и так как его нельзя было ничем остановить, когда он закусывал удила, то он вдвое дурачился и потом вальсировал к ней и спрашивал ее с горящими щеками и покрытый потом: «Ach, mein liber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respektabel?» [1] Она плакала вдвое, он вдруг менялся, делался мрачен и morose [2], пил рюмку за рюмкой коньяк и уходил домой или просто засыпал на диване.

На другой день мне приходилось мирить, улаживать... и он так от души целовал ее руки и так смешно просил отпущение греха, что она сама иногда не могла удержаться и смеялась вместе с нами.

Надобно объяснить, в чем состояли эти представления, наносившие столько печали бедной Александре Христиановне. Комический талант Энгельсона был несомненен, огромен, до такой *едкости* никогда не доходил Левассор, разве Грассо в лучших своих созданиях да Горбунов в некоторых рассказах. К тому же половина была импровизирована, он добавлял, изменял, придерживаясь одной рамы. Если б он хотел развить в себе эту способность и привести ее в порядок, он наверное занял бы одно из первых мест в ряду *злых* комиков, но Энгельсон ничего не развил в себе и ничего не привел в порядок. Дикие и полные сил побеги талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его — и от домашних тревог, отнимавших половину времени, и от хватанья за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. В этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то что отец его был финляндского происхождения.

Представлял он все на свете — чиновников и барынь, попов и квартальных, но лучшие его представления относились к Николаю, которого он глубоко, задушевно, деятельно ненавидел. Он брал стул à la Napoléon, садился на него верхом и сурово подъезжал к выстроенному корпусу... кругом трясутся эполеты, шлемы, каски... это Николай на смотру; он сердится и, поворачивая лошадь, говорит корпусному командиру: «Скверно», корпусный с благоговением выслушивает, глядит вслед Николаю и потом, понижая голос и задыхаясь от бешенства, шепчет дивизионному генералу: «Вы, ваше превосходительство, кажется, заняты чем-то другим, а не службой, что за подлая дивизия, что за полковые командиры, я им покажу!»

Дивизионный генерал краснеет, краснеет и бросается на пер-

[1] Но, боже мой, Александра Христиановна, разве это не было прилично? *(нем.)* — *Ред.*

[2] угрюм *(франц.)*.— *Ред.*

того попавшегося полковника... Так от одного чина до другого, с неуловимо верными нюансами императорское «скверно» доходит до вахмистра, которого эскадронный командир ругает по-площадному и который, ничего не говоря, эфесом сабли тычет изо всей силы в бок флангового солдата, ничего не сделавшего.

Энгельсон представлял с поразительной верностью не только характеристику каждого чина, но все движения всадника, дергающего из бешенства свою лошадь и сердящегося на нее за то, что она не смирно стоит.

Другое представление было более мирного рода. Император Николай танцует французскую кадриль. Vis-à-vis с ним иностранный дипломат, по одну сторону фрунтовик-генерал, по другую — сановник из штатских. Это было своего рода оконченный chef d'œuvre. Для представления Энгельсон брал кого-нибудь из нас за даму. Цвет всего был Николай, *самодержавно царствующий* кадриль: сознательная твердость каждого шага, доблесть каждого движения, притом прощающий и милосердный взгляд на даму, который тотчас превращается в приказ генералу и в совет не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генерал, который, вытянувшись и немножко скругля локти, с натянутым вниманием идет по темпам на приступ фигуры, под строгим наблюдением государя императора, и растерянный сановник, с подкашивающимися от страха ногами, с улыбкой и почти со слезою на глазах,— все это было представлено так, что человек, никогда не видавший Николая, мог совершенно основательно узнать, в чем состояла пытка царской кадрили и опасность высочайшего vis-à-vis. Я забыл сказать, что дипломат один танцевал с изученной небрежностью и с большим fini [1], скрывая то неловкое чувство беспокойства, которое ощущает самый храбрый человек с зажженной сигарой возле бочки с порохом.

Но из того, что это ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не следует, чтоб в ней самой было больше стеклости и гармонии; совсем напротив, у нее в голове был действительный беспорядок, разрушавший всякий строй, всякую последовательность и делавший ее неуловимой. Я на ней на первой изучил, как мало можно взять логикой в споре с женщиной, особенно когда спор в практических сферах. В Энгельсоне неустройство напоминало беспорядок после пожара, после похорон, пожалуй, после преступления, а в ней — неприбранную комнату, в которой все разбросано зря: детские куклы, венчальное платье, молитвенник, роман Ж. Санд, туфли, цветы, тарелки. В ее полусознанных мыслях и полуподорванных верованиях, в притязаниях на

[1] совершенством *(франц.).— Ред.*

невозможную свободу и в зависимости от привычных внешних цепей было что-то восьмилетнее, восьмнадцатилетнее, восьмидесятилетнее. Много раз говорил я это ей самой; и, странное дело, даже лицо ее преждевременно завяло, казалось старым от отсутствия части зубов и в то же время сохраняло какое-то ребяческое выражение.

Во внутреннем хаосе ее был кругом виноват Энгельсон.

Его жена была избалованным ребенком своей матери, которая не чаяла в ней души; за нее посватался, когда ей было лет восьмнадцать, пожилой, флегматический чиновник из шведов. В минуту досады и ребяческого каприза на мать она согласилась выйти за него. Ей хотелось сесть хозяйкой и быть своей госпожой.

Когда медовый месяц воли, визитов, нарядов прошел, новобрачной стало невыносимо скучно; муж, несмотря на то что тщательно сохранял респектабельность, возил ее в театр и делал *чайные* вечера, ей опротивел, она побилась с ним года три-четыре, устала и уехала к матери. Они развелись. Мать умерла, и она осталась одна, с здоровьем, преждевременно разрушенным в борьбе с нелепым браком, с пустотой, с голодом в сердце, с праздным умом, страдающая, печальная.

В это время Энгельсон был исключен из Лицея. Нервный, раздражительный, с страстной потребностью любви, с болезненным недоверием к себе, снедаемый самолюбием... Он познакомился с ней еще при жизни матери и сблизился после ее смерти. Мудрено было бы, если б он не влюбился в нее. Надолго ли или нет, но он должен был полюбить ее сильно. К этому вело все... и то, что она была женщина без мужа, вдова и не вдова, невеста и не невеста, и то, что она томилась чем-то, была влюблена в другого и мучилась своей любовью. Этот другой был энергический молодой человек, офицер и литератор, но отчаянный игрок. Они поссорились за эту неистовую страсть к игре,— он впоследствии застрелился.

Энгельсон не отходил от нее, он утешал ее, смешил, занимал. Это была первая и последняя любовь его. Ей хотелось учиться или, лучше, знать, не учась; он взялся быть ее ментором,— она просила книг.

Первая книга, которую Энгельсон ей дал, была «Das Wesen des Christentums» [1] Фейербаха. Себя он сделал комментатором и ежедневно из-под ног своей Элоизы, не умевшей ступить на землю от китайских башмаков старого христианского воспитания, выдергивал скамейку, на которой она кой-как могла не потерять равновесия...

---

[1] «Сущность христианства» *(нем.).— Ред.*

Освобождение от традиционной морали, сказал Гете, никогда не ведет к добру *без укрепившейся мысли*; действительно, *один разум* достоин смепять *религию долга.*

Энгельсон попробовал женщину, спавшую непробудным сном нравственной беспечности, убаюканную традициями и грезившую все, что грезит слегка христианская, слегка романтическая, слегка моральная, патриархальная душа, воспитать сразу, по методе английских нянек, которые кричащему от боли в животе ребенку наливают в рот рюмку водки. В ее незрелые, детские понятия он бросил разъедающий фермент, с которым мужчины редко умеют справиться, с которым он сам *не справился*, а только понял его.

Ошеломленная ниспровержением всех нравственных понятий, всех религиозных верований и находя у самого Энгельсона одно сомнение, одно отрицанье прежнего и одну иронию, она потеряла последний компас, последний руль и пошла, как пущенная в море лодка, без кормила, вертясь и блуждая. Баланс, выработанный самой жизнью, держащийся — как в маятнике противуположными пластинками — нелепостями, исключающими друг друга и держащимися на этом,— был нарушен.

Она бросилась на чтение с яростью, понимала, не понимая и примешивая к философии няпюшек философию Гегеля, к экономическим понятиям чопорного хозяйства — сентиментальный социализм. При всем этом здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томилась, смертельно хотела ехать за границу и боялась каких-то преследований и врагов.

После долгой борьбы, собравши все силы, Энгельсон сказал ей:

— Вы хотите путешествовать, как вы поедете одни?.. Вам наделают бездну неприятностей, вы потеряетесь без друга, без защитника, который имел бы право вас защищать. Вы знаете, что за вас я отдам мою жизнь... отдайте мне вашу руку — я вас буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, ваш отец, ваша нянька и муж только перед законом. Я буду с вами — близко вас...

Так говорил человек моложе тридцати лет, страстно любивший. Она была тронута и приняла его мужем безусловно. Через некоторое время они уехали в чужие края.

Таково было прошедшее моих новых знакомых. Когда Энгельсон все это рассказал мне, когда он горько жаловался, что брак этот загубил их обоих, и я сам видел, как они изнывали в каком-то нравственном угаре, который они преднамеренно вздували, я убедился, что несчастье их состоит в том, что они слишком мало знали друг друга прежде, слишком тесно придвинулись теперь, слишком свели всю жизнь на личный лиризм, слишком верят, что они — муж и жена. Если б они могли разъехаться... каждый вздохнул бы на свободе, успокоился бы, а может, и вновь

расцвел бы. Время показало бы — в самом ли деле они так нужны друг для друга, во всяком случае горячка была бы прервана без катастрофы. Я не скрывал моего мнения от Энгельсона; он соглашался со мной, но все это был мираж; в сущности, у него не было силы ее оставить, у нее — броситься в море... они тайно *хотели* остаться при кануне этих решений, не приводя их в исполнение.

Мнение мое было слишком просто и здорово, чтоб быть верным в отношении к таким сложно-патологическим субъектам и к таким больным нервам.

II

Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале сороковых годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, это явления совсем другого времени,— но в них было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смело на деятельность и удивили всю Россию «Словарем иностранных слов». Наследники сильно возбужденной умственной деятельности сороковых годов, они прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье, в последователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда — безмерное самолюбие. Не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время неуверенное в себе.

Между их *запросом* и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для

пониманья, для усвоенья разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них закромы были полны. «Обидное непризнание общества» их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и Fratzenhaftigkeit[1].

На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей — не столько талантливых, не столько развитых — но с тем же *видовым болезненным надломом* по всем суставам.

Страшный грех лежит на николаевском царствовании — в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели. Кто не знает знаменитую инструкцию учителям кадетских корпусов? В Лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него. Вся система казенного воспитания состояла в внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти, как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее... Вместе с жгучим самолюбием прививалась какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталь перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. Мне впоследствии случалось часто иметь на духу не только мужчин, но и женщин, принадлежавших к той же категории. Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я наконец убедился потом, что все это — одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возраженья и состраданья согласиться с кающимся, чтоб увидеть, как легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский священник перед сильными мира сего, имеете только право торжественно отпускать грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились,— страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необуздан-

[1] дурачеств *(нем.).— Ред.*

ность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это — психологическая задача.

В прежних студентских кружках бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но в самой пущей брани *кой-что* оставалось вне битвы... Для наших нервных людей — энгельсоновского поколения — этого заветного места не существовало, они не считали нужным себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор *и плакали потом.* С переменой нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренни, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна,— с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслажденья, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи.

III

Энгельсоны вскоре уехали в Рим и Неаполь, они хотели остаться там месяцев шесть и возвратились через шесть недель. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италии, мыкали свое горе в Риме, грустили в Неаполе и, наконец, решились ехать обратно в Ниццу «к вам на леченье»,— писал он мне из Генуи.

Мрачное расположение их выросло во время их отсутствия. К нервному расстройству прибавились размолвки, принимавшие все больше и больше озлобленный, желчевой характер. Энгельсон был виноват в необузданности слов, в жестких выражениях — но вызывала их всегда она, вызывала преднамеренно, с затаенной колкостью и с особенным успехом в самые добродушные минуты его, забыться он не мог ни на минуту.

Молчать Энгельсон вовсе не умел, говорить со мною облегчало его, и потому он мне рассказывал все, даже больше, чем нужно, мне было неловко; я чувствовал, что не могу быть с ними так откровенен, как они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокоивала высказанная жалоба,— меня нет.

Раз, сидя со мной в небольшой таверне, Энгельсон сказал, что он обессилился в ежедневной борьбе, что выхода из нее нет, что снова мысль о прекращении своего существования ему представляется последним спасением... При его нервной необузданности можно было ждать, что если наконец ему попадется пистолет или склянка яда, то он когда-нибудь и попробует то или другое...

Мне было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужем за человеком светлого нрава, который умел бы ее тихо развивать, *весело веселиться* и в случае нужды действовать не только убеждением, но и авторитетом,— авторитетом серьезным, без иронии. Есть несовершеннолетние натуры, которые не могут себя вести сами, так, как есть лимфатические сложения, которым необходим корсет, чтоб позвоночный столб не гнулся.

Пока я думал об этом, Энгельсон, продолжая свой рассказ, сам пришел к тому же заключению. «Женщина эта меня не любит,— говорил он,— да и не может любить; то, что она понимает во мне и ищет — скверно, а что во мне есть хорошего — для нее китайская грамота; она испорчена буржуазностью, с своим внешним Respektäbilität'ом, с мелким фамилизмом, мы замучим друг друга, это для меня ясно».

Мне казалось, что если мужчина может таким образом говорить о близкой женщине, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно с глубоким участием следя за их жизнью, часто задавал себе вопрос, зачем они живут вместе?

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьям, по старой нянюшке, отчего вы не устроите, чтоб она ехала домой, а вы бы остались здесь?

— Тысячу раз думал я об этом, я только этого и хочу, но, во-первых, ей не с кем ехать, а во-вторых, она в Петербурге пропадет с тоски.

— Да ведь она и здесь пропадает с тоски. Что не с кем послать — это воспоминания наших барских затей, вы можете проводить вашу жену до парохода в Штеттин, а пароход сам дорогу найдет. Если у вас нет денег, я вам дам взаймы.

— Вы правы, и я это сделаю непременно. Мне больно, мне жаль ее, все, что было во мне любви, положил я на ее голову

я в ней искал не только жены, но существо, которое я хотел развивать, воспитывать по своей фантазии, я думал, что она будет моим ребенком,— задача была не по силам; да и кто же знал, сколько противодействий я найду, сколько упрямства? — Он помолчал и потом добавил: — Сказать вам всю мою мысль — ей надобно другого мужа... если б нашелся человек, достойный ее, которого бы она полюбила, я сдал бы ее с рук на руки, и мы оба выздоровели бы — это важнее Петербурга.

Я все это принимал au pied de la lettre[1]. Что он был искренен, в этом нет сомнения — тут-то и лежит загвоздка этих подвижных, не владеющих собой организаций, они могут, как хорошие актеры, выграться в разные роли и до того с ними сродниться, что картонный кинжал им кажется настоящим, и они льют истинные слезы о «Гекубе».

Мы тогда жили вместе в С.-Елен. Дни два спустя после моего разговора с Энгельсоном, поздно вечером, вошла m-me Энгельсон в гостиную, со свечой в руке и с заплаканным лицом, поставила свечу на стол и сказала, что желает поговорить со мной. Мы сели... после небольшой и неясной прелюдии о судьбе, которая ее преследует, о несчастном характере Энгельсона и ее самой, она объявила, что решилась возвратиться в Петербург и не знает, как это сделать. «Вы одни имеете на него влияние; уговорите его меня *в самом деле* отпустить; я знаю, что он в минуты досады на словах готов меня сейчас посадить в почтовую карету, но все это *на словах*. Уговорите его, спасите нас обоих и дайте слово первое время походить за ним, похолить его... ему будет тяжело, он больной, нервный человек»,— и она, снова рыдая, покрыла лицо платком.

В глубину горести ее я не верил, но очень хорошо понял, какого я дал маху, говоря откровенно с Энгельсоном: для меня было ясно, что он передал ей наш разговор.

Выбора мне не оставалось, я повторил свои слова, смягчивши их в форме. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поедет, то бросится в море, что она вечером сожгла многие бумаги и желает мне поручить какие-то другие в запечатанном пакете. Мне стало ясно, что и она вовсе не так страстно хочет ехать, а хочет, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверх того, я увидел, что если она колеблется без всякого решения, то он и не колеблется, а вовсе не хочет, чтоб она ехала. Она над ним имела большую власть, она знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему беситься, по-

[1] буквально *(франц.).— Ред.*

крывать пеной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй он как хочешь, дело пойдет *не по его воле, а по ее.*

Совета моего она мне никогда не прощала, она боялась моего влияния, хотя и имела явное доказательство моего бессилия.

Дней десять не было речи об отъезде. Потом пошли периодические схватки. В неделю раз или два она являлась с заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будет собираться в Петербург или на дно морское. Энгельсон выходил из своей комнаты с зеленым лицом, с судорожным подергиванием и дрожащими руками, он исчезал часов на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпивший, носил визировать пасс или брать пропуск в Геную, потом все утихало и приходило в обыкновенное русло.

Наружно m-me Энгельсон со мною совершенно примирилась, но с этого времени у ней началось слагаться что-то вроде ненависти ко мне. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядел, что я не умилялся перед ее трагической судьбой, не принимал ее за несчастную жертву, а глядел на нее как на капризную больную, что я не только не сделался платоническим соплакальщиком ее, а сомневался, не наслаждение ли вместо горести доставляют ей слезы, душераздирательные сцены, объяснения в несколько часов и проч. и проч.

Время шло, и исподволь многое изменилось. Она с быстротою, которая только встречается у нервных больных, поздоровела, сделалась веселее, стала еще внимательнее к туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили к прежним сценам между нею и Энгельсоном, к прощанью Сократа перед цикутой и к готовности идти по следам Сафо в пучину морскую, но в сумме дела шли лучше. Вечно полулежащая от слабости, вечно утомленная женщина выпрямилась, как Сикст V, стала полнеть, и до того, что раз бедный Коля, сидя за обедом и глядя на ее полную грудь, сказал, покачивая головой: «Sehr viel Milch!» [1]

Видно было, что новый интерес занял ее жизнь, что что-то разбудило ее от болезненной летаргии. С тех пор как мы объяснились с ней, она начала упорную игру, обдумывая всякий ход, не хуже игроков du café Régent, и терпеливо поправляя ошибки. Иногда она изменяла себе, делала промахи, увлекалась в ту или иную сторону, но с постоянством возвращалась к прежнему плану. План этот шел уже дальше закрепления в свою власть Энгельсона, дальше отместки мне; он состоял в том, чтоб завладеть всеми нами, всем домом и, пользуясь усиливающейся болезнью

[1] Очень много молока! *(нем.)* — *Ред.*

Natalie, взять в свои руки воспитанье, всю жизнь, si non — non [1], то есть в противном случае разорвать во что б ни стало мою связь с Энгельсоном.

Но прежде чем она достигла последнего результата, игра представляла много ходов, очень трудных, тяжелых уступок, кошачьей тактики и большого выжидания — многое она сделала, но не все. Бесконечная болтовня Энгельсона мешала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергию, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замысел... но личности и самолюбия пьянят, и, вступая в темную игру страстей, трудно остановиться, и трудно что-нибудь разглядеть. Обыкновенно свет вносится в комнату на шум уже совершившегося преступления, то есть когда, с одной стороны, непоправимая беда, с другой — угрызение совести.

IV

...О несчастиях, обрушившихся на меня в 1851 и 1852 годах, я говорю в другом месте. Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь. Мы с ним долго прожили бы возле кладбищ, но беспокойное самолюбие его жены не пощадило и траура.

Несколько недель после похорон Энгельсон, печальный, встревоженный, видимо, нехотя и, видимо, не от себя, спросил меня, не думаю ли я поручить его жене воспитание моих детей.

Я отвечал, что дети, кроме моего сына, поедут в Париж с Марьей Каспаровной и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.

Ответ мой огорчил его, огорчать его мне было больно.

— Скажите мне, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать детей?

— Нет,— отвечал в свою очередь Энгельсон,— но... но, может, это — planche de salut [2] *для нее*; она все-таки страдает, как прежде, а тут ваше доверие, новый долг.

— Ну, а как опыт не удастся?

— Вы правы, не будем говорить об этом... а тяжело!

Энгельсон был действительно согласен со мной и замолчал. Но она не ожидала такого простого ответа; уступить на этом вопросе я не мог, она не хотела и, вне себя от досады, тотчас ре-

[1] если нет — нет *(лат.).— Ред.*
[2] якорь спасения *(франц.).— Ред.*

шилась увезти Энгельсона из Ниццы. Дня через три он объявил мне, что едет в Геную.

— Что с вами? — спросил я,— и *за что же* так скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладит ни с вами, ни с вашими друзьями, я уж решился... да оно, может, и лучше.

И через день они уехали.

А потом уехал я из Ниццы. В Генуе, проездом, мы встретились мирно. Окруженная нашими друзьями, в числе которых были Медичи, Пизакане, Козенц, Мордини, она казалась спокойнее и здоровее. Но тем не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтоб не кольнуть меня самым злым образом. Я отходил, молчал, это не помогало. Даже когда я уехал в Лугано, она продолжала свои отравленные petits points [1], и это в редких приписках к письмам мужа, как будто с его «визой».

Наконец булавочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем, вывели меня из терпенья. Я их ничем не заслужил, ничем не вызвал. На одну из злых приписок, в которой говорилось о том, как дорого еще Энгельсон поплатится за то, что беззаветно отдается друзьям, не зная, что они для него ничего не сделают,— я написал Энгельсону, что пора положить этому предел.

«Я не понимаю,— писал я,— за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдал ей моих детей, то вряд ли она права». Я напомнил ему наш последний разговор и прибавил: «Мы знаем, что Сатурн ел своих детей, но чтоб кто-нибудь *благодарил своих друзей за их участие* детским воспитанием, это неслыханно».

Этой выходки она мне не простила, но, что гораздо удивительнее, и он не простил, хотя сначала не показал вовсе вида... а попрекнул меня этими словами через годы...

Я уехал в Лондон, Энгельсон поселился на зиму в Женеве, потом перебрался в Париж [2].

V

Пословицу: «Кто на море не бывал, тот богу не молился», можно так переделать: женщина, у которой детей не бывало, не знает бескорыстной преданности, и это особенно относится к замужним женщинам; бездетность у них развивает почти всегда

---

[1] мелкие уколы *(франц.).— Ред.*

[2] К этому времени относится ряд очень замечательных его писем, из которых значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.

грубый эгоизм, разумеется если по дороге не спасет какой-нибудь общий интерес. Старая дева имеет какие-то поседевшие стремления, мягчащие ее, она все еще ищет и все надеется; но женщина без детей и с мужем — в гавани, она благополучно приехала, сначала инстинктивно погрустила о том, что детей нет, потом успокоилась и живет в свое удовольствие, а если и оно не удается, в *свое горе* или в чье-нибудь неудово́льствие, в чье-нибудь горе — хоть горничной. Рождение ребенка может ее спасти. Ребенок приучает мать к жертве, к подчинению воли, к страстной трате времени *не на себя* и отучает от всякой внешней награды, признания, спасиба. Мать с ребенком не считается, она ничего не требует от него — кроме здоровья, аппетита, сна и — и его улыбки. Ребенок, не выводя женщины из дому, превращает ее в гражданское лицо.

Совсем не то, когда бездетной женщине в дом попадется почему бы то ни было чужой ребенок, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будет, пожалуй, наряжать его, играть с ним, но когда ей *хочется*; она будет баловать его, но по-своему, во всех других случаях ребенок будет напрасно стучаться в окоченелое или ожиревшее сердце. Словом, ребенок может наверное рассчитывать на все льготы и холенья, которые делают птицу, канарейке,— но не больше.

У одного из наших близких знакомых была дочь, родившаяся от одной молодой вдовы. В видах *замужества* матери ребенка хотели увести и украли во время отсутствия отца. После долгих розысков девочку нашли; но отец, изгнанный из Франции, не мог за ней приехать в Париж, да и к тому же не имел денег. Не зная, куда деть ее, он попросил Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсон согласился, но очень скоро раскаялся. Девочка шалила, и, вероятно, очень много, взяв в расчет ее неправильное воспитание; но все же она шалила, как пятилетний ребенок, и не с гуманным пониманьем Энгельсона можно было опрокинуться на девочку за шалости. Да и беда была не в том, что она шалила: *она мешала*, и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не делавшей. Энгельсон с каким-то ожесточением жаловался мне письменно на ребенка!

Между прочим, насчет ее отца Энгельсон писал мне: «Не странно ли, что Хоецкий, соглашавшийся когда-то с вами, что жена моя *не способна воспитывать ваших детей, поручил ей свою собственную дочь?*»

Энгельсон знал очень хорошо, что отец девочки *не выбрал* его жену воспитательницей, а был приведен материальной нуждой в необходимость прибегнуть к ее помощи. В этом замечании было столько жесткого, невеликодушного, что у меня перевернулось

сердце. Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой *смелости* языка, не останавливающегося ни перед чем! Глубоко язвящие намеки, которые могут в минуту раздражения прийти каждому в голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, к которым принадлежал Энгельсон, с легкостью и наслаждением при малейшей размолвке.

Дав волю своему раздражению, Энгельсон в письме своем, по дороге, оборвал и Тесье, и других приятелей, даже самого Прудона, которого очень уважал. Вместе с письмом Энгельсона пришло из Парижа письмо Тесье, он дружески шутил о «гневах и шалостях» Энгельсона, не подозревая, что́ он писал об нем. Мне была противна роль какого-то отрицательного предательства, и я написал Энгельсону, что стыдно так бранить людей, с которыми жизнь нас свела, что, несмотря на их недостатки, все же они люди хорошие, как он сам знает. В заключение я говорил, что стыдно так преувеличивать всякое дело и ахать и охать и приходить в отчаяние от шалостей пятилетнего ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, друг, целовавший в порыве энтузиазма мою руку, приходивший ко мне делить всякую печаль и предлагавший мне кровь свою и свою жизнь, не на словах, *а в самом деле*... этот человек, связанный со мной своею исповедью и моими несчастиями, которых был свидетелем, гробом, за которым мы шли вместе,— все забыл. Его самолюбие было затронуто... ему надобно было отомстить,— он и отомстил. Через *четыре дня* я получил от него следующий ответ:

«2 февраля 1853.

Слухи носятся, что вы решились ехать сюда; здоровье Марии Каспаровны, кажется, восстанавливается (по крайней мере, на прошедшей неделе она стала пободрее духом, встает с постели минут на пять, имеет аппетит); о поручении, данном вами мне к Т., имею только то сказать, что вещи, которые генерал просит его приготовить, не у Т., а оставлены им у Фогта в Женеве, что мадам Т. находит «peu gracieux» [1] ваше молчание и прибавляет, что переписка с вами не могла бы причинить им неприятностей.

Словом, до вашего приезда я мог бы и не писать вам, если б мне не пришло на ум, что молчание часто может быть принято за знак согласия. Я не хочу вводить или продержать вас в заблуждении насчет меня: я не согласен с тем, что́ сказано в последнем вашем письме ко мне (от 28 января).

---

[1] невежливым *(франц.).— Ред.*

Вот ваши слова: «Ну, скажите, стоило ли так расходиться — и биби — и младенец — и уж ай, ай, ай, и уж боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это вас. И что нового! Вы людей знали и видели. Я становлюсь с каждым днем снисходительнее и дальше от людей».

На это отвечаю, не вдаваясь нынешний раз в диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя вас с вашим довольством самим собою, что, разумеется, смешон человек, который, облепленный комарами или клопами, впадает в ярость и бешенство, но что еще смешнее тот, который, страдая от нападений таких насекомых, усиливается придать себе вид равнодушия стоического.

Вы, может быть, с этим не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего.* Не сердитесь! Погодите! Дайте договорить. В первой главе вашего «Vom andern Ufer», в русском и немецком текстах, следующие ваши слова: «Человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастие; страдание отвлекает, утешает... да, да, утешает».— Как я уже в Ницце вам говорил, я сначала принял было это ваше изречение за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мне возразили, что вы не помните этих слов.

Нисколько не относя исключительно к вам эти слова, то есть не полагая, чтоб вы о людях вообще судили в этом случае по самому себе, я до сих пор думал, что это ваше изречение, как большая часть des Réflexions de la Rochefoucauld, на которые оно очень похоже, как мастерски однажды сделанная Белинским характеристика талантливых людей нашего времени — «ипербола, шутка». И потому, когда я узнал, что Х. в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле, я принял это его негодование не за роль, а за чувство и написал вам: «Да, я вижу, Х. мне брат».— Когда Т. (при свидетеле) объявлял, что он осужден «на вечность + два года», я также поверил этому и даже пересказал это некоторым людям. Вчера мне г-жа Т. сказала, что ее муж никогда не был осужден. Ergo [1], я в глаза тех, кому я пересказал его ложь, такой же благёр, как он. Это мне неприятно. Кто виноват? Разумеется, я, потому что я был «молод, легковерен»; но и они виноваты, потому что они лгали. Нет, таких благёров, как я увидел в Ницце, я ни на Руси, ни инде еще не видал. В письме моем к вам от 19 января я сказал вам, что я хочу без эскландра [2] удалиться от этих людей, они бо мне антипатичны. Написал же я вам это потому, что с вами я хочу играть

[1] Следовательно *(лат.).— Ред.*
[2] скандала *(от франц. esclandre).— Ред.*

в открытую. *Но, погруженный в себя,* вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вероятно, не дали бы мне и самого пустого поручения к Т.— Вы тоже говорили, что вы удаляетесь от людей, но вместе с тем просите их вам писать. Я не умею таким образом удаляться.

Полагая, что в серьезных делах откровенность есть необходимое условие честности, я имею еще следующее сказать вам, не теряя времени: вы пишете мне, что, отправив генерала в Австралию и дав бессрочный отпуск всем, вы останетесь при мне и при врагах и что, если б к тому же я поустоялся и меньше зависел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною сделали бы un bout de chemin[1]. Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угодно, служить вам моим советом, но не делом...»

Конечно, я не предполагал, чтоб человек, который слезами, рыданием вызвал меня на трудно произносимые доверия, человек, так близко подошедший ко мне и на которого я оперался как на брата в минуты слабости и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, свидетель всего, что было, примет мои несчастия за котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, он заискивал в ней камни и откладывал их за пазуху, чтоб при случае пустить в меня. Ему мало было оборвать настоящее, он грязнил, опошлял прошедшее; разрываясь со мной, он не почтил его унылым чувством молчания, а покрыл его безжалостной бранью и ироническим шпыняньем.

Больно мне было это письмо, очень больно.

Я отвечал ему грустно, сквозь затаенные слезы, я прощался с ним и просил его прекратить переписку.

Затем наступило между нами совершеннейшее молчание...

С Энгельсоном еще раз что-то оторвалось внутри, я становился еще беднее, еще разобщеннее; холод кругом, ничего близкого... иногда будто теплее протягивалась рука, какой-нибудь фанатик без пониманья, не разобравший сначала, что мы не одной религии, быстро подходил и так же быстро отворачивался. Впрочем, я и сам не искал большой близости с людьми; я привыкал к встречным и проходящим, к разным анонимам, от которых ничего не требовал и которым ничего не давал, кроме сигар, вина и иногда денег. Одно спасение было в работе: я писал «Былое и думы» и устроивал русскую типографию в Лондоне.

---

[1] Здесь: остаток пути *(франц.).— Ред.*

Прошел год. Типография была в полном ходу, ее заметили в Лондоне и боялись в России. Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писал Энгельсон. Я тотчас напечатал ее.

Потом пришло от него письмо, в котором он просил окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дело. Разумеется, я ему протянул обе руки. Вместо ответа он явился сам в Лондон на несколько дней и остановился у меня. Рыдая и смеясь, просил он забвения прошлого... осыпал меня словами дружбы и снова схватил мою руку и прижал ее к своим губам. Я обнял его, глубоко тронутый и в твердой уверенности, что ссора не возобновится.

Но уже через несколько дней показались облака, мало предвещавшие хорошего. Оттенок фатализма, бонапартизма, который проглядывал в его письмах из Женевы, вырос. Из ненависти к Николаю и христам французской революции 1848 года он переходил arme et bagage [1] в враждебный стан. Мы поспорили, он был упорен. Зная, как он бросается в крайности и как быстро возвращается, я ждал отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсон возился тогда с удивительным проектом, в который был страстно влюблен.

Он выдумал воздушную батарею, то есть шар, начиненный горючими веществами и вместе с тем печатными воззваниями. Дело было при начале Крымской кампании. Энгельсон предлагал пускать такие шары с кораблей на балтийские берега. Проект этот мне очень не нравился: что за пропаганда с прожектилями, что за смысл нам, русским, жечь финские деревни, помогать Наполеону и Англии? К тому же Энгельсон не открыл никакого нового средства направлять воздушные шары. Я мало возражал на его план, воображая, что он сам бросит эти бредни.

Не тут-то было. Он отправился с своим проектом к Мацциии, к Ворцелю. Мацциии сказал, что он такого рода делами не занимается, а готов переслать через своих друзей его проект военному министру. Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили в стороне. Он просил меня собрать двух-трех военных из рефюжье и предложить им вопрос о шаре. Все были против, и я еще и еще раз говорил ему, что и я против, что наше *дело,* наша *сила* — пропаганда и пропаганда, что мы падем нравственно, становясь на одну сторону с Наполеоном, и погубим себя в глазах России, faisant cause commune [2] с врагами ее. Энгельсон

---

[1] со всею амуницией *(франц.).— Ред.*

[2] делая общее дело *(франц.).— Ред.*

сердился, выходил из себя. Он ехал в Лондон на верное торжество и, встретивши оппозицию даже во мне, незаметно возвращался к неприязни.

Вскоре он отправился за женой и привез ее в мае месяце в Лондон. В их отношениях сделалась совершенная перемена, она была беременна, он — в восторге от будущего ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения — все прошло. Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. Духи ей предсказывали многое и между прочим скорую смерть мою. Он читал Шопенгауэра и, улыбаясь, говорил мне, что всеми силами мирволит мистическому направлению ее, что эта вера и экзальтация вносит мир и покой в ее душу.

Со мной она обошлась дружески, может, в ожидании близкой смерти, приходила ко мне с работой и заставляла меня читать главы из «Былого и думы» и новые статьи. Когда через месяц начались опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров, *она являлась примирительницей,*— приходила ко мне, прося пощады *больному* и уверяя, что всегда весной на Энгельсона находит ипохондрическое расположение, в котором он сам не знает, что делает.

Ее покойная кротость была кротость победителя, милосердие полного торжества. Энгельсон, воображавший, что он ее держит в руках вертящимися столами, упустил одно из виду, что она вертела не только столами, но и им, и что он больше, чем столы, всегда отвечал то, что́ она хотела.

Одним вечером Энгельсон снова заспорил о своих шарах с одним французом, наговорил ему разных колкостей, тот отделался иронией и, разумеется, взбесил Энгельсона еще больше. Он схватил шляпу и убежал. Поутру я пошел к нему, чтоб объясниться по этому поводу.

Я его застал за письменным столом, с лицом, совершенно искаженным вчерашней злобой, с безумным выражением глаз. Он сказал мне, что француз (рефюжье, которого я знал давно и знаю теперь) — *шпион,* что он его разоблачит, убьет, и подал мне письмо, только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины в Париже, в письме он припутал людей, живущих в Париже, и клеветал на выходцев в Лондоне. Я остолбенел.

— И вы это письмо намерены послать?

— Сейчас.

— По почте?

— По почте.

— Это — *донос,*— сказал я и бросил на стол его маранье.— Если вы пошлете это письмо...

— Так что? — закричал он, перерывая меня голосом сиплым, диким,— вы хотите грозить мне, чем? Не боюсь я ни вас, ни подлых друзей ваших! — при этом он вскочил, раскрыл большой нож и, махая им, кричал, задыхаясь: — Ну, ну, покажите-ка прыть... Покажу и я вам, не угодно ли попробовать?.. милости просим!

Я обернулся к его жене и, сказавши:

— Что это он у вас, совсем с ума сошел? Вы бы убрали его куда-нибудь...— вышел вон.

И на этот раз m-me Энгельсон явилась примирительницей. Она пришла ко мне утром, прося забыть, что было вчера. Письмо он изодрал,— был болен, печален. Она принимала все это за несчастие, за физическое расстройство, боялась, что он сильно занеможет, плакала. Я уступил ей.

Затем мы переехали в Ричмонд, и Энгельсон тоже. Рождение сына и первые месяцы хлопот об нем оживили Энгельсона; он потерял голову от радости, в минуту рождения малютки он обнял и расцеловал сначала горничную, потом старуху, хозяйку дома... Страх о здоровье маленького, новость отцовского чувства, новость самого младенца заняли Энгельсона на несколько месяцев, и все шло опять ладно.

Вдруг получаю от него большой пакет при записочке, чтоб я прочел вложенную бумагу и сказал откровенно мое мнение. Это было письмо к французскому министру военных дел. В нем он снова предлагал шары, бомбы и статьи. Я нашел все дурным, от пути, к которому он обращался, до слога, мало сохранившего достоинство, и высказал это.

Энгельсон отвечал дерзкой запиской и начал дуться.

Вслед за тем он мне дал другую рукопись для напечатания. Я не скрыл от него, что действие ее на русских будет прескверное и что я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня в желании завести цензуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию исключительно для печати моих «бессмертных творений». Я напечатал рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила в России общее негодование.

Все это показывало, что новый разрыв не далек. Признаюсь, на этот раз я не много об этом жалел. Перемежающаяся лихорадка с пароксизмами дружбы и ненависти, целованья рук и нравственных заушений мне надоели. Энгельсон перешел за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминания, ни благодарность. Я его меньше и меньше любил и хладнокровнее ждал, что́ будет.

Тут случилось событие, которое своей важностью покрыло на время все споры и раздоры одним чувством радости и ожиданья.

Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Таймс», читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia» [1].

Не помня себя, бросился я с «Таймсом» в руке в столовую, я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон; я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то он умер!» Энгельсон, по своему обыкновению, прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского,— никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен по химии.

В воскресенье дом мой был полон с утра; французские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, уходили с сияющим лицом, день был ясный, теплый, после обеда мы вышли в сад.

На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвал их к решетке и сказал им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво и конфекты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре! — кричали мальчишки.— Impernikel is dead! Impernikel is dead!» [2] Гости стали им тоже бросать сикспенсы и трипенсы, мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнеме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали: «Impernikel is dead! — Уре!»

---

[1] «Смерть русского императора» *(англ.).— Ред.*

[2] Имперникель <император Николай> умер! *(англ.) — Ред.*

Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать «Полярную звезду».

«Да здравствует разум!» — невольно сорвалось с языка в начале программы,— *«Полярная звезда»* скрылась за тучами николаевского царствования; Николай прошел, и «Полярная звезда» явится снова в день нашей великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями».

...Толчок был силен, живителен, работа закипела вдвое. Я объявил, что издаю «Полярную звезду». Энгельсон принялся наконец за свою статью о социализме, о которой еще говорил в Италии. Можно было думать, что мы проработаем года два или больше... но раздражительное самолюбие его делало всякую работу с ним невыносимой. Жена его поддерживала в нем его опьянение собой. «Статья моего мужа,— говорила она,— будет считаться *новой эпохой* в истории русской мысли. Если он ничего больше не напишет, то место его в истории упрочено». Статья «Что такое государство?» [1] была хороша, но успех ее не оправдал семейных ожиданий. К тому же она попалась не вовремя. Проснувшаяся Россия требовала, именно тогда, практических советов, а не философских трактатов по Прудону и Шопенгауэру.

Статья еще не была до конца напечатана, как новая ссора, иного характера, чем все предыдущие, почти окончательно прервала все сношения между нами.

Раз, сидя у него, я шутил над тем, что они послали в третий раз за доктором для маленького, у которого был насморк и легкая простуда.

— Неужели оттого, что мы бедны,— сказала m-me Энгельсон, и вся прежняя ненависть, удесятеренная, злая, вспыхнула на ее лице,— наш малютка должен умереть без медицинской помощи? И это говорите вы, социалист, друг моего мужа, *отказавший ему в пятидесяти фунтах и эксплуатирующий его уроками.*

Я слушал с удивлением и спросил Энгельсона, делит он это мнение или нет? Он был сконфужен, пятны выступили у него на лице, он умолял ее замолчать... она продолжала. Я встал и, перерывая ее, сказал:

— Вы больны и сами кормите, я отвечать вам не стану, но не стану и слушать... Вероятно, вам не покажется странным, что нога моя не будет больше в вашем доме.

Энгельсон, печальный и растерянный, схватил шляпу и вышел со мной на улицу.

— Не принимайте необузданные слова женщины с расстроен-

[1] «Полярная звезда», книжка I.

ными нервами au pied de la lettre...— Он путался в объяснениях.— Завтра я приду давать урок,— сказал он. Я пожал ему руку и молча пошел домой.

...Все это требует объяснений, и притом самых тяжелых, касающихся не мнений и общих сфер, а кухни и приходо-расходных книг. Тем не меньше я сделаю опыт раскрыть и эту сторону. Для патологических исследований — брезгливость, этот *романтизм чистоплотности,* не идет.

Энгельсоны вряд имели ли право себя включать в категорию бедных людей. Они получали из России десять тысяч франков в год, и пять он легко мог выработать — переводами, обозрениями, учебными книгами; Энгельсон занимался лингвистикой. Книгопродавец Трюбнер требовал от него лексикон русского корнесловия и грамматику; он мог давать уроки, как Пьер Леру, как Кинкель, как Эскирос. Но в качестве русского он брался за все: и за корнесловие, и за переводы, и за уроки,— ничего не кончал, ничем не стеснялся и не вырабатывал ни одной копейки.

Ни муж, ни жена не были расчетливы и не умели устроить своих дел. Постоянная лихорадка, в которой они жили, не позволяла им думать о хозяйстве. Он из России уехал без определенного плана и остался в Европе без всякой цели. Он не взял никаких мер, чтоб спасти свое именье, и un beau jour [1], испугавшись, сделал наскоро какое-то распоряжение, в силу которого ограничил свой доход на десять тысяч франков, которые получал не совсем аккуратно, но получал.

Что Энгельсон не вывернется с своими десятью тысячами, было очевидно, что он не сумеет, с другой стороны, ограничить себя, и это было ясно,— ему оставалось работать или занимать. Сначала, после приезда в Лондон, он взял у меня около сорока фунтов... через некоторое время попросил опять... я имел с ним серьезный дружеский разговор об этом и сказал ему, что готов ссужать его, но решительно больше десяти фунтов в месяц ему взаймы не дам. Нахмурился Энгельсон, однако раза два взял по десятифунтовой бумажке и вдруг написал мне, что ему нужны пятьдесят фунтов и если я не хочу ему их дать или не верю, то просит меня занять их под заклад каких-то брильянтов. Все это очень походило на шутку; если он, в самом деле, хотел заложить брильянты, то их следовало бы снести к какому-нибудь pawnbroker'у [2], а не ко мне... зная его и жалея, я написал ему, что брильянты заложу в пятьдесят фунтов, если дадут, и деньги пришлю.

---

[1] в один прекрасный день *(франц.).— Ред.*
[2] содержателю ссудной кассы *(англ.).— Ред.*

На другой день я послал ему чек, а брильянты, которые он непременно бы продал или заложил, спрятал, чтоб их сохранить ему. Он не обратил внимания на то, что пятьдесят фунтов были без процентов, и поверил, что я брильянты заложил.

Второй пункт, относящийся к урокам, еще проще. В Лондоне Савич давал у меня уроки русского языка и брал четыре шиллинга за час. В Ричмонде Энгельсон предложил заменить Савича. Я спросил его о цене, он ответил, что ему со мной считаться мудрено, но так как у него нет денег, то он возьмет то же, что брал Савич.

Пришедши домой, я написал Энгельсону письмо, напомнил ему, что цену за уроки он назначил сам, но что я прошу его принять за все прошлые уроки вдвое. Затем я написал ему, что́ заставило меня удержать его брильянты, и отослал ему их.

Он отвечал конфузно, благодарил, досадовал, а вечером пришел сам и стал ходить по-прежнему. С ней я не видался больше.

VII

С месяц спустя обедал у меня Зено Свентославский и с ним Линтон, английский республиканец. К концу обеда пришел Энгельсон. Свентославский, чистейший и добрейший человек, фанатик, сохранивший за пятьдесят лет безрассудный польский пыл и запальчивость мальчика пятнадцати лет, проповедовал о необходимости возвращаться в Россию и начать там живую и печатную пропаганду. Он брал на себя перевезти буквы и прочее.

Слушая его, я полушутя сказал Энгельсону:

— А что, ведь нас примут за трусов, если он пойдет один (on nous accusera de lâcheté).

Энгельсон сделал гримасу и ушел.

На другой день я ездил в Лондон и возвратился вечером; мой сын, лежавший в лихорадке, рассказал мне, и притом в большом волнении, что без меня приходил Энгельсон, что он меня страшно бранил, говорил, что он мне отомстит, что он больше не хочет выносить моего авторитета и что я ему теперь не нужен, *после напечатания его статьи.* Я не знал, что думать,— Саша ли бредил от лихорадки, или Энгельсон приходил мертвецки пьяный.

От Мальвиды Мейзенбург я узнал еще больше. Она с ужасом рассказывала о его неистовствах. «Герцен,— кричал он нервным,

задыхающимся голосом,— меня назвал вчера lâche[1] в присутствии двух посторонних». М. его перебила, говоря, что речь шла совсем не о нем, что я сказал «on nous taxera de lâcheté»[2], говоря об нас вообще. «Если Герцен чувствует, что он делает подлости, пусть говорит о самом себе, но я ему не позволю говорить так обо мне, да еще при двух мерзавцах...»

На его крик прибежала моя старшая дочь, которой тогда было десять лет. Энгельсон продолжал: «Нет, кончено, довольно, я не привык к этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я!» — и он выхватил из кармана револьвер и продолжал кричать: «Заряжен, заряжен — я дождусь его...»

М. встала и сказала ему, что она требует, чтоб он ее оставил, что она не обязана слушать его дикий бред, что она только объясняет болезнию его поведение. «Я уйду,— сказал он,— не хлопочите, но прежде хочу попросить вас отдать Герцену это письмо». Он развернул его и начал читать, письмо было ругательное.

М. отказалась от поручения, спрашивая его, почему он думает, что она должна служить посредницей в доставлении такого письма?

— Найду путь и без вас,— заметил Энгельсон и ушел; письма не присылал, а через день написал мне записку; *в ней, не упоминая* ни одним словом о прошедшем, он писал, что у него открылся геморрой, что он ходить ко мне не может, а просит посылать детей к нему.

Я сказал, что ответа не будет, и снова все дипломатические сношения были прерваны... оставались военные. Энгельсон и не преминул их употребить в дело.

Из Ричмонда я осенью 1855 переехал в St. John's Wood. Энгельсон был забыт на несколько месяцев.

Вдруг получаю я весной 1856 от Орсини, которого видел дни два тому назад, записку, пахнущую картелью...[3]

Холодно и учтиво просил он меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяем слух, что он австрийский шпион? Он просил меня или дать полный démenti[4], или указать, от кого я слышал такую гнусную клевету.

Орсини был прав, я поступил бы так же. Может, он должен был бы иметь побольше доверия к Саффи и ко мне — но обида была велика.

---

[1] трусом *(франц.).— Ред.*
[2] нас обвинят в трусости *(франц.).— Ред.*
[3] вызовом на дуэль *(от франц. cartel).— Ред.*
[4] опровержение *(франц.).— Ред.*

Тот, кто сколько-нибудь знал характер Орсини, мог понять, что такой человек, задетый в самой святейшей святыне своей чести, не мог остановиться на полдороге. Дело могло только разрешиться *совершенной* чистотой нашей или чьей-нибудь смертью.

С первой минуты мне было ясно, что удар шел от Энгельсона. Он *верно* считал на одну сторону орсиниевского характера, но, по счастию, забыл другую — Орсини соединял с неукротимыми страстями страшное самообуздание, он середь опасностей был расчетлив, обдумывал каждый шаг и не решался сбрызгу, потому что, однажды решившись, он не тратил время на критику, на перерешения, на сомнения, а исполнял. Мы видели это в улице Лепелетье. Так он поступил и теперь; он, не торопясь, хотел исследовать дело, узнать виновного и потом, если удастся,— убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла в том, что он, без всякой нужды, замешал Саффи.

Дело было вот в чем: *месяцев шесть* до нашего разрыва с Энгельсоном я был как-то утром у m-me Мильнер-Гибсон (жены министра), там я застал Саффи и Пьянчани, они что-то говорили с ней об Орсини. Выходя, я спросил Саффи, о чем была речь. «Представьте,— отвечал он,— что г-же Мильнер-Гибсон рассказывали в Женеве, что Орсини подкуплен Австрией...»

Возвратившись в Ричмонд, я передал это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. «Черт с ним совсем!» — заметил Энгельсон, и больше об этом речи не было.

Когда Орсини удивительным образом спасся из Мантуи, мы вспомнили в своем тесном кругу об обвинении, слышанном Мильнер-Гибсон. Появление самого Орсини, его рассказ, его раненая нога бесследно стерли нелепое подозрение.

Я попросил у Орсини назначить свиданье. Он звал вечером на другой день. Утром я пошел к Саффи и показал ему записку Орсини. Он тотчас, как я и ждал, предложил мне идти вместе со мною к нему. Огарев, только что приехавший в Лондон, был свидетелем этого свиданья.

Саффи рассказал разговор у Мильнер-Гибсон с той простотой и чистотой, которая составляет особенность его характера. Я дополнил остальное. Орсини подумал и потом сказал:

— Что, у Мильнер-Гибсон могу я спросить об этом?

— Без сомнения,— отвечал Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но,— спросил он меня,— скажите, зачем же вы говорили с посторонними, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонний,* с которым я говорил, был тогда не посторонний; вы лучше многих знаете, что́ он был для меня.

— Я никого не называл...

— Дайте кончить — что же, вы думаете, легко человеку передавать такие вещи? Если б эти слухи распространялись, может, вас и следовало бы предупредить — но кто же теперь об этом говорит? Что же касается до того, что вы никого не называли, вы очень дурно делаете; сведите меня лицом к лицу с обвинителем, тогда еще яснее будет, кто какую роль играл в этих сплетнях.

Орсини улыбнулся, встал, подошел ко мне, обнял меня, обнял Саффи и сказал:

— Amici [1], кончим это дело, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другом.

— Все это хорошо, и требовать от меня объяснения вы были вправе, но зачем же вы не называете обвинителя? Во-первых, скрыть его нельзя... Вам сказал Энгельсон.

— Даете вы слово, что оставите дело?

— Даю, при двух свидетелях.

— Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтверждение все же сделало какую-то боль,— точно я еще сомневался.

— Помните обещанное,— прибавил, помолчавши, Орсини.

— Об этом не беспокойтесь. А вы вот утешьте меня да и Саффи: расскажите, как было дело, ведь главное мы знаем.

Орсини засмеялся.

— Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на днях пришел он ко мне, я был в столовой (Орсини жил в boarding-house [2]) и обедал один. Он уже обедал, я велел подать графинчик хересу, он выпил его и тут стал жаловаться на вас, что вы его обидели, что вы перервали с ним все сношения, и после всякой болтовни спросил меня: как вы меня приняли после возвращения. Я отвечал, что вы меня приняли очень дружески, что я обедал у вас и был вечером... Энгельсон вдруг закричал: «Вот они... знаю я этих молодцов, давно ли он и его друг и почитатель Саффи говорили, что вы австрийский агент. А вот теперь вы опять в славе, в моде — и он ваш друг!» — «Энгельсон,— заметил я ему,— вполне ли вы понимаете важность того, что вы сказали?» — «Вполне, вполне»,— повторял он. «Вы готовы будете во всех случаях подтвердить

---

[1] Друзья *(итал.).— Ред.*

[2] пансионе *(англ.).— Ред.*

ваши слова?» — «Во всех!» Когда он ушел, я взял бумагу и написал вам письмо. Вот и все.

Мы вышли все на улицу. Орсини, будто догадываясь, что́ происходило во мне, сказал, как бы в утешение:

— Он поврежденный.

Орсини вскоре уехал в Париж, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помосте гильотины.

Первая весть об Энгельсоне была весть о его смерти в Жерсее.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетело до меня...

1858

...*P. S.* В 1864 я получил из Неаполя странное письмо. В нем говорилось о появлении духа моей жены, о том, что она звала меня к обращению, к очищению себя религией, к тому, чтобы я оставил светские заботы...

Писавшая говорила, что все писано под диктант духа, тон письма был дружеский, теплый, восторженный.

Письмо было без подписи, я узнал почерк: оно было от m-me Энгельсон.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работа Герцена над главным его произведением «Былое и думы» продолжалась около шестнадцати лет. Первое упоминание о ней содержится в письме Герцена к М. К. Рейхель от 5 ноября 1852 года, последняя известная нам дата — 10 марта 1868 года — поставлена на рукописи, дополняющей главу «Лондонская вольница пятидесятых годов».

Отдельные части и главы «Былого и дум» писались не по порядку. Работа над ними протекала иногда с большими перерывами. Первые три части были написаны в 1852—1853 годах. Четвертая часть писалась в продолжение 1854—1857 годов. Работа над пятой частью была начата в 1853 году и завершена в 1866 году. К шестой части Герцен приступил, по-видимому, в 1856 году и закончил ее в 1868 году. Часть седьмая была начата во второй половине 50-х годов и закончена в 1867 году. Все главы восьмой части были написаны в 1867 году.

Большинство глав «Былого и дум», опубликованных при жизни автора, появилось в альманахе «Полярная звезда», который издавался Герценом и Огаревым в Лондоне, а затем в Женеве, в течение 1855—1868 годов. В восьми книгах «Полярной звезды» Герценом были опубликованы следующие части «Былого и дум»: первая (1856, кн. II), третья (1857, кн. III), большинство глав частей четвертой (1855, кн. I; 1858, кн. IV; 1861, кн. VI; 1862, кн. VII, вып. 1), пятой (1855, кн. I; 1858, кн. IV; 1859, кн. V); шестой (1859, кн. V; 1861, кн. VI; 1862, кн. VII, вып. 2; 1869, кн. VIII), восьмой (1869, кн. VIII). Вторая часть была впервые опубликована отдельной книгой: «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон, 1854. Ряд глав шестой, седьмой и восьмой частей появился впервые в «Колоколе» в 1859—1867 годах.

В 1860 году Герцен приступил к подготовке отдельного издания «Былого и дум». В первые два тома, вышедшие в Лондоне в 1868 году, были включены первая, вторая, третья и четвертая части. В третий том Герцен включил отдельные свои произведения 30—40-х годов, которые, как он писал в предисловии, «имеют какое-нибудь отношение к двум вышедшим томам «Былого и

дум». В четвертый том, вышедший в Женеве в конце 1866 года, вошла вся пятая часть (кроме раздела «Рассказ о семейной драме»).

После издания четвертого тома «Былого и дум» у Герцена остались несобранными печатные главы, относящиеся к шестой, седьмой и восьмой частям мемуаров. Автор намеревался в скором времени издать пятый и шестой тома, куда он собирался включить опубликованные главы, дополнив их новыми. Внезапная смерть Герцена в январе 1870 года на полвека отдалила осуществление полного издания «Былого и дум».

Кроме неопубликованных глав последних частей («Немцы в эмиграции», «Бартелеми», «С. Ворцель», «В. И. Кельсиев», «М. Бакунин и общее дело» и др.), в рукописях остались некоторые главы, относящиеся к первым частям, которые Герцен не хотел публиковать при жизни («Н. Х. Кетчер», «Эпизод из 1844 года», «Рассказ о семейной драме»).

После смерти Герцена «Былое и думы» издавались неоднократно, но долгое время все издания оставались неполными. Первое полное издание «Былого и дум» было осуществлено лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Это была публикация «Былого и дум» в составе «Полного собрания сочинений и писем» А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке (1919—1920 гг.).

В настоящем издании текст «Былого и дум» печатается по изданию: А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, изд. АН СССР, тома VIII—XI, М. 1956—1957.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

Герцен — А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, изд. АН СССР, М. 1954—1965.

МОГИА — Московский областной государственный исторический архив.

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив в Москве.

Стр. 21. *Одной уже нет...*— Имеется в виду Наталья Александровна Герцен.

Стр. 23. *...письма, писанные мелким шрифтом...*— Имеются в виду письма от Н. А. Захарьиной.

Стр. 24. *...каких-нибудь четырех месяцев...*— Период от 2 января (прибытие Герцена во Владимир) до начала мая (9 мая А. И. Герцен и Н. А. Захарьина обвенчались во Владимире) 1838 года.

...напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью)...— «Записки одного молодого человека» были опубликованы в «Отечественных записках» за 1840 год (кн. XII) и 1841 год (кн. VIII); рукопись утрачена, и содержание неопубликованной второй части может быть лишь частично восстановлено по ранней редакции автобиографических записок Герцена «О себе».

...после ряда страшных событий, несчастий...— Герцен имеет в виду свои переживания после поражения революции 1848 года, а также гибель матери и сына осенью 1851 года во время кораблекрушения, смерть жены 2 мая 1852 года.

Стр. 25. *...перечитывая... одному из друзей юности...*— Н. М. Сатину.

Стр. 26. *...наше ребячье Грютли на Воробьевых горах...*— По преданию, на лугу Грютли, расположенном в швейцарском кантоне Ури, в 1307 году представители кантонов Ури, Швица и Унтервальдена поклялись бороться за освобождение отечества. Союз трех кантонов положил начало существованию самостоятельного швейцарского государства. Герцен сравнивает эту легендарную клятву с клятвой, данной им и Н. П. Огаревым на Воробьевых горах в Москве (см. гл. IV).

Таков остался наш союз...— заключительные строки из стихотворения Н. П. Огарева «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...»).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр. 30. *...передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.*— Речь идет о книгах «Manuscrit de mil huit cent douze...» par le Baron Fain, t. 2, Bruxelles, 1827, и «Описание Отечественной войны в 1812 году... сочиненное Михайловским-Данилевским», ч. III, СПб. 1839.

Стр. 32. *...второе было без французских уланов... я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.*— Подразумевается отъезд Герцена в ссылку в 1835 году. См. гл. XIII.

...один С. С. Шишков приезжал по приказанию государя...— Вероятно, А. С. Шишков, в описываемый момент находившийся при Александре I в качестве государственного секретаря.

...старшего брата — П. А. Яковлева.

Стр. 33. *...брат моего отца* — Л. А. Яковлев.

...участвовал на знаменитом празднике...— Имеется в виду празднество на Марсовом поле в Париже (14 июля 1790 г.) в первую годовщину взятия Бастилии.

Стр. 36. *...у моего отца был другой сын* — Е. И. Герцен.

У моего отца был еще брат, старший обоих — А. А. Яковлев.

Стр. 37. *...старший племянник моего отца* — Д. П. Голохвастов.

Стр. 39. *...«при царе Ерёме».*— Имеется в виду Жером Бонапарт, брат Наполеона, король Вестфальский.

Стр. 43. *Родственник наш* — А. П. Кучин.

...Алексею Николаевичу...— то есть Бахметеву.

Стр. 45. *...с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство...*— «Трезвым опьянением» Герцен иронически называет деятельность ирландского священника Т. Матью, проповедовавшего трезвость и занимавшегося с 1833 года организацией обществ трезвости.

Стр. 48. *...прибегали к гнусному средству «частного дома»...*— В «частном доме» (полицейском участке) секли крепостных.

Стр. 53. *...французского «Репертуара»...*— Имеется в виду «Répertoire du théâtre française», 68 v.; P. 1823—1829.

...русского «Феатра»...— Подразумевается «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений», 43 тома, СПб. 1786—1794.

Стр. 55. *...le rècit de Thèramène...*— Имеется в виду монолог Терамена из трагедии Расина «Федра» (акт V, сцена VI).

Стр. 55—56. *Je crains Dieu, cher Abner... et n'ai point d'autre crainte.*— Слова Иодая из трагедии Расина «Гофолия» (акт I, сцена 1).

Стр. 58. *Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже...*— В стихотворении Беранже «Complainte d'une de ces demoiselle à l'occasion des affaires du temps» с сатирической целью изменена фамилия Wellington (Веллингтон) на Vilainton (Вилентон), что по-французски означает дурной тон (vilain ton).

Стр. 61. *...с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братий о Христе и о внутреннем человеке».*— Имеется в виду упразднение в 1824 году благодаря происках архимандрита Фотия и Аракчеева министерства духовных дел и народного просвещения (учреждено в 1817 г.), возглавлявшегося князем А. Н. Голицыным, а также преследование партией Фотия сторонников Голицына, членов «Библейского общества», которому Александр I ранее покровительствовал.

Стр. 62. *...Люсиль Демулен... бродящая возле топора, ожидая свой черед...*— Жена Камилла Демулена, Люсиль Демулен, протестовала против смертного приговора мужу, вынесенного революционным трибуналом по требованию Робеспьера, была обвинена в соучастии и казнена 13 апреля 1794 года, спустя восемь дней после казни Демулена.

...не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй...— Следующая за этим история декабриста В. П. Ивашева и его семьи передана Герценом не совсем точно. Подробности этой истории см. в книге: О. К. Буланова «Роман декабриста», М. 1925, где использован семейный архив В. П. Ивашева.

Единственный сын Ивашева...— В. П. Ивашев, сын П. Н. Ивашева.

Стр. 63. *...не было лица брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им...*— Герцен имеет в виду дуэль между В. Д. Новосильцевым и К. П. Черновым, вступившимся за честь своей сестры. В результате дуэли, происходившей 10 сентября 1825 года, оба противника были смертельно ранены.

Стр. 64. *Отец Ивашева... передал свое именье незаконному сыну...*— Имение было передано побочному брату матери В. П. Ивашева В. А. Ивашевой — А. Е. Головинскому, воспитанному ею вместе со своими детьми.

Николай... остановился в Петровском дворце...— Это было 21 июля 1826 года.

...читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.— Дата казни декабристов — 13 июля 1826 года. Правительственные документы о казни декабристов публиковались в «Московских ведомостях» в двадцатых числах июля 1826 года.

...смертная казнь de jure не существовала.— Указом Елизаветы Петровны от 30 сентября 1754 года смертная казнь (в случае присуждения к ней) заменялась другим наказанием (каторжные работы, клеймение и т. п.). Екатерина II указом от 6 апреля 1775 года подтверждала законность указа 1754 года, однако он истолковывался как не относящийся к общегосударственным (чрезвычайным) преступлениям (казнь Мировича, Пугачева). Вопрос о смертной казни в России был поставлен в 1823 году в Государственном совете в связи с составлением проекта общего уложения. Некоторые члены совета толковали указ 1754 года как отменивший смертную казнь за все преступления, в том числе и общегосударственные. Большинство же, ссылаясь на то, что в тексте указа 1754 года речь шла только об общих преступлениях, и опираясь на практику Екатерины II, высказалось за то, что смертная казнь в отношении к общегосударственным преступлениям имеет юридическую силу. Этим воспользовался Николай I при вынесении приговора по делу декабристов.

Стр. 65. *Николай ввел смертную казнь... сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.*— По своду законов, опубликованному в 1832 году,

смертная казнь устанавливалась за политические, карантинные и воинские (во время военных походов) преступления.

Стр. 66. *До 29 ноября 1830 года...*— дата начала польского восстания 1830—1831 годов.

...«Ода на свободу»...— Ода «Вольность» Пушкина.

...я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!).— В «Полярной звезде» на 1856 год, где впервые напечатана первая часть «Былого и дум», были также опубликованы: «Вольность», «Деревня», «Послание в Сибирь», «К Чаадаеву» Пушкина, «Гражданин» Рылеева и некоторые другие стихотворения.

Стр. 67. *...«развратные и плуты» взяли верх.*— Имеется в виду контрреволюционный переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.).

...внучка старшего брата моего отца — Т. П. Кучина (Пассек).

Стр. 68. *...Ахиллеса, Пелеева сына.*— Из первой строки «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича.

Стр. 69. *...матери.*— Имеется в виду Н. П. Кучина (урожд. Яковлева).

Отец — П. И. Кучин.

Сын — А. П. Кучин.

...воспитаннице Смольного монастыря — Е. М. Тушнева (в замужестве Кучина).

...«семинаристов в желтой шали»...— Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава третья, строфа XXVIII).

Стр. 70. *...Сегюрову всеобщую историю...*— Речь идет о книге «Abrégé de l'Histoire universelle, ancienne et moderne, à l'usage de la jeunesse» par M. le comte de Ségur, Paris, 1817 et ann. suiv., 44 vol.

...Анахарсисово путешествие.— Имеется в виду роман Бартелеми «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции...», СПб. 1804—1809.

...Брут или Фабриций.— Строка из стихотворного памфлета Д. Давыдова «Современная песня».

Стр. 74. *...богемские леса...*— Место действия драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

Стр. 74—75. *В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне...*— Упоминаемая статья неизвестна.

Стр. 76. *...мы жили в другой подмосковной* — в селе Покровском.

Стр. 77. *...дальнему родственнику моего отца* — то есть П. Б. Огареву.

Стр. 78. *От Мёроса...*— Греческий герой — тираноборец (по некоторым источникам — Дамон). Легенда о Дамоне и его друге Финтии послужила основой для баллады Ф. Шиллера «Порука». Из нее и приводится строка: «Чтоб город освободить от тирана».

...от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта...— Из драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль» (действие IV, сцена 3).

Стр. 80. *...присягнули... пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.*— Наиболее вероятная дата клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах — 1827 год.

...Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма...— Закладка храма Витберга на Воробьевых горах произошла 12 октября 1817 года.

Стр. 81. *...свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.*— Имеется в виду библейский рассказ о борьбе Иакова с богом.

...также вдвоем,— но не с Ником — то есть не с Огаревым, а с Н. А. Герцен.

Портрет этот... взяла чужая женщина...— Речь идет о Е. В. Салиас де Турнемир.

Стр. 82. *Таков ли был я, расцветая?* — Из «Путешествия Онегина» А. С. Пушкина.

...смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen»...— Имеются в виду слова немецкой писательницы Беттины фон Арним в письме к Гете.

Стр. 83. *...«старый дом»* — дом И. А. Яковлева (ныне не сохранившийся) в Б. Власьевском переулке в Москве. Здесь Герцен жил с 1824 по 1830 год.

Старый дом, старый друг! посетил я...— Стихотворение Н. П. Огарева «Старый дом».

Стр. 85. *...Пушкин, посвятивший ему чудное послание...*— Имеется в виду стихотворение «К вельможе».

Стр. 86. *...Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского...*— Имеется в виду ода Г. Р. Державина «К Степану Васильевичу Перфильеву на смерть князя Александра Ивановича Мещерского».

Стр. 87. *...для женщины, которой волю он сломил... для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность...*— Имеются в виду Л. И. Гааг, Е. И. Герцен, А. И. Герцен.

Стр. 88. *...пензенские крестьяне...*— Речь идет о крепостных И. А. Яковлева из села Архангельское, Керенского уезда, Пензенской губернии.

Стр. 89. *...графиня Анна Алексеевна...*— А. А. Орлова-Чесменская.

...книгу писал des finances...— Имеется в виду сочинение М. Ф. Орлова «О государственном кредите», М. 1833.

...Григория Ивановича — Ключарева.

Стр. 95. ...*Шереметевского странноприимного дома*...— Речь идет о благотворительном учреждении, состоявшем из богадельни для престарелых и увечных лиц, а также больницы, открытой в Москве в 1810 году графом Н. П. Шереметевым.

...*издал «Мысли герцога де Ларошфуко»*...— Имеется в виду книга «Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко». Перев. с франц. Дм. Пименова, М. 1809.

...*трактат «О женской красоте и прелести»*.— Имеется в виду книга «О сущности красоты и прелести». Перев. с франц. Дм. Пименова, М. 1818.

Стр. 99. ...*читал... Бурьенна, «Mémorial de S-te Hélène»*...— Имеются в виду мемуары Бурьенна и книга Лас-Каза «Mémorial de Sainte Hélène», tt. 1—8, Paris, 1823—1824 («Воспоминания об острове Св. Елены»).

Стр. 100. ...*хромого генерала* — А. Н. Бахметева.

Я подписал бумагу...— прошение о зачислении в Кремлевскую экспедицию.

...*«комитетские экзамены»*...— С 1809 по 1834 год в университетах России в особых комитетах, состоявших из нескольких профессоров и преподавателей, чиновники, не имевшие высшего образования и желавшие получить чин коллежского асессора, сдавали экзамены по основным дисциплинам, изучавшимся на физико-математическом, словесном и нравственно-политическом (то есть юридическом) факультетах. Успешно сдавшие «комитетские» экзамены получали соответствующий аттестат, в котором указывалось, какие «оказал познания» экзаменовавшийся чиновник. Для подготовки к сдаче такого рода экзаменов при университетах были организованы вечерние курсы.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки...— то есть поражением, разгромом. В Кавдинском ущелье в IV веке до н. э. римляне потерпели тяжелое поражение от самнитов.

Стр. 101. *Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории*.— Прошение о выдаче свидетельства для поступления в университет Герцен подал в Кремлевскую экспедицию 19 августа 1829 года. 14 октября 1829 года он был допущен к слушанию лекций.

...*отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст*...— В приговоре по делу кружка Сунгурова, в пункте, касающемся группы его участников — Костенецкого, Антоновича, Кашевского, Кольрейфа и Кноблоха, говорилось: «...найдены у трех последних писанные ими бумаги с дерзкими мыслями противу правительства, а у Кноблоха с дерзкими выражениями против особы К. В. короля Прусского». В докладе следственной комиссии сообщалось: «Кольрейф, Кноблох и Кашевский излагали даже на бумаге дерзкие свои мысли» (см. Б. Э й х е н б а у м, Тайное общество Сунгурова.— «Заветы», 1913, № 5, стр. 58, 54). По-видимому, Герцен имеет в виду эти «бумаги», когда упоминает о прозе. В утвержденном Николаем I проекте приговора по делу братьев Критских

читаем следующее: «Лушников, Петр Критский и Попов произносили к портретам государя императора дерзкие и оскорбительные слова; притом Лушников был ожесточен до такой степени, что дерзнул на портрете блаженныя памяти государя императора выколоть глаза» (см. М. Л е м к е, Тайное общество братьев Критских.— «Былое», 1906, № 6, стр. 50). Известно также, что в ноябре 1826 года был посажен в дом умалишенных юнкер Зубов за то, что «он с другими товарищами рубил бюст государя императора, приговаривая словами: «Так рубить будем тиранов отечества, всех царей русских» (см. «Красный архив», 1926, № 16, стр. 193.— «Отголоски декабрьского восстания 1825 года»). Возможно, что Герцен смешивает дело братьев Критских с делом Зубова, когда пишет не о портрете, а о бюсте.

Стр. 102. *...вместе с законом о пассах...*— Очевидно, речь идет об указах Николая I о паспортах, изданных в 1844 году и вводивших дальнейшие ограничения при выдаче паспортов для лиц, отъезжающих за границу. Так, на основании указа от 15 марта выдача заграничных паспортов сосредоточивалась в министерстве внутренних дел; паспорта выдавались только лицам, достигшим двадцатипятилетнего возраста; в случае поездки для лечения требовалось, кроме полицейского разрешения, медицинское свидетельство о болезни и т. п.

...о религиозной нетерпимости.— Герцен имеет в виду мероприятия Николая I, направленные против различных вероисповеданий во имя торжества официального православия: присоединение к официальной церкви уніатов (1839 г.), борьбу против старообрядчества, насильственное обращение в христианство волжских, уральских, кавказских и сибирских народностей.

Воспитательные домы... один из лучших памятников екатерининского времени.— По распоряжению Екатерины II в 1763 году был открыт воспитательный дом в Москве и в 1770 году — в Петербурге.

...мысль учреждения... воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами...— Воспитательные дома вначале существовали только на благотворительные средства. Впоследствии для содержания их отчислялись незначительные ссуды в виде налога на привозные карты, небольшого процента доходов с театров, зрелищ.

...произвел высшие классы... в обер-офицерский институт...— На основании указа от 1837 года учебные классы воспитательных домов переформировались в институт для сирот обер-офицерского звания.

...не велел в губернских заведениях... принимать новорожденных детей.— Указом 1828 года было запрещено содержание воспитательных домов по всей России, за исключением Москвы и Петербурга.

Стр. 103. *...медицинское отделение... состояло из семинаристов и немцев.*— Как правило, на медицинское отделение, где нужно было знать латинский язык, поступали охотнее дети иностранцев, работавших в России преимущественно лекарями, аптекарями, преподавателями иностранных языков.

Нехватка врачей (в основном в армии) вызвала ряд правительственных мер по увеличению контингента студентов-медиков. В университет ежегодно присылались воспитанники семинарий, которые целыми партиями зачислялись казеннокоштными студентами медицинского отделения.

...Франкёров курс...— Имеется в виду книга Франкера «Курс чистой математики», перев. с франц., М. 1819.

Стр. 106. *...речь Кювье о геологических переворотах...*— Герцен имеет в виду книгу «Discours sur les révolutions de la surface du globe...» par M. le Baron G. Cuvier, P. 1825 («Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара», П. 1825).

...де Кандолеву растительную органографию.— Речь идет о книге «Organographie végétale» par M. Aug.-Pyr. de Candolle, tt. 1—2, P. 1827 («Растительная органография» Де-Кандоля).

Меня возмущал его материализм.— Герцен имеет в виду естественнонаучный материализм XVIII века, под влиянием которого сложились философские убеждения А. А. Яковлева («Химика»).

Стр. 110. *...тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки...*— На допросе следственной комиссии 24 июля 1834 года Герцен показал: «Лет пять тому назад слышал я и получил стихи Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», Полежаева — не помню, под каким заглавием — от г. Паца, кандидата Московского Императорского университета...» (Герцен, XXI, 416—417).

...о маловской истории...— Маловская история произошла 16 марта 1831 года.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор...— Студенты ненавидели Малова не только за грубость и тупость. Они видели в нем апологета самодержавия, рьяно защищавшего в своих лекциях крепостнические порядки.

Стр. 112. *...с попечительством князя Оболенского... оканчивается патриархальный период Московского университета.*— А. П. Оболенский был попечителем Московского учебного округа с 1817 по 1825 год (до воцарения Николая I). Описываемый Герценом период впоследствии назывался «патриархальной» эпохой Московского университета.

Стр. 113. *...последние Абенсераги...*— старинный полулегендарный арабский род, последние представители которого, согласно сказаниям, трагически погибли в Испании в XV веке.

...шесть человек, наказанных по маловскому делу.— Шестой наказанный (кроме называемых Герценом и его самого) — П. П. Каменский.

Стр. 114. *...и там я просидел не восемь дней...*— В 1834 году, давая письменные показания следственной комиссии, Герцен удостоверил, что «был под арестом трое суток в 1831 году по известной истории против профессора Малова» (Герцен, XXI, 410).

Стр. 115. *Гумбольдт... был встречен в... заседании общества естествоиспытателей при университете...*— Прием Гумбольдта в московском Обществе испытателей природы состоялся 26 октября 1829 года.

...император изволил дать Анну...— А. Гумбольдт был награжден орденом св. Анны первой степени указом от 1 ноября 1829 года.

...приказал не брать с него денег за материал и диплом...— Согласно существовавшим тогда законам, лица, пожалованные орденом, делали единовременный денежный взнос в орденский капитул.

Сан-Суси — дворец в Потсдаме, резиденция Фридриха II.

Стр. 116. *...Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой...*— В «Московских ведомостях» сообщалось, что в своем выступлении 26 октября А. Гумбольдт говорил о магнитных наблюдениях, сделанных им во время путешествия по Уралу.

Стр. 117. *...десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе.*— Лист посетил Россию в 1842, а также в 1843 и 1847 годах.

...воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров.— Герцен имеет в виду стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла», представляющее собой сатиру на С. С. Уварова. В момент описываемого посещения Москвы осенью 1832 года Уваров был товарищем министра народного просвещения.

При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски...— Имеются в виду «Eloge funèbre de Moreau», St.-P. 1813; «L'Empereur Alexandre et Buonaparte», St.-P. 1814.

...переписывался с Гете по-немецки...— Переписка Уварова с Гете опубликована в статье: G. Schmid, «Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel» («Russische Revue», Bd. XXVIII, 2 Heft, St.-P. 1888, s. 131—174).

Стр. 118. *Где наш старец Ланжерон!* — неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Бородинская годовщина».

Стр. 119. *...декан* — П. С. Щепкин.

...я представлял «Угара», а жена жандармского полковника — «Марфу».— Имеется в виду пьеса А. А. Корсакова «Марфа и Угар, или Лакейская война, комедия в одном действии, переделанная с французского из сочинений Дюбуа» (см. «Российский феатр», 5-е собр., т. VI); Марфу играла П. А. Замятнина, жена А. Г. Замятнина.

Стр. 120. *...явился на польском митинге в Лондоне...*— Герцен вспоминает свое выступление на митинге (29 ноября 1853 г.) в честь двадцать третьей годовщины польского восстания.

Стр. 121. *...учить по его катехизису.*— Имеется в виду составленный для учебных заведений в 1828 году на основе «Христианского катехизиса православной кафолической восточной греко-российской церкви» Филарета (СПб.

1823) краткий катехизис под названием: «Начатки христианского учения, или Краткая священная история и краткий катехизис».

Стр. 122. *Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры...*— Герцен имеет в виду «Слово по освящении храма и по принесении господу богу молитв о предохранении от губительной болезни. Говорено сентября 18 дня 1830 года».

Митрополит... разослал новое слово... в котором пояснял... что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах.— О рассылке по церквам «нового слова» сведений нет. По-видимому, речь идет о проповеди, произнесенной Филаретом 5 октября 1830 года, когда, обращаясь к царю, митрополит говорил: «Он не причиною нашего бедствия, как некогда был первою причиною бедствия Иерусалима и Израиля Давид».

Стр. 123. *Я помню одного студента-малороссиянина, кажется Фицхелаурова...*— Воспитанник гимназии войска Донского в Новочеркасске С. П. Фицхелауров с 1827 года учился на медицинском факультете, по окончании которого (в 1831 г.) был оставлен в университете на один год для изучения ветеринарной науки (Архив МГУ, Правление, 1-й стол, 1827, д. № 143, 1831, д. № 87).

...русскую царицу немецкого происхождения...— Речь идет о Екатерине II.

Но не пошла Москва моя...— Неточно приведенная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава седьмая, строфа XXXVII).

Стр. 124. *...фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда...*— После Июльской революции Карл X бежал из Франции в Голируд — замок в Эдинбурге (Англия).

...Бельгия вспыхнула...— Речь идет о революции 1830 года в Бельгии.

...короля-гражданина...— Имеется в виду Луи-Филипп Орлеанский, любивший щеголять титулом «короля-гражданина».

...описание Гейне, услышавшего на Гельголанде...— Известие об Июльской революции застало Г. Гейне на острове Гельголанд. Герцен имеет в виду страницы из второй книги Гейне «Людвиг Берне», где поэт восторженно приветствует июльские события во Франции.

Nein! Es sind keine leere Träume! — не совсем точная строка из стихотворения Гете «Надежда» («Hoffnung»).

Стр. 125. *В 1832 году пропал поляк...*— Как указал ниже Герцен, этот студент «пропал» за несколько месяцев до ареста лиц, привлеченных по так называемому делу Сунгурова (началось в мае 1831 г.), следовательно, указанный поляк мог быть арестован не в 1832, а в 1831 году. Материалы архива Московского университета позволяют сделать предположение, что пропавший поляк — Г. С. Шанявский (род. около 1808 г.) — по окончании Минской губернской гимназии в 1827 году был принят казеннокоштным студентом на медицинское отделение Московского университета. В июне 1831 года, перед окончанием университета, Шанявский был арестован, а затем сослан в Сибирь.

А где Критские? ...На что их осудили? — О судьбе членов кружка Критских см. М. Л е м к е, Тайное общество братьев Критских.— «Былое», 1906, № 6, стр. 41—57, а также Л. И. Н а с о н к и н а, К вопросу о революционном движении студенчества Московского университета.— «Вестник Московского университета», 1954, № 4, стр. 153—164.

Стр. 125—126. *...схвачено ночью несколько... студентов — называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других...*— Герцен называет фамилии студентов, арестованных в числе других лиц по делу кружка Н. П. Сунгурова. Ю. П. Кольрейф и П. А. Антонович были арестованы 20 июня 1831 года; Я. И. Костенецкий, находившийся в отъезде (в подмосковном имении помещика Рахманова, близ г. Дмитрова), арестован несколько позже.

Стр. 126. *Все мы... ждали, что с ними будет...*— Упомянутые Герценом студенты были сосланы рядовыми в военные части.

Нас было пятеро сначала...— А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин и А. Н. Савич.

Вадим, по наследству, ненавидел... самовластье...— Отец Вадима Пассека, Василий Васильевич Пассек, был человеком передовых для своего времени убеждений. При аресте в 1794 году у него были обнаружены рукописные списки «Путешествия из Петербурга в Москву», а также ряд его собственных вольнолюбивых, антимонархических стихотворений, написанных под влиянием А. Н. Радищева.

Стр. 127. *...другие руки и задержали его в Сибири.*— Имеется в виду опекун Василия Васильевича Пассека — П. Б. Пассек, присвоивший его наследство.

Стр. 128. *В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию.*— Пассек получил разрешение на возвращение из Сибири в конце 1824 года. Семья Пассек прибыла в Центральную Россию в 1825 году.

В это время Николай праздновал свою коронацию...— Коронование Николая I в Москве состоялось 22 августа 1826 года.

Две старших сестры — О. В. и З. В. Пассек.

Стр. 129. *...трое... окончили курс в университете...*— Д. В. Пассек, В. В. Пассек, П. В. Пассек.

Старшие...— Е. В. и Л. В. Пассек.

...один во флоте, другой в инженерах...— Во флоте — Л. В. Пассек. Д. В. Пассек служил в это время инженером путей сообщения.

...старушку мать — Е. И. Пассек.

Один — Д. В. Пассек.

Стр. 130. *Вадим умер в феврале 1843 г.*— Вадим Пассек умер в октябре 1842 года.

Товарищ попечителя — А. Н. Панин.

Стр. 131. *...это эполеты Полежаева...*— Полежаев был произведен в офицеры лишь перед самой смертью.

...это прощение Кольрейфа...— Кольрейфа возвратили из ссылки незадолго до его смерти.

Стр. 132. *...уважал его за его исторические изыскания о Москве.*— Имеются в виду: «Описание царства Московского» (Прибавление к «Московским губернским ведомостям», 1841, №№ 7—15), «О состоянии Москвы и Московской губернии в царствование Петра Великого» (там же, 1841, № 28) и др.

«*Как знал он жизнь*»...— надпись на надгробном памятнике Д. В. Веневитинова; является заключительной строкой из его элегии «Поэт и друг».

Старший брат Вадима — Е. В. Пассек.

Стр. 133. *Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции.*— Огарев и Сатин с лета 1833 года находились под секретным полицейским надзором за связь с сунгуровцами. В декабре 1833 года полицейские заметили Огарева с Соколовским, распевающих «Марсельезу» у подъезда Малого театра. Оболенский состоял под надзором полиции еще с 1832 года.

Стр. 134. *...вероятно, моего имени в письме не было.*— Лесовский вызывал к себе А. Топорнина, И. Оболенского, Н. Огарева, И. Кольрейфа, Н. Станкевича, Я. Неверова, Н. Сатина, Н. Кетчера и Я. Почеку за переписку с Костенецким. Имя Герцена в письме не было упомянуто (МОГИА, ф. 16, оп. 31, св. 16, д. 49, 1833 г.).

Стр. 135. *...Бестужеву дал крест за смерть.*— Известие о награждении Георгиевским крестом за храбрость, проявленную в боях на Кавказе, не застало А. А. Бестужева-Марлинского в живых.

Стр. 136. *Я писал астрономическую диссертацию...*— Речь идет о статье Герцена «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833).

Стр. 137. *...птицы, состоящей при Минерве.*— В древнеримской мифологии богиня мудрости Минерва изображалась обычно с совой (символ мудрости) на шлеме или же у ног.

Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы — кандидат.— Выпускные экзамены проходили 22 июня 1833 года. Для получения степени кандидата необходимо было набрать по восьми дисциплинам минимум 28 баллов (при высшей оценке — «4» и низшей — «0»). Герцен набрал 29 баллов: по ботанике, чистой математике, сельскому хозяйству и минералогии, зоологии, химии — «4», по физике, прикладной математике, астрономии — «3».

Стр. 140. *Он как-то удачно продал, помнится, рукопись «Хевери»...*— В. Соколовский собирался печатать тогда не драматическую поэму «Хеверь», а роман «Одна и две, или Любовь поэта». В цензурный комитет отдельные части этого романа относили Огарев, Сатин и Соколов (с 10 октября по 18 декабря 1833 г.). После этого в Москву приехал Соколовский и жил у Сатина до

22 января 1834 года. Таким образом, «праздник», о котором идет речь, был в конце декабря 1833 или в январе (до 22) 1834 года.

Стр. 142. *...Николай-Михайловичеву Кузьме* — слуге Н. М. Сатина.

Стр. 146. *...беранжеровскую застольную революцию...*— В песнях Беранже 20-х годов в замаскированной шутливо-иронической форме в виде тостов за дружеским столом высказывались революционные, республиканские симпатии. Отсюда, очевидно, и происходит выражение Герцена «беранжеровская застольная революция».

Стр. 147. *...судить по кодексу Наполеона...*— Сен-симонистов судили в 1832 году по статье 291 уголовного кодекса (введен в действие в 1811 г.), обвиняя в оскорблении общественной морали и нравов. Герцен имеет в виду филистерский, лицемерный характер буржуазного уголовного кодекса, а также гражданского кодекса, изданного в 1804 году и переименованного в 1807 году в Кодекс Наполеона.

...по орлеанской религии.— Период Июльской (орлеанской) монархии отличался крайней распущенностью нравов правящей финансовой аристократии. Вместе с тем июльские власти обвиняли сен-симонистов, пропагандировавших «новую религию» и равенство полов, в безнравственности и проповеди «общности жен».

Стр. 148. *...завешенную икону после революции 1830 года.*— В период Июльской монархии из зала суда удалялись распятия Христа, а иконы завешивались зеленым покрывалом.

Стр. 149. *...принялся за «Парашу Сибирячку»...*— Герцен имеет в виду переход Н. А. Полевого в лагерь реакции после закрытия в 1834 году «Московского телеграфа». «Параша Сибирячка» — одна из пьес, написанных Полевым в этот период.

...«разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu.— Во время якобинской диктатуры был введен 19 флореаля (8 мая) 1794 года так называемый культ Верховного существа. Этот культ был объявлен новой «гражданской религией». В честь Верховного существа устраивалось празднество 20 прериаля (8 июня) 1794 года, о котором и говорит Герцен. Установление культа Верховного существа сопровождалось усилением террора против внутренних врагов.

Стр. 150. *Князь Ливен.*— Пост министра народного просвещения в то время занимал не К. А. Ливен, а А. С. Шишков.

Стр. 151. *Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.*— 28 июля 1826 года Полежаев был отправлен унтер-офицером в Бутырский полк.

Прошло года три... он бежал...— Побег из Бутырского полка Полежаев совершил в июне 1827 года.

Военный суд приговорил... прогнать сквозь строй.— За побег из Бутырского полка Полежаев был разжалован в рядовые «с лишением личного дво-

рянства и без выслуги». Осенью 1837 года за самовольную отлучку из полка Полежаев был наказан розгами.

Без утешений...— Неточная цитата из стихотворения Полежаева «Провидение».

Полежаева отправили на Кавказ...— В 1829 году Полежаев был отправлен на Кавказ рядовым Московского пехотного полка.

Стр. 152. *Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве.*— В 1833 году Московский полк, в котором служил Полежаев, был возвращен с Кавказа и расположился в городе Коврове, Владимирской губернии.

...издали его сочинения... при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели.— Герцен имеет в виду издание: «Арфа. Стихотворение Александра Полежаева», М., в типографии В. Кирилова, 1838.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стр. 153. *...слушая наши смелые рассказы...*— На следствии 1834 года Герцен показал следующее: «С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов со стороны господ... и находя, что сие состояние вредит развитию промышленности» (Герцен, XXI, 416).

Стр. 154. *Это стоит корнелевского «qu'il mourût».*— Эти слова произносит Гораций-отец — персонаж трагедии Корнеля «Гораций» (акт III, сцена 6).

...забрал бумаги и увез Николая Платоновича.— Н. П. Огарев был арестован 9 июля 1834 года, 12 июля освобожден на поруки отца, а 31 июля арестован вторично.

...познакомились мы с В.— Речь идет о В. П. Зубкове.

Стр. 158. *...усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком.*— 2 сентября 1832 года М. Ф. Орлов был избран почетным членом московского Общества испытателей природы. Став членом совета общества, он безуспешно добивался изменения устава общества в целях его демократизации, предлагал открыть в зале общества публичные чтения курсов естественных наук и пр. В ноябре 1836 года в заседании общества Орлов сделал доклад «Некоторые философские мысли о природе».

...умер от ран на Кавказе.— Н. Н. Раевский-сын умер в 1843 году в имении Красненькое, Воронежской губернии.

Стр. 159. *...пир 24 июня...*— См. начало XII главы и прим. к стр. 179.

В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале.— Герцен описывает памятник, воздвигнутый в 1821 году по проекту Торвальдсена. Этот монумент посвящен памяти швейцарцев, павших во время защиты Тюильри (Париж) в 1892 году.

Стр. 160. *Это было девятнадцатого июля 1834.*— Герцен описывает встречу с Н. А. Захарьиной, происшедшую 20 июля 1834 года.

Стр. 161. *...вы поедете со мной.*— Герцен был арестован ночью 21 июля 1834 года.

Стр. 162. *Добросовестный.*— Выборное лицо (род старшины), избиравшееся для разбора споров. Здесь идет речь о роли понятого.

Стр. 166. *...не знаю, кто он...*— Это был Д. Н. Студенцкин.

Стр. 167. *Тем и кончился первый допрос.*— Первому допросу Герцен подвергся 24 июля 1834 года. Ему было задано пятнадцать вопросов, на которые он дал письменные ответы.

Стр. 169. *Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкина...*— Герцен имеет в виду эпизод из «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (т. I, гл. X).

...другой князь Голицын...— А. Ф. Голицын.

Стр. 170. «*...отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!*» — Слова Селифана Герцен цитирует не совсем точно (см. Н. В. Гоголь, Мертвые души, т. I, гл. III).

Стр. 172. *...Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы.*— В конце XVIII века Крутицкий монастырь был упразднен, а здания его были отведены под казармы.

Стр. 177. *...эмиссарами* — то есть уполномоченными образованного во время восстания 1830—1831 года польского правительства.

Стр. 179. *...давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года.*— Праздник устраивал Е. Н. Машковцев. «24 прошедшего месяца,— показал он на следствии 28 июля 1834 года,— узнавши, что я удостоен степени действительного студента, я пригласил к себе некоторых из своих товарищей на завтрак. Они привезли еще некоторых знакомых мне, но коих я не приглашал... Из бывших у меня гостей, кроме Уткина,— Сорокин, Киндяков, Убини, Масленников, Аркадий Машковцев, Оболенский, Иванов, Скаретка, Перемышленский и еще теперь не припомню, принимал ли кто участие — утвердительно писать не могу» (д. № 142, лл. 317—318). Это подтвердили И. Оболенский и Н. Убини (там же, лл. 301, 325).

...известную песню Соколовского...— В несколько ином варианте песня В. И. Соколовского приведена в статье М. К. Лемке «Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей (по неизданным источникам)».—

«Мир божий», 1906, № 2, отд. первый, стр. 121—122. Из материалов следствия по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» видно, что Соколовский не был сочинителем этой песни, а узнал ее по выходе из кадетского корпуса летом 1826 года. А. В. Уткин на следствии показал, что песню «Русский император» он узнал от А. И. Полежаева. Можно предположить, что Полежаев и был автором песни.

Вечером Скарятка вдруг вспомнил...— Спровоцированная Скареткой пирушка состоялась не в тот же вечер, а 8 июля 1834 года.

Через две недели арестовали нас...— Лица, упоминаемые Герценом ниже, были арестованы в разные дни. О датах ареста Герцена и Огарева см. в прим. к стр. 154 и 161. Соколовский был арестован 19 или 20 июля в Петербурге.

Стр. 182. *Ведь это он писал о Петре Первом...*— Речь идет о статье Герцена «Двадцать осьмое января» (1833).

...между нами четырьмя...— Имеются в виду А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин и И. А. Оболенский.

Стр. 184. *...собрали... 20 марта... для слушания приговора.*— Приговор был объявлен 31 марта 1835 года.

Стр. 188. *Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком.*— Л. К. Ибаев получил образование в Морской первой артиллерийской бригаде, затем служил офицером в Белгородском уланском полку и, выйдя в отставку, приехал в Москву «для приискания должности и места». Вместе с Соколовским и Уткиным Ибаев был в 1835 году заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда в 1838 году был отправлен на службу в Пермь. В 1841 году в Перми он выпустил небольшую книгу «Анатомический нож, или Взгляд на внутреннего человека», на которую в «Отечественных записках» (1842, т. XX, отд. VI, стр. 70—71) был дан резко отрицательный отзыв за ее мистический характер. Именно в то время в «Отечественных записках» сотрудничали Герцен и Огарев, которые не могли не знать об этой рецензии. Это, по-видимому, и дало основание Герцену назвать Ибаева мистиком.

Стр. 191. *Зачем же воспоминание об этом дне... напоминает так много страшного?.. Все прошло!..*— Герцен вспоминает похороны Н. А. Герцен в 1852 году.

Per me si va nella...— Из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь третья).

Стр. 195. *...quid timeas? Caesarem vehis!..*— По преданию, эти слова произнес Цезарь, желая подбодрить кормчего, испугавшегося бури и пытавшегося свернуть судно с ранее намеченного курса.

Стр. 198. *...другой сосланный, назначенный в Вятку...*— И. А. Оболенский.

Стр. 199. *Янтарь в устах его дымился...*— из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Стр. 200. *...в pendant галереи полководцев 1812 года.*— Речь идет о «Галерее Отечественной войны 1812 г.» в Зимнем дворце. Стены галереи заполняют портреты русских полководцев, участников Отечественной войны 1812 года.

Стр. 205. *...секретарем Канкрина...*— К. Я. Тюфяев секретарем Канкрина не служил.

Стр. 208. *...Энкиева комета...*— Комета, открытая Понсом и названная именем немецкого астронома Энке, определившего ее орбиту.

Стр. 210. *...князь Е. Грузинский без притона беглых...*— Помещик-деспот Е. В. Грузинский укрывал в своем нижегородском имении беглых крепостных, выдавая их за собственных.

Стр. 211. *...«вернулся алеутом», как говорит Грибоедов.*— Из монолога Репетилова (см. «Горе от ума», действие IV, явление 4).

Стр. 213. *...оно велело везде завести комитеты...*— На основании указа правительствующего сената и распоряжения министра внутренних дел от 25 января 1835 года в губерниях образовывались статистические комитеты, на которые был возложен учет государственных имуществ. В Вятке статистический комитет начал работу в мае 1835 года.

Стр. 215. *...capacités, которые хотели ввести при Людовике-Филиппе в выборы.*— Герцен имеет в виду проекты избирательной реформы, которые выдвигались во Франции в период 1840—1848 годов. В этих проектах, в частности, содержалось требование о предоставлении избирательного права лицам, имеющим ученую степень.

Стр. 216. *С Конарского... поляки... иначе смотрят на русских.*— Польский революционер Шимон Конарский стремился к сотрудничеству поляков с русскими в общей борьбе против царизма. Во время заключения Конарского в Виленской тюрьме (1838 г.) тайной организацией русских офицеров во главе с Кузьминым-Караваевым была предпринята попытка его освободить.

Стр. 217. *...его «усердие» точно так же превозмогло бы все...*— Герцен имеет в виду надпись на графском гербе, пожалованном Николаем I П. А. Клейнмихелю: «Усердие все превозмогает».

Стр. 221. *Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего.*— Герцен имеет в виду свою статью «Крещеная собственность».

Стр. 229. *В 1835 году святейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие.*— Описы-

ваемые Герценом события произошли в 1829—1830 годах. Непосредственным поводом для них послужило совершение обряда идолопоклоннического жертвоприношения (в Сернурской волости 3 декабря 1828 г.), на котором присутствовало до трех тысяч крещеных и некрещеных черемисов (прежнее название народности мари).

Его звали Курбановским.— Филарет откомандировал миссионером в Вятскую губернию священника Александра Покровского. Герцен путает его с протопереем Николаем Курбановским, который в числе других представителей местного духовенства, посланных по уездам, был миссионером в Яранском уезде.

Стр. 230. *А постолу-татарину правительство прислало Владимирский крест...*— Девлет-Кильдеев был награжден бриллиантовым перстнем.

...департамент государственных имуществ воровал... назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям.— В мае 1836 года по распоряжению Николая I были отправлены чиновники в Московскую, Курскую, Псковскую и Тамбовскую губернии для обревизования государственных имуществ. В Вятской губернии были проведены две ревизии в 1837 году: одна (начата в конце мая 1837 г.) — коллежским советником Холодовским, другая — генерал-губернатором А. А. Корниловым по его прибытии в Вятку в августе месяце.

Стр. 231. *С этого началось введение нового управления государственными крестьянами.*— В январе 1837 года государственные имущества были переданы в ведение временного управления департаментом государственных имуществ во главе с П. Д. Киселевым. В декабре 1837 года департамент государственных имуществ был упразднен и учреждено министерство государственных имуществ. Министр государственных имуществ П. Д. Киселев провел реформы, в результате которых перестраивалось все управление государственными крестьянами (в том числе и местное). Реформы имели целью укрепление феодальных отношений в государственной деревне, повышение налоговой платежеспособности, дальнейшее «обузданье» государственных крестьян в связи со все усиливавшимися среди них стихийными восстаниями.

Стр. 233. *...о знаменитой истории картофельного бунта...*— В Вятской губернии картофельные бунты происходили в 1834 и 1842 годах. Судя по рассказу Герцена (упоминание о распространении бунта не только в Вятской, но и в Казанской губернии, «пушечной картечи и ружейных выстрелах», о поездке графа П. Д. Киселева), в «Былом и думах» речь идет о бунте 1842 года, который по своему размаху был наиболее значительным.

...ко флигельману...— Согласно уставу, учрежденному Павлом I, флигельман — унтер-офицер, стоявший перед фронтом подразделения, проделывал ружейные приемы, которые солдаты обязаны были в точности повторять.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии...— Бунт охватил Казанскую, Пермскую и Вятскую губернии. В Вятской губернии крестьянские

волнения были в нескольких волостях Нолинского, Слободского, Вятского и Глазовского уездов.

Стр. 234. *...Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда.*— Министр государственных имуществ П. Д. Киселев в 1842 году совершал поездку по северо-восточным губерниям.

Павел Дмитриевич — П. Д. Киселев.

Стр. 235. *...колчевский полицмейстер...*— то есть хромой (от колчить — хромать). Вятский полицмейстер был хром.

Стр. 239. *...Александр издал манифест...*— Имеется в виду манифест от 25 декабря 1812 года «О построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя в ознаменование благодарности к промыслу божию за спасение России от врагов».

Стр. 244. *...падение мистического министерства...*— См. прим. к стр. 61.

...насильственно отнятого у монастырей Екатериной...— Согласно манифесту Екатерины II, изданному в феврале 1764 года, церковные имения передавались государству. В конце царствования Екатерина II раздавала секуляризованные церковные земли своим фаворитам.

...Лабзин сослан в Вологду.— Лабзин был сослан в 1822 году в город Сенгилей Симбирской губернии. В 1823 году ему было разрешено поселиться в Симбирске.

Стр. 248. *...писем, получаемых мною...*— от Н. А. Захарьиной.

...чувство раскаяния...— Герцен намекает на свое увлечение Н. П. Медведевой (см. часть III, гл. XXI).

...написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы.— Герцен имеет в виду свои драматические опыты «Из римских сцен» и «Вильям Пен», созданные в 1838—1839 годах.

...всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погодин писал им.— Нерифмованным пятистопным ямбом написана трагедия М. Погодина «Марфа, посадница новгородская».

В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе.— Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Русская литература в 1841 году», напечатанная в «Отечественных записках» за 1842 год, № 1.

Стр. 249. *...юноша* — А. Е. Скворцов.

Стр. 254. *...книгу Токвиля о демократии в Америке...*— Имеется в виду «De la démocratie en Amérique» par A. de Tocqueville, tt. 1—2, P. 1835.

Стр. 259. *...гостинице, чрезвычайно верно описанной в «Тарантасе»...*— См. повесть «Тарантас» В. А. Соллогуба (гл. V).

...поручил мне с одним учителем гимназии заведовать «Губернскими ведомостями»...— Герцен был редактором «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям». Учитель — Д. В. Небаба, был его соредактором.

Стр. 260. *...в Вятке поставил на ноги неофициальную часть «Ведомостей»... поместил... статейку...*— «Вятские губернские ведомости» начали выходить в январе 1838 года. В это время Герцен уже находился во Владимире. Герцен напечатал в «Прибавлениях» к «Вятским губернским ведомостям» несколько заметок.

...«Губернские ведомости» были введены в 1837 году.— «Губернские ведомости» начали издаваться в 1838 году в сорока двух губерниях России.

Блудов, известный... как сочинитель «Доклада следственной комиссии» после 14 декабря...— Д. Н. Блудов был назначен Николаем I в 1826 году делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов.

...выслужившиеся «арзамасские гуси» — то есть бывшие члены литературного общества «Арзамас» (1815—1818 гг.).

Стр. 261. *...заменил земских заседателей становыми приставами.*— На основании Положения о земской полиции, утвержденного в 1837 году, выборные должности земских заседателей упразднялись, вместо них был введен институт становых приставов. Становой пристав назначался губернатором и ведал станом (частью уезда).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Стр. 264. *Не ждите от меня длинных повествований... буду говорить... редко, редко, касаясь намеком или словом заповедных тайн своих.*— Эпиграф взят Герценом из последней главы второй части «Былого и дум» в издании 1854 года («Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон). В эпиграфе в несколько измененном и сокращенном виде приведены три заключительных абзаца этой главы.

Стр. 265. *...выдала замуж их сестер.*— Подразумеваются М. А. Яковлева (в замужестве Хованская) и Е. А. Яковлева (в замужестве Голохвастова).

Стр. 270. *Старая француженка* — А. И. Матеи.

...с компаньонкой — М. С. Макашиной.

Ребенок — Н. А. Захарьина.

Стр. 272. *Вот тайна: дней моих весною...*— из поэмы И. Козлова «Чернец».

Стр. 274. *...сын какой-то вдовы-попадьи...*— Речь идет о П. С. Ключареве и Т. И. Ключаревой.

Стр. 275. *...Сашей* — Вырлиной.

Стр. 277. *...русскую девушку* — Э. М. Аксберг.

Стр. 279. *Это было в тюрьме.*— Речь идет о свидании 9 апреля 1835 года.

...«не в отеческом законе»...— Из поэмы Пушкина «Граф Нулин».

...молодая девушка — Л. В. Пассек.

Стр. 281. *Кузина, помнишь Грандисона?* — Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава седьмая, строфа XLI).

Стр. 285. *Р.*— П. П. Медведева.

Стр. 292. *...на портрет...*— Речь идет о портрете А. И. Герцена, написанном А. Л. Витбергом в конце сентября — начале октября 1836 года. Портрет был заказан А. И. Герценом ко дню рождения Н. А. Захарьиной и вручен ей его отцом 22 октября 1836 года.

...о браслете...— В своем письме к Н. А. Захарьиной от 3 марта 1837 года Герцен сообщает, что получил от нее браслет.

Стр. 293. *Паулина* — Тромпетер.

Стр. 294. *...по делу филаретов...*— Название польского тайного студенческого общества при Виленском университете в первой четверти XIX века. В 1822—1823 годах молодежь, принадлежавшая к обществу, была арестована. Многие были посажены в тюрьмы, сосланы, отданы в солдаты.

Стр. 295. *Das Mädchen aus der Fremde...*— стихотворение Шиллера «Дева чужбины».

Стр. 296. *Повесть вышла плоха.*— Имеется в виду неоконченная повесть «Елена», которую Герцен писал в 1836—1838 годы.

Стр. 297. *...двоюродный брат* — С. Л. Львов-Львицкий.

Стр. 299. *С.*— В оригинале письма Натальи Александровны — Свечина.

З.— А. И. Снаксарев.

...душа ее, живущая одним горем...— Намек на разрыв между Э. М. Аксберг и Н. М. Сатиным.

Стр. 304. *Пускай себе поплачет...* — не совсем точная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание».

...более Мара — Марата.

...с примесью чего-то патфайндерского...— Имеется в виду герой романа Ф. Купера «Следопыт» («The Pathfinder»), отличавшийся честностью и прямотой.

Стр. 305. *Третье марта и девятое мая...*— Даты первого свидания А. И. Герцена с Н. А. Захарьиной после разлуки и их венчания.

Стр. 309. *Один из друзей* — Н. И. Астраков.

Стр. 310. *...Чаадаев... посвятивший ей свое знаменитое письмо о России.*— «Философическое письмо» Чаадаева посвящено С. Д. Пановой.

Стр. 320. *13 июня 1839 года* — день рождения первого сына Герцена — Александра.

Стр. 322. *В римских элегиях, в «Ткачихе»...*— Речь идет о цикле стихов Гете «Римские элегии», а также стихотворении «Пряха».

...в Гретхен и ее отчаянной молитве...— См. «Фауст» Гете (часть I, сцена 18).

Стр. 325. *Прасковья Андреевна* — Эри.

Стр. 326. *Was hat man dir, du armes Kind, getan?* — См. стихотворение Гете «Миньона».

Стр. 328. *15 августа 1832.*— Дата неверна: записка писана 22 октября 1833 года.

Стр. 329. *...Эмилия Михайловна* — Аксберг.

Н. Жданов ский
(при участии В. Гурьянова)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 334. *...то 3 марта 1838, то нашу поездку 9 мая...*— См. прим. к стр. 305.

...жизни май цветет один раз и не больше...— Из стихотворения Шиллера «Resignation».

Стр. 335. *Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня.*— На прошение Н. П. Огарева о его переводе из Пензы в Москву для службы в сенате разрешение Николая I последовало 11 мая 1839 года. С Герцена полицейский надзор был снят 16 июля 1839 года.

...слова Дон Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» — По преданию, так воскликнул Юлий Цезарь, сопоставляя себя с Александром Македонским, который уже в молодости прославился своими подвигами (см.: Плутарх, Юлий Цезарь, 11). В драме Шиллера «Дон Карлос» эти слова произносит Карлос, обращаясь к отцу (действ. II, явл. 2).

Стр. 336. *...он женился.*— Н. П. Огарев женился в 1836 году на М. Л. Рославлевой. Рассказ о жене Огарева был введен Герценом в текст главы в 1861 году при подготовке к печати отдельного издания «Былого и дум».

Стр. 340. *...двое из старых друзей.*— Речь идет, видимо, о Н. Х. Кетчере и П. М. Сатине.

Стр. 341. *...когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине...*— Герцен вернулся в Москву из ссылки, после снятия с него полицейского надзора, 23 августа 1839 года. Т. Н. Грановский к этому времени уже уехал из Германии и в последних числах августа также прибыл в Москву.

...Станкевич потухал на берегах Lago di Como...— Последний год жизни Н. В. Станкевич путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии и умер,

направляясь к озеру Комо, по пути из Флоренции в Милан в городке Нови 24 июня 1840 года.

Стр. 342. *...Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии»...*— В предисловии ко второму изданию (1852) работы Гейне «Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland» («К истории религии и философии в Германии») А. Руге назван «привратником Гегелевой школы» («Der Türhüter der Hegel'schen Schule»). Эту же характеристику Руге Гейне повторил затем в своих «Bekenntnisse» («Признания»), опубликованных первоначально в 1854 году во французском журнале «Revue des Deux Mondes» (выпуск от 15 сентября). Еще раньше «привратником немецкой философии» Руге был назван в статье Ф. Энгельса «Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте», напечатанной 7 сентября 1848 года в «Neue Rheinische Zeitung».

...в Москве между Маросейкой и Моховой...— Дом Боткиных на Маросейке (теперь дом № 4 по Петроверигскому пер.) служил местом частых встреч друзей Герцена. У В. П. Боткина в разное время жили В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, М. А. Бакунин. На Моховой улице — Московский университет.

Стр. 343. *...«жизни мышья беготня»* — из стихотворения Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».

...смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом.— Имеется в виду четвертая сцена первой части трагедии Гете «Фауст».

Стр. 344. *...Гегель... спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город...*— Находясь в Иене, Гегель в 1806 году окончил написание «Феноменологии духа». Когда наполеоновские войска после победы под Иеной 14 октября 1806 года занимали город, Гегель положил рукопись в карман и пошел искать пристанища у Габлера. Этот эпизод стал известен Герцену, как это явствует из его записи в дневнике от 30 августа 1844 года, из книги К. Розенкранца «Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben...» (глава «Die Jenenser Katastrophe Herbst, 1806»), изданной в Берлине в 1844 году.

...вроде статьи «о палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии.— Имеется в виду заметка Гегеля «Öffentliche Todesstrafe», напечатанная в числе других исторических этюдов Гегеля в книге К. Розенкранца. В своих дневниковых записях от 30 августа и 3 сентября 1844 года, а также в пятом письме «Писем об изучении природы» Герцен критически отзывается о книге Розенкранца, однако подчеркивает ценность опубликованных в ней документальных материалов из рукописей Гегеля.

Философская фраза... «Все действительное разумно»...— Формула Гегеля из его «Основ философии права».

Стр. 345. *...прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.*— Разговор с В. Г. Белинским происходил осенью 1839 года. Увлеченный ложной идеей

«примирения с действительностью», Белинский в то время положительно отзывался о так называемых «патриотических стихотворениях» Пушкина («Бородинская годовщина», «Клеветникам России») и нередко читал их в дружеском кругу (см. письмо Белинского к Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г.).

Белинский... уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».— Белинский уехал в Петербург из Москвы в конце октября 1839 года. Откликом на теоретические споры с Герценом явился ряд статей Белинского: упоминаемая Герценом «Бородинская годовщина» («Отечественные записки», 1839, № 10), «Очерки Бородинского сражения» («Отечественные записки», 1839, № 12) и «Менцель, критик Гете» («Отечественные записки», 1840, № 1).

Стр. 346. *...берлинским Михелетом в его книге.*— Имеется в виду книга: C. M i c h e l e t, Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele...» («Лекции о личности бога и бессмертии души»), изданная в Берлине в 1841 году.

...познакомился я с одним генералом.— Знакомство Герцена с В. И. Филиппповичем произошло во второй половине 1841 года, когда Филиппович служил в корпусе флотских штурманов морского министерства в чине полковника; в генерал-майоры он был произведен в начале 1842 года.

Стр. 347. *...«Мапа»* — французский скульптор и сектант Ганно (Gannеau), снискавший в 40-х годах XIX века шумную известность своим «учением» о полном равенстве полов; образовал свое имя (Мараh) путем соединения двух начальных слогов латинского родового имени матери и отца — «mater» и «pater».

Лариса Дмитриевна — жена В. И. Филипповича.

...Теруань де Мерикур... потрясающая народные массы...— Теруань де Мерикур, оставив с первых дней революции прежний праздный и легкомысленный образ жизни, завоевала популярность в народе своим участием во взятии Бастилии 14 июля 1789 года, в походе в Версаль ко дворцу Людовика XVI 6 октября 1789 года, а также зажигающими речами в 1792—1793 годах.

...княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках среди крамольной толпы солдат.— Об участии Е. Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 года, приведшем на трон Екатерину II, говорилось в ее записках, изданных на английском языке в Лондоне в 1840 году. Герцен рассказал об эпизоде также в статье «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова».

Стр. 348. *...отрывки из Бурдаховой физиологии.*— Имеется в виду сочинение К. Бурдаха «Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft», Leipzig, 1826—1840 («Физиология как опытная наука»).

Стр. 349. *Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев...*— Н. П. Огарев посетил Герцена в Новгороде дважды: в середине января и в начале июня 1842 года.

...мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы! — По преданию, рабом Ксанфа являлся некоторое время древнегреческий баснописец Эзоп.

...я начал тогда ряд моих статей о «дилетантизме в науке»...— Над статьями, составляющими цикл «Дилетантизм в науке», Герцен работал в 1842—1843 годах.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда.— В. Г. Белинский уехал в Петербург из Москвы в конце октября 1839 года; Герцен с семьей переехал туда в мае 1840 года.

Наша встреча...— Герцен встретился с В. Г. Белинским в Петербурге в период своего кратковременного пребывания в столице в декабре 1839 года, когда «переходная болезнь» Белинского была еще в разгаре и примирение с ним было невозможно. Описываемая далее Герценом его встреча с Белинским, положившая конец их временному отчуждению, произошла несколькими месяцами позже — после переезда Герцена в Петербург в мае 1840 года.

...у одного знакомого — А. А. Краевского.

Стр. 350. *...после мрачной статьи Чаадаева...*— Имеется в виду напечатанное в журнале «Телескоп» (1836, т. XXXIV, № 15) первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.

Ему достаточен стих: «Родные люди вот какие» в «Онегине»...— Герцен имеет в виду статью В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (статья восьмая), в которой цитирована XX строфа четвертой главы «Евгения Онегина».

Стр. 351. *...в другой книге.*— Герцен имеет в виду свою работу «О развитии революционных идей в России».

К.— Кого именно имеет в виду здесь Герцен, не установлено; возможно, Н. Х. Кетчера.

А. К.— по всей вероятности, А. А. Краевский.

Стр. 353. *...с двухлетним ребенком.*— Речь идет о сыне Герцена — Саше, родившемся в 1839 году.

...к одному литератору — И. И. Панаеву.

...магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина — Я. М. Неверов, вернувшийся в Россию из Берлина в конце 1840 года.

Стр. 355. *Весть о февральской революции еще застала его в живых...*— Имеется в виду революция 1848 года во Франции, начавшаяся 22 февраля. В. Г. Белинский умер 26 мая 1848 года.

...приездом Огарева.— Н. П. Огарев, покинув навсегда Россию, приехал в Лондон к Герцену 9 апреля 1856 года.

...двумя книгами: анненковской биографией Станкевича и первыми частями сочинений Белинского.— С книгой «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым», вышедшей в Москве в 1857 году, Герцен ознакомился несколько позже, видимо, в 1861 году.

В письме к И. С. Тургеневу от 1 марта 1861 года он замечает: «Не постигаю, каким образом я в свое время не прочитал Анненкова книгу «О Станкевиче». Это чрезвычайно важная публикация. Так и пахнет чистым, родным воздухом — от этой кучки людей благородных идеалистов». Под «сочинениями Белинского» Герцен имеет в виду издание: «Сочинения В. Белинского», чч. 1—12, изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, М. 1859—1862. Первые четыре части «Сочинений» вышли в свет в 1859 году.

Стр. 357. *Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну...*— Имеется в виду освободительное движение в Северной Америке, закончившееся войной 1775—1783 годов.

...и в греческой «Ифигении», и в восточном «Диване».— Имеется в виду трагедия Гете «Ифигения в Тавриде» и цикл его стихотворений «Западно-восточный диван».

Стр. 359. *В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.*— Приговор генерал-аудиториата (военного суда) над «сунгуровцами» состоялся в 1832 году, конфирмация приговора царем — в феврале 1833 года. Н. П. Сунгуров и его брат Ф. П. Гуров были присуждены к ссылке в Сибирь на каторжные работы, другие члены кружка — рядовыми в армию, к заключению в крепость и т. д. О судьбе Сунгурова Герцен рассказал в гл. VI «Былого и дум».

Стр. 364. *В. Гюго, прочитав «Былое и думы» в переводе Делаво, писал мне письмо в защиту французских юношей времен Реставрации.*— В начале 1860 года в Париже вышла в переводе А. Делаво первая часть «Былого и дум» под заголовком: «Le Monde russe et la Révolution. Mémoires de A. Hertzen, 1812—1835», Paris, 1860 («Русский мир и революция. Мемуары А. Герцена»). Эта книга была послана Герценом Гюго, который в ответном письме от 15 июля 1860 года, благодаря за присылку, писал между прочим Герцену: «Я только сожалею, что в этой прекрасной и хорошей книге есть одна страница (218): более, чем кто-либо другой, вы достойны были дать правильную оценку поколению 1830 г. ... За исключением этой страницы, повторяю, я аплодирую вашей книге с начала до конца» (см.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч., изд. Лемке, т. XIV, стр. 796). Место, вызвавшее возражение Гюго,— из седьмой главы первой части «Былого и дум».

Стр. 365. *...в конце лета 1840 года.*— Герцен вместе с семьей выехал из Москвы в Петербург 10 мая 1840 года.

...я был в Петербурге две-три недели в декабре 1839.— Герцен был в Петербурге с 14 по 24 декабря 1839 года.

...есть муха или две.— Подразумевается шпион (*франц.* mouche).

Стр. 366. *...прерванного двадцать первого января 1725 года.*— Герцен подразумевает дату смерти Петра I, допуская при этом неточность: Петр I умер не 21, а 28 января 1725 года (о случайности этой ошибки свидетельствует,

например, юношеская статья Герцена, озаглавленная как раз по действительной дате смерти Петра: «Двадцать осьмое января»).

...нашел у себя одного родственника...— Речь идет о С. Л. Львове-Левицком (Левицком), двоюродном брате Герцена.

Стр. 369. *...гернгутер... с острова Даго.*— Член религиозной секты гернгутеров, или богемских братьев, фон Поль был уроженцем Эстляндии, в состав которой входил остров Даго (Hiiumaa).

Стр. 371. *...слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?* — Об этом событии Герцен сообщал отцу в ноябре 1840 года в не дошедшем до нас письме, попавшем в руки жандармов.

Стр. 372. *...через несколько дней имела преждевременные роды.*— Герцен был вызван в III Отделение 7 декабря 1840 года; ребенок (сын Иван) родился спустя два месяца, в феврале 1841 года.

Стр. 377. *...от князь Александра Ивановича...*— А. И. Чернышев был в то время военным министром.

...лукавая морда Рейнеке-Фукса...— Рейнеке Лис (Reincke Fuchs) — изворотливый и коварный хищник, главный персонаж старофранцузского эпоса, известная литературная обработка которого принадлежит Гете.

Стр. 378. *...на том пароходе... он искал в измене своей религии заступничество католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями...*— Бенкендорф умер внезапно в сентябре 1844 года, возвращаясь из-за границы в Петербург на пароходе «Геркулес». Незадолго до смерти он принял католичество.

...вы снова отправитесь под надзор полиции... — В период новгородской ссылки полицейский надзор за Герценом установлен не был.

Стр. 385. *...хотелось бы, чтоб их письма и «Записки» были известны у нас.*— Герцен осуществил свое намерение познакомить русского читателя с «Записками» Дашковой и сестер Вильмот и вскоре напечатал в «Полярной звезде» на 1857 год (кн. III) свою статью «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», содержавшую пространное изложение ее «Записок» и их оценку. Воспоминания М. Вильмот-Брэдфорд и письма ее старшей сестры К. Вильмот были напечатаны в виде дополнения к «Запискам» Дашковой. Ранее отрывки из «Записок» Дашковой на русском языке были опубликованы в «Москвитянине» (1842, №№ 1, 2, перевод Калайдовича) и в «Современнике» (1845, № 1, перевод Грота).

Стр. 387. *...князю Петру Михайловичу* — П. М. Волконскому, министру императорского двора и уделов при Николае I.

Стр. 388. *...дело Сперанского...*— М. М. Сперанский в 1812 году по распоряжению Александра I был внезапно отстранен от государственной службы, арестован и 17 марта 1812 года выслан в Нижний Новгород.

Стр. 389. *...в начале июня я получил сенатский указ...*— Советником новгородского губернского правления Герцен назначался указом сената от 24 мая 1841 года.

Стр. 391. *...часть именья и тот капитал, который отец мой отделил мне.*— И. А. Яковлев в 1841 году отделил Герцену деревню Лепехино в Чухломском уезде Костромской губернии, а также капитал в сумме 200 000 рублей.

...какой-то немец, раз десять ругавший меня в «Morning Advertiser»...— В газете «The Morning Advertiser» 29 ноября 1855 года была помещена заметка за подписью «One who had been deceived» («Один из обманутых»), автор которой клеветал на Герцена, придравшись к заголовку английского издания его «Тюрьмы и ссылки», вышедшей в октябре 1855 года под названием, произвольно данным издателями: «My Exile in Siberia» («Моя ссылка в Сибирь»). На следующий день в «The Morning Advertiser» было опубликовано разъяснение Герцена, который еще ранее, 25 октября 1855 года, поместил в газете «The Globe» свой протест против произвола издателей. 6 декабря того же года в «The Morning Advertiser» была напечатана вторая клеветническая заметка того же автора; в том же номере газеты другой анонимный корреспондент с возмущением писал о нападках на Герцена. На этом редакция закончила полемику о книге Герцена.

Стр. 392. *Помня знаменитое изречение Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердием...*— Талейрану приписываются слова, с которыми он обратился к дипломатам, служившим в министерстве иностранных дел, считая, что чем меньше проявят они рвения к работе, тем меньше принесут вреда: «Surtout, messieurs, pas de zèle!» («Главное, господа, не усердствуйте!»)

Стр. 393. *...рыцарственный Павел.*— Павел I в 1798 году принял титул великого магистра мальтийского рыцарского ордена.

Стр. 394. *...одного морского офицера* — Ф. Ф. Струговщикова, который был артиллерийским поручиком в отставке.

Стр. 396. «*Пеночкины*» — по фамилии помещика-крепостника из рассказа И. С. Тургенева «Бурмистр».

Стр. 397. *Я в другом месте рассказал о человеке, засеченном князем Трубецким, и о камергере Базилевском, высеченном своими людьми.*— Обе истории рассказаны Герценом в статье «Russian Serfdom» («Русское крепостничество»), глава третья; рассказ о камергере Базилевском в сокращенном изложении Герцен привел позднее в очерке «Крещеная собственность» (1853).

...в Старой Руссе солдаты военных поселений избили всех русских немцев и немецких русских.— Речь идет о восстании военных поселенцев Новгородской губернии, начавшемся в июле 1831 года в Старой Руссе и охватившем двенадцать полков и затем жестоко подавленном; в ходе восстания были убиты многие офицеры и чиновники, особенно ненавистные народу.

...Аракчеев положил, кажется, 100 000 рублей...— В 1833 году Аракчеев внес в государственный банк пятьдесят тысяч рублей для выдачи их с процентами в столетнюю годовщину смерти Александра I в качестве награды будуще-

му автору лучшей книги о нем; часть суммы должна была быть использована на ее издание.

...фухтельное бесчеловечье — наказание фухтелями, то есть ударом сабли плашмя.

Холоп венчанного солдата... — из эпиграммы Пушкина «На Стурдзу», распространявшейся в списках в качестве сатиры на Аракчеева, в адрес которого направляет ее здесь и Герцен. Публикуя главу в «Полярной звезде» на 1855 год, Герцен впервые воспроизводил печатно строку пушкинской эпиграммы.

Стр. 398. *...об этом говорит граф Толь в своих «Записках»...*— Имеется в виду жизнеописание К. Ф. Толя, составленное Т. Бернгарди: «Denkwürdigkeiten aus dem Leben des kaiserlich russischen Generals der Infanterie Karl Friedrich Grafen von Toll», tt. 1—4, Leipzig, 1856—1858.

...статс-секретарь Марченко в небольшом рассказе о 14 декабре, помещенном в «Полярной звезде».— Рассказ В. Р. Марченко был помещен не в «Полярной звезде», а в первой книжке «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лондоне» (Лондон, 1859) под заглавием: «Записки статс-секретаря, тайного советника Марченко о событиях, совершившихся при восшествии на престол императора Николая I».

...убили любовницу графа.— Настасья Шумская (А. Ф. Минкина) была убита 10 сентября 1825 года.

Стр. 399. *Исправник был арестован и подал в отставку; душевно жалею, что не знаю его фамилии...*— Новгородским земским исправником был в то время штабс-капитан Василий Лялин. Предостереженный заседателем новгородской уголовной палаты А. Ф. Мусиным-Пушкиным, он не решился подвергнуть наказанию тридцатилетнюю беременную крестьянку Дарью Константинову, дворовую Аракчеева, приговоренную по делу об убийстве А. Минкиной к кнуту. Вследствие столь необычного заступничества, заподозренные чуть ли не в соучастии к делу, оба чиновника были отстранены от службы и заключены под стражу; позже, по решению сената, признаны невиновными (см.: «Русская старина», 1871, т. IV, сентябрь, стр. 277—278).

Женщину пытали, она ничего не знала о деле... однако ж умерла.— Дарья Константинова была хорошо осведомлена о подготовлявшемся убийстве и подверглась наказанию вместе с пятью другими, «главными и первыми», осужденными. Приговоренная к девяноста пяти ударам кнута, она вынесла истязание и подлежала ссылке на каторгу. Трое из «главных виновных» были забиты насмерть.

...добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту.— Повар Аракчеева Василий Антонов, убивший по сговору с другими дворовыми Минкину за ее жестокость, был приговорен новгородской уголовной палатой к ста семидесяти пяти ударам кнута и к ссылке на вечную каторгу, однако не вынес наказания и умер под кнутом.

Стр. 400. *В тот же день написал я рапорт о моей болезни...*— 2 апреля 1842 года Герцен записал в дневнике: «Завтра подаю в отставку». 8 апреля 1842 года Герцен уведомил управляющего III Отделением Л. В. Дубельта, что выходит в отставку вследствие болезни жены.

...императрица, пользуясь семейным праздником...— 1 июля 1842 года праздновался день рождения императрицы Александры Федоровны и двадцатипятилетие ее венчания с Николаем I.

...моя жена получила от Бенкендорфа письмо...— 3 июля 1842 года Николай I дал разрешение Герцену жить в Москве, о чем просила Н. А. Герцен в своем письме к императрице. На следующий день А. Х. Бенкендорф известил об этом Н. А. Герцен, и 9 июля 1842 года письмо с этой вестью было получено Герценом в Новгороде (см. запись Герцена в дневнике 9 июля 1842 г.).

Стр. 402. *Это были несколько строк, написанных мною за час или два до рождения Саши.*— Герцен имеет в виду свою дневниковую запись от 13 июня 1839 года, в которой были следующие строки: «Тебя, существо неродившееся, тебя, в котором слились два бытия, Александр и Наталия, благословляю тебя, благословляю! Иди в жизнь, иди на службу человечеству, я тебя обрек на трудный путь, иди, благословляю тебя.— Может, погибнешь, но принесешь чистую душу.— Всею силою отца, всею силою воспитателя, всею силою магнетизма поведу я тебя по пути, не мною избранному для тебя, а богом для человечества».

...о тебе, дитя мое, еще не родившееся...— Н. А. Герцен ожидала в это время ребенка, родившегося в феврале 1841 года, названного Иваном и умершего через несколько дней.

Стр. 403. *Книга эта уцелела.*— Далее Герцен приводит в сокращении записи Н. А. Герцен на его дневнике за 1842—1845 годы и свои дневниковые записи 1842—1843 годов (см. Герцен, II, 204—206, 226—227, 270—271, 276, 283, 285, 461—462).

Стр. 405—407. *Когда мы приезжали... просила прощения.*— Этот отрывок не был введен Герценом в печатный текст «Былого и дум» и сохранился в рукописи, озаглавленной «Отрывки из напечатанных глав, пропущенные в I и II томе». Фраза «Люди обходят вопросы...» не завершена и на слове «которых...» обрывается. В наст. изд. этот отрывок полностью введен в основной текст.

Стр. 409. *Мы уехали в подмосковную моего отца.*— В июне 1843 года Герцен приехал в усадьбу Покровское-Засекино и прожил там до 26 августа.

...все друзья явились к 26 августа — день именин жены Герцена; с участием друзей этот день торжественно праздновался в Покровском в 1844 году.

...его матери — Дарьи, дворовой крестьянки И. А. Яковлева, кормилицы Герцена.

Стр. 410. *...трехлетний мальчик* — старший сын Герцена, Саша, которому летом 1843 года исполнилось четыре года.

Стр. 417. *Non, dit l'Esprit Saint, je ne descends pas!* — Из стихотворения Беранже «La messe du Saint-Esprit...» («Месса св. духа...»).

...не может быть подозреваем, как и Цезарева жена! — Юлию Цезарю приписываются слова, ставшие впоследствии крылатыми: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений!»

Стр. 418. *Моя статья «По поводу одной драмы» была заключительным словом прожитой болезни.*— Эта статья Герцена, имевшая тесное отношение к его личным переживаниям того времени, была написана в октябре 1842 года и опубликована в августовской книжке «Отечественных записок» за 1843 год.

Стр. 419. *...были сильнее тою composite артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.*— Об отличительных чертах коллективного труда Прудон писал в гл. III работы «Qu'est ce que la propriété?» («Что такое собственность?»), вышедшей в Париже в 1840 году.

Стр. 420. *Ты прав, мой друг, ты прав.*— Герцен перефразирует слова Катона: «Ты прав, Платон, ты прав» — из трагедии Аддисона «Катон» (действ. V, явл. 1). Не желая подчиниться диктаторству Цезаря, предпочтя умереть, Катон произносит эти слова, держа в руках книгу Платона «Федон», где утверждается мысль о бессмертии души.

...с берегов Гвадалквивира привез религию не только пожек, но самодержавных, высочайших икр — soberana pantorrilla! — Герцен иронизирует над В. П. Боткиным, который в своих «Письмах об Испании» («Современник», 1847, № 3) среди восторженных описаний танцев, одежды и красоты испанских женщин приводил текст и свой перевод народной песни о маноле (мадридской гризетке), откуда Герцен цитирует одну строку.

...«юридыческих» комментарий...— Подчеркивая здесь и ниже фонетические особенности украинской речи, Герцен намекает на украинское происхождение П. Г. Редкина.

...восстание в Барцелоне.— Имеется в виду восстание в Барселоне против диктаторства генерала Эспартеро в период третьей буржуазной революции в Испании; восстание началось 13 ноября 1842 года и через несколько недель было жестоко подавлено войсками Эспартеро.

...куратор Строгонов.— С. Г. Строганов был попечителем Московского учебного округа.

Стр. 421. *...встают наши Лазари.*— По евангельской легенде, Лазарь, брат Марии и Марфы, после смерти был воскрешен Христом.

Стр. 422. *На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигиальная, икарийская лавра.*— Герцен иронизирует над экспериментом Э. Кабе, пытавшегося создать в 40-х годах

XIX века в Америке (штат Техас) колонию французских рабочих, основанную на принципах «неклассового» коммунизма, изложенных ранее Кабе в его социально-утопическом романе-трактате «Путешествие в Икарию». Опыт Кабе окончился полной неудачей. Ставропигиальными назывались немногие крупнейшие монастыри, подчинявшиеся непосредственно патриарху или синоду, минуя епархиальное начальство.

Стр. 424. *...слушать «Линду ди Шамуни».*— Опера Доницетти «Линда ди Шамуни» шла в Москве в январе—феврале 1845 года во время гастролей итальянской оперной труппы.

Стр. 426. *Он духом чист и благороден был...* — Из стихотворения П. П. Огарева «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...»).

Стр. 427. *...цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова.*— Герцен опирается здесь на сведения, полученные им в середине 50-х годов, по его словам, «из совершенно достоверного письма из Москвы»; в нем сообщалось, что, после учреждения в 1848 году «тайной комиссии для надзора над литературой и журналами», И. П. Липранди будто бы предлагал не перепечатывать полностью ни Библию, ни Евангелие, а И. И. Давыдов настаивал на исключении двенадцати басен Крылова (см. статью Герцена «Лобное место», 1857).

Стр. 428. *После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем...*— Окончив университетский курс в Петербурге, Т. Н. Грановский поехал за границу по направлению Московского университета. Дружба Грановского с Н. В. Станкевичем завязалась до их отъезда в Германию, в Москве, весной 1836 года.

Стр. 430. *...между Грановским и Огаревым... протеснилась... недобрая полоска...*— Дружеские отношения между Н. П. Огаревым и Т. Н. Грановским нарушились в конце 40-х годов. В частности, Грановский отрицательно отнесся к сближению Огарева с Н. А. Тучковой, не одобрял произведенную Огаревым, с целью спасти пензенское имение от иска своей первой жены, передачу-продажу имения Н. М. Сатину и Н. Ф. Павлову, упрекал Огарева в «душевной праздности» и т. д.

«На дружбу мою к вам... я так полно и горячо люблю тебя».— Цитата из письма Т. Н. Грановского приведена Герценом неточно (см. «Литературное наследство», т. 62, стр. 96).

Стр. 431. *Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего «Крупова»?* — Речь идет о недатированном письме Т. Н. Грановского к Герцену, написанном, судя по содержанию, тотчас по получении сентябрьской книжки журнала «Современник» за 1847 год, где была напечатана повесть «Доктор Крупов» (см. «Литературное наследство», т. 62, стр. 92). Это письмо Герцен включил в раздел «Старые письма» (см. т. 2 наст. изд.).

В конце 1843 года я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке».— В конце 1843 года в декабрьской книжке «Отечественных записок» была напечатана последняя, четвертая, статья работы Герцена «Дилетантизм в науке». Первые три статьи того же цикла были напечатаны ранее — в январской, мартовской и майской книжках журнала за 1843 год.

Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.— Лекциям Т. Н. Грановского, читавшимся в Московском университете с ноября 1843 года по апрель 1844 года, Герцен посвятил ряд статей, тогда же опубликованных в московской печати: «Публичные чтения г. Грановского», «О публичных чтениях г-на Грановского». Еще одна статья задуманного Герценом цикла — «Публичные чтения г. Грановского (письмо второе)» — была запрещена цензурой в декабре 1843 года. Отзывы Герцена о курсе Грановского содержатся также в письме к Н. Х. Кетчеру от 2 декабря 1843 года и дневниковых записях от 24 и 28 ноября 1843 года.

Стр. 432. *...герой Чичероваккио в Колизее... отдавал восставшему и вооружившемуся народу римскому отрока-сына...*— Герцен имеет в виду здесь один из эпизодов национально-освободительного движения в Италии — грандиозный митинг в Риме 23 марта 1848 года в связи с формированием армии добровольцев, направлявшихся в Ломбардию на помощь восставшему Милану для борьбы против австрийских войск. Среди волонтеров был пятнадцатилетний сын Чичероваккио, павший под пулями австрийцев. Этот эпизод рассказан Герценом в «Письмах из Франции и Италии» (письмо восьмое). После поражения революции в августе 1849 года Чичероваккио был расстрелян. Под «венчанным мальчишкой» Герцен подразумевает австрийского императора Франца-Иосифа, который вступил на престол 2 декабря 1848 года в восемнадцатилетнем возрасте.

Стр. 433. *Удастся ли мне когда-нибудь... посетить его могилу...*— Т. Н. Грановский похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Мертвому другу.— Герцен цитирует стихотворение Н. П. Огарева, не появлявшееся еще в печати ко времени публикации данной главы. Стихотворение приведено без эпиграфа, который был использован Герценом в качестве эпиграфа ко всему разделу данной главы — «На могиле друга».

Стр. 435. *...Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851)...*— Это письмо П. Я. Чаадаева, из которого далее приведена неточная цитата, полностью включено Герценом (с другой датой) в раздел «Старые письма» (см. т. 2 наст. изд.). Там же приведены цитируемые ниже письма Т. Н. Грановского.

Стр. 436. *Эллинист Печерин побился... и жжет протестантские библии в Ирландии.*— Об этой истории Герцен рассказывает в главе «Pater V. Pet-

cherine». Обвинение В. С. Печерина в сожжении протестантской библии не подтвердилось на суде.

Редкин постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами.— О службе П. Г. Редкина Герцен располагал неточными сведениями: Редкин, оставив профессуру Московского университета, с 1849 года начал службу в министерстве уделов при товарище министра уделов Л. А. Перовском, который в то время являлся также министром внутренних дел. Под «боговдохновенными статьями с текстами» Герцен, очевидно, подразумевает цикл статей Редкина «Что такое воспитание?» («Журнал для воспитания», 1857, №№ 1—3), обильно уснащенных цитатами из Библии и представлявших собою проповедь христианской морали и реакционных идей.

Крылов — но довольно.— Уничтожающую характеристику Н. И. Крылова, изменившего своим былым либеральным взглядам, Герцен дал в статье «Лобное место» (1857), в которой, по его выражению, «выпотрошил, сгноил и изничтожил» «славяномерда» Крылова (см. письма Герцена к М. Мейзенбуг от 28 августа 1857 г., к И. С. Тургеневу от 29 августа 1857 г., и др.).

Стр. 437. *...nos amis les ennemis.*— Из стихотворения Беранже «L'opinion de ces demoiselles» («Мнение этих девиц»).

Стр. 438. *...как Меттерних отрицал Италию.*— Намек на ставшее крылатым выражение Меттерниха «Италия — географическое понятие» в его меморандуме от 2 августа 1841 года.

...в печальную эпоху Венского конгресса.— Венский конгресс 1814—1815 годов знаменовал наступление политической реакции в Европе, реставрацию монархических династий и восстановление феодальных порядков.

Стр. 439. *Pour un cœur bien né, que la patrie est chère!* — неточная цитата из трагедии Вольтера «Танкред» (акт III, сц. 1).

...настоящего народного слога, его знал... Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.— Герцен иронизирует над псевдонародным языком патриотических прокламаций, выпускавшихся в 1812 году московским главнокомандующим и военным губернатором Ф. В. Ростопчиным и известных под названием «ростопчинских афишек».

Стр. 440. *...патриотизм... хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды...*— Намек на стихотворение Пушкина «Клеветникам России».

God save the King — государственный гимн Великобритании.

С польской войны велели... петь народный гимн, составленный корпуса жандармов полковником Львовым.— Композитор А. Ф. Львов, автор официального гимна царской России «Боже, царя храни», являлся одно время адъютантом шефа корпуса жандармов А. Х. Бенкендорфа. Исполнение гимна было введено с 1833 года.

В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью...— Приезду Николая I в Москву в марте 1849 года была посвящена статья М. П. Погодина «О прибытии царской фамилии в Москву», напечатанная в сокращенном виде в «Москвитянине», 1849, ч. II, № 7, апрель, кн. I.

Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве...— Герцен имеет в виду драму С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова», которая в первый раз была представлена в Москве на сцене Большого театра 18 января 1846 года.

...преследованием униат...— После восстания в Польше 1830—1831 годов, в котором активное участие приняло католическое духовенство, царское правительство предприняло целый ряд притеснительных мер, завершившихся в 1839 году официальным актом упразднения института униатской греко-римской церкви и восстановлением православия.

Рукой всевышнего отечество спасла.— Подразумевается казенно-патриотическая пьеса Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

Стр. 441. *...в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича.*— Л. Гай приезжал в Москву из Петербурга в августе 1840 года, чтобы изыскать средства для устройства в Загребе типографско-издательского центра хорватского (кроатского) национального движения. В событиях 1848—1849 годов Гай поддерживал И. Елачича, избранного баном (наместником) Хорватии по его предложению и проводившего политику, направленную на удушение революционной Венгрии.

...огромная подписка была сделана в несколько дней...— По подписке, организованной в Москве славянофилами в связи с обращением Гая, было собрано двадцать тысяч рублей. В подписке участвовали М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.

...один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов...— Подразумевается С. П. Шевырев.

Стр. 442. *...lasciate ogni speranza.*— Цитата из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь третья). Герцен приводит часть надписи, начертанной на вратах ада.

Летом 1836 года... почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа».— Имеется в виду пятнадцатая книжка «Телескопа», вышедшая в свет в первых числах октября 1836 года, в которой было напечатано «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Издание было прекращено на шестнадцатой книжке.

Стр. 443. *...Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.*— Связывая запрещение «Телескопа» с доносом Вигеля, направившего в связи с напечатанием в журнале «Философического письма» Чаадаева специальное послание петербургскому митрополиту Серафиму, Герцен основывался на ошибочных слухах, имевших тогда широкое распро-

странение. В действительности решение о закрытии «Телескопа» состоялось независимо от этого доноса и ранее его (см.: М. Л е м к е, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., СПб. 1909, стр. 411—412). Эпиграмма Пушкина — «Из письма к Вигелю» («Проклятый город Кишинев!..»).

Это было в самый день взятия Огарева.— Н. П. Огарев был арестован в ночь на 10 июля 1834 года.

Стр. 444. *...чело, как череп голый...*— Из стихотворения Пушкина «Полководец».

...с железным кульмским крестом на груди.— За сражение под Кульмом в 1813 году П. Я. Чаадаев получил орден св. Анны 4-го класса; Железным крестом был награжден брат Чаадаева.

...в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...— Герцен приводит цитату из стихотворения Пушкина «К портрету Чаадаева», полностью еще не появлявшегося к тому времени в печати.

Стр. 445. *Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела.*— Подразумевается возмущение Семеновского гвардейского полка в 1820 году; И. В. Васильчиков был в то время командиром гвардейского корпуса, в состав которого входил Семеновский полк.

Стр. 445—446. *Государь находился тогда, помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе.*— Александр I в 1820 году находился в Троппау, где состоялся второй конгресс Священного союза.

Стр. 446. *Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему... отставка была дана.*— Герцен излагает здесь одну из распространенных в то время версий, позднее опровергнутую, о причинах внезапной отставки Чаадаева (см.: М. Г е р ш е н з о н, П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление, СПб. 1908, стр. 18—25).

Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.— Отрывки из «Записок» И. Д. Якушкина были напечатаны в «Полярной звезде» на 1862 год (кн. VII, вып. I). Затем «Записки» Якушкина (первые две части) Герцен выпустил отдельным изданием в серии «Записок декабристов» (вып. I, Лондон, 1862).

...около 1830 года он возвратился.— П. Я. Чаадаев вернулся в Россию из-за границы еще летом 1826 года, но лишь с 1831 года стал появляться в обществе, оставив затворнический образ жизни.

...одна из самых энергических партий движения ставит мистическую формулу на своем знамени...— Имеется в виду тайная революционная организация «Партия движения» с ее девизом «Dio e Popolo» («Бог и народ»), основанная Д. Маццини в Италии.

Стр. 448. *Товарищ, верь: взойдет она...* — Из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» (1818).

Чаадаев, помнишь ли былое? — Из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?..») (1824). Герцен ошибочно приурочил дату

написания стихотворения к годам царствования Николая I. В «Ответе» автору анонимного письма, указавшему на это, Герцен признал свою ошибку (см. «Полярная звезда» на 1856 год, стр. 251, 257), однако, готовя отдельное издание «Былого и дум», он оставил текст без изменения.

Стр. 450. *...в «Уложении»* — «Соборное уложение царя Алексея Михайловича» — кодекс действовавшего права, утвержденного земским собором в 1649 году.

Стр. 452. *Нельзя же двум великим историческим личностям... не сокрушить третью личность...*— Подразумевается коалиция Англии и Франции в Крымской войне 1853—1856 годов против России.

Стр. 453. *Появление замечательной книги...*— Из вариантов первопечатного текста главы видно, что Герцен здесь имел в виду прежде всего появление «Мертвых душ» Гоголя. Книга вышла в свет в Москве в мае 1842 года и вызвала в печати и литературных кругах оживленные толки и полемику. О своих впечатлениях по поводу выхода «Мертвых душ» Герцен пишет в дневнике 11 июня и 29 июля 1842 года.

Стр. 456. *...добродушные беришоны...*— жители французской провинции Берри (Berry), где жила Ж. Санд.

Стр. 458. *...принялся он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение «Европеец».*— Журнал «Европеец» издавался И. В. Киреевским в 1832 году.

Он поместил в «Деннице» статью о Новикове...— Характеристика деятельности Н. И. Новикова содержится в статье И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года», напечатанной в альманахе «Денница» на 1830 год.

Стр. 458—459. *...«Денница» была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест.*— Альманах «Денница» конфискован не был, а цензор С. Н. Глинка смещен с должности по иной причине. Герцен, очевидно, смешивает этот случай с другим, когда за пропуск в «Европейце» (1832, № 1) статей И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» и «Горе от ума» — на Московском театре» издание журнала было прекращено, а цензор С. Т. Аксаков действительно был подвергнут служебному взысканию и вскоре отставлен от должности по указанию Николая I за пропуск в печать книжки Елистрата Фитюлькина (И. В. Проташинского) «Двенадцать спящих будочников».

Стр. 459. *Погоди немного...* — не совсем точная цитата из стихотворения Лермонтова «Из Гете» («Горные вершины»).

Стр. 463. *Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»?* — В «Москвитянине» Т. Н. Грановский поместил рецензию: «Geschichte des preussischen Staats, von G. Stenzel...», посвященную работам по истории прусского государства («Москвитянин, 1843, ч. II, № 4, стр. 441—463). Письмо Белинского от 5 мая 1844 года, цитируемое Герценом, не сохранилось.

Погодин... явившись... с не новым Геренom...— Подразумевается изданная М. П. Погодиным книга «Лекции профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира», чч. 1—2, М. 1835—1836 (фактически — 1837 г.).

...он писал... даже Гец фон Берлихингена по-русски.— Перу М. П. Погодина принадлежал русский перевод трагедии Гете «Гец фон Берлихинген».

Стр. 464. *...я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Вёдрина».*— «Путевые записки г. Вёдрина», представляющие пародию на дорожный дневник М. П. Погодина «Год в чужих краях», были напечатаны в «Отечественных записках», 1843, № 11.

...близнецы «Москвитянина» стали зацеплять... Грановского за его лекции.— Имеется в виду статья С. П. Шевырева «Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского. Письмо в губернию», напечатанная в «Москвитянине», 1843, ч. VI, № 12.

Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей...— С отповедью против обвинений С. П. Шевырева и М. П. Погодина Грановский выступил с университетской кафедры 20 декабря 1843 года. Герцен присутствовал в этот день на лекции Грановского, что отмечено в дневниковой записи 21 декабря 1843 года.

Стр. 464—465. *Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции.*— Обед состоялся в день окончания курса Т. Н. Грановского 22 апреля 1844 года у С. Т. Аксакова, который на правах хозяина дома был третьим, помимо Герцена и Ю. Ф. Самарина, распорядителем вечера. Описание обеда см. также в дневниковой записи Герцена 24 апреля и в его письме к Кетчеру от 27 апреля 1844 года.

Стр. 465. *Попытка нашего Кучук-Кайнарджи...*— В селении Кучук-Кайнарджи в 1774 году после шестилетней войны был заключен мир между Россией и Турцией.

Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас...— Подразумевается Н. М. Языков, выступивший с «антизападническими» стихотворными посланиями в 1844 году, за два года до смерти, будучи уже тяжелобольным. Н. М. Языков приходился шурином славянофилу А. С. Хомякову, женатому на сестре поэта — Е. М. Языковой.

В пьесе под заглавием «Не наши»...— Под этим названием Герцен объединяет три различных, но очень близких по содержанию стихотворения Н. М. Языкова — «Константину Аксакову», «К не нашим», «К Чаадаеву». Герцен ошибочно принял на свой счет строки о «слуге, посящем блестящую ливрею западной науки». Сам Языков в письме к родным от 28 марта 1845 года отмечает, что под «блистательным лакеем» в стихотворении «Константину Аксакову» он имел в виду Т. Н. Грановского. Герцен в статье «Москвитянин» и вселенная» (1845) заклеймил полемические стихотворения Языкова как пря-

мой донос и с презрением отозвался об исправительно-полицейском направлении его поэзии.

К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами...— Стихотворение К. С. Аксакова «Союзникам» направлено против нападок на западников со стороны крайних реакционеров и беспринципной «мелкоты», пресмыкавшихся перед самодержавием. В то же время Аксаков выражает в стихотворении полную солидарность с Н. М. Языковым.

...имя чтеца...— Имеется в виду Ф. Ф. Вигель, который являлся рьяным распространителем полемических стихотворений Н. М. Языкова и охотно декламировал их в гостиных и салонах Москвы.

...ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.— Поводом к ссоре, которая чуть не привела к дуэли между Т. Н. Грановским и П. В. Киреевским, послужили упомянутые выше стихотворения Н. М. Языкова.

Стр. 466. *...«о млеке пречистой девы»*...— А. Н. Глинка — автор многих религиозных стихотворений и книги «Жизнь пресвятыя девы богородицы. Из книги Четьи-Минеи».

...каких ни вымышляли пружин...— Из стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа».

...как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта...— Намек на увлечения Погодина (автора книги о Несторе) историческими материалами, которыми наполнялся «Москвитянин», и Шевырева — ранней итальянской поэзией (на страницах журнала в течение нескольких лет печатался также перевод «Божественной комедии» Данте и материалы к объяснению поэмы).

Стр. 467. *Он горячо принялся за дело... но при всем своем таланте не мог ничего сделать.*— Под редакцией И. В. Киреевского вышли только три первые номера «Москвитянина» за 1845 год. Ввиду возникших разногласий с М. П. Погодиным Киреевский отказался от редактирования журнала.

...их побочного сына...— Герцен подразумевает журнал «Современник».

Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в «Dévelop. des idées révolut.».— Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» была опубликована в «Современнике», 1847, № 1. Полемический ответ Ю. Ф. Самарина содержался в его статье «О мнениях «Современника», исторических и литературных», напечатанной за подписью «М. З. К.» в «Москвитянине», 1847, № 2. Свою оценку обеим статьям Герцен дал, не называя имен авторов, в работе «О развитии революционных идей в России».

«...противников, которые были ближе нам многих своих».— Здесь и далее цитаты из некролога «Константин Сергеевич Аксаков» («Колокол», л. 90 от 15 января 1861 г.).

Стр. 468. *...меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство.*— По библейскому рассказу, Исав, старший сын Исаака, мучимый голодом, согласился уступить свое первородство брату Иакову за хлеб и кушанье из чечевицы.

Mutter, Mutter, lass mich gehen...— Из стихотворения Шиллера «Альпийский стрелок».

Стр. 471. *Григорий Иванович* — Г. И. Ключарев.

Стр. 472. *Мария Каспаровна* — М. К. Эрн (в замужестве Рейхель).

Стр. 473. *...переехали из маленького дома в большой...*— Под «маленьким» домом Герцен подразумевает бывший дом Тучкова (теперь: Сивцев Вражек, д. 27), в котором он поселился вскоре после возвращения из новгородской ссылки. В «большом» доме отца (теперь: Сивцев Вражек, д. 25) Герцен жил еще в студенческие годы, а также в 1846—1847 годах, после смерти отца и до отъезда за границу.

Стр. 476. *...в портрете Людовика-Филиппа...*— Видимо, Герцен подразумевает политическую карикатуру Ш. Филиппона «Груши», помещенную в сатирическом журнале «Le Charivari» 17 января 1834 года. Художник в четырех рисунках, сохраняющих портретное сходство с Луи-Филиппом, дает последовательные видоизменения его лица, заканчивая серию изображением гнилой груши с едва намеченными чертами Луи-Филиппа.

...в «Отечественной почте».— Имеется в виду журнал «Отечественные записки».

...мой племянник Огарев.— Отцы Герцена и Огарева находились в дальнем родстве между собою. И. А. Яковлев считал Н. П. Огарева своим внучатным племянником.

Стр. 477. *...он оставлял его сестре небольшое именье...*— Отец Герцена завещал внебрачным детям своего брата сенатора Л. А. Яковлева Сергею и Софье Левицким село Архангельское-Дубасово в Пензенской губернии.

Стр. 478. «*...c'est le testament d'Alexandre le Grand*».— Александр Македонский умер, не назначив себе преемника; он завещал государство «тому, кто окажется достойнейшим», что вызвало большие споры после его смерти.

...Кампо-Формио — название селения в Италии, где был подписан мирный договор между Австрией и Францией в войну 1797 года.

Стр. 479. *...предлинную статью.*— Герцен имеет в виду статью Д. П. Голохвастова «Замечания об осаде Троицкой лавры 1608—1610 и описание оной историками XVII, XVIII и XIX столетий», напечатанную в «Москвитянине», 1842, №№ 6 и 7, а также изданную отдельной брошюрой под тем же названием.

Стр. 481. *...пустынника de la Chaussée d'Antin...*— Имеется в виду роман В. Жуи «L'Hermite de la chaussée d'Antin» («Отшельник с улицы Дантен»).

И того недоставало...— Герцен неточно цитирует строку из стихотворения-сказки Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

Стр. 482. *...вдова коменданта Орской крепости...*— Н. И. Вигель, о которой, как об одной из «приятельниц своего детства», Герцен упоминал в «Письмах к будущему другу» (письмо четвертое).

...ряд Гогартовых рисунков...— Имеется в виду серия гравюр В. Гогарта «Industry and Idleness» («Трудолюбие и лень»), состоящая из двенадцати рисунков.

Стр. 484. *...как Цинциннат, оставив плуг...*— Цинциннат во время осады Рима эквами и сабинянами в 458 году до н. э. был назначен диктатором. По преданию, послы, явившиеся к Цинциннату с назначением сената, застали его за полевыми работами, в поту и пыли.

Стр. 485. *«Наш Василий Федорович стал министром!»* — Герцен ошибочно называет имя и отчество Вронченко; следует: Федор Павлович. Рассказ Герцена об «иллюминации» в Петербурге, в связи с назначением Вронченко министром финансов в 1844 году, основан на анекдоте, приписываемом А. С. Меншикову (см. кн.: «Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII и XIX столетий», СПб. 1885, стр. 246).

Стр. 487. *...Мясков... составил какую-то генеалогическую таблицу лошадиных родов...*— Подразумевается брошюра П. Н. Мяснова «О воспитании скаковых лошадей в России и приготовлении оных к скачке, в отношении возможности общего улучшения всех видов коннозаводства в государстве», изданная в Москве в 1833 году.

...в Кормчей книге...— своде церковных законов и правил, принятых в России с XIII века и составленных на основе более ранних византийских «Номоканонов».

Стр. 488. *...генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри...*— Генерал-адъютантский эполет с вышитым на нем вензелем Николая I; «наш» — старое название буквы «Н», «палочка» — цифра I.

...будучи смиренным обладателем строгоновского майората. — С. Г. Строганов женился на дочери своего родственника П. А. Строганова, не имевшего наследников по мужской линии, и получил в качестве приданого невесты нераздельное имение почти с пятьюдесятью тысячами крестьян.

Стр. 489. *...сижу я дома за своей Лыбедью...*— Квартира Герцена во Владимире в 1839 году находилась одно время у Ивановского моста на берегу р. Лыбедь.

Стр. 489—490. *...чем Земляника своей больнице «честностию и порядком».*— См.: «Ревизор» Гоголя (действ. III, явл. 5).

Стр. 490. *...по крайней мере, так думает Азаис.*— Имеется в виду реакционная доктрина о всеобщей уравновешенности добра и зла в человеческих судьбах, обоснование которой дано в книге Азаиса «Des compensations dans les destinées humaines».

Стр. 491. *Трубецкой.*— С. П. Трубецкой находился в родстве с австрийским послом Лебцельтерном.

...нашего невского Саула.— Герцен уподобляет Николая I первому израильскому царю Саулу, правление которого, согласно библейскому преданию, было омрачено жестокостями и самовластием; Саул кончил жизнь самоубийством, потерпев поражение в войне с филистимлянами.

Стр. 493. *...судьбой несчастного сына Людовика XVI...*— Принц Луи Шарль после казни отца был отдан на воспитание якобинцу сапожнику Симону и умер в одиночном заточении.

Стр. 494. *Dahin! Dahin!* — Слова из песни Миньоны «Kennst du das Land» в романе Гете «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» (кн. 3, гл. I).

«Личные отношения много вредят... уметь подписать приговор Камилла Демулена».— Герцен не совсем точно цитирует свою запись в дневнике от 18 декабря 1844 года. Смертный приговор Демулену был вынесен революционным трибуналом с одобрения Робеспьера, прежнего друга Демулена.

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.— Оценка исторической роли Робеспьера и его личных качеств явилась предметом горячих споров, возникших в дружеском кружке Герцена за несколько лет до описанного в данной главе времени: в апреле — мае 1842 года. За вскрывшимися в ходе этой полемики разногласиями между В. Г. Белинским и Герценом, с одной стороны, и Т. Н. Грановским, с другой, скрывалось наметившееся уже тогда принципиальное расхождение в их идейно-теоретических убеждениях.

Стр. 495. *...семи греческих мудрецов...*— К числу семи мудрецов Древней Греции, которым приписывались различные изречения житейской мудрости, обыкновенно причисляют Солона, Фалеса, Биаса, Питтака, Хилона, Клеобула, Периандра.

...жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной ятвы.— Об одной из этих «душеоборонительных мер» — о поручении московского митрополита Филарета профессору духовной академии Ф. А. Голубинскому выступить с кафедры с «опровержением» гегелевской философии — Герцен упоминает в дневниковой записи от 18 января 1844 года.

Стр. 496. *...мое историческое изложение систем...*— Герцен подразумевает свои «Письма об изучении природы».

Стр. 497. *Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии.*— Герцен посещал с осени 1844 года лекции профессора И. Т. Глебова, читавшего в Московском университете курс зоологии и анатомии.

Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих...— Имеется в виду решение Николая I о переводе лицея с 1844 года из Царского Села в Петербург.

Стр. 499. *Евгений* — Е. Ф. Корш.

...в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде...— обычный костюм Наполеона в период его ссыльной жизни на мызе Лонгвуд (о. Св. Елены).

...одно из моих писем об изучении природы (помнится, об Энциклопедистах)...— О философах-энциклопедистах Герцен писал в восьмом письме — «Реализм», напечатанном в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1846 год.

Стр. 502. *Вскоре и в дамском обществе все разладилось.*— Подразумевается разлад, наступивший во второй половине 1846 года в отношениях между И. А. Герцен и женами и сестрами друзей Герцена. Особенно чувствительно было для Н. А. Герцен отдаление Е. Б. Грановской, которую, по словам Герцена, «она любила, как меньшую сестру».

Стр. 503. *...к Ольге Александровне...*— к О. А. Жеребцовой, внучка которой была замужем за А. Ф. Орловым.

...я получил через несколько дней от Орлова «высочайшее» разрешение приехать в Петербург на короткое время для устройства дел.— Письмо к А. Ф. Орлову о разрешении въезда в Петербург Герцен отправил 27 января 1845 года, 2 апреля 1845 года управляющий III Отделением Л. В. Дубельт уведомил Герцена о разрешении Николая I на приезд в Петербург.

В конце ноября я отправился в Петербург...— Поездка в Петербург состоялась в 1846 году. Герцен выехал из Москвы 1 октября.

Стр. 507. *В 1850 году я видел в кабинете Карлье мой «досье»...*— Об этом эпизоде Герцен рассказал в гл. XXXIX пятой части «Былого и дум».

Стр. 507—508. *...это была докладная записка Бенкендорфа... ехать на шесть месяцев к водам в Германию... написано... «рано»... Граф А. Бенкендорф».*— В докладной записке Бенкендорфа царю от 7 апреля 1843 года излагалась неофициальная просьба попечителя московского учебного округа С. Г. Строганова разрешить Герцену выехать за границу. К этому письму от 16 марта 1843 года была приложена также записка самого Герцена, запрашивавшего о возможности «ехать на несколько месяцев в Италию» вследствие болезни жены. На докладе рукой Николая I сделана надпись: «Переговорим», под которой имеется приписка Бенкендорфа: «Не позволяет», скрепленные подписью Дубельта 9 апреля 1843 года.

Стр. 509. ...*к Четырем Рукам*...— Название первой почтовой станции по тракту из Петербурга в Москву; в месте пересечения дорог стоял столб с указанием четырех направлений (на Москву, на Петергоф, на Царское Село и на Петербург).

Стр. 510. «...*Шесть-семь троек провожали нас... Это было 21 января 1847 года*...»— Автоцитата из главы «Западные арабески». Этот отрывок был написан ранее окончательной редакции данной главы и опубликован еще в «Полярной звезде» на 1856 год (кн. II).

...*одного только недоставало — ближайшего из близких, он один был болен*...— На проводах отсутствовал Н. П. Огарев, который находился в это время в своем пензенском имении Старое Акшено.

Стр. 511. ...*не выдержал шести месяцев*...— Н. Х. Кетчер прожил в Петербурге с октября 1843 по апрель 1845 года.

...*ловился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова*...— Кофейная Бажанова, известная также под названием «Печкинской» (по фамилии ее прежнего владельца), посещалась преимущественно литературно-артистическими кругами.

Стр. 512. ...*профессор Гейм, памятный лексиконами*...— И. А. Гейм был автором многочисленных изданий русско-немецко-французских словарей конца XVIII — начала XIX века.

Стр. 513. ...*Фишер Вальдегеймский и оператор Гильтебрант, о которых я говорил в другом месте*...— О них Герцен упоминает в первой части «Былого и дум», гл. VI.

«*Ни слова русского, ни русского лица*» — не совсем точная цитата из монолога Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. III, явл. 22).

Стр. 514. ...*каким-то лафонтеновским «Зондерлингом»*...— Имеется в виду роман А. Лафонтена «Чудак» («Der Sonderling»).

...*лекаря Шиллера*...— намек на медицинское образование, полученное Ф. Шиллером, который окончил военное училище со званием фельдшера.

Стр. 515. ...*обвенчаться с одной барышней*...— с Е. В. Сухово-Кобылиной, впоследствии писательницей Салиас де Турнемир (Евгения Тур).

Стр. 518. ...*эмилевские понятия*...— по названию романа-трактата Руссо «Эмиль, или О воспитании», в котором изложена программа так называемого «естественного воспитания».

Стр. 519. ...*затягиваясь*... «*Жуковым*».— «Жуков» — название табачной фирмы.

Стр. 521. ...«*не разлюбит его даром*»...— не совсем точная цитата из стихотворения Лермонтова «На светские цепи» («М. А. Щербатовой»).

Стр. 526. *Гейне говорил о своей «Терезе»...*— Имеется в виду Матильда Гейне, жена поэта.

М-те Айн — произношение на французский лад фамилии Гейне (Heine).

Стр. 531. *Осенью 1857 года приехал в Лондон Чичерин.*— Б. Н. Чичерин приезжал в Лондон в 1858 году.

Стр. 533. *Замечание, сделанное в «Колоколе» о доктринерах...*— Герцен имеет в виду свою статью «Нас упрекают», напечатанную в «Колоколе» (л. 27 от 1 ноября 1858 г.).

...прислал свой «обвинительный акт»...— Речь идет о письме Б. Н. Чичерина, которое Герцен напечатал в «Колоколе» со своим предисловием под заголовком «Обвинительный акт» («Колокол», л. 29 от 1 декабря 1858 г.). Об «обвинительном письме» Чичерина Герцен упоминает также в части седьмой «Былого и дум», гл. «Апогей и перигей».

...одно было напечатано.— Это анонимное письмо, видимо принадлежащее перу В. А. Панаева, было напечатано в «Колоколе» (л. 30—31 от 15 декабря 1858 г.).

...со стороны Чичерина... Н. Х. Кетчер.— В 1859 году Н. Х. Кетчер совместно с И. К. Бабстом писал Герцену о решительной поддержке Б. Н. Чичерина в его полемике с Герценом. В 1862 году Кетчер способствовал перепечатке в России враждебного Герцену «обвинительного письма» Чичерина. Об этом Герцен с возмущением сообщал И. С. Тургеневу в письме от 12 декабря 1862 года.

Грандиссона Ловласу предпочла...— неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 2, строфа XXX).

Стр. 534. *...с точки зрения вечности...*— Формула Спиноза в его «Этике».

Стр. 535. *«Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien».*—Герцен неточно цитирует один из эпиграфов ко второй главе первой части поэмы В. С. Филимонова «Дурацкий колпак».

...как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало.— Герцен имеет в виду полулегендарный рассказ о свидании царицы Египта Клеопатры и императора Августа Октавиана. Клеопатра после победы войск Октавиана при Акциуме и смерти Антония будто бы пыталась обольстить Октавиана, но была им отвергнута.

Стр. 536. *...до той степени, до которой это возможно...*— На этой фразе текст в рукописи обрывается.

Стр. 537. *Эпизод из 1844 года.*— События, описанные Герценом в этой главе, относятся к 1843 году; об «истории» В. П. Боткина и А. Рульяр Герцен неоднократно упоминает в дневнике и в письмах за 1843—1844 годы.

...Как Ж. Санда, делающийся Жаком-фаталистом.— Имеются в виду персонажи романа Ж. Санд «Жак» и романа Дидро «Жак-фаталист».

...*«Миньоне, со всей простотой «Клерхен»*...— Миньона — героиня романа Гете «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера»; Клерхен — имя возлюбленной Эгмонта в трагедии Гете «Эгмонт».

Стр. 538. ...*mit Perlen und Diamanten.*— Перифраз из «Лирического интермеццо» Гейне.

Стр. 539. ...*«демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам Омфалы*...— Согласно греческому мифу, Геракл, проданный в рабство лидийской царице Омфале и очарованный ею, забыл о геройских подвигах, отдал свою неизменную палицу и львиную шкуру и прислуживал ей, облекшись в женскую одежду.

...*отца Иоанна в с. Покровском, известного читателям нашим своей истории... у дьячка.*— Об этой истории Герцен рассказывает в гл. XXVIII.

...*университетский профессор* — Т. Н. Грановский.

Стр. 540. ...*i promessi sposi*...— Возможно, здесь содержится шутливое сравнение В. П. Боткина и Арманс Рульяр с героями романа А. Мандзони «I promessi sposi» («Обрученные») Ренцо и Лючией, которые после долгих злоключений наконец соединяются.

Стр. 542. *Он думал опять о покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его.*— Майковым принадлежало соседнее с Покровским сельцо Пономарево-Брехово, при котором находилась суконная фабрика купца первой гильдии П. П. Кувшинникова; В. П. Боткин, вероятно, опасался, что через этого купца благодаря общим коммерческим связям и знакомствам может стать известно его отцу, видному московскому купцу П. К. Боткину, о тайном венчании в Покровском.

Стр. 543. ...*Барер говорил же:* «*Только мертвые не возвращаются!*» — Эта ставшая крылатой фраза Барера содержалась в его докладе на заседании Конвента 26 мая 1794 года, в котором он, выступая от имени Комитета общественного спасения, доказывал необходимость решительной борьбы революционной Франции с ее внешними врагами, в частности — с английскими оккупационными войсками.

И. Твердохлебов

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

Стр. 545—546. *Между Террачино и Неаполем... По какому закону,— сказал мой товарищ... продиктую.*— Герцен описывает эпизод из своей поездки по Италии, которая состоялась в феврале 1848 года. Семья Герцена ехала из Рима (выехала 5 февраля) в Неаполь (прибыла 7 февраля) в сопровождении А. А. Тучкова и его дочерей — Натальи и Елены. «Товарищем» Герцен называет, видимо, А. А. Тучкова.

Стр. 546. *Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге»...*— Герцен имеет в виду кормилицу его дочери Натальи (Таты) Татьяну, которая провожала семью Герцена до пограничного местечка Таурогена.

Стр. 549. ...с *куклою чугунной...*— из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 7, строфа XIX), где описывается настольная статуэтка, изображающая Наполеона I на Вандомской колонне.

Стр. 550. *Вот что я писал в конце апреля 1848 года...*— Герцен цитирует, несколько изменяя конец, восьмое письмо «Писем из Франции и Италии», датированное 4 марта 1848 года.

Стр. 551. *...в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию.*— Герцен выехал из Парижа в Италию 21 октября 1847 года. По пути в Рим он посетил Геную. 27 ноября 1847 года прибыл в Чивита-Веккию.

Стр. 552. *...и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике.*— В 1810 году в Колумбии (Южная Америка) началось восстание против испанского владычества. В 1819 году Колумбия сделалась независимой и стала называться федеративной республикой Великая Колумбия. Национально-освободительная война продолжалась до 1824 года.

Стр. 553. *Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V.*— Описывая в четвертом письме из цикла «Опять в Париже» (часть ранней редакции «Писем из Франции и Италии») свое путешествие из Рима в Париж, Герцен также рассказывал о своем разговоре с «почтенным стариком», который там назван герцогом Роганом (Герцен, V, 375). Герцог Роган (1789—1869) действительно принимал участие, как об этом пишет Герцен, в русском походе Наполеона. Герцог де Ноайль (1802—1885)— это, очевидно, член палаты пэров, с 1849 года член Французской академии.

...они похожи на павловские медали с надписью: «*Не нам, не нам, а имени твоему*».— Речь идет не о «павловских медалях», а о медалях, учрежденных Александром I в память Отечественной войны 1812 года.

Выходя из парохода в Марсели...— Герцен приехал в Марсель в первых числах мая 1848 года.

Стр. 554. *...комиссар Временного правительства Демосфен Оливье...*— Комиссаром Временного правительства в Марселе в департаментах Устья Роны и Вар был Эмиль Оливье, сын республиканца Демосфена Оливье. Здесь у Герцена явная ошибка памяти, так как в упоминавшемся выше четвертом письме из цикла «Опять в Париже» он называл комиссара правительства в Марселе правильно, Эмилем Оливье.

Романья — северо-восточная часть бывшей Папской области.

...я прочел в газетах руанскую историю.— Герцен имеет в виду вооруженное выступление рабочих в Руане 27—28 апреля 1848 года в связи с победой контрреволюции на выборах в Учредительное собрание.

...с классической правильностью языка Портройяля и Сорбонны...— Пор-Рояль — монастырь во Франции, ставший в XVII веке крупным центром просвещения и литературы. В 1660 году в монастыре была составлена К. Лансло и А. Арно «Всеобщая рациональная грамматика», которая стремилась установить классические основы искусства речи. Сорбонна — часть Парижского университета, в который входил историко-филологический факультет.

Стр. 555. *...наступало 15 мая...*— Народные массы Парижа выступили 15 мая 1848 года с требованием, чтобы Учредительное собрание послало французские войска на помощь польскому национальному восстанию в Пруссии. Народная демонстрация потерпела полное поражение. См. об этом в «Письмах из Франции и Италии», письмо девятое (Герцен, V, 132—133).

Об этих днях я много писал.— «Письма из Франции и Италии», письмо двенадцатое и глава «После грозы» из книги «С того берега».

Te souviens-tu?..— Из песни Поля-Эмиля Дебро «Te souviens-tu».

Стр. 556. *...одного только недоставало — ближайшего из близких...*— См. прим. к стр. 510.

Стр. 557. *...я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви...*— В феврале 1848 года в Неаполе Герцен был свидетелем того, как неаполитанский король Фердинанд II, уступая требованиям восставших народных масс, обнародовал конституцию и согласился на образование либерального правительства. 2 января 1848 года в Риме Пий IX, стремясь вернуть себе любовь римлян, разъезжал по улицам города, благословляя народ.

...Корсо покрыто народом...— Герцен описывает далее демонстрацию, возникшую в Риме 21 марта 1848 года в связи с известиями о революции в Вене и о восстании в Милане.

Новости пришли из Милана... идет с войском.— 18 марта 1848 года началась революция в Милане против австрийского господства в Ломбардии. Пятидневная борьба завершилась победой восставшего народа; австрийская армия бежала из Милана. Карл-Альберт, король Пьемонта, чтобы перехватить инициативу у народных масс и помешать развертыванию революционного движения, поспешил объявить Австрии войну.

Стр. 558. *...молодой римлянин, поэт народных песен...*— По-видимому, Джузеппе Бенаи, уроженец Рима, друг Чичероваккио, автор песен, которые были очень популярны среди трудящегося населения Рима.

...четыре молодые женщины, все четыре русские...— Речь идет о Н. А. Герцен, М. Ф. Корш, Н. А. Тучковой (Огаревой) и Е. А. Тучковой (Сатиной).

...Макбет... заносил уже свою руку, чтоб убить «сон»... — Макбет убил короля Дункана во время сна, при этом ему почудился крик: «Рукой Макбета зарезан сон» (Шекспир, Макбет, акт II, сц. 2).

...My dream was past—it has no further change! — Из стихотворения Байрона «Сон».

Стр. 559. *...пошли к Мадлене.*— La Madeleine — церковь в Париже на площади того же названия.

Стр. 560. *...с глупой воронкой в петлице...*— Имеется в виду нагрудный знак, который носили депутаты Учредительного собрания.

...Токвиль, писавший об Америке.— Посетивший в 1831 году Соединенные Штаты Америки Токвиль написал несколько работ о их государственном, политическом устройстве, а также о действующих там юридических законах.

Стр. 566. *При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной»,— из него можно было сделать международный «Монитер» движения и прогресса.*— Газета издавалась в Париже на французском языке под названием «La Tribune des Peuples». В составе ее редакции были поляки, французы, итальянцы, русские и представители других народов. Главным редактором был Адам Мицкевич. Финансировал издание польский эмигрант граф Ксаверий Браницкий. Первый номер вышел 15 марта 1849 года.

Журнал пошел плохо, вяло — и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849.— 13 июня 1849 года в «Трибуне народов» был помещен ряд воззваний, призывавших к выступлению против правительства Луи Бонапарта, пославшего французские войска в Италию для подавления Римской республики. В этот же день в Париже состоялась демонстрация протеста против политики Луи Бонапарта. Правительственные войска рассеяли демонстрацию. В Париже было введено осадное положение, все левые газеты были закрыты, в том числе и «Трибуна народов». Издание газеты возобновилось 1 сентября 1849 года, но 10 ноября этого же года прекратилось окончательно из-за полицейских репрессий.

...литератор...— Жюль Лешевелье, один из членов редакции «Трибуна народов».

...в годовщину 24 февраля...— 24 февраля 1848 года в результате народного восстания во Франции была свергнута монархия.

Кто видел его портрет... снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже...— Давид д'Анже познакомился с А. Мицкевичем в 1829 году в Веймаре в доме Гете. По просьбе Гете д'Анже в 1829 году вырезал медальон Мицкевича, с которого и был выполнен его широко известный портрет.

Стр. 567. *...литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию.*— А. Мицкевич находился в России с конца октября 1824 года до середины мая 1829 года, куда был выслан за участие в тайном патриотическом обществе «Филаретов» («Друзей добродетели»). За время пребывания в России Мицкевич сблизился с выдающимися деятелями русской литературы: Пушкиным, Рылеевым, Баратынским, Вяземским, Жуковским, Крыловым, Грибоедовым и др.

...на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году.— Герцен имеет в виду торжественный обед, данный Грановскому 22 апреля 1844 года в честь окончания его публичных лекций в Московском университете (см. об этом в гл. XXX «Былого и дум»).

Стр. 568. *...ждал одного... имени... оно не замедлило явиться!* — Герцен имеет в виду Луи-Наполеона Бонапарта.

...их снова поведет вперед один из членов той венчанной народами династии, которая... назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.— А. Мицкевич был идейно близок польской революционной демократии. В период революции 1848 года он проявил себя как революционер и демократ. Однако ему, как и ряду других деятелей польского национально-освободительного движения того времени, были свойственны наполеоновские иллюзии. Эти иллюзии особенно ярко сказались после избрания 10 декабря 1849 года президентом Франции племянника Наполеона I Луи Бонапарта. В деятельности Наполеона I Мицкевич видел продолжение французской буржуазной революции. «Наполеон — это революция, ставшая законной властью. Это социальная идея, ставшая правительством»,— писал Мицкевич в статье «Бонапартизм и наполеоновская идея», опубликованной в «Трибуне народов», № 25, от 8 апреля 1849 года. В Луи Бонапарте Мицкевич видел продолжателя дела Наполеона I.

Стр. 569. *...этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела.*— «Трибуна народов» не стала орудием в руках бонапартистской реакции; Мицкевич, несмотря на свои наполеоновские иллюзии, не сошел с революционного пути и публиковал в газете статьи, содержащие острую критику внутренней и внешней политики французского правительства, пропагандировал идеи революционного братства народов, социалистические идеи, призывы к революционному действию.

Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу.— Поражение восстания 1830—1831 годов породило среди польских эмигрантов мистические настроения, способствовало возникновению идей мессианизма — учения об особой роли «мученической Польши» в истории народов. Представителем польского мессианизма был Юзеф Вронский, математик и философ, автор книги «Мессианизм». Мессианско-мистические настроения захватили и Мицкевича и вызвали его духовный кризис в 30-х и особенно в начале 40-х годов, когда он вступил в мистическую секту Андрея Товянского, авантюриста, прибывшего в 1840 году в Париж из Литвы. Однако даже в годы духовного кризиса в творчестве Мицкевича брали верх реалистические, революционные тенденции, которые все более укреплялись по мере нарастания революционной борьбы. Революция 1848 года пробудила Мицкевича и идейно приблизила его к польской революционной демократии.

...они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра.— В 1797 году на территории Ломбардии под покровительством Наполеона I

были созданы первые польские легионы. Наполеон использовал их в своих завоевательных походах, в частности, в войне против Испании. В конце ноября 1808 года у ущелья Сомосьера (Сомо-Сиерра) наполеоновские войска выиграли сражение благодаря усилиям польского уланского полка.

Стр. 570. *Он уехал в Турцию...*— В связи с Крымской войной и вступлением в нее Англии и Франции у польских эмигрантов возникли надежды на восстановление Польши. Для реализации этих надежд было задумано создание польских легионов с помощью и на средства Англии и Франции. Эти легионы должны были входить в состав турецкой армии. Активную роль в осуществлении этих планов играла аристократическая эмиграция во главе с Чарторыйскими. Не разобравшись в истинных целях союзников, некоторые представители демократической эмиграции также приняли участие в создании польских легионов. В их числе был и Мицкевич, выехавший в сентябре 1855 года из Парижа в Константинополь. Здесь он заболел холерой и умер 26 ноября 1855 года.

Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона.— Одним из последних поэтических произведений Мицкевича была ода в честь Луи Бонапарта — «Ad Napoleonem III — Caesarem Augustum ode in Bomarsundum captum», написанная Мицкевичем в связи с взятием англо-французским флотом крепости Бомарзунд на Аландских островах. В этой оде снова проявились ошибочные наполеоновские иллюзии Мицкевича, обусловившие его надежды на освобождение польского народа из-под гнета русского царизма с помощью наполеоновской Франции.

Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу.— Знакомая Луизы Ивановны Гааг — Четта Рейхель, первая жена Адольфа Рейхеля.

Ville d'Avray — населенный пункт в живописной местности недалеко от Парижа.

Стр. 574. *...я ходил в Риме в caffè delle Belle Arti...*— «Кафе изящных искусств», клуб либерального направления в Риме, где собирались писатели, художники и артисты.

Circolo Romano — «Римский клуб», помещался во дворце Бернини на улице Корсо. Организован был в марте 1847 года и объединял представителей либерального дворянства, финансовой и торговой буржуазии, стремившихся ограничить народное движение требованиями реформ. В марте и апреле 1848 года на его заседания широко приглашались иностранцы.

Circolo Popolare — «Народный клуб», возник в конце 1847 года. В его состав входили ремесленники и рабочие Рима; организатором клуба был Чичероваккио (Анжело Брунетти).

Стр. 576. *...он поехал к «горцам» за инструкциями.*— «Горцы» («montagnards») — якобинцы 1793 года, занимавшие в парламенте верхние места, на

«Горе». В 1848 годах монтаньярами называли сторонников Ледрю-Роллена в Учредительном собрании Франции.

...протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении.— Герцен имеет в виду протест против интервенции французских войск, завершившийся позже занятием Рима и восстановлением папской власти.

Maison d'Or — ресторан в Париже.

Стр. 577. *Консьержри* — тюрьма в Париже.

Стр. 579. *...мы видели по версальскому процессу.*— После разгрома демонстрации 13 июня 1849 года в Париже и ряда выступлений в провинции правительство Одилона Барро лишило депутатских мандатов, объявило государственными преступниками и предало суду тридцать трех депутатов «Горы». Эмигрировавшие судились заочно.

...лионского восстания...— Восстание в Лионе 15 июня 1849 года было откликом на события 13 июня 1849 года в Париже.

Стр. 583. *...написать памфлет*: «*Les réfugiés peints par eux-mêmes*».— Имеется в виду серия рисунков Ж. Гранвиля «Les Français peints par eux-même».

...Рим пал под ударами французов...— Предлогом для французской интервенции послужило образование республики в Риме 9 февраля 1849 года и низложение светской власти папы. 25 апреля 1849 года французские войска под командованием генерала Удино высадились в порту Чивита-Веккио и двинулись к Риму. После героического сопротивления Римская республика пала. 3 июля 1849 года французские войска вступили в Рим.

...брат короля прусского...— принц Вильгельм, командующий войсками интервентов, подавивших восстание в Бадене и Пфальце.

Стр. 583—584. *...она делалась Кобленцом революции 1848 года.*— Кобленц — город в Германии, бывший центром феодально-монархической контрреволюционной эмиграции во время французской буржуазной революции конца XVIII века.

Стр. 584. *...Бошарова следствия...*— работа следственной комиссии по делу о демонстрации 15 мая и июньском восстании 1849 года. Доклад этой комиссии в Учредительном собрании 3 августа 1849 года сделал Бошар.

...баденские ополченцы...— уцелевшие от разгрома части баденской армии и народные ополченцы, которые защищались от нашествия прусских контрреволюционных войск.

...участники венского восстания...— 6 октября 1848 года в Вене вспыхнуло восстание в знак протеста против отправки австрийского экспедиционного корпуса для подавления революции в Венгрии. Против восставших была направлена семидесятитысячная армия во главе с Виндишгрецом. 1 ноября Вена пала.

...познанские и галицийские поляки...— Познань, Силезия и Галиция находились под властью Пруссии. Национально-освободительное движение особенно усилилось в этих областях в 1848 году. В марте 1848 года началось восстание в Познани, которое было подавлено 9 мая. 1—2 ноября произошло львовское восстание в Галиции.

Стр. 585. *Mit bedächtigem Schritt...*— Герцен перефразирует две строки из баллады Шиллера «Перчатка».

Стр. 586. *...с видом бурша... вышедшего из фуксов...*— Бурш — немецкий студент, входящий в студенческую корпорацию; фукс — студент, еще не принятый в нее.

Стр. 588. «*Si omnes consentiunt... подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках»...*— Цитируемые слова из «Разбойников» Шиллера (акт I, сц. 2) принадлежат не Шуфтерле, а Гримму.

Стр. 589. *...мы отправились к нему в Паки с Л. Спини.*— Паки — в середине XIX века пригород Женевы, расположенный на западном берегу Женевского озера, где жил Маццини с 22 июля по 12 октября 1849 года, до переезда в Лозанну. Посещение Герценом Маццини и совещание у Гейнцена и Струве состоялось, видимо, между 1 и 18 сентября 1849 года.

Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello...— Во время революции 1848—1849 годов в Италии Джакомо Медичи сражался в рядах волонтеров Гарибальди в Ломбардии (1848 г.) и в Риме (1849 г.), возглавлял оборону виллы Жиро, именуемой Vascello, которая защищала подступы к западным воротам Рима. Отряды римских волонтеров под командованием Медичи оказали упорное сопротивление численно превосходящим силам французов. Падение Vascello 30 июня 1849 года в значительной мере предопределило и капитуляцию Римской республики.

...товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи.— В связи с угрозой интервенции и обострением классовых противоречий внутри Римской республики 23 марта 1849 года Учредительное собрание Римской республики создало центральный орган власти — триумвират — в составе: Маццини, Саффи и Армеллини, предоставив ему неограниченные права.

...Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне... сообщение со всем полуостровом.— Эмигрировав после падения Римской республики в 1849 году в Женеву, Маццини продолжал руководить революционными организациями в итальянских государствах, сохранил старые и налаживал новые связи с ушедшими в подполье деятелями национально-освободительного движения. Герцен сравнивает деятельность Маццини с деятельностью римских пап в то время, когда их резиденция была перенесена из Рима в Авиньон (1308—1377 гг.). Находясь за пределами Италии, в Авиньоне, римские папы располагали широко разветвленной сетью агентуры в Италии и продолжали держать в своих руках нити ее управления.

Стр. 590. *...он покрыл Италию сетью тайных обществ... шедших к одной цели.*— Герцен дает здесь и далее обобщенную характеристику различных революционных организаций, созданных Маццини на протяжении более чем двух десятков лет. В 1831 году Маццини основал тайное общество «Молодая Италия», в 1848 — «Итальянскую национальную ассоциацию», в 1850 — «Итальянский национальный комитет» и, наконец, в 1853 — «Партию действия». Целью всех этих организаций была борьба за создание путем народного восстания независимой единой буржуазной республики в Италии.

...со времен Менотти и братьев Бандиера...— В 1831 году Менотти возглавил в Модене заговор, ставивший своей целью объединение Италии. Корону итальянского королевства Менотти предполагал вручить герцогу Моденскому Франциску IV, поддерживавшему вначале из своих династических интересов планы Менотти. Накануне выступления герцог предал заговорщиков, они были арестованы, а Менотти по приказу герцога повешен. Для освобождения Италии от австрийского ига братья Бандиера организовали в 1841 году из числа итальянцев, служивших в австрийском флоте, тайное общество «Esperia», установили связь с Маццини и «Молодой Италией». 17 июня 1844 года братья Бандиера вместе с группой своих единомышленников высадились на побережье Неаполитанского королевства с целью поднять восстание против монархии Бурбонов, но были схвачены и расстреляны.

...Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабёфа...— Участник коммунистического заговора Бабефа Буонарроти был одним из вождей карбонарского движения во Франции и Италии. Эмигрировав в 1831 году из Италии, Маццини вступил в Марселе в возглавляемую Буонарроти карбонарскую организацию итальянских революционеров «Apofasimeni». Буонарроти возлагал большие надежды на Маццини в деле обновления и реорганизации карбонарского движения. Сотрудничество Буонарроти и Маццини было недолговременным вследствие вскоре обнаружившихся программных и тактических разногласий.

...два предпоследние опыта в Милане...— Первый «опыт», который имеет в виду Герцен,— миланское восстание 6 февраля 1853 года. Восстание было подавлено австрийскими властями с большой жестокостью. Второй «опыт» — по-видимому, неудавшаяся попытка организации восстания в Милане в сентябре—октябре 1854 года.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку... Вождь... падает первый... в когти Бурбона.— Один из руководителей обороны Римской республики в 1849 году Карло Пизакане в 1857 году совместно с Маццини разработал план высадки революционной экспедиции в Неаполитанском королевстве. Они предполагали, что это явится началом общенеаполитанского восстания, а затем перерастет в общеитальянскую революцию. 25 июня 1857 года группа заговорщиков под руководством Пизакане отплыла на пароходе из Генуи и направилась в Сапри (западное побережье Неаполитанского королевства). Заговорщики не были поддержаны населением. Отряд заговорщиков был разгромлен силами жандармерии и армии мо-

нархии Бурбонов. Одним из первых погиб Пизакане. Оставшиеся в живых были схвачены и преданы суду.

Стр. 590—591. *Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь... вепрь... отступил в Казерту... траурный кучер... покачнулся на козлах.*— Герцен в образной форме высказывает мысль о том, что реакция, установившаяся в Европе после поражения революции 1848—1849 годов, была поколеблена актами Пизакане и Орсини, и в первую очередь это коснулось двух романских стран Европы — Италии и Франции. «Вепрь» — неаполитанский король Фердинанд II, Казерта — его замок; «траурный кучер» — Наполеон III.

Стр. 591. *L. Mercantini. «La Spigolatrice di Sapri».*— В 1857 году вышло отдельным изданием стихотворение Луиджи Меркантини «Spigolatrice di Sapri» («Собирательница колосьев на Сапри»), посвященное трагической эпопее экспедиции Пизакане.

И я знал bel capitano... и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины...— Речь идет о Пизакане. Известно, что Герцен встречался с Пизакане в Генуе в июне 1852 года, после похорон Натальи Александровны.

Стр. 592. *Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном.*— Герцен имеет в виду процесс размежевания, происходивший среди итальянских республиканцев в 50-х годах XIX века. Часть мацциниетов (Медичи, Козенц и др.) порвала с Маццини и стала в ряды сторонников объединения Италии под властью короля Пьемонта — Виктора-Эммануила II. Другая часть мацциниетов попала под влияние бонапартизма, поддерживая версию о том, будто Наполеон III принесет освобождение Италии.

Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы...— Манин Даниеле, будучи главой Венецианской республики (1848—1849 гг.), склонен был к политике компромиссов с либерально-монархическим лагерем и был противником развертывания революционной инициативы масс. После падения Венецианской республики Манин эмигрировал в Париж, где поддерживал отношения с итальянскими эмигрантами, противниками Маццини. В 1855 году он опубликовал обращение к пьемонтской монархии, в котором заявлял от имени республиканской партии Италии о ее готовности отказаться от республиканской программы и стать союзником Савойской династии, в случае если последняя направит свои усилия на создание единой и независимой Италии.

...Гарибальди... дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его.— Имеется в виду письмо, которое Гарибальди опубликовал в «Italia e popolo» 4 августа 1854 года. Причиной, побудившей Гарибальди выступить в печати, явилось то, что его имя связывали с потерпевшими неудачу выступлениями мацциниетов в Луниджиане (территория, включавшая часть Модены, Пармы и Пьемонтского государства) и в Вальтеллине (Северная Ломбардия). В письме

Гарибальди заявил, что он не одобряет подобного рода выступления, и предостерегал молодежь от увлечения «ложными доводами обманщиков или обманутых людей, которые, вызывая несвоевременные попытки, губят или, по крайней мере, дискредитируют наше дело».

Стр. 593—594. *Мещанство... представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно назвать... пиэмонтским слоем.*— Под «первой революцией» Герцен подразумевает, по-видимому, французскую буржуазную революцию 1789—1794 годов. «Пиэмонтским слоем» Герцен назвал итальянскую буржуазию потому, что в Пьемонте буржуазия была сильнее, чем где-либо в остальной Италии. Здесь ярче проявились те качества, на которые указал Герцен,— ее умеренный либерализм и страх перед революционным движением народных масс.

Стр. 594. *...из летописей Гвичардини и Муратори...*— Имеются в виду многотомные труды по истории Италии Франческо Гвичардини и Лодовико Антонио Муратори, которые использовали в своих работах итальянские хроники и архивные документы.

...полудиким ускоком Ромео из Абруцц...— Ускоки — пираты, действовавшие в XV—XVI веках в районе Адриатического моря. Образ неукротимого ускока, возможно, был навеян Герцену романом Жорж Санд «Ускок». Ромео — по-видимому, Джианнандреа Ромео, один из руководителей восстания в Калабрии в 1847 году.

...Сиртори,— поп-герой... дрался под градом пуль в передовых рядах...— Сиртори был духовным лицом, но затем отказался от сана и с первых же дней итальянской революции вступил в ряды волонтеров. В период блокады Венецианской республики австрийцами в 1848—1849 годах Сиртори находился в рядах ее защитников, сражаясь на важнейших участках военных действий.

...трастеверинские плебеи...— Трастевер — квартал в юго-западной части Рима на правом берегу Тибра, где жили рабочие и ремесленники. В период революции в Риме трудящееся население Трастевера было активным участником и защитником Римской республики.

С Гарибальди я... познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вестиндских доках...— Вынужденный после поражения революции 1848—1849 годов вторично эмигрировать в Америку, Гарибальди работал здесь вначале на фабрике, затем служил в торговом флоте, совершая дальние рейсы. Во время одного из этих рейсов в феврале 1854 года он прибыл в Англию на американском корабле «Commonwealth». Знакомство Герцена с Гарибальди состоялось в Лондоне на обеде у американского консула Сондерса 21 февраля 1854 года.

...я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне...— Речь идет об Эрнсте Гауге, австрийском эмигранте, который сражался в рядах волонтеров Римской республики в 1849 году.

Стр. 595. ...*белет* — марка вина, которым славится Ницца.

...*отступил после взятия Рима... и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.*— После падения Римской республики в 1849 году Гарибальди с отрядом добровольцев предпринял попытку прорваться в осажденную Венецию, продолжавшую еще борьбу с Австрией. В пути погибла его жена Анита, отважная спутница Гарибальди во всех его походах. Потеряв в неравных боях значительную часть своего отряда, Гарибальди вынужден был отказаться от своего плана и вновь эмигрировать из Италии.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини...— В 1854 году Гарибальди возвратился на родину. В эти годы он отходит от Маццини, считая ошибочной и вредной его заговорщическую тактику, и склоняется к мысли о возможности соглашения с Пьемонтом. Но, идя на такой компромисс, Гарибальди фактически оставался народным вождем. Он возглавлял борьбу за воссоединение Италии снизу, командуя волонтерами в войне с Австрией в 1859 году, подымая народ в Центральной Италии на борьбу за объединение, и, наконец, совершив легендарный поход в Южную Италию. Правительство Пьемонта, опасаясь развернувшегося народно-освободительного движения, воспрепятствовало Гарибальди завершить объединение Италии. Он был отстранен, и Пьемонт присвоил себе плоды победы, одержанной народом под руководством Гарибальди. Гарибальди оказался жертвой своей политики компромисса с монархией.

«*Arma virumque cano!*» — начальная строка «Энеиды» Вергилия.

Стр. 596. ...*14 января 1858 года в rue Lepelletier...*— Дата покушения Орсини на Наполеона III на улице Лепеллетье.

Теверино — герой одноименного романа Жорж Санд.

...*едва спасшись от сардинских жандармов... бросают их под кареты.*— Герцен сообщает здесь эпизоды из жизни Орсини. Весной 1854 года Орсини участвовал в подготовке задуманного Маццини восстания в Центральной Италии. Заговор потерпел неудачу, и Орсини с большим трудом удалось уйти от сардинской полиции. В июне 1854 года Орсини участвовал в подготовке новой экспедиции в Вальтеллину. В конце августа Орсини был арестован швейцарской полицией, но ему удалось бежать. В сентябре 1854 года Орсини опять принимает предложение Маццини о тайной поездке в Ломбардию с целью подготовки нового восстания в Милане. С октября по декабрь 1854 года Орсини под чужим именем совершает поездку по Ломбардии, Австрии и Венгрии. Во время этой поездки он был арестован австрийской полицией и заключен в Мантуанскую тюрьму. В конце марта 1856 года Орсини совершил необычайный по смелости и мужеству побег из тюрьмы. Приехав в Лондон, Орсини начинает готовить покушение на Наполеона III, занимаясь сам изготовлением бомб.

Стр. 597. *Маццини так же принадлежит к их семье... как Иоанн Прочида.*— В современной Герцену исторической и политической литературе часто упоминалось имя Прочида, борца за освобождение Сицилии от французского

господства. О нем писали как о человеке больших страстей и великих идей. Он был примером политического деятеля, умевшего любыми средствами добиваться своей цели. В образе Прочида Герцен видит черты, родственные Маццини.

Стр. 598. *О, divina Commedia! — или просто Commedia! в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!* — В январе 1813 года Наполеон Бонапарт посетил папу Пия VII (Луиджи Барнаба Киарамонти), находившегося в заключении в Фонтенебло. Во время свидания Наполеон добивался от папы согласия на подписание нового конкордата, подчинявшего католическую церковь власти французского императора и упразднявшего светскую власть папы в Риме. Во время бесед Пий VII, вынужденный уступить требованию Наполеона, не без горечи говорил о превратностях судьбы, о бренности всего земного, в том числе и светской власти папы.

...Медичи... служил в рядах кристиносов...— С 1836 по 1840 год Медичи участвовал в гражданской войне в Испании на стороне кристиносов — либерально-буржуазной партии, группировавшейся вокруг регентши Марии Кристины, против которой подняли мятеж сторонники Дон-Карлоса (карлисты), представляющие интересы феодально-клерикальных групп.

Стр. 600. *Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины... прожил несколько недель в Болонье... ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана.*— Герцен имеет в виду следующее событие. Когда готовилось восстание в Милане 6 февраля 1853 года, Маццини одновременно предполагал подготовить выступления и в Центральной Италии (Болонье). Был сформирован Верховный комитет в составе Саффи, Орсини и др. В конце января 1853 года Саффи приехал в Сарцана, откуда перешел Апеннины и прибыл в Болонью 6 февраля 1853 года. Здесь он прожил до 15 февраля 1853 года, подготовляя восстание в Болонье и ожидая вестей из Милана. Неудача миланского восстания сняла вопрос о выступлении в Центральной Италии.

Стр. 601—602. *...Клебер... возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.*— Весной 1790 года Национальное собрание дало разрешение на проведение в Париже праздника Федерации. Празднество было назначено на 14 июля — день годовщины взятия Бастилии. Население Парижа участвовало в постройке на Марсовом поле арены и скамеек. В этих работах в июле 1790 года участвовал и Тальма.

Стр. 602. *Deus ex machina* — буквально: «бог из машины»; развязка вследствие вмешательства непредвиденных обстоятельств; в античной трагедии — развязка благодаря вмешательству «бога», появлявшегося на сцене при помощи механических приспособлений.

Тортони — кафе в Париже.

Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму.— См. прим. к стр. 583.

Стр. 603. *...Кернеровы песни.*— Патриотические песни немецкого поэта Карла Теодора Кернера, переложенные на музыку Вебера, имели огромный успех во время освободительной борьбы против Наполеона.

...давались... драматические торжества для Гете — в Веймаре.— Гете был директором Веймарского театра с 1791 года; здесь были поставлены почти все его пьесы.

Стр. 605. *После дрезденского дела...*— В мае 1849 года М. Бакунин руководил восстанием в столице Саксонского королевства — Дрездене, за что был арестован и приговорен саксонским судом к повешению. Через некоторое время казнь была заменена пожизненным заключением.

Стр. 612. *В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию... которая... в 1847 году подавила Зондербунд.*— Борьба за ликвидацию феодальных отношений и политическую централизацию развернулась в Швейцарии в 30—40-х годах XIX века. Революционные выступления крестьян, рабочих и ремесленников привели к демократическим преобразованиям в большинстве кантонов. В 1830—1831 годах в одиннадцати кантонах были введены новые конституции демократического и либерального характера. Это повело к образованию в 1845 году Зондербунда — союза остальных семи католических кантонов, целью которого была борьба против централизации власти и защита прав католической церкви. В июле 1847 года федеральное правительство, придерживающееся буржуазно-радикального направления и опиравшееся на передовые кантоны, издало указ о роспуске Зондербунда. Зондербунд объявил войну федеральному правительству. 23 ноября 1847 года отряды Зондербунда были разбиты.

...жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями.— Правительства Франции, Австрии, Пруссии и других соседних государств вмешивались во внутренние дела Швейцарии, осуществляя через своих агентов полицейские функции на ее территории. Швейцарское федеральное правительство изгоняло революционных итальянских, французских и немецких эмигрантов, поселившихся на территории Швейцарии после поражения революции 1848 года, по первому требованию реакционных правительств этих стран.

Стр. 614. *Бриарей* — сторукий великан греческой мифологии.

Стр. 616. *Застращенная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона...*— В 1838 году Луи-Наполеон и кучка собравшихся вокруг него в Швейцарии бонапартистов развернули пропаганду идей восстановления во Франции власти Бонапартов. Правительство июльской монархии вместе с австрийским правительством потребовали от швейцарских властей изгнания Луи-Наполеона из Швейцарии. Получив отказ швейцарских властей, французское правительство прибегло к угрозе войны, после чего швейцарское правительство дало понять Луи-Наполеону, что больше не может отстаивать для него право убежища и предложило ему «добровольно» покинуть страну.

Стр. 618. ...*18 брюмера* (9 ноября 1799 г.) — государственный переворот во Франции, совершенный Наполеоном Бонапартом и приведший к установлению военной диктатуры в форме консульства, а затем (с 1804 г.)— империи Наполеона I.

Стр. 619. *Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий...*— Нападки Маццини на социализм подрывали и ограничивали его влияние на широкие массы и были причиной отхода от Маццини наиболее радикальных и последовательных деятелей революционного движения. Все это и дало основание Герцену сравнить результаты антисоциалистических выступлений Маццини с деятельностью австрийского фельдмаршала Радецкого, который руководил подавлением революции 1848 года в Ломбардии.

Стр. 621. ...*стенторовским голосом...*— Стентор — герой «Илиады» Гомера, обладавший громовым голосом.

Это уж из «Волка и овцы».— По-видимому, Герцен имеет в виду басню Лафонтена «Волк и овца».

Стр. 622. *Потир* — чаша для причастия.

Стр. 624. ...*«незабвенный» император*.— Николай I.

Стр. 625. ...*близок с ним!..*— Имеется в виду Георг Гервег.

Стр. 626. ...*я и товарищ, ехавший со мной в Церматт...*— Эта поездка Герцена состоялась в сентябре 1849 года. «Товарищ» — Г. Гервег.

Стр. 629. *Гюго где-то описывает, «что слышно на горе»...*— Имеется в виду стихотворение В. Гюго «Ce qu'on entend sur la montagne» («Что слышится на горе»).

Стр. 630. *Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей...*— Агриппина-младшая в 59 году была убита по приказу своего сына, римского императора Нерона.

Стр. 632. ...*Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя бога и свободы...*— Бенжамен Франклин был во Франции с внуком и просил Вольтера благословить последнего. Вольтер сказал: «Бог и свобода — вот единственный девиз, достойный внука Франклина».

Стр. 633. *Davus sum, non Aedipus!* — Из «Andria» Теренция, акт I, сц. 2. Davus — обычное имя раба. Aedipus — главное действующее лицо трагедии Софокла «Царь Эдип». Его имя стало нарицательным для ловкого отгадчика. Смысл фразы: я раб, а не отгадчик.

...*Сиэс был больше прав, чем думал, говоря, что мещане — «всё»*.— В своей брошюре «Qu'est ce que le tiers état?» («Что такое третье сословие?») Сийес доказывал, что буржуазия должна стать в государстве всем.

Стр. 634. *...переродиться в нового Ионатана...*— шуточное название североамериканцев.

Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в «The Dream»...— В стихотворении «Сон» Байрон описал некоторые эпизоды из своей жизни.

«Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины».— Вольный перевод стихов Байрона из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь первая).

...ни в Равенне, ни в Диодати.— В Равенне (Италия) Байрон жил в 1819 году, на вилле Диодати (побережье Женевского озера) — в 1816 году.

Стр. 635. *...прозвучит всему — sie ist gerettet.*— См.: Гете, Фауст, часть I, эпилог.

Стр. 636. *Три года тому назад я сидел у изголовья больной... Эта жизнь была все мое достояние.*— Н. А. Герцен умерла 2 мая 1852 года.

Стр. 637. *...как дети судят по «Orbis pictus» о настоящем мире...*— Герцен имеет в виду книгу Амоса Коменского «Orbis sensualium pictus» («Мир в картинках»).

Стр. 639. *Salus populi* — или salus publica supremalex: общее благо — принцип, сформулированный римскими юристами, в силу которого частные интересы должны уступать интересам общественным.

...chacun pour soi — принцип буржуазного права.

Стр. 640. *...истекает из народных основ англосаксонского Common law...*— обычного права, действовавшего главным образом в феодальную эпоху. В Англии в законодательстве сохранялись некоторые формы обычного права.

...как оба английские парламента? — Герцен имеет в виду две палаты английского парламента: палату лордов (верхнюю) и палату общин (нижнюю).

Стр. 642. *Прими сей череп — он...*— начальные строки «Послания Дельвигу» Пушкина. У Пушкина: «Прими сей череп, Дельвиг, он...»

Стр. 647. *E tiene ancora del monte et del macigno!* — строка 63-я песни пятнадцатой «Ада» из «Божественной комедии» Данте.

Стр. 648. *...а другой, переведенный в Рим.*— Герцен имеет в виду русского посланника во Франции Н. Д. Киселева, который за неудачную попытку привлечь Наполеона III на сторону России во время дипломатической подготовки Крымской войны был отозван в 1854 году из Парижа; с 1855 года — посланник при римском и тосканском дворах.

Стр. 659. *...к 2 декабря.*— Имеется в виду государственный переворот Луи Бонапарта, совершенный 2 декабря 1851 года.

Стр. 659—660. *Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия.*— Предпринимая в 1849 году военную интервенцию в Венгрию с целью подавления революции, Николай I стремился также укрепить позиции Австрии в Европе, помешать тем самым установлению прусской гегемонии в Германии и объединению страны. Предательство главнокомандующего венгерской армией Гергея определило успех царской армии в Венгрии и обеспечило торжество политики Николая I в Германии.

Стр. 660. *...Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге центральный европейский комитет...*— В июле 1850 года Маццини создал Европейский центральный демократический комитет, целью которого было объединение эмигрантов европейских государств для освобождения угнетенных национальностей и создания союза европейских народов. Программа комитета, написанная Маццини, представляла собой замаскированную фразами о равенстве, братстве, свободе, прогрессе, сотрудничестве, примирении интересов всех партий и классов защиту «интересов одной лишь партии — буржуазной» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 488).

Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением.— Орсини явился в Ницце к Герцену не год спустя, как пишет Герцен, а несколько месяцев спустя, так как переговоры Герцена с Маццини происходили в Париже в мае 1850 года, а письмо Герцена к Маццини с ответом на вторичное предложение об участии в Европейском центральном комитете было написано им 13 сентября 1850 года.

...alien биллем, или предложением приостановить habeas corpus — английские законы об иностранцах и о неприкосновенности личности.

Стр. 663. *...Маццини отвечал несколькими дружескими строками...*— О письме Маццини в «Полярной звезде» была сноска: «Письмо это со множеством других документов я сжег в декабре 1851 г., боясь домового обыска». По-видимому, боязнь обыска возникла у Герцена в связи с тем, что он был близко знаком с жившими в Ницце итальянцами и французскими эмигрантами, которые после государственного переворота 2 декабря 1851 года во Франции предприняли попытку поднять восстание на юге Франции против Наполеона III, в защиту республики. У Герцена были основания опасаться, что полиция Пьемонта может возбудить против него дело, тем более что в июне 1851 года местные власти в Ницце уже пытались его выслать.

...комитет Николая Павловича...— то есть III Отделение. Вызов Герцена в Россию последовал не в 1850, а в 1849 году.

Стр. 664. *...не хотел ехать в Петропавловские кельи отца Леонтия...*— Казематы Петропавловской крепости с 1839 года находились в ведении управляющего III Отделения Леонтия Васильевича Дубельта.

...Евпатории в легких Николая Павловича.— Герцен связывает смерть Николая I (18 февраля 1855 года), последовавшую, по официальной версии,

от воспаления легких, с поражением русских войск под Евпаторией 5 февраля 1855 года.

Стр. 667. *...от методы аббата Лепе.*— Французский филантроп Лепе разработал метод обучения глухонемых посредством алфавита жестов.

...проезжая через Цюрих...— Герцен проезжал через Цюрих во второй половине декабря 1849 года по пути из Женевы в Париж.

Стр. 671. *Отец Фогта — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне...*— Филипп Фридрих Вильгельм Фогт, профессор медицины сначала в г. Биссене, где и родился Карл Фогт, а затем в г. Берне (Швейцария).

Тугендбунд — буквально: «союз добродетели» — политическое общество, возникшее в Германии в 1808 году с целью борьбы с Наполеоном во время ее оккупации французами. Вело патриотическую пропаганду. В 1809 году было официально распущено по приказу Наполеона.

Буршеншафт — политический «Всеобщий студенческий союз», организован в 1818 году в г. Иене.

Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера...— Антиреакционная демонстрация, состоявшаяся 18 октября 1817 года, заключалась в символическом сожжении реакционных сочинений. В этой демонстрации участвовал Август Фоллен.

Стр. 672. *...творение Гайдна.*— Оратория Гайдна «Сотворение мира».

Стр. 674. *...дантовские слова*: «*Qui è l'uomo felice*».— Строка 75-я песни тридцатой «Чистилища» из «Божественной комедии» Данте.

Стр. 675. *...своих товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.*— Заседания избранного после мартовской революции общегерманского Национального собрания (так называемого Франкфуртского парламента), членом которого был Карл Фогт, происходили в соборе св. Павла (Франкфурт-на-Майне).

...он стал в самый радикальный ряд...— Во Франкфуртском парламенте Карл Фогт принадлежал к демократической левой группировке, возглавленной Робертом Блюмом. Эта, по преимуществу мелкобуржуазная, группа не была последовательно республиканской, так как она хотя и выступала за превращение Германии в федеративную республику, но считала возможным сохранение монархического строя в некоторых немецких государствах.

...короля прусского — Фридриха-Вильгельма IV.

Стр. 676. *...Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место.*— По предложению умеренных демократов Национальное собрание заменило оставшихся во Франкфурте-на-Майне имперского правителя эрцгерцога Иоганна и Центральное правительство регентством из пяти членов (кроме Фогта — Раво, Симона, Шюлера и Бехера).

Стр. 678. *...от Пия IX «с незапятнанным зачатием»...*— Герцен иронизирует по поводу догмата, провозглашенного Пием IX в 1854 году о непорочном зачатии св. девы.

...до Маццини с «республиканским iddio»...— Герцен имеет в виду демократический характер религиозных воззрений Маццини, утверждавшего, что единственным истолкователем божественных законов на земле является народ. Своим лозунгом «Бог и народ» Маццини хотел противопоставить бога папе, а народ князьям. В противовес папской власти и монархическому правлению, он выдвигал требование учреждения народного правления — республики.

Стр. 679. *...Карл Смелый... смерть и имя которого... послужили... для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере.*— Проникнутая освободительными настроениями опера Россини «Вильгельм Телль» по требованию цензуры ставилась на австрийской и русской сценах под названием «Карл Смелый» с измененным сюжетом, для которого использовалась история бургундского герцога (XV в.) Карла Смелого, погибшего в бою с швейцарцами под Муртеном во Фрейбургском кантоне.

...Людовик Бонапарт — гражданин Тургови, и Александр Николаевич — бюргер дармштадтский...— Луи-Наполеон, будущий император Наполеон III, эмигрировав в молодости в Швейцарию, получил там подданство. Что касается Александра II, то Герцен имел в виду его женитьбу на принцессе Марии Дармштадтской.

Стр. 680. *Сердце Азелио чуяло, верно, что я... читал его «La Disfida di Barletta»*...— Председатель совета министров Пьемонтского королевства с 1849 по ноябрь 1852 года Азелио был известен как романист. Его первый роман «La Disfida di Barletta» («Барлеттский турнир»), изданный в 1833 году, читал Герцен, находясь в Крутицких казармах в сентябре 1834 года.

...роман «и не классический и не старинный»...— перефразированный стих из поэмы Пушкина «Граф Нулин».

...прежде... надобно было прислать посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта.— За королем Пьемонта Карлом-Альбертом утвердилась репутация «мятежника». В ранней юности, будучи еще принцем Кариньянским, он проявлял некоторый интерес к карбонарскому движению и был весьма отдаленно причастен к революции 1821 года в Пьемонте, которую он затем предал. В 1848 году Карл-Альберт дал конституцию Пьемонту — «Статут 4-го марта» — и объявил войну Австрии. Хотя эти действия были предприняты Карлом-Альбертом в антиреволюционных целях, чтобы захватить инициативу и подавить революционное движение, о чем он не замедлил конфиденциально сообщить Николаю I, тем не менее Николай I в 1848 году порвал дипломатические отношения с Пьемонтом и не восстановил их после отречения Карла-Альберта в 1849 году и воцарения Виктора-Эммануила II. Поэтому Россия и не имела в 1854 году посланника в Пьемонте.

Несколько дней до моей высылки в Ницце было «народное волнение»... к его правам, «начертанным на скрижалях истории».— Причиной «волнений» явилось обсуждение в пьемонтском парламенте в последней декаде мая 1851 года вопроса об отмене порто-франко (права беспошлинного ввоза и вывоза товаров) для Ниццы в связи с введением в Пьемонте единого таможенного тарифа, обус-

ловившего ликвидацию старинных монополий и привилегий. Граф Авигдор — представитель торгово-банкирских кругов Ниццы в пьемонтском парламенте, которым отмена порто-франко для их города была невыгодна,— предпринял попытку инсценировать «народное волнение» с тем, чтобы провалить в парламенте обсуждавшийся законопроект.

Авигдора, этого О'Коннеля Пальоне...— Герцен иронически называет Авигдора именем О'Коннеля — известного борца за независимость Ирландии в середине XIX века.

Стр. 681. *...уехал в Париж.*— Герцен выехал из Ниццы 3 или 4 июня 1861 года.

Валерио... в своей интерпелляции и требовал отчета, почему меня выслали.— Запрос в пьемонтском парламенте был сделан Валерио 10 июня 1851 года.

В Турине я пошел к министру внутренних дел; вместо его меня принял его товарищ... граф Понс де ла Мартино...— Министром внутренних дел в правительстве Азелио в 1851 году был Гальваньо. Граф Понца ди С. Мартино — один из наиболее реакционных чиновников в правительстве Азелио, руководил кампанией преследования политических эмигрантов в Пьемонте и итальянских эмигрантов в Швейцарии.

...видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку.— Имеется в виду, что конституция в Пьемонте была провозглашена 4 марта 1848 года, таким образом срок ее действия был еще непродолжителен.

Стр. 686. *Один старец Ламенне... мрачно сказал народу*: «*А ты молчи... право на слово!*» — После подавления июньского восстания Учредительное собрание приняло ряд законов против демократической и социалистической прессы. Для издания газет восстанавливалось требование денежного залога — двадцать пять тысяч франков. Это привело к закрытию многих демократических газет, для которых такой залог был непосильным. Ламенне, закрывая свою газету «Le Peuple Constituant», писал в последнем ее номере, 11 июля 1848 года: «Ныне нужно иметь золото, много золота, чтобы иметь право говорить. Мы же недостаточно богаты. Бедняки должны молчать!»

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня.— В марте 1849 года Прудон был привлечен к судебной ответственности за свои статьи против президента Луи-Наполеона. Приговоренный 28 марта судом к трехгодичному тюремному заключению, Прудон уехал в Бельгию, но в начале июня 1849 года тайком вернулся в Париж. 6 июня 1849 года он был арестован и заключен в тюрьму. После провала организованного мелкобуржуазными демократами выступления 13 июня 1849 года газета Прудона «Le Peuple», как и ряд других демократических газет, была закрыта.

Стр. 687. *Э. Жирарден был не прочь их дать... Сазонов предложил мне внести залог.*— Сведения Герцена о готовности Жирардена дать Прудону

деньги для залога за «La Voix du Peuple» были недостоверными. Источником для этих сведений послужили близкие в то время к Прудону друзья и знакомые Герцена — Хоецкий (Шарль Эдмон) и Сазонов, которые и подсказали Прудону мысль об обращении к Герцену за денежной помощью для издания новой газеты. Прудон действительно обратился сперва за денежной помощью к Жирардену. Обращение это не было случайным, поскольку после февральской революции 1848 года идейно-политические позиции Прудона и Жирардена нередко сближались. Однако Жирарден вовсе не выразил согласия финансировать затеваемую Прудоном газету. Около двух недель он хранил молчание. Обращение Прудона одновременно и к Герцену объяснялось, по-видимому, тем, что в поисках залога для своей новой газеты Прудон действовал сразу в нескольких направлениях. Весьма определенный, хотя и косвенный, ответ Жирардена последовал в виде резко враждебных Прудону статей, опубликованных газетой «La Presse» 9—11 июля 1849 года, в которых Прудон обвинялся в заигрывании с реакционно-монархическим лагерем, с Луи-Наполеоном и легитимистами.

...поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «Destruo et aedificabo»...— Герцен приводит эпиграф к сочинению «Система экономических противоречий, или Философия нищеты», взятый Прудоном из Евангелия.

...Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода.— На протяжении 1848—1851 годов между Прудоном и представителями других направлений мелкобуржуазного утопического социализма неоднократно вспыхивали острые споры по различным идеологическим и политическим вопросам. Фурьеристы подвергали критике «диалектическую» софистику Прудона и его частнособственнические реформаторские проекты, П. Леру — его антигосударственные идеи и критику религиозной сентиментальности. В свою очередь, Прудон обрушивался на фурьеризм и мистический социализм Леру язвительной критикой.

Стр. 689. *...маленькой республикой...*— намек на буржуазную республику 1848—1851 годов. Называя ее «маленькой», Герцен иронически подчеркивал ее буржуазно-консервативный характер, враждебность трудящимся массам, ее отличие от якобинской республики времен великой буржуазной революции конца XVIII века.

...маленьким Наполеоном...— Имеется в виду Наполеон III. Эпитет «маленький» взят Герценом из направленного против Наполеона III памфлета В. Гюго «Napoléon le Petit».

Сам Прудон... срезался на Народном банке...— В ноябре 1848 года Прудон опубликовал проект создания «Народного банка», построенного на принципах «дарового кредита» и «безденежного обмена» продуктов труда ремесленников и рабочих производительных ассоциаций. Пропаганда этого проекта нашла некоторый отклик у ремесленных рабочих и у производительных рабочих ассоциаций, руководимых луиблановцами и фурьеристами, особенно же среди лавочников, владельцев ремесленных мастерских и мелких промыш-

ленников, задыхавшихся под бременем долгов и ростовщического кредита. К началу апреля 1849 года на «акции» прудоновского банка подписалось около двадцати тысяч человек. Тем не менее «Народный банк» практически так и не был создан из-за начавшихся между учредителями банка разногласий в толковании его целей и задач. В начале апреля 1849 года Прудон неожиданно объявил о ликвидации «Народного банка». Предлогом для своего решения Прудон избрал приговор, осудивший его на три года тюремного заключения, что сделало якобы невозможным личное руководство Прудона «реформой кредита». Замечание Герцена свидетельствует о том, что он никогда не давал себя обмануть этими объяснениями Прудона и, критически относясь к его реформаторской деятельности, отчетливо видел ее провал.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»...— Имеются в виду сочинения Прудона, начиная от «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права и государства» до «Руководства биржевого игрока».

...от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии...— В 1838 году Прудон был зачислен на одну из стипендий безансонской академии, что дало ему возможность в течение трех лет продолжать самообразование. В качестве стипендиата этой академии Прудон принял в следующем году участие в объявленном ею конкурсе сочинений на тему «О пользе празднования воскресенья». Он написал на эту тему ученический трактат, в котором пытался критически рассмотреть проблемы собственности. В этом трактате Прудон говорил о «равном для всех праве на жизнь и развитие» и называл собственность «последним из ложных богов».

...до недавно вышедшего carmen horrendum биржевого распутства...— Герцен, по-видимому, имеет в виду вышедшее в 1857 году пятое издание сочинения Прудона «Руководство биржевого игрока». Первые два издания этой книги (1853 и 1854) вышли анонимно, и только начиная с третьего издания (1855) цензура разрешила поставить фамилию ее автора.

...тот же порядок мыслей... идет и через «Противоречия» политической экономии, и через его «Исповедь», и через его «журнал».— Кроме «Системы экономических противоречий, или Философии нищеты», Герцен имеет здесь в виду сочинение Прудона «Исповедь революционера» и серию газет, которые редактировал Прудон в 1848—1851 годах.

Стр. 690. *...не место было Прудона в Народном собрании... в этом мещанском вертепе.*— На парижских дополнительных выборах в Учредительное собрание в июне 1848 года Прудон был избран депутатом. Учредительное собрание в своей подавляющей части состояло из буржуазных республиканцев и перекрасившихся вчерашних монархистов.

...Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов...— Имеется в виду конституция Французской республики, принятая Учредительным собранием в ноябре 1848 года. В разработке проекта этой конституции активнейшую роль играл председатель Учредительного

собрания Марраст. Конституция 1848 года была отмечена многими реакционными чертами, одной из которых было учреждение поста независимого от парламента главы государства и правительства — президента республики, избираемого голосованием всех избирателей. Прудон голосовал в Учредительном собрании против проекта конституции.

Парламентская чернь отвечала... «...в сумасшедший дом!» — Герцен имеет в виду обсуждение в Учредительном собрании 31 июля 1848 года внесенного Прудоном утопического законопроекта, предусматривавшего обложение движимого и недвижимого имущества единовременным налогом в размере одной трети доходов от него. Предложение Прудона привело в бешенство буржуазное большинство собрания и буржуазную печать. Маркс отмечал, что выступление Прудона в защиту своего проекта было «...актом высокого мужества» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 16, стр. 29), хотя оно и обнаружило, «...как мало понимал он все происходящее...». Основным оппонентом Прудона выступил Тьер. Учредительное собрание отвергло проект Прудона (за него было подано лишь два голоса, из них один самого Прудона) как подстрекательство против собственности и «гнусное покушение на принципы общественной нравственности».

Стр. 691. *...на тысячи ладов повторял он... «это не Катилина у ворот ваших, а смерть».*— Эти слова Прудона неоднократно приводились Герценом в его работах, посвященных революции 1848 года. В судьбах этой революции и в торжестве бонапартистской контрреволюционной диктатуры Герцен видел полное подтверждение пророческих слов Прудона. Прудон написал их в заключении своей статьи «Философия 10 марта», опубликованной в «La Voix du Peuple» 29 марта 1850 года. Однако фраза Прудона о Катилине и «смерти» отнюдь не звучала пророчеством о неизбежной гибели республики во Франции. Наоборот, заключительные слова статьи Прудона выражали надежду на то, что гибели республики можно избегнуть и что предотвратить ее катастрофу может именно демократия, причем по сути дела — формальная демократия всеобщего избирательного права, демократия классового мира и классового сотрудничества буржуазии и пролетариата.

...«Объявления прав человека».— Подразумевается основной программный документ французской буржуазной революции конца XVIII века — «Декларация прав человека и гражданина».

Стр. 693. *Lohn der reichlich lohnet* — строка из баллады Гете «Der Sänger» («Певец»).

Стр. 694. *Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром.*— Прудон руководил газетой «La Voix du Peuple», находясь в тюрьме, где он отбывал трехгодичное тюремное заключение по приговору от 28 марта 1849 года.

Стр. 695. *Мой ответ на речь Донозо Кортеса...*— Герцен имеет в виду свою статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас...», опубликованную в газете

«La Voix du Peuple» 18 марта 1850 года. Статья Герцена была ответом на речь испанского политического деятеля в Законодательном собрании в Мадриде 30 января 1850 года, в которой он проповедовал католицизм как единственное спасение от социализма и подвергал критике учение Прудона, видя в нем крайнее воплощение всех отрицательных черт современной цивилизации.

...раз я застал у него в С.-Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов.— Поскольку данное свидание запечатлелось в памяти Герцена по критическим замечаниям, которые высказал в его присутствии д'Альтон-Ше в адрес «La Voix du Peuple», и по реакции Прудона на эту критику в виде решения написать статью, «чтобы загладить дурное действие» слабых последних номеров газеты,— встреча эта могла происходить либо в конце января, либо в самом начале февраля 1850 года, так как указанная статья Прудона «Vive l'Empereur!» была опубликована в «La Voix du Peuple» 5 февраля 1850 года.

Сверх нового процесса правительство отомстило по-своему Прудону.— Память Герцена не совсем точно сохранила относящиеся к этому эпизоду факты. По поводу статьи «Да здравствует император!» власти действительно предприняли следствие и подвергли Прудона заключению. Но до нового судебного процесса над Прудоном дело тогда не дошло, поскольку Прудон дал указание своей газете выступить против империи под лозунгом «ни красной, ни белой реакции» и обратился к парижскому префекту Карлье с письмом, где просил не предпринимать против него нового судебного процесса, обещая впредь воздержаться от всякой критики правительства и посвятить себя всецело «научным проблемам». Но 19 апреля 1850 года, в разгар избирательной кампании по дополнительным выборам в Законодательное собрание, Прудон опубликовал статью под заглавием «Выборы 28 апреля. К парижской буржуазии», в которой призвал парижскую буржуазию голосовать на предстоящих выборах за кандидата демократическо-социалистического блока писателя Э. Сю. Номер газеты со статьей Прудона был конфискован и против него были выдвинуты новые обвинения. На следующий день, 20 апреля, он был переведен из Парижа в крепостную тюрьму Дюлланс. Судебный процесс Прудона в связи со статьей «Выборы 28 апреля» состоялся 13 июня 1850 года — уже после закрытия властями газеты «La Voix du Peuple». Присяжные вынесли ему оправдательный приговор.

Стр. 696. *Гонимый Прудон... сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен.*— Речь идет о газете «Le Peuple de 1850», которую Прудон и его единомышленники издавали после закрытия газеты «La Voix du Peuple». Издание «Le Peuple de 1850» продолжалось недолго. Первый номер газеты вышел 15 июня 1850 года, а 13 октября того же года газета прекратила существование.

Последний раз я виделся с Прудоном в С.-Пелажи, меня высылали из Франции... два года тюрьмы.— Описываемая Герценом встреча с Прудоном

могла иметь место лишь в июне 1850 года. До конца мая 1850 года Прудон еще содержался в провинциальной тюрьме Дулланс и был отправлен оттуда в Париж не ранее 27 мая. Герцен, получивший 24 апреля 1850 года распоряжение полиции о своей высылке из Франции, выехал около 20 июня из Парижа в Ниццу. Место данной встречи Герцен явно запамятовал и, вероятно, спутал с местом предшествующей своей встречи с Прудоном.

...Кромвеля, смеющегося над Крупионом.— Имеется в виду отношение Кромвеля к Долгому парламенту, созванному королем Карлом I Стюартом в начале буржуазной революции XVII века и ставшему затем ее законодательным органом. После казни короля и провозглашения республики остатки Долгого парламента, прозванного в народе «огузком» (по-французски croupion), утратили всякое политическое значение и были с позором разогнаны в 1653 году О. Кромвелем.

...в 1851 году... он был отослан в какую-то центральную тюрьму.— Здесь воспоминания Герцена неточны. В 1851 году Герцен был в Париже в период с 8 по 25 июня. Прудон в это время содержался в Консьержри и никуда оттуда не переводился до 18 сентября 1851 года, когда, по его просьбе, он снова был переведен в Сен-Пелажи.

Через год я был проездом... в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.— Герцен был в Париже с 20 по 25 августа 1852 года. Прудон, незадолго до того освобожденный из тюрьмы (5 июня 1852 г.) после отбытия срока заключения, находился с семьей на родине, где отдыхал и лечился.

Стр. 697. *...одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы...* — Книга Прудона «О справедливости в революции и в церкви» была по выходе в свет в 1858 году конфискована, а он был привлечен к ответственности за «оскорбление духовенства и осквернение религии». Суд приговорил Прудона к трем годам тюремного заключения. Прудон эмигрировал в Бельгию, где проживал до 1862 года.

Every inch — выражение из трагедии Шекспира «Король Лир»; в смысле «король с головы до ног».

Стр. 698. *Это будут новые кавдинские фуркулы...*— В Кавдинском ущелье в 321 году до н. э. римские войска были окружены самнитами и капитулировали.

Стр. 701. *...какую-то мандаринскую иерархию...*— Огюст Конт создал в 1848 году Общество позитивистов, основавшее «позитивистскую церковь», проповедовавшую социально-политическую «реорганизацию человечества». Создание новой «позитивистской религии» обставлено было введением нового катехизиса, духовенства и церковной иерархии, подчинявшейся «первосвященнику» — О. Конту.

Стр. 706. *...Наполеон... уговаривал Камбасереса прибавить... фразу, моральную... слушаться его.*— Герцен имеет в виду известные статьи о семье и браке в Гражданском кодексе Наполеона (1804); в разработке этого кодекса

принимал участие Камбасерес, руководствовавшийся во многих случаях указаниями Наполеона.

Стр. 707. ...*чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы*...— См. прим. к стр. 539.

...*изнывать от десятка Леон-Леони.*— Леон-Леони — герой одноименного романа Жорж Санд.

РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ

Стр. 720. *У Байрона есть описание ночной битвы*...— В поэме «Абидосская невеста», песнь вторая, XXVI.

Стр. 722. *Отчего ж на свет*...— Из «Думы сокола» А. В. Кольцова. У Кольцова «Для чего же на свет...».

Стр. 724. ...*лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.*— Имеется в виду картина художника Т. Кутюра «Romains de la décadence» («Римляне времен упадка»).

Стр. 726. ...*nel mezzo del cammino di nostra vita*...— первый стих «Божественной комедии» Данте.

Стр. 727. *Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen*...— строки из стихотворения Шиллера «Resignation» («Отречение»).

Стр. 729. ...*с лишком пять миллионов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона. Осиротевшая передняя наконец нашла своего барина!* — 10 декабря 1848 года на президентских выборах Людовик-Наполеон (Луи Бонапарт), племянник Наполеона I, получил подавляющее большинство голосов (свыше 5,5 миллиона из 7,7). «Передней» Герцен называет мелкую буржуазию, которая голосовала за Луи Бонапарта, обманутая его демагогическими обещаниями об упразднении нищеты народа.

Стр. 730. ...*на своем историческом театре... Дюма*...— В феврале 1847 года А. Дюма-отец основал Исторический театр («Théâtre Historique»).

...*А. Дюма уже выводил Июньские дни в римской латиклаве на сцену*...— Драма А. Дюма и А. Маке «Катилина» была поставлена на сцене «Théâtre Historique» 14 октября 1848 года. Латиклава — туника, которую носили римские сенаторы.

Стр. 731. ...*ряд исторических сцен.*— На допросе следственной комиссии 24 июля 1834 года Герцен наряду с другими своими сочинениями назвал и начатые им «сцены из развития христианской религии». Это сочинение Герцена до настоящего времени остается неизвестным.

Стр. 732. *За несколько дней до 23 июня 1848*...— 23 июня 1848 года в Париже началось восстание, жестоко подавленное генералом Кавеньяком.

Стр. 732—733. ...*баденский поход.*— В ночь с 23 на 24 апреля 1848 года восемьсот революционных эмигрантов, образовавших так называемый «немецкий демократический легион», возглавленный Гервегом, перешли через Рейн, намереваясь оказать военную помощь баденскому восстанию. Этот поход, против которого открыто выступал Маркс, считавший его вредной авантюрой (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 5, стр. 478, и т. 27, стр. 115), закончился полным провалом: 27 апреля эмигрантский батальон вступил в бой с превосходящими силами вюртембергских правительственных войск и после непродолжительного, но ожесточенного сражения вынужден был отступить. Почти половина всего легиона была захвачена в плен. Неудача похода роковым образом сказалась на репутации Гервега, которого немецкая эмиграция в Париже, по-видимому, без достаточных оснований, обвиняла в трусливом поведении на поле боя, а также в различных злоупотреблениях. Сообщаемые Герценом подробности о баденском походе, несомненно, почерпнуты им из того же недостоверного источника.

Стр. 733. ...*Огарев дал мне письмо к Гервегу.*— Это письмо Огарева к Гервегу остается неизвестным.

Осенью 1847 я уехал в Италию.— Герцен покинул Париж 21 октября 1847 года и возвратился 5 мая 1848 года.

Стр. 734. ...«*Амуров и Купидонов*»... *не крепостных, а бронзовых.*— Герцен шутливо намекает на стихи из монолога Чацкого (А. С. Грибоедов, Горе от ума, действ. II, явл. 5).

Стр. 735. ...*политические песни Гервега.*— Первая и вторая книги стихотворений Гервега «Gedichte eines Lebendingen», вышедшие в Цюрихе в 1841—1843 годах.

Vive la République! — В упомянутой выше книге Гервега находится стихотворение с французским названием «Vive la République!», каждая строфа которого заканчивается этим же восклицанием.

...*жил банкир* — богатый торговец шелком Зигмунд, будущий тесть Гервега.

Стр. 735—736. *Clos de Vougeot*...— марка французского виноградного вина.

Стр. 736. ...*жить у Фоллена... сказать спасибо.*— В 1837 году, подружившись с поэтом Августом Фолленом, Гервег продолжительное время прожил в его доме в Цюрихе. Семья Фолленов оказывала Гервегу значительную материальную и моральную поддержку и помогла ему выпустить в свет его первую книгу стихов. Отец А. Фоллена приходился К. Фогту, о котором упоминает здесь Герцен, дедом по матери.

Стр. 737. ...*armée du Rhin*...— французская революционная армия, расположенная в 1789—1794 годах в Страсбурге.

...на «боевом коне», о котором он мечтал в своих стихах.— Герцен, вероятно, имеет в виду стихотворение Гервега «Der Freiheit eine Gasse».

Стр. 738. *...баденский герцог или виртембергский король* — герцог баденский — Леопольд; вюртембергский король — Вильгельм I.

Стр. 739. *...храбрые люди, как Геккер, как Виллих... не побежали с поля сражения.*— Видные деятели германской революции Фридрих Геккер и Август Виллих руководили военными действиями революционных баденских войск. Им также пришлось отступить под напором превосходящих сил противника.

Шпандау и Раштадт — крепости, служившие местом заключения для многих революционеров. Первая из них находилась вблизи Берлина, вторая — в великом герцогстве Баденском.

...скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения.— Сообщаемый факт о поведении Гервега, по мнению его биографов, не имел места в действительности.

...напечатала в защиту мужа брошюру.— Имеется в виду изданная Эммой Гервег брошюра (под псевдонимом «Государственная преступница») «Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion, aus Paris», Grünberg, 1849.

Стр. 743. *«Провансальские братья»* — парижский ресторан.

Стр. 744. *...я поехал из Цюриха в Париж... остановленных русским правительством.*— Герцен выехал с матерью в Париж из Цюриха 22 декабря 1849 года; жена и дети Герцена остались в Цюрихе. О хлопотах Герцена, связанных с получением денег его матери, см. в гл. XXXIX.

Письмо мое.— Это письмо Герцена от 9 января 1850 года, так же как ряд других писем Герцена к жене, упоминаемых и цитируемых им ниже, неизвестно.

Стр. 745. *Встреча наша в Париже.*— Эта встреча состоялась 26 или 27 января 1850 года.

Письма его ко мне, сохранившиеся у меня.— Двадцать писем Гервега к Герцену за период с декабря 1849 по июль 1850 года напечатаны во французском подлиннике и в русском переводе в Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. XIV, стр. 34—89.

Стр. 747. *...рождение Ольги.*— О. А. Герцен родилась 20 ноября 1850 года.

...акварель, которую она заказывала живописцу Guyot.— См. воспроизведение акварели Жака Гийо (Guiaud) в «Литературном наследстве», т. 61, стр. 323. Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно.

Стр. 749. *...читал ли он «Ораса» Ж. Санд.*— В герое романа Жорж Санд, самовлюбленном бездушном буржуа, Герцен находил большое сходство с Гервегом.

Стр. 754. *Сатурновой косы* — то есть смерти.

Стр. 757. *«Océano nox»* — заглавие стихотворения Виктора Гюго из его книги «Les Rayons et les Ombres» («Лучи и тени»). Гюго заимствовал для этого названия окончание одного стиха из «Энеиды» Вергилия.

Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 года — в «Записках» Орсини...— Герцен говорит о следующих строках из «Воспоминаний» Феличе Орсини, посвященных гибели матери и сына Герцена, утонувших 16 ноября 1851 года: «Горе не миновало и семьи Герцена, потерявшего свою мать и восьмилетнего сына вместе с его воспитателем, которые погибли на борту парохода, пошедшего на дно моря вблизи Ниццы. В течение нескольких дней Герцен не мог прийти в себя. Это высококультурный и образованный русский эмигрант с чрезвычайно либеральными взглядами, с глубокими познаниями в социальных науках, прекрасный писатель и чрезвычайно трезвый человек» (Феличе Орсини, Воспоминания, М.—Л. 1934, стр. 162).

Стр. 761. *...одно длинное письмо и одна страничка уцелели.*— Герцен, вероятно, имеет в виду письмо Н. А. Герцен к М. К. Рейхель и план автобиографии Натальи Александровны (см. «Литературное наследство», т. 63).

Мария Каспаровна — М. К. Рейхель.

Стр. 769. *...он жил на содержании... Цюриху...*— В письме к М. К. Рейхель от 30 июня 1852 года Герцен назвал фамилию этой женщины, сообщая, что Гервег «живет на хлебах у г-жи Кох, вроде наемного фаворита».

Стр. 771. *...я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Гервегу... Козенц.*— В письме, датированном «Генуя, 23 июля 1852», говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся, будучи приглашены г. Герценом (дружбою которого мы гордимся, вследствие его выдающихся достоинств) высказать свое мнение относительно столкновения его с г. Гервегом, сим заявляем, что, отвергнув при данных обстоятельствах дуэль с г. Гервегом, Герцен поступил согласно нашим убеждениям». Письмо подписано Энрико Козенцем, Карлом Пизакане, Дж. Медичи, Луиджи Меццокапо, Агостино Бертани и Камилло Больдони. К этому заявлению вскоре присоединились Феличе Орсини и Антонио Меодини.

...фемический суд — тайное уголовное судилище в средневековой Германии.

Стр. 772. *Гауг... дрался под Римом.*— Гауг участвовал в боях с французскими интервентами, захватившими в 1849 году Рим, в составе итальянских революционных войск, под командованием Гарибальди.

Стр. 779. *Младенец родился к утру* — 30 апреля 1852 года.

И пусть у гробового входа... жизнь играть — из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

Стр. 780. *...до приезда моей Natalie...*— Н. А. Герцен с нетерпением ожидала приезда своей горячо любимой подруги — Натальи Алексеевны Тучковой, которой в случае смерти хотела поручить воспитание детей.

Стр. 788. *...в «Цюрихской газете» появилась статья Гервега с его подписью.*— Герцен ошибочно излагает содержание не первого письма Гервега в редакцию газеты «Neue Züricher Zeitung» от 18 июля 1852 года, а второго письма от 6 августа, явившегося ответом на письмо в редакцию Тесье дю Мотэ, напечатанного в этой газете 27 июля 1852 года.

Стр. 789. *...какой-то доктор из Цюриха...*— Франсуа Вилле.

Я отвечал через Гауга.— Отказ Герцена драться на дуэли с Гервегом был сообщен доктору Вилле группой эмигрантов в письме из Люцерна от 18 июля 1852 года.

Письмо Вагнера в приложении.— Герцен намеревался дать в приложении письма свидетелей его «семейной драмы», в том числе и письмо Р. Вагнера от 30 июня 1852 года.

Стр. 790. *...смотрели на лондонский туман.*— Герцен с сыном прибыл в Лондон 24 августа 1852 года.

...библиотекарем в Люксембургском дворце.— В старинном Люксембургском дворце в Париже помещался французский сенат.

РУССКИЕ ТЕНИ

Стр. 793. *...его речи в Праге, его начальство в Дрездене... выдача России... равелина.*— На Славянском конгрессе в Праге, состоявшемся 3—12 июня 1848 года, Бакунин выступал с призывом к освобождению Польши, уничтожению Австрийской империи и объединению славянских народов во всеславянскую федерацию. В мае 1849 года Бакунин участвовал в саксонском демократическом народном восстании и руководил баррикадной борьбой в Дрездене. При подавлении этого восстания Бакунин был схвачен, приговорен к смертной казни, затем выдан австрийским властям, которые, в свою очередь приговорив Бакунина к смерти (за участие в пражском восстании 12—17 июня 1848 г.), выдали его царскому правительству.

Но здесь, под гнетом власти царской...— Неточная цитата из стихотворения Пушкина «К портрету Чаадаева».

Стр. 794. *...послужив ...года два в московском гегелизме...*— Речь идет о том периоде жизни Бакунина (1837—1840), когда он увлекался гегелевской философией.

Стр. 798. *Потомок Карла Великого — Сен-Симон.*— Сен-Симон происходил из старинного аристократического рода герцогов Сен-Симон (считавших себя потомками Карла Великого).

Стр. 799. *Café Anglais* — известное парижское кафе.

...как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации.— См. главу «Польские выходцы» (часть VI).

Стр. 801. *...перед гиперборейскими Анахарсисами.*— В греческой мифологии гиперборейцами называлось сказочное племя, живущее на краю света. Анахарсис — скиф, побывавший в Афинах во время Солона и вскоре приобретший там репутацию одного из величайших мудрецов.

...лаццарони литературной Киайи...— Киайя — набережная в Неаполе, служившая обычным местом скопления лаццарони.

Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution...— Имеются в виду войска союзников в войне против наполеоновской империи в 1814—1815 годах — России, Англии, Австрии, Пруссии и др., победоносно вступившие в Париж после победы над Наполеоном.

Стр. 802. *...перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма.*— Герцен отмечает полную неспособность этих гегельянцев выйти за рамки реакционных сторон гегелевской философии. Особенно характерна оценка младогегельянца А. Руге, являвшегося после революции 1848 года одним из столпов немецкой буржуазно-демократической эмиграции. Руге был ярым противником К. Маркса, с которым в 1844 году он издавал «Немецко-французский ежегодник». Разрыв у Маркса с Руге произошел из-за враждебного отношения последнего к немецкому рабочему движению.

...поговорить в кафе с историком «Десяти лет»...— Подразумевается Луи Блан, автор известной работы по истории первых десяти лет существования июльской монархии (1830—1840) — «История десяти лет».

Стр. 803. *В их числе был австрийский лейтенант...*— Речь идет о Э. Гауге, бывшем во время венского восстания в октябре 1848 года начальником штаба вооруженных сил, оборонявших под командованием Месенгаузера Вену от войск австрийского императора.

Стр. 804. *...летом 1848 завел Сазонов международный клуб.*— Герцен, как видно, имеет в виду клуб «Fraternité des peuples», созданный представителями демократической эмиграции разных стран в Париже. Сазонов играл весьма активную роль в этом клубе, но он не был его главой. В произведении «О развитии революционных идей в России» Герцен сам называет председателем этого клуба Головина. По другим данным, председателем клуба был Ребсток.

Стр. 805. *...назвал исполнительную власть potence exécutive...*— Буквально означает: «исполнительная виселица». Искажение французских слов pouvoir exécutive — исполнительная власть.

...привычки клерикальной юности...— Ламенне был до 1834 года аббатом. В период реставрации он принадлежал к числу клерикальных публицистов.

Стр. 809. *...лицеист.*— Энгельсон учился в Царскосельском лицее, который покинул в 1839 году; лицея он не окончил.

...был замешан в деле Петрашевского...— В середине 40-х годов Энгельсон начал посещать собрания кружка Петрашевского. 4 августа 1849 года он

был арестован по делу этого общества, но за недостатком улик вскоре выпущен как «неприкосновенный к делу». Впоследствии он дал описание деятельности кружка в статье «Петрашевский» (1851).

...гнушаясь службой.— С 1844 до 1848 года Энгельсон служил в министерстве иностранных дел.

...взял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы».— Статья «По поводу одной драмы» была опубликована в восьмом номере «Отечественных записок» за 1843 год. Герцен, по-видимому, ошибся: речь идет о статье «Дилетантизм в науке».

Стр. 816. *Петрашевцы... удивили всю Россию «Словарем иностранных слов».*— Имеется в виду «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», издаваемый Н. Кириловым (первый выпуск вышел в апреле 1845 г., второй — в апреле 1846 г.). Редактировался и писался словарь в основном В. Майковым и М. Петрашевским. В этой книжке Петрашевский сумел, по словам Энгельсона, «...под разными заголовками изложить основания социалистических учений... сделать ядовитую критику современного состояния России...». Передовые круги русского общества высоко оценили словарь.

Стр. 817. *На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим.*— Между Герценом и Энгельсоном установились крайне сложные, трудные и противоречивые отношения. Известную роль в их спорах и столкновениях сыграла критика Энгельсоном некоторых сторон дворянской революционности Герцена с позиций поколения, в котором разночинцы уже играли значительную роль. В письмах от 10 июля и 25 сентября 1854 года Энгельсон отмечал: «Я явился к вам — и остаюсь — «представителем» друга моего Петрашевского. Мысли партии Петрашевского я останусь верен...»

Стр. 820. *...жили вместе в С.-Елен.*— С.-Елен — предместье Ниццы, где в доме Дуйса Герцен жил с октября 1851 года до отъезда из Ниццы в июне 1852 года (см. об этом наст. том, в главе «Oceano nox»).

Стр. 823. *Я уехал в Лондон...*— Герцен уехал в Лондон в августе 1852 года.

Стр. 824. *У одного из наших близких знакомых была дочь... вдовы.*— Внебрачная дочь Ш. Э. Хоецкого, Мария, была украдена. После долгих усилий ее нашли, но Хоецкий не имел возможности приехать за ней. Временно она была помещена у Энгельсонов.

Стр. 825. *Генерал* — Гауг.

...до вашего приезда...— Герцен собирался в это время съездить в Париж.

Стр. 826. *...большая часть des Réflexions de la Rochefoucauld...*— Речь идет о книге Ларошфуко «Размышления, или Сентенции и максимы о морали».

...сделанная Белинским характеристика талантливых людей...— Речь, видимо, идет о характеристике «романтиков» в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

Стр. 828. *Я тотчас напечатал ее.*— Речь идет о прокламации Энгельсона «Первое виденье св. отца Кондратия»; напечатана в Вольной русской типографии в 1854 году.

...он явился сам в Лондон...— Энгельсон приехал в Лондон в середине 1854 года.

Он выдумал воздушную батарею... помогать Наполеону и Англии?— Энгельсон дошел до нелепых пораженческих выводов об активном содействии победе союзнических войск в войне против России. Это вызвало резкое возражение Герцена, напомнившего Энгельсону о том, что его имя «замешано в русское революционное движение».

Стр. 829. *...с одним французом...*— Доманже.

Стр. 830. *...письмо к французскому министру военных дел.*— В письме к Герцену от 8 июля 1854 года Энгельсон приложил проект письма к французскому морскому министру.

Энгельсон отвечал дерзкой запиской.— В письме от 10 июля 1854 года Энгельсон писал Герцену: «Эге, батюшка, я подобных нахлобучек не привык спускать даром...»

Я напечатал рукопись...— Речь идет о прокламации «Второе видение св. отца Кондратия».

Стр. 832. *Да здравствует разум!* — Эпиграф к «Полярной звезде» был взят из «Вакхической песни» Пушкина.

...за свою статью о социализме...— Имеется в виду статья Энгельсона «Что такое государство?», напечатанная в первой книге «Полярной звезды». В предисловии Герцен писал: «Первый том наш богат. Писатель необыкновенного таланта и редкой диалектики прислал нам... превосходную статью под заглавием «Что такое государство?». Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора».

И. Белявская, Н. Застенкер, Л. Ланский,
А. Малахова, Г. Месяцева, М. Полякова,
И. Птушкина, З. Цыпкина

СОДЕРЖАНИЕ

Я. Эльсберг. Роман о русском революционере и мыслителе . . 5

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Часть первая

ДЕТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТ (1812—1834)

Глава I. *Моя нянюшка и la Grande Armée.—Пожар Москвы.—Мой отец у Наполеона.—Генерал Иловайский.—Путешествие с французскими пленниками.—Патриотизм.—К. Кало.—Общее управление именьем.—Раздел.—Сенатор* 27

Глава II. *Разговор нянюшек и беседа генералов.—Ложное положение.—Русские энциклопедисты.—Скука.—Девичья и передняя.—Два немца.—Ученье и чтенье.—Катехизис и Евангелие* 40

Глава III. *Смерть Александра I и 14 декабря.—Нравственное пробуждение.—Террорист Бушо.—Корчевская кузина* . . . 60

Глава IV. *Ник и Воробьевы горы* 77

Глава V. *Подробности домашнего житья.—Люди XVIII века в России.—День у нас в доме.—Гости и habitués.—Зоннен-берг.—Камердинер и проч.* 84

Глава VI. *Кремлевская экспедиция. — Московский университет. — Химик. — Мы. — Маловская история. — Холера. — Филарет. — Сунгуровское дело. — В. Пассек. — Генерал Лесовский* 100

Глава VII. *Конец курса. — Шиллеровский период. — Молодая юность и артистическая жизнь. — Сен-симонизм и Н. Полевой* 136

Прибавление. А. Полежаев 149

Часть вторая

ТЮРЬМА И ССЫЛКА (1834—1838)

Глава VIII. *Пророчество. — Арест Огарева. — Пожар. — Московский либерал. — М. Ф. Орлов. — Кладбище* 153

Глава IX. *Арест. — Добросовестный. — Канцелярия Пречистенского частного дома. — Патриархальный суд* 160

Глава X. *Под каланчой. — Лиссабонский квартальный. — Зажигатели* 165

Глава XI. *Крутицкие казармы. — Жандармские повествования. — Офицеры* 172

Глава XII. *Следствие. — Голицын sen. — Голицын jun. — Генерал Стааль. — Сентенция. — Соколовский* 178

Глава XIII. *Ссылка. — Городничий. — Волга. — Пермь* 191

Глава XIV. *Вятка. — Канцелярия и столовая его превосходительства. — К. Я. Тюфяев* 204

Глава XV. *Чиновники. — Сибирские генерал-губернаторы. — Хищный полицмейстер. — Ручной судья. — Жареный исправник. — Равноапостольный татарин. — Мальчик женского пола. — Картофельный террор и проч.* 218

Глава XVI. *Александр Лаврентьевич Витберг* 238

Глава XVII. *Наследник в Вятке. — Падение Тюфяева. — Перевод во Владимир. — Исправник на следствии* 250

Глава XVIII. *Начало владимирской жизни* 257

Часть третья

ВЛАДИМИР-НА-КЛЯЗЬМЕ (1838—1839)

Глава XIX. *Княгиня и княжна* 264

Глава XX. *Сирота* 270

Глава XXI. *Разлука* 282

Глава XXII. *В Москве без меня* 297

Глава XXIII. *Третье марта и девятое мая 1838 года* 305

Глава XXIV. *13 июня 1839 года* 320

Часть четвертая

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ И НОВГОРОД (1840—1847)

Глава XXV. *Диссонанс.—Новый круг.—Отчаянный гегелизм.—В. Белинский, М. Бакунин и пр.—Ссора с Белинским и мир.—Новгородские споры с дамой.—Круг Станкевича* . . . 334

Глава XXVI. *Предостережения.—Герольдия.—Канцелярия министра.— III Отделение.— История будочника.— Генерал Дубельт.— Граф Бенкендорф.— Ольга Александровна Жеребцова.— Вторая ссылка* 365

Глава XXVII. *Губернское правление.— Я у себя под надзором.— Духоборцы и Павел.—Отеческая власть помещиков и помещиц.— Граф Аракчеев и военные поселения.—Каннибальское следствие.—Отставка* 389

Глава XXVIII.—*Grübelei.—Москва после ссылки.—Покровское.— Смерть Матвея.—Иерей Иоанн* 401

Глава XXIX. Наши. *I. Московский круг.—Застольная беседа.— Западники (Боткин, Редкин, Крюков, Е. Корш)* 418

II. На могиле друга 426

Глава XXX. Не наши. *Славянофилы и панславизм.—Хомяков, Киреевские, К. Аксаков.—П. Я. Чаадаев* 437

Глава XXXI. *Кончина моего отца.—Наследство.— Дележ.— Два племянника* 469

Глава XXXII. *Последняя поездка в Соколово.—Теоретический разрыв.—Натянутое положение.—Dahin! Dahin!* 494

Глава XXXIII. *Частный пристав в должности камердинера.— Обер-полицмейстер Кокошкин.—«Беспорядок в порядке».— Еще раз Дубельт.—Паспорт* 503

Н. Х. Кетчер (1842—1847) 511

Эпизод из 1844 года 537

Часть пятая

ПАРИЖ – ИТАЛИЯ – ПАРИЖ (1847–1852)

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

Глава XXXIV. Путь. *Потерянный пасс. — Кенигсберг. — Собственноручный пос. — Приехали! — И уезжаем* 545

Глава XXXV. Медовый месяц республики. *Англичанин в меховой куртке. — Герцог де Ноаль. — Свобода и ее бюст в Марсели. — Аббат Сибур и Всемирная республика в Авиньоне* 550

Западные арабески. *Тетрадь первая. I. Сон* 556

II. В грозу 558

Глава XXXVI. «*La Tribune des Peuples*». — *Мицкевич и Рамон де ла Сагра. — Хористы революции 13 июня 1849. — Холера в Париже. — Отъезд* 564

Глава XXXVII. *Вавилонское столпотворение. — Немецкие Umwälzungsmänner'ы. — Французские красные горцы. — Итальянские fuorusciti в Женеве. — Маццини, Гарибальди, Орсини... — Романская и германская традиция. — Прогулка на «Князе Радецком»* 583

Глава XXXVIII. *Швейцария. — Джемс Фази и рефюжье. — Monte-Rosa* 612

Западные арабески. *Тетрадь вторая. I. Il pianto* . . 630

II. Post Scriptum 637

Глава XXXIX. *Деньги и полиция. — Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов. — Полиция и деньги* . . . 643

Глава XL. *Европейский комитет. — Русский генеральный консул в Ницце. — Письмо к А. Ф. Орлову. — Преследование ребенка. — Фогты. — Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне. — Прием в Шателе (1850—1851)* 659

Глава XLI. *П.-Ж. Прудон. — Издание «La Voix du Peuple». — Переписка. — Значение Прудона. — Прибавление* 686

Раздумье по поводу затронутых вопросов . . 701

Глава XLII. *Coup d'Etat. — Прокурор покойной республики. — Глас коровий в пустыне. — Высылка прокурора. — Порядок и цивилизация торжествуют* 710

«РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ»

I. *(1848)* 717

II. 732

III. *Кружение сердца* 742

IV. *Еще год (1851)* 747
V. 754
VI. *Осеапо пох (1851)* 757
VII. *(1852)* 767
VIII. 776
Прибавление 784

РУССКИЕ ТЕНИ

I. *Н. И. Салонов* 793
II. *Энгельсоны* 808

Примечания *Н. Ждановского* (при участии *В. Гурьянова*) — к частям 1—3; *И. Твердохлебова* — к части 4; *И. Белявской, Н. Застенкера, Л. Ланского, А. Малаховой, Г. Месяцевой, М. Полякова, И. Птушкиной, З. Цыпкиной* — к части 5 . . 839

На суперобложке:

«Восстание декабристов на Сенатской площади». Раскрашенная гравюра К. И. Кольмана, 1826 г. Государственный исторический музей.

«Московский университет». Раскрашенная гравюра, 1820-е годы. Государственный музей А. С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 73

Александр Иванович Герцен
«БЫЛОЕ И ДУМЫ» ЧАСТИ 1—5

*

Редакторы
А. Козловский и А. Краковская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Н. Соколова
Корректоры
Е. Патина и Р. Андрианова

*

Сдано в набор 15/XI 1968 г. Подписано к печати 21/II 1969 г. Бумага типографская № 1. 60×84¹/₁₆. 58 печ. л. 54,114 усл. печ. л. 60 + 1 вкл.; 8 накидок = 61,02 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 3314. Цена 2 р. 42 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28